Владимир

Максимов

ЗВЕЗДА АДМИРАЛА КОЛЧАКА

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

Владимир
Максимов

Владимир

Максимов

ЗВЕЗДА АДМИРАЛА КОЛЧАКА

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

РОМАНЫ

Челябинск
Южно-Уральское книжное издательство 1993
Саратов
Региональное Приволжское издательство
«Детская книга»

ББК 84Р6
М17

Текст романа «Семь дней творения»
печатается по изданию:
В. Максимов. Собр. соч.
М., «Терра» — «Terra», 1991, т. 2.

Максимов В. Е.

М17 Звезда адмирала Колчака; Семь дней творения: Романы.— Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во,— Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1993.— 528 с.
ISBN 5-7688-05-87-7

В книгу вошли романы известного русского писателя (живет в Париже) «Звезда адмирала Колчака» и «Семь дней творения», впервые опубликованные в зарубежных издательствах.

М $\frac{4702010201-002}{М162(03)-93}$ — 93

ББК 84Р6.

ISBN 5-7688-05-87-7

ЗВЕЗДА АДМИРАЛА КОЛЧАКА

«Все свершилось не по воле Наполеона, не Александра Первого, не Кутузова, а по воле Божьей».

Лев Толстой

Глава первая
АДМИРАЛ

I

В гулком омуте дворцового колодца кружились белые мухи зацветающих тополей. В косых лучах уходящего за ближние крыши солнца цветы в палисаднике, казалось, тоже плыли куда-то наподобие пестрой армады утлых суденышек. Со двора, в распахнутые настежь окна, тянуло травяным дурманом, прелью остывающей земли и застоявшейся кухней.

Оттуда, из-за крыши соседнего, выходящего лицевой стороной на проезжую улицу дома, время от времени выплескивался автомобильный гул или паровозная перекличка с дымившей поблизости товарной станции.

В комнате было сухо и сумрачно. В тишине, которую изредка перечеркивало мушиным зуммером, ее собственный голос слышался ей самой чужим, вплывающим в окна откуда-то со стороны.

Эту историю она рассказывала себе всю жизнь с того дня, когда ружейный залп над февральской Ангарой проставил в конце этой истории свое нестройное многоточие. С годами рассказ расцвечивался все новыми и новыми подробностями, возникавшими всегда внезапно, но тут же обраставшими плотью и явью реальных фактов, как бы случившихся когда-то в действительности.

Эта история тянулась за ней, как нитка за иголкой, через Иркутский централ, Бутырки, Забайкалье, Караганду, Енисейск, Рыбинск и Тарусу в этот московский двор на городской окраине, где время замкнуло вокруг нее свой заколдованный круг. И окончательно остановилось.

У этой истории уже не было ни начала, ни конца, а оставалась

замкнутая на самое себя бесконечность, единственным выходом из которой было бы полное растворение в ней, смерть, небытие.

Когда это случилось? И случилось ли это вообще? А может быть, это давний сон или госпитальный бред, не отпускающий ее до сих пор, что, однажды провалившись в нее, сам сделался пленником своей жертвы?

Но если это так, то откуда же тогда сквозь тополиный пух майского дня тянуло на нее сейчас зябким холодком февральской поземки, посвистывающей над ледяным панцирем Ангары?

Было это, было, и никуда от этого не денешься!

2

— Я увидела его, деточку, в тот год, когда мир рассыпался в прах и невзнузданные лошади метались по земле как угорелые. Жизнь, словно линяющая змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял, печальный и бледный, среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он! Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего сознания и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услышала себя как женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной». И я пошла за ним, не ведая сожалений и страха. Пошла, благословляя судьбу за выпавшее на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли бы мы не встретились! Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: «Умереть бы нам вместе, Аннушка!» А потом: «Нет, нет —

лучше я один, а ты живи, ты должна жить!» Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе и все твердила, целуя тебя и задыхаясь: «Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе». Сколько было потом у нас ночей и дней среди огня и крови великого потопа! Я знала, что не обманусь в нем, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом,— он лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий, сидел он в затемненном вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием. «Аннушка,— шептал он мне,— прости меня». «За что! — отзывалась я.— За что, Саша!» «Я не смог сделать тебя счастливой». «Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать». «Но ты достойна лучшего». «Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда остановилось время и отсчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него. Да, да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала ни себя, ни своего сердца. Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только ледяная вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь свое бренное тело по воле Господа. Его предали подло и унизительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, матерь городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы, какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом! Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств — во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама.

Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь, таким недосягаемо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей веры, наподобие Иова, а принял их, со смирением и молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что творили, всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно: зачем им понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне, какую опасность она для них представляла, что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть, есть Божий суд, через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, безвременье и перемены его зов, его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит — так было угодно Всевышнему. Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной... Господи, чем отплачу я Тебе за Твою безмерную милость!.. Саша, Сашенька, Александр, свет Васильевич!.. Было это, конечно, было, хотя намного короче и проще.

3

В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топилось, и, кутаясь в шубу, Адмирал пытался уснуть, но сон не шел к нему, оставляя его наедине с собой и своей памятью. Дни тянулись удручающе медленно, скрашенные только сумбурными, похожими скорее на собеседования допросами. Остальное время он был предоставлен самому себе, чем пользовался, чтобы еще и еще раз мысленно прокрутить события последних лет, взвесить все «за» и «против» вчерашних решений и поступков, отдать отчет хотя бы собственной совести: есть ли за ним вина во всем, уже случившемся?

Адмирал заранее знал, что его ждет в ближайшие дни, если не часы. С самого начала он обрек себя на это сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода и не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой ее быстрине. И все же, как теперь думалось ему, возможность задержать или смягчить окончательный обвал у него оставалась, стоило ему только принять предложенные противником законы «игры без правил»,

что, может быть, если и не изменило бы результаты, то сохранило бы многие, преданные ему жизни, правда, за счет чужих и тоже многих. И хотя, конечно же, в его окружении многие не гнушались невинной крови и чужого добра, в слепой разнузданности такой войны, порождавшей взаимную ненависть, слабые быстро теряли голову, сам он, даже в минуты полного отчаяния, так и не смог преступить черты, которая отделяла его от мира, заложенного в нем с молоком матери, от своих идеалов и ценностей.

В первые дни после выдачи Адмирал нашел атмосферу в здешней тюрьме почти патриархальной. Надзиратель Андреич, добродушный дядька из старых тюремных служак, относился к важному новичку даже с известным подобострастием, памятуя, видно, мудрое правило осторожной жизни: нынче князь, завтра — в грязь, а послезавтра опять в чести.

Заглядывая в камеру, он по обыкновению мешковато, но старательно вытягивался, начиная всегда одним и тем же:

— Морозит, ваше превосходительство, мочи нету, сопля с лету мерзнет, собаку зашибить можно.

И лишь после этого, смущенно потоптавшись, выуживал из-под заношенной шинели то записочку от Аннет или Алмазовой, сидевших где-то в соседних камерах, а то — от них же! — какое-либо съедобное подспорье: тюремный рацион не отличался особым разнообразием, если не сказать больше.

То, что она все эти дни содержалась совсем рядом, и их мимолетные встречи на прогулках в тюремном дворе — облегчало ему собственное заключение, но одновременно он изнуряюще терзался своей виной за ее сегодняшнее положение и будущую участь. И, хотя его не оставляла надежда, что тюремщики не решатся, не осмелятся расправиться с нею наравне с ним, он не переставал бояться за нее: слишком вызывающе вела она себя при аресте.

О, как ему хотелось бы, чтобы она оказалась сейчас там же, где спасалась теперь его семья, или же в другом более безопасном месте, тогда бы он ушел из жизни со счастливым сердцем.

«Только бы ее миновала чаша сия,— исступленно молился он про себя,— смилуйся, Господи, над несчастной рабой твоей Анной!»

Когда в одной из последних записок Аннет сообщила ему, что части Каппеля уже на подступах к Иркутску, на него впервые пахнуло дыханием близкого конца; комитетчики, которых теперь полностью контролировали большевики, в случае успеха каппелевцев не оставят его победителям живым. Но, несмотря на это, он страстно желал им такого успеха: если уж все равно суждено умереть, он предпочитал умереть с праздничной уверенностью, что еще не побежден.

Ему вдруг пригрезился его давний дрейф на утлом вельботе сквозь ледяное крошево Северной губы в поисках экспедиции барона Толя. Ведь и тогда он если не наверняка знал, то чувствовал, что Толь и его люди погибли, должны были погибнуть, столько

месяцев не имея в запасе ни продовольствия, ни средств передвижения; их могло спасти только чудо, но, как и в начале теперешнего пути, он и в том своем упорстве надеялся на это чудо, которого, конечно же, не случилось, и все же ему никогда не пришлось пожалеть о первоначально принятом решении: не пуститься тогда на поиски означало для него зачеркнуть самого себя или до конца дней отдаться на растерзание собственной совести.

Адмирал очнулся от скрежета ключа в замочной скважине камерной двери. И по настойчивой вкрадчивости этого скрежета он, с мгновенно холодеющим сердцем, догадался, что пришли за ним и — в последний раз.

После первого ледяного ожога все в нем словно бы одеревенело и внутренне замкнулось в немотной отрешенности. Он рывком поднялся навстречу неизбежному и замер посреди камеры: «Господи,— четко отпечаталось в его мозгу,— укрепи душу раба своего Александра!»

Гости с керосиновыми фонарями в руках молча сгрудились тесным полукругом по ту сторону дверного проема, чуть ли не вытолкнув впереди себя единственного знакомого ему из них в лицо по недавним допросам — чекиста Чудновского, который, едва перешагнув через порог, так и остался стоять на том месте, куда его вытолкнули, и оттуда же, подсвеченный сзади зыбучим фонарным пламенем, принялся зачитывать Адмиралу постановление Иркутского ревкома.

Слова выговаривал, будто от кого-то отругивался, зло, отрывисто, с вызовом, на Адмирала не глядел, ожесточенными глазами близоруко сверлил бумагу перед собой, и трудно было понять, на кого он больше сердится: на себя или на осужденного.

Выслушав приговор, Адмирал, скорее, чтобы разрядить возникшую напряженность, чем недоумевая, спросил:

— Значит, суда не будет?

Чудновский только нетерпеливо пожал плечами, уступая ему дорогу наружу, и вышел за ним следом в такой близости, что Адмирал ощущал его взбудораженное дыхание у себя на затылке.

Так они и проследовали друг за другом в окружении молчаливого конвоя до самой тюремной конторы, куда вскоре доставили Пепеляева.

Бывший премьер, видимо, уже находился в полной прострации. Тяжелая коренастая фигура его заметно съежилась и обмякла, и без того тусклые глазки еще более провалились, превратившись в едва мерцавшие мертвенным блеском в сером блине бесформенного лица бусины, в синюшных губах едва слышно складывалось молитвенное бормотание:

— ...яко видетса очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...

Брезгливо поморщившись в его сторону, Чудновский резко вскинулся на Адмирала:

— Есть ли у вас просьбы, Адмирал?

— Могу ли я попрощаться с госпожой Тимиревой?

— Нет.— Отказывать ему, быть может, и не доставляло радости, но властью своей он упивался.— Еще что?

— Тогда я прошу передать моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына, а для себя — закурить.

— Если не забуду, то сообщу, а курить — курите.

— Благодарю...

Памятью Адмирал жил еще в том мире, где перед смертью допускалось просить с кем-то свидания или кого-то напутствовать и — что самое удивительное! — получать на это разрешение, но ему дано было лишь предчувствовать, а не знать наверное, что на смену этому миру отныне пришел другой, где людям в его положении уже не с кем будет прощаться и некого благословлять.

А Чудновский тем временем в упор подступился к Пепеляеву:

— Что у вас, только не размазывайте?

Тот словно бы внезапно очнулся от забытья, вздрогнул и, порывшись под полой полушубка, извлек оттуда и протянул Чудновскому сложенный вчетверо листок бумаги.

— Что это? — скривился Чудновский.

— Записка матери,— еле выговорил Пепеляев и добавил с усилием, умоляюще: — Пожалуйста.

— А! — отмахнулся от него тот, небрежно ткнул протянутый ему листок в карман шинели, повернулся к конвою: — Выводите!

В неверном свете керосиновых ламп лица двинувшихся к Адмиралу конвойных вдруг обозначились перед ним резче и определеннее. И он не почувствовал в них ни вызова, ни злобы, одно только тревожное любопытство, окрашенное некоторой настороженностью, словно они все еще ожидали от него какой-нибудь выходки или окрика.

И только один из них — из-под офицерской, не по размеру папахи, тюленьи глаза над пуговкой вздернутого носа,— пропуская его вперед, злорадно осклабился:

— Отвоевался, вашество...

«Господи,— шагнул мимо него Адмирал,— они даже шутить уже разучились по-человечески!»

В безветренной ночи скрип наста под ногами казался почти оглушительным. Сквозь едва подсиненную черноту вокруг все воспринималось резче, выпуклей, объемней, чем обычно. Студеный воздух, обжигая легкие, впервые не забивал дыхание, а клубился под сердцем пьяняще и освещающе. На фиолетовом снегу, заштрихованном размашистым углем соснового подлеска, человеческие тени выглядели до неправдоподобности огромными. Душа жила уже сама по себе, воспринимая окружающее как бы сверху или со стороны.

Пепеляевское бормотание за спиной только обостряло в Адмирале это ощущение все нарастающей в нем отстраненности от всего окружающего:

— ...Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков...

Дорога круто взяла на подъем. Зыбкий свет фонарей выхватил из темноты куцые флотилии торчавших из-под снега в морозной наледи могильных крестов, сразу же за которыми маячило черное полотнище сплошного леса, а над ним, этим полотнищем, плыла навстречу идущим, будто знамение, знак, тавро их судьбы, одинокая, но торжествующая звезда. Его звезда.

Подъем выравнивался на излет, когда сбоку, совсем рядом с Адмиралом, прозвучала надсадная команда Чудновского.

— Здесь,— выплюнул он в ночь.— Конвою развернуться в каре.— И уже пристраиваясь в затылок обреченным: — Пройдите вперед!

Пепеляевское бормотание за спиной Адмирала сделалось громче и надрывнее:

— ...Крестителю крестов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: Тебе бо дадется благодать молиться за ны...

Через несколько шагов Чудновский тихо выдохнул сзади:

— Достаточно. Встаньте рядом,— и, приблизившись вплотную к Адмиралу, впервые за все это время прямо взглянул ему в лицо.— Если у вас есть платок, адмирал, вам завяжут глаза.

— Платок у меня, разумеется, есть.— Он откровенно издевался над собеседником, намеренно подчеркивая это самое «разумеется».— Но завязывать мне глаза не обязательно. Возьмите его себе на память, только осторожнее, в нем зашит яд — может, он когда-нибудь вам пригодится.

Ожесточение в бессонных зрачках Чудновского вдруг схлынуло, острое лицо устало осунулось, в голосе уже не оставалось ничего, кроме обычного житейского н е д о у м е н и я.

— Что же вы не воспользовались этим сами, адмирал?

— Вы безбожник, уважаемый, для вас это будет легче.

— Думаю, что мне это едва ли пригодится.

— Кто знает, уважаемый, кто знает, не зарекайтесь.

(Ты вспомнишь его слова, Чудновский, вспомнишь, когда поволокут тебя сопящие от азарта «молотобойцы»[1] по лестничным пролетам внутренней тюрьмы в ее расстрельный подвал, но не окажется у тебя в те испепеляющие минуты спасительного адмиральского платка, ибо мир, созданный тобой вместе с твоими единомышленниками, зачислит носовые платки заключенных в разряд смертоносного оружия мировой буржуазии!)

— Под твое благоутробие прибегаем,— пепеляевский голос опадал, словно скисшее тесто: — Богородице, моления наша не призри во обстоянии, но от бед избави ны, едина Чистая, едино Благословенная...

Адмирал попробовал было напоследок пробиться к слуху своего напарника:

---

[1] Молотобойцы — заплечных дел мастера *(чекистский жаргон)*.

— Может, простимся, Виктор Николаевич, по-христиански?

— Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть, и нестерпимы возопий Господу во умилении сердца: согревших Ти в ведении и в неведении, щедрый, молитвами Богородицы, удщери и спаси мя...

Пепеляев, видно, находился уже по другую сторону сознания.

В медленно удаляющихся шагах Чудновского чувствовалась грузная тяжесть, и — окажись у Адмирала возможность взглянуть сейчас тому в лицо — он мог бы поклясться, что торжество над поверженным врагом не принесло победителю ни радости, ни облегчения.

— На изготовку! — коротко выплеснулось из темноты, почти одновременно с грянувшим где-то вдалеке пушечным выстрелом.— Пли!

Странно, но Адмирал не услышал выстрела и не почувствовал боли. Только что-то мгновенно треснуло и надломилось в нем, а сразу вслед за этим возник уходящий вдаль винтообразный коридор со слепящим, но в то же время празднично умиротворяющим светом в конце, увлекая его к этому свету, и, осиянный оттуда встречной волной, он радостно и освобожденно растворился в ней.

Последнее, что он отметил своей земной памятью, было распростертое на синем снегу его собственное тело, вдруг ставшее для него чужим.

4

Ленин — Склянскому:

«Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: (шифром). Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежно?»

Из рассказа безымянного чекиста, служившего в охране Ленина в Горках:

«Откровенно говоря, не жаловал я ночного дежурства. Бывало, ближе к ночи, особливо, когда луна, топчешься вокруг дома, а с терраски вдруг, тоненько-тоненько так, вой доносится, аж дрожь по коже. Это, как уже потом узналось, вождя нашего на эту терраску вывозили чистым воздухом подышать, помирать не хотелось, а кому, скажи на милость, хочется?..»

Об Э. М. Склянском:

«В 1924 году снят с поста заместителя председателя Реввоенсовета Республики, отправлен в США и уже там, спустя год, согласно достаточно надежным свидетельствам, утоплен чекистами

в одном из многочисленных американских озер».

Смирнов — Ленину и Троцкому:

«В Иркутске власть безболезненно перешла к Комитету коммунистов... Сегодня ночью дал по радио приказ Иркутскому штабу коммунистов (с курьером подтвердил его), чтобы Колчака в случае опасности вывезли на север от Иркутска; если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме».

Он же — исполкому Иркутского совета:

«Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения Советской власти в Иркутске, настоящим приказываю вам находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, председателя совета министров Пепеляева с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Из книги Роберта Конквеста «Большой террор»:

«Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре, по дороге на допрос, он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас-Воркутинского лагеря, где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод Воркуты, где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других «нежелательных».

Оттуда же — последние слова Ивана Смирнова перед казнью в 1936 году:

«Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».

Сообщение о Троцком:

«20 августа 1940 года во второй половине дня советский агент Рамон Меркадер принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью (о возникшей тогда в троцкистских кругах полемике) и, когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове скрытым под плащом альпинистским ледорубом».

Вот так, господа хорошие, вот так!

5

Воздух в городе казался насквозь промасленным. С утра до вечера вентилятор прокручивал этот удушающий замес жары и влаги, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В такую погоду каждую минуту хотелось лечь пластом на пол, не дыша, не слыша ничего вокруг и ни с кем не разговаривая. Только бездомные искатели счастья, которым некогда было задумываться над завтрашним днем, могли выбрать для своей столицы столь неподходящее место.

За несколько месяцев здешней колготни Адмирал так и не привык к этой стране и ее людям. Правда, из них он чаще всего

встречался с военными или чиновниками, реже — со светской публикой, на поездки в глубь территории и на другие встречи у него просто не оставалось времени, и все же общее впечатление об их национальном характере у него сложилось довольно определенное.

При всей их внешней простоте и раскованности почти в каждом из них ощущался жесткий холодок, отделявший, наподобие некоего панциря, их внешнюю жизнь от внутренней. Поэтому слова, улыбки, жесты, обволакивающее радушие служили им как бы атрибутами для общения с окружающей средой, не выявляя при этом ни их подлинной сущности, ни настоящих намерений.

Удивительным и непонятным в них было также сочетание всеразъедающего скепсиса с болезненным снобизмом. Не испытывая, казалось бы, особой почтительности ни к кому и ни к чему на свете, аборигены в то же время не умели скрыть своего благоговения перед разного рода знаками, чинами, званиями — благоговения, свойственного в России разве лишь исправникам и околоточным где-нибудь в глубокой Тмутаракани. По количеству различного калибра «президентов», «полковников» и «командоров», стаями рыскавших по бюрократическим кабинетам столицы, на душу населения эта страна давно обогнала все жившие когда-либо и здравствующие ныне цивилизации.

Панибратски похлопывая по плечу всякого встречного-поперечного и «тыкаясь» со всеми напропалую, каждый из них тем не менее с обидчивой зоркостью следил за соблюдением субординации, строжайшим образом сообразуя свою развязную фамильярность с существующей в обществе табелью о рангах.

У каждого сословия здесь существовала если не в полном смысле своя униформа, то нечто сугубо характерное в одежде, что отличало его от всех прочих сословий, поэтому на улицах каждый заезжий чужак мог безошибочно отличить конторского клерка от государственного служащего, политического босса от промышленного воротилы, университетского профессора от журналиста, а здешние парады и празднества отличались такой мишурой и помпезностью, будто заранее задавались целью доказать свое неоспоримое первородство перед любыми претензиями Старого Света на этот счет.

Их страсть к критике по любому поводу поначалу ошеломляла своей широтой и свободомыслием. Беспощадному анализу и осуждению подвергалось вся и все, невзирая на значимость явления, уровень круга или положение лица, но — странное дело! — с течением времени Адмирал стал отмечать, что ни разу в его присутствии никто не осмелился возразить своему прямому начальнику, без чего, к примеру, в куда более консервативном русском Морском штабе не обходилось ни одно сколько-нибудь важное совещание.

В частных же разговорах дело обстояло еще своеобразнее. Свободомыслие собеседника простиралось обычно лишь до пределов узаконенных в его кругу табу. Оспаривать общепринятые

этим его кругом истины считалось предосудительным и рассматривалось как плохой тон и неумение вести себя в обществе. Если же несведующий новичок все же пытался отстаивать собственное мнение, воспринимающий аппарат визави тут же отключался навсегда, вычеркивая смельчака из сферы своего внимания и интересов. О, как эти недавние потомки авантюристов и конкистадоров подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело «как у людей», тем самым ежедневно и ежечастно благодатно унавоживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку.

Но что действительно восхищало его в Новом Свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификации, но, слитые воедино целенаправленным процессом, они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность.

Они чем-то походили на больших детей и, разумеется, как всякие дети, считали себя умнее, дальновиднее и справедливее других на земле и выглядели даже трогательно в этой своей наивной уверенности, хотя наживали себе таким образом в нашем не лучшем из миров множество недругов и еще больше хлопот.

Слов нет, они были также великодушны, и незлопамятны, и отзывчивы на чужую беду, но стоило этим прекрасным качествам принять организованные формы, как героическими усилиями прожорливой армии дармоедов, кормившихся около государственной и международной благотворительности, добро их превращалось в свою полную противоположность. В результате забавно было наблюдать их искреннее недоумение перед той неблаговидностью, доходящей порой до слепой ненависти, с которой относились к ним облагодетельствованные народы.

Вот это ощущение собственной мощи и одновременно боязливой неуверенности в себе, присущей всяким неофитам новой цивилизации, замешанное на своеволии первооткрывателей и всех порочных предрассудках, вывезенных ими из Старого Света, и создало, по мнению Адмирала, сплав какого-то абсолютно неповторимого национального характера, способного в своей потенции и обновить, и погубить мир.

Опасность здесь, как думалось ему, таилась в роковом несоответствии распухающей, словно тесто на добротных дрожжах, этой самой цивилизации и ее духовного содержания. Процесс технического развития всходил так беспорядочно и резко, что культура, по самой своей умеренно поступательной сути, просто была не в состоянии угнаться за ним, порождая подчас вопиющие противоречия между повседневным бытом и мыслью, когда человек, занятый в этом процессе, зачастую не имел никаких хотя бы приблизительных общих знаний или элементарных понятий об этике и морали.

В России все, казалось бы, обстояло наоборот, но, тем не менее, это еще быстрее привело к катастрофе, последствия которой, по глубокому убеждению Адмирала, уже невозможно было ни предотвратить, ни направить в какое-либо русло: человек, сам того не сознавая, впервые в истории поднялся не против социальных обстоятельств, а против самого себя, против своей собственной природы.

К сожалению, и тут и там во все времена, вне зависимости от цвета кожи, существовали свои черные. Эти черные были робки, послушны, даже услужливы, но в кажущейся покорности, в их показном раболепии всегда вызревал бунт, тем кровавей и беспредельней, чем дольше и тяжелее длилось их закабаление. Сумеет ли, догадается ли Новый Свет вовремя осознать стерегущую его опасность и добровольно, не ожидая взрыва, исподволь выпустить из гремучей бутылки этот мятежный дух, вот в чем вопрос.

И все же, что бы там ни говорить и как бы там ни судить, в Адмирале за минувшие месяцы сложилось твердое убеждение, что если кто-то еще и в состоянии остановить или преодолеть начавшееся теперь в России сползание в общую пропасть, то лишь она — эта противоречивая, по-своему наивная, напористая и уступчивая, застенчивая и кичливая, воинственная и робкая, но в то же время еще не утерявшая связи с Богом страна.

Рабочий день Адмирал начинал с просмотра утренних выпусков газет и, конечно же, в первую голову, с вестей из России. Сегодня среди броских заголовков об очередном краснобайстве Керенского и чхеидзевской говорильне ему на глаза попалось крохотное, набранное нонпарелью сообщение о нелегальном возвращении в Петроград лидера русских большевистских социал-демократов — Владимира Ульянова-Ленина.

Поданная газетой в пестром наборе разных российских разностей заметка эта не могла привлечь внимания или заинтересовать здешнего читателя, уже привыкшего к бесконечному потоку стремительно сменявших друг друга известий из России, но, едва осмыслив ее, эту заметку, Адмирал почувствовал, как внутри его что-то оборвалось и похолодело; и в нем сразу же с обессиливающей ясностью определилось, что это — начало конца.

Еще в годы, когда имя этого без пяти минут присяжного поверенного только-только выплывало на общественной — да и то полуподпольной! — поверхности, Адмирал, интересуясь запутанным, как всегда в их говорливом отечестве, спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды писучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии.

Сквозь шелуху полых слов, какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая исступленность в собственной правоте, такой накал

поистине дьявольской страсти, что было ясно — этот человек знает, чего он хочет.

Этот человек, в чем Адмирал с годами все более убеждался, знал главное для политика — человеческие слабости и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную свободу, оставляя вне ее посягательств лишь свой личный авторитет — авторитет вождя. Он допускал все, даже, казалось бы, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости. Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любыми богами, но только не перед быстротечной покорностью ему лично, соблазняя ее легкой возможностью, при счастливом стечении обстоятельств, оказаться на его месте. А кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья?

Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачливых предшественников от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида не в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями каст и классов, а во все стороны сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе, и уничтожение такого врага отныне не только освящалось самой Справедливостью, но и вменялось в обязанность.

Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковерным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалась наиболее близкая сердцу толпы идея: пусть будет хуже, зато поровну.

И, что самое поразительное, в чем Адмирал ни на минуту не сомневался, тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло помочь только чудо. И это чудо подарила ему война.

Российская телега стронулась с места и покатила под гору. Возницы менялись один за другим, чтобы тут же соскочить, от греха подальше, на обочину, а повозка все набирала и набирала разбег, и остановить ее теперь мог только тот, у кого тяжелее рука и круче голос, кто не погнушается никакими средствами и не постыдится никаких преступлений. И сегодня такой человек объявился в Петрограде, где среди керенских и чхеидзе у него не оставалось сколько-нибудь серьезных конкурентов и он, в чем Адмирал тоже был убежден, окончательно становился хозяином положения.

По сравнению с этой угрозой все в памяти Адмирала тушевалось, съеживалось, отходило на задний план: жена, сын, собственные планы и карьера. На карту ставилась судьба России и, наверное, не только ее одной. В душе его пока еще едва ощутимо,

исподволь вызревало зябкое предчувствие неотвратимости будущей гибели всего того, с чем связана была его жизнь с ее укладом, традициями и корнями, но именно поэтому он не мог, не допускал мысли, не имел права смириться с этой неотвратимостью: он предпочитал погибнуть вместе с сегодняшним миром, нежели жить в завтрашнем.

С этим он постучался в кабинет помощника военно-морского министра.

Едва он взял на себя дверь и шагнул внутрь, как из полутьмы зашторенной комнаты в его сторону хлынуло разливанное море лучезарного равнодушия.

— Хэлоу, адмирал, рад вас видеть! — белоснежные клавиши ухоженных зубов осклабились навстречу гостю, не угасая до самого конца разговора.— Как продвигается наша работа? Надеюсь, без проблем? В любом случае, адмирал, я всегда к вашим услугам...

Краем глаза Адмирал успел отметить пасьянс, предательски рябивший разноцветными мастями из-под наспех и небрежно наброшенных сверху бумаг: помощник министра явно изнывал от безделья, а потому был словоохотлив пуще обычного:

— Что привело вас ко мне, адмирал? Чем могу служить? В последнее время только и слышно на всех углах: Россия, Россия, Россия! Русские теперь самые модные люди в американских салонах. Что вы обо всем этом думаете, адмирал? Чем, по-вашему, все это может у вас кончиться?

Гость поспешил вклиниться в возникшую паузу и, подхватив тему, коротко изложить суть и цель своего визита.

— К чему так драматизировать события, адмирал? — Улыбка хозяина в душной полутьме кабинета расцвела еще лучезарней и снисходительнее.— В Петрограде просто стало одним демагогом больше, вот и все. Пройдет два-три месяца, и об этом вашем Ульянове забудут так же скоро, как и обо всех предыдущих, если он вообще в ближайшие дни не свернет себе шею или ему ее не свернут. Зачем вам лезть в эту кашу, дайте им всем там перебеситься, толпа в конце концов устанет от этой неразберихи, и процесс войдет в свои берега, тогда и вернетесь себе спокойно, разве вам у нас плохо? Стоит вам захотеть, и вы без промедления будете зачислены на американскую службу. Поверьте, адмирал, мое ведомство сочтет это за честь! Вы совершили в нашем мирном деле целую революцию!

При этом на беспорочно пухлом, как у большого ребенка, лице американца без труда можно было прочесть всю гамму обуревавших его в эту минуту чувств: «О, эти русские, никак не могут без аффектации, подумаешь, историческое событие, некий заштатный социалист выполз из подполья, стоит ли из-за подобных пустяков так взвинчивать себя! Сколько в них еще дикости, в этих слегка европеизированных азиатах!»

Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дискуссию, поэтому в

ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу:

— Я только выполняю свой долг, сэр.

Тот, видно, почувствовал исходящее от гостя нетерпение и тут же, как бы восстанавливая дистанцию, поднялся:

— Как знаете, адмирал, как знаете, вам виднее. В сущности, у нас нет оснований задерживать вас, но, тем не менее, я хотел бы заверить вас, что ваша работа совместно с нами имела для нас огромное значение. Желаю вам счастливой дороги...

Уходя, Адмирал только окончательно утвердился в своем решении: домой и как можно скорее!

6

Во сне к нему пробился отдаленный колокольный звон. Приходя в себя, Адмирал никак не мог отделаться от вязкого недоумения: откуда он — этот звук в таком небольшом японском городке, как Никко, за многие сотни верст от ближайшего берега России?

Густой, протяжный звон заполнял его, вызывая в сонной памяти зыбкое чередование картин и видений давно минувшего: отец в парадной паре перед зеркалом в передней их петербургской квартиры, Крестный ход по Обуховке, над праздничной пестротой которого слепяще сияет золото образов и хоругвей, карнавальная радуга рождественских елок на марлевом фоне январского снега, и сквозь все это укоризненный голос няньки Натальи Савишны: «Ох, Сашок, ох, барчонок мой неуемный, остепенись, не сносить тебе головы!»

Затем одновременно с наступающим пробуждением и чувством реальности к нему возвратилось все то же, точившее его в эти дни тревожное нетерпение: «Пора, свет Александр Васильевич, пора дальше двигаться, засиделся ты тут, у моря погоды не высидишь!»

Солнце сочилось сквозь бамбуковые жалюзи — тихое, ровное, вкрадчивое. Там, за этими жалюзями, облитый зоревым свечением притаился город, весь в колдовской вязи ручьев, ручейков и крошечных водопадов: крылатое скопище хрупких, словно бы карточных крыш вокруг лаковых ярко-кирпичного цвета шинтоистских храмов, в обрамлении зеленых вековых криптомерий. Видно, недаром в Японии говорят: «Не говори слово «кекко»[1], пока не видел Никко».

Второй месяц Адмирал жил здесь в почти игрушечном номере случайной гостиницы, скрываясь от назойливых журналистов и политиканов средней руки, но они настигали его и тут, с вежливым упорством настаивая на своем праве разговаривать с ним: бесшумно вскальзывали к нему в номер, часто и долго улыбчиво кланялись, усаживались против него на корточки и вперялись ему в лицо с вопросительной требовательностью.

---

[1] Кекко — восхитительно *(яп.)*.

И хотя любопытство гостей не выходило обычно за рамки злободневных русских событий, за бездонной тьмой их раскосых глаз Адмирал угадывал их неистребимое любопытство не к нему лично — нет! — а к географическому пространству, которое он для них олицетворял и которое отдавалось в них заманчивым эхом — Россия.

Что-то грозное и неотвратимое чувствовалось в этом их любопытстве, так бывает во сне, когда человек и подсознательно догадывается о призрачности своего страха и в то же время не в состоянии сопротивляться ему. Вот уж воистину: Восток есть Восток!

Окончательно отряхиваясь от остатков дремы, Адмирал без труда вообразил себе предстоящий день. После завтрака, с его утомительно тягучими «чайными» церемониями, без которых здесь невозможно было выпить даже стакан воды, появится Володя Крымов — его новый знакомый, издатель «Столицы и усадьбы», сравнительно молодой, но образованный человек с далеко идущими издательскими и литературными амбициями, и до самого обеда они снова примутся плести и плести по-московски бесконечный разговор о судьбах России, о гражданской войне, о большевиках, о неблагодарности союзников и снова о судьбах России.

Затем, после еще более утомительного, чем завтрак, обеда, к нему потянутся визитеры, один другого усидчивее, и речь опять-таки будет идти все о том же: о российских делах, шансах Белого движения, намерениях союзников, большевистском терроре и по-прежнему — о будущем страны.

И только где-то под вечер ему удастся вырваться из этого заколдованного круга праздной болтовни, чтобы встретиться с Анной и побродить с ней вдвоем по догорающим в отсветах закатного зарева городским улочкам, разговаривая обо всем на свете, но так и не успевая наговориться. И, конечно же, в эти первые в их жизни дни наедине друг с другом главной, выжигающей душу болью была покинутая ими страна.

Еще на Обуховке, едва осознав себя, он проникся острым ощущением своей принадлежности к тому незримому вблизи, но огромному в его воображении телу, что в обиходе звалось Россией, родиной, русским государством. С годами — дома, в гимназии, в корпусе, во флоте — эта звенящая связь только укреплялась в нем, приобщая его к мощи и несокрушимости всего тела в целом. Казалось, нет, не найдется на земле такой силы, какая смогла бы поколебать их, слитых вместе одной историей и судьбой. Окружающий мир выглядел для него таким устойчивым и прочным, что любые политические и военные неурядицы представлялись ему не более чем досадной рябью на ровной глади людского моря.

И лишь после крутого японского урока и грянувшей вслед за ним беды Пятого года в нем впервые пробились и взялись его подтачивать сомнения в извечной незыблемости отечествен-

ной твердыни: слишком уж явно эти встряски обозначили швы, по которым прорисовывалась роковая трещина, разделившая русское общество надвое и навсегда.

И стянуть, заживить эту трещину было уже невозможно, оставалось лишь навести на нее стыдливый грим, но она вновь выявлялась при первой же неувязке: смене кабинета, случайной катастрофе, стихийном бедствии. Любой, даже самой пустячной причины оказывалось достаточно, чтобы стороны немедля вступали в непримиримое единоборство, не считаясь со средствами и последствиями.

Адмирал мучительно доискивался истоков такой непримиримости. Нищета неимущих? Разорение дворянства? Социальная зависть? Утрата веры?

Задумываясь над этим, он в конце концов начинал приходить к убеждению, что, если даже все это вместе взятое и способствовало разделению страны на два противоположных лагеря, оно еще не определяло полностью причины и сути возникшей вражды.

Вдоволь помотавшись по свету, он встречался с нищетой много хлестче и куда непригляднее. Дворянство как производительная сила вырождалось повсеместно. Зависть заложена в природе человека вообще. Вера везде подогревалась лишь самоотречением подвижников да усилиями заинтересованного клира. Россия в этом смысле мало чем отличалась от большинства других стран и людских сообществ, но только в ней слепая злоба достигла такого смертельного губительного накала.

Тогда что же? Словно огромную мозаику — из фактов, фактиков, догадок, печатных и устных свидетельств, снов и химер — складывал он с течением времени мысленный образ страны, смешавшей на своем огромном пространстве сотни языков, десятки вер и верований, множество культур и культов, филий и фобий, суеверий и предрассудков. И монархия, благодетельная в пору географического слияния, когда только воля самодержца в состоянии была удержать в единой узде центробежные силы стремления к распаду, оказалась бессильной, а порою и не желающей соответствовать ее становлению и расцвету. В последние годы он все чаще и чаще возвращался к опалившей его когда-то леонтьевской мысли: не в начале своего пути стоит Россия, а в конце.

Он укрепился в этом своем предчувствии, когда, будучи проездом из Америки в Харбине и Пекине, попытался было собрать в единый кулак разрозненные политические и военные силы, сохранившие еще какую-либо эффективность. Вся его энергия тогда рассосалась в словесной перепалке с расплодившейся после февраля семнадцатого, как саранча, крикливой оравой кандидатов в наполеоны и наполеончики, и он вернулся в Японию разочарованный и опустошенный.

Об этом долгими вечерами он и говорил с Анной, изливая в словах источавшие его сомнения: Боже мой, Боже мой, неужели это и вправду конец?..

Стук в дверь вернул его к яви, напомнив о том, что день начался. Стук прозвучал не по-крымовски, для Крымова он был слишком продолжителен и резок, и не успел Адмирал откликнуться, как на пороге возникла подбористая фигура в штатском, под которым без труда угадывалась отменная строевая выправка:

— Ваше превосходительство,— белые, с нездоровым блеском внутри глаза гостя на юношеском, почти детском лице выглядели чужими,— разрешите представиться: корнет Савин, только что из Сибири, по совершенно безотлагательному делу...

После первой неловкости, вызванной неожиданностью вторжения, Адмирал кивком головы предложил гостю войти, но тот словно и не нуждался в приглашении, ринувшись лихорадочно кружить по крошечной комнате:

— Сибирь ждет, Адмирал,— с места в карьер заспешил гость,— от Приморья до Урала народ жаждет сражаться с большевиками, народу нужен только вождь, и этот вождь — вы, Адмирал.— Во взвинченной экзальтации гостя чувствовалась неподдельная искренность, но тем заметнее проступал в нем отсвет безумия.— Я был у Дутова, я был у Семенова, я был у Калмыкова, по первому вашему зову двести тысяч сабель выступят навстречу врагу. Чехи устали от претензий бездарных самозванцев из Комуча, им тоже необходим авторитет, облеченный ничем не ограниченной властью, антибольшевистские партизаны действуют по всей территории Сибири, я берусь собрать их в один кулак, и все эти силы мы без промедления двинем на соединение с добровольцами на Юг и вместе с ними пойдем на Москву, разгоним там всю эту жидовскую банду и установим порядок.— Он вдруг замер против Адмирала и, вытянувшись по стойке «смирно», щелкнул каблуками стоптанных сапог.— Скажите слово, Адмирал, и я пойду за вами в огонь и воду!..

Гость вперился в Адмирала своими горячечными глазами, и, судя по всей его отчаянной напряженности, готовой каждую секунду сорваться в бег, в лет, в новое лихорадочное кружение, можно было поклясться, что, скажи ему и вправду сейчас слово, да что там слово, кивок сделай, он, не рассуждая более, кинется в любой огонь и в любую воду.

«Боже мой, Боже мой,— передернула Адмирала тоскливая жалость,— проклятое время, оно не пощадило даже таких вот, совсем безусых!»

А вслух сказал:

— К сожалению, корнет, я всего лишь морской офицер и немного ученый-географ, я никогда не имел никакого отношения к политике да и, признаться, не питаю к ней особого почтения, к тому же сухопутная война для меня — темный лес, боюсь, что могу оказаться никудышним вождем и обмануть ваши надежды.

Да, конечно, он лукавил немного, все же надеясь в глубине души если не возглавить борьбу, то хотя бы сыграть не последнюю в ней роль, но сейчас, видя перед собой юнца, почти мальчика,

уже приговоренного своим безумием к собственной гибели, он не счел себя вправе подтолкнуть того в пропасть неосторожным посулом или надеждой.

С каждым словом Адмирала пухлое, с младенческими ямочками на щеках лицо гостя покрывалось красными пятнами, уголки мягких губ обидчиво опускались книзу, рослая фигура расслаблялась и опадала, словно из нее выходил воздух. Когда же смысл сказанного окончательно дошел до него, он молча излил на хозяина такой заряд презрения и брезгливости, что тот не выдержал, отвернулся, почти тут же услышав за спиной стук захлопнутой в сердцах двери.

Но если до этой неожиданной встречи Адмирал еще раздумывал, строил и изменял планы, изучал ситуацию и прикидывал оптимальные варианты, то теперь, после нее, он не смел, не считал для себя возможным долее здесь оставаться: каждый день, каждый час, каждая минута становилась отныне для него невосполнимыми.

Поэтому, когда в номер, как всегда, почти бесшумно вскользнула Анна, он встретил ее с уже готовым решением:

— Надо ехать, дружок, здесь мы только попусту тратим время, теперь не только день — час дорог.

Она не ответила, лишь широко распахнула глаза, как бы вбирая его в себя, и между ними возник и устремился в винтовую высь мысленный, но понятный для них двоих разговор:

«— Ты все же надеешься?

— Я должен надеяться.

— По силам ли тебе этот крест?

— Крест, Анна, всем не по силам.

— Дай-то тебе Бог, Александр.

— По твоим молитвам, душа моя, по твоим молитвам».

А через несколько дней попутное судно уносило их к родным берегам, навстреу связавшей их до конца судьбе.

7

Владивосток встретил Адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты и областники, монархисты и республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники — все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя, с тем чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Всем им явно требовался собственный вождь, который бы освятил своим славным именем их право на существование и вдохнул бы в бесплодные их души искру живой жизни.

Трудно даже было представить, откуда, из каких незримых далей, из какого подполья, из какой житейской трясины России выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончившие курса студенты, аптекарские ученики и сами апте-

кари, сельские фельдшеры, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные поверенные и их помощники, провинциальные журналисты и портные, возжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или на худой конец хотя бы директорами департаментов во всяком, даже самом эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством. И не существовало для них в природе общества преступления, лжи или святотатства, каких бы они ни совершили ради столь заманчивой цели.

Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди справно служили и зарабатывали свой хлеб насущный каким-нибудь иным занятием: отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили страждущим банки, крючкотворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средней руки чиновничество и офицерство, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино, и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалось — «российской общественностью».

Жить бы и жить им так впредь и до скончания века, пробавляясь — между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя «пульками» — разговорами о «сне золотом» и «небе в алмазах», если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу Великой Смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загремел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг никакого применения.

В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное, до того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерства, подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать.

Встречаясь с Адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственно фамильярный тон, будто они целую жизнь только и делали, что запросто, на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением. Когда же Адмирал, прискучив развязностью очередного гостя, вежливо прекращал разговор, на него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие и уже неотвратимые последствия.

Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с Управляющим Восточно-китайской железной дорогой генералом Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним.

Они уже не раз встречались и до этого, одно время Адмирал даже числился членом правления дороги, но договориться до чего-нибудь путного так и не смогли, слишком разными оказались у них отношения к происходящему и взгляды на будущее.

Теперь старик решил, видно, поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры.

В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при

всех регалиях генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотной:

— Дражайший, батенька, Александр Васильевич,— сиял он в сторону гостя близорукими чуть навыкате глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды «а ля Александр Третий»,— куда же это нас несет теперь, сами посудите! Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно, никто не хочет дело делать — норовят учить, понукать, приказывать, а ведь ни опыта, ни положительных знаний — одна фанаберия,— наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов.— Александр Васильевич, Бога ради, просветите старика, что будет, неу́жели,— он так и произнес, по-стариковски с ударением на втором слоге «неу́жели»,— нет выхода, всему конец?

— Но ведь пишут, что Деникин продвигается, и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения,— Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник.— Все может перемениться.

— Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич,— старик даже руками слегка всплеснул от досады,— знаю я Антона Ивановича, еще по академии знаю, хороший солдат, неплохой тактик, но не орел, нет — не орел, звезд с неба не хватает, а политик так уж и вовсе никудышний.— Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру.— С рельсов народ сошел, Александр Васильевич, ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет, а что мы ему взамен предлагаем? Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может. Хоть один день, да мой, вот и вся философия. Не уберегла Россия Столыпина, приходится теперь платить. Слуга я его Императорскому величеству верный и вечный, но, возьму грех на душу, скажу: его вина! — машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу.— С Петром-то Аркадьевичем до такой смуты не дошло бы, да и в войну не влезли бы, чего нам с Вильгельмом делить было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним мы были бы силой! — громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал.— А на союзников не надейтесь, Александр Васильевич, предадут и продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас, по правде говоря, и за людей-то не считают, а Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дражайший Александр Васильевич.

— Где же, по-вашему, выход, Дмитрий Леонидыч? — осторожно спросил Адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее.— Диктатура?

Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью:

— Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич,

одна загвоздка — с кем? — он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная сутолока.— С этими не только Россией — полустанком управлять не договоришься, не люди — шлак, пыль паровозная. Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину, головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, царствие им небесное, и уж, конечно, ни Антону Ивановичу, мужичья кровь сказывается, под ноги смотрят, а не вперед. Одним словом, коренник требуется, пристяжные найдутся. При авторитетном вожде и Деникин на месте.

— Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидыч,— у него жарко перебило дыхание,— подумать страшно.

— Кроме вас некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому...

На том они и расстались.

День шел на убыль. Сиреневое полотнище вечера наплывало из-за океанского окоема, окрашивая окружающее в сумеречные тона. Уличная толчея становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудораженная экзальтация, будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться, и оттого публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное ей время: час, да мой!

Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею — вверх, вниз и снова вверх! — на гигантских качелях своих холмов и впадин, шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков. Раскидистый, гулкий, словно бы висящий у воды город.

Разговор с Хорватом разбередил Адмирала. Прежде он както не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное, он знал только одно, что не останется в стороне, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но к какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он тем не менее никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. Пожалуй, только после первого российского шторма девятьсот пятого года он стал понемногу присматриваться и прислушиваться к событиям внутри страны, пытаясь разобраться в причинах и следствиях происходящего.

Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос: в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся в стране ситуации? Где, в каком качестве, он — кадровый

моряк по профессии и ученый по призванию — сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий? И как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству?

И хотя диктатура и ему виделась сейчас единственной формой самосохранения России, себя он в роли диктатора не представлял, слишком хорошо зная свои слабости: крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а к тому же доверчивым (вовсе непростительный грех для вождя) расположением к первому встречному, обладай только этот встречный покладистостью характера. Все это, вместе взятое, исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть — собственную.

В нынешней России Адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей,— Великого князя Николая Николаевича, но, олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена романовской династии. Да и где он теперь — Великий князь Николай Николаевич!

В этих долгих раздумьях Адмирал и доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладони:

— Не спеши, генерал молодой, от судьбы куда уйдешь, везде догонит, дай на твое счастье погадаю, коли не по душе придется, денег не возьму, не надо, не беги от судьбы, касатик...

Старая цыганка — лицо, как печеное яблоко, в пестром обрамлении платка и лент — вглядывалась в него снизу вверх блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку.

И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности:

— Будет у тебя жизнь, касатик, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы, встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв-трава, как звезда полынная...

Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него, все так же — снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его словно бы издалека:

— Ничего больше не скажу, касатик, иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата, другим заплатишь, много заплатишь...

И тут же исчезла, будто ее и не было тут, а только пригрезилась беспричинно.

Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы уле-

тучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, если бы в гостиничном коридоре, уже на подходе к его номеру, мимо него не прошелестело в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности. Прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив в его сторону рассеянный, татарского разреза глаз.

Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль, только где и когда? Нечто, правда, забрезжило, вместившись в короткий миг,— зима, Петербург, снег на решетках Летнего сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо,— но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как и появился.

«Вот ведь нечаянность,— с мгновенно оборвавшимся сердцем подумал он,— нагадают же!»

Ночью ему снилась большая вода, много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно напоминавшей случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текучие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна.

И угадал: она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье:

— Что вам такое снилось, Александр Васильевич,— от нее, уже одетой и ухоженно подтянутой, исходил легчайший аромат духов и немного — моря,— вы так блаженно улыбались?

— Вы.

— Неужто?

— Честное слово, душа моя, честное слово,— окончательно отряхиваясь ото сна, он наконец-то разглядел ее.— Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя?

Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза:

— Я виделась с Сергеем Николаевичем.

— Да,— едва выдохнул он,— и что же?

— Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же, вы же прекрасно знаете.

— Вы сказали ему?

— Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уже много раз было говорено.

— Значит, со мной?

— С кем же мне быть, Александр Васильевич,— прохладная ее ладонь легла на его запястье,— куда вы, туда и я.

Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. Отныне они остались вдвоем на земле, не испытывая более нужды ни в ком и ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них и не было во вселенной силы, способной остановить это колдовское вращение.

8

И потянулась за вагонным окном страна, всегда словно заново и заново узнаваемая им, но только теперь, не как обычно для него — с Запада на Восток,— а наоборот.

Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом истлевающих трав и листвы вперемежку с черным кружевом отжившего сушняка. В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и, если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станций и полустанков, можно было увериться, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее совсем недавние времена.

На больших остановках, хочешь не хочешь, Адмиралу устраивались торжественные встречи, с обязательными в таких случаях хлебом-солью на блюдце с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременным, собранным с бору по сосенке духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал Адмирала, но, в конце концов прискучив им, он тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не соучаствовать в предлагаемом действе, мысленно отстраняясь от окружающего.

Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих уныло чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду — да, да, чуду! — которого везде от него ждали и которое, как всем хотелось надеяться, он — и только один он! — мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размашистее обставляли устроители эти встречи, тем определеннее представлялась ему вся грозная тяжесть, если не безнадежность сложившегося положения.

Покорно подчиняясь неизбежному, Адмирал заученно принимал хлеб-соль, отсутствующе выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той участью, какую ему готовило его будущее.

Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно.

Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы

выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов?

Ответ здесь напрашивался сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством — умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере.

Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора: пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры!

И лишь однажды, это случилось в Чите, на этом пути, в калейдоскопе мельтешившей вокруг него карнавальной вакханалии, перед ним внезапно, словно в один остановившийся миг, выделился из многоликой толпы знакомый, татарского разреза взгляд, походя опаливший его как-то вечером в коридоре владивостокской гостиницы.

«Господи,— мгновенно пронеслось в нем,— что это еще за наваждение, откуда она здесь?»

Вечером, за чаем, Адмирал не выдержал, поделился с Анной:

— Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы, теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции.

— Помилуйте, Александр Васильевич, милый, что за фантазии, вот уж воистину богатое воображение! — Она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему.— Все гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург, что же в этом сверхъестественного?

Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное:

— А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?

Он затевал эту ставшую уже ритуальной для них игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему будто впервой:

— Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич, не так уж давно это произошло, вы были тогда такой важный.— Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе.— А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телефону ландыши? Целую корзину ландышей, мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мерзлыми, такой по дороге был холодище.— Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой.— Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией.

— Вы думаете, Сергей Николаевич все еще сердится на меня? — бездумно спросил он, но тут же спохватился.— Извините нас, Анна Васильевна.

Она только пожала плечами:

— Не думаю. Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой, он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж Сергей Николаевич, не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее, о нас с вами он, наверное, уже забыл.

Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в кромешной тьме, перед ними проносилась страна, на всем пространстве которой отныне не только для человека, но и для зверя не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться: в кровавом безвременье этой страны каждая живая тварь должна была сегодня заплатить свою цену.

В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор:

— Ты знаешь, что нас с тобой ожидает?

— Знаю.

— Ты готова к этому?

— Я сама выбрала свою судьбу.

— Ты не пожалеешь об этом?

— Теперь уже поздно жалеть.

— Я верю в тебя.

— И я...

Едва поезд остановился в Омске, как Адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация Директории Учредительного собрания во главе с Авксентьевым.

«Вот,— с горечью подумал он,— начинается совдеп на колесах, только слушай».

Авксентьев оказался белокурым, довольно молодым еще человеком с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись с ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко перезнакомил Адмирала со своими спутниками и первым же заговорил:

— Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве Директории Учредительного собрания.

Еще перед этим до Адмирала доходило, что тот с самого своего появления в Уфе поспешил окружить себя стаей адъютантов и приказал называть себя не иначе, как «ваше высокопревосходительство»: новоиспеченная власть, не успев еще опериться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о «золотом веке» и «небе в алмазах» на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столоначальников.

«Стоило ради этого такой огород городить,— разглядывая гостей, горько иронизировал про себя Адмирал,— и лить столько крови?»

А вслух сказал:

— Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатом, сегодня у каждого порядочного человека один враг — большевизм. Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк и в сухопутных делах, в сущности, очень мало смыслю, ваш выбор может оказаться ошибочным.

— Адмирал,— высокий голос Авксентьева налился металлическим пафосом,— сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей: «Кто вы?», сегодня она спрашивает у них: «Где вы?»

Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. О, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты и никогда не практиковавшие адвокаты: в общем и никем не управляемом столпотворении им казалось, что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчеканивается временем в нерукотворные письмена истории.

«Боже мой, Боже мой,— продолжал вглядываться в них Адмирал,— от какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!»

И, чтобы более не затягивать аудиенцию, подытожил:

— Во всяком случае, мне необходимо подумать, господа.

Отпустив гостей, он постучал в купе к Анне:

— Что вы обо всем этом думаете, дорогая?

— Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете, я ваша тень.

Он порывисто опустился рядом с ней и упал лицом в подставленные ею ладони:

— Простите меня.

В ответ она лишь коснулась губами его затылка.

Была тишина.

Глава вторая

ЕГОРЫЧЕВ

1

В слепящей белизне солнечной стужи все видимое вокруг — деревья, люди, даже россыпи редких деревьев над окоемом — казалось угольно-черным. Темной лентой тянулся армейский обоз сквозь сверкающий наст прииртышского редколесья, струясь из-за

одного горизонта, чтобы где-то впереди стечь в другой. Со стороны могло пригрезиться, что у этого обоза давно не было ни конца, ни края и что извилистая вереница санных повозок уже опоясала всю землю и теперь вращается вокруг нее наподобие медленной карусели.

В жажде тепла и спасения люди в повозках тесно жались друг к другу, напоминая издалека бесформенные комья смерзшейся земли, и лишь по хрупким дымкам их дыхания да по исступленному блеску надежды в глазах можно было догадаться о тлевшей в них жизни.

Завороженным взглядом Егорычев следил за ползущей из-под саней мерзлой колеей, вслушиваясь в себя, в свою память, в свою короткую, но такую пеструю и хлопотливую жизнь.

Сколько Егорычев себя помнил, судьба швыряла его из стороны в сторону без отдыха и оглядки. Не успевал он вытащить ноги из одной передряги, как тут же попадал в следующую. Едва осознав себя и окружающий его мир, он уже трясся в переселенческом «столыпине» через всю Россию, мимо заволжских покосов, уральских круч и таежного бурелома к молочным рекам и кисельным берегам Приамурья, где ему тоже не суждено было пустить корни сколько-нибудь надолго.

Тишь в те поры стояла над Россией душная, обманчивая. Где-то под спудом, под грузной толщей ленивой земли, вызревал, все нарастая и нарастая, грозный нутряной гул, выплеснувшись наконец в июле четырнадцатого кратким, но режущим, как вспышка молнии, словом: война!

Уходя по мобилизации, отец ласково наставлял Егорычева на будущее житье:

— Жись, Филя, поперек нас пошла.— В заскорузлых клешнях его подрагивала махорочная самокрутка, а сам он смотрел прямо перед собой, не мигая, будто в огонь или во что-то другое, еще более завораживающее.— Хто знает таперя, когда кончится, а може, и вовсе не кончится. Придется тебе, Филя, без отца горе горевать, успевай только подпоясываться.— С жадностью затянулся, выдохнул вместе с дымом:— Убьют, калекой приду, все одно ты теперь в дому хозяин.

Но хозяйствовать долго Егорычеву не пришлось: в конце шестнадцатого вышел и его срок.

И снова, только в обратном порядке, потекла мимо него страна, пока путь его не уперся в бруствер окопного рва где-то под Черновицами.

Из прошлого в памяти осталось лишь вытянутое следом за ним виноватое от растерянного отчаяния лицо матери внизу за окном вагона да уплывающий в сумерки протяжный перебор гармошки: как родная меня мать провожала!

К тому времени, по всему видно было, война выдыхалась. Хоть и постреливали с обеих сторон, но больше так, не высовываясь, поверх головы, скорее для острастки, чем с умыслом. Окопники

месили грязь во рву, покуривали, поругивались беззлобно, отсыпались коротко в чадных землянках в ожидании почты или скорого замирения. Небо над землей провисало низко и грузно, будто вот-вот собиралось рухнуть. По окопам и землянкам серыми голубями перепархивали листовки. Писалось в них по-разному — и попроще, и позаковыристей, и так себе, но обещали и — все землю, волю, уважение и даже царствие небесное не далее, чем за ближней речкой, и не долее, как к четвергу.

Временами над окопами кружили немецкие «шерманы» и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний, но в отличие от своего — заграничной выделки матерьял споро раскуривался, не оставляя во рту саднящей горечи.

Егорычев бумажки прочитывал, благо в грамоте сызмала поднаторел, только посулами не прельщался, помнил отцовскую выучку: «Обещанного, Филя, три года ждут да еще тридцать три опосля чешутся!»

Так бы и дотянуть ему за окопным бруствером до первого братания, если бы случай не повернул его планиду еще на один полный оборот.

Надо же тому было статься, чтобы на очередной перекличке заполошный взгляд ротного упал на него и задержался пристально:

— Сибиряк, говоришь?

— Никак нет, вашбродь, тульские мы.

— Водохлебы, значит! — подмигнул ободряюще, осклабился прокуренными зубами.— Не прочь, думаю, по деревне с Георгием пройтись?

— Отказываться грех, вашбродь.

— Ишь ты, еще и говорок! — зовуще кивнул уже с полуоборота.— Айда за мной.

В землянке у ротного жилось не вольготнее, чем в прочих: та же темь, та же копоть, та же спирающая дух смесь табака и пота. Только на месте железной времянки вроде стола — деревянный щит на двух стоячих крестовинах с бумагами вразброс и остатками еды поверх.

Ротный с маху раздвинул бумажные вороха на столе, сдернул со стены флягу, из фляжки же ополоснул кружку, налил больше половины, пододвинул гостю:

— Угостись, солдат,— в упор уставился выжидающе,— разговор легче пойдет.

— Не балуюсь, вашбродь.

— Молоканин, что ли?

— Зачем — молоканин, отец не баловал и мне не наказывал.

— Ну, ну, неволить — грех.

Только теперь Егорычев по-настоящему разглядел ротного. На узком, горбоносом лице вразброс расставленные с лихорадочным отсветом глаза казались чужими, настолько не вязалась их яростная озабоченность с этим, будто выточенным лицом и ладной — широкая грудь конусом к талии — фигурой.

— Вот что, солдат, дело у меня к тебе проще простого,— из вороха на столе он вытянул чистый лист бумаги,— как у нас на Руси говорят: или грудь в крестах, или голова в кустах.— Карандаш в его извивчивых пальцах подрагивал и крошился.— Правда, кресты, солдат, прямо скажу, у нас с тобой под вопросом, зато кусты будут на каждом шагу. Слушай меня и на ус наматывай...

По речам ротного выходило, что получен приказ высмотреть поближе немецкие расположения для возможного прорыва на этом участке, а сделать это можно было только с торчащей прямо против ротной позиции высотки, опушенной низкорослым кустарником. Высотка легко простреливается со всех сторон, зацепиться на ней интереса никто не имел, и поэтому она считалась как бы ничьей.

В предрассветных сумерках им с ротным предстояло пробраться туда, днем нанести на карту конфигурацию немецких позиций и затем, с наступлением темноты, вернуться назад.

— Твое дело, солдат, в случае надобности прикрыть отход, остальное — моя забота.— Сдвинул глаза к переносице, насмешливо прищурился.— Не боишься, солдат?

— Перебоялся, вашбродь, притерпелся, страшней войны все одно не будет, выдюжу.

— Ну, ну,— ротный отвернулся и как-то сразу сник, ссутулился, стал меньше ростом,— иди отсыпайся...

Ночь настала — ни звезды, ни проблеска с безмолвной стужей, схватившей землю хрупким ледком. С хрустом проламывая под собой ледяной панцирь, Егорычев полз следом за ротным, и земная твердь гудела под ним от его груза и напряжения.

Там, в темноте кромешной ночи, впереди и вокруг Егорычева, жил, устраивался, клокотал взыскующий и мятежный мир. Люди в нем пили, ели, спали, влюблялись, путешествовали, наживали деньги и разорялись, молились Богу и богохульствовали, рыли окопы и отстреливались, но никому из них не было дела до него, рядового Филарета Егорычева, крестьянского сына тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения, уроженца деревни Губино Бобрик-Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой он полз, прижимаясь к ней и в нее втискиваясь, понимала и принимала его исступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание, и лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение. И неожиданно, как бы помимо его воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось: «Чего все не поделим-то?»

Когда, продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались наконец на взгорье и перед ними возник нижний обзор, впереди занимался жиденький рассвет.

— Залегай, солдат,— не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный,— до ночи времени много.

День длился томительно долго. В серой промозглости зигзаги немецких траншей еле проглядывались, и, если бы не штопорные

дымки над ними, можно было бы подумать, что там никого нет.

Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался вполголоса, сплевывая в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся на бок, завернулся с головой в шинель и сразу, будто провалился в сон, затих, как сурок.

Егорычеву не спалось. Разглядывая внизу, впереди себя, смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным приходится высматривать сейчас место, куда, может быть, уже завтра врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хотя и другой нации, не сделавших ни ему — Егорычеву, ни его ротному ничего худого? Зачем, отчего, за что?

Знать-то он, конечно, знал, много об этом кругом молвы кружилось, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника, но ведь хоть и жалко невинного, его не воротишь, сколько ни убивай и ни калечь друг дружку, сколько ни круши и ни жги чужого добра, сколько ни захватывай барахла или пленных! Чудные дела твои, человече!

В этом горестном недоумении его и настигла дрема. И снился ему знойный сенокос под Епифанью. Мать в белом платке, как в коконе, только одни глаза озорно светятся из-под него в сторону сына: «Что, Филенок, маленько силенок, умаялся?» Вилы в крепких, облитых солнцем руках матери казались почти игрушечными, так легко и споро вырастал перед ней стог.

— Филя-я-я! — кричал с соседней делянки отец, поблескивал потной чернотой лица, расплывался ласково, подзадоривал.— Подмогни маменьке, без тебя не управится!..

Егорычев подался было к материнскому стогу, но тот вдруг всей своей душной громадой обвалился на него, не оставляя ему времени, чтобы посторониться или выпростаться...

Он очнулся придавленным к земле грузной тяжестью чужого тела и сразу уперся глазами в мясистое лицо под каской, шепотно пахнувшее на него смесью никотина и спиртного:

— Рус капут...

Егорычев инстинктивно рванулся было из-под навалившейся поверх него туши, но услышал сбоку усталый голос ротного:

— Отбой, солдат... Ни креста тебе, ни куста, отвоевались...

Так, не успев начать, Егорычев и отвоевался. У судьбы, видно, имелись на него свои особые виды.

2

С пленом Егорычеву повезло. После множества проверок и допросов его, одним эшелоном с Удальцовым, чуть не через всю Германию — с юга на север — отправили в основной, как он назывался, лагерь военнопленных Прейсиш-Голланд, соединенный узкоколейкой с железнодорожной магистралью Берлин — Кенигсберг — Петроград.

С холмистой возвышенности, где располагался лагерь, распахивался широкий обзор на лежащую внизу долину, по другую сторону которой тянулась высокая горная цепь, поросшая лесом. По утрам горы струились вверх голубым маревом, а к вечеру, наливаясь чернью, зубчатой стеной подпирали небо над засыпающей долиной.

Одноименный городок внизу виделся Егорычеву почти невсамделишным, игрушечным, наподобие тех, что доводилось видеть ему на трофейных открытках: за крепостными, фигурной отделки стенами алые крылья остроконечных, под черепицей крыш, увенчанных темно-серым колпаком церковного собора. Маленькое зеркало Германии.

В лагере офицеры были отделены от нижних чинов, но обращение между ними не возбранялось, и Удальцов, пользуясь привилегией старшего по званию, не обходил бывшего подчиненного своим вниманием. Плен как бы стер разницу в их положении, и отношения у них сделались если не товарищескими, то все же более простыми и душевными.

Лагерный быт удивлял Егорычева своей чистотой и упорядоченностью. Ему, выросшему в курной избе и оттуда сразу попавшему в окопы, были в диковинку отдельная кровать с простынею и одеялом, сытная еда три раза в день по звонку, строгое, но вежливое обращение охраны.

«Живут люди! — ободрительно отмечал он про себя, с сожалением вспоминая деревенское свое прошлое.— Нам бы вот так».

Работы по лагерю выглядели для него баловством: уборка бараков и территории, хлопоты с цветочной рассадой и саженцами, дежурство по кухне и прачечной. Со сладкой тоской смотрел он вниз, в долину, где закипала на ровных, будто разлинованных полях весенняя страда. Казалось, каждая жилка в нем ныла, стонала, корчилась от страстного желания взять в руки, пощупать, размять в пальцах эту дымящуюся под ликующим солнцем землю.

При следующем свидании Егорычев не выдержал, открылся напарнику:

— Говорят, Аркадий Никандрыч, теперь к хозяину выпроситься можно, хочу попробовать, а то я тут, как жеребец в стойле, совсем застоялся — глядишь, дурь в голову вдарит.

Тот было удивился, но, внимательно вглядевшись в собеседника, вдруг, словно подхваченный внезапной мыслью, просиял:

— А что, неплохая идея, Филя, может, и мне с тобой? Офицерам вроде бы и не положено, но думаю, что я сумею убедить начальство...

Хозяин фермы, к которому привел их конвоир, долговязый мосластого сложения крестьянин с рассыпчатой копной изжелта-белых волос на твердо поставленной голове, остался, видно, доволен, а когда Удальцов заговорил с ним по-немецки, то и вовсе повеселел и повел осматривать хозяйство.

— Зовут его Аксель Тешке,— вполголоса переводил Егорычеву по дороге Удальцов хозяйскую речь,— у него двести десятин, половина под картошкой, скот в основном рабочий, но и для себя

держит на молоко с мясом, плата — марка в день на его харчах, хочет, чтобы я был у него за разводящего, трудно ему с вашим братом без языка.— Хозяин свернул к двухэтажной пристройке, одной стеной примыкавшей к скотному двору.— Теперь хочет показать нам дом, где мы жить будем.

Крохотная комнатка с кроватью под одеялом и подушкой в наволочке, небольшим столом у окошка, притененного марлевыми занавесками с цветочным горшком на подоконнике, показалась Егорычеву райской обителью.

«Дела! — мысленно представил он себе свою будущую жизнь здесь.— Как у барина!»

И потекла у Егорычева крестьянская маета на немецкий манер: вставал он по привычке раньше других, прибирался, шел на общую кухню, где уже заваривали завтрак для работников, садился за стол, степенно управлялся с едой и, обрядив лошадь перед конюшней, уходил в поле, без того, чтобы ожидать остальных.

Только здесь, среди зеленого разлива картофельной ботвы, дальним концом упиравшейся в лесистое взгорье, Егорычев чувствовал себя полноценным человеком. Дыхание земного естества вокруг него сообщало ему ощущение своей кровной принадлежности ко всему, что растет, дышит и размножается на земле вместе с ним.

Время до обеда проходило быстро, а после обеда еще быстрей, а вечером, отужинав, он отправлялся к себе, где, распластавшись на кровати, с блаженной истомой вслушивался в свое, гудящее от рабочего дня тело, в себя, в чуткую тишину за окном и думал не более чем о завтрашнем дне, когда трудовая страда вновь позовет его воедино слиться в поле с земным естеством.

Но дело делом, а молодость брала свое. Большинство работников на ферме составляли женщины: вдовы, солдатки, засидевшиеся без воюющих женихов девахи. Жадными глазами поглядывали они на русских лагерников, оделяя Егорычева, как самого молодого и здорового, особым вниманием. Внимание это парню, конечно, льстило, но ответно загореться к кому-либо из них ему мешала еще не изжитая им ребячья робость, и поэтому, встречаясь взглядом с зовущими глазами окружавших его женщин, он смущенно отворачивался, опаляясь в сердце удушливым жаром.

Настойчивее других появлялась Марта — совсем молодая еще солдатка с веселым, в россыпи темных веснушек лицом, на котором неизменно сияли в беззвучном смехе две озорные ямочки. Она не упускала случая, чтобы, находясь рядом с ним, показать ему грудную ложбинку в глубоком разрезе своего платья. И при этом с решительной откровенностью нашептывала парню на ухо:

— Русиш зольдат... Гут... Гут, русиш зольдат...

Несмотря на молодость, у нее уже было двое детей, мальчик и девочка, которых на рабочий сезон она оставляла у матери в городке, а сама ютилась в той же, что и Егорычев, пристройке, в такой же, как у него, комнатке, откуда по вечерам растекалось по коридору ее почти беспрерывное, на праздничный лад, пение.

Егорычев впервые в жизни потерял сон и аппетит, все валилось у него из рук, а по ночам он млел и обливался потом от переполнявшего его и еще не изведанного им желания.

Чем бы это кончилось, неизвестно, если бы однажды ночью Марта сама не пришла к нему и не легла рядом с ним, с властной опытностью определив их дальнейшие отношения.

И все закружилось в Егорычеве, облегчающе ввинчиваясь в опустошающую его воронку, а Марта, зарываясь в него распаленным лицом, благодарно шептала ему в подбородок:

— Гут, русиш зольдат... Гут... Зер гут...

И смеялась тихо, счастливо, самозабвенно...

Удальцов же вскоре накрепко сдружился с хозяином. Они всюду показывались вместе и по вечерам часто вдвоем уезжали в город внизу, откуда возвращались, как правило, за полночь и навеселе.

В таких случаях Удальцов обычно заглядывал в пристройку к напарнику, садился на край кровати и выкладывал услышанные в городе новости:

— Нет у нас больше царя, Филя, Временное правительство в Петрограде хозяйничает, кадеты, бомбисты и прочая сволочь,— он закрывал лицо ладонями, упирался локтями в колени, слегка покачиваясь из стороны в сторону.— Куда идет Россия наша, Филя, куда катится?

Но однажды, где-то уже под осень, зашел к нему сразу после ужина трезвый и сосредоточенный:

— Вот что, Филя,— заговорил гость, испытующе всматриваясь в Егорычева,— решил я уходить,— и поспешно уточнил,— домой уходить, там нынче каждый человек дорог, зазорно мне, русскому офицеру, в тепле и сытости отсиживаться, когда страна криком кричит.— И коротко закончил:— Если надумаешь, пойдем вместе.

От неожиданности у Егорычева голова пошла кругом. Все сразу лихорадочно перемешалось в его сознании: завтрашняя работа, Марта, дорожная неизвестность впереди, но из-под всей этой мешанины с самого дна памяти вдруг всплыла перед ним епифанская даль с жидкими перелесками в сизой дымке полевого рассвета, одурняющие запахи летней косьбы в Приамурье, острый запах дымящегося навоза на дворовом снегу, и зашлась в нем душа такой разрывающей ее изнутри тоской, что только и сложилось у него в ответ Удальцову:

— Вестимо.

С облегченными глазами тот принялся деловито излагать ему свой план:

— Уходить надо теперь же, Филя, пока картошка еще на корню стоит, с ней мы с голоду не пропадем. Нам, главное, железнодорожную ветку из виду не терять, она нас прямо к Петрограду выведет, карта у меня есть, не заблудимся. Я ведь родом из Сибири, в лесу, как дома. Хозяин наш, Тешке этот, золотой оказался чело-

век, он нам поможет, сам меня и надоумил, нечего, говорит, вам здесь больше делать, домой пора. Харчами на первое время нас снабдит и, как будем уходить, конвоира нашего еще с вечера напоит, а с утра опять накачает, так что у нас с тобой почти сутки для свободного маневра.

В решающий вечер, когда все уже было готово к побегу, Егорычева потянуло к Марте, хотя бы проститься по-человечески, но постучаться к ней он так и не решился, боялся неосторожным словом выдать себя и тем, может быть, испортить дело. Он вышел во двор, крадучись подобрался к ее окну и заглянул внутрь. Марта, по обыкновению напевая что-то себе под нос, штопала чулки, и веснушчатое лицо ее улыбчиво светилось чему-то глубоко затаенному, но радостному.

«Дай тебе Бог, Марта,— мысленно простился он с ней, подаваясь к воротам, где его уже ждал попутчик с хозяином,— детишек вырастить и мужа живым встретить!»

У ворот хозяин встретил Егорычева дружеским хлопком по спине:

— Леб воль, зольдат... Хильф дир Гот...[1]

И путники след в след шагнули в ночь.

3

Шли по ночам, а днем отсыпались в логах и лощинах, спинами тесно прижавшись друг к другу. Лес расступался перед ними — чистый, ухоженный, походивший скорее на заповедник, чем на дикорастущую чащу. Чуть свет им приходилось, завернувшись в прихваченные с собой одеяла, зарываться в опавшую листву, дремотным сознанием чутко вслушиваясь в звуки и шорохи вокруг себя, чтобы в случае малейшей тревоги успеть подобру-поздорову унести ноги подальше от места опасности.

Картошку пекли изредка и с запасом, чтобы лишний раз не разводить огонь, способный навести на их след погоню. Золу за собой тщательно соскребали, след от пепелища густо засыпали листвой и двигались вперед, по направлению к заветной границе.

По вечерам, в сумерках, снизу тянуло печным дымком, обжитым бытом, садовой прелью, доносилось эхо паровозных гудков в рассыпчатом грохоте проходящих составов, и тогда отзывался в них добрым словом и затаенным сожалением Прейсиш-Голланд, но всякий раз при этом тяга к тому, что определялось в их памяти понятием «родина», оказывалась в них сильнее заманчивого соблазна махнуть на все рукой и вернуться обратно к сытному теплу и надежной кровле.

Говорить им приходилось мало, тревожная дорога не располагала их к словоохотливости, они научились понимать друг друга с полуслова, полувзгляда, полунамека. Порою, правда, когда собствен-

[1] Прощай, солдат... Помоги тебе Бог... *(нем.)*.

ная заброшенность чувствовалась острее, чем обычно, между ними возникал односложный, по прихоти разговор:

— Держишься, Филя? — озабоченно спрашивал напарника Удальцов.— Дотянешь?

— Мне-то что, Аркадий Никандрыч, я мужик, у меня кость черная, земляная, вы-то как?

— Я постарше, Филя, меня фронт двужильным сделал, да и сам я в деревне, среди мужиков вырос, за меня не болей.

— А мне-то и вовсе трын-трава, Аркадий Никандрыч, как люди говорят: Бог терпел и нам велел.

— А раз так, давай спать, Филя.

— Спаси Бог, Аркадий Никандрыч.

— Спи, Филя...

Снилась обычно Егорычеву всякая всячина вперемежку: деревенские разности, солдатчина, Марта, барачная жизнь в лагере и опять Марта, а в промежутках — бредовая тьма или полное беспамятство. Просыпался он в сумерках, весь в отголосках недавних снов. И снова, следом за Удальцовым, поднимался в дорогу.

Чем дальше они уходили, тем приземистей и гуще становились леса, тем ниже небо и холоднее ночи. Картошка сошла, поля внизу дразнились сиротливой оголенностью. Путников спасала лишь дикая ягода, еще отживавшая в чащобах свой летний век.

Время от времени, по ночам перед ними вспыхивали внизу светящиеся острова больших станций, невольно приманивая путников усталых доступной близостью жилья, и однажды, вконец обессилев, они не вынесли искушения, потянулись к такому вот острову, хотя, по их же расчетам, до границы оставалось еще далеко.

У самого железнодорожного полотна они залегли в кустах, напряженно вслушиваясь в голоса и звуки на путях, в слабой надежде выловить оттуда какой-либо спасительный для них знак, весть, отклик. Сначала из мешанины станционной переклички к ним пробился отдаленный говор, в котором еще трудно было разобрать отдельные слова или фразы, но с приближением этого говора в нем все отчетливее обозначились знакомые окончания, а уже через минуту-другую обрывки слов слились в отчетливо русскую речь:

— Возни с этим порожняком, Михеич, будь он неладен, куда ни отгони, везде поперек горла.

— А, Васек, прицепим его нынче к «скорому» и с плеч долой!

— С начальством потом не развяжешься.

— Подумаешь, начальство, развелось их теперь на нашу голову, как собак нерезаных, всем не угодишь.

— И то правда.

— То-то, Васек...

Гулкая радость спасения подхватила Егорычева, оторвала от земли, бросила через кустарник, придорожный кювет и рельсовую паутину навстречу двум керосиновым огням впереди.

— Братцы!

Фонари резко качнулись и замерли во тьме.

— Кто такой? — растерянно отозвалось из темноты.— Осади назад! Откуда будешь?

— Из плена, братцы, из плена мы! — Егорычева трясло восторженной дрожью.— Я и ротный мой! Почитай, из-под самого Берлина идем!

Фонари снова качнулись и поплыли на сближение с Егорычевым.

— Ишь ты,— уже мягче прозвучало оттуда,— через всю Пруссию проперли и фронта не слышали, выходит, ну и орлы!..

— Где же мы?

— Дома, ребята, дома, на Питерской дороге.

Затем они все вместе сидели на гребешке придорожного кювета, подсвеченного керосиновым пламенем, жадно угощались предложенной путейцами нехитрой снедью.

— Отсудова до Питера уже рукой подать, верст триста с малым хвостиком,— объяснял им путеец постарше, сочувственно поглядывая на них глубоко запавшими, в кустистых бровях глазами.— Тут мы вам подмогнем, подсадим на первый попутный и с харчишками тоже сообразим. Только вашего брата нынче больше за шпионов держат, так вы, как схороним вас в порожняке, носу оттудова не показывайте, попадетесь спецу из нынешних, изведут, а то и в распыл пустят, тут теперь пропасть любителей развелось чужую кровь по земле размазывать.

— Вам бы, братцы, только до Питера добраться,— согласно кивал мальчишеским, в первом пуху подбородком молодой,— там нынче все кошки серы и у кого горло громче, тот и пан...

На рассвете путники уже тряслись в сторону Петрограда, наглухо закрытые в порожнем пульмане.

4

Из лагерных рассказов Филарета Егорычева:

«Помню, заявились мы тогда с ротным в Питер, почтой, в чем мать родила, а брюхо к спине присохло, плюнуть на нас и по тому времени некому было, кругом народ сам по себе шатается, никому ни до чего дела нет, пьют да жируют, как перед концом света. Ротный мой кинулся было по родственникам, много их у него там числилось, а их уже и след простыл, разлетелись во все стороны, будто и не жили, благо, квартеры оставили, а то хоть на дворе ночуй. Забрались мы в одну такую, обжились малость и давай по присутственным местам кружить, где нашим братом занимаются. Туда-сюда сунулись, хоть шаром покати, ни единой живой души нетути, одне бумаги по столам шелестят. Ротный мой в крик: «Сволочи! — трясется.— Отсиделись в тылу за нашей спиной, а когда паленым запахло, по щелям расползлись. Только со мной,— кричит,— шутки плохи, я до самого Главнокомандующего дойду! — и ко мне ястребом:— Айда, держись меня, Егорычев!» И понеслись мы с ним в Главный штаб у большого начальства правды искать. Только вышло, что в Главном том штабе еще пустее пустого, не токмо часо-

вого, офицеришки заваляшего и того не встретили. «Куда же они, сукины дети, все подевались,— ругмя ругается ротный,— кто же фронтом распоряжается?» Носились, носились мы с им голым коридором, потом смотрим, большая дверь настежь, а за ней вроде кто-то над бумажками копошится. Ротный заглянул, сразу по швам вытянулся: «Ваше высокопревосходительство,— говорит,— разрешите?» Выглядываю я из-за плеча ротного, смотрю, обличье вроде по газеткам знакомое: волосы ежиком и сам на ежа похож, тут мне сразу в голову ударило: да это же Керенский, собственной персоной! А тут, по-простецкому так, зазывает: «Чем могу служить?» Ну, ротный мой и выложил ему все честь по чести, а под конец попросил: «Отправьте нас, Ваше превосходительство, обратно на фронт, успеем еще до победоносного конца довоевать». Главнокомандующий только в колючем затылке у себя почесал: «Какой уж там,— говорит,— победный конец, поручик, последнее не потерять бы, да и фронта уже никакого нет, одна безначальная толчея. Мой вам совет,— говорит,— пробирайтесь на Дон, там, слышно, что-то затевается, может, и выйдет толк». С тем мы и ушли от Керенского, не солоно хлебавши, но только не на Дон, в другую сторону подались, на родину ротного потянуло, да и мне с им до дому сподручнее вместе было. Сколько нас по дорогам мотало, сколько снести пришлось, рассказать, не поверишь, с год колесили, пока до Омска добрались. Тут-то мой ротный и стакнулся с Адмиралом, на чем они сошлись, не мое телячье дело, а только сделался у него мой ротный начальник конвоя, а я, что ж, моя доля подневольная, где приказывали, там и служил. Так-то вот».

Глава третья

ОНА

1

Ее закружило в одночасье, когда в огне и крике испепелялась Россия и невзнузданные кони метались по земле как угорелые. Но сначала была музыка, очень много музыки, да и немудрено: отец — знаменитый артист, один из основателей Московской консерватории. Казалось, из этой музыки был соткан мир, в котором она себя однажды осознала. И еще — горы: синие по утрам и желтые — к вечеру, с ледяными шапками в отдалении и с низкорослыми зарослями у подножий. Так и срослось с памятью: музыка и горы, горы и музыка.

Семья даже по тем благодатным временам была огромная, со своим вроде бы упорядоченным, но все же слегка безалаберным укладом. За стол, вместе с гостями, которые, кстати, никогда не переводились, усаживалось обычно человек до тридцати, а зачастую и больше. Обносили с двух сторон, а то бы и в полдня не управиться. Ели, пили долго, многоречиво, шумно, а после разбредались по огромному, хотя и несколько нескладному дому, предава-

ясь чисто южнороссийской лени, чтобы, отбездельничав каждый по-своему, снова и в урочный час встретиться за тем же столом.

Почему это вспоминалось именно сейчас, спустя столько лет, в коммунальном ковчеге, где-то посредине мутного московского потопа? Ведь не тем же, не безмятежным своим детством или еще более безмятежной юностью переполняется теперь ее, готовая к отлету в иной мир, душа? Да, да, конечно же, разумеется, не этим, но все же без этого ей не под силу было бы связать концы и начала сомкнувшейся отныне вокруг нее цепи времен и событий.

Помнится, в те годы, как почти все девушки ее возраста, она увлекалась сочинениями российских «властителей дум». Читала запоем, все подряд, без разбору, безвольно втягиваясь в засасывающий омут их словесного самоистязания. Но со временем, исподволь, в ней нарастало чувство сопротивления, протеста как раз вот этому самому их кокетливому мазохизму. Каким-то подсознательным чутьем она улавливала, что в нем, этом мазохизме, при всей его легко узнаваемой достоверности таится некая неподвластная самим авторам, но разрушительная в своей потенции ложь. В чем это выражалось, ей едва ли удалось бы определить в словах, но фальшь прочитанного в конце концов стала ощущаться ею почти физически.

Один, к примеру (с гениальной, впрочем, убедительностью!), звал человечество вернуться к собственному естеству, к природе, прочь от разлагающей душу и тело цивилизации, но ей-то доподлинно было известно, что сам пророк без этой цивилизации шагу не мог ступить, строго соблюдал свой помещичий интерес, а для его прославленного во всех мыслимых языках вегетарианского стола в доме держали специального повара, а от не менее прославленной крестьянской поддевки на нем неизменно исходил едва уловимый запах «Коти».

Герои другого, живущие в тоске по честному труду и мечтой о времени, когда небо непременно должно обрасти алмазами, почему-то всегда окружены толпой услужающей им челяди, которую они, без разбора пола и возраста, во всеуслышание «тыкают», заполняя тома волшебных по тонкости и мастерству повестей, рассказов и пьес пустопорожними разговорами о «золотом веке», долженствующем, по их мнению, наступить вот-вот, по крайней мере не позже следующего понедельника.

Третий же и вовсе от книги к книге тянул однообразный маскарад из философствующих во хмелю или после оного провинциальных купцов, реющих буревестников и благородных цыган с вырванными для осветительных целей сердцами, но при всем своем свободолюбии не стеснялся высокомерно облаивать всякого, кто хотя бы робко пытался возражать его расхожим пошлостям.

(Знать бы ей тогда, что пройдут годы и годы, после которых жизнь надолго, а вернее, до самого конца сведет ее в доверительнейшей дружбе с бывшей женой этого последнего, которая, схоронив своего, отравленного по-родственному собственными дружками, мужа-правдолюбца, станет до конца жизни ходатаем за подругу

несчастного Адмирала! Вот уж воистину неисповедимы пути Господни!)

Прискучив книгами, она со всем пылом юной неофитки бросилась в светскую жизнь: портнихи, магазины, парикмахерские, балы и приемы, легкий, ни к чему не обязывающий флирт (однажды она, как ей вдруг показалось, даже увлеклась всерьез, но вскоре, к счастью, одумалась, рассудительно заключив, что овчинка не стоит выделки), но и это поприще оказалось в конце концов не для нее: вскоре ожидание чего-то неотвратимо тревожного вновь подступило к ее, уже готовому к страстям, сердцу.

Брак случился нежданно-негаданно. Суженый явился, как с неба свалился: герой, овеянный славой Порт-Артура, сорокалетний адмирал, весь в орденах и ослепительных позументах, было от чего сойти с ума восемнадцатилетней девчонке, жаждущей вырваться наконец из-под родительской опеки и зажить своей, свободной от родственных обязательств жизнью.

Но супружеского счастья хватило ей ненадолго. Уже вскоре после рождения сына жизнь опять показалась ей изнуряюще однообразной. Она честно тянула семейную лямку, растила ребенка, играла роль примерной жены, хозяйки дома, хотя заглохшее было на время разъедающее душу ожидание не оставляло ее теперь ни на минуту.

Но однажды на привычной прогулке по набережной Гельсингфорса муж, раскланявшись с проходившим мимо моряком, с нескрываемой уважительностью объяснил ей:

— Это Адмирал-Полярный, тот самый, вы, наверное, уже наслышаны о нем...

Разумеется, она была о нем наслышана. Адмирал был притчей во языцех в светских кругах Балтийского флота: тоже, как и муж,— бывший порт-артурец, еще и отведавший японского плена, талантливый флотоводец, полярный исследователь, именем которого даже назван остров в северных водах, блестящий собеседник. Водить знакомство с ним, а в особенности близкое, считалось в этих кругах весьма престижной привилегией.

Но тем не менее случайная эта встреча на гельсингфорсской набережной едва ли надолго задержалась бы в ее памяти, если бы на другой день она не оказалась на вечере у старого друга мужа, тоже порт-артурца Николая Константиновича Подгурского, где, очутившись лицом к лицу с Адмиралом, с внезапно оборвавшимся сердцем поняла, что такого с ней не было, что прошлого больше не существует и что впереди у нее уже не ожидание, а судьба.

(Мне еще много раз придется фантазировать в отчаянных попытках восстановить возможные разговоры между ними, хотя бы мысленные, и, разумеется, это будет лишь приблизительной имитацией тех, что имели место на самом деле, но за подлинность их первого диалога я готов поручиться головой. Вот он:

— Я так давно искала тебя.

— Разве это было так трудно?

— На это ушла вся моя жизнь.

— Но у тебя впереди еще так много!

— У нас.

— Ты права: у нас.)

И жизнь сразу сорвалась с накатанной колеи и пошла в разгон во все стороны, только проносились мимо лица, голоса, сливаясь в одну ослепительную, хотя и звучащую ленту: от встречи до встречи и снова до следующей встречи, а в перерывах между встречами его записки и письма, которые заполняли серую пустоту повседневного быта: «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу вас,— он казался мне лучшим городом в мире»; «Я всегда думаю о вас»; «Я вас больше чем люблю» и еще, и еще, и еще до летящей в колдовскую пропасть бесконечности.

В этом головокружительном угаре — где им было замечать, как грозно взбухает вокруг них существующий мир? Город жил так, будто земля еще покоилась под ним на трех несокрушимых китах: сытно, размеренно, незамысловато. По вечерам все так же, как обычно, по набережной фланировала публика, в городском саду духовой оркестр разыгрывал одни и те же вальсы, на рейде даже не дымили, а эдак безмятежно подымливали боевые суда.

Война, гремевшая, казалось, совсем неподалеку, виделась отсюда почти невсамделишной. Кто-то ходил в трауре, у кого-то в доме объявлялись увечные, к кому-то приходили письма из германского плена, но все это не отражалось на спокойной глади городского круговорота, разве лишь придавало ему оттенок патриотической респектабельности.

Мало кто чувствовал, что в волглом февральском воздухе уже повеяло пронзительным ветерком угрожающих перемен: толпа на улице становилась все крикливее, прислуга несговорчивее, а извозчики наглее. Газеты же и того пуще: остервенялись с каждым днем в открытую, и, разумеется, прежде всего против власти предержащих. Время Смуты Смут стояло от каждого на расстоянии вытянутой руки, но никто не хотел замечать его, глядя сквозь него или мимо.

В эти самые дни у нее состоялось ее первое объяснение с мужем. В один из его редких теперь наездов, за обедом, после долгого и тягостного для обоих молчания, он начал первым:

— Вам не кажется, Анна, что письма Александра Васильевича к вам становятся слишком частыми?

— Нет, не кажется, Сергей Николаевич.

— Поймите меня правильно, Анна,— ладони его, тяжело лежавшие на столе, напряженно подрагивали,— я хочу лишь одного — ясности. Если вы увлеклись, то в вашем возрасте это извинительно, я постараюсь забыть об этом, если же вы любите друг друга, то нам надо расстаться, хотя из-за этого мне придется уйти в отставку.

И затравленными глазами — в сторону и вниз на свои ладони, полузакрыв набухшие веки.

Она вдруг поймала себя на том, что не чувствует в себе ни волнения, ни растерянности:

— Дорогой Сергей Николаевич,— начала она и сама подивилась спокойной снисходительности своего тона,— решать я, к сожалению, могу только за себя, Александр Васильевич не брал по отношению ко мне никаких обязательств, во всяком случае, до сих пор, но...

Тот не дал ей закончить; внезапно потеряв всякое самообладание, он вскочил с места и заметался, закружился по столовой:

— Вот видите, Анна, вы еще и сами не отдаете себе отчета в том, что происходит между вами и Александром Васильевичем! Вы молоды, у вас просто закружилась голова, я вас понимаю, Александр Васильевич — человек в своем роде необычный, в вашем возрасте нетрудно потерять голову, но подумайте, чем все это может кончиться: у него жена, сын, у вас тоже семья, вы должны одуматься, хотя бы ради детей.— Он остановился перед ней и умоляюще протянул к ней руки.— Анна, дорогая, одумайтесь, еще ничего не потеряно, я попрошу перевода, мы переедем, и у вас это скоро пройдет.— Заметив ее нетерпеливое движение, протестующе заслонился от нее вытянутыми перед собой ладонями.— Не будем больше об этом сегодня, Анна, у вас есть еще время подумать, поговорим окончательно в следующий раз, вы согласны?

Он отчаянно жаждал оттянуть неизбежное, а она не стала настаивать, слишком крепкий и запутанный узел предстояло ей разрубать одним махом, а к этому она была еще не готова.

Но события оказались неотвратимее их намерений. Когда в середине февраля муж получил отпуск и они собрались было в Петроград, выехать из города сделалось уже невозможным. Поезда были битком набиты отпускниками и дезертирами, вместе с которыми устремилась в спасительную столицу вся портовая накипь военных лет: спекулянты, уголовщина, проститутки. О нормальном выезде нечего было и думать.

Благодаря морским связям мужа им удалось вскоре получить каюту на ледоколе «Ермак», направлявшемся в эти дни в Петроград. На нем-то они в конце концов добрались до места, где и застала их февральская революция.

2

Из дневника Анны Васильевны:

«Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли — есть нечего. Так что мы с собой ничего и не привезли.

А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встре-

чали — в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией».

3

Так и запомнился ей на всю ее долгую жизнь этот вечер перед мучительными родами невиданного еще в мире людского взрыва: февраль в Гельсингфорсе, торопливые сборы на вечер в Морском собрании и замерзшие ландыши в распахнутом чемодане...

Боже мой, как давно это было, а все кажется, что это было только вчера!

Петроград уже жил тогда по ту сторону бездны. Бездна разверзлась, отделив время от полвремени, за самый краешек которого уцепилась, исподволь обрастая гнилостной плесенью быта, какая-то невиданная еще и не понятная никому явь. Толпа на улицах приобрела почти карнавальное обличье: цилиндры, лапти, шубы, расхристанные шинели перемешивались со шляпками под вуалью, драными платками и кацавейками. Растекавшаяся повсюду языковая стихия вышелушила из себя несколько обиходных дотоле слов и укоренила их в людском сознании как основу и цель существования. Главным среди них было понятие «достать». «Купить» уже ничего не означало, кроме чисто технического завершения операции по добыче самого насущного: хлеба, молока, масла или дров. И с каждым днем это самое «достать» становилось все более навязчивым, требовательным, жестоким.

Но рядом с этим — кабаки и рестораны на любой вкус и карман, куролесили чуть ли не круглые сутки, печатный товар громоздился на каждом углу, а театры и кинематографы размножались, как грибы после дождя: количество зрелищ заметно преобладало над запасами хлеба.

Муж исчезал с утра, обивая пороги в многолюдных лабиринтах военного министерства, возвращался по обыкновению поздно и, наспех, в хмуром безмолвии выпив стакан жидкого чаю, запирался у себя в кабинете. Встречались за столом, к прежнему разговору они больше не возвращались: атмосфера тревоги и страха, царившая вокруг, не располагала к откровенности.

Днем, в мелочной суете и хлопотах, она отчасти забывалась, слегка отряхивалась от гложущего душу ужаса перед будущим, но по вечерам сердце в ней проваливалось и холодело в невыносимой тоске и темных предчувствиях.

Вести отовсюду слетались одна хуже другой: в Гельсингфорсе зверски убили сослуживца мужа — адмирала Непенина, того самого, что хлопотал для них о каюте на «Ермаке», офицеров кончали самосудом прямо на улицах, в Кронштадте у рва за памятником адмиралу Макарову без суда расправились с цветом командного состава крепости. Главного коменданта и генерал-губернатора города адмирала Вирена закололи штыками на глазах у толпы на Якорной

площади. Лава слепой ярости, подогретая пролитой кровью, мертвой петлей стягивалась вокруг Петрограда.

(Знать бы в те поры разгулявшейся в безнаказанности кронштадтской матросне, что спустя всего четыре года у того же рва их будут забивать, как скот, те, кто выманил их на эту кровавую дорожку: как говорится, знал бы где упасть, соломки подстелил бы, да туго оказалось в ту пору с такой соломкой, ой, как туго!)

Редкие письма от Адмирала тоже не облегчали. В них, сквозь устремленное к ней обожание, с неизменно возрастающим каналом прорывалось негодование происходящим:

«Я хотел вести флот по пути славы и чести, я хотел дать родине вооруженную силу, как я ее понимаю, для решения тех задач, которые так или иначе рано или поздно будут решены, но бессмысленное и глупое правительство и обезумевший дикий (и лишенный подобия), неспособный выйти из психологии рабов, народ этого не захотел».

После прощания с Черноморским флотом Адмирала беспорядочно носило по свету, а следом за ним, нагоняя его в самых неожиданных местах, обваливалось событие за событием: Октябрьский переворот, Брестский позор, начало Гражданской войны. И письма его из Америки, Японии, Сингапура, словно эхо этих, дотянувшихся до него событий, отраженным звуком возвращались к ней:

«Временами такая находит тоска, что положительно не могу найти места. Это много даже для меня».

«За эти полгода, проведенные за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл и я более ими никогда не пользуюсь. Я верю в войну. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков».

«Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь каким-то сном. В такую тревожную ночь в совершенно чужом и совершенно ненужном городе я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти строки.

Даже звезды, на которые я смотрю, думая о Вас,— Южный Крест, Скорпион, Центавр, Арго — все чужое.

Я буду, пока существую, думать о моей звезде — о Вас, Анна Васильевна».

Запойное возвращение к этим письмам заполняло теперь ее свободное время. Не облегчая ей сердце, они освобождали ее от сосущего одиночества. Было отрадно сознавать, что где-то в мире существует дорогой для нее человек, который постоянно думает о ней и переживает вместе с ней все происходящее вокруг них.

Она завидовала своей старшей сестре Ольге, ощутившей себя в окружающем бедламе, словно рыба в воде. В сестре вдруг обнаружилось сценическое дарование. Ольга целыми днями пропадала в студии Мейерхольда, где ее занимали в небольших ролях, возвращалась за полночь возбужденная, счастливая, переполненная впечатлениями:

— Ох, Аня, если бы ты знала, как это прекрасно! — в восторженном изнеможении бросалась она на диван.— Такого еще на русском театре не было, по сравнению с этим Станиславский похож на нафталинный музей, в котором вместо людей двигаются ряженые куклы, а у Всеволода Эмильевича феерия, карнавал, фантастическая клоунада.— Сестра даже зажмуривалась от внутреннего упоения.— Это такой режиссер, Аня, это такой режиссер, он перевернет мировой театр! — и умоляюще устремлялась к ней.— Анечка, у нас на днях премьера «Маскарада», пойдем со мной, уверяю тебя, ты не пожалеешь...

И она пошла. Пошла скорее от все той же тоски, чем из любопытства. Имя Мейерхольд почти ничего не говорило ей, хотя и перед революцией до нее дотягивались сколки, отзвуки, словесная шелуха слухов о его скандальных выходках и спектаклях.

Но то, что ей довелось увидеть, по-настоящему поразило ее. Перед ней на сцене, в прорезях изреженного занавеса, двигаясь в карнавальном хороводе, корчились в муках, плакали и смеялись маски.

Это был действительно маскарад, превративший лермонтовскую малодраму в пронзительную и, как это ни странно, удивительно созвучную стоявшей на дворе эпохе трагедию. Здесь театр обнаженно сливался с улицей, где разыгрывалась в ту пору самая, может быть, бесконечная в истории фантасмагория. Сценическая площадка лишь выхватывала из толпы наиболее броское, характерное, вызывающее, втянув заодно и зрителя в свое магическое действо. Казалось, в мире более не оставалось места для человеческого существа в его первоначальном состоянии. Отныне ему можно было спастись, спрятаться, скрыться только в предлагаемой обстоятельствами личине всеобщего маскарада.

После спектакля сестра чуть не силком потащила ее знакомиться с маэстро. Тот стоял в фойе, окруженный актерами и почитателями, бесстрастно внимал многолюдному восхищению, уверенно возвышаясь над собеседниками взлохмаченной головой.

Когда они наконец пробились к нему, сестра, сияя на него розовеющим от волнения лицом, вытолкнула ее впереди себя!

— Всеволод Эмильевич, это моя младшая сестра Аня, жена адмирала Сергея Николаевича Тимирева, сначала даже идти не хотела, теперь вот жаждет познакомиться.

Длинное, вытянутое книзу лицо Мейерхольда с резко выдвинутым вперед подбородком слегка оживилось:

— Весьма рад, весьма рад, когда-то я был накоротке с вашим отцом Василием Ильичом.— И снова, суше: — Весьма рад. Вам действительно понравилось?

— У вашего театра большое будущее...

Маэстро нетерпеливо перебил ее:

— У театра вообще нет будущего, революция сама по себе лучший театр в истории человечества, у театра остается лишь один путь — слиться с революцией, главное для меня не в том, что я режиссер и актер, а в том, что я большевик...

(Кто бы мог угадать тогда, что, по милости его единомышленников, ему придется заканчивать свои дни на лагерной помойке, а ей, по их же милости, то ли декоратором, то ли билетершей в городском драмтеатре в Рыбинске, ныне, извините, Андропове!) [1]

Разговаривать было больше не о чем.

Возвращались далеко затемно, а в городе уже постреливали. Пьянящее волшебство только что увиденного с каждым шагом выветривалось из памяти, снова оставляя душу наедине с чернотой, прошитой страхом ночи. Пронеси, Господи!

Утром Сергей Николаевич впервые за последние месяцы остался дома. За чаем он даже заговорил, но по нервной напряженности в голосе, по опущенным долу глазам и прерывистому дыханию можно было определить, чего ему стоила эта внезапная откровенность:

— Вы, разумеется, осудите меня, Анна Васильевна, но я вынужден был договориться с ними,— он вяло кивнул на окно позади себя, предоставляя ей самой догадываться, с кем ему пришлось договариваться.— Главное для нас вырваться отсюда, ради этого допустимо поступиться словом.— Здесь он наконец вскинул на нее затравленные глаза.— Да и что значит слово, данное узурпаторам, ведь они не считают нас за людей, в любую минуту им ничего не стоит поставить меня к стенке! Что тогда будет с вами! У них нет закона, они действуют по праву сильного, где гарантия, что они не придут сюда уже сегодня?

И, словно откликаясь на его вопросительный вызов, поздним вечером к ним нагрянули с обыском. Распоряжался всем рослый, флегматичной повадки латыш, весь в коже и портупеях. Он лениво ходил по комнатам, особого интереса к работе подчиненных не проявлял, откровенно позевывал в кулак, а сталкиваясь с нею, всякий раз неуклюже, но галантно расшаркивался:

— Извините, мадам... Приказ, мадам... Миль пардон... Искаем оружий... Приказ Чека, мадам...

Гости ушли за полночь, прихватив с собой в качестве добычи дедовский кремневый пистолет и лицейскую шпагу отца.

С их уходом Сергея Николаевича окончательно прорвало:

— Хамы, хамы, быдло! Не могу больше, не могу! Я им тысячу клятв подпишу, лишь бы от них подальше, хоть к черту на кулички, только не слышать, не видеть их, эти хамские рожи, я сам отвечу перед Богом и своей совестью! — он вдруг смолк, побарабанил костяшками пальцев по столу и уже деловито продолжил:— Я обязался им ликвидировать военное имущество Тихоокеанского флота, завтра мы уезжаем во Владивосток, я не хочу и не могу больше оставаться здесь даже лишнего дня.

Ей было одновременно и жалко мужа, и стыдно за него. Невольно всплыло из недавнего письма Адмирала: «Мы проиграли войну. Кто ответственен за это? Правительство! Да, но не оно только.

---

[1] Городу Андропову возвращено его прежнее название. *(Прим. ред.)*.

Ответственность за это несут прежде всего военные, главным образом офицерство».

Она мысленно пыталась его поставить на место Сергея Николаевича: как бы он повел себя, оказавшись в таком положении, что предпринял бы, стал бы договариваться с теми, кто презрел все людские и Божеские законы, даже ради ее спасения? И в ответ все в ней негодующе протестовало: нет, никогда, ни при каких условиях!

Душной волной нахлынуло на нее все пережитое ею за последние месяцы: голод, холод, мытарства родных в Кисловодске, где их всей семьей несколько раз выводили на расстрел, требуя выдачи несуществующих у них драгоценностей, унижение мужа, поставленного новыми хозяевами на колени. За что? По какому праву? И где конец всему этому?

Забылась она уже под утро сном прерывистым и зыбким. Смутные видения роились перед ней, возвращая ей из глубин тревожной памяти все то же лицо и все тот же голос:

— Где тебя искать, Анна?

— Я сама найду тебя, милый!

— Так долго тянется время.

— Все когда-нибудь кончается, дорогой мой.

— И ожидание?

— И ожидание — тоже.

— Я боюсь потерять надежду.

— А я ею живу.

— Как мне благодарить тебя?

— Тоже — надеждой...

На следующий день поезд уносил ее на Восток, навстречу ему, спешившему к ней с Запада, и старая планета, скрипя на своей оси, величаво плыла под ними.

4

Чем дальше уносился поезд от центра России, тем заметнее оттаивала духом и обликом обитавшая за окном страна. Вчерашний день с его вечным страхом, недоеданиями, уличной злобой казался теперь отсюда просто дурным сном: после пайковой осьмушки — даровой хлеб в вагоне-ресторане, после липких очередей — на каждой станции базары со всякой съестной всячиной, после чадных «буржуек» — укачивающее и ровное тепло спального купе. Было от чего празднично ликовать!

Проплывавшая мимо земля набухала веселой тяжестью, курилась по утрам в прогалинах и чащах, выдыхая вовне сбереженное в зимней спячке тепло, вспыхивала в солнечный полдень оживающей зеленью, рдела на закате всеми цветами радуги, с каждым днем вымывая из памяти тяжесть вчерашней безнадежности.

Остановки зачастую бывали долгими, общие неурядицы дотягивались уже и сюда, но дорожные эти бдения не тяготили ее, наобо-

рот, она жадно хваталась за любую возможность, чтобы побродить по незнакомому городу, узнавая и не узнавая в каждом из них то, что называлось раньше российской провинцией. Выросши в провинции, она, наверное, могла бы с закрытыми глазами пройти по любому такому городу, не заблудившись, настолько все они похожи друг на друга: канцелярская и купеческая кладка в два-три этажа, гостиница и церковь в центре, а вокруг сонная топь приземистых пятистенков под разномастной кровлей, где улицы, люди, жирные свиньи в грязевой жиже сливались в одно безымянное, но пестрое пятно.

И хотя внешне ничего вроде бы не изменилось в их знакомом с детства обличье, над каждым из них нависала теперь едва ощутимая, но забивающая дыхание, как зной в предгрозье, тревога. Окраины как бы отделились от центра и зажили своей особенной от остального города жизнью. Оттуда тянуло острым настоем гремучего раствора вызревавшей там ярости.

В первый раз прорвалось в Иркутске: взбунтовались угольщики на Черемховских копях. На станции образовалась пробка, в которой застряли десятки составов без всякой надежды когда-нибудь стронуться с места. На Восток просачивались только литерные поезда, да и то под усиленным армейским конвоем.

К счастью, Сергей Николаевич был не из тех, кто теряется в подобных обстоятельствах. На другой же день он, вместе с их попутчиками по купе — двумя бойкими лицеистами в бегах,— ухитрились заговорить станционное начальство, представившись уполномоченными некоей японо-американской миссии, и к вечеру они вчетвером уже покачивались на диванах вагона специального назначения в сторону Читы.

Утро застало их на раскатистых виражах Амурской колесухи, построенной еще каторжниками вдоль извивчивой Шилки. Из окна взгляду открывались такие пади и взгорья в сосновых борах, как в мантиях, что порою дух захватывало, до того они казались ей сказочными, а в этих борах, словно причьи гнездовья — россыпи деревенских дворов с маковками церквей на отлете, от которых растекались во все стороны мерцающие огоньки как бы плывущих по воздуху свечей. «Вербная,— вдруг догадалась она.— Со всенощной возвращаются».

Сразу же всплыла перед ней предпраздничная суета в их кисловодском доме: бабушка Буся, с прислугой за тестом на кухне, в который уже раз вспоминает завороженно взирающей на нее сафоновской поросли рассказ своей матери о завернувшем к ним как-то проездом Пушкине:

— Сидит он это, говорит, около меня на кухне, а я, говорит, только-только хлебы испекла, сидит себе, ковыряет ногтищами своими вострыми хлебы мои, ест да похваливает, так всех их и исковырял, пришлось потом свиньям скормить, а то ведь, говорит, и обмирщиться недолго, старой веры была прабабка ваша, Царствие ей Небесное...

И при этом беззвучно смеется тонкогубым ртом чему-то своему, одной ей понятному...

По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыбалтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши.

— Анна Васильевна,— бросился тот к ней,— здравствуйте, какими судьбами?

— А вы?

— Да как-то так вот попал,— продолжал заливаться радостным румянцем Рыбалтовский.— Хочу в Харбин перебраться.

— Зачем? — бездумно, лишь бы поддержать разговор, спросила она.

— А там сейчас Колчак.

— Вот как? — выдохнула она и сама не узнала своего голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны.— И давно?

Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение, он тут же смешался, погас и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею.

Оставшуюся часть пути до Владивостока она не помнила себя. Вокруг нее роились голоса, перед глазами мелькали предметы и лица, мимо окон, в смене дня и ночи, проносился таежный простор, но все это только обволакивало ее со всех сторон, не затрагивая в ней ни слуха, ни зрения: она как бы забаррикадировалась в самой себе, в том самом прошлом, которое составляло с тех пор смысл ее существования. По малым крупицам — обрывкам фраз, отдельным жестам, сбереженной памятью улыбке — она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстротекущем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней один-единственный голос. Его голос:

— Я больше чем люблю вас...

Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо, а потом металась по городу в поисках оказии, пока ее не надоумили обратиться с этим письмом в английское консульство: после Бреста он все еще числился на английской военной службе.

Уже через несколько дней с нарочным ей был доставлен его ответ: «Передо мной лежит Ваше письмо, и я не знаю — действительность это или я сам до него додумался».

Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением: ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты!

Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдавил куда-то в стену перед собой:

— Вы вернетесь?

Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа: для нее — женщины с

головы до ног — нетрудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла.

Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке:

— Я должна его видеть, Сергей Николаевич!

Лишь тут он взглянул на нее, снизу вверх по-собачьи преданными глазами:

— Я не в праве удерживать вас, Анна Васильевна, к тому же это и бессмысленно, но если вы вернетесь, я буду счастлив.

И приник к ее руке с порывистой благодарностью.

5

В Харбине Адмирал не встретил ее, и у нее оборвалось сердце: должно было случиться что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы он не оказался на месте вовремя, тем более для свидания с ней.

После суматошных поисков и расспросов ей, наконец, удалось выяснить, где находится его салон-вагон. Она летела туда, не чуя земли под собой, но часовой на пороге тамбура, лениво позевывая сверху вниз, добродушно осадил ее:

— Его превосходительство на вокзал ушедши, гостей встречать, кажись, из Читы...

Кружа по лабиринтам станционных путей, она опять-таки разминулась бы с ним, если бы в просвете между двумя составами они не столкнулись лицом к лицу.

— Александр Васильевич, милый,— задохнулась она от неожиданности,— что за маскарад?

В английской, защитного цвета, форме он был почти неузнаваем: выглядел меньше ростом, суше, отчужденнее.

— А вы? — Он прижимал ее руки к губам.— Этот ваш траур?

— Зимой умер отец.

— Извините...

Они шли теперь наобум, куда глаза глядят, в полное пространство перед собой, где, кроме них двоих, не было никого, кто мог бы услышать слова, которые складывались между ними.

— Мы не виделись, по-моему, целую вечность, Анна.

— Мне кажется, больше.

— Неужели через день-два опять на целую вечность?

— Теперь каждый день — вечность, милый.

— А вы не уезжайте.

— Не шутите так, Александр Васильевич.

— А я и не шучу,— Он остановился и с вопросительной требовательностью взглянул на нее.— Останьтесь со мной, я буду вашим рабом, буду, к примеру, чистить вам ботинки, вы сами увидите, какой это будет удобный институт.

— Конечно,— ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно,— вы можете уговорить кого хотите, но что из этого выйдет?

Он сжал ее руки в своих и отчеканил твердо, даже как бы с вызовом:

— Нет, уговаривать я вас не буду, вы это должны решить сами...

Затем дни и ночи слились для нее в одну ликующую полосу света, закружившего ее в своем хлопотливом водовороте. Они расставались только днем, когда ему приходилось заниматься делами в правлении дороги у Хорвата, откуда, вымотанный до предела, он возвращался к ней в гостиницу, садился рядом, припадал щекой в готовно подставленные ею ладони и тут же забывался в умиротворенной дреме. Она вглядывалась в его измученное дневной бестолковщиной лицо, боясь высвободить затекающие руки, чтобы не потревожить его, и сердце в ней сладостно обмирало от обессиливающей ее нежности, а губы сами по себе беззвучно складывали над ним вместо колыбельной слова заученной ею еще в детстве от бабки казачьей песни:

Долина моя, долинушка,
Долина широкая!
Из-за этой за долинушки
Заря, братцы, занималася.
Из-за этой ясной зореньки
Солнце, братцы, выкаталося...

В эти минуты она испытывала к нему такую щемящую привязанность, что казалось, нет и не будет на свете силы, которая бы могла когда-нибудь заставить ее отказаться от него. Но днем, наедине с собой, ей трудно было избыть из себя вязкие мысли о сыне и муже, составлявшими немалую часть ее жизни, от которой, оказалось, не так-то просто было отмахнуться.

Главной не оставлявшей ее болью был сын. В начале лета семнадцатого года она отправила его к матери в Кисловодск, где он и затерялся с тех пор и откуда о нем не поступало никаких известий. Ей оставалось только теряться в догадках, корить себя и обмирать от страхов. Дорого бы она дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней. От одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце.

(Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай на Карагандинском лагпункте расскажет ей, как ссученные урки забивали ее сына насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из-под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале и что вообще появился на свет по ее вине для подобной участи.)

Закончить с мужем оказалось тоже не так-то просто, как представлялось раньше. Его умоляющие письма, наподобие охотничьих флажков, тянулись за ней по пятам, опутывая ее, словно зверя, почти непроницаемым для нее загоном. И в каждом из них одно и то же: готов все простить (как будто она в этом нуждалась), забыть (словно такое забывается!), не губить ни семью, ни себя (а что могло их спасти?) и вернуться во Владивосток. Она слишком хорошо знала

Сергея Николаевича, чтобы терзаться совестью за его душевный покой, он утешался так же быстро, как и расстраивался, но походя отмахнуться от прожитых с ним лет ей было невмоготу.

Отшелестел календарными листочками месяц в Харбине, пронизанный праздничной лихорадкой их встреч и ее ожиданий, а она все еще не переставала разрываться между «остаться» и «уехать». Остаться означало разом переиначить свою судьбу заново, уехать — оказаться в житейском капкане, из которого ей уже едва ли удастся вырваться.

С ним об этом она заговаривать не решалась, оберегая и без того быстротечные часы его равновесия и покоя, но однажды он сам вызвал ее на окончательную откровенность.

— Анна Васильевна,— по обыкновению подремывая на ее ладонях, он вдруг открыл глаза, повернулся к ней всем лицом, и она прочла в глубине его тревожных зрачков почти паническую мольбу,— Вы останетесь, не правда ли?

Эта рвущаяся из него мольба и освободила ее наконец от сомнений: отныне она, даже если бы и захотела, не могла, не имела права его оставить.

— Некуда мне от вас уходить, Александр Васильевич,— чуть запнулась, но затем выговорила твердо,— от тебя, Саша.

Весь разом озарившись, он вскочил, мгновенно расправился и закружил, замельтешил по комнате.

— Мы уедем в Японию, я уже попросил отставки, с Хорватом я, видно, так и не сговорюсь, он все еще живет в прошлом веке, одними призраками и химерами, ему продолжает казаться, что положение можно исправить с помощью лишней сотни нагаек или шпицрутенов. Ему, из его китайской Тмутаракани, события в Москве и Петербурге кажутся шалостями избалованных проказников, которым некому всыпать по первое число, а я-то через это прошел, знаю, что не порочные ребятишки безобразничают, а плотину прорвало, удержи теперь этот поток, попробуй, все на своем пути сносит. Пока мы здесь в политические бирюльки играем, огонь сюда подбирается, и почва кругом очень этому способствует, пороховая почва у нас под ногами, не только спички, искры крошечной хватит, чтобы вспыхнуть, а тогда, как в народе говорят, пришла беда — отворяй ворота, костей не соберем.— Он в изнеможении бросился опять на диван, закрыл глаза, успокаиваясь.— Да, да, в Японию, мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями, поговорить с людьми, взвесить все «про» и «контра», решить, что еще не поздно предпринять.— И опять к ней, с той же мольбой:— Анна Васильевна, дорогая, прав ли я, а?

— Для меня — всегда.

— А мне больше ничего и не нужно! — В его излившейся на нее радости было что-то ребячье.— Нет, нет, Анна, я не шучу, кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно! Хотя,— он вдруг мечтательно расслабился,— иногда так хочется уйти, скрыться от всего этого, забыть о том, что творится на свете, запе-

реться где-нибудь на краю земли в четырех стенах и заниматься наукой, одной только наукой, если бы вы знали, Анна Васильевна, сколько драгоценного материала накопилось у меня после моих северных экспедиций, все описать, жизни не хватит! — И тут же, спохватившись, одной лишь снисходительной усмешкой перечеркнул сказанное:— Но если не я, не такие, как я, тогда кто же?

И, словно отвечая ему, из-за окна к ним потянулся отдаленный звон колокола. Долгий, протяжный, оплывающий звук словно взывал к кому-то издалека в надежде на отклик и возвращение. Звук тянулся так долго, гулко и маятно, что, казалось, ему не будет конца.

— Будто знамение! — невольно вырвалось у него, но тут же, смутившись, он поправился:— Странное совпадение, не правда ли?

Как и чем она могла ответить ему, кроме обращенной к нему молчаливой преданности?

А колокол гудел и гудел за окном, в комнате, в них самих.

6

Из дневника Анны Васильевны:

«Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы.

Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — возьми свой одр и ходи: это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевич смеялся: «Мы удалились под сень струй...»

7

Отложившись в них, гул этот затем вобрал в себя их путь через горы, долы и морской простор в сказочное захолустье японской провинции, где однажды снова возник вовне, пробившись к ней в гостиничный номер сквозь бамбуковые жалюзи единственного окна.

Возник, возвращая ее из ленивой дремы экзотической чужбины в гремучую явь оставленной, но так и не забытой ею земли: где-то там, на том берегу хмурого моря, осыпалась, обваливалась в пропасть земная твердь, еще хранившая следы ее ног, и плавился, выгорал воздух, которым она совсем недавно дышала.

В ней, как ожившая куколка в задубевшем было коконе, вдруг затеплилось, зашевелилось чувство боли, потери, горечи, растворивших наподобие щелочи панцирь сковавшего ее здесь обманчивого покоя: видно, не существует на земле места, где человеку удалось бы спрятаться от собственной памяти, настигающей его, будто тень — везде и повсюду, в какие бы медвежьи углы света он ни пытался скрыться.

Колокольный гул заполнял ее, оседая в ней обреченной уверенностью, что нет для нее в этом мире счастья ни с кем и ни в чем,

пока остается в нем хоть один угол, в каком сохранились корни ее родства и душевной сути. Вспомнить, понять, обернуться, увидеть истлевающее в муках прошлое и обратиться в соляной столб — это, наверное, выше сил человеческих.

И тут же ей почему-то передалось, что там, за стеной, в соседнем номере, Адмирал думает о том же самом, и, уже не сомневаясь в этом, она заторопилась к нему, безотчетно охорашиваясь на ходу: он выслушает, он поймет, он решит.

А тот действительно будто ждал ее, сразу же оживился, расцвел к ней навстречу:

— Анна Васильевна, дорогая, у меня к вам просьба, пойдемте со мной в русскую церковь! Слышите, благовестят!

Вышли и подались через весь город туда — на колокольный звон, гулкой струной свисавший с безоблачного неба. Затейливое кружево улиц и улочек, густо прошитое сверкающими в солнечном свету каскадами бамбуковых водопадов, в конце концов вывело их к подбористой, чуть выше кладбищенской часовни, церквушке, подпиравшей высь на городской окраине.

Внутри церквушка выглядела еще игрушечнее, чем снаружи, но и в этой малости прихожан собралось — по пальцам сосчитать, жались по стенам разрозненными группками, заученно повторяя вслед за священником вязь православных молитв по-японски. В душных сумерках людские силуэты и лица гляделись смутным продолжением стенных росписей, и оттого здесь казалось совсем пусто.

Тщедушный старичок священник, на котором колом коробилось новенькое, с иголочки, облачение, невнятно проборматывал неожиданным в нем басом стих за стихом Евангелия, дымил ладаном, помахивал кропилом по сторонам, похрустывал при каждом движении жесткой ризой, будто доспехами.

Она не видела Адмирала, он стоял у нее за спиной, но исходившее от него оттуда взыскующее напряжение передавалось ей, проникая ее предчувствием скорой и уже решающей для них обоих дороги.

— Скоро предвари, прежде даже не поработимся,— беззвучно складывали ее губы, а душа исходила, источалась смертным томлением,— врагом хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби крестом Твоим борющие нас, да уразумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче...

8

Из дневника Анны Васильевны:

«Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна».

Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата».

9

Некоторые сведения об А. В. Книпер-Тимиревой[1]:

Родилась в 1893 году в Кисловодске. В 1906-м семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию кн. Оболенской (1911) и занималась рисунком и живописью в частной студии С. М. Зейденберга. Свободно владела французским и немецким. В 1918—1919 гг. в Омске — переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета Министров и Верховного правления: работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. Самоарестовалась вместе с Колчаком в январе 1920-го, освобождена в том же году по октябрьской амнистии, в мае 1921-го вторично арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922-го в Москве из Бутырской тюрьмы. В 1925 году арестована и административно выслана из Москвы на три года, жила в Тарусе. В четвертый раз взята в апреле 1935-го, в мае получила по ст. 58-10 пять лет лагерей, которые через три месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания («минус 15») на три года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце. 25 марта 1938 года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на восемь лет лагерей; в карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом — художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100 километров от Москвы (ст. Завидово Окт. ж. д.). 21 декабря 1949 года арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950-го отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения, ссылка снята в 1954 году. Затем «в минусе» до 1960 года (Рыбинск.). В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом (Москва), членом артели вышивальщиц (Таруса), инструктором по росписи игрушек (Завидово), маляром (в енисейской ссылке), бутафором и художником в театре (Рыбинск); подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года на пенсии. В 1911—1918 гг. замужем за С. Н. Тимиревым. Замужем за В. К. Книпером с 1922 г. До получения ответа прокурора о гибели и реабилитации сына В. С. Тимирева (1956) носила двойную фамилию.

[1] Сведения эти взяты из исторического альманаха «Минувшее», № 1. *(Прим. ред.).*

Глава четвертая
УДАЛЬЦОВ

1

В июне красные снова прорвали фронт у Сарапуля и Бирска, а уже меньше чем через месяц взяли Пермь и Кунгур. Положение усугублялось разложением в войсках: 21-й полк перебил офицеров и в полном составе перешел к противнику.

Жара на дворе держалась адская, отчего вокруг плохо оборудованных лазаретов принялись расползаться эпидемии. Медикаментов и перевязочного материала едва хватало на иностранцев, со своими же обходились домашними средствами, а практически — стираным тряпьем, хлороформом и касторкой. Угрожающе чувствовалось, что наступает перелом, и чем дольше, тем безнадежнее.

В эти дни Адмирал, оставаясь внешне спокойным, терял последние остатки самообладания. Укоренившаяся привычка в минуты волнения врезаться перочинным ножиком для чинки карандашей в подлокотники кресла заметно усилилась: на подлокотниках теперь, что называется, не оставалось живого места.

В такие минуты он предпочитал никого не принимать и встречался, и то по долгу службы, лишь с Удальцовым, а поздним вечером — с Анной Васильевной. Адмирала Начальник конвоя изучил давно и досконально, поэтому лишний раз ему на глаза не показывался, справедливо полагая, что, когда понадобится, его позовут.

К Анне же Васильевне Удальцов относился почти с благоговением, но понять ее до конца или хотя бы приблизиться к такому пониманию Удальцову было просто не под силу. Казалось бы, природа не обошла ее ни одним достоинством или замечательным свойством. Ум, красота, обаяние, умение держаться и владеть собой, но — вот поди ж ты! — она держалась от Адмирала всегда на расстоянии, словно оберегая этим что-то такое, только для них двоих важное и дорогое, к чему не должно пристать ни одного, даже самого малого пятнышка.

Разумеется, Удальцов знал о них все или почти все, иного и быть не могло, каким бы он тогда оказался Начальником конвоя, но это его сокровенное знание лишь увеличивало в нем чувство самоотреченной привязанности к ним обоим.

Скажи ему, пожалуй: «Пусти себе, Удальцов, пулю в лоб ради них двоих!», кажется, пустил бы, не раздумывая. «Такое счастье, видно,— думал он,— на миллион двум выпадает, а то и реже!»

Поэтому, когда однажды Адмирал вызвал его и, виновато отводя от него издерганные глаза, предложил часть конвоя передать обескровленному фронту, он лишь вытянулся и с готовностью щелкнул каблуками:

— Когда прикажете выступить, Ваше высокопревосходительство?

Только тут Адмирал вдруг внимательно взглянул на него про-

никающим взглядом и, как впервые по-настоящему узнавая, совсем по-детски озарился откровенной радостью:

— Что же мешкать, полковник, тотчас поступайте в распоряжение генерала Дитерихса, и с Богом!

— Я всего лишь ротмистр, Ваше превосходительство.

— Старшие не ошибаются, полковник.

И снова озарился все так же: по-детски обезоруживающе.

Удальцова подхватила такая жаркая волна, смешанная из восхищения и сочувствия к этому большому ребенку, что все принятые в таких случаях уставные формулировки разом вылетели у него из головы.

— Благодарю вас, Ваше высокопревосходительство.— И уже на прощание, сквозь спазмы в горле, с порога: — Бог не выдаст, Ваше высокопревосходительство...

Во дворе плыл, плавился душный день. У коновязей, отмахиваясь хвостами от мух и шмелей, томились осоловевшие лошади. Воздух казался выжатым под прессом безоблачно-гремучего неба, отчего все живое укрылось в тени кустов и построек.

Но стоило Удальцову появиться на штабном крыльце, как перед ним, словно из-под земли или вот этого, обессилевшего от самого себя воздуха, возник безмолвный, но, как всегда, ко всему готовый Егорычев.

— Такие дела, Филя, придется идти на фронт подпирать, Верховный обращается к сознанию своего конвоя...— Он хотел было продолжить, но, едва сойдясь с ординарцем глазами, догадался, что незачем, поэтому закончил совсем буднично: — Собирай молодцов, выступаем.

Тот, как появился, так и пропал, будто растаял в расплавленном воздухе...

У Дитерихса в кабинете, как в келье у послушника: икона на иконе, пахнет воском и ладаном. На столе — штабные карты вперемежку с молитвенниками. Если бы не генеральский мундир на хозяине, его можно бы тоже принять за схимника: лицо одутловатое, болезненно бледное, глаза полуприкрыты, пухлые руки лодочкой сдвинуты у подбородка. На вошедшего даже не взглянул, произнес неожиданно густым басом:

— Положение отчаянное, Аркадий Никандрыч, если не безнадежное, что делать — ума не приложу, в некоторых дивизиях по триста — четыреста боеспособных единиц, но когда положение безнадежное,— тут он поднял наконец на собеседника пухлое, в черных усах щеткой, лицо,— то, разумеется, зовут Дитерихса, а ведь я предупреждал, в самом начале предупреждал, что Пермь — это случайно удавшаяся авантюра.—Он скорбно вздохнул и снова прикрыл веки.— Ох уж эти нынешние наполеоны из бывших статских фельдшеров и полицейских исправников! Драть их надо почаще, а не войсковые соединения доверять! — Тут он, будто с неохотой, поднялся лицом к иконе Божьей Матери в красном углу, истово, с известным даже экстазом перекрестился.— Не оставь ма-

тушку-Россию, заступница наша вечная, не допусти ее бесноватым на поругание! — И уже окончательно поворачиваясь к Удальцову, будничо поинтресовался: — Кони оседланы?..

Через час спешных приготовлений конная колонна со штабным значком Главнокомандующего впереди уверенной рысью двигалась на Ишим. Даже неопытному глазу представлялось совершенно очевидным, что никакого фронта вообще не существовало, фронт давным-давно исчез, расползся во все стороны, не зная да и не имея особой охоты знать, где у него какие-либо концы и начала. Еще труднее было отыскать в этом хаосе разрозненных повозок, пеших и конных, здоровых и раненых хоть какое-то подобие командования, которое пыталось бы управлять этим хаосом.

Единственно, что могло еще если не изменить ход событий, то, во всяком случае, собрать эту одышливую мешанину во что-то целое, был успех, пусть самый маленький, самый иллюзорный успех.

И Дитерихс несомненно это понимал.

— Вот что, Аркадий Никандрыч,— генерал повернул к Удальцову вдруг заострившееся и почерневшее лицо,— видите ту деревеньку под самой рекой? Если сейчас же, с ходу нам удастся ее взять, полдела будет сделано, люди опомнятся, вид хорошего подкрепления — лучшее лекарство от паники, а там посмотрим, на войне случай — великое дело.— И сразу же скомандовал: — Развернуться двумя лавами... Ну, с Богом, братцы!

Удальцову никогда не приходилось участвовать в конной атаке. Поначалу у него даже дух захватило: сливаясь с крупной рысью передовой лавы, он всем своим существом чуял ее всесокрушающую красоту и мощь. И только у самой деревни, у ее окраинных садов скорее осознал, а не услышал, что их беспамятное «ура» перекрывает прерывистый лай пулеметов, но, прежде чем почувствовать страх, увидел перед собой искаженное ужасом лицо пулеметчика и, опускаясь всем корпусом вместе с шашкой к этому лицу, почти со звериным восторгом увидел, как стриженый череп у того разваливается надвое под ее острием.

Так близко, почти у себя под рукой, Удальцов видел смерть впервые в жизни. Наверное, оттого, когда схлынуло мгновение первого торжества, он вдруг ощутил в себе, во всем своем теле такое опустошение, такую, почти нечеловеческую, усталость, как если бы внезапно сделался совершенно полым. Тогда Удальцов впервые оглянулся, поднял глаза к знойному небу, и оно неожиданно увиделось ему изжелта-желтым. «Господи,— безмолвно взмолился он туда, в это небо,— по плечу ли мне такой груз!»

2

Из записок генерала Филатьева[1]:

«Удар был очень удачен: весь правый фланг красных был совер-

[1] Генерал-квартирмейстер штаба Адмирала.

шенно разбит и отброшен за Курган; на всем остальном фронте они спешно отходили за реку Тобол, бросая большую военную добычу. Заключительным актом этого удара и должен был служить натиск казаков в тылу красных для окончательного их разгрома. Тогда Омск действительно получил бы большую передышку. 10 сентября казакам назначено было произвести удар.

С началом успеха Адмирал выехал на фронт к казачьему отряду, и 10 сентября, вместо донесения о начале налета, Дитерихс получает от самого Адмирала телеграмму: «Ввиду переутомления войск и в особенности казаков, остановил войска на трехдневный отдых. Очень Вам благодарен за успех». Надо заметить, что до этих пор казаки ни в каких столкновениях не участвовали, а просто следовали походным порядком за левым флангом Дитерихса.

Остановка наступления, конечно, дала возможность красным одуматься и подвезти подкрепление в три дивизии, и в середине октября они сами сделали такой нажим, что 3-я армия генерала Сахарова неудержимо покатилась вдоль железной дороги на Петропавловск.

Не следует закрывать глаза, что в неудаче 10 сентября, точнее сказать, в невыполнении генералом Ивановым-Риновым поставленной ему задачи, значительная доля вины падает на главнокомандующего генерала Дитерихса. Он знал, что полицейская ищейка Иванов-Ринов не имеет никакого понятия о командовании войсками, следовательно, под тем или иным предлогом он должен был не допустить его становиться во главе казаков в такую ответственную минуту, а если это было невозможно сделать по причинам внутренне-политическим, то ему самому надлежало быть при казачьем отряде. Во всяком случае, ему следовало энергично протестовать против вмешательства Адмирала в его боевые распоряжения и доложить, что остановить войска на трехдневный отдых в такую минуту является тягчайшим воинским преступлением. Но, увы, как общее правило, все наши старшие начальники страдали одним и тем же недугом — полным отсутствием гражданского мужества в отстаивании своего мнения. Это не так бросалось в глаза в нормальное время, как с первых же дней революции.

С неудачей под Курганом пробил предпоследний час Адмирала как Верховного Правителя, его правительства и всей Сибирской Белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск. Время было обратиться к какому-либо осуществимому плану, чтобы спасти хотя бы то, что было доступно».

3

На другой день ввечеру в здании городской женской гимназии устраивался бал в честь победителей. И хотя Удальцов в некотором роде мог считать себя героем дня, особой охоты тащиться туда у него не было. В самой атмосфере этих балов, все учащавшихся по мере ухудшения общей обстановки, чувствовалось что-то обре-

ченное, будто в бравурной музыке на официальных похоронах.

Каждый в таких случаях смотрел на каждого, и на себя самого в том числе, как на участника заранее отрепетированного маскарада, в котором следовало изо всех сил разыгрывать спокойствие и непринужденность, долженствующие свойствовать подобного рода сборищам вообще и во все времена. Но каждый в то же время прекрасно сознавал, что участвует в очередном самообмане, что никакими благотворительными балами уже ничего не поправишь и что лучше было бы не мучить себя и других, а побыстрее разойтись по домам, где, оставшись наедине с собой, взглянуть в свою душу, как в бездну, и если не задохнуться от собственного страха, то хотя бы попытаться в трезвом размышлении перед самим собой преодолеть его упованием на лучшее или молитвой.

Но узнав, что Верховный отправляется туда же, Удальцов счел себя не вправе манкировать своими обязанностями даже в такой, на посторонний взгляд житейской ситуации.

Первый, с кем он столкнулся, оказавшись в гимназическом вестибюле, был генерал Нокс. И хотя отношения их до сих пор оставались чисто официальными, тот, не чинясь, первый бросился к нему с поздравлениями.

— Рад вас видеть, полковник! — Почти незаметно усилив интонацию на последнем слове, он явно подчеркивал свою осведомленность.— Блестящая операция! Говорят, вы оказались в самом пекле? Скажите, полковник, что я могу для вас сделать?

У этого человека было все безукоризненно, от пробора до произношения. Он выглядел джентльменом с головы до ног, но понять, что же все-таки происходит в стране, где он представляет Королевство Ее Величества, ему, при всей его профессиональной наблюдательности, оказалось не под силу. Для него Россия представлялась чем-то средним между Индией и Непалом, проблемы которых решались в его ухоженной голове с простотой, достойной умственного уровня английского денди.

Но, надо отдать ему должное, Нокс старался, Нокс очень старался, а одно это заслуживало снисходительности.

— Благодарю вас, генерал,— как можно дружелюбнее откликнулся Удальцов.— Лично мне ничего не нужно, вот если бы вы помогли мне немного поприличнее обмундировать моих солдат, я был бы вам весьма признателен. По правде говоря, мне на них самому смотреть совестно.

Джентльмен мгновенно захлопнул раковину своего радушия, сделавшись сухим и чопорным:

— Постараюсь сделать все, что в моих силах.— Но тут же несколько смягчил свою, как, видно, ему казалось, слишком заметную холодность.— Тем не менее, полковник, что бы ни случилось в вашей жизни, вы можете всегда рассчитывать на мою помощь, слово английского офицера!

«Разведчика»,— мысленно уточнил Удальцов, глядя в натренированную верховой ездой стройную спину англичанина, но

при этом Нокс так и не вызвал у него ни раздражения, ни, тем более, неприязни: не лучше и не хуже других иностранцев, прикомандированных к ставке Верховного, скорее, даже лучше!

К Адмиралу было не пробиться сквозь штабную свиту и дамское окружение, но наметанным глазом Удальцов сразу определил, что его молодцы из Конвоя расположились вокруг Верховного с таким точным расчетом, что сколько-нибудь опасной личности доступ туда оказался закрыт наглухо.

А бал тем временем закручивало все лихорадочнее. Гимназистки старших классов, впервые в жизни очутившиеся в такой волнующей близости с офицерским обществом, наподобие пестрых бабочек порхали по всему залу, бесцеремонно расхватывая смущенных их жадным напором кавалеров.

Вот тогда-то, в тот не по-сентябрьски душный вечер, Удальцов и выделил из этого роя обгоравших в своем первом взрослом восторге мотыльков одного — с тонким, почти еще детским лицом, добрую половину которого занимали распахнутые от восхищения всем происходящим, густо-василькового цвета глаза. «Боже мой, Боже мой,— обомлевая подумал он тогда,— неужели такое бывает да еще и наяву!»

Ему, конечно, ничего не стоило пригласить ее на любой танец, он был в центре внимания, и она была бы только счастлива разделить с ним сегодняшнее торжество, но едва Удальцов решался, как что-то всякий раз останавливало его. Эта внезапная робость ему самому была в новинку: он — стреляный-перестрелянный ловелас и гуляка — вдруг спасовал перед первой попавшейся ему на глаза гимназисткой. Он даже пытался посмеиваться над собой, но в конце концов ему пришлось признаться себе, что пасовал он все-таки не перед ней самой, а перед ее прямо-таки вызывающей беззащитностью. Наверное, эта хрупкая ее невесомость и служила ей лучшей защитой от слишком откровенных посягательств.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего, очередным романтическим воспоминанием, если бы гимназистку не подвели к нему ее собственные родители:

— Вот полюбуйтесь,— тучный, страдающий одышкой, хотя и не старый еще, отец обливался смущенным потом,— жаждет познакомиться с героем дня, а собственного духу, простите, не хватает,— и под строгим взглядом довольно сухопарой жены поспешил с представлениями.— Простите ради Бога, полковник, в этом бедламе часом о простейших приличиях забываешь! Статский советник Иоан Аристархович Катушев, по пароходной, так сказать, части, речной жук, извините, а это моя дражайшая половина Анна Петровна, урожденная Тальберг, а это, так сказать, наше единственное чадо Елена, прошу любить и жаловать.

Преодолев весь этот многоступенчатый период, Катушев наконец отдышался и поспешил ретироваться, но целенаправленно — в сторону буфета.

Во все время, пока мадам Катушева старалась занимать по-

четного гостя светским разговором, Лена смотрела на него еще шире прежнего распахнутыми глазами, будто силилась вобрать его целиком, без остатка в их густо-васильковый омут, чтобы уже никогда не выпустить оттуда.

(А ведь преуспела гимназическая пигалица! Долгие-долгие годы потом тянулся Удальцов за этим омутом по всему свету, но, по правде говоря, никогда и не жалел об этом!)

На прощанье мадам Катушева настоятельно просила не обходить их пристанища стороной, бывать запросто, в любое время, благо живут они не за тридевять земель, а в двух шагах от губернаторской резиденции, где размещалась ставка Верховного, в собственном доме.

Собеседницы уже отплывали от него, когда он, едва опомнившись от только случившегося, вдруг увидел, что адмиральская свита направляется к выходу, по привычке метнулся следом, но дорогою не выдержал, обернулся и тут же встретился с тем же широко распахнутым в его сторону васильковым колдовством. «Неужели судьба? — растерянно озадачился Удальцов, вынося разгоряченную голову в сентябрьскую ночь.— Вразуми, Господи!»

4

Сентябрьский успех оказался для армии Адмирала последним. И, как всегда в таких случаях, паутина общего тлена принялась опутывать не одних только людей или предметы, но даже, казалось, самый воздух, которым приходилось дышать. Тьма, сплошной завесой двигающаяся с запада, виделась теперь даже незрячему окончательной и неотвратимой.

С каждым днем Адмирал становился раздражительнее и угрюмей. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлая сплетня оборачивались для окружающих бурными сценами или молчаливым бешенством, что было еще неприятнее. С министрами он вообще теперь разговаривал, как с опостылевшей дворней.

— Что! — кричал он, принимая одного из них с докладом.— Опять новый закон? Нет уж, увольте, дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно сделать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи! И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятели. Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом, в них нет огня, активности. Если бы вы, вместо ваших законов, расстреляли пять-шесть мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше. Министр может сделать все, что он захочет. Но никто сам ничего не делает. Вот вы излагаете мне разные дефекты управления, ваш помощник их видел — что же вы сделали, чтобы их устранить? Отдали вы какие-нибудь распоряжения?

Потом горячо убеждал второго:

— Они могут взять Омск, если Деникин придет в Москву. Я знаю, что большевики обрушатся тогда всей силой на Сибирь. Я боюсь, что мы не выдержим... Вы правы, что надо поднять настроение в стране, но я не верю ни в съезды, ни в совещания. Я могу верить в танки, которых никак не могу получить от милых союзников, в заем, который исправил бы финансы, в мануфактуру, которая бы ободрила деревню... Но где я это возьму? А законы ерунда, не в них дело. Если мы потерпим новые поражения, никакие реформы не помогут. Если начнем побеждать, сразу и повсюду приобретем опору. Вот если бы я мог как следует одеть солдат и улучшить санитарное состояние армии! Разве вы не знаете, что некоторые корпуса представляют собой движущийся лазарет, а не воинскую силу? Дутов пишет мне, что в его оренбургской армии более половины больных сыпным тифом, а докторов и лекарств нет. Во всем чувствуется неблагоустроенная и некультурная окраина, которой напряжение войны не по силам. Устройство власти — это менее важный вопрос, чем ресурсы страны и снабжения. Я понимаю, что большевики действуют, как шайка, которая повсюду насадила своих агентов и не только дисциплинировала их, но и заинтересовала привилегией положения. Я не имею партии, никогда не соблазняю преимуществами и не верю в то, чтобы деньгами или чинами можно было преобразовать наше мертвое чиновничество, но если можно как-нибудь изменить систему управления, то я хотел бы этого...

Третьего пробовал уговаривать:

— Я знаю, вы имеете в виду военное положение, милитаризацию и так далее. Но вы поймите, от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой Розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне. Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики и эсеры, или ваши члены Экономического Совещания, или ваши же губернаторы.

Частые смены его настроений смягчали только деникинские успехи на Юге, но и этого ему стало доставать ненадолго: ноша заметно начинала перевешивать его силы. Теперь, отпуская очередного докладчика, Адмирал просил Удальцова остаться, чтобы в очередной раз излиться перед ним в приступе внезапной откровенности:

— Прав был, тысячу раз прав был наш Пушкин, когда учил нас в «Капитанской дочке»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Впрочем,— мрачновато усмехался он,— другие не умнее и не добрей, разве что короче...

За те многие, почти в год длиною, месяцы, что Удальцов находился при Адмирале, он достаточно хорошо изучил его. В этом удивительном для него человеке сочетались самые, казалось бы, взаимоисключающие качества: отзывчивая доброта соседствова-

ла с напускной суровостью детское упрямство с безвольной уступчивостью, а редкостное великодушие с крайней жестокостью. Но — странное дело! — казалось, избавься он хотя бы от одной из этих черт, цельный облик его несомненно потускнел бы, а то и вовсе сошел на нет. В этой его мятежной противоречивости и таилась для Удальцова колдовская притягательность Адмирала. Такого человека он ждал всю жизнь, а дождавшись, предался ему отчаянно и самоотреченно.

Последняя поездка в Тобольск лишь окончательно утвердила в Удальцове его слепую привязанность к Адмиралу. Плыли на фронт, которого не было, и говорили с народом, который давно потерял охоту кого-либо слушать. Плыли по осенней, черного колера воде Иртыша мимо унылых топей и затаившихся пред зимней спячкой боров. Плыли утлым ковчегом среди раскаленного злобой и кровью потопа матерой российской смуты. И никто в нем не ведал, что ожидало их впереди.

Едва этот ковчег отчалил от берега, как все заполнившие его «чистые» и «нечистые» растеклись по каютам и затихли, затаились там наедине с собой и своим одиночеством. Видно, не существовало уже между ними никаких связей, что могли объединить их в разговоре или хотя бы в молчаливом общении. Пепел вещего извержения засыпал каждого из них по отдельности.

Проводив Адмирала и расставив охранение, Удальцов тоже заперся у себя в каюте, но одиночество было неведомо ему, тем более сейчас, когда в его жизнь вошла, ворвалась, вломилась девочка, подросток, женщина с незаменимым отныне для него именем — Лена, Елена, Элен.

Удальцов лежал и думал о ней, об их, ставших необходимыми для них обоих, встречах, о будущем, в котором — конечно, если ему повезет — он не мыслил себя без нее.

С тем он и уснул, чтобы, проснувшись, ошеломленно увидеть в окне каюты будто выступившие из воды белые стены града Китежа, увенчанные сквозными гнездами колоколен и церковных маковок: Тара! Не хотелось верить, что и там, за этой белизной и храмовым великолепием, тоже смердила земля сырой золой и людской падалью!

Но первый, кого встретил Удальцов на берегу, был пьяный до бессмысленного умиления офицер, который, отметив топким своим сознанием приближение старшего по чину, блудливо осклабился:

— В-вин-новваат... Вашеество... Н-на радостях... По с-случаю прибытия... И т-томму подобное...

В ответ Удальцов только брезгливо поморщился, сплюнул в сердцах и повернул восвояси: глядеть городок ему сразу расхотелось...

Вечером в кают-компании за чашкой чая Адмирал с воодушевлением излагал собравшимся план Тобольской операции, разработанный его штабом:

— Сейчас основная группа красных идет на Омск кратчайшим путем — через Тюмень. Их преследуют наши отряды, создавая видимость фронтального наступления. Но когда через болота потрепанные части выйдут на Тобол, то сразу же попадут в окружение. Впереди окажется главная группа наших войск, идущая сейчас на Тюмень прямо из Тобольска, а сзади них — преследующие их отряды...

Адмирал прямо-таки сиял от предвкушения быстрой и верной удачи, горделиво оглядывал присутствующих победительно уверенными глазами.

«Боже мой,— слушая его, не переставал удивляться ему Удальцов,— как он наивен, этот поразительный человек! Он думает, что маневрирует элегантной эскадрой, а не случайно набранным с бору по сосенке сбродом, которым командуют бестолковые дуроломы в генеральских погонах, но с мозгами полковых интендантов. Не говори нынче «гоп», а то завтра плакать придется!»

Так оно и случилось. Красные не пошли по кратчайшему пути отступления, путь этот оказался для них труднопроходимым из-за сильной распутицы. Вопреки всем ожиданиям они повернули обратно на Тобольск и по частям разбивали небольшие отряды преследующих.

Когда пароход Адмирала подходил к Тобольску, артиллерия красных гремела уже под самым городом. Окруженными в конце концов оказались не красные, а белые части, шедшие по Тоболу в Тюменском направлении. Только благодаря тому, что весь водный транспорт оказался в их руках, запертые в полукольцо войска удалось посадить на баржи и вывезти в безопасное место.

Так обескураживающе жалко закончилась операция, амбициозно задуманная адмиральскими штабниками. Словно сила солому, судьба упрямо ломила все замыслы Адмирала к земле, которая тут же предавала их огню.

В Тобольске их застало известие, что деникинское наступление захлебнулось где-то между Орлом и Тулой.

5

Из воспоминаний Г. К. Гинса[1]:

«Из Тобольска Иртыш так широк, что не похож сам на себя. У самой реки, на низком берегу — главная часть города, позади крутая возвышенность, а на ней белеют стены кремля и блестят маковки церквей. Там находится большая часть официальных учреждений и сад с памятником Ермаку. Всюду глубокая старина и патриархальность. В церкви, что на берегу реки, посреди татарского базара, интересная историческая надпись о том, как храм этот сооружали в самом нечестивом месте и как татары хотели помешать этому, но «победило православие».

[1] Управляющий делами Совета министров в Правительстве .

В кремль ведет высокая и крутая каменная лестница. Подымаемся. Перед нами богомольная старушка, а навстречу спускается пьяный офицер. Он берет старушку за подбородок и говорит ей: «Иди, иди, старушенция, выпей».

Пьяных офицеров было, вообще, много.

А между тем, о красных никто дурно не отзывается. Расстреляли двух: одного за организацию противосоветского отряда, другого, еврея-«буржуя», за защиту своей собственности. В городе поддерживался порядок, пьяных не было. Когда уходили, увезли меха, городскую кассу и пожарный обоз, но никого не грабили.

В музее мы нашли комплект советских газет за период пребывания большевиков в Тобольске. Видно было, что газеты шаблонны и заготовлены заранее. В них разъяснялись задачи советской власти, приводились биографии выдающихся советских вождей, в частности, командующих, давались указания о необходимости уважать кооперацию, подымать производительность крестьянского хозяйства и т. д. Все было рассчитано на завоевание симпатий населения. Мотивы новые, незнакомые, не похожие на прежних большевиков.

Среди героев революции и красной армии особенно восхвалялся командующий красной дивизией «товарищ» Мрачковский. Судя по газете, этот рабочий обладал необычайными способностями и железной волей. Одного взгляда на пленного белогвардейца было ему достаточно, чтобы определить, подлежит ли белогвардеец расстрелу или может быть принят на службу. Дисциплина у него строгая. В его дивизии каждый знает, что за малейшую провинность будет отвечать. Мы раньше не раз встречали фамилию Мрачковского в военных сводках. Возможно, что эта характеристика не отличалась преувеличением.

(От автора: Возможно. Но только ровно через шестнадцать лет «этот рабочий», который «обладал необычайными способностями и железной волей», будет ползать в ногах у начальника иностранного отдела ОГПУ Абрама Слуцкого, слезно вымаливая у него пощады, но так и не вымолит. Впрочем, спустя год тот же Слуцкий, вызванный в кабинет своего ближайшего дружка и собутыльника Фриновского, примет из его рук цианистый калий, а через некоторое время и сам Михаил Фриновский отправится следом за ним. «Все-таки есть Бог! — воскликнет перед казнью их общий пахан Генрих Ягода,— есть!» Хоть перед смертью, но догадался-таки, сукин сын!)

Другой советский генерал, Блюхер — тоже из рабочих. О нем мы много раз слыхали в пути. Крестьяне рассказывали, что всегда при трудных обстоятельствах красные говорили о Блюхере «он выручит», «он нас не выдаст». И, действительно, выручал.

(Снова от автора: Только когда пришел его собственный час, самого себя он выручить и не смог: его не сохранили даже для того, чтобы расстрелять, забили насмерть на допросах. Увы!)

Наиболее интересным было, однако, в газетах интервью пре-

освященного Иринарха. О нем говорил весь город, который, кстати сказать, представлялся вымершим: так мало было в нем народа после эвакуации всех правительственных учреждений.

С архиереем говорили об отношениях советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о них хорошо. Сказал, что удивлен порядком и доброю нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красные. Преосвященный, в свою очередь, посетил совдеп. Ему показали издания классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснилось, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны. Архиерей был доволен.

Теперь он встретил Адмирала с иконою и речью на тему: «Дух добра побеждает дух зла».

(Еще раз от автора: Воистину так, владыка! По этой причине ты и сгинешь ровно через десять лет, ограбленный до нитки поклонниками «порядка и доброй нравственности» где-то на безымянном полустанке под Туруханском, и окоченевший труп без покаяния и молитвы бросят в ближайший сугроб на съедение прожорливым в эту пору песцам! Так-то.)

Адмирал заходил в покои епископа. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было».

6

Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолетной встречей, случившейся с ним около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды сидящего на лавочке рядом с церковной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лапотках и легкой поддевочке, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картуза темным, в густой бороде лицом. Старичок, будто ждал кого-то, всматривался в захожего гостя с вопросительным любопытством.

Удальцов повернул к нему, но тот, по мере его приближения, становился все отрешеннее и равнодушнее, глядя куда-то поверх и через него.

— Здорово, отец,— опустился рядом Удальцов,— не прогонишь?

— Сиди, коли сел,— бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой,— места хватит.

— Сторожуешь здесь, что ли?

— А чего тут сторожить, авось не убежит никуда.

— Утварь растащат.

— Не до утвари теперича людям, свое бы не потерять, а то и голову.

— Глядишь, пронесет.
— Нынче не пронесет, господин хороший, час земле пришел.
— Какой же?
— Урочный. Созрела земля наша грешная для большого мора и глада и для больших кровей.
— И что же будет, по-твоему?
— А будет, как в Писании сказано: новая земля и новое небо, все новое, а какое, один Бог знает. Знающие люди сказывают, кажинные тыщу лет эдак случается.
— Может, ты и прав, отец, только людей жалко.
— А чего их жалеть, люди что — Божья слизь, одну смоет, другая народится, чего жалеть, коли сами себя не жалеют, поглядишь на иного, а из него псинный волос прет, будто из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, хучь бери и запирай в замочную клеть.
— Я, отец, про невинных говорю.
— А иде ты их видал, невинных-то, господин хороший?
— А Император, семья его в чем виноваты?
— Царь-то наш, господин, самый виноватый и есть. Упреждал его Григорий Ефимыч: не ходи на немца, нечего тебе с им делить, оба-два сгинете не за полушку, не послушал Божьего человека, по своему слабому разумению порешил, а Россея таперича расхлебывай.
— Это Гришка-то Распутин Божий человек?
Только тут старичок резко повернулся к нему, с острой неприязнью проникнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами:
— Для тебя он, господин хороший, может, и Гришка, а для нас грешных — Григорий Ефимыч, святая душа, Царствие ему Небесное, за простой народ радетель перед царем и Господом.
— Видно, отец, мало ты о нем знаешь.
— А! — брезгливо отмахнулся тот.— Байки мне станешь сказывать о пьянках его да гулянках, об етом тебе тут всякий встречный-поперечный понарассказывает, ето усё шелуха, короста человеческая, от твари грех, а душа сама по себе живет, токо бы с Богом, а не супротив, а Григория Ефимыча душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был.
— А с царем сладить не смог?
— Видал я этого царя, вот как тебя видал, нешто ему царем быть, нешто по плечам его такое-то царство, земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит, царское ли это дело в эдакую пору?
— Что ж, по-твоему, ему делать было, отец?
— Не моего ума ето дело, но уж коли хочешь знать, то по моему убогому воображению самому бы себя отдать катам на растерзание принародно, кровь бы его тогда по всей земле возопила, покойники и те услыхали, поднялся бы народ, ой как поднялся!
— Так ведь ты сам говоришь: срок земле пришел, может, и ему о том знамение было?

— Знамение знамением, а токмо в Писании сказано: «Царствие Божие силой берется, Бог нам искуплением своим волю даровал выбирать себе судьбину, а не уповать на одне Его милости.

Старичок умолк, снова замкнувшись в своем выжидающем оцепенении. Удальцов, в свою очередь, задумался над только что сказанным, стараясь перебороть в себе соблазн продолжить этот опустошающий его душу разговор, но, когда в конце концов не выдержал искуса и вновь оборотился к собеседнику, того уже и след простыл, будто приснился, пригрезился наяву, не оставив после себя ни следа, ни отзвука.

«Вот так история,— смущенно озадачился он,— может, и впрямь пригрезилось: стареешь, Аркадий Никандрыч, стареешь!»

Вернувшись на судно, он подался было к себе, но, проходя мимо раскрытой двери кают-компании, услышал оттуда суховатый голос Устрялова.

— Аркадий Никандрыч, не заглянете ли, у меня для вас имеется кое-что весьма занимательное!

Тот сидел за общим столом, обложенный со всех сторон целыми ворохами газет, брошюр и листовок самого разнообразного формата и величины.

— Вот полюбуйтесь-ка, Аркадий Никандрыч,— Устрялов протянул ему навстречу серый прямоугольник оберточной бумаги,— замечательный в своем роде документик, если хотите.

Это оказалась листовка из тех, что тысячами растекались тогда по самым глухим уголкам взбаламученной Сибири. Аляповатый набор, презрев какие-либо знаки препинания или правила синтаксиса, причудливо расплывался перед глазами. В тексте высокопарно сообщалось, что на Дальнем Востоке уже выступил Великий князь Михаил Александрович, что он назначил Ленина с Троцким своими министрами, что Семенов к нему присоединился и что осталось только общими силами добить Адмирала. Подписано все это было с исчерпывающей лапидарностью: Щетинкин.

— Бред какой-то,— досадливо поморщился Удальцов,— зачем только вы все это собираете, Николай Васильевич?

— Ох, не скажите, Аркадий Никандрович, не так-то этот Щетинкин глуп. Сам он из мужиков, на германской пробился в офицерство, поэтому психологию своего брата-мужика знает превосходно. Он предлагает массе комбинацию, которая устроит всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ведь главный вопрос для крестьянина сегодня один: за кем идти, чтобы не прогадать, а тут им в двух словах полная программа и думать больше не о чем. Вы не находите, Аркадий Никандрыч?

— Не так уж он глуп, наш мужик, Николай Васильевич, вы человек сугубо городской, а я вырос в Сибири, среди крестьянства, на такой мякине его не проведешь, он у нас битый, стреляный воробей, мужик-то наш.

— Вы полагаете? — В вялых губах Устрялова утвердилась скептическая усмешка.— Мужик наш, Аркадий Никандрыч, по-

моему, не столько умен, сколько хитер, на эту его хитрость Щетинкин и рассчитывает.

— Не просчитался бы.

— Не просчитается, Аркадий Никандрыч, уверяю вас, мужицкое царство нашему пахарю столетиями снилось, теперь он случая своего не упустит, с этой стихией Лейбе Троцкому вместе со всем его еврейским кагалом едва ли удастся справиться, перемелет она их, захлестнет и накроет с головой и навсегда, не по силам они себе задачу взяли, одними словами тут не обойдешься, а кроме слов, у них за душой ничего нет.

— А у Щетинкина?

— Щетинкины, Аркадий Никандрыч, знают, чего хотят, эта порода живуча, как дикая растительность, но именно этот тип человека в конце концов одержит верх в нынешней драке, и ему принадлежит будущее. Крикуны и фанатики перегрызут друг друга в междоусобной драке, а щетинкины выждут своего часа и заполнят после них вакуум. Подлинные щетинкины даже не участвуют сейчас ни в чем, сидят себе по своим избам, покуривают да посматривают, им спешить некуда, чутье у них звериное, знают — время их впереди.

— В таком случае, что же вы предлагаете, Николай Васильевич, у вас есть рецепт?

Скептическая усмешечка соскользнула с устряловских губ, он напрягся и отвердел:

— Драться до конца, перемолоть в этой драке как можно больше большевистской накипи, а после поражения идти на союз со щетинкиными, только с ними можно сделать Россию еще более могущественной, чем она была, другого пути у нас, истинных русских людей, нет.

(Скольких ты еще, Устрялов Николай Васильевич, соблазнишь этой романтической блажью, обрекши их на собственную Голгофу по всем девяти кругам гулаговского ада, пока, через пятнадцать лет, сам не сгинешь в той же беспощадной мясорубке: щетинкины, придя к власти, окажутся не большими патриотами России, чем Лейба Троцкий или Бела Кун!)

Удальцову вдруг почудилось, что в отечном и как бы сонном лице его собеседника проступили острые черты недавнего старичка, встреченного им у церкви: тот же зоркий взгляд, та же отчужденность от окружающего, та же упрямая уверенность в своей правоте. Но усилием воли он мгновенно стряхнул с себя возникшее наваждение.

— Чем со щетинкиными,— выговорил он, поворачивая к выходу,— лучше пулю в лоб.

И вышел.

7

По возвращении в Омск худшее подтвердилось: 20 октября распространилось известие о взятии Петрограда, но уже на другой

день оно было опровергнуто: кровопролитные бои под Царским Селом и Гатчиной завершились победой красных. Юденич отступал по всему фронту. Деникин же продолжал откатываться от Орла.

В кабинете Адмирала шли беспрерывные заседания. Правительство и общественность разделились на две непримиримые группировки: одна стояла за немедленную эвакуацию, другая — за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения. И все требовали от верховного правителя решающего слова.

Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя в глубь кабинета и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух:

— Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать, победителей, как у нас говорят, не судят, мы должны ему дать шанс и полный карт-бланш, тем более, что эвакуация так или иначе равна поражению, почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения, в случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа.

Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться.

— По всему вижу, полковник,— проговорил Адмирал, когда за последним посетителем закрылась дверь,— что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной, но поймите меня: если я сам бессилен что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться!

— Ваше высокопревосходительство, ваши решения для меня — закон, я не могу и считаю даже немыслимым для себя обсуждать их. Считаю своим долгом следовать за вами, куда бы вы меня ни позвали.

Адмирал облегченно поднялся.

— Не знаю, как с кем,— темные глаза его празднично ожили,— а с начальником конвоя мне повезло. До завтра, полковник...

Заворачивая к себе, Удальцов зазвал за собой ординарца.

— Садись, Филя,— устало опустился он за стол против Егорычева,— есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. Человек ты молодой, но бывалый, вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе, скажи мне, положа руку на сердце, выдюжим мы или нет?

У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила.

— Наше дело маленькое, солдатское, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, начальству виднее.

— Да не прибедняйся ты, Филя,— подосадовал Удальцов,— знаю ведь я тебя, как себя знаю, у тебя на все свое суждение есть, мало, что ли, мы с тобой вместе хлеба-соли съели, чтоб друг от друга таиться?

Тот смущенно засопел, заерзал на краешке стула, заскучал глазами по сторонам.

— По правде говоря, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, не потянем боле, выдохся народ.

— А что говорят?

— Говорят, замиряться нужно, опять же комиссары в листках ихних землю судят, а чего еще мужику надобно?

— Обманут ведь, Филя.

— Омманут, не омманут, а мужик верит, гадают, бабушка, мол, надвое сказала, а, глядишь, говорят, не омманут.

— Ну, а сам ты как думаешь?

— Мне и думать нечего, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, куда вы, туда и я, у меня с вами одне путя.

— А как посоветуешь?

— По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить, спасать Верховного и самим спасаться.

— И золото народное им оставить?

— А што золото, от народа уйдет, к народу и придет, не одним золотом жизнь красна.

— Куда уходить-то?

— А хоть к монголам или китайцам, не погибать же ни за что, ни про что, а там видно будет.

Удальцов встал.

— Ладно, Филя, иди, спасибо за правду.

Егорычев, поднявшись, потоптался было около стула в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанному, но, видно, раздумал и тихонько, чуть не на цыпочках вышел из комнаты.

Лишь теперь, после разговора с ординарцем, Удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения. И первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним-единственным именем: Елена! Через полчаса он уже был в порту и звонил у двери Катушевых.

Ему открыл сам хозяин, еще более одышливый, чем обычно, и заметно опустившийся:

— Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал,— он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом,— что делать, ума не приложу.— Катушев шел следом за ним, подсвечивая ему керосиновым ночником.— Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать. Но куда и на чем? — вот вопрос. На станции даже товарные поезда с боем берут, может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете.

Слабо освещенная гостиная, в которой очутился Удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу

ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз.

— Аркадий Никандрович, милый,— первой сорвалась с места Лена,— если бы вы знали, как я вас ждала.

И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он, в восхищенном изнеможении склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически:

— Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю, вот увидите, все будет хорошо...

Потом в той же забитой кладью гостиной они сидели за наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему ни стоило, устроить им место в ближайшем спецэшелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска.

— Оттуда,— облегченно закончил он,— вам будет уже легче двигаться дальше, туда еще не докатилась общая паника.

— А вы? — Она внезапно вскинула на него полные слез глаза.

— Элен, дорогая, я офицер, мой долг оставаться с Верховным до самого конца, но если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были.

В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением.

Лена сама пошла провожать его, и на крыльце, доверчиво прижимаясь к нему, она как заведенная повторяла одно и то же:

— Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?.. Вы, правда, не забудете?.. Правда?

В ответ Удальцов молча, обмирая от нежности, гладил ее по голове: теперь он знал, что ему делать.

8

Собрались у Брадзиловского. Двадцатишестилетний красавец, только что произведенный в генералы за блестящую операцию по выводу своей дивизии из окружения, первым с воодушевлением ухватился за идею Удальцова:

— Надо смотреть правде в глаза, господа, это не классическая война, где случай может повернуть фортуну на сто восемьдесят градусов, это гражданская бойня, в которой, к сожалению, все против нас: и фронт, и тыл. Необходимо спасти хотя бы что есть. С атаманщиной у нас не может быть ничего общего, и у Семенова нам делать нечего. Остается единственный выход: отступать к восточным границам и там, в Монголии или Китае, попытаться воссоздать боеспособную силу.

Апоплексическое лицо генерала Зенкевича страдальчески передернулось:

— Господа, господа, зачем же смотреть на вещи так пессимистически, вы забываете, что за нашей спиной стоят союзники, у которых по отношению к нам есть известные обязательства, они помогут нам пробиться на Дальний Восток!

Но тут взвился с места обычно помалкивающий поручик Мельник, зять погибшего в Екатеринбурге вместе с Императором доктора Боткина:

— О каких союзниках вы говорите, генерал? Если английский король отказался дать убежище своему двоюродному брату, то неужто вы полагаете, что ваш английский коллега генерал Нокс рискнет хоть чем-нибудь ради нас с вами? Или, может быть, вы надеетесь на другого вашего коллегу из бывших чешских костоломов — генерала Гайду, но единственное, в чем он поможет комунибудь, так это накинуть петлю вам же на шею, а о третьем вашем коллеге генерале Жанене мне даже говорить тошно, его давно по всем божеским и человеческим законам надо было бы вздернуть на первой же русской осине, как Иуду. Что же касается свободолюбивых американцев, то они давно братаются с красными во Владивостоке. Не следует самообманываться, господа!

(Знать бы, знать бы тогда поручику Мельнику, что пройдет без малого пятьдесят лет, и будущий сын его, Константин Мельник, сделается начальником контрразведки в той самой стране, одному из генералов которой он намеревался подобрать в России вполне заслуженную этим генералом осину!)

— Молодо-зелено, господа,— вмешался в перепалку генерал Редько, только что прибывший в Омск с Тобольского фронта, где бросил свою Северную группу войск на волю случая и судьбы, да и оставалось ли там что-нибудь от этой группы, один Бог знал,— на зиму глядя в непролазную тайгу двигаться безумство: пока есть возможность, нам от Московской дороги ни на шаг нельзя отходить, только в ней спасение.

— Под железнодорожным конвоем союзников,— бросил кто-то безликий из притемненного угла комнаты.— До самых чекистских заслонов.

Видно, решив, что в один вечер договориться о чем-либо будет трудно, Зенкевич решил разрядить атмосферу, примирительно заключив:

— Сколько бы мы здесь ни спорили, господа, за спиной у Верховного, мы не вправе делать какие-либо заключения, только он может разрешить наш спор. Поэтому необходимо, чтобы кто-то из нас взял на себя ответственность в подходящий момент доложить Адмиралу суть нашего сегодняшнего разговора. Предупреждаю заранее, господа, я отказываюсь.

Воцарилось красноречивое молчание: догадывались, что подобного рода объяснение с Верховным правителем могло окончиться для смельчака более чем печально.

После паузы, которой, казалось, не будет конца, поднялся Удальцов.

— Разрешите мне, господа?

На том и разошлись.

Глава пятая
БЕРЖЕРОН

1

Год восемнадцатый

«26 ноября. Никогда в жизни мне не приходилось вести хронологических записей. Я питаю к этому жанру почти непреодолимое отвращение. Что может быть глупее педантичной регистрации своих сиюминутных состояний? Нет ничего эфемерней этих состояний. Закрепленные на бумаге, они не становятся долговечнее или подлинней, а только усугубляют ложь пережитого. Видно, даже самой изощренной памяти не дано остановить мгновенье, чтобы затем вернуться к нему и вновь оказаться в его воскресшей реальности. По-моему, это занятие для мазохистов. Я всегда предпочитал жить, не казнясь и не умиляясь прошлым. Настоящее — лучшая гарантия существования в минувшем. Отправляясь в Россию, я никогда не предполагал, что события в ней заставят меня обратиться к перу. Перед отъездом мой непосредственный шеф — полковник Ренэ Леруа — предложил мне позавтракать с ним. Насколько я знаю, завтракать с подчиненными было не в правилах моего полковника, из чего я заключил, что разговор за столом предстоит необычный. Предчувствия не обманули меня: сразу после аперитива шеф перешел к делу. «Послушайте, мой дорогой друг,— этим непринужденным обращением он как бы подчеркивал внеслужебную интимность нашей встречи,— мне хотелось бы знать, что вы лично думаете о России?» Честно говоря, вопрос его застал меня врасплох. Что в действительности я мог думать о стране, которую изучал только по книгам и специальным учебникам? Для меня, во всяком случае до сих пор, это было понятие скорее географическое или политическое, если хотите, из чего я и исходил в своем отношении к ней, но над большим я не задумывался, искренне полагая, что большее не входит в мои обязанности. В этом духе, разумеется, в достаточно обтекаемых выражениях, я и ответил своему собеседнику. «Мой дорогой друг,— назидательно произнес полковник,— у прирожденного разведчика должна быть собственная историческая концепция, иначе он рано или поздно теряет профессиональную перспективу. В вашем случае разведчику необходимо знать, что хочет его страна от России, на какие ее силы нам следует опереться и какое развитие событий в ней было для нас наиболее желательно?» «Мне хотелось бы узнать это от вас, полковник,— осторожно позондировал я, боясь попасть впросак,— вы ближе к большой политике». Шеф многозначительно взглянул на меня и выговорил, словно процитировал по памяти чей-то текст: «С Российской Империей покончено отныне и навсегда, и возрождение таковой в ее прежнем состоянии для нас нежелательно». «Какова же роль разведчика в таких

обстоятельствах? — удивился я.— Это работа скорее для дипломатов или политиков». В ответ мой визави снисходительно усмехнулся: «Хороший вопрос, мой дорогой друг, хороший вопрос! Что ж, плачу откровенностью за откровенность: французскому разведчику в таких обстоятельствах необходимо найти политическую силу, отвечающую нашим интересам, и наладить с ней долгосрочные отношения, предпочтительно негласные». Сопротивлялся я больше для облегчения собственной совести, чем из убеждения: «Но ведь Россия — наша союзница, полковник!» «В политике, Пьер,— окончательно перешел он на доверительный тон,— нет морали, а есть интересы; истина банальная, но тем не менее еще никем не опровергнутая». «На кого же вы предлагаете ставить, полковник?» — мне уже нечего было терять, и я шел напролом.— Я не хотел бы бродить вслепую». Я чувствовал, что все больше и больше нравлюсь своему шефу, его благодушие становилось почти отеческим: «Я давно слежу за вами, дорогой Пьер, у вас большое будущее, поверьте мне, вы чертовски умны, наблюдательны, настойчивы, с вашими способностями вы можете далеко пойти, если вам удастся со временем изжить в себе один, впрочем, простительный в вашем возрасте, недостаток: поспешность в заключениях и выводах. Поэтому хочу заранее предупредить вас: никогда не связывайте себя общепринятыми оценками, полагайтесь больше на собственную интуицию, чаще всего общепринятые оценки на практике оказываются несостоятельными. Вы спрашиваете меня, на кого ставить? Это вы должны решить сами, на месте. Не скрою, наше правительство предпочитает кадетскую партию или, в крайнем случае, эсеров, но я бы на вашем месте пригляделся к большевикам. Не подумайте, ради Бога, Пьер, что я на старости лет становлюсь анархистом, у меня к этой публике абсолютно никаких симпатий, просто у так называемой демократической общественности нет никаких шансов, она проболтает свою революцию в бесконечных и бесплодных прениях, а в конце концов согнется перед каким-нибудь новоявленным Наполеоном из бывших поручиков. Другое дело большевики: они достаточно сильны и амбициозны, чтобы удержать власть, и недостаточно профессиональны, чтобы сделать ее сильной, таким образом, под их руководством мы получим ту самую Россию, которая нам нужна: политически вполне стабильную, что обеспечит нам надежный тыл с Востока, и абсолютно неспособную к какой-либо внешней экспансии. Впрочем, дорогой Пьер, я изменяю своему собственному правилу: даю советы. Повторяю, полагайтесь-ка прежде всего на себя». Признаюсь, я не скрыл своего удивления: «Но ведь их программа...» Беззаботно рассмеявшись, Леруа тут же прервал меня: «Помните, мой дорогой друг, этой бумажкой они пользуются только для уличных митингов, в чем-чем, а в реализме им не откажешь, проследите хотя бы за их эволюцией в самые последние месяцы, еще и года не прошло со дня переворота, а от их прежнего радикализма остались одни лозунги, большевистская партия у нас на глазах превращается в обычную националь-

ную камарилью со всеми атрибутами маленького самодержавия наизнанку, можно легко представить себе, во что они превратятся через пять-шесть лет, Россия есть Россия, мой дорогой Пьер!» Честно говоря, доводы шефа показались мне тогда убедительными, тем более что в первые дни моего пребывания здесь многое в окружающем соответствовало этим доводам. Страну, казалось, прорвало после трудного и затяжного молчания. Она заговорила торопливо и одновременно, на всех языках и наречиях, не вдумываясь в сказанное и не слыша самое себя. Слова в обществе стали жить сами по себе, вне всякого отношения с реальностью. Слова сделались средством жизни, пропитания, самозащиты. Люди лихорадочно спешили оглушить, ослепить друг друга словами, чтобы только отгородиться от окружающего безумия. Каждый человек в этом безумии представлял из себя отдельную партию, а порою, в зависимости от обстоятельств, даже две. Партии, которые плодились еженедельно, чуть ли не в геометрической прогрессии, умирали так же быстро, как и рождались, в потоках собственного словоизвержения. Могущественное совсем недавно государство расползалось на глазах, словно лишенное сдерживающей формы желе. Естественно, что у всякого заинтересованного наблюдателя возникала мысль о сильной руке, способной обуздать эту неуправляемую стихию и направить ее в созидательное русло. Руководствуясь напутствиями Леруа, я уже с первых дней во Владивостоке начал было изучение здешнего политического спектра, когда из Омска поступило сообщение об адмиральском перевороте. Имя самого Адмирала мало что говорило мне, а наспех собранные мною скудные сведения о нем свидетельствовали не в его пользу: потомственный морской офицер с научными наклонностями, далек от политики, амбициозен только в своей области, боевой опыт ограничен, вспыльчив, неопределенных политических взглядов. В столь судьбоносные для страны дни вождю, на мой взгляд, требовались несколько иные качества. Но, в конце концов, решил я, послужной список у Наполеона был не многим лучше. С тем большим нетерпением ожидал я по дороге в Омск встречи с новым диктатором России. Несмотря на неразбериху, царившую в городе после переворота, Адмирал принял французскую миссию в полном составе и вне всякой очереди. Вблизи он оказался небольшого роста сангвиником с быстрым, проникающим собеседника взглядом по-восточному темных глаз. Я и до этого слыхал о восточном происхождении предков Адмирала, но, только увидев его, уверился в справедливости этих слухов. Восток, но не языческий, а магометанский, утонченный Восток едва заметно сказывался во всем его облике, в манере говорить, смотреть, двигаться, и лишь улыбка, по-детски откровенная и в то же время беспомощная, обнажала его глубоко славянскую сущность. «Кто знает,— подумал я,— что может таиться в этой гремучей смеси кровей, он ли взнуздает Россию, или Россия раздавит его?» На коротком совещании после встречи с Адмиралом наш глава — генерал Жанен — со свойственной ему категоричностью опре-

делил для нас линию нашего поведения на будущее: «Мы будем поддерживать этого человека до тех пор, пока ему сопутствует успех, но идти ко дну вместе с ним не в наших интересах, в случае необходимости мы сменим ориентацию». «Что ж,— решил я,— это соответствует моей задаче». В этот же день я приступил к работе».

2

«23 декабря. Завтра Сочельник. Впервые в жизни я встречаю его вдалеке от родины. Сожалею ли я об этом? Нет! Эти несколько недель в России стоят целой жизни. За целый век мне бы не пережить во Франции того, что я пережил здесь с того дня, как вступил на русскую землю. Только поэтому мне удалось преодолеть свое отвращение к письменным воспоминаниям. Мне стало страшно, невыносимо подумать, что все пережитое уйдет, исчезнет, забудется вместе со мной. Может быть, мой опыт для кого-нибудь все же окажется поучительным. Сегодня, в канун Сочельника, мне захотелось подвести некоторые итоги происходящему. Месяц тому назад я начал с анализа ближайшего окружения Адмирала. Разумеется, меня прежде всего интересовали наиболее крупные фигуры. К сегодняшнему дню о большинстве из них у меня сложилось достаточно полное представление. Я не хочу пускаться здесь в пространные обсуждения этих личностей, приведу лишь их сжатые характеристики, переданные мною своему начальству. Первым в моем рапорте значился господин Премьер-Министр:

ВОЛОГОДСКИЙ

«Типичный провинциальный адвокат. Взглядов неопределенных, хотя, как всякий земский деятель, ближе всего к правым эсерам. Слабоволен, уступчив, весьма говорлив. Ничего индивидуального. Личность скорее репрезентативная, чем действующая. Безропотно скрепляет своей подписью любые решения Адмирала. Политически абсолютно бесперспективен. Долго не продержится. Рано или поздно ему придется уйти, или его уберут».

МИХАЙЛОВ

«Заметно выделяется среди ординарностей в Совете министров. Энергичен, быстро схватывает суть возникающих проблем, находчив в решениях, даровит от природы. Обладает несомненной харизмой, привлекающей к себе окружающих, чему в немалой степени способствует его биография: родился в каторжной тюрьме, в семье народовольцев, с отличием закончил юридический факультет Петроградского университета, при котором и был оставлен для подготовки к профессуре по кафедре политической экономии, после революции, совсем еще молодым человеком, назначен управляющим делами Экономического Совета при Всероссийском временном правительстве. Тяготеет к эсерам, но без определенной идеологической окраски. В условиях стабильной государственной структуры способен вырасти в фигуру общероссийского масштаба.

Но для самостоятельной роли в Гражданской войне явно непригоден: не пользуется доверием военных кругов».

ПЕПЕЛЯЕВ

«Фронтовой офицер. После развала русской армии под Барановичами в чине полковника возвратился в Сибирь. Организовал здесь антибольшевистскую организацию, состоящую в основном из офицеров, которая весной 1918 года присоединилась к чешскому движению. Беспредельно храбр, популярен в войсках, но интеллектуально крайне ограничен. Политически близок к эсерам, но скорее психологически, чем идейно. Не лишен авантюрных наклонностей, поэтому в критической ситуации может оказаться весьма ненадежным. В отличие от своего старшего брата Виктора — бывшего члена Государственной думы, управляющего министерством внутренних дел в правительстве Адмирала,— чисто политической деятельностью никогда не занимался, хотя не лишен амбиций и в этой области. В известных обстоятельствах, при умном руководстве, способен сделаться решающей силой».

ДИТЕРИХС

«Убежденный монархист, романтический мистик. Академически образован. Убежден в своем назначении спасти Россию, а с нею и весь мир. Политически консервативнее Чинхисхана. Тем не менее имеет довольно значительное влияние на Адмирала. Предки генерала чешского происхождения. В связи с этим пользуется поддержкой чешского корпуса. Огромный военный опыт: участие в русско-японской кампании, операции в Туркестане, в начале мировой войны — начальник штаба 3-й армии, блестяще показавшей себя в Галиции, затем — генерал-квартирмейстер фронта, командование дивизией в Македонии, отказ от поста военного министра в правительстве Керенского, штабная работа при генералах Корнилове и Духонине. Для ситуации Гражданской войны слишком прямолинеен, политически одиозен, высокомерен, несговорчив. Личность, принадлежащая историческому прошлому».

БУДБЕРГ

«Тип добродушного скептика. Почти невероятная наблюдательность, огромное чувство юмора, меткость суждений в сочетании с полной безответственностью. Плывет по течению с циничным безразличием к своему будущему. Прекрасный собеседник. Энциклопедически начитан. Очень удобный для Адмирала советник: его советы можно пропускать мимо ушей. Играет роль домашней Кассандры. С точки зрения наших задач абсолютно бесперспективен».

ГАЙДА

«Одаренный чешский авантюрист. Пользуется полным доверием Адмирала. Честолюбив не по способностям. Явно метит во всеславянские наполеоны. Вульгарен, напорист, беспредельно самоуверен. Политически в высшей степени беспринципен, хотя кокетни-

чает демонстративным радикализмом. Как личность неуправляем и ненадежен. Подобно всякому парвеню, по-детски тщеславен, падок на чины, знаки отличия, мундиры. Ради достижения своих эгоистических целей способен на все, не исключая прямого предательства. Опасен во всех отношениях и для всех, в том числе и для самих чехов, у которых пользуется непререкаемым авторитетом».

ТИМИРЕВА
«Просто женщина, и этим все сказано».

3

«Мне действительно почти нечего добавить к характеристике Анны Тимиревой. Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства. В ней сказывается выработанная поколениями аристократическая порода, даже если, как поговаривают, она по происхождению из простого казачества. Но я убежден, что аристократизм — понятие не социальное, а, в первую очередь, духовное. Сколько на своем пути встречал я титулованных кретинов с замашками провинциальных кабатчиков и сколько кабатчиков с душой прирожденных грандов! Порою в уличной девке можно встретить больше ума и тонкости, чем в светской шлюхе из Сен-Жерменского предместья. Я убежденный холостяк, но, если бы когда-нибудь меня привлекла семейная жизнь, я хотел бы встретить женщину, подобную этой. Как мне стало известно, она близка с Адмиралом еще со времени своего замужества, но даже теперь, когда сама жизнь освободила их от прежних обязательств и свела вместе, связь их никому не бросается в глаза, с таким тактом и деликатностью они оберегают эту связь от посторонних взглядов. Увидеть их вдвоем большая редкость. Она старается держаться в стороне от его дел. Чаще ее можно встретить в швейных мастерских, где шьют обмундирование для армии, или в американском госпитале, выполняющей самые непрезентабельные работы по уходу за ранеными. Но даже в этих обстоятельствах свойственная ей изящная царственность не покидает ее. Впервые я увидел ее рядом с Адмиралом на одном из приемов, и меня поразило их внешнее сходство. Если бы до этого мне не был известен характер их отношений, я принял бы их за брата и сестру или, по крайней мере, за людей, состоящих в близком родстве: тот же взгляд, та же осанка, та же порывистость, тот же Восток, облагороженный славянской мягкостью. Так зачастую начинают походить один на другого муж и жена после долгой жизни под одной крышей. Но у Адмирала и Тимиревой не только сходства, но даже явные различия удивительным образом дополняют друг друга. Глядя на них со стороны, невольно приходишь к мысли, что раздельно они просто немыслимы. Я еще, помнится, думал тогда не без сожаления: «Кто знает, что их ждет впереди: царство или бесславная гибель?»

4

«28 декабря. Сегодня меня вызвал генерал Жанен и попросил сделать беглый обзор моих первых впечатлений от омской обстановки. Однако мой короткий доклад не произвел на генерала ровно никакого впечатления. Можно было подумать, что он меня вообще не слушал. Мои сведения его явно не интересовали. Судя по всему, наша встреча была лишь предлогом для разговора на совсем иную тему. «Вот что, капитан,— произнес генерал, едва я закончил,— все это превосходно, я ценю вашу наблюдательность и чутье, но мне хотелось бы, чтобы вы достаточно ясно осознали, для чего мы здесь и чего Франция ожидает от нас.— Его неподвижные глаза смотрели на меня с бесстрастной незрячестью.— Дела этого господина, которого вы называете Адмиралом, и его ближайшего окружения интересуют меня постольку, поскольку это соответствует задачам моей страны, нашей страны, капитан. Даже если ему будет сопутствовать военное счастье, оно должно быть направлено в желательное нам русло. Любой его успех не может выходить за предусмотренные нами рамки, причем никогда и ни при каких обстоятельствах мы не смеем допустить, чтобы он забыл, кому обязан этим успехом. Его необходимо сделать сговорчивым и послушным. Если же счастье ему изменит, нам придется ускорить его конец и пойти на союз с другим движением, но на тех же условиях. Поэтому, капитан, старайтесь не слишком вникать в подробности, займитесь-ка лучше поисками альтернативных возможностей, это сейчас для нас самое важное. Честь имею». Признаюсь, разговор с генералом Жаненом озадачил меня. Его ординарность в армии была общеизвестна, он слыл типичным военным чиновником, бюрократом в мундире, звезд с неба не хватал и большим умом не славился. В беседе со мной он, конечно же, только повторял мысли, вложенные в него со стороны. Здесь впервые меня обожгла догадка, что в мире существует сила, которая незримо стоит за спиной и генералов вроде Жанена, и стоящих за ним политиков, и даже за руководимыми этой публикой правительствами. И цепкая паутина этой силы дирижирует самыми, казалось бы, спонтанными людскими стихиями на земле, направляя их к какой-то никому не ведомой, но роковой цели. Ухватиться хотя бы за единственную ниточку этой паутины, пусть мысленно распутать весь ее дьявольский лабиринт — сделалось отныне моей идеей фикс».

Глава шестая

АДМИРАЛ

1

Надо же было тому случиться, что, едва вступив в должность Верховного правителя, Адмирал слег: снова, в который раз уже за последние годы, дала себя знать застарелая, настигшая

его еще в русско-японскую кампанию хроническая пневмония.

Явь перед ним растекалась в знойном тумане, а в ней, в этой яви, плавали лица и голоса, но чаще всего единственный голос и одно лицо — Анны. У нее для него всегда находились слова, приносившие ему облегчение: «Александр Васильевич, милый, Пепеляев уже в Перми»; «Слава Богу, Александр Васильевич, с Семеновым все улажено!»; «Антон Иванович Деникин признал вас, дорогой, сегодня утром пришло официальное подтверждение»; «Англичане и французы обещают самую скорую поддержку, Александр Васильевич, милый, это победа!»

Ее сообщения сливались в почти беспрерывный, праздничного накала мотив, с которым в нем все более нарастали силы и прояснялось сознание. Взмывавший над ним потолок медленно опускался, сообщая вещам и предметам вокруг ровную устойчивость.

«Неужели все-таки перелом возможен? — окрыляла его ликующая надежда.— Наверное, есть же предел людскому безумию?»

Когда явь окончательно определилась в нем и к нему вернулась способность отчетливо воспринимать окружающее, он решил, что настало время обратиться к населению и войскам с ободряющим воззванием, и попросил вызвать для разговора на эту тему кого-нибудь из правительственного отдела печати.

Человек, присланный по вызову, был довольно высок, плотен, с отрешенными, как у большой овцы, глазами и типично профессорской бородкой на тонкогубом лице. Войдя, он нерешительно помялся у порога, после чего бочком двинулся навстречу адмиральскому кивку, по кивку же сел, вернее, примостился на краешке кресла и, вопросительно воззрившись на хозяина, выслушал его соображения.

— Распространить ваше воззвание как можно шире — это наш долг, адмирал,— этим сугубо штатским обращением к нему гость как бы подчеркивал свою независимость от существующей субординации.— Я могу записать сейчас же, под вашу диктовку.

Что-то в этом человеке сразу же насторожило Адмирала. Во всем его облике, в тоне, в манере держаться чувствовалась затаенная уверенность в чем-то таком, что недоступно пониманию многих, если не всех остальных, смертных и чем он не спешил поделиться с ближними.

«Еще один мессия,— досадливо поморщился про себя Адмирал,— сколько вас, куда вас гонят!»

— Извините, с кем имею честь?

— Бывший приват-доцент московского университета Николай Устрялов, адмирал,— с подчеркнутой размеренностью ответил тот.— Теперь служу у вас, в бюро печати.

Гость уже вызывал в Адмирале настоящее любопытство.

— Вы только служите или еще верите в свою службу?

— Нет, адмирал, не верю,— овечьи глаза гостя пристально отвердели,— но отправляю ее исправно, я прочно привязан к вашей колеснице, адмирал, и другого пути у меня нет.

— Во что же верите, уважаемый?

— В то же, что и вы, адмирал, но у меня нет иллюзий.

— Что вы имеете в виду?

— Я могу быть откровенным, адмирал?

— Вполне.

— Хорошо, адмирал, я хочу изложить вам свою личную точку зрения на развитие событий,— поерзав, он чуть поплотнее вдвинулся в кресло, но все же окончательно не расслабился, видно, опасаясь быть прерванным в любую минуту.— Поймите меня правильно, адмирал, что наша борьба диктуется лишь политическим романтизмом, реальных же шансов у нас нет, потому что происходящее — это не просто бунт или даже революция, что было бы еще полбеды, после революции общественный организм в конечном счете восстанавливается в том или ином виде, сейчас, адмирал, происходит нечто куда более судьбоносное, чем революция...

— Что же? — нетерпеливо перебил его адмирал.— Что?

— Смена цивилизаций. И Россия только начало этой смены. Уверяю вас, адмирал, ни Ленин, ни Троцкий тут ни при чем; будь они хоть семи пядей во лбу, им не дано изменить ничего в этом процессе, он протекает помимо их усилий, искусство их состоит только в том, чтобы держаться на его поверхности, придет время — он поглотит и их, если они вовремя не успеют умереть своей смертью. В подобных катаклизмах, как при землетрясениях, нет правых и виноватых, есть только жертвы, вне зависимости от места на баррикаде. Кто бы ни оказался победителем, им придется строить новые баррикады уже друг против друга и так до бесконечности, пока последнюю из баррикад не воздвигнут два оставшихся на земле человека, после чего победитель уничтожит самого себя и тогда конец, сумерки богов, тьма: сегодня впервые в своей истории, адмирал, человек восстал не против социальной несправедливости, а против самого себя,— он беспомощно развел руками и впервые слабо улыбнулся.— Вы хотели откровенности, адмирал.

— Так чей же это замысел, наконец? — надсадно вырвалось у Адмирала.

— Дьявола,— все тем же ровным голосом откликнулся гость.

— А Бог? Бог где?

— Если люди забыли о Нем, то, видно, не в Его правилах напоминать им о себе.

— Ну, это уже кощунство! — взвился Адмирал.— Хула на Духа Святого!

— К сожалению, словами ничего нельзя изменить, адмирал.

— Предлагаете сдаться без боя?

— Наоборот. Мы обречены идти до конца.

— И скоро, по-вашему, этот самый конец?

— Мы в самом его начале, адмирал.

— Но они бегут!

— Это как в океане, адмирал, только временный отлив, следующий прилив накроет нас с головой.

— Что же тогда, по-вашему, делать?

Устрялов снова виновато улыбнулся:

— Драться.

— Спасибо за совет.— Адмирал встал, прекращая разговор, охваченный одновременно запальчивостью и смятением.— Текст обращения я напишу сам и передам по назначению. Честь имею.

После ухода Устрялова Адмирал еще долго не мог успокоиться. Впервые то, что он всегда предчувствовал и о чем беспрестанно думал, было высказано ему вслух другим человеком и с такой пугающей откровенностью. Перед ним вдруг воочию раздвинулся некий покров, за которым его смятенной душе открылась такая зияющая пустота, что все в нем до колкого холода в кончиках пальцев зашлось от смертной тоски и бессильного крика: «По какие грехи нам кара, Господи!»

Словно увлекаемый в эту притягательную пустоту, Адмирал в поисках опоры вцепился в подлокотники кресла, и явь снова поплыла вокруг него в бредовом тумане. Свет и тени скрещивались между собой, стремительно прокручивая в памяти цветной калейдоскоп лиц, голосов, видений. С мучительным упрямством продираясь к своему сознанию сквозь эту обжигающую мешанину, он снова и снова изводился разъедающей сердце виной: зачем он взял на себя эту ношу, по какому праву, не веря в конечный результат, повел за собой других на верную гибель, по каким Божеским или человеческим законам действовал и во имя чего?

В такие минуты ему нужна, необходима была Анна. Одно ее присутствие облегчало его, врачевало знойно тлевшую в нем боль, сообщая ему то ровное умиротворение, которого ей было не занимать. Стоило ему приступить к работе, и ее тут же уносило в повседневные хлопоты. Госпиталь, швейные мастерские, благотворительные организации отнимали у нее ровно столько времени, сколько было необходимо, чтобы оставаться на расстоянии от него до первого его зова. Если бы она знала сейчас, как он нуждался в ней в эту минуту!

Появление Удальцова на пороге кабинета облегчающе заслонило распахнувшуюся было перед Адмиралом и влекущую его к себе бездну:

— Прибыл генерал Нокс, Ваше превосходительство!

А тот, не ожидая приглашения, уже светился, сиял из-за удальцовского плеча всем своим белозубым ртом, ямочками на холеных щеках, безукоризненным пробором:

— У меня для вас великолепные новости, адмирал!— Его сияние напористо заполняло собой окружающее пространство.— Правительство Его Величества готово признать вас, уверяю вас, адмирал, это дело считанных дней.

Казалось, в эту минуту через него на Адмирала излучалась вся мощь Британской Империи, сулящей безвестному туземцу несметные россыпи стеклянных бус и до слез умилявшейся при этом собственным великодушием.

— Будем надеяться,— не поддался, не размяк в его сиянии Адмирал,— знаете, как у нас говорят в России: улита едет, когда-то будет.

Уязвленность гостя оказалась прямо пропорциональной его тут же угасшему энтузиазму:

— Вы мне не доверяете, адмирал, я только что получил депешу из Форин-офис, слово офицера!

— Бог с вами, генерал, я высоко ценю ваше искреннее желание помочь нам в нашем праведном деле, но, окажись ваше правительство на моем месте, я бы ни на минуту не раздумывал, признать мне или не признать силы законности и порядка в стране-союзнице. Если же ваше правительство считает, что своим признанием делает нам одолжение, то, буду с вами откровенным, генерал, и не жажду такого признания.

Гость, словно отгорающая «шутиха», потухал на глазах, осыпаясь напоследок холодными искрами.

— Вы — русские, люди крайностей, адмирал: или все, или ничего, но нам надо быть реалистами, сейчас в России существуют две власти — ваша и большевиков, признание одной в ущерб другой может иметь самые непредвиденные последствия для внешнего мира, принимать решения в таких условиях — огромная ответственность, поверьте мне, адмирал.

— Простите, генерал, но вы все еще живете в девятнадцатом веке.

— То есть?

— А то, что Россия только эпизод в драме, которая началась теперь на земле, рано или поздно она перекинется и на английские подмостки, прошли те золотые времена, когда Британская Империя дралась за владычество на морях, отныне ей придется драться за само свое существование, как, впрочем, и всем другим.

— Зачем эти крайности, адмирал, роль Кассандры не для боевого офицера; честно говоря, я на вашем месте избрал бы другой путь.

— Любопытно, какой?

— Красные, зеленые, белые, какая разница! Сели бы за один стол и поговорили бы по душам, ведь речь идет о судьбе России, в конце концов! Я уверен, что если бы каждая сторона немного уступила, можно было бы найти взаимоприемлемый копромисс, в конечном счете вы все — русские люди!

Адмирал верил в искренность Нокса. Из всех союзнических эмиссаров тот действительно делал все от него зависящее, чтобы помочь ему в снабжении армии и контактах с иностранными правительствами. Но тем не менее невозможно было понять, взять в толк, как, каким образом этот достаточно поживший и повидавший виды солдат, оказавшись в эпицентре кровавого вихря русской смуты, ухитрился сохранить в непорочной целости и эту свою лучезарность, и этот безукоризненный пробор, и это почти девственное недомыслие?

— Стола еще такого не придумали, генерал, за который бы они

с нами сели,— вставая, он чувствовал себя так, будто поднимал на плечах какую-то внезапно навалившуюся на него тяжесть.— Впрочем, и мы с ними — тоже.

Англичанина явно передернуло от адмиральской бесцеремонности, но вида он не подал, только еще более схлынул лицом и, поднявшись, молча откланялся.

И Адмирала снова властно потянуло к ней — к Анне. Хотелось уйти, скрыться от этой удушающей бессмысленности вокруг, спрятать лицо в ее прохладные, чуть пахнувшие лавандой ладони и хотя бы на короткие мгновения забыть обо всем на свете, безвольно отдаваясь неистребимой в ней душевной ясности.

Он позвонил:

— Прошу вас, ротмистр, найдите, пожалуйста, Анну Васильевну, передайте ей, что мне необходимо ее видеть,— он говорил, не поднимая глаз, знал: Удальцов уже стоит в дверях, преданно устремленный в его сторону.— Хотя нет, подождите, я поеду сам, проводите меня.

И, подхваченный собственным решением, одним рывком, через кабинет и приемную, на ходу обрастая верхней одеждой, на крыльцо, в сани, сквозь легкую метелицу — к ней.

2

— Здравствуйте, Анна Васильевна, милая, простите, ради Бога!

— Александр Васильевич, голубчик, что так вдруг, что-нибудь случилось?

— Ровным счетом ничего, Анна Васильевна, дорогая, просто очень захотелось вас увидеть.

— И это все? Как вы меня напугали, Александр Васильевич.

— Еще раз простите, но я не мог не приехать.

— Какой же вы, право, ребенок, Александр Васильевич.

— Для вас — да.

— Дайте-ка я на вас погляжу, милый, как следует.

— Анна Васильевна... Дорогая... Если бы вы знали...

— А я знаю, все знаю.

— Люблю вас...

— Господи, Саша, Александр, что с вами?

— Ничего, я просто устал... Устал без вас...

— Милый.

Молчание.

3

Поездка на фронт закончилась в Екатеринбурге, где было белым-бело. После первых февральских метелей наступило морозное безветрие. Снежный покров осел, засахарился, отчего выглядел как бы спекшимся. В его крахмальной белизне город походил на полустершийся чертеж, в котором едва угадывались полоски крыш, изгородей и оконных переплетов. И над всем этим нависало повитое печными дымками, белесое от стужи небо.

Позади оставалась долгая, но ободряющая дорога: фронт, несмотря на лютые холода, продвигался по всем направлениям, радушие населения было неподдельным, боевой дух на позициях держался без дисциплинарных понуканий, будущее представлялось обнадеживающим. Пожалуй, впервые за последние два года Адмирал несколько приободрился, уповая на лучшее. Но даже в эти, казалось бы, безоблачные дни к нему нет-нет да подступала сосущая сердце тревога: надолго ли все это?

Город, сквозь который несли его штабные сани, смотрел вымершим: жизнь его, словно зверь в берлогу, забралась под снег, напоминая о себе лишь курной куделью над заснеженными кровлями.

С того самого дня, когда на Адмирала обвалилась высь известием о гибели Монарха, его тянуло сюда — в этот город, как притягивает путника близкая бездна: взглянуть, увидеть собственными глазами всю смертную жуть ее влекущей глубины, чтобы или окончательно сойти с ума, или навсегда излечиться от безумия.

Поэтому прямо с вокзала он приказал вести себя к дому Ипатьева, где его, по предварительной договоренности, уже должны были ждать с подробным докладом обо всех обстоятельствах этого рокового для России убийства.

Дом развернулся к Адмиралу с лету, всем фасадом — двухэтажный, приземистый, но не без претензий на некоторую вычурность. Его мертвые окна тускло посвечивали по сторонам из-под обледенелых наростов, одновременно маня и отпугивая содеянным в нем злодейством. Было в нем что-то от разграбленного склепа или заброшенного могильника, откуда исчезло все содержимое, оставив после себя лишь тлен и дыхание смерти.

Во дворе навстречу Адмиралу высыпала небольшая группа людей, из которой сразу же выделился, приближаясь, высокий, остролицый, в черных усах человек в барашковой шапке и шинели без погон:

— Здравствуйте, Ваше высокопревосходительство, разрешите представиться: судебный следователь Соколов,— он близоруко вглядывался в Адмирала сверху вниз, будто гадал, не ошибся ли адресом.— Дозвольте также представить вам моих сотрудников...

После церемонии беглого знакомства все, следом за Адмиралом, гуськом потянулись в дом. Сумрак, царивший внутри, только подчеркивал его отпугивающую заброшенность. Все здесь носило следы разнузданной вольницы: замызганные полы, испещренные ругательствами стены, перекореженная, в беспорядке мебель. Было видно, что бежавшие даже не пробовали замести следы совершенных бесчинств, настолько оставались уверены в своем праве на них.

С глухо бьющимся сердцем спускался Адмирал в подвальную часть дома, с каждым шагом все более ощущая приливавшую к ногам ватную слабость: «Хоть бы детей, женщин пожалели, Господи!»

Ему вдруг вспомнилась его единственная аудиенция у Импе-

ратора в могилевской Ставке, перед назначением на Черноморский флот. Тот принял его без обычных официальностей, усадил в кресло против себя, с отсутствующим видом глядел сквозь него, заученно складывая формулы Высочайшего повеления, но голос его при этом не выражал ничего, кроме укорененной усталости и безразличия ко всему окружающему.

Помнится, уже в тот июльский вечер шестнадцатого года Адмиралу передалась эта безвольная обреченность Императора, и он с тоской подумал тогда: «Не жилец».

И еще одно отчетливо отложилось в памяти: в разговоре с ним Император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи...

Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча Адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать крохотную, комнату об одно окно, с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди.

«И как только они все здесь поместились! — завороженно вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу.— Это же бойня, настоящая бойня!»

И уже почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу:

— Разрешите, господа...

Наверху, в наспех прибранной столовой, на покрытом белой простынею обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи.

Перед Адмиралом аккуратно разложенное и пронумерованное лежало то, что осталось от Дома Романовых, целой династии, трехсотлетней истории России: пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты и еще более кровавые войны, правдами и неправдами умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности вместе взятые и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего Божественного знания.

Только целиком проникшись этой единосущностью, можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, преступать, если нужно, все Божеские и человеческие законы, а потом, в редких промежутках между громкими победами и еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью.

И сразу же почему-то отчеканилось в памяти из переписки Грозного с Курбским: «Како же сего не могл еси разсудити яко подобает властителем не зверски яритися, ниже бесловесно смирятися? Яко же рече апостол: «Овех убо милуйте разсуждающе, овех же страхом спасайте, от огня восхищающе». Видиши ли, яко

апостол страхом повелевает спасати? Тако же и во благочестивых царех и временах много обрящеши злейшие мучение. Како убо, по твоему безумному разуму, единако быти царю, а не по настоящему времени? То убо разбойницы и татие мукам неповини суть (паче же и злейша сих лукавая умышления!). То убо вся царствия нестроения и междоусобными браньями разтлятся. И тако ли убо пастырю подобает, еже не разсмотряти о нестроении о подвластных своих?»

Но как раз этим качеством и был обделен от природы последний монарх династии. Взамен этого она одарила его многими иными добродетелями — простотой, деликатностью, редким великодушием, но первая зачастую оборачивалась для окружающих хуже воровства, вторая воодушевляла проходимцев, а третьей пользовались все, кому не лень,— от казнокрадов до бомбометателей. Его государством была собственная семья. Только в ней он находил опору в повседневных делах, только в единении с нею чувствовал себя полноценным человеком и лишь ее считал гарантией будущего России. Все, что находилось за пределами этого замкнутого мирка, представлялось ему крикливой и докучливой суетой, на соприкосновение с которой его обрекало происхождение и долг, вытекающий из этого происхождения.

Поэтому в роковой час, когда от него потребовалось усилие воли, чтобы взять на себя окончательную ответственность за судьбу династии и государства, он предпочел малодушно бежать в этот мирок, оставив страну на поток и растерзание разнузданной бесовщине. И затем: бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель.

Монархия, по его глубокому убеждению, могла и еще сможет стать надежным залогом непрерывности истории и культуры, только если не будет пытаться приспосабливать их к своему образу и подобию, а, наоборот, приспособит себя к ним, сделавшись лишь регулирующей силой, способной с чуткостью любящей, но умной матери мгновенно отзываться на их взлеты и падения и при этом помочь им в первом, но удержать во втором...

Потом Адмирал почти машинально листал объемистое следственное дело; мелькали даты, имена, фамилии так и не схваченных обвиняемых. Откуда, из какой тьмы возникли они — все эти белобородовы, голощековы, юровские или медведевы и сколько они еще прольют невинной крови, пока та же тьма не поглотит их?

(Много, много, Адмирал, они еще прольют невинной крови, но Тьма, породившая их, поглотит всю эту свору скорее, чем вы думаете, Ваше высокопревосходительство. Правда, прежде, чем поглотить, она протащит их через все девять кругов пыточного ада, и некому им будет помолиться, чтобы облегчить хотя бы душевные свои муки. Когда одного из них уже поволокут на плаху, ему только и останется, что вопить благим матом: «Я Белобородов, передайте в ЦК, меня пытают!» Но ЦК — не Господь-Бог, кричи не кричи, не поможет!)

— Благодарю вас, господа.— Его неудержимо тянуло прочь от этого места, от этого дома, от этой засасывающей душу пропасти.— Честь имею.

И снова по коридору, через двор, наружу, а затем в сани и сквозь городскую белизну — к надежному теплу штабного бронепоезда.

На станции его застала необычная суматоха: на вокзальной платформе, оцепленной часовыми, бурлила толпа чешских легионеров, по путям беспокойно сновала железнодорожная обслуга, вокруг бронепоезда настороженно сгрудился адмиральский конвой.

— Беда, Ваше высокопревосходительство,— кинулся оттуда навстречу Адмиралу Удальцов: обычно невозмутимый, он выглядел не на шутку встревоженным.— Один из наших застрелил легионера.

— Кто? — на ходу бросил Адмирал, направляясь к поезду.

— Егорычев.

— Каким образом?

— Действовал по уставу, Ваше высокопревосходительство,— возбужденно дышал ему в затылок тот.— Стоял на посту, сначала крикнул, потом дал предупредительный выстрел, но ведь вы сами знаете, Ваше высокопревосходительство, чехам теперь сам черт не брат и море по колено, тип этот только обложил Егорычева матом, а на выстрел даже ухом не повел, ну, Филя мой и хлопнул его, как его по уставу учили.

— Так в чем же дело, если по уставу?

— Чехи подняли союзников, те грозятся разорвать отношения, легионеры, как видите, тоже бушуют, Сыровой вот-вот прибудет для объяснений.

— Что ж, примем.— После пережитого им в этот день нервы его были напряжены до предела.— Пора наконец действительно объясниться.

Сыровой вкатился к нему в салон без предупреждения, волчком закружил по ковру перед ним, возмущенно поблескивая в его сторону своим единственным глазом:

— Когда прекратится это беззаконие, адмирал, я больше не намерен этого терпеть, вы можете безнаказанно лить кровь своих соотечественников, вы сами ответите за нее перед историей, но я не могу допустить, чтобы ваши люди лили чешскую кровь, за нее отвечаю я! — он тут же осекся, поймав на себе побелевший от ярости взгляд адмирала.— Это очень серьезно, Ваше высокопревосходительство.

Адмирал медленно поднялся, не спуская с гостя помертвевших в исступленном гневе глаз:

— Слушайте, вы, как вас там, господин Сыровой, вы не в пражской пивной, а в салон-вагоне Верховного Правителя России, держите себя в руках, или я прикажу выбросить вас вон. Вы прекрасно знаете, что часовой действовал согласно существующим воинским правилам, поэтому незачем разыгрывать передо мной дешевую мелодраму. Зарубите себе на носу и передайте вашим иностранным друзьям: за неукоснительное исполнение служебного долга я объяв-

ляю часовому благодарность в приказе и рассылаю этот приказ по войскам.

— Но, адмирал...

— Для вас я не «адмирал», а «Ваше высокопревосходительство», видно, генеральский мундир еще не сделал из вас военного, Сыровой, не сделал он таковых и из ваших подчиненных, иначе они бы знали, что такое честь, а они ведут себя в приютившей их стране, как шайка обезумевших мародеров. Сначала вы изменили одной присяге, теперь изменяете другой, и все это ради спасения своей собственной шкуры, чего вы сто́ите вместе со своим воинством, Сыровой, плевка не сто́ите!

— Я вынужден доложить об этом своему Правительству,— еще догорал, попыхивая угольным треском тот.— Это неслыханно!

— Под шумок большой войны, за спиной у истекающей кровью Европы вырыли себе свою национальную норку и думаете отсидеться в ней от всемирного потопа. Не получится, Сыровой, рано или поздно потоп этот доберется и до вашего иллюзорного убежища, где вы вознамерились теперь избавиться от своей лакейской мизерабельности за счет чужой крови, а от этого можно избавиться только за счет своей, но она настигнет вас, эта кровь, и падет, если не на вас, то на ваших детей,— гнев в нем схлынул так же внезапно, как и возник, он даже не сел, а обессиленно упал в кресло, отвернувшись к окну.— Среди вас был лишь один человек — полковник Швец, который понимал это, вот он и покончил с собой, чтобы не разделять с вами вашего позора.

— И все же, Ваше высокопревосходительство...

Адмирал только отмахнулся с вялой брезгливостью:

— Я вас больше не задерживаю, Сыровой, но в следующий раз соблаговолите предварительно докладывать о своем визите по форме, иначе, повторяю, я прикажу спустить вас с лестницы.

И прикрыл веки, словно занавес опустил между собой и гостем.

4

Предсмертная записка полковника Швеца:

«Я не могу пережить позора, постигшего нашу армию по вине многочисленных необузданных фанатиков-демагогов, которые убили в себе и в нас всех убивают самое ценное — честь».

Открытое письмо капитана польских войск в Сибири Ясинского-Стахурека генералу Сыровому:

«Как капитан польских войск, славянофил, давно посвятивший свою жизнь идее единения славян,— обращаюсь к Вам, генерал, с тяжелым для меня, как славянина, словом обвинения.

Я, официальное лицо, участник переговоров с Вами по прямому проводу со ст. Клюквенная, требую от Вас ответа и довожу до сведения Ваших солдат и всего мира о том позорном предательстве, которое несмываемым пятном ляжет на Вашу совесть и на Ваш «новенький» чехословацкий мундир.

Но вы жестоко ошибаетесь, генерал, если думаете, что Вы, палач славян, собственными руками похоронивший в снегах и тюрьмах Сибири возрождающуюся русско-славянскую армию с многострадальным русским офицерством, пятую польскую дивизию, полк сербов и позорно предавший Адмирала,— безнаказанно уйдете из Сибири. Нет, генерал, армии погибли, но славянская Россия, Польша и Сербия будут вечно жить и проклинать убийцу возрождения славянского дела.

Я приведу только один факт, где Вы были главным участником предательства, и его одного будет достаточно для характеристики Иуды славянства, Вашей характеристики, генерал Сыровой!

9 января сего года от нашего высшего польского командования, с ведома представителей иностранных армий, всецело присоединившихся к нашей телеграмме, было передано следующее:

«5-я польская дивизия, измученная непрерывными боями с красными, дезорганизованная беспримерно трудным передвижением по железной дороге, лишенной воды, угля и дров, и находящаяся на краю гибели, во имя гуманности и человечности просит Вас о пропуске на восток пяти наших эшелонов (из числа 56) с семьями воинов: женщинами, детьми, ранеными, больными, обязуясь, предоставив Вам в Ваше распоряжение все остальные паровозы, двигаться дальше боевым порядком в арьергарде, защищая, как и раньше, Ваш тыл».

После долгого пятичасового томительного перерыва мы получили, генерал, Ваш ответ, ответ нашего доблестного брата-славянина:

«Удивляюсь тону Вашей телеграммы. Согласно последнему приказанию генерала Жанена, Вы обязаны идти последними. Ни один польский эшелон не может быть мною пропущен на Восток. Только после ухода последнего чешского эшелона со ст. Кляквенная Вы можете двигаться вперед. Дальнейшие разговоры по сему, вопросы и просьбы считаю излишними, ибо вопрос исчерпан».

Так звучал Ваш ответ, генерал, добивший нашу многострадальную пятую дивизию.

Конечно, я знал, что Вы можете сказать мне, как и другим, что технически было невозможно выполнить наше предложение; поэтому заранее говорю Вам, генерал, что те объяснения, которые Вы представили и представляете другим, не только не убедительны, но и преступно лживы. Мне, члену комиссии, живому свидетелю всего происходящего, лично исследовавшему состояние ст. Кляквенной, Громодской и Заозерной, Вы не будете в состоянии лгать и доказывать то, что Вы доказывали генералу Жанену. Если бы Вы не как бесчестный трус, скрывавшийся в тылу, а как настоящий военачальник были бы среди Ваших войск, то Вы увидели бы, что главный путь был свободен до самого Нижнеудинска. Абсолютно никаких затруднений по пропуску пяти наших эшелонов быть не могло. У меня есть живые свидетели, специалисты железнодорожного дела, не поляки, а иностранцы, бывшие 7, 8, 9 января на ст. Клюквенной, которые, несомненно, подтвердят мои слова.

Я требую от Вас, генерал, ответа только за наших женщин и детей, преданных Вами в публичные дома и общественное пользование «товарищей», оставляя в стороне факты выдачи на моих глазах на ст. Тулуне, Зиме, Половине и Иркутске русских офицеров, «дружественно» переданных по соглашению с Вами, для расстрела, в руки «товарищей» совдеповско-эсеровской России... Но за всех их, замученных и расстрелянных, несомненно, потребуют ответа мои братья-славяне, русские и Великая Славянская Россия. Я же лично, генерал, требую от Вас ответа хотя бы только за нас, поляков. Больше, генерал, я не могу и не желаю говорить с Вами — довольно слов. Не я, а беспристрастная история соберет все факты и заклеймит позорным клеймом, клеймом предателя, Ваши деяния.

Я же лично как поляк, офицер и славянин обращаюсь к Вам: к барьеру, генерал! Пусть дух славянства решит наш спор — иначе, генерал, я называю Вас трусом и подлецом, достойным быть убитым в спину.

Капитан польских войск в Сибири Ясинский-Стахурек, 5 февраля 1920 года».

Ответа на это письмо не последовало.

После завершения чешской эвакуации генерал Жанен вручил Сыровому в Харбине орден Почетного Легиона.

5

Сквозь смотровую щель штабного блиндажа и расступавшееся впереди редколесье обзор открывался как на ладони. Адмирал поднял бинокль, и полевая даль за лесной опушкой приблизилась к нему почти вплотную.

Сначала в знойном мареве над июльским полем перед ним выявилась кромка березовой рощицы, дальним своим краем стекающей за горизонт. Затем от этой рощицы, словно стронувшийся с места подлесок, выделилась изреженная россыпь темных фигурок. Издалека казалось, что они не передвигались, а плыли поверх некошеной травы, устремляясь туда, где на крутом изгибе речного берега сгрудились впритык друг к другу тесовые крыши облепившего его села.

Фигурки плыли в полной тишине, прошитой лишь шипом и стрекотом полевого царства, и, глядя со стороны, можно было подумать, что происходит безобидная игра в «детские солдатики».

Но чем короче становилось расстояние между атакующей цепью и селом на взгорье, тем явственней обозначался в фокусе адмиральского бинокля облик наступающих: жесткие, без кровинки лица, напряженно откинутый немного назад корпус, руки, судорожно слившиеся с прикладом и ложем винтовки у плеча,— знак смерти на гимнастерке.

В двух шагах впереди цепи, словно возглавляя парадный строй, вышагивал подбористый, саженного роста офицер, и, остановив на нем окуляры, Адмирал сразу узнал его: Каппель.

«Будто сам смерти ищет,— горько отложилось в нем,— не к добру это».

Что он знал об этом Каппеле? Почти ничего, кроме обычного послужного списка: Николаевское кавалерийское училище, Академия Генштаба, Мировая война, герой штурма Симбирска и Казани. При немногих, да к тому же коротких встречах сух, подтянут, исполнителен до подобострастия: типичный выученик старой школы. Но что-то привлекало в нем Адмирала, тянуло встретиться в другой, менее официальной обстановке, даже пооткровенничать под сурдинку, но ежедневная суета закручивала его с утра до ночи, не давая опамятоваться, выбрать случай для душевной беседы, а время той порой шло и шло, упрямо увлекая их, отдаленных друг от друга людьми и расстоянием, к одному и тому же концу.

Чуткая, а потому осторожная к людям Анна, словно угадывая его слабость к Каппелю, не раз замечала ему в разговорах:

— Один у вас друг, Александр Васильевич, без лести преданный,— это Владимир Оскарыч, вот кому бы вам довериться...

За месяцы Верховной власти он так и не смог избавиться от некоторого ученического почтения к армейскому генералитету. Ему казалось почти непостижимым искусство распоряжаться целыми массами людей, двигая их по своему усмотрению в любую сторону и маневрируя ими в зависимости от случайностей, возникающих уже по ходу боя. Для этого, по его убеждению, они должны были обладать каким-то особым даром постоянного чувства личного взаимопонимания не только с этими массами, но и с каждым из подчиненных в отдельности.

Во флоте дело обстояло совершенно иначе. Флотоводцу вообще почти не было нужды выходить за пределы флагманской каюты или соприкасаться со сколько-нибудь большим количеством людей. Корабельная армада жила сама по себе, как предельно отлаженный механизм, в котором воля командующего играла не направляющую, а скорее регулирующую роль. Знания и точный анализ считались здесь важнее интуиции и таланта.

Наверное, поэтому Адмирал так благоволил к Гайде и младшему Пепеляеву, прощал им их своеволие и заносчивость. Для него — образованного и опытного моряка — было почти сверхъестественным, что вчерашний поручик и неудачливый фельдшер безбоязненно брались за любые крупномасштабные операции и, что самое поразительное, доводили их до более или менее успешного завершения.

Эта его слабость к сухопутным практикам не раз оборачивалась для него промахами в выборе военачальников...

Пулеметная очередь вперемежку с одиночными выстрелами, словно град ребячьих хлопушек, вдруг прошила раскаленную тишину и пошла, пошла сыпать, выхватывая из плывущих цепей мишень за мишенью. Но не замедляя и не ускоряя шага, цепи продолжали двигаться, неотвратимо, волна за волной накатывались, приближались к сельской околице, увлекаемые волей ведущего,

и, наконец, растеклись, слились с контурами далеких построек.

Стрельба, будто захлебнувшись, мгновенно смолкла.

— Взяли! — азартно выдохнул у него за спиной Удальцов.

— Молодец, Каппель!

Но в отличие от него Адмирал не испытывал радости. Он думал сейчас о тех, кто, не дойдя до цели, полег там — в некошеных травах, с застывшим у них на глазах июльским небом.

«Ради чего,— изводился он,— и зачем все это? За что, во имя какой корысти эти безусые мальчики кладут свои головы вот так, еще не вздохнув полной грудью?»

Ответить на эту источавшую его муку после всего пережитого им за последние месяцы он не мог даже самому себе. События развивались так, что эти мимолетные успехи только подчеркивали общую обреченность.

Ему вспомнилась его зимняя поездка вдоль прифронтовой полосы. Тогда, после Перми, счастье, казалось, улыбнулось им: взятие Оханска и глубокий обход Осы, бегство красных от Камы в сторону Вятки, победный штурм Уфы и, наконец, соединение передовых линий лыжников с архангельцами. Признание союзников ожидалось в ту пору со дня на день.

Но и тогда Адмирал не спешил обольщаться. Если бы враг у него существовал только впереди, ему не о чем было бы беспокоиться: под его рукой имелось достаточно боеспособных сил и опытных военачальников, чтобы одолеть любого противника. Но враг был сзади, у него за спиной: в штабных и гражданских канцеляриях, на железнодорожных путях и проселочных трактах, в салон-вагонах и резиденциях союзников, в рабочих поселках, в лесных деревнях, казачьих станицах: человеческая душа страшилась упустить выпавший ей случай пожить по своей воле и собственному разумению, не имея, к несчастью, ни того, ни другого.

Поэтому царившее зимой вокруг него повсеместное ликование не вселило в него особых надежд, слишком поучительным оказался для него весь его послефевральский опыт, чтобы утешаться иллюзиями удержать прорванную плотину всеобщего безумия хрупкими подпорками фронтовых успехов.

Еще там, на Черноморье, в июне семнадцатого, когда корабельные заводилы вломились к нему во флагманскую каюту с нелепым постановлением судового комитета о его смещении и аресте, он понял, что это конец всему и всего: то, что еще вчера казалось ему хорошо и надолго отлаженным механизмом, у него на глазах превращалось в груду беспорядочного лома, вдруг потерявшего всякое понятие о своем назначении.

У них не было причин подозревать его в чем-либо или за что-то ненавидеть: он не лукавил с ними и был к ним неизменно справедлив, но в их тогдашней торжествующей возбужденности и не чувствовалось ни обиды, ни злости, а лишь одно ликующее упоение властью над тем, что еще вчера оставалось им неподвластно.

Сколько разговоров, сколько мифов и легенд распускалось потом

обо всей этой сцене, а в особенности о выброшенном Адмиралом за борт Георгиевском кортике! На самом деле все происходило обыденней и короче, без красивых жестов и аффектации. По правде говоря, он не прочь был даже подчиниться: в конце концов что, собственно, означал для него этот самый кортик, если рушилась сама основа, которая еще сообщала смысл каким-либо ценностям или отличиям, но победительная ухмылка главаря — в прошлом знающего и покладистого боцмана — вызвала в нем такой прилив черного бешенства, что на минуту он потерял контроль над собой:

— Руки прочь, не ты мне его давал,— кортик со свистом рассек синеву за распахнутым настежь иллюминатором,— не ты его и отберешь...

Приходя в себя, Адмирал повернулся к Удальцову:

— Каппеля ко мне!

Потом, когда в сумерках они сидели друг против друга за собранным на скорую руку ужином, Адмирал вглядывался в невозмутимое, без единой морщинки лицо собеседника в поисках хотя бы тени, проблеска, налета тревоги или беспокойства, но тот в продолжение всего разговора производил на него впечатление человека, только что вернувшегося с безобидной прогулки и готового по первому приглашению ее повторить.

И, лишь прощаясь, Каппель впервые напряженно потемнел, выдавая выжигающую его изнутри муку:

— Вы спрашиваете, Александр Васильевич, стоит ли командующему самому подставляться под пули? — В выпуклых глазах его проступила сдержанная ярость.— Не знаю, может быть, и не стоит, но только мне с ними,— он кивнул куда-то за спину себе,— на одной земле не быть, а единственное, что у меня есть в обмен на это,— моя жизнь,— и тут же официально вытянулся:— Разрешите идти, Ваше высокопревосходительство?

После его ухода Адмирал долго еще сидел в одиночестве, глядя сквозь блиндажную щель в наступающую снаружи ночь. Он снова думал о тех, кто полег сегодня там, в июльских лугах, и для кого уже не существовало ни этой ночи, ни этой тишины, ни завтрашнего, может быть, еще более тяжелого для них дня.

«Кто знает,— складывалось в нем,— не придется ли мне еще завидовать их участи? И одному ли мне?»

Впереди, над зубчатой кромкой отдаленного леса, вдруг возникла, мерцая и разрастаясь, одинокая, но торжествующая в ночной тверди звезда. Звезда, от которой веяло горькой полынью. Его звезда.

Не оборачиваясь, он позвал Удальцова и, едва услышав за спиной легкое движение, распорядился:

— Попросите заготовить приказ о производстве генерал-лейтенанта Каппеля в полные генералы.

— Слушаюсь, Ваше высокопревосходительство!

А звезда продолжала набирать силу и возноситься.

6

Из записок Г. Гинса:

«В начале октября Верховный Правитель собирался в дальнюю поездку, в Тобольск. Я решил сопровождать Адмирала. Мне хотелось ближе познакомиться с ним, хотелось также побывать на фронте, у самого огня увидеть солдат, офицеров, ознакомиться с их настроением.

Как раз накануне отъезда в доме Верховного был пожар. Нехороший признак. Трудно было представить себе погоду хуже, чем была в этот день. Нескончаемый дождь, отвратительный резкий ветер, невероятная слякоть — и в этом аду огромное зарево, сноп искр, суетливая беготня солдат и пожарных, беспокойная милиция.

Это зарево среди пронизывающего холода осенней слякоти казалось зловещим. «Роковой человек», уже говорили кругом про Адмирала. За короткий период это был уже второй несчастный случай в его доме. Первый раз произошел разрыв гранат. Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фронта, и его поезд приближался уже к Омску.

Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами.

Из дома Верховного Правителя вывозили одного за другим окровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало несколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не догадались сменить.

А кругом дома толпились встревоженные, растерявшиеся обыватели. Как и часовой, они ничего не понимали. Что произошло? Почему? День был ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела?

Когда Адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фаталиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупился, немного побледнел.

Потом вдруг смущенно спросил: «А лошади мои погибли?»

Теперь, во время пожара, Адмирал стоял на крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за тушением пожара. Только что была отстроена и освящена новая караульная, взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок!

Кругом уже говорили, что Адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье... Похоже было на то, что перст свыше указывал неотвратимую судьбу.

Поездка в Тобольск состоялась. Для Адмирала был реквизирован самый большой пароход «Товарпар». Он должен был отойти в Семипалатинск. Уже проданы все билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло известие: «всем пассажирам выгружаться». Шел дождь. Другого парохода не было, а публику гнали с парохода.

Бедный Адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему».

7

После тобольской поездки что-то словно бы хрустнуло, надломилось в налаженной было Адмиралом машине. И от этого надлома потянулись трещины и трещинки во все стороны ее не окрепшего еще организма.

Тюменская операция окончательно захлебнулась. Красные не соблазнились кратчайшим путем отхода через лесные топи на Тюмень, а вопреки всем ожиданиям повернули обратно — к Тобольску, по частям разбивая небольшие отряды воткинцев, выдвинутых в тыл отступающего противника, а встретивших наступавшего. Под самым Тобольском они, не заходя в город, повернули на Тюмень, оказавшись за спиной армии генерала Редько, шедшей вдоль Тобола в том же направлении. Сразу же началось беспорядочное отступление, а вернее, бегство. Северный фронт разошелся по всем швам.

Затем, словно сполохи по сухой стерне, пошли дымить крестьянские бунты, отзываясь на усмирения все новыми и новыми зарницами. Волнения подступали к самому Омску из Славгородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прервав линию сообщений Семипалатинск — Барнаул. Земля уходила из-под ног Адмирала.

После чего и с запада посыпались известия одно тревожнее другого. В конце октября Юденич отступил от Петрограда. Почти одновременно Деникин сдал Орел и начал стремительно откатываться к Ростову. Архангельского фронта больше не существовало. Омск оставался в одиночестве, с глазу на глаз с Пятой армией наступающего противника.

И пошло, поехало.

Атаманщина в полном составе окончательно вышла из повиновения. Верным оставался только Дутов, но до него было далеко, и поэтому он мало чем мог помочь. Семенов удельным князьком отсиживался в Чите, Анненков куролесил по Семиречью, а Калмыков жег и грабил вокруг Харбина. И не существовало отныне на этой земле силы, которая смогла бы обуздать или утихомирить их.

Чехи, поддержанные союзниками, с каждым днем вели себя все более вызывающе. Их эшелоны забили железнодорожную сеть до самого Новониколаевска, блокируя любые перевозки в каких бы то ни было направлениях. Не считаясь ни с грузом, ни с графиком и пренебрегая чьими-либо приказами и просьбами, они самочинно реквизировали тягу и подвижной состав для подручных нужд и праздного передвижения. Сибирь сделалась заложницей этой разнузданной орды у себя, в своей собственной стране.

Омск стал походить на осажденную крепость. Вокруг города дымили кострами таборы беженцев, из которых наспех формирова-

лись разношерстные соединения: мусульмане, легионеры, православные крестоносцы. Молва перекатывала из конца в конец города недавние слова Адмирала: «Бежать больше некуда, надо защищаться».

На полыхающий неподалеку фронт были брошены последние резервы: морской батальон, городское ополчение и даже большая часть адмиральского конвоя. Упорство наступающих схлестнулось насмерть с отчаянием оборонявшихся.

Но — странное дело! — чем хуже и безнадежнее становилась общая ситуация, тем увереннее и тверже чувствовал себя Адмирал. Осознав худшее, он словно бы отряхнул душу от страхов и тревог вчерашней неопределенности и с облегчением взглянул в глаза своей гибели. Наверное, так чувствует себя беглец, настигнутый долгой погоней, когда уже нет надобности никуда бежать и не от кого скрываться: флажки сомкнулись за ним, и ему ничего не оставалось, как наблюдать из своего загона за окружающими с отчаянным спокойствием обреченного.

Царившая вокруг него паническая суета, обтекая его со всех сторон наподобие гулкого водоворота, почти не отзывалась на нем. По сравнению с тем, что ожидало его впереди, волнения и страсти вокруг виднелись ему теперь словно сквозь опрокинутый бинокль, настолько они выглядели микроскопическими.

Видит Бог, он сделал все, бывшее в его силах, чтобы, оказавшись в самой стремнине сокрушительного потока, попытаться если не остановить этот поток, то хотя бы прикрыть собою тех, кто был ему особенно близок, и если и не сумел этого сделать, то не по своей вине.

Да и кому на его месте удалось бы совершить большее? Едва ли вокруг него имелись люди, видевшие дальше, чем он, и понимавшие, что все, случившееся в России, только начало пожара, который рано или поздно охватит остальной мир, и что война, заливая ее, теперь уже не кончится до тех пор, пока на земле останется хотя бы одна живая душа. Простому смертному не под силу была бы догадка, что человек впервые в истории затеял войну, которая захлестнет землю, а затем, дробясь и дробясь на все более малые бойни, обернется последним поединком двух живых существ, после чего победитель, в последний раз огласив мертвую землю предсмертным криком, уничтожит самого себя. И тогда над поверженным миром прокатится торжествующий хохот Сатаны: «Я победил тебя, Галилеянин»...

Губернаторский дом, где размещались службы Верховного правителя, превратился в придорожный табор: повсюду громоздилась ручная кладь, товарный багаж, беспорядочные груды документации, а поверх всего этого сидели, лежали, возбужденно метались люди с загнанными от растерянности глазами.

В кабинете Адмирала происходило почти беспрерывное заседание. Разговоры велись лишь об одном: сдавать или не сдавать Омск? В принципе эвакуация была решена еще в августе, но затем не раз

отменялась в надежде на изменения к лучшему. Даже теперь, когда, казалось бы, другого пути не оставалось, наиболее отчаянные головы призывали правительство защищаться во что бы то ни стало и любой ценой.

Адмирал беспрерывно принимал министров, генералов, представителей городской общественности, вполуха выслушивал все «за» и «против», невидяще смотрел сквозь собеседника, едва воспринимая обращенные к нему доводы и доказательства.

Слегка оживился он только при появлении командующего Третьей армией генерала Сахарова. Тот прибыл прямо с фронта; вымокнувший под мокрым снегом с ног до головы, в заляпанных грязью сапогах возник на пороге и уже оттуда, не стесняясь субординацией, обрушил на присутствующих водопад новостей, одну хуже другой:

— Фронта больше не существует, господа, солдаты разбегаются куда глаза глядят, Щетинкин гуляет по нашим тылам, как у себя дома, измена поднимает голову на каждом шагу, большевики могут оказаться в любую минуту на ружейный выстрел от Омска! — но, выложив все это одним духом, закончил он довольно неожиданно.— Выход один: собрать остатки сил в единый кулак вокруг города и защищаться до последнего, противник тоже на последнем пределе, если мы выстоим, возможен перелом.

И лишь после этого не сел, а облегченно рухнул в кем-то сочувственно выдвинутое к нему кресло, с вызовом вздернув бульдожий подбородок в сторону Адмирала.

Даже видавший виды Пепеляев не сразу нашелся, настолько он был ошарашен сахаровским натиском:

— Какими же силами защищаться, Константин Васильевич, где они у нас, эти силы?

— Наличными, Анатолий Николаевич, наличными,— Сахаров не скрывал давней своей неприязни к Пепеляеву.— Вытянуть на свет Божий из разных канцелярий и штабных щелей всю тыловую сволочь, поставить под ружье и отправить на позиции, хватит ей пробавляться на казенном корму за спиной у фронтовиков, вот и весь сказ, а то ведь, я смотрю, эта сволочь не воевать, а удирать собралась на семеновские хлеба, только как бы ей этими хлебами не подавиться.

В дальнейшую перепалку Адмирал уже не вникал. К нему вдруг вернулось спасавшее его временами упрямство: почему бы и нет? Да, положение практически безнадежное, да, реальных шансов у них, если смотреть правде в глаза, нет, но вот находится человек, который хочет и полон решимости драться, отчего не позволить этому человеку рискнуть? Сколько можно выслушивать нытье Дитерихса, этого тихопомешанного ханжу, возомнившего себя перстом Божьим, или надеяться на шальное везение Пепеляева, удачливого только на ровной дорожке, пусть честолюбивый новичок попытает счастья, может быть, еще не все потеряно и есть шанс хотя бы отсрочить худшее?

Возвращаясь к действительности, Адмирал решительно вклинился в гудевший вокруг него спор.

— Быть по сему.

8

Из дневника Анны Васильевны:

«Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь,— с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих черт. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу,— сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться по мелочам — это ли не уважение к человеку?

И мне он был учителем жизни, и основные его положения: «ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты», и «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы».

9

Из записок Г. Гинса:

«В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе: армия сможет отойти за Иртыш.

По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом.

В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Дитерихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивалось словами: «плохо, брат Деникин, пора умирать». «А вы знаете,— сказал Дитерихс,— что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала Домонтовича вас об этом предупредить».

Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уже не был так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции.

Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо! И встречавшие получали только последний номер «Правительственного Вестника» с Положением о Государственном Экономическом Совещании. Это была последняя ставка правительства.

Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер в Архангельске. Все пришли к этому выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа...

Армия Адмирала обратилась в беспорядочное бегство, а в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красных войск. Деникин отступал, и не только миновала опасность Москве, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступил к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между Советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не думал о взятии Петрограда, его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии.

Было чего радоваться в красной Москве.

Омское Правительство выехало 10 ноября, а 14-го Омск был уже занят красными. Произошло занятие Омска с той же понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри, неожиданное появление отрядов красных с севера — и все побежало, все силы гарнизона куда-то испарились, одни отнимали у других лошадей, одни других пугали.

Впечатление непреодолимости красных сил усиливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой. Сила сопротивления становилась все слабее. Перелом настроения в сторону большевиков вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти Верховного Правителя».

10

В Нижнеудинске поезд Верховного Правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина. Связь с внешним миром прервалась окончательно, и лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения: фактическая боевая сила продолжала существовать только на штабных картах.

На следующий день нарочным было доставлено два пакета: от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой, предложение союзников о чешской опеке — смертным приговором.

Но, давно приготовившись к худшему, Адмирал не считал себя

вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей.

— Вот что, полковник,— он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги,— передайте этой сволочи, что я согласен, и соберите ко мне тех, кто еще остался,— офицеров, обслугу, конвой, я хочу попрощаться с ними.

Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними с вытянутой по шву рукой:

— Разрешите, Ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения?

— Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрыч, без чинов,— от Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому,— чего уж там, выкладывайте.

— Надо пробиваться в Монголию, Ваше высокопревосходительство,— под укоряющим взглядом Адмирала он тут же с усилием поправился,— Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова, я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных, медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить.— Видно, уловив в лице Адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее.— Пробьемся, Александр Васильевич, легко пробьемся, комитетских здесь кот наплакал, если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, я ведь родом из этих мест, с завязанными глазами проведу и выведу...

Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в Адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась:

— Верность вашу, Аркадий Никандрыч, я всегда ценил и ценю, но бегство — это не для меня,— он устало горбился за столом вполоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел, разговаривая скорее с самим собою.— За мной пошла армия, тысячи людей, они поверили мне, сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрыч, этому не бывать, это означало бы предать и живых и мертвых, погибать — так уж вместе с ними.

— Но без вас-то нам уже и вовсе не подняться, Александр Васильевич,— почти выкрикнул, взмолился Удальцов.— Тогда всему конец!

— Пробивайтесь на соединение с Каппелем, Аркадий Никандрыч,— все так же, вполоборота к собеседнику, Адмирал поднялся,— во Владимира Оскарыча я верю, он еще сумеет, за ним пойдут,— он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо.— Храни вас Бог, Аркадий Никандрыч!

И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах.

Какой долгой видится жизнь вначале и какой короткой она оказывается в конце! Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он осознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня.

Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы...

У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя:

— Вы уже знаете?

— Да.

— Что вы об этом думаете?

— Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы.

— Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие.

— Но они военные, дорогой Александр Васильевич, для них небезразлично понятие чести.

— К сожалению, они давно забыли о том, что это такое.

— Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами.

— То есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами.

— И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться...

Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зенкевича, он был уже снова собран и предупредителен:

— Слушаю вас, генерал.

Тот некоторое время смущенно таращился на Адмирала базедовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдавил из себя с заметным усилием:

— Простите, Ваше высокопревосходительство, союзники торопят... Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон. Иначе они не ручаются за вашу безопасность... На станции неспокойно...

— Кто с нами?

Зенкевич еще более сник и напрягся:

— Только ближайшее окружение, Ваше высокопревосходительство... Таково условие чехов... Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел...

Адмирал равнодушно пожал плечами: Сыровой мстил. Мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у Адмирала обычно не хватало даже презрения.

(Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, Верховному Правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими у сибирских крестьян: не правда ли, восхитительно, а?)

— Я готов,— он бережно снял ее руки с себя и, повернувшись к ней лицом, взял их в свои.— Надеюсь, эти милостивые государыни не оставят здесь, вместе с моим конвоем, русского золота?

— Золотой запас, Ваше высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск.

— Я был уверен, что об этом они позаботятся, деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое, больше мне уже, наверное, не понадобится. Благодарю вас.— И к ней, с обреченной решимостью:— Анна Васильевна, милая, оденьтесь потеплей, холод на дворе анафемский...

С этого момента их отношения, дошедши до своего последнего предела, сделались обыденнее, проще, доверительней. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы существовавшей между ними переменчивой близости они стали наконец по-настоящему близки.

Ночь обвалилась на них звездной пропастью, перехватила дыхание режущей стужей и хрустко заскрипела под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону.

Где-то далеко впереди, из-за крыш станционных построек, призывно попыхивали огневые зарницы и перекатывался гул орудийной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притемненных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилось раскаленное от звезд небо.

(Мне кажется, что я и вправду вижу ее — эту маленькую процессию на железнодорожных путях заштатной сибирской станции, с падающими летучими тенями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею, этой процессией, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить: куда вы!)

В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении Адмирала и его спутницы солдатский гомонок затих, раздвинулся вдоль окон, уступая им место для прохода, а затем молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе.

Щелчок замка задвинутой за ними двери отделил их от этого любопытства, и они наконец остались наедине, порывисто припав друг к другу:

— Вам холодно?

— Нет, нет, Александр Васильевич, совсем нет!

— Я виноват перед вами, Анна.

— Александр Васильевич, милый, полноте!

— Хорошо, Анна Васильевна, я больше не буду.

— Вот и славно, дорогой мой, вот и славно.

— Милая Анна, Аннушка, Аннет...

— Если бы всегда так...

— Еще не поздно, Анна, еще не поздно...

— О, если бы!

Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней, уже спящей, глядя в плывшую за окном ночь.

Сидел и думал о том, зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится и что останется после него на

ней? В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное дерево, одним из побегов которого сделался он,— нынешний адмирал и Верховный Правитель России в самую, может быть, страшную пору ее истории...

Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок, и уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле и останется ли вообще что-нибудь, это сейчас занимало и мучило его более всего.

Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа — жена и сын. С женой они расстались без объяснений, у нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной не было мимолетным увлечением, и вовремя отойти в сторону, но судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним, кем он вырастет и каким запомнит отца?

В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, Адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хотя бы один-единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал бы его сыну историю выпавшего ему крестного пути. С каким облегчением он принял бы тогда свой конец!..

Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора, а в нем, как в портретной раме, приземистую фигуру чешского офицера:

— Наше командование,— тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на Адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе,— передает Вас иркутским властям в целях Вашей собственной безопасности.

И хотя Адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам:

— Значит, союзники предают меня? — но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки.— Пройдемте в коридор, даме необходимо привести себя в порядок...

При этом Адмирал смотрел мимо чеха, в окно за его плечом, где на чернильном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда.

Его звезда.

11

В ярко освещенной зимним солнцем комнате перед ним собралось четверо. Разглядывая их по одному, он не находил в них ничего такого, что отличало хотя бы одного из них от простых смертных единой чертой или повадкой. Встреть такого случайно на улице, пройдешь мимо, даже не заметив. Но вот теперь именно им — этим четверым — предстояло вести допрос и решать его судьбу.

Да и сам допрос менее всего походил на допрос. Это было скорее нечто среднее между праздным разговором и школьным экзаменом, где стороны заранее знают, о чем пойдет речь. Он старательно пересказывал им свою биографию (будто они ее сами не знали!), политические взгляды (словно взгляды эти оставались для них секретом!), историю его деятельности на посту Верховного Правителя (деятельность эта была им известна лучше, чем ему самому!), а следователи благодушно попивали себе чаек (впрочем, подследственного тоже не обносили!) да посматривали на него с неослабевающим любопытством.

Собственно, из всех четверых и старался-то только один, некто Алексеевский, этакий въедливый господин с обличьем испитого сельского учителя. Он явно дорвался до своего звездного часа и старался вовсю, но, особенно не поддержанный остальными, тоже вскоре заразился общей вялостью и сник, уступая очередной вопрос кому-либо из коллег.

Они словно бы играли с ним в какую-то еще непонятную ему игру. Постепенно у него стало складываться впечатление, что у них самих нет уверенности в своем праве вести такой допрос, что судьба его решается не ими и что все происходит по инерции, в ожидании некоего подлинного хозяина положения, который и должен будет решить участь арестованного.

Поэтому, машинально отвечая на вопросы, он стал теперь мысленно конструировать для себя прошлое каждого из следователей, и это отвлекало его от томительных мыслей о завтрашнем дне.

Кем бы мог, например, быть Председатель Попов в своей прошлой жизни? По внешнему облику, по манере двигаться и немногословности в нем чувствовался полуинтеллигентный мастеровой из кадровых подпольщиков, а вот в его заместителе со странной фамилией Денике проглядывался скорее тип хлопотливого, но не слишком удачливого земца с большими, хотя и едва ли осуществимыми амбициями.

Особенно Адмирала заинтересовал четвертый член комиссии — Лукьянчиков, более других походивший на судейского, но за все дни допроса так и не проронивший ни единого слова, даже поглядывавший на него временами с некоторым сочувствием.

«Что он, кто он,— терялся Адмирал в догадках.— На чиновника не похож, на «светлую личность» из обиженных тоже, слишком интеллигентен для этого, тогда кто же он все-таки?»

Его занятиям физиономистикой положило конец появление на очередном заседании быстрого в движениях, грачиного облика человека в щегольской солдатской гимнастерке, перепоясанной наборным кавказским ремешком. С этого дня Адмиралом занялись всерьез, хотя сам новоприбывший в разговоре участия не принимал, сидел себе, поигрывая своим ремешком, искоса поглядывая на подследственного.

Но в нескрываемом нетерпении, с каким тот выслушивал вопросы

и ответы, в той почти неуловимой непоседливости, с которой он обсиживал свое место, и в самом этом его нервном поигрывании ремешком сквозила уверенная повадка человека, облеченного настоящей, а не одной лишь видимой властью. Машина допроса сразу же закрутилась, избегая длиннот и каких-либо околичностей. Речь теперь шла только о фактах и месте этих фактов в общей цепи доказательств.

К тому же Адмирал сразу отметил, что с появлением этого непоседливого грача чаем его стали обносить, но всякий раз, когда стаканы проплывали мимо него, рука Лукьянчикова, будто невзначай, пододвигала ему свой. В таких случаях Адмирал благодарно кивал, но тот мгновенно отворачивался от него.

«Господи,— удивлялся он,— есть ведь и среди таких вот нормальные люди!» А про грача сразу подумал: «Мелок ты, брат, мелок, а в большую власть войдешь, еще мельче станешь!»

И чувствуя, что развязка скользяще устремилась к концу, стал с большей охотой возвращаться к себе в почти не топленную камеру, чем сидеть в этой ярко освещенной январским солнцем и жаркой комнате за уже ничего не означавшими в его судьбе разговорами с чужими для него людьми. Там, в тюрьме, у него все еще оставалась возможность встречаться с Анной на прогулках и разговаривать, разговаривать, разговаривать с ней.

Когда перед очередным допросом его после завтрака вывели на прогулку (о, если бы ему знать тогда, что эта его прогулка с ней будет в их жизни последней!), он, взяв по обыкновению ее руки в свои, вдруг почти с детским восторгом просиял в лицо ей:

— А что, Анна Васильевна, неплохо мы с вами жили в Японии!

Это было последнее, что она услышала от него на земле.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА:

21 января 1920 г.

Председатель: Вы присутствуете перед Следственной Комиссией в составе ее Председателя Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссии: Г. Г. Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу Вашего задержания. Вы адмирал Колчак?

Адмирал: Да, я адмирал Колчак.

Председатель: Мы предупреждаем Вас, что Вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайно-Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?

Адмирал: Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет.

Председатель: Вы являлись Верховным Правителем?

Адмирал: Я был Верховным Правителем в Омске Российского Правительства — его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в

Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.

Председатель: Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она имеет отношение к Вам?

Адмирал: Она моя давнишняя знакомая, она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною.

Председатель: Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской женой, мы не имеем права зафиксировать этого?

Адмирал: Нет.

Н. А. Алексеевский: Скажите нам фамилию Вашей жены.

Адмирал: Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным деятелем или членом Каменец-Подольского Суда, он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после того он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника, там я родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родителя умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении из плена женился, а затем он служил в артиллерии (...) в Горном иституте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный, до времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра Екатерина, была еще одна сестра Любовь, но она умерла в детстве. Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее время — я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й Петроградской Классической Гимназии, где я пробыл до 3-го класса, затем в 1888 (86?) году я поступил в Морской Корпус 12-ти лет и окончил свое воспитание в Морском Корпусе в 1894 году. В Морской Корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус, из Корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне тогда было 19 лет. В Корпусе был установлен целый ряд премий для пяти

и шести первых выходящих, и они получались по старшинству. По окончании Корпуса я начал свою службу. По выходе из Корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж, пробыл там я несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, во Владивостоке, я ушел на клипер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого Океана до 1898 года, когда этот клипер вернулся в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1898 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая, на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к Южно-Полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время, писал списки, изучал южно-полярные страны, у меня была мечта найти Южно-Полярный Полюс, но я так и не попал в плавание на Южном океане.

(...)

Председатель: Иначе говоря, мирились ли Вы с существованием монархии, являлись ли Вы сторонником ее сохранения, или Японская война и революция 1905—1906 гг. внесли изменения в Ваши политические взгляды?

Адмирал: Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга этого требовала. Я относился к Монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя; я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

Н. А. Алексеевский: Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и, в частности, с семьей бывшего императора, события последних лет перед Революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли Вас эти настроения и в какой степени?

Адмирал: Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и

тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плавал на «Уссурийце»,— верно это или нет,— прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в шхеры и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле и (этого) не было, и никого из нас не звали, и никакого Распутина не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались, никто толком не знал, была масса слухов и разговоров.

В. П. Денике: Мы как будто бы остановились на том, как сложились Ваши воззрения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени с 1906 по 1917 год ко времени революции происходили ли изменения Ваших политических воззрений и принимали ли Вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?

Адмирал: Нет. Я не принимал участия, я в это время был занят чисто технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.

Н. А. Алексеевский: Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: Вы сначала нам скажите, имели ли Вы личные отношения с бывшим Императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли Вы хоть одно свидание с Распутиным?

Председатель: Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 года?

Адмирал: Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о Государе. Нужно сказать, что до войны — меня выдвинула война — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому я непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном Штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим я видел его, когда он приезжал на смотрины во флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел Государя и царскую фамилию, когда царская фамилия стояла на рейде «Штандарт» — в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничным». Туда прибыл Эссен. Мой

миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины, но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. Вот на мой миноносец прибыли Государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей, «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда Государь был у меня на миноносце, но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем после окончания постановки мин я пришел на «Штандарт».

Председатель: Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархистом или нет?

Адмирал: Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда вопроса: «каковы в Вас политические (убеждения)»,— никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю, я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте», затем я второй раз видел Императора в Ревеле, когда Государь прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте, он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте» — во время завтрака. Из Великих Князей до 1917 года я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также Великих Князей, когда были смотры.

Н. А. Алексеевский: С Распутиным Вы ни разу не видались?

Адмирал: Нет, ни разу не видался.

Н. А. Алексеевский: В числе вещей у Вас есть икона — золотой складень; там как будто есть надпись, что она Вам дана от Императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.

Адмирал: У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил, это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему, он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.

Н. А. Алексеевский: Мы бы хотели, чтоб Вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, изменились Ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?

Председатель: Какова была Ваша общая политическая позиция во время революции?

Н. А. Алексеевский: Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений Вы не имели.

Председатель Чудновский: Мы бы хотели знать в самых общих

чертах Ваши политические взгляды во время революции, о подробностях Вашего участия Вы нам расскажете на следующих допросах.

Адмирал: Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, Протопопов и т. д., не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы как высшей правительственной власти. Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Гос. Думы, знал как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был Морской Министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному Правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я в конце концов (служу) не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе Российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствую революцию как возможность рассчитывать на то, что революция внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего,— и образа правления, и политических соображений. (...)

Из дневника Анны Васильевны:

«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тю-

ремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание,— и он говорит:

— Я думаю, за что плачу́ такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу́ за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».

Оттуда же:

«Киев, июль 1969 г.

Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по городу. И все так же было: светло, сквозь облака просвечивало солнце, и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата. И впереди только встреча и сердце полно до краев.

Не могу отделаться от этого впечатления.

Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М. И. Тихомиров — писатель, который пробовал писать роман об А. В. Колчаке, и, узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора.

Роман он написал скверный, сборный — и, собственно, о генерале Лукаче. Эпизодически и об Александре Васильевиче, меня наградил княжескими титулами и отвел крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую, и имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать не стала. Но тут он сообщил мне, что в архиве сохранились не отправленные мне письма А. В., частично напечатанные в журнале «Вопросы истории», № 8 за 1968 год, что писатель Алдан-Семенов имел их в руках и может мне передать в перепечатке из журнала.

Я просила его передать Алдан-Семенову, чтобы он доставил мне их. Письма 1917—1918 годов. Тот привез их мне.

И вот больше чем через 50 лет я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные и перечитанные чужими,— единственная документация его отношения ко мне. Единственное, что сохранилось из всех его писем, которые он мне писал с тех пор, как уехал в Севастополь,— а А. В. в эти два года писал мне часто. Даже в этом виде я слышу в них знакомые мне интонации. Это очень трудно — столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной, и вдруг опять почувствовать себя молодой, так безоглядно любимой и любящей. На все готовой. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны и вижу свою печальную старость. Какая была жизнь, какие чувства.

Что из того, что полвека прошло, никогда я не могу примириться с тем, что произошло потом. О Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось.

И ему и мне трудно было — и черной тучей стояло это ужасное

время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому.

Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».

И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. И луна в окне и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:

— Скажите, он расстрелян? — И он не посмел сказать мне «нет»:

— Его увезли, даю Вам честное слово.

Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал.

Полвека не могу принять —
Нельзя ничем помочь —
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе».

Глава седьмая

ЕГОРЫЧЕВ

1

В этот раз Егорычев принял пост за полночь. Над станцией сквозь морозный туман мерцало, словно перемигиваясь, звездное небо, отчего тьма вокруг казалась еще гуще и непрогляднее. И лишь в отдалении, в пределах вокзала, маячил островок света, откуда разносилась по путям хмельная многоголосица: праздничная гульба чешских легионеров, видно, была в самом разгаре.

«Вольготно живут,— с горечью откликнулось в нем,— чего им по чужие беды ходить!»

Вспомнились ему его дорожные встречи с ними по пути в

Омск: степенный, обходительный народ, смотреть на них было любо-дорого. Чего это с ними стряслось, что они будто с цепи сорвались, слова никому из них не скажи, сразу в мат, чему хорошему, а этому быстро научились. Грабят, смертоубийством не брезгуют, над бабами, девками нашими измываются, куда это годится?

Эти его раздумья прервал возникший невдалеке со стороны станции голос. Голос приближался к нему, проборматывая на ходу исковерканную сильным акцентом русскую матерщину. Затем под ноги к Егорычеву протянулась текучая тень и в темноте перед ним выявилась фигура человека, пересекающего пути по направлению к штабному вагону Адмирала.

— Придержи, браток,— добродушно осадил было идущего Егорычев,— не туда гребешь.

В ответ из ночной тьмы послышались те же ругательства, одно другого замысловатее.

— Стой, говорю! — обозлясь, крикнул Егорычев.— Стрелять буду! — И выстрелил вверх.— Стой!

Но тень продолжала надвигаться на него, а ругательства в темноте сделались еще заковыристее. Сердце Егорычева вдруг занялось таким остервенением, что руки его, помимо воли, выбросили винтовку вперед, а палец мгновенно нажал курок. В плотном от холода воздухе выстрел прозвучал, словно одиночный хлопок в ладоши. Тень перед Егорычевым подломилась и стаяла на снегу, свернувшись впереди в черный комок.

Из вагона на выстрел встревоженно выскочил в наспех накинутой на плечи шинели Удальцов.

— Что у тебя?

— Да вот,— еле приходя в себя, кивнул в темноту Егорычев,— свалил одного.

— Что случилось?

— Да что ж, Аркадий Никандрыч, слов не понимает, выстрел вверх дал, ругается, ну я и свалил, как по уставу положено,— чуя по необычной взволнованности Удальцова, что произошло что-то непоправимое, тихо сник.— Чего ж мне еще делать-то было, Аркадий Никандрыч?

— Ладно,— отодвинул его в сторону Удальцов, надевая на себя шинель,— иди к себе, сиди тихо, никуда не показывайся, пока не позову, быстро!

Запершись в купе конвойной дежурки, Егорычев вслушивался в чешский галдеж за стенкой вагона, перекрываемый зычным голосом Удальцова:

— Прошу перед штабом Верховного Правителя России митингов не устраивать! Здесь вам не совдеп!.. Если не разойдетесь, прикажу стрелять... Прошу немедленно разойтись!

Удальцов постучался к нему, когда за окном определился тусклый рассвет.

— Поднимайся, Филя,— раздалось из-за двери,— Верховный зовет, выложишь, как на духу...

Адмирал поднял на Егорычева квелые от бессонницы глаза, спросил вяло, словно отбывая урок:

— Рассказывай, как дело было?

У Егорычева язык к гортани присох: так близко да еще один на один видеть Адмирала ему еще не доводилось.

— Так что... Вашсссство... Как по уставу сслужбы,— с трудом складывал он.— Приказано...

Видно, вникнув в состояние Егорычева, Адмирал усталым жестом остановил его, молча поднялся, неспешно вышел из-за стола, подступился к нему почти вплотную, оказавшись ему по плечо, и, снизу вверх, вскинул на него ожесточившиеся вдруг глаза:

— Молодец, Егорычев, благодарю за службу, чтоб незваные гости помнили: кто к нам с добром, к тому и мы всей душой, а кто со злобою, пусть на себя пеняет,— он, не глядя, снял со своего кителя Георгиевский крестик и старательно пристроил его на гимнастерке Егорычева.— И с первым офицерским чином тебя!

И, чуть заметным кивком отпуская гостя, повернул обратно — к столу.

Но времена скоро наступили такие, что Егорычеву стало не до своего скороспелого офицерства. С каждым днем конвой Адмирала превращался в боевую часть, которую перебрасывали из прорыва в прорыв, откуда она выходила еще более поредевшей и потрепанной.

А с первыми холодами грянула катастрофа.

2

Из лагерных рассказов Филарета Егорычева:

«Правда, после той лихой атаки под Курганом все у нас пошло-поехало наперекосяк. Фронт посыпался кругом, только подол подставляй. В одном месте треснуло, в другом прохудилось, в третьем потекло да так уж и без передыху. Конвой из боев не выбирался, только что ж конвой один может, вроде подспорья, а против большой силы таким числом не выстоишь. Ко всему, народ по деревням совсем задубел, смотрит зверем, от мобилизации в леса норовит, да и то сказать — наш брат тоже не сахар, гребут у мужиков что ни попадя, на руку тяжелые сделались, иные вовсе лютовали, хотя, бывало, и за чужие грехи на себя напраслину принимали. Помнится, отбили мы деревеньку как-то, а там за околицей нашего брата горой навалено. Думали, красные в злобе навалили, а на поверку вышло, что сами мужики допьяна напоили и хмельных потом косами посекли, до того им уже допекло тогда, как те зверовали. Только, как стали ихнюю обувку-одежу растаскивать да приспосабливать по домашней нужде, документы в барахле обнаружили, а по документам тем они все красными оказались, с особым заданием мужицкую злобу против нас распалять, вот ведь на какой обман шли, греха не боялись. Правда правдой, а поди расскажи ко-

му, не поверит, да и рассказывать некому, никто слушать не хотел, надоела мужикам эта канитель, одно долбили: замиряться пора. К зиме ближе совсем у нас худо сделалось, офицеры и те разбегаться стали, красные обложили наши фронта со всех сторон, один путь оставался — двигаться на Иркутск. С первым снегом и двинулись из Омска по железной дороге. Однако дальше Нижнеудинска не доехали, застряли на путях вместе с золотом, ни туда, ни сюда. Вот тут-то и зовет меня как-то к себе мой начальник: «Вот,— говорит,— Филя, какие дела: продали нас союзнички, ни за понюх продали, Адмирал решил никого не неволить, предлагает подчиненным выбираться на свой страх и риск, а мне советует пробиваться к Каппелю, так что решай: со мной пойдешь или свою дорогу выберешь?» А мне в ту пору и думать было нечего, такое с им вдвоем прошли, что меня от него только с мясом оторвать можно было. «Пол-России прошли,— говорю,— Аркадий Никандрыч, глядишь, Бог пособит, и вторую пройдем вместях». Обнял он меня и прослезился даже: «Братом ты мне стал,— говорит,— а не подчиненным, судьба нас с тобой, Филя, навсегда побратала». Двинулись мы с им той же ночью, а как к Каппелю попали, убей меня Бог, не помню, я уже тогда в тифу был, шел, как во сне, ни земли, ни ног под собой не чуял, уж потом узнал, что прямо в каппелевском штабе и свалился. Чем выжил, сам не знаю, однако молодой был, выдюжил».

3

За конной атакой, в которой участвовал адмиральский конвой, Егорычеву выпало следить издалека: его, как еще не обстрелянного, определили в стрелковый заслон, что должен был, в случае неудачи кавалерийского удара, принять на себя натиск преследующих.

Он лежал заряжающим у пулемета, глядя, как конница, в две лавы, одна за другой, полукругом охватывала прибрежное село на взгорье, и дробь долетавшей оттуда пальбы отзывалась в нем исступленной мольбой: «Не попусти, не попусти, Господи, спаси душу раба твоего Аркадия!»

Облегченно вздохнулось ему только, когда ружейная пальба у сельской околицы впереди внезапно, словно захлебнувшись, смолкла, и в оглохшей вслед за этим тишине взмыл над его головой пронзительный и протяжный звук походной трубы: отбой!

К селу рекой потянулись ожившие в предвкушении близкого отдыха стрелковые цепи и войсковые обозы, по дороге все более возбуждаясь и беспорядочно смешиваясь.

Егорычев оказался в селе одним из последних, застав здесь уже запущенный в действие круговорот армейского механизма: вокруг местной школы мельтешила штабная карусель, по улицам дымили походные кухни, а в церковной ограде, в неверной тени развесистых лип разворачивался походный лазарет.

На базарной площади, на самом солнцепеке, ему бросилась

в глаза сбитая в почти безликую кучу группа пленных, сидевших прямо на земле, в окружении хмурого от жары и усталости конвоя.

Скорее в растерянности, чем из любопытства, Егорычев замер перед этим зрелищем и одновременно услышал у себя за спиной отрывистый, похожий на перепалку разговор, сразу же выделив в нем знакомый, с легкой хрипотцой голос Удальцова:

— Адмиральский конвой, Ваше высокопревосходительство, не расстрельная команда, Верховный приказал мне поддержать фронт, но убивать пленных он мне не приказывал, увольте, Ваше высокопревосходительство, палачеству не обучен.

— Но, ротмистр,— упрямо гнул кто-то в ответ,— Верховный сам настаивал на расстреле коммунистов во всяком случае и без суда.

— Разве мы успели уже выяснить их убеждения, Ваше высокопревосходительство? Уверяю вас, что большинство из них такие же коммунисты, как мой Филарет, они и слова-то этого толком не произнесут, набрали их по мобилизации и погнали в огонь, вот и вся их партийность, нашими экзекуциями мы только озлобляем мужицкую массу.

— В таком случае, куда же их девать, ротмистр?

— А переодеть и в строй, за милую душу воевать пойдут, им ведь все равно с кем, лишь бы начальство было.

И словно туман расступился перед глазами Егорычева: в серой мешанине на земле он вдруг разглядел лица, много лиц, самых, казалось бы, разных, но, при всей их непохожести друг на друга, сквозило в них что-то такое, отчего они — эти лица — поначалу сливались для него в одно, как бы присыпанное пеплом пятно, отмеченное лишь покорным безразличием к окружающему.

«Наша, мужицкая кость,— всматривался он в них, будто в зеркало,— какой с них спрос!»

(Множество раз впоследствии доведется Егорычеву сталкиваться вот так, лицом к лицу с этой безликой покорностью, но долго еще ему предстоит впереди быть клятым и битым, прежде чем он проникнется ее спасительным отупением: двум смертям не бывать, а одной не миновать!)

А тем временем в разговор за его спиной неожиданно вклинилась чья-то насмешливая скороговорка:

— Дозвольте мне, Ваше высокопревосходительство,— быстрый голос сзади даже пресекался от нетерпения,— я человек простой, меня тонким чувствам в академиях не обучали, зато жена моя с дочерью комиссарскую науку сполна прошли, потешилась над ними красная сволочь досыта, обе руки на себя наложили, у меня душа не дрогнет, пускай только господин ротмистр кружевным платочком прикроется, а то еще сблюет ненароком от сердечного благородства,— тяжелая рука властно отодвинула Егорычева в сторону.— Осади, солдат!

В замкнутый круг перед пленными решительно вступил при-

земистый, с бычьим загривком казачий офицер и, тяжело покачавшись на коротких ногах, отрывисто скомандовал:

— А ну, поднимайсь! — и к конвойным: — Выводи за околицу! — тут он круто развернулся, оказавшись почти лицом к лицу с Егорычевым, и хмельно подмигнул кому-то в толпе перед собой.— Вот так-то, господин ротмистр!

Но при этом широкоскулое лицо его оплывало такой презрительной ненавистью, что хмельная усмешка на нем выглядела вымученной гримасой.

Стоило Егорычеву только представить, что вот-вот этих, поднятых по пьяной команде, мужиков поведут на верную гибель за чужие вины и не свои грехи, как явь у него перед глазами занялась горячей дымкой от обиды за них и вызывающей несправедливости происходящего.

— Господин офицер,— поплыла под ним неподатливая земля,— не по закону это будет вот так-то...

Но прежде чем нагайка в руках казака взвилась над головой Егорычева, свет перед ним заслонила широкая спина начальника адмиральского конвоя:

— Это мой ординарец, господин подхорунжий, я за него ручаюсь,— он повернул к Егорычеву встревоженное лицо, крепко обхватил ординарца за плечи и принялся вминать, волочь, заталкивать его в толпу, шепотно приговаривая ему на ухо: — Ты что, спятил, Филя, собственной головы не жалко?.. Ты же видишь, он не в себе, ему теперь и своя жизнь — полушка?

Уже в безопасном отдалении Егорычев, успокаиваясь под упрямой рукой командира, не смог все же побороть соблазна — обернулся, и снова душа его мгновенно взмыла и сжалась от обморочного удивления: пленные нестройным таборком безвольно текли вдоль пропыленной улицы в знойное марево сельской околицы в сопровождении молчаливой охраны, и в этой их сонной безвольности явственно прочитывалась грозная завязь и предостережение.

«Не к добру это,— отложилось напоследок в Егорычеве,— ох, не к добру!»

4

Когда в заснеженной Иннокентьевской Егорычев после болезни встретил своего командира, душа в нем зашлась трепетной радостью на земле, что жизнь человеческая чего-нибудь да стоит и что нет для людей непоправимой беды, если они вместе.

Много лет пройдет, прежде чем в скитаниях по гулаговским кругам выветрится из Егорычева эта восторженная уверенность, тому, впрочем, помогут во многом самые разные люди и нелюди.

ИКОНА СТАРОГО САПОЖНИКА

Мордовать Егорычева принялись уже в начале двадцатых, едва затихла Гражданская. Поначалу ласково, с подходцем, больше

мелочью, подробностями интересовались, как-никак, мол, при самом Адмирале служил, не припомнит, мол, чего занятного? Но с годами стелили все жестче, а спать давали все реже. Как ни хоронился он месяцами по зимовкам, как ни прятался от людских глаз, из дома носа не высовывая, дотягивалась-таки до него хваткая чекистская пятерня, вытаскивала на свет Божий и ставила пред свои грозные очи: как попал к Адмиралу, по принуждению или по личной охоте, принимал ли участие в карательных заданиях, до какого дня в точности оставался в его конвое? Историю с пьяным чехом и тут раскопали, припомнили: на каком основании применил оружие? Ко времени коллективизации с ним совсем уже не церемонились, брали, когда хотели, и разговаривали, как хотели, а с началом колхозов взяли окончательно и навсегда. В ту пору у них с Дарьей целый выводок подрастал: трое мальцов и девка за старшую, в которых он души не чаял и жизни впереди не видал. Последнее расставание с ними Егорычев запомнил на всю свою последующую горькую долю. Часто потом на вагонках бесчисленных в его судьбе лагерных командировок грезилось ему это расставание: распластанная в беспамятстве на полу избы Дарья и четыре пары ребячьих глаз над ней, застывших в испуганном недоумении: не искушай, Господи, кровь от тоски высохнет или руки на ближнего наложу! Трудно давался Егорычеву лагерный век, больно уж не по вине казалась ему его кара, а тягости заключения и того пуще. Чуть не с первого дня под замком взялся он писать жалобы и прошения во все концы, правды, милости добивался, выводил заскорузлой рукой кривые каракули на любой случайной бумажке, а когда у него самого не получалось, соседей-грамотеев просил, последней пайкой расплачивался. Думал, не звери же наверху сидят, какой уж такой его смертный грех, что довелось ему у Адмирала служить, вникнут, опамятуются, простят по молодости. Егорычев писал, но в ответ ему одни добавки шли: к первому пятерику десятку добавили, а к той еще столько же. Вот и весь сказ, как говорят. Не сыскав правды в канцеляриях, стал задумываться он о Божьем Промысле, вспомнил вдруг молитвы полузабытые, притчи евангельские, любую вольную минутку Богу молился, спрашивал, за что, за какие грехи такое испытание ему и когда этой расплате срок придет? Но и этим не облегчился, не всякому, видно, дано от самого Господа Бога отчеты получать. Тогда застыл Егорычев сердцем, оглох душой и принялся жить изо дня в день со своей тоской один на один. По этому времени и свел его случай с лагерным сапожником Сутейкиным. Был Сутейкин человек нелюдимый, слов в разговорах не тратил, больше матком обходился да смешочком коротеньким в бороду. Должность у него была нехитрая, зато хлебная: сапожник в зоне всем нужен, зеку, само собой, а начальству тем паче, тоже ведь не босые ходят. Оттого Сутейкин держался уверенно, шапки ни перед кем не ломал, до себя допускал по редкому выбору, но Егорычева почему-то сразу отметил, смотрел по-доброму, латки на драной обувке его ставил без запросу и на совесть. Завернул как-то к нему

в барачную кабинку Егорычев с очередной нужной, а тот ему вдруг и скажи: «Гляжу я на тебя, браток, и без очков вижу — доходишь ты, на глазах доходишь, дух из тебя черной тоской смердит, не протянуть тебе долго, послушай меня, старого, смирись, совладай с памятью, забудь про все, не гляди под ноги, живи как живется, будто для того и родился. Ты думаешь, другим легче, возьми хоть меня, я ведь тоже третий срок тяну, а вины моей и на один-то с лишком. Хочешь расскажу? — согласия, правда, ждать не стал, поплел дальше.— Сам я из Москвы родом, из Черкизова, место там такое имеется, все в нашем роду сапожники, ну и я по этой части пошел, будка у меня собственная была, кустарем числился, зарабатывал не то чтобы много, но на закуску с выпивкой хватало. Ну вот как-то по пьяному делу и сбрехни я в пивной, мол, Сталин — человек нашего сапожного роду. Вроде и не сказал я ничего против правды. Ведь отец-то евонный по-настоящему сапожником был, чего ж ему этого стесняться, а вышло на следствии, что я великого вождя оскорбил и на евонную светлую личность покусился. Что они со мной, эти следователи, выделывали, ни в сказке сказать, ни пером описать, кровью намыливался, мочой умывался и получил первые десять, как одну копеечку. И стал тоже вроде тебя по верхам челобитные слать, а от них мне, как и тебе, ничего, кроме добавок. Пробовал на твой манер и молитвами, не полегчало. Совсем до края дошел, но как-то заглянул ко мне один матерый зек, его, считай, чуть ли не с самого семнадцатого по этапам поволокли, да и заплатил мне за работу вещицей одной, вроде иконки, которую он хоронил при себе по всем дорогам от Соловков до Колымы. «На,— говорит,— ничего у меня дороже нет, спрячь у себя и держись за нее, как черт за грешную душу, не пропадешь». Сам этот зек скоро дуба дал, а я по евонной милости, как видишь, все еще жив-здоров, чего и тебе желаю, а потому и хочу показать тебе сейчас вещицу эту, глядишь, и ты придешь в чувство». Сказав это, отогнул Сутейкин висевший на стенке кабины засиженный мухами плакат «Родина-Мать зовет!» и обнаружил пред гостем кусок закопченной фанеры, на которой чьей-то рукой выжжено было одно-единственное слово: «Насрать!»

Этим Егорычев и прожил всю остальную жизнь.

5

Но это было потом, а пока Егорычев смотрел на возникшего перед ним командира, и слабое сердце его обливалось слезами и кровью от не изведанной еще до сих пор преданности.

Глава восьмая

ОНА

1

После отъезда Адмирала в Тобольск в ней все словно бы окаменело. Не то что она обиделась, что он не взял ее с собой, для нее это было не в новинку, просто всякий раз, когда она его долго не видела, ей становилось невмоготу: где он, что с ним, не забыл ли?

В такие дни она день и ночь пропадала в госпитале. Только здесь, среди обнаженной до предела человеческой боли, она оттаивала от изводящей ее тоски в сострадании и самоотдаче. Лазарет, размещенный в обширных корпусах бывшего сельскохозяйственного училища, круглые сутки стонал, бредил, взывал к сочувствию и помощи. Больными и ранеными были забиты, заполнены не только служебные помещения, кабинеты и коридоры, но и лестничные площадки. Смрад стоял такой, что даже настежь распахнутые окна и двери не облегчали дыхания. Люди лежали вповалку, голова к голове, без разбора болезни или ранения. В обрез было не одних лишь лекарств, но даже бросового белья, которое удавалось менять не чаще, чем раз в месяц. Где здесь приходилось думать о чем-то, кроме тех ежечасных, ежеминутных, ежесекундных забот о самых насущных людских нуждах, которыми был заполнен ее маетный рабочий день. Они, эти нужды, тянулись к ней из каждого угла и закоулка в ожидании сострадания, слова или хотя бы взгляда. И она разрывалась на части, расточая по крохам свою душу, которой все равно не хватало на всех.

Стараясь не обойти никого вниманием, однажды по-матерински все-таки выделила для себя из многих других молоденького, лет восемнадцати, не более того, солдатика-сибирячка, смертельно раненного в живот, но все еще жившего надеждой на свое близкое выздоровление и встречу с родней.

Наверное, память о брате, сгоревшем когда-то у нее на глазах с той же лихорадочной уверенностью в скором выздоровлении, сыграла здесь не последнюю роль. Могла ли она забыть, как в тот его последний приезд летом пятнадцатого он, выгорая вовне испепелявшим его жаром, требовательно вымаливал у нее «святой лжи»:

— Если б ты знала, Аннушка, сестренка дорогая, как я рад, что, несмотря ни на что, выжил! Только теперь, пережив смерть, я понял, как мы не ценим того, что дает нам жизнь. Нам все мало, мы просим и просим у нее как можно больше, не хотим замечать, что и того, что дано нам ею, слишком много...

И она, глотая слезы, послушно поддакивала ему:

— Да, да, Сережа, это ты очень хорошо сказал, надо радоваться тому, что нам дано, а не строить воздушных замков, ведь даже без маленьких огорчений жизнь стала бы невыносимо пресной. Снег, вода, ветер, шум деревьев, огонек в окне — все может приносить радость, ведь из этого и складывается жизнь...

Теперь, в этой страждущей преисподней, ей казалось, что она только продолжает памятный для нее разговор с братом, когда, утешая своего умирающего подопечного, поддерживала в нем уже несбыточные надежды:

— У тебя, Коля, все впереди, тебе только отлежаться нужно, отоспаться как следует, подлечишься, голубчик, и домой, в деревню к себе, места у вас тут такие, что мертвого на ноги поднимут, не воздух, а настоящее чудо, лучше всяких лекарств!

А тот тянулся к ней сияющими глазами, выглядевшими на его воспаленном лице чужими:

— Эх, Анна Васильевна, сестрица милосердная, у нас на Байкале об эту пору самый клёв и такая благодать кругом, что, куда ни погляди, душа поет, как вернусь к своим, дня дома не высижу, ружьишко на плечо, сетя за спину и до самых снегов под крышу ни ногой...

Николай даже веки прикрывал в счастливом предвкушении своего близкого праздника, но темные глазницы его при этом мертвенно проваливались, а черные тени резче обозначались у него на заостренных скулах.

«А вдруг,— заражалась его надеждой она,— ведь бывают же в конце концов чудеса!»

С этим она снова и снова шла к доктору Мягкову — усталому, постоянно вполпьяна скептику с насмешливыми и в то же время затравленными, как у бездомной собаки, глазами:

— Голубушка, Анна Васильевна,— доктор лишь беспомощно разводил руками,— чудеса если и бывают, то не от рук человеческих, а я ведь только немощный эскулап, будь я даже о семи пядях во лбу и обладай самыми новейшими средствами, мне все равно не удалось бы его спасти... Простите, голубушка.

И усмехался в седеющую бороду снисходительно и печально.

По ночам ей грезились лица, множество лиц, виденных ею в жизни, и среди них чаще всего лицо брата Сергея, сливавшегося в ее сумеречном сознании с обликом умирающего Николая.

А тот истлевал, испепелялся, сгорал на глазах, почти в полной памяти, лишь изредка впадая в бредовую полуявь:

— Ты мне, Петёк, зубы не заговаривай, знаю я тебя говорка... Да только мы таких говорков, знаешь как с бугорков... Ты на чужих девок не зарься, своих обхаживай, Настю мою не замай.— И вдруг запел тоненько и тихо: — «Эх, Настасья, эх, Настасья, открывай-ка ворота, открывай-ка ворота, принимай-ка молодца...»

Умирая, он счастливо сиял и как бы дымился выжигавшим его жаром, и, казалось, не он — душа его пела от чего-то такого, чему нет названия на человеческом языке и что дарится ей лишь на пороге жизни и смерти, а за какие добродетели, не нам знать.

Она не отходила от него до самого конца, а когда лицо его стало у нее на глазах отвердевать в меловой бледности, не выдержала и, беззвучно изливаясь в слезном сострадании, приникла к его уже отвердевшим губам. Это было единственное, что ей оставалось

доступно подарить ему на прощанье: пусть вот так он запомнит в ней свою далекую Настасью!

Потом она навзрыд, содрогаясь всем телом, плакала на плече Мягкова, а тот, стараясь не дышать на нее, гладил ее по голове, словно обиженную девочку, и монотонно приговаривал при этом:

— Ну, ну, голубушка, Анна Васильевна... Ну, ну... Полноте... То ли еще будет, то ли еще будет...

2

Вскоре после возвращения Адмирала началась распутица, а с нею и новые беды. Но — удивительно! — никогда еще она не видела его таким спокойным и уравновешенным. Он словно перестал замечать, что творится вокруг него, глядя на все с грустной снисходительностью. Она это почувствовала даже на себе: в тяжелые для себя часы он уже не искал в ней поддержки, а, скорее наоборот, сострадал ей в ее беспрерывных волнениях за него. В его отношении к ней проявлялось что-то отеческое, отчего их встречи сделались сдержанней, но душевней.

— Вот, дорогая Анна Васильевна,— сказал он ей при первой же встрече,— злые языки говорят, что во мне турецкая кровь бушует, а у меня сейчас такое чувство, что я совсем без крови остался, будто выжали ее из моих жил до последней капельки: уезжал, думал, как Антей, сил у родной земли призанять, но вышло — последнее потерял.

— Что-нибудь случилось, Саша? — она умоляюще приникла к нему.— Александр Васильевич, милый, не мучайте!

Он легонько прикоснулся губами к ее лбу и, положив ей руки на плечи, бережно, но настойчиво усадил в кресло:

— Ровным счетом ничего, дорогая Анна Васильевна, просто я понял наконец, что проиграл, проиграл окончательно, и не надо больше строить иллюзий. Но стоило мне осознать это, как я увидел окружающее совсем другими глазами. Говорят, когда тонущий теряет волю к сопротивлению, к нему приходит ровное, ничем не омраченное спокойствие, остаются только воспоминания и больше никаких чувств. То же самое испытываю теперь и я: страсти, которые бушуют сейчас вокруг меня, не вызывают во мне ничего, кроме жалости и презрения, отныне я готов ко всему и поэтому абсолютно спокоен.

— Александр Васильевич, Саша, зачем же терять надежду?

— Моя надежда не в том, чтобы выжить, Аня.

— В чем же? — почти в отчаянии не выкрикнула — простонала она.

— В том, чтобы достойно умереть.

3

Когда доложили о приходе американского Генерального консула Гарриса, она было поднялась, чтобы оставить его наедине с гостем, но он снова и еще настойчивее усадил ее:

— Мне нечего от вас скрывать, Анна Васильевна, пусть объясняется в вашем присутствии, от него не убудет, да и вряд ли этот господин сообщит мне что-либо новое — обычная дипломатическая болтовня.

Гость — высокий, громоздкий, но тем не менее элегантный толстяк, явно смутился присутствием дамы, хотя тут же взял себя в руки и рассыпался в любезностях, после чего, без особого перехода, приступил к деловой части:

— Мне хотелось бы, Ваше превосходительство, ознакомить вас с только что полученной мною телеграммой Государственного Департамента. Смею думать, что это хорошая новость для нас всех. Это почти признание!

Гаррис протянул Адмиралу телеграмму таким барственно щедрым жестом, будто дарил ему полцарства, а вторую половину держал за пазухой для пущего сюрприза.

Но из прочитанного текста Адмирал не узнал ничего, кроме того, что твердые намерения правительства Соединенных Штатов Америки по отношению к нему не изменились, что намерения эти основаны на обменных нотах между ним и представителями союзников и что оно питает уверенность в содействии ему всех элементов России, преданных делу ее воссоздания на демократических началах.

«Слова, слова, слова,— усмехнулся про себя Адмирал,— но где же ваша сладость?»

А вслух сказал:

— Положение, господин Гаррис, таково, что я считаю необходимым говорить с вами без дипломатических околичностей. Откровенно говоря, я рад, что меня до сих пор не признали, таким образом мы избежали Версаля, не дали своей подписи под договором, который оскорбителен для достоинства России и тяжек для ее жизненных интересов. Мы будем свободны, и, когда окрепнем, для нас этот договор окажется не обязательным.

Гость сразу же поскучнел и вызывающе вскинул тяжелый подбородок:

— Неужели, Адмирал, после того, что случилось в вашей стране, вы все еще бредите имперскими амбициями? Зачем она вам, эта лоскутная империя, она только связывает вас по рукам и ногам, обрекая на бесплодное распространение и тем самым умножая ваших врагов?

Адмирал насмешливыми глазами уперся в гостя:

— Мне не хотелось бы преподать вам уроков американской истории, дорогой господин Гаррис, вы ее и сами прекрасно знаете, но я с удовольствием задал бы вам несколько вопросов по этой части. Разумеется, вы самая демократическая страна в мире, но, может быть, не следовало бы забывать, какой ценой обошлась на ее территории эта самая демократия? Кому, к примеру, исторически принадлежит Калифорния? Или Техас? Куда делись целые племена и народности с большей части американских земель?

Да едва ли стоит забывать и о чумных одеялах, с помощью которых ваши доблестные пионеры освобождали для себя лучшие земли от нежелательных аборигенов? И давно ли вы освободили черных от крепостного права? Помнится мне, что чуть попозже чем мы в нашей варварской стране своих. Не смею более продолжать, боюсь, этот разговор может завести нас слишком далеко. Теперь о деле, господин Гаррис. Разумеется, мы сами заварили свою кашу, мы сами должны ее и расхлебывать, но уж коли наши союзники в нее вмешались, то они должны отдавать себе ясный отчет, что не делают нам этим одолжения, а защищают прежде всего себя, поскольку программа большевиков, насколько я знаю, не предполагает остановки на границах бывшей Российской Империи, а простирается в своих претензиях на весь мир. Рано или поздно вам самим придется сойтись с ними лицом к лицу, но тогда у вас уже не окажется такого безотказного союзника, как Россия, она сделается вашим кошмаром и наваждением, вы забудете о процветании и вынуждены будете думать о том, чтобы только выжить, но уверяю вас, что выжить вам в конце концов не удастся, потому что невозможно вечно жить в состоянии обороны, вам так или иначе придется капитулировать. Впрочем, эту военную аксиому вам может преподать любой лейтенант из Вест-Пойнта.

— Но мы делаем все, что можем! — заволновался, заколыхался всем своим грузным телом гость.— Разве мы мало сделали для вас?

— Даже если бы вы сделали в десять раз больше, это было бы каплей дистиллированной воды в море серной кислоты, заливающей сегодня Россию.

— Чего же вы хотите, Адмирал, прямого военного вмешательства?

— Не просто вмешательства — войны.

— Это невозможно, Ваше высокопревосходительство, никто в нашей стране не санкционирует нам этого безумия.

— Тогда, знаете,— Адмирал безнадежно развел руками,— могу вам на прощание, господин Гаррис, лишь процитировать Гамлета: «Из жалости к вам я вынужден говорить правду: несчастья ваши только начались, готовьтесь к еще большим».

Гаррис встал и молча откланялся, но в тяжелой его поступи по дороге к двери чувствовались недоумение и растерянность.

— Вот,— повернул он к ней, едва тот вышел,— даже лучшие из них не в состоянии понять, что же действительно происходит сегодня в России, чего нам ждать от худших, вроде генерала Жанена, я уже не говорю о нашем русском мужике, который просто устал и уже согласен на любую власть, лишь бы замириться. Мало кто хочет замечать, что человечество заразилось новым видом эпидемии, которая лишает его основной жизненной функции — чувства самосохранения, а это в сто раз страшнее чумы.

До сих пор он никогда не говорил с ней о делах или политике. Его внезапная откровенность не столько польстила ей, сколько

испугала ее: видно, груз, который ему выпало нести на себе, становился ему не по силам, и он спешил поделиться им с нею, чтобы облегчить себя. Нет, она не боялась разделить с ним этот груз, ее пугало лишь то, что он теряет веру в себя и в свою звезду, а это было для нее страшнее всего.

— Неужели вы не видите выхода, Александр Васильевич, дорогой,— взмолилась она,— неужели поражение неизбежно?

— Смотря что считать поражением, Анна, победа моя — это вы, а большего мне и желать грешно.

И он благодарно приник к ее руке.

4

Из воспоминаний Г. К. Гинса:

«По всей Сибири разлились, как сплошное море, крестьянские восстания. Чем больше было усмирений, тем шире они разливались по стране. Они подходили к самому Омску из Славногородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прерывая линию сообщений Семипалатинск — Барнаул, захватили большую часть Алтая, бо́льшие пространства Енисейской губернии. Даже местным усмирителям становилось, наконец, понятно, что карательными экспедициями этих восстаний не потушить, что нужно подойти к деревне иначе. Зародилась мысль о мирных переговорах с повстанцами, так как многие присоединялись к движению, совершенно не отдавая себе отчета, против кого они борются.

Приходили сведения о жестоких расправах в городах с представителями местной социалистической интеллигенции. Делавшие это помпадуры не понимали, что интеллигенция — мозг страны, что она выражает настроения широких кругов населения и заражает их своими настроениями, что всякая излишняя, а тем более произвольная жестокость вредна не только потому, что убивает без смысла, но и потому, что создает тысячи новых врагов.

Трудно было проверить все, что приходило с мест. Красильников, один из участников переворота 18 ноября, повесил на площади городского голову города Канска, и, как рассказывают, когда ему сообщили о жалобе на него Верховному Правителю, то он пьяным, заплетающимся языком ответил:

— Я его посадил, я его и смещу.

Красильникова послали на фронт. Он повиновался. Он был всегда послушен власти, никогда не проявлял атаманской склонности ни захватывать власть, ни наживаться. Один из близких Красильникову людей, честный молодой офицер Ш., отрицал справедливость обвинений, возводившихся против Красильникова, а прокуратура молчала. Несомненно, Красильников был хорошим офицером, но отвратительным, невежественным администратором.

Дыма без огня не бывает. Красильников успел, вероятно, натворить много зла. Страшные сибирские расстояния и разобщенность власти с обществом затрудняли правильную информацию. Отсутст-

вие представительного органа, в котором могли бы представляться запросы и вопросы, более чем когда-либо давало себя чувствовать...

Но что же происходило на фронте? Бои проходили с небывалым ожесточением. Обе стороны дрались со страшным упорством. Наше командование бросило на фронт все резервы. Пошли крестоносцы, морской батальон, состоявший из квалифицированных техников, часть конвоя Верховного Правителя. Смерть безжалостно косила ряды бойцов.

Погода установилась отвратительная. Обмундирование, которое было выслано на фронт, каталось по рельсам, так как непрерывное отступление не давало возможности развернуться. Солдаты мерзли в окопах.

Беспрерывные мобилизации дали несколько десятков тысяч новых солдат, но этим солдатам нельзя было доверять. Не было гарантий, что они не перейдут к красным, не потому, что они сочувствовали им, а потому, что больше верили в их силу, чем в силу Адмирала. Кто наступал, тот вел за собой солдат.

Ряды первой армии так поредели, что, когда красные повели наступление на армию ген. Пепеляева, ему некого было выслать; он бросился в бой сам, вместе со штабом, и отбросил противника.

Генерал Дитерихс объехал всех командующих армиями: Сахарова, Лохвицкого и Пепеляева. По соглашению с ними он решил отступать, не останавливаясь перед сдачей Омска.

Омск начал разгружаться. Дитерихс наметил новую линию фронта и начал отводить армии. Первой уходила сибирская армия, как наиболее поредевшая.

К омскому вокзалу потянулись длинной вереницей возы».

5

Прощание с Омском было тягостным. Ночной город провожал их настороженной тишью, готовой в любую минуту взорваться криком или пальбой. Станцию обогнули стороной, чтобы своим появлением не вызвать цепной паники. На путях товарной-сортировочной их уже ожидала толпа штабников. Толпа молча расступилась, освободив для них узкий проход, и молча потекла следом за ними вдоль приготовленного к отправке поезда.

— Оперативный отдел здесь, господа,— шелестел в ночной тиши полушепот Удальцова,— интендантство сюда пожалуйте... Конвой в следующем вагоне... Ваше высокопревосходительство, вам в следующем...

Но не успела за ними захлопнуться дверь вагона-салона, как снаружи проникла невнятная многоголосица, перешедшая тут же в короткую перепалку уже прямо за стенкой — в тамбуре, после чего в салон следом за взволнованным Удальцовым ввалился генерал Пепеляев, или, как его еще называли в войсках, Пепеляев-младший.

— Ваше высокопревосходительство, прошу извинить, но дело мое не терпит отлагательств,— в шинели нараспашку, из-под которой выпукло выпирал его туго обтянутый с офицерским Георгием на груди торс, он производил впечатление необузданной силы и напористости.— Медлить сейчас смерти подобно, правительство давно потеряло доверие населения и общественности, необходимы срочные реформы, но со стариками каши не сваришь, пришла пора менять упряжку, иначе все погибло, фронт разлагается на глазах, солдаты не желают защищать то, что уже давно сгнило. Ваше высокопревосходительство, от вашего решения зависит теперь не только наша судьба, но и судьба России!

Гость явно не чувствовал себя здесь подчиненным: он не просил, он требовал, но Адмирал тем не менее оставался невозмутимо ровен:

— Что же вы предлагаете, генерал?

— Правительство общественного доверия,— выпалил тот, заметно настраиваясь на победительный лад.— Другого выхода нет.

Адмирал, расслабляясь, откинулся на спинку кресла:

— И не надоело вам, Анатолий Николаевич, вместе с вашими приятелями жевать эту кадетскую жвачку, без малого ведь пятнадцать лет пережевываете, неужели Февраль вас так ничему и не научил?

Пепеляева передернуло от едва сдерживаемого негодования, но, видно, зная характер Адмирала, он не рискнул искушать судьбу, сбавил тон:

— Ваше высокопревосходительство, не о себе пекусь, об общей пользе, надо действовать, пока не поздно, силы реакции толкают нас к пропасти, необходимо освободиться от них. Прогрессивные элементы общества готовы взять на себя ответственность за судьбу страны.

— Полноте, Анатолий Николаевич,— поморщился Адмирал,— что за слова: «реакция», «прогрессивные элементы»! Оставьте это для митингов, можно же хотя бы в такой обстановке не употреблять этот птичий язык и говорить по-человечески! — Он закрыл глаза и выговорил, словно продиктовал: — Передайте Виктору Николаевичу, пусть действует по своему усмотрению, я подпишу. И желаю вам и ему всех благ.

Подхваченный неожиданной удачей, Пепеляев молодцевато щелкнул каблуками и, круто развернувшись, выкатился из салона.

(Эх, Пепеляев, Пепеляев, играя свои эсеровские игры, ты в конце концов переиграешь только самого себя и через год, брошенный и забытый всеми, займешься частным извозом, чем тебе и следовало бы заняться с самого начала, а не Россию спасать!)

— Вот,— кивнул ему вслед Адмирал,— еще один благодетель отечества, одной ногой на том свете, а в голове солнце Аустерлица и колокольный звон над белокаменной.— Молящий взгляд его взмыл к потолку.— Дети, злые, испорченные, несчастные дети! Если бы они знали, что их ждет впереди, то вместо того, чтобы играть в

министров и главнокомандующих, молились бы за упокой собственной души. Спаси их грешные души, Господи!

И, как бы откликаясь на его мольбу, снаружи раздался приглушенный снежной сыростью паровозный гудок, и состав дрогнул, тронулся с места и потянулся в ночь, навстречу неизбежности.

6

В Новониколаевске их ожидала нелепая весть: на Дальнем Востоке против Адмирала выступил Гайда. Отставленный после горячей размолвки с Верховным еще в июле от должности, но с сохранением чина и содержания, тот был отправлен на восток, с условием покинуть пределы России. Да, видно, не выдержала фельдшерская душа честолюбивого искушения, сдалась перед заманчивой перспективой облагодетельствовать русский народ, не погнушавшись клятвопреступлением.

Услышав об этом, Адмирал лишь укоризненно покачал головой:

— Ох, Гайда, Гайда, забубенная твоя голова, не сносить ее тебе долго, не по росту тебе эта страна, всосет она тебя, как пылинку, всего, без остатка, а если и унесешь ноги, то на всю жизнь горбатым останешься.

(И как в воду глядел: не пройдет и семи лет, как исчезнет, забудется всеми этот горе-вояка в одной из чешских тюрем, осужденный за сотрудничество с советской разведкой! Вот такие пироги, как выражаются в наше время!)

Ей оставалось только диву даваться: Адмирал и сейчас, после того, что случилось, продолжал сочувствовать ему, этому чешскому проходимцу. Она же прониклась к Гайде неприязнью с первого взгляда, едва увидав его однажды на улице, гарцующего в окружении конвоя, разряженного в форму придуманного им самим покроя и расцветки: вытянутое книзу лошадиное лицо с тяжелым подбородком, бесцветные, навыкате глаза, с наглой незрячестью глядевшие перед собой, и тоже, в тон конвою,— весь в регалиях и позументах.

«Боже мой,— помнится, мелькнуло у нее тогда,— и они еще называют себя европейцами, им бы еще кость в нос и серьгу в ухо, какие дикари!»

Но, следуя раз и навсегда принятому для себя правилу, мнения своего высказать Адмиралу не спешила, тем более, что Гайду поначалу прямо-таки преследовал успех. Пермь, Уфа, Казань — в каждой из этих операций его участие оказалось решающим. Поэтому она старалась относить свою неприязнь к нему за счет поспешного впечатления. Но женское чутье все же не подвело ее: после первых же неудач между ним и Адмиралом начались трения, в которых одна из сторон (Гайда!) нападала, а другая (Адмирал!) защищалась. В итоге это кончилось июльским разрывом, после чего опальный генерал с видом оскорбленной добродете-

ли отбыл спецпоездом во Владивосток, но дальше не поехал, а застрял там на станционных путях, где, оказывается, не сидел сложа руки все эти месяцы.

— Александр Васильевич, дорогой, а чего же иного вы ждали от этого чешского выскочки? — она твердо выдержала его вопрошающее удивление.— Наглый, невоспитанный фанфарон, типичный искатель счастья и чинов да еще с претензиями на всероссийскую власть. Удивительно, как вы, с вашим умом и чуткостью, не разглядели в нем его хвастливого ничтожества?

Тот вглядывался в нее все с тем же вопрошающим удивлением, как бы впервые узнавая ее:

— А ведь вы, Анна Васильевна, могли бы во многом помочь мне, почему вы никогда не заговаривали со мной о моих делах, о людях, которые меня окружают, о вашем отношении к происходящему наконец?

— Я не хотела огорчать вас, Александр Васильевич, у вас и без того было слишком много советников.

— Жаль.

— Отчего?

— Может быть, мне удалось бы избежать многих промахов и ошибок, иногда, к сожалению, роковых.

— Женщины — плохие советницы, Александр Васильевич, в свои оценки они вносят чересчур много личного.

— Но у вас, Анна, я заметил, есть удивительное чутье на людей, помните, как вы как-то говорили мне о Каппеле?

— Владимир Оскарыч так открыт, что с первого взгляда ясно, каков этот человек.

— Вы и теперь так думаете?

— Разумеется.

— Что ж, быть по сему, мой друг, я сегодня же назначу его Главнокомандующим,— острый подбородок его упрямо отвердел.— Я знаю, что спасти положение не сможет теперь даже он, но, наверное, никто не в силах завершить наше дело достойнее его.

— Кто знает, Александр Васильевич, кто знает.

Адмирал позвонил и поспешно отнесся к возникшему на пороге Удальцову:

— Попросите, полковник, генерала Зенкевича заготовить приказ о назначении Владимира Оскарыча Каппеля Главнокомандующим. И вот еще,— задержал он того нетерпеливым жестом,— попробуйте-ка связать меня с Жаненом.

После ухода Удальцова они молча сидели друг против друга, вслушиваясь в тишину вокруг себя. Снежная каша стекала по стеклам ослепших окон, и казалось, что вагон, словно огромная рыба, бесшумно плывет в ней — в этой каше в неведомую никому даль.

«Как странно,— думала она, невольно укачиваясь в своем ощущении,— будто и в самом деле плывем!»

Из расслабляющего оцепенения их вывело лишь появление в дверях Начальника конвоя:

— Ваше высокопревосходительство,— Удальцов обескураженно мялся на пороге,— генерал Жанен молчит.

— Хорошо, полковник, идите,— и повернулся к ней, усмехнувшись одними глазами.— А вы говорите — Гайда. Бедняге Гайде и в голову не приходит, что он лишь пешка в большой игре, которую ведут за него другие. Но у него есть хотя бы одно достоинство: он искренен в своих наивных амбициях, настоящая опасность не в нем, Анна.

— В ком же, Александр Васильевич, в таких, как Жанен?

— Отчасти. Эти преследуют свои национальные интересы, а потому тоже дальше собственного носа не видят. Существует сила, в руках которой и они пешки.

— Тогда кто же?

— В последнее время я много читал, дорогая Анна Васильевна, читал, сравнивал прочитанное с тем, что происходит вокруг, и пришел к выводу, что все мы — и те, и другие — оказались пешками в чужой игре, где нам отведено место пушечного мяса для достижения цели, далекой от каких-либо человеческих интересов, как дурных, так и праведных.

— Во имя чего же, Александр Васильевич?

— Во имя власти.

— Чьей же?

Он встал, подошел к ней, притянул ее голову к себе, и она облегченно затихла у него под рукой:

— Я не хочу, чтобы ты знала об этом, Анна, тебе еще жить и жить, а с этим тебе не продержаться!

7

Телеграмма полковника Сыробоярского генералу Жанену:

«Как идейный русский офицер, имеющий высшие боевые награды и многократные ранения и лично известный Вам по минувшей войне, позволяю себе обратиться к Вам, чтобы высказать о том леденящем русские сердца ужасе, которым полны мы, русские люди, свидетели небывалого и величайшего предательства славянского нашего дела теми бывшими нашими братьями, которые жертвами многих тысяч лучших наших патриотов были вырваны из рабства в кровавых боях на полях Галиции. Я лично был ранен перед окопами одного славянского полка австрийской армии, находящегося ныне в Сибири, при его освобождении от рабства. Казалось, год назад мы получили заслуженно-справедливо братскую помощь, когда, спасая только свои жизни, бывшие наши братья-чехи свергли большевистские цепи, заковавшие весь русский народ, ввергнутый в безысходную смертельную могилу. Когда стихийной волной по Сибири и всему миру пронесся восторг и поклонение перед чешскими соколами и избавителями! Одним порывом, короткой победной борьбой, чехи превратились в сказочных богатырей, в рыцарей без страха и упрека. Подвиги обессмертили их. Русский

народ на долгие поколения готовился считать их своими спасителями и освободителями.

Назначение Ваше на пост главнокомандующего всеми славянскими войсками в Сибири было принято всюду с глубоким удовлетворением. Но вот с Вашего приезда чешские войска начали отводиться с фронта в тыл, как сообщали, для отдыха от переутомления. Русские патриоты, офицеры, добровольцы и солдаты, более трех лет боровшиеся с Германией за общие с Вашей Родиной идеалы, своей грудью прикрывали уходивших чехов. Грустно было провожать их уходившие на восток эшелоны, перегруженные не только боевым имуществом, но более всего так называемой военной добычей. Везлась мебель, экипажи-коляски, громадные моторные лодки, катера, медь, железо, станки и другие ценности и достояние русского народа. Все же верилось, что после отдыха вновь чешские соколы прилетят к братьям-русским, сражавшимся за Уральским хребтом. Но прошел почти год, и мы вновь свидетели небывалого в истории человечества предательства, когда славяне-чехи предали тех братьев, которые, доверившись им, взяли оружие и пошли защищать идею славянства и самих их от большевиков. И вот, когда они, спокойно оставив в тылу у себя братьев, оторвавшись на тысячи непроходимых верст, приняли на себя все непосильные удары и, истомленные и обессиленные, начали отходить — поднялись ножи каинов славянства, смертельно ударивших в спину своим братьям.

Я не знаю, как и кем принимались телеграммы от русских вождей-патриотов, полные отчаяния, со смертельным криком о пощаде безвинных русских бойцов, гибнувших с оружием в руках, защищая не пропускаемые чехами эшелоны с ранеными и больными, с семьями без крова и пищи, с женщинами и детьми, замерзающими тысячами. Я прочел телеграмму генерала Сырового, которая еще более убедила нас всех в продуманности и сознательности проведения чехами плана умерщвления нашего дела возрождения России. Кроме брани и явного сведения личных счетов с неугодным чешскому командованию русским правительством и жалкой попытки опровергнуть предъявленные к ним обвинения в усугублении происходящих бедствий русской армии и русского народа — в ней не было ничего соответствующего истине. А что думает Сыровой о брошенных и подставленных под удары большевиков братьях-поляках, сербах, румынах, кровавыми жертвами устилающих свой путь?

Ваше превосходительство! Ваш преждевременно поспешный отъезд в тыл возглавляемых Вами частей лишил Вас возможности быть непосредственным свидетелем и беспристрастным судьей всех ужасных преступлений, производимых Вашими подчиненными. Сведения, поступающие к Вам из источников явно тенденциозного свойства, не могли дать истинной картины всего происходящего. Лучший судья человечества — время даст будущей истории фактические данные о роли возглавляемых Вами чехов в переживаемые тяжкие дни России.

Вы, главнокомандующий славянских частей, со дня своего приезда, не зная обстановки, осуждали атамана Семенова за его недоразумения с Верховной властью, а теперь со всей Вашей армией готовы видеть в нем врага за то, что он остался верен той власти, в подчинении которой Вы ранее его лично убеждали и от которой Вы так быстро отвернулись, оставив ее без помощи и поддержки. То, что происходит сейчас в Сибири, не сравнимо с предательством Одессы, похоронившей в себе все, что было лучшего, честного и идейного в ней. Неужели же и здесь, в Сибири, существует неумолимое решение не дать даже одиночным бойцам, которых Вы снабжали оружием, одеждой и тем самым поддерживали в борьбе с большевиками, выйти из той искусственно созданной Вами обстановки, где они неминуемо должны погибнуть? Об издевательствах и оскорблениях, нанесенных чехами главе и представителю русской армии, нашему Адмиралу, говорить не приходится, так как неожиданная перемена в поддержке неформально признанной Вами Всероссийской власти вызывает сомнения в чистосердечности прежних отношений. Полковник Сыробоярский. 14 января 1920 года. Ст. Черемхово».

* * *

С тех пор прошло пятьдесят лет, но память, равнодушно пропустив мимо себя все последующее, сохранила в ней только то, чем она жила долгие эти годы. И теперь, в наползающих со двора сумерках, перед ее глазами, словно сквозь проявляемый негатив, вырисовывались мельчайшие подробности ее последних дней рядом с ним.

8

Из записок Гришиной-Алмазовой:

«Раз в неделю допускались передачи для заключенных с воли. Этими передачами только и можно было спасаться от голода, потому что тюремная пища была невыносима. Едва только на лестнице появлялся тюремный суп, весь корпус наполнялся зловонием, от которого делались спазмы. К счастью, я получала передачи, которыми делилась с Тимиревой и Адмиралом. Впоследствии они также стали получать передачи от своих друзей. Разносили пищу и убирали камеру уголовные, которые относились довольно радушно к новым арестантам, хотя и были довольны переворотом, сулившим им близкое освобождение. Они охотно передавали письма, исполняли просьбы и поручения политических заключенных. Политические отвечали таким же дружелюбием. Один из уголовных был застигнут на месте преступления, когда брился безопасной бритвой, данной ему Адмиралом. В ответ на негодование начальства он простодушно заявил: «Так ведь она безопасная» и добавил: «Это — наша с Александром Васильевичем». Надзиратели держались корректно. Служа издавна, они столько раз видели, как заклю-

ченные становились правителями, а правители — заключенными, что старались ладить с арестантами. Поэтому власти не доверяли надзирателям, в тюрьму был введен красноармейский караул. Часовые стояли у камер Адмирала, Пепеляева и в третьем этаже. Они не должны были допускать разговоров с заключенными и передачу писем. Но кто не знает русского солдата, который может быть до исступления свиреп, но и до слез добр! Очень скоро с караулом завязалась дружба. Тимирева и я свободно выходили в коридор, передавали письма, разговаривали с заключенными. Не вовремя явившееся начальство могло бы увидеть красноармейца, откупоривавшего банку с ананасом, переданную нам с воли.

Но это благодушие длилось недолго. Скоро наступили безумные, кошмарные, смертные дни. Появились слухи о приближении каппелевцев. Сначала этому не придавали значения, но скоро власти были охвачены тревогой. Тюрьму объявили на осадном положении. Было дано распоряжение подготовиться к вывозу заключенных из Иркутска. С 4 февраля егерский батальон, несший караульную службу, был заменен красноармейцами из рабочих. Почти все уголовные были убраны из коридоров, по которым хищно бродили красноармейцы, врывавшиеся в камеры, перерывавшие вещи и отнимавшие все, что им попадалось под руку. Открыто делались приготовления к уничтожению заключенных в случае захвата города. Тревога и ужас царили в тюрьме».

9

За промерзшим насквозь окном, будто далекая лавина обвалилась, ухнул пушечный выстрел и сразу же следом за ним коротко просыпалось ружейное эхо. Сердце у нее вдруг жарко набухло и, мгновенно холодея, опало в смертельной тоске: спаси и сохрани, Господи!

За те немногие недели, что довелось ей провести в тюрьме, она уже свыклась с мыслью о скорой смерти. Адмирала они едва ли оставят в живых, а без него она не мыслила себе своего существования. Если ее сочтут недостойной умереть вместе с ним, у нее найдутся силы самой совершить суд над собою. Но всякий раз, когда, как ей чудилось, неминуемое уже случилось, душа ее опаленно взмывала, чтоб тут же свернуться в ней клубочком ледяного ужаса: пронеси, пронеси, пронеси!

Ее соседка по камере, жена осевшего где-то на юге генерала Гришина-Алмазова — Ольга, излучая на нее маслянистую желтизну своих, татарского разреза, глаз, добродушно подтрунивала:

— Ради Бога, Анна Васильевна, не изводите вы себя так, нельзя же каждый день умирать заново, рано или поздно это случится с каждым из нас, зачем же опережать судьбу?

На допрос ее вызывали всего один раз. Перед ней сидел черноволосый человек с резким лицом, по-птичьи прямо поставленной головой, в солдатской гимнастерке, плотно облегавшей его сухое, но уверенное тело.

— Вы настаиваете, гражданка Тимирева,— штопорно ввинтился он в нее колючим взглядом,— что являетесь гражданской женой бывшего Адмирала, не так ли?

— Разве это новость для вас?

В тонких губах у того прорезалась едва заметная трещинка злорадной усмешки:

— На допросе он отказался подтвердить это,— и поверх ее головы, к часовому: — Уведите.

(Прежде чем злорадствовать, знать бы тогда Председателю Иркутской чрезвычайки Чудновскому, что не так уж далек тот день, когда не только жена, но и родные дети предадут его, но, в отличие от Адмирала, не ради спасения близкого им человека, а ради самих себя, хотя все равно не купят себе этим спасения!)

В камеру она вернулась раздавленной и опустошенной.

«За что, за что,— рыбой, выброшенной на песок, билось в ней вопросительное отчаяние,— почему он это сделал, неужели я не нужна ему даже для того, чтобы умереть рядом?»

Сбивчивый ее рассказ не произвел на соседку ровно никакого впечатления.

— А чего же вы ждали от него, голубушка Анна Васильевна? — с ленивой снисходительностью осадила ее та.— Александр Васильевич — русский офицер, дворянин, не думали же вы, в самом деле, что он потянет вас за собой на виселицу?

Но ей все еще трудно было прийти в себя:

— Это я понять могу, Оля, а если просто не любит? — голос ее удушливо пресекся.— Или не любил никогда? Знаете, Оля, ведь Александр Васильевич очень влюбчив. Помнится, он рассказывал мне, как его поразила одна женщина во Владивостоке. Он встретил ее случайно, мельком в гостинице, а рассказывал о ней, будто о близкой знакомой, с мельчайшими подробностями.

Гришина неожиданно вспыхнула и зашлась в громком и безудержном хохоте:

— Анна Васильевна, миленькая, вот уж чего не ожидала, так ведь это я и была, как сейчас помню, выхожу из номера, а навстречу мне моряк, да какой еще моряк, с ума сойти, я с самого первого взгляда по уши влюбилась... Потом, когда в одном поезде с вами в Омск ехала, на каждой станции слушать его ходила, горела вся, будто влюбленная гимназистка... Знать бы мне тогда, родненькая, что и он равнодушен не остался, отбила бы я его у вас, за милую душу отбила бы!

И затормошила, закружила ее по камере в шутливом вальсе, самозабвенно убаюкивая партнершу в его плавном ритме. В безвольном этом кружении Анна Васильевна незаметно для себя успокаивалась, возвращалась в тот привычный ей мир, где вновь обретала веру в себя и в свой завтрашний день. Их день.

Но на утренней прогулке, впервые за все их пребывание здесь, Адмирала не оказалось. И зимнее небо мгновенно качнулось над ней и сплющилось у нее в глазах в каменный монолит, навалившийся

ей на плечи всей тяжестью своего вечного холода: нет, нет, нет, только не это!

Она сразу же перестала ощущать время и пространство вокруг и, лишь возвращаясь в камеру, омертвевшим сознанием выделила из коридорной пустоты морщинистое, в прокуренных усах лицо разводящего, который всегда казался ей несколько если не добрее, то покладистее других:

— Скажите мне правду,— чуть слышно сложила она, задерживаясь около него,— где он, его казнили?

Тот опустил перед ней глаза и в тон ей обронил себе под ноги:

— Его увезли, гражданка.

— Куда?

— Не могу знать...

В камере она приникла спиной к запертой за нею двери и стояла так, глядя в зарешеченное окошко перед собой: без дум, без надежд, без желаний.

С подоконника на пол капала стекавшая с оттаявших стекол вода, и ей виделось, будто окружающий мир вместе с нею вытягивается в одну протяжную каплю, готовую в любую минуту сорваться вместе с нею в еще неведомую, но бесконечную бездну.

Прощай!

10

Так и прошла, пролетела, пронеслась ее жизнь, не оставив после себя ничего, кроме воспоминаний, в которых она безвольно неслась к своему уже близкому концу, упиваясь ими, словно наркотической дурью.

То грезилась ей вечерняя набережная в Гельсингфорсе, а там, за этой набережной, зовущие огоньки стоящих на рейде кораблей и его голос, протянувшийся к ней сюда, на московскую окраину, из минувшей Земли и из-под ушедшего Неба:

— Анна Васильевна, Аня, Аннушка, жизнь моя!

То снилась аспидная ночь с полынной звездой в самой своей середине, где под эхо отдаленной канонады затерялись в морозном тумане хлопушки ружейного залпа, проводившего в последний путь ее мятежного Адмирала. Рожденного для воды, вода приняла его в свой текучий саван и бережно понесла вдоль крутых берегов Ангары туда, к тем морям, по которым он тосковал всю свою жизнь:

— Прощай, Саша, свет Александр, Александр Васильевич!

А то вспоминалась ей Новониколаевская пересылка, где изможденная женщина с белыми, будто вылинявшими волосами, собранными на затылке в жиденький пучок, металась по камере и, горестно искажаясь упрямым лицом, исступленно проборматывала с утра до отбоя:

— Не доругались мы тогда, не доругались с Ильичем, если бы доругаться, по-другому, по-другому бы пошло...

Может, и вправду была она Марией Спиридоновой, как себя

называла, много их в ту пору — этих Спиридоновых, объявлялось по тюремным командировкам России, но если и была, то нелегко доходило до человека в ясном уме и твердой памяти, каким это чудом сохранялись в таких вот женщинах их копеечные партийные страсти, не иссякавшие в них даже у острожной параши и на расстоянии вздоха от гробовой доски?

Часто ей виделся и ее сын, но почему-то всегда маленьким: сколько она ни силилась, не могла представить его взрослым да еще зеком, насмерть затоптанным чьей-то кованой злобой.

— Жизнь моя, кровь моя, боль моя, я-то знаю, за что плачу, но за какие вины, за какое прегрешение так страшно, так мучительно страшно пришлось заплатить тебе? Неужто мое короткое женское счастье должно быть оплачено такой дорогой ценой, что и дети мои еще остались должны? Прости меня, прости меня, прости меня, прости!

Но чаще всего она, сама того не замечая, вслух разговаривала с ним, с возникавшим перед ней из небытия Адмиралом:

— Ты хотел, чтобы я жила,— сейчас, в преддверии конца она позволяла себе говорить ему «ты»,— и я осталась жить, но трудно назвать жизнью то, что выпало на мою долю! Знал бы ты, сквозь какие тернии и через какую темь протащила меня судьба, прежде чем выбросить на эту окраину, в мое последнее одиночество! В тот день, когда мне наконец сказали, что тебя больше нет, жизнь моя кончилась, я лишь продолжала существовать, плыть по течению без руля и ветрил туда, куда несло меня обезумевшее от крови время. Сидела, выходила замуж, снова сидела, скиталась по ссыльным углам, малевала задники в провинциальных театрах, а сегодня вот добираю век в коммунальном вертепе московского вавилона, но все это происходило не во мне и не со мной, а сквозь меня, не оставляя в моей душе никакого следа. Я оставалась с тобой в той оголтелой зиме двадцатого, когда в прогулочном дворе ты в последний раз взял мои руки в свои. Этим я и жила все остальные годы. Теперь ко мне ходит множество людей, старых и молодых, знаменитых и никому не известных, всех возрастов, полов и профессий. Гости сидят часами и спрашивают, спрашивают, спрашивают, но я-то знаю, чувствую, что приходят они не ко мне, а к тебе и вопросы их обращены тоже прежде всего к тебе. Им жаждется прозреть в твоей судьбе меру вещей и понятий той эпохи, которая для них ушла вместе с тобой. Однажды ты мне сказал, что миру, в котором мы родились, наверное, придется умереть заодно с нами, но, как видишь, он не умер, он снова появляется на свет Божий, вопреки всему тому, что ему пришлось пережить. Те же чувства и те же ценности, которыми жили мы, прорастают сегодня в людях, и уже никакая сила не в состоянии этого остановить. В конце концов ты все-таки победил, мой Адмирал!

И сама себе отвечала за него:

— Это не ты осталась вместе со мною в той оголтелой зиме двадцатого года, Анна, это душа моя срослась с твоею и шла

вместе с нею по всем твоим малым и большим голгофам, где бы ты ни была и что бы с тобою ни случалось. Помнишь, я говорил тебе, что никогда не знал победы, но если эта победа все же пришла наконец, то это не моя, а наша с тобой общая победа, Анна, и я счастлив, что ты дождалась ее еще при жизни. До свидания, Анна, заря моя невечерняя, негасимая моя звезда!

И тут же, словно откликаясь на ее зов, сердце ее блаженно обмерло, солнечная явь за окном медленно закружилась, ввинчивая тающее сознание в какую-то ослепляющую воронку, из глубины которой навстречу ей двинулся знакомый силуэт в адмиральском мундире, и не успела она удивиться, как Адмирал был уже рядом, протягивая к ней руки. Она отдала ему свои, ладони их сомкнулись, и они поплыли вместе к сияющему в глубине воронки свету, соединенные отныне благостно и навсегда.

Глава девятая
БЕРЖЕРОН

Год девятнадцатый

1

«Осознать мир, как заговор, значит, потерять надежду,— заметил мне однажды полковник Пишон,— путь, на который вы встали, Пьер, ведет только к отчаянью». Наверное, он прав, этот Пишон, но я ничего не могу с собой сделать. На каждом шагу я сталкиваюсь с фактами, подтверждающими мои предположения. Назойливые вопросы прямо-таки одолевают меня. Почему у меня на глазах вполне нормальные, уравновешенные люди вдруг теряют обратную связь, перестают видеть и слышать реальную действительность, принимаются жить болезненными химерами, утрачивают логику в мыслях, поступках, намерениях? Отчего естественные ценности — благородство, великодушие, верность слову — даже мне начинают казаться безнадежно старомодными? Чем объяснить беспричинную злобу, что разливается вокруг, затягивая в свое раскаленное поле и тех, кого я еще вчера считал образчиками добродушия и снисходительности? Взять хотя бы, к примеру, чешских легионеров. По делам службы мне приходилось бывать в чешской части Австро-Венгрии еще до войны. Я встречался там с десятками самых разных людей, от крупных общественных деятелей до простых крестьян. Признаюсь, ни до, ни после я не встречал в своей жизни народа более уживчивого, щепетильного, наделенного неиссякаемым чувством юмора. Что же могло с ним случиться, чтобы, оказавшись на чужой земле вдали от родины, они превратились в ораву полупьяных демагогов, не брезгующих никаким святотатством и хватающих на своем пути все попадающее им под руку, от пары валяных сапог и крестьянских самоваров до роялей и моторных яхт? Тогда что же?

Или какие причины заставляют кичащихся своим свободолюбием американцев брататься во Владивостоке со злейшими врагами свободы — большевиками? А что общего вдруг нашлось у привередливых японцев с разнузданной атаманщиной? И какие соображения логического порядка вынуждают англичан почти открыто саботировать снабжение армии Адмирала? Не лучшим образом ведем себя и мы, равнодушно наблюдая за схваткой в ожидании победы сильнейшего. Выходит, не одна только дикость русских и обрусевших племен и народов стала причиной окружающего безумия? Вот тут-то и открывается передо мной бездна, в которую я страшусь окончательно заглянуть. Поговаривают, что Адмирал употребляет наркотики, но если бы я оказался на его месте, то, наверное, я делал бы то же самое. Видно, только приобщившись к всеобщему забытью, можно еще совсем не сойти с ума. Глядя на все вокруг и в самого себя, я невольно вопию к небу: «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?»

Год двадцатый

2

«13 января. Вчера за полночь, после долгих речей и споров, союзники наконец выработали текст гарантий для Адмирала. Утром этот знаменательный документ уже был у меня на столе: «1. Поезда Адмирала и с золотым запасом состоят под охраной союзных держав. 2. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Франции, Японии и Чехословакии. 3. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда Адмирала и с золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске правительства. 4. Конвой Адмирала не разоружать. 5. В случае военного столкновения между войсками Адмирала и нижнеудинскими разоружать обе стороны; в остальном предоставить Адмиралу полную свободу действий». Когда днем я показал этот текст полковнику Пишону, он рассмеялся мне в лицо: «Послушайте, Пьер, кто может принять этот блеф за чистую монету! — воскликнул он.— Гарантия, которая не стоит бумаги, на которой дана, обратите внимание на последнюю фразу, она полностью снимает с нас всякую ответственность за последствия!» Увы, по зрелом размышлении, я согласился с ним: отныне Адмирал был обречен».

3

«16 января. Вчера Адмирала вместе с золотым запасом выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекричать других, что вполне понятно: наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен официально Главно-

командующий Чехословацким корпусом в Сибири, и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг. Головой несчастного Адмирала союзники расплатились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через Байкальские туннели на Восток. Тимирева сдалась добровольно, предпочитая остаться с ним до конца. Какая сила любви и духа перед лицом циничного предательства! Стыдно считать себя после этого мужчиной и офицером. Встречаясь, мы стараемся не глядеть друг на друга, делаем вид, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего, в разговорах об аресте Адмирала ни звука, словно мы и впрямь находимся в доме покойника. Такое чувство, что все кругом обгажены с головы до ног, но трусят в этом признаться. Боже, как это унизительно! Утром у меня был на эту тему разговор с полковником Пишоном. Он выслушал меня без особого интереса. «Ах, Пьер,— горестно воскликнул он в ответ,— если бы знали, как мне все это надоело! Мы лжем, изворачиваемся, лукавим, лишь бы уйти от ответственности. Вам, Пьер, известны мои взгляды, я никогда не симпатизировал Адмиралу, но то, что сделали с ним при нашем молчаливом согласии, это свинство, это больше, чем свинство, Пьер, уверяю вас, нам еще придется за это очень дорого расплачиваться».

Мне стало ясно, что я не одинок в своих пугающих предчувствиях. Россия вдруг представилась мне огромной опытной клеткой, в которой некоей целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент. В чем замысел этого эксперимента и почему именно здесь, оставалось только гадать. Может быть, географическое пространство России, ставшее плавильным котлом для множества рас, вер и культур Востока и Запада, оказалось наиболее отзывчивым полем для социальных соблазнов и заманчивых ересей, а может, историческая молодость этой страны сделала ее столь беззащитной перед ними, кто знает, но что рано или поздно она втянет в свой заколдованный омут весь остальной мир, сомневаться уже не приходилось. И нечего теперь искать виноватых в этой роковой неизбежности. Большевики, инородцы, еврейский кагал, масоны или русские, с их рабскими инстинктами, какое это имеет значение? Все они, вместе взятые, заодно со своими врагами, лишь слепые пешки в чьих-то искусных и неумолимых руках, от которых не спасется никто: ни побежденные, ни победители. Вполне возможно, что погибающие сегодня окажутся счастливее оставшихся в живых и мне еще придется позавидовать судьбе Адмирала: ему в его трагическом пути было дано то, что навсегда утерял я,— Надежда. Итак, Адмирал: идущие на смерть приветствуют тебя!»

4

«5 апреля. Мы медленно движемся на Владивосток. Мимо окон проплывают невысокие горы, сплошь покрытые лесами. Снег вокруг них уже начинает оседать и темнеть в ожидании близкой весны.

Только в таком вот томительно неспешном движении по-настоящему постигаешь всю почти фантастическую огромность этой земли. Мне, выходцу из страны, которую можно пересечь из конца в конец за пятнадцать-двадцать часов, такие расстояния и пространства представляются просто немыслимыми. Наверное, эта мрачная безбрежность и порождает в своих пределах страсти и катаклизмы соответствующего ее размерам масштаба. И если Сатана задумал вступить, наконец, в последнее единоборство с Богом, он не мог найти в мире место более для этого подходящее. В последние дни я занимаюсь тем, что сижу над конфиденциальными документами, пытаясь с их помощью напасть на след, ведущий к разгадке причин нашей дипломатии в Сибири. В первую очередь меня, конечно, заинтересовала переписка Жанена с нашим правительством. Вчитываясь в нее, я все более убеждался, что за ее протокольной лапидарностью кроется какой-то второй план. На первый взгляд, правительство Клемансо довольно последовательно придерживалось ориентации на Адмирала, но с развитием событий, хотя и едва заметно, менялся тон правительственных указаний: они становились все более обтекаемыми, позволяя адресату толковать их по своему усмотрению. Разумеется, как всякий опытный бюрократ, генерал Жанен моментально уловил эти нюансы, курс его политики по отношению к вчерашнему союзнику круто изменился, а в частных разговорах он и вовсе не считал нужным далее сдерживать себя. На одном из совещаний, предшествовавших выдаче Адмирала, он без обиняков заявил нам: «Со всех сторон мне напоминают о чести, совести, благородстве и прочих атрибутах сентиментального рыцарства, но у меня есть те же самые обязательства и перед чехами, которыми я командую, я не могу отдать их на убой большевикам ради спасения одного отставного русского моряка. К тому же, даже его собственные соратники, например, генерал Дитерихс, считают, что расстрел Адмирала был бы справедлив и что это надо было бы сделать сразу же по прибытии его в Нижнеудинск». Слушая Жанена, я не верил своим ушам: это говорил человек, который всего за несколько месяцев до этого рассыпался в восторженных комплиментах и грубой лести перед тем самым «отставным русским моряком», какого он чернил теперь в глазах своих подчиненных. Есть ли предел человеческой низости! Но что в конце концов значил цинизм этого, любившего пожить, буржуа в генеральском мундире и таких, как он, по сравнению с тем, что стояло за ними! А за ними, отныне я это отлично сознавал, стоял замысел. Замысел, рассчитанный всерьез и надолго, до того самого мгновенья, когда вечная тьма окончательно покроет опустевшую землю. Я не в состоянии закрыть глаза на эту очевидность ради сохранения иллюзорной надежды, я оставляю это пишонам. К сожалению, мир — это все-таки заговор. Заговор безбожного человека против всех и самого себя. И только Бог волен вывести нас из этого замкнутого лабиринта. Но заслуживаем ли мы Его снисхождения? Чтобы отвлечься от изводящей меня тоски, я с утра за-

рываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попалось на глаза письмо, адресованное в Париж на имя вдовы Адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась препроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения: «Дорогая Софья Федоровна! К сожалению, я нахожусь в таком положении, когда мне не к кому обратиться за помощью, кроме Вас, с кем у меня есть возможность связаться хотя бы через французскую миссию. Все остальные пути общения с внешним миром для меня отрезаны, я ничего не знаю о своих родных, близких, а главное, о сыне. Вы женщина и, я уверена, вы поймете меня, несмотря на то, что произошло между нами. Александра Васильевича больше нет, он ушел из жизни, как подобает мужчине и офицеру, даже его враги оценили это. Я была с ним почти до самого конца, но что будет со мною дальше, я не знаю. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы передать через Вас письмо своему сыну. Может быть, Вам удастся разыскать его. Я все же тешу себя надеждой, что моим близким удалось вывезти мальчика за границу, но даже если нет, то для Вас легче установить, где он и что с ним? С последней надеждой на Вас, бесконечно виноватая перед Вами Ваша А. Тимирева». И затем обращение к сыну: «Дорогой мой! Я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но горячо верю, что ты жив, здоров и чувствуешь себя молодцом. Кто знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь, но, если не увидимся, ты должен знать, что твоя мать никогда не забывала о тебе, хотя судьбе было угодно отнять тебя у нее в самую трудную пору ее жизни. Когда ты вырастешь, ты поймешь, не сможешь не понять, почему это случилось и какая беда развела нас с тобой. Прощай, мой ненаглядный, кровь моя, любовь моя, боль моя неизбывная...» Дальше я не мог читать, спазмы сдавили мне горло, я лишь с горечью посетовал про себя: «Господи, не слишком ли это много для одной просто женщины!»

5

«20 июня. Сегодня я навсегда покидаю Россию. Год с небольшим, проведенные мною здесь, сделали меня другим человеком. В этой стране я познал то, что наверное не следует знать простому смертному, слишком это ему не по силам. Но я все же благодарен ей за то, что, потеряв надежду, я научился в ней самому спасительному для людей — состраданию. Поэтому, расставаясь с ней сегодня, я не говорю ей «прощай», я говорю ей «до свидания». До скорого свидания, несчастная и благословенная в своем несчастье страна, потому что ты первая взяла на себя роковую ношу! Не знаю, сколько еще мне предстоит существовать на нашей скорбной земле, но жить так, как я жил до тебя, я уже не смогу!»

Глава десятая
УДАЛЬЦОВ

1

С утра Каппель впал в беспамятство. Обмороженное, в черных пятнах лицо его с каждым часом все более заострялось, глаза проваливались, горячечный бред клубился вокруг его западающих губ. Из жарко натопленной сибирской избы, сквозь тридевять земель, время времен и январскую стужу за окном память умирающего тянулась в прошлое, вызывая оттуда летучих духов казавшейся теперь непостижимой жизни: цветения кружевных лип над усадьбой, девушки в белом на берегу Невы, шумного эха офицерских застолий, возбужденной кутерьмы перед Пасхой, переклички смотров и парадов, шепотного забытья любви, отзвуков старинного романса, встреч, расставаний и опять встреч.

Распластанный на заскорузлых овчинах, Каппель метался в предсмертном бреду, и нить его связи с действительностью стремительно утончалась. Время от времени он приходил в себя, водил вокруг мутными глазами, утыкался взглядом в Удальцова, узнавал и не узнавал:

— А, это вы!.. Да, да, я помню... Я скоро обязательно поднимусь... Сколько еще до Иркутска?.. Кто вы? Мне нужен Войцеховский...

С того дня, как Удальцов, сопровождаемый Егорычевым, был задержан первым же каппелевским разъездом и доставлен в штаб, он неотлучно находился при Каппеле, снова и снова, по упорным настояниям занемогшего генерала, пересказывал тому мельчайшие подробности выдачи Верховного.

И тот всякий раз как бы заново вместе с участниками переживал случившееся, в особенно уязвлявших его местах подергивался всем телом, в сдержанной ярости поскрипывал зубами и даже глаза закрывал от вытлевающей в нем муки:

— Я знал, я говорил, предупреждал: солдат с награбленным уже не солдат, а скотина, которая способна мать родную продать ради ворованного добра, а союзнички, те и того гаже, им только русская кровь нужна, чтобы свою сберечь, всегда во все века предавали при первой возможности себе на выгоду, мерзавцы, дьяволом меченные, только на этот раз не отсидятся за славянской спиной, эти и до них дотянутся, тогда собственной кровью умоются...

Генерал вновь забывался, и снова над ним принимались кружиться миражи и химеры прошлого, мимолетно воскрешая то, что уже разметалось по земле пылью, пеплом, ветошью или заросло полынью и чертополохом.

Сменявшие друг друга дежурные офицеры с озабоченной готовностью устремлялись взглядом в сторону умирающего, но, тем не менее, их явно не тяготило это зрелище: в ледовом пути, пройденном ими от красноярских предместий до Канска, они свыклись

с присутствием смерти, которая сделалась для них частью их повседневного быта.

Время от времени заглядывал врач, будто нарочно скопированный с чеховского персонажа,— бородка лопаточкой, пенсне, усталая сутулость, едва скрытая полувоенным френчем,— беспомощно топтался около больного, механически щупал пульс, задумчиво пожевывал бескровными губами и отходил, сокрушенно вздыхая:

— Чего делать, делать нечего, теперь только один Бог волен, все под ним ходим, какая уж тут медицина, так только, для очистки совести, судьбу не вылечишь, как в народе говорят: попилипоели, пора по домам...

Бдения Удальцова возле Каппеля кончились вызовом к Войцеховскому. Тот ожидал его в соседней горнице, в полушубке и папахе, лицом к окну, вглядывался в режущую белизну перед собой, заложив красные, в темной поросли руки за спину. Не оборачиваясь, спросил:

— Что там, полковник?

— Все так же, Ваше Превосходительство.

— Думаете, выживет?

— Едва ли.

— Вот что, полковник,— Войцеховский круто повернулся к нему, вперившись в него воспаленными от бессонницы глазами.— Разведка докладывает, что положение Политического центра в Иркутске практически безнадежное, власть их — дело считанных дней, в следственной комиссии над Верховным большевики играют теперь первую скрипку, а у них правосудие, сами знаете, без лишних разговоров — к стенке. Если мы хотим опередить их, нам необходимо форсированным маршем идти на Иркутск, но я связан по рукам и ногам, мне нужен карт-бланш от командующего.

— Он спрашивал вас, Ваше Превосходительство.

— Сейчас ему трудно сосредоточиться, полковник, он ни о чем не может говорить, кроме Верховного, поэтому-то и не отпускает вас от себя, но время не ждет, полковник, сейчас крайне необходимо убедить его подписать приказ о передаче мне командования, вам это будет сделать легче.— От неловкости и напряжения у него даже испарина выступила на лбу.— Поймите меня правильно, полковник, Владимира Оскарыча мы уже не спасем, а Верховного же, может быть, успеем.— Он пристально вглядывался в собеседника, словно пытаясь заранее прочесть в нем ответ, а когда прочел, наконец, сразу же облегченно расслабился.— Аркадий Никандрович, голубчик, если бы вы знали, как для меня все это непереносимо!..

К вечеру Каппель стал задыхаться. Разметанное по овчине тело его то сжималось в судорожный комок, то безвольно опадало в полном изнеможении. Хрип в его провальных губах смешивался с едва членораздельным бредом, в пестрой мозаике которого постепенно стирался какой-либо смысл:

— В правый угол... Вера... Где? Кавалергард... Тише... Не нужно... Ес...

Но явь еще не отпустила его окончательно. Она клокотала в нем, вымывая из него последние остатки жизни, но в конце концов, как бы сжалившись над ним, вернула ему на прощанье память:

— Хорошо, что вы здесь, полковник... Кажется, легче... Неужто пронесло?.. Почему так темно, полковник?.. Нельзя ли зажечь лампу?

Глядя, как мертвенно разглаживается его воспаленное лицо, Удальцов, волнуясь, заторопился:

— Вы еще совсем слабы, Ваше Высокопревосходительство,— спазмы в горле перебивали ему дыхание.— Вам надо лежать и лежать.— И уже с некоторой опаской: — Необходимо подписать приказ о временной передаче командования, Ваше Высокопревосходительство.

Тот, к удивлению Удальцова, не выразил ни малейшего недовольства или протеста:

— Давайте,— с усилием дернулся он к протянутой ему бумаге.— Только сумею ли, рук совсем не чувствую, онемели...

Удальцову с трудом удалось втиснуть в холодеющие пальцы Каппеля случайный огрызок карандаша, и тот стелющимся движением успел вывести на неподатливом листе начальные буквы своей фамилии, после чего карандаш выскользнул у него из-под ладони, уткнувшись в рыжую шерсть овчины. Рука его, вдруг окончательно обессилев, сползла к бедру и резко оцепенела.

— Все,— не оборачиваясь к стоящему у него за спиной Войцеховскому, сказал Удальцов и перекрестился.— Конец.

Каппель лежал вытянувшийся и сразу помолодевший, излучая вокруг себя тихое умиротворение, и лишь в уголках глубоко запавших губ остывала некая озадаченность, будто в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он увидел перед собой нечто сильно его поразившее.

В кружении возникшей потом суеты вокруг тела и хлопот по снаряжению похоронного обоза в Читу Удальцов никак не мог выбрать свободной минуты, чтобы навестить заболевшего ординарца, но тот в одночасье сам настиг его, представ перед ним как-то среди улицы, порядком осунувшийся и помятый:

— Здравия желаю, Аркадий Никандрыч,— Егорычев прямо-таки светился радостью встречи,— малость опамятовался вот, вас ищу.

Поеживаясь от лютой стужи, тот устремлялся навстречу командиру преданными глазами, и Удальцов, словно подхваченный изнутри горячей волной, не выдержал субординации, метнулся к ординарцу, порывисто полуобнял, но тут же оттолкнул от себя:

— Чертушка, чего ты поднялся, лежать тебе надо, олух царя небесного, ведь снова свалишься!

— Никак это невозможно, Аркадий Никандрыч, никак это невозможно,— заторопился, зачастил тот,— без меня вы совсем

пропадете, вошь заест, а уж куском вас обделят, как пить дать.

— Ну уж и пропаду, я ведь у тебя не дитя малое, руки-ноги есть, голова работает, выкручусь как-нибудь,— и только тут по-настоящему разглядел ординарца, замотанного с ног до головы в сборное тряпье и обутого в расхристанные опорки.— Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть, давай-ка я тебя отправлю с похоронным обозом в Читу, отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дому рукой подать.

Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу:

— А вы как же, Аркадий Никандрыч?

— А я, Филя, на Иркутск пойду с генералом Войцеховским, Верховного спасать, может быть, еще успеем.

— А куда же я без вас, Аркадий Никандрыч,— умоляюще отозвался тот,— чего мне там, в этой Чите, делать, а и жив ли кто дома у меня, один Бог знает?

— А ведь если со мной, Филя, то почти на верную гибель.

— Двум смертям не бывать, Аркадий Никандрыч.

И вновь проник Удальцова обнадеженным взглядом, готовый хоть сейчас пуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа.

— Эх ты, голова садовая,— сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов,— нечего делать, со мной, так со мной!..

Ранним утром, едва развиднелись чернильные сумерки, похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом Главнокомандующего в сопровождении конного конвоя потянулся в сторону железнодорожной магистрали в читинском направлении.

Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удаляющемуся в морозную мглу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул:

— Ну, с Богом!

И санная колонна, будто повинуясь этому выдоху, дрогнула, сдвинулась с места и медленно потекла чуть в сторону — на Иркутск.

2

Через три дня части Второй армии, двигаясь по главному московскому тракту вдоль железной дороги, после десятичасового боя овладели станцией Зима, откуда Войцеховский, по прямому проводу, через чешского посредника, передал иркутскому ревкому условия отмены штурма города:

«1. Немедленная передача Адмирала иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.

2. Выдача Российского золотого запаса.

3. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.

4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры».

Задержав до получения ответа Главный штаб в Зиме, командующий отдал приказ войскам наступать дальше.

Третья армия, развивая успех, продолжала движение по Московскому тракту, а Вторая направилась на тридцать-сорок верст севернее, в обход Иркутска. Шли день и ночь с минимальными передышками, без особого труда сметая на своем пути выдвинутые навстречу им красные заслоны. И лишь в верстах семидесяти от города Вторая армия натолкнулась на первое серьезное сопротивление. Целый день шестого февраля и всю следующую ночь шел бой с введением в дело всех наличных сил наступающих. Только на утро седьмого (когда тело Верховного уже было спущено в ангарскую прорубь) части Второй и Третьей армий ворвались на станцию Иннокентьевскую, заняв авангардные позиции на западном берегу Ангары непосредственно напротив Глазговского предместья.

Остаток утра затем, не смыкая глаз после изнурительного пути, штабники вырабатывали планы Иркутского штурма. Прибывшему вскоре Войцеховскому оставалось только утвердить операцию и взять на себя общее руководство.

Но к полудню, когда все оказалось готово к выступлению, грянул гром. Сначала чешским нарочным в штаб был доставлен документ за подписью начальника Второй чехословацкой дивизии полковника Крейчи, в котором, в ультимативной форме, выдвигалось категорическое требование отменить захват Глазговского предместья, в противном случае, говорилось в документе, союзники выступят против каппелевцев вооруженной силой.

В помещении воцарилась тишина. Стало слышно, как отсчитывают время ходики на стене. Каждый понимал, что слова тут излишни: чехи в очередной, но теперь уже в решающий раз предавали их в угоду заклятому врагу. Впервые за эти годы перед ними по-настоящему разверзлась пропасть, а позади земли у них больше не было.

Первым не выдержал Сахаров. Он вдруг напрягся, побагровел, разъяренно замотал взбычившейся головой:

— Сергей Николаевич, отдайте приказ, я сам поведу армию, я раздавлю эту чешскую нечисть вместе с их приятелями из ревкома,— генерала несло, и сейчас даже сам он не мог бы остановить себя.— Что же это делается, господа, столетиями эта сволочь ползала на брюхе перед австрийцами, в четырнадцатом предали их, стали лизать задницу нам, а теперь у нас же в доме ведут себя как озверевшее купечество, заставляют наших женщин, стариков и детей выносить из-под них дерьмо за объедки со своего стола да еще и ультиматумы ставят! — он вскинулся в сторону Войцеховского побелевшими от бешенства глазами.— На дворе за тридцать градусов, мои солдаты в рваных опорках идут походным маршем по тракту, а эта разжиревшая от даровой жратвы и безделья банда едет мимо них в комфортабельных теплушках с награбленным у нас добром и еще презрительно поплевывает сверху нам на голо-

вы, доколе же мы будем сносить это позорище, господа, не лучше ли уж тогда пулю в лоб?

Воспользовавшись вопросом, в начатый разговор вклинился всегда осторожный в суждениях генерал Вержбицкий:

— Но ведь, Константин Васильевич, чехи помогли нам взять Зиму, согласитесь, если бы не майор Пржахл, своими силами мы бы не смогли этого сделать.

Но вмешательство только подлило масла в огонь.

— Пржахл, Пржахл,— снова взвился Сахаров,— надолго его хватило, этого Пржахла, Ваше Превосходительство? Где он теперь, ваш доблестный майор Пржахл? Сидит запершись у себя в вагоне, совестно на люди показаться, нашелся один порядочный офицер, а мы его уже в святцы записать готовы. Были и до него, полковник Швец, например, может, еще несколько найдется, и это на пятьдесят-то тысяч!

— К тому же,— не слушая его, продолжал гнуть свое Вержбицкий,— союзники нас не поддержат, мы окажемся в одиночестве между всех огней.

При слове «союзники» Сахарова подхватила новая волна ярости.

— Союзники! — вскочил он с места.— На русской крови и костях отпраздновали победу, а теперь с ножом к нам в спину! Веками эти союзники спят и видят стереть с лица земли само ненавистное им название Россия, думают теперь, что дожили до своего звездного часа, ведут себя, как грязные мародеры после боя, только рано радуются, у Лейбы Троцкого с Ульяновым и для этой сволочи петля готова! Если мне разрешат, я их через двадцать четыре часа всех, вместе с ревкомом, поставлю к одной стенке! Я...

Кто знает, чем бы закончилась эта перепалка, если бы на пороге вдруг не возникла взволнованная фигура дежурного офицера:

— Позвольте доложить,— в эту минуту, видно, ему было не до уставных церемоний,— нынче утром Верховный правитель с Пепеляевым убиты!

Только тут, после длившейся целую вечность паузы, Войцеховский наконец подал голос:

— Что будем делать, господа?

Обычно помалкивающий и болезненно стеснительный казачий генерал Феофилов подал голос:

— Константин Васильевич, однако, прав, господа,— сивый хохолок на его похожей на крепкую репку голове заносчиво вздернулся.— Иркутск надо брать, пускай эти сукины дети отвечают за все по закону, стерпеть это никак невозможно, господа.

Его поддержал командир ижевцев генерал Молчанов:

— Мои молодцы рвутся в бой,— в его простоватом, задубелом на ветру и морозах лице проступила угрюмая решимость.— Поверни их сейчас, после такого марша, в сторону, пиши пропало, боеспособная сила превратится в холостой сброд.

Но Вержбицкий со своего места только ленивым взглядом повел в их сторону, продолжая настаивать:

— Возьмем город и окажемся в глухом мешке, нас начнут бить все кому не лень и со всех сторон: и красные, и зеленые, и чехи с союзниками. Выход единственный: в обход Иркутска двигаться к Байкалу, а оттуда на соединение с Семеновым.

Остальные молчали. Молчали так красноречиво, что Войцеховскому не составляло труда сделать из этого молчания вполне определенные выводы:

— Господа, как Главнокомандующий я не считаю себя вправе рисковать армией ради сведения счетов с противником, нам необходимо любой ценой сохранить силы для похода на соединение с атаманом Семеновым. Итак, мое решение: двумя колоннами обогнуть Иркутск и двигаться на Лиственничное и дальше на Мысовск. Вы свободны, господа...

Расходились молча, не глядя друг на друга, в подавленном оцепенении.

На прощание Войцеховский остановил выходившего последним Удальцова:

— Будьте любезны, Аркадий Никандрыч, задержитесь,— он сел и жестом указал на стул против себя.— Хочу поговорить с вами совершенно откровенно,— взгляд у него при этом скользил мимо собеседника и в сторону, он нервно сцеплял ладони перед собой, с ломким хрустом переплетал пальцы.— Положение, как видите, Аркадий Никандрыч, не из легких, это мягко говоря, а если всерьез, то почти безнадежное. Вы мне не подчинены, поэтому я не волен распоряжаться вашей судьбой, вы, разумеется, можете присоединиться к нам, но, думаю, у Семенова вы окажетесь не ко двору, ваше присутствие будет вызывать в нем не слишком приятные воспоминания. Мой вам совет: пробивайтесь в Монголию или Китай, там при желании еще можно собрать силы. Необходимо выждать, толпа должна перебеситься, в конце концов она устанет от собственного бедлама, тогда можно будет попытаться начать все сначала. Но, Аркадий Никандрыч, ради Бога, поймите меня правильно, это только совет, а решать вы вольны сами.

Здесь он впервые взглянул на Удальцова тяжелыми затравленными глазами, и тот понял, что Семенов тут ни при чем, что Главнокомандующему самому не терпится как можно быстрее и безболезненнее отделаться от него и что ему остается лишь принять предложенную игру и подчиниться.

Удальцов поспешил подняться первым:

— Ваше превосходительство,— коротко откланялся он,— честь имею.

Но выходя, всей спиной, лопатками, самой кожей чувствовал клубившуюся следом за ним липкую неприязнь.

3

Из Иннокентьевской уходили затемно. И хотя на станционных складах брошенного красными интендантства людей удалось наспех, но сносно обмундировать, начатый путь оказался не легче предыдущего.

Вчерашний мороз сменился слепящей метелью, на протяжении вытянутой руки уже исчезало всякое представление о пространстве. Шли по наитию, следом за проводником, давно потерявшим какие-либо ориентиры. В этом движении было что-то сомнамбулическое, настолько оно выглядело бессмысленным и хаотическим. Люди инстинктивно жались друг к другу, но это их вынужденное сплочение не объединяло идущих, а лишь спекалось в них безнадежным ожесточением: сколько можно терпеть, и когда все это кончится? И ради чего?

Поэтому, когда после двух часов марша сквозь метельное крошево перед ними вдруг обозначилась смутная россыпь огней, это выглядело миражом, галлюцинацией больного воображения: никакого жилья на многие версты вокруг никем не предвиделось. Но едва до их сознания дошло, что армия просто сбилась с дороги и впереди снова все тот же, ставший уже их наваждением и проклятием Иркутск, по изломанным рядам прошелестело решительное облегчение: надо брать! Брать, чтобы, одним последним рывком смяв на своем пути любое сопротивление, очутиться наконец в спасительном тепле, под защитой домашнего крова.

Думалось, еще мгновение — и вся эта, окрыленная внезапной надеждой людской масса, не ожидая приказа, ринется сквозь снежную замять навстречу светящимся впереди огням, и уже никакая сила окажется не в состоянии остановить ее, но в этот самый момент, когда неизбежное должно было бы вот-вот произойти, от головного конца колонны, наподобие волны морского отлива, покатилась над головами охлаждающая пыл команда:

— Поворачива-а-ай!.. Продолжать на юго-восток!

Дальше не шли, а вьюжная темень несла их без руля и ветрил, вверяя идущих воле судьбы и случая. Прощай, Иркутск!

Еще в Иннокентьевской Удальцов отказался от предложенной ему в штабе лошади и шел вместе с Егорычевым в солдатском строю, целиком отдавшись общему потоку. После разговора с Войцеховским он лишь утвердился в убеждении, что дело проиграно. И проиграно окончательно. Никаким, даже сверхчеловеческим военным искусством невозможно было теперь ни предотвратить, ни остановить инерцию поразившего страну тотального распада, развала, разрушения. Земля, в крови и крике, словно бы сбрасывала с себя отжившую кожу, выпирая из-под коросты и омертвелой шелухи новым обличьем и другой статью. Можно было кричать, изводиться от бессильного гнева, выгорать в ненависти, пролить еще много и много крови, но изменить естественного развития событий это уже не могло: происходила неподъемная для нормального

человека смена эпох. Поэтому он решил выходить из игры, не ожидая, пока колесница русского лихолетья подомнет его под себя, обратив в пыль или пепел своей очередной смуты.

С отступающей армией ему было только до Мысовска, оттуда пути их сразу же расходились: отступавшим войскам предстоял затяжной марш на восток, а Удальцову с Егорычевым — дорога на юг, вдоль по Иркуту до самой монгольской границы и дальше — в Китай.

«Может, и прав Войцеховский, не лукавил попусту, светского приличия ради,— думал Удальцов, сгибаясь под секущим ветром,— перебесится русский мужик, войдет в разум, тогда и начать все заново».

Мутный рассвет застал каппелевцев уже верстах в пятнадцати от Иркутска в небольшой деревушке, откуда, едва обсохнув и накормив лошадей, двинулись дальше — к желанному Байкалу.

Марш на Лиственничное длился весь день и всю следующую ночь. Лишь к утру, в начале вторых суток пути, лес раздвинулся, обнажив впереди дымчатую гладь незамерзающего устья Ангары, а следом за этим — курящиеся трубы заснеженных крыш раскидистого села на берегу.

Вдали за рекой, над зубчатой линией скалистых гор, всплывало багровое, в дымном мареве солнце, окрашивая белую пустыню отдаленного озера в чуть розоватые оттенки. Там, на другом берегу этого озера, людей ожидало если не окончательное спасение, то, во всяком случае, первый на их крестном пути долгий отдых, но туда еще надо было пробиться, а хватит ли у них для этого сил, никто не знал, слишком уж много испытали они позади.

Хозяин дома, куда сноровистый Егорычев устроил на постой своего командира, оказался долговязый мужик из бывших канониров, помнивший Адмирала еще по русско-японской кампании.

Принимая гостя, с любопытством пошарил по нему с головы до ног, обмяк жестким лицом:

— Эх-ма, ваше благородие, вот оно как дело-то оборачивается, жила-была Расея-матушка, во все концы корабельным носом упиралась, поглядеть — сдвинь ее попробуй с места, живот надорвешь, а как пришлось за себя постоять, так и потекла по всем пазам, собирай ее теперя ложками,— но, видно, проникшись наконец состоянием гостя, спохватился.— Ладно, чего уж там, располагайтесь, ваше благородие,— и уже куда-то, в глубину дома: — Мать, где ты там, мечи-ка на стол что есть, по такому случаю спозаранку пополднюем,— и снова к Удальцову, добродушно подмигивая: — А к вечеру и баньку истопим, так-то, ваше благородие!

Подхваченный волной блаженного тепла и жадного насыщения, Удальцов плыл в полусонном тумане, едва различая вокруг себя лица и голоса, а когда, после черного провала в памяти, очнулся, хозяин, в валяных опорках на босу ногу и полушубке, накинутом прямо на исподнее, стоял над ним, беззлобно посмеиваясь:

— Ишь, как тебя уходило, ваше благородие, прямо снопом

свалился, будто подкошенный, даже будить жалко, да только банька застынет, еще жалчее, попаримся всласть, дурь из костей выгоним, а там закусим и сызнова на боковую.

Потом, в банном пару, изламываясь долговязым телом под хлестом собственного веника, он отечески втолковывал вконец разомлевшему Удальцову:

— Мне ординарец твой баял, ваше благородие, будто вы с им к монголам наладились, так мой тебе совет: одолеешь Байкал, дальше не ходи, зимой вам туда никак не добраться, тут в эту пору и местные-то далеко не ходят, а вы с непривычки и вовсе сгинете,— он вдруг шепотно понизил голос, словно кто-то мог его здесь услышать.— Слышь, ваше благородие, имеется у меня на той стороне, в сельце так дворов на двадцать друг-приятель, Иваном Малявиным кличут, зверем-рыбой промышляет, у него зимовья чуть ли не по всему Иркуту заложены, я вас к нему налажу, скажешь — от Силантьича, сразу примет, он вас до весны где хошь скроет, перезимуете, а как подсохнет, можно и к монголам, по суху надалёко, а в Мысовск не советую, мало чего там в Мысовске этом деется, может, уже красные шуруют али близко к тому.

Пар клубился под закопченным потолком, темной бездной льнула к окошку ночь, пахло дымом, застарелой смолой и прелым мочалом. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, сладостно избывая из себя, казалось, въевшуюся в самое нутро стужу и не думать ни о чем, забыть обо всем на свете, тем более о завтрашнем или вчерашнем дне.

«Не ловушка ли это? — лениво шевельнулось в нем, но тут же отлегло.— Впрочем, едва ли, какая ему корысть, одна морока?»

Тот сверху снисходительно хохотнул:

— Ординарец у тебя орел, ваше благородие, он в Иннокентьевской добра нахапал, на три зимовки хватит, а то и больше, одних пим по две пары на брата да амуниции разной мешок, как только унес. Насчет провианту — Иван от себя подкинет, промышлять можно навостриться, не такая уж мудреная наука, были бы руки-ноги да ружьишко какое-никакое, а уды ставить слепой справится.

— Байкал большой, не заблудиться бы.

— Дорога тут, ваше благородие, проще простого,— он опять перешел на полушепот.— Как Мысовск покажется, отваливай от своих и бери сразу по правую руку, там ходу вам останется версты две, не больше, берег один, не заблудишься, в любую избу стучи, моим званием всяк откроет, а уж Малявин Иван там первейший человек, не боись, ваше благородие, однова живем...

После бани, распаренные и умиротворенные, они сидели в чистой горнице под озаренными робкой лампадкой образами за холодной бражкой с пельменями, и хозяин изливал перед гостем наболевшую за эти годы душу:

— Четверо их было у меня, ваше благородие, один к одному, без одного изъяну народились, молодцами выросли, за ими хозяй-

ство у меня, как за каменной стеной стояло, а нынче где они — сыны мои, ищи ветра в поле, трое с белыми ушли, один к красным подался, однех со старухой оставили да и сгинули невесть в какой стороне, вот и скажи ты мне, ваше благородие, за что, за какие грехи на нас такая напасть?

Проникаясь его болью, Удальцов вместе с ним изводился той же мукой и тем же недоумением: за что, почему, за какую непростительную вину огромная страна со всем сущим и содержащимся в ней ввергнута теперь в столь непосильное для нее испытание? Изводился, но не находил ответа. Целый мир, в котором он вырос и с которым были связаны все его представления о добре и зле, рассыпался, рушился у него на глазах, отлагая трещины своего распада даже в таких вот, рубленных из вековых кедров и казавшихся еще вчера несокрушимыми деревенских избах. И опять, снова и снова, подступал горьким комком к горлу все тот же вопрос: за что?

С этим он засыпал, проваливаясь в ночное забытье, с этим и поднялся, чтобы под напутствия хозяев присоединиться к армейской колонне, темной лентой потянувшейся на байкальский лед.

Но путь к желанному сельцу оказался не таким коротким, каким он виделся из Лиственничного. Байкал трещал из конца в конец, артиллерийской канонадой отдаваясь в морозном воздухе. Казалось, некий огромный зверь, пробуждаясь, пытается сбросить с себя ледяной панцирь и высвободиться. Вконец обезножившие на льду лошади храпели и прядали ушами, дергали по сторонам, чувствуя под собой беспокойную бездну. Кованные обычными, без шипов, подковами, они скользили по ледяному зеркалу, спотыкались на каждом шагу, зачастую падали, не выдержав напряжения. И только люди, будто скроенные из бесчувственного материала, продолжали двигаться, пригибая голову против обжигающего ветра и не оборачиваясь.

Верхом, на санях, пешим ходом они тянулись следом за проводниками, наводили из досок и бревен временные мосты над полыньями и трещинами, подбирали падающих и сторонились павших. В этом исступленном порыве пробиться к другому берегу между ними впервые стерлась, сошла на нет разница в чинах и званиях, навсегда уравняв их перед лицом смертельной опасности. На любом месте, от выпряжки обессилевших лошадей до наведения переправ, генерал не уступал в сноровке младшему офицеру или солдату.

Скудное февральское солнце словно бы нехотя перекатывалось над завьюженным пространством, но не грело, не светило, не радовало. И лишь медленно матереющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтоб продолжать путь.

Наконец, на самом исходе дня впереди явственно определились признаки близкого жилья: с той стороны потянуло дровяным дымом, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки: Мысовск!

Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны, туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок.

За эти дни Войцеховский заметно сдал, лицо осунулось, плечи ссутулились, подернутый туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью:

— Вот, полковник, и я занемог,— он сидел в розвальнях, зябко кутаясь в просторный тулуп,— глядишь, вот-вот за покойным Владимиром Оскарычем последую. Что у вас?

Удальцову было теперь не до условных соболезнований, вместо этого он одним духом, почти по-уставному выложил:

— Позвольте проститься, Ваше высокопревосходительство, следую вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу.

Тот мгновенно оживился, из-под жаркого туманца в глазах блеснула одобрительная заинтересованность:

— Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь,— и все же напоследок не удержался от красного словца.— Только помните, полковник, Россия в нас еще верит.

Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординарцу, Удальцов больше не слышал Главнокомандующего, а спустя час путники уже стучались в первые попавшиеся ворота обещанного им Силантьичем сельца.

4

Малявин оказался мужиком, на слово и подъем медлительным, с лицом мальчика-перестарка и лопатистого вида руками. Привет от Силантьича принял молча, лишь головой тяжелой кивнул, гостей выслушал так, будто все это ему было не впервой, а укладывая их после скорого ужина по лавкам, только и сказал себе бабьим голоском:

— Утро вечера мудренее.

Но разбудил чуть свет, уже одетый для долгой дороги.

— Попотчуйтесь, господа хорошие, чем Бог послал да и наладимся по морозцу,— подумал, подумал, как бы прикидывая, добавить ли словцо-другое, решил, видно, расщедриться.— Тут до моей заимки рукой подать, верст сорок, даст Бог, перезимуете помаленьку.

Сборы были недолгими, а завтрак и того короче. Хозяйка, полная противоположность мужу, подвижная и моложавая еще бабенка в темном платке, повязанном по самые брови, потчуя гостей на скорую руку, словоохотливо рассыпалась перед ними:

— Ешьте, ешьте, касатики, хучь наспех, зато от пуза, а на дорожку-то я вам разного наложила: и мясца, и рыбки, и шанежек напекла, девятерым хватит, все одно, люди бают, красные придут, добро наше прахом развеется, до смерти замордуют, хучь в тайгу уходи да ить и там углядят,— и вдруг тревожно стрельнула пооче-

редно по тому и другому быстрым глазом.— Там у нас на займище-то девка наша младшая, Дарья, управляется, дак вы, молодцы, не больно-то раззадоривайтесь, она у нас така, што, осерди только, своего не пожалует, не токмо чужого, а ежели с ей по-хорошему, клад девка, у ей вы, как у Бога за пазухой, отзимуете... Ну, Христос с вами!

Уже во дворе, вставая на лыжи, Малявин снова, будто нехотя, отговорился в сторону спутников:

— Лыжным ходом хаживали хоть? Дело нехитрое, вставай крепче да и двигай ногами туда-сюда, в мой след. Ну, с Богом!

И заскользил в распахнутые ворота в синеющий рассвет впереди. Уходил он вроде бы неспешно, с некоторой даже ленцой, ухитряясь при этом тянуть за собой еще и санки с кладью, а успевать за ним с непривычки оказалось непросто: широкие, походившие более на доски с загнутыми торцами лыжи непослушно размазывали лыжню в разные стороны, зарывались на спусках в снег и гирями обвисали на ногах при подъемах, словно и думать забыли о своих незадачливых спутниках.

Но, как водится, лиха беда начало. Постепенно нога свыкалась с лыжным креплением, чутко ощущая снежный покров под собой, дыхание выравнивалось, тело наливалось упругостью и теплотой: видно, опыт предыдущего пути не прошел для них попусту... И вскоре они уже уверенно держались в хвосте у Малявина, почти не уступая ему в сноровистой легкости хода.

Вековой кедрач в снежных шлемах с ледяными подвесками нависал над их головами и сквозь редкие его просветы под ноги им стекало чадное солнце студеного утра. Стояла такая тишь, что не верилось, будто где-то совсем рядом, может быть, всего в дне пути отсюда, в громе и грохоте испепеляется растерзанная междоусобной войной земля. Господи, неужели этот кошмар теперь позади и не гонится больше по пятам за ними!

Уже вызвездило, когда малявинский силуэт впереди вдруг замер и оттуда, из глубины густеющих сумерек, дотянулось до них тоненькое:

— Притопали...

И, словно отозвавшись на его слово, в хвойной темноте, чуть поодаль от них, перед ними обнажился слегка сплюснутый с боков, тускло освещенный изнутри прямоугольник двери, и оттуда потянуло обжитым жильем, сухим деревом, печным духом, а из проема скользнула навстречу им ломкая, на излете тень:

— Папаня, вы?

Потом, в неверном озарении светильной плошки, тень обернулась подбористой девахой в россыпи веснушек на скуластом лице и с выбивавшейся из-под платка темно-рыжей куделью. Собирая на стол и возясь у печки, она временами с любопытством постреливала в сторону гостей быстрым — в мать! -- глазом, но, однако,— и это уже в отца! — настороженно помалкивала.

По всему видно было, что зимовье это рубилось умелой рукой

и надолго, если не на века: из матерых, в добрых два обхвата лиственниц, с полом из неотесанного кедрача, широкими нарами по торцовым стенам и приземистой с лежанкой печью в углу справа от двери.

«В такой крепости,— одобрительно осмотрелся Удальцов,— до второго пришествия зимовать можно».

Задувая огонь и укладываясь, Малявин скупо просветил гостей насчет их будущей жизни:

— Завтрева лапнику наломаете, мягче перины будет, остатнему девка научит, она у нас на всякое дело быстрая,— помолчал, недобро добавил: — На руку особливо.

Пожалуй, впервые за последние годы Удальцов проснулся без угнетающих дум о предстоящем дне. Некуда было спешить, не о чем хлопотать и нечего опасаться. Он словно возвращался в свое естественное состояние после изнурительной и затяжной болезни. Сейчас его даже думать не тянуло о будущем, настолько отдаленным и прозрачным оно ему представлялось. Хотелось лежать вот так, неподвижно глядя в прокопченный потолок, с блаженным ощущением вытекающей из всех пор и мускулов усталости. Утоли, Господи, моя печали!

Свет ослепительного утра струился вовнутрь сквозь раструб единственного окошка на лицевой стене зимовейки. В занявшейся новым теплом печи потрескивали горячие сучья. Пахло сухим корьем, паленой овчиной, горелой шелухой картофеля.

«До весны-то срок еще долгий,— мысленно одернул себя он,— не заметишь, как обабишься».

У печного зева, на корточках, спиной к нему сидела вчерашняя деваха, сноровисто заталкивая в огонь обледенелые с мороза плахи. Торчавшие из-под платка темно-рыжие кудельки покачивались в такт ее движениям у нее над вспотевшими висками, словно огненные спиральки от печного пламени.

И тут же, боковым зрением, Удальцов перехватил жадно устремленный в ее же сторону взгляд своего ординарца, от которого исходил такой заряд тоскливого восхищения, что она, видно, и сама это почувствовала, обернулась, насмешливо озарившись всеми своими веснушками сразу:

— Очухались, мужики? — она вытянулась перед ними невысокой, но ладной фигурой.— Пора и честь знать, картошка стынет!

Февраль на дворе доживал необычно тихим и солнечным, без долгих метелей и хиуса. Белая стынь вокруг держалась еще крепко, вся в метельных наметах, застругах, снеговых гармошках, блистала на взгорьях ледяными залысинами, но что-то под ее промерзшей толщей уже сдвинулось, треснуло, вбирая в себя сонное пока пробуждение стосковавшейся по теплу земли: все чаще осыпались с хвойных подкрылков снежные шапки, все говорливее становились лунки в протоках, все томительнее тянулись закатные вечера.

Днем Удальцов старался пореже показываться в зимовье или

около, лишь бы не смущать ординарца своим присутствием: тот усыхал, заострялся на глазах, обгорал, наверное, первым в своей жизни молодым обожанием. Филя тенью повсюду следовал за Дарьей, на лету, по мимолетному взгляду, слабой улыбке, малому движению угадывал ее в нем надобность, чтобы тут же, не мешкая, угодить ей, а по ночам тяжело ворочался у себя на нарах, протяжно вздыхал и даже слегка постанывал.

Время от времени наведывался Малявин, зорко посматривал по сторонам, видно, догадываясь о чем-то, насмешливо хмыкал, многозначительно покачивал лобастой головой и, после недолгих хлопот по хозяйству, не говоря ни слова, отправлялся восвояси.

Удальцов днями кружил по распадкам, борам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему если и важными, но не первостепенными: дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о каком раньше у него даже не было времени думать.

Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Элен в Красноярске. Что с ней, где она, смогла ли добраться до Владивостока? В памяти Удальцова всплывало ее, совсем еще детское, лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути: «Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви.

«Вот уж воистину сильнее смерти,— пытался посмеиваться он над собой,— перед ней все равны: и я, и Адмирал, и Егорычев!»

Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада живой и невредимой не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих!

Удальцов заранее знал, что найти Элен будет не просто, как не просто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над противоположными берегами, но он верил в свою звезду, к тому же, в мире существовали люди, много людей, которые были должны, обязаны были ему в этом помочь. И в первую очередь — Нокс. Ведь поклялся же тот тогда, после тобольской передряги, протянуть ему руку помощи, когда бы он этой руки ни попросил. Словом английского офицера поклялся!

Дни тем временем складывались в недели, а те, в свою очередь, принимались отсчитывать месяцы. Исподволь источался снег, наливались хрупкой синевой озерца и протоки, сиротел, наливался корявой чернью окружающий лес, а вскоре на луговых прогалинах выбросил первые стрелки свежий травяной покров. Весна отряхивала землю от праха и тлена зимнего забытья.

Той порой, как-то под вечер, когда зажгли светильную плошку,

дверь зимовейки с коротким треском распахнулась, и через порог вовнутрь сплошным потоком хлынула людская лава — смешение малахаев, бород, дубленой овчины и сапог:

— Нишкни на месте!

Но лава тут же лохматым полукольцом растеклась по зимовью, уступая дорогу человеку с изможденным, но еще очень молодым лицом, на котором малярийно поблескивали тревожно-беспокойные глаза. Он был в офицерской папахе и шинели с приторо-ченным к ней меховым воротником:

— Кто хозяин? — не выговорил, а скорее прокашлял он и мгновенно тревожным взглядом выделил из всех Удальцова.— Ты?

Тот выступил вперед:

— Что вы хотите?

Беспокойные глаза вдруг с пристальным вниманием остановились на Удальцове, гость некоторое время с видимым недоумением вглядывался в него, затем повелительно повернулся к сопровождающим:

— Всем выйти! — И к Дарье с Егорычевым: — И вам тоже,— после того, как дверь за людьми закрылась, он, отступив, устало прислонился к ней спиной.— Кто вы?

Запираться было бессмысленно: его могли прикончить на месте, если не выбить из него признание:

— Я полковник Удальцов, бывший начальник конвоя Адмирала,— в нем почему-то, от слова к слову, нарастала уверенность в том, что с этим, рано состарившимся мальчиком ему удастся договориться.— Что вам здесь нужно и с кем имею честь?

— Корнет Савин, честь имею, полковник,— на его изможденном лице обозначилось нечто вроде улыбки.— Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно, собрал вот с бору по сосенке разный сброд и кружу с ним по здешним лесам без всякого толку, одним словом, вольница,— прикрыл бессильно глаза, откинулся папахой к притолоке.— У всех теперь свои знамена: у кого красные, у кого белые, у кого зеленые, один я без знамени, просто так кровь лью: и тех, и других, и третьих,— истончившиеся губы его передернулись в нескрываемой муке.— Предлагал ведь я себя Адмиралу, полковник, еще в Японии предлагал, нет, не поверил, не взял, пустяками отговорился, а ведь могли бы мы еще тогда,— последние слова он почти выкрикнул,— могли бы, была сила!

— Нет, не могли бы, корнет, никто не мог бы.

— Почему же,— исходил в своей муке тот,— почему же, полковник?

— Это не бунт, корнет, это обвал, а от обвала, как известно, может спасти только чудо, но чуда, к сожалению, не случилось.

— Что ж,— тот снова заострился и отвердел,— тогда пусть каждый платит за свое сам, лучше уж погибнуть с моим сбродом, чем сдаться на милость победителя, да еще такого победителя! — он, хотя явно и без особой надежды, поискал сочувствия в со-

беседнике.— Может, вместе, полковник, а? Я за свое атаманство не держусь, готов подчиняться, скажите только слово, полковник. Хлопнем на прощанье дверью на всю Сибирь?

— Нет, корнет, у меня другие планы.

Уже полуобернувшись к нему и взявшись за дверную скобу, Савин вдруг спросил его:

— А знаете, как Адмирал закончил? — но не стал ждать ответа.— Хорошо закончил, полковник, нам бы так, да, видно, порода не та, но Анну Васильевну не тронули пока, держат еще, да,— взяв на себя скобу, прощально блеснул в сторону собеседника.— Ладно, живите по своим планам, полковник, Бог вам судья!

И вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Наутро, оставшись наедине с ординарцем, Удальцов решительно поделился с ним:

— Пора уходить, Филя, засиделись мы тут.

Но по тому, как мгновенно тот отшатнулся от него в виноватой растерянности, он понял, что уходить ему отныне придется одному.

А Егорычев уже спешил, захлебывался жалкими оправданиями:

— Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду, от добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей, Малявин опять же не против, мужиков ныне с руками рвут, работников совсем не осталось, все кто по фронтам, кто в сырой земле отсыпается, почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут, чего ж мне еще искать по свету, да и отыщу ли?

— Замордуют ведь, Филя! — попробовал образумить его Удальцов.— Не простят адмиральскую службу!

— А чего с меня взять, Ваше благородие, Аркадий Никандрыч? Солдат он солдат и есть, солдата куда пошлют, туда и идет, не по своей воле живет солдат, кому неведомо?

Спрашивал он и при этом виновато облучал Удальцова преданными по-собачьи глазами.

— Тебе видней, Филя, у тебя своя жизнь, у меня — своя,— безвольно покорялся Удальцов его исступленному напору.— Не мне тебя неволить.— Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он не разделил порыва, убрал ее за спину.— Ладно, Филя, собраться только помоги...

Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком. Ушел не прощаясь, жалко было будить их.

5

Дальше Удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стороне от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново: все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть, душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним — в прежней жизни. Нечто звериное, почти

первобытное прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки.

Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты ивняковой лозой, угадывать путь по солнцу, а в ненастье — по движению листвы, спать бодрствуя и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой казавшейся ему нескончаемой дороге он по-настоящему почувствовал настороженную враждебность породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу: поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой трясиной, хрупкий подлесок — непроходимой чащей, ласковая речушка — винтовым омутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв, рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход, замшелая ветвь под ногой неожиданно оживала шуршащей нечистью. И чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство.

На пятнадцатый день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море, от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой, с прозеленью по краям лентой летела, неслась, извивалась навстречу ему раскатисто говорливая река. И Удальцов со вздохом облегчения догадался: Иркут, где-то в самом своем истоке!

По его расчетам, до монгольской границы оставалось не более трех дней ходу. И хотя возможности его были на исходе, одно сознание близости спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге в числе многих, пополнив собой безымянный список российского лихолетья.

Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упоительным ощущением возвращения к жизни и к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему в глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования.

И грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошенному полю, колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь дубовую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что, кажется, припусти побыстрее, взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра.

И позади, захлебываясь в смехе, тянется за ним умоляющий голос отца:

— Аркашка-а-!.. Бесено-о-ок!.. Останови-и-ись!.. Пожалей отца-а-а, совсе-е-ем пада-ю-ю!..

Почти в беспамятстве Удальцов приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее сводящее зубы и скулы студеное облегчение, но, едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то, в полный рост, отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревенел. Ожидая сзади выстрела или удара, он даже не нашел в себе силы обернуться, только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой:

— Кто ты?

— Человек, не леший.

Голос за спиной звучал чуть насмешливо, но миролюбиво. Облегчаясь сердцем, Удальцов осторожно обернулся и, все еще снизу вверх, полюбопытствовал:

— Ты откуда тут?

— Я-то тутошний, ты вот откуда взялся?

Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку, и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших бровей.

— Напугал ты меня, брат,— Удальцов окончательно опамятовался и встал,— хоть бы голос подал.

— Лес шуму не любит,— беззлобно осклабился тот полнозубым ртом,— тише ходишь, целей будешь.

— Жилье близко?

— Э, мил-человек, тут жилья на сто верст кругом днем с огнем не сыщешь, я один тут кукую, на подножном корму.

— Не страшно одному-то?

— С людьми страшно, мил-человек, а себя чего же бояться?

— А зверье?

— Зверя не трогай, он тебя не тронет, я сам по себе, зверь сам по себе, живем — не грыземся.

— Где же ты тут обитаешь?

— А вон...

Проследив за приглашающим взмахом его руки, Удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб, с плоским, заросшим травой верхом, по самую оконную щель врытый в землю.

— Так и живешь?

— Так и живу, мил-человек,— спокойно утвердил мужичонка и вновь васильково засветился.— Заходи, гостем будешь, чайку попьем.

Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой и бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости.

После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась Удальцову почти чернильной. Немного пообвыкнув к этой темени, он различил наконец в ней громоздкую, из неотесанного камня печь, занимавшую здесь большую часть места, с набросан-

ной на ней тряпичной рухлядью, и в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол из плотно пригнанных друг к другу жердей.

— Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге устроился.

— Не жалуюсь,— тот стоял снаружи, у него за спиной.— На мой век хватит.

— Тут и свековать думаешь?

— А куда мне податься — некуда?

— Мир большой.

— Кому как.

— Не по тебе, значит?

— Не по мне,— уверенно согласился тот.— Земля большая, а меня на ней мало.

— А прикорнуть у тебя можно, не прогонишь?

— Отчего прогоню, располагайся, а я пока пойду чайку спроворю,— и сразу захлопотал, засуетился у него за спиной.— В одночасье спроворю, мы и попьем на воздышке. Тут чем славно, что комара, мошки нету, потому как гнусь эта сырую низину любит, а тут высоко да сухо. Располагайся, мил-человек, опростай ноги от немочи.

Любо было смотреть, как ловко и споро орудовал он вокруг запылавшего вскоре костерка: ломал сушняк для огня, колдовал с травками над водой в таганке, мешал с лесным лучком вяленую рыбешку.

— Городского не сулю, а своим попотчую,— приговаривал он при этом, улыбчиво посвечивая во все стороны,— без рафинаду, зато с ягодой, сыт не будешь, а для дремоты лучше нету, пей да радуйся...

Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди терпкий травяной настой, заедая выпитое рыбным волоконцем под таежный лучок, а хозяин тем временем не умолкал, растекался словоохотливо:

— Как призвали меня в германскую, так и подался я куда глаза глядят, чего я с тем немцем не поделил, пускай воюют, кому своя голова полушка, а чужая того дешевле, а я и не жил еще вовсе, не токмо девки, бабы живой не пробовал, одних сапог не сносил, дальше околицы носу не высовывал, на хрена, думаю, мне в этом пиру похмелье, я пока жить хочу, ноги в руки и — ходу, ходу, токо бы не забрили...

— Сам-то из каких мест?

— Пермские мы, по-разному кличут, больше водохлебами, что греха таить, мастаки у нас чаи гонять из пустого в порожнее, хотя отец мой покойный, Царство ему Небесное, с Дона сам, после каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку.

— Чем же ты здесь перебиваешься? — уже сквозь дрему полюбопытствовал Удальцов,— на твоих харчах долго не протянешь.

— Говорю тебе, на подножном, а когда совсем приспичит, на тракт выхожу, Христа ради кланяюсь.

— Кто ж теперь подает?

— Свет не без добрых людей, мил-человек, особливо монголы, иной плетью огреет, а иной и подаст, с миру по нитке да и много ли мне надобно одному-то, зимой, однако, хуже, лесным припасом живу... Э, да ты совсем сморился, милок,— тенью метнулся он перед гостем,— залезай-ка в нору, там сподручнее...

Умиротворенный угощением и незлобивым говором, Удальцов в сонном полузабытьи перебрался под крышу, свалился на услужливо подстеленное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений.

Знать бы Удальцову в эту провальную минуту, что топор уже вознесся над ним и затем с рассекающим присвистом врезался в пол за вершок до его затылка: откуда же было угадать хозяину, что за мгновение до удара гость схватится в бездумье повернуться на другой бок!

Но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мякоть острия Удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто вскинуться на ноги и, по-кошачьему оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу:

— Прости, Бога ради... Со страху я... Прости...

Из Удальцова вдруг словно выпустили воздух: ладони разжались сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу:

— Будь ты проклят, тварь...

А тот полз за ним на карачках и все всхлипывал ему вслед, умоляюще поскуливая:

— Сам ить знаешь, как нынче живется, не люди — волки одни кругом, чуть сплошаешь, враз на распыл изведут... Не я тебя, так ты меня все одно извел бы... Кто ж знает, чего у другова на уме, а я ишо жить хочу, молодой совсем, за какие грехи погибать мне тут... Прости, Христа ради, лукавый попутал, сам не знаю, как получилось, не оставь без отпущения... Прости-и-и!

Удальцов уходил не оборачиваясь, не мог, не хотел, не нашел в себе воли обернуться.

Он двигался сквозь лес, отныне окончательно уверенный, что на этой земле ему уже нет места. Все, что он любил в ней и к чему был на ней привязан, истекло в вечность, растворилось в воздухе, наподобие фата-морганы, не оставив после себя ничего, кроме терзающих душу воспоминаний. Она оставалась такой же большой, как и была, но не для него и таких, как он. От ее мертвой тверди не источалось теперь зовущего к себе света, и небо над ней выглядело сегодня каменным. Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется — эта жизнь, еще никто не знал.

Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой занимались сумерки, горизонт темнел, проявив на

своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости и наконец, с наступлением полного заката, обозначилась перед ним, поверх соснового частокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды.

6

Дальше Удальцов уходил в одиночку...

7

Летом двадцать первого, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, Удальцов с отчаянья поступился гордостью, позвонил Ноксу:

— Здравствуйте, генерал, вас беспокоит полковник Удальцов. Помните Омск, Ставку, Тобольский фронт?

В трубке возникла пауза, которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность, потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось:

— Извините, сэр, я вас не припоминаю...

И связь тут же оборвалась.

* * *

Вот и все, господа хорошие, вот и все.

8

Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года от Рождества Христова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из семейной хроники, написанной сыном Адмирала Ростиславом Александровичем:

«Род КОЛЧАК внесен во вторую часть родословной книги дворян Херсонской губернии. Вторая книга, как известно, включает роды, получившие потомственное дворянство чинами военными. При ревизиях 40-х годов Колчаки были утверждены в потомственном дворянстве указом Герольдии Правительствующего Сената от 1 мая 1843 года за № 7054.

По семейным преданиям, семья получила и русское подданство, и русское дворянство, и русский герб в начале царствования Императрицы Елисаветы Петровны, около 1745 года; но это, может быть, не совсем так, как будет видно дальше.

Что, во всяком случае, верно, это то, что семьи и отца и матери адмирала были из казаков,— семья отца из Бугского казачьего войска, а матери — из Донского.

По преданиям, которые проверить исторически я не могу (семейные архивы погибли в России), Колчаки происхождения половецкого. Это возможно. Теснимые татарами, половцы частью слились с ними, частью ушли в Венгрию. Происходил ли адмирал Колчак от хана Кончака «треклятого и окаянного», или нет — не берусь сказать, да и тюркские корни двух кличек не те же. «Кончак» значит «штаны», а «колчак» — «боевая рукавица» (от слова «кол» — рука). Это стальной панцирь, покрывающий правую руку до локтя, кончающийся рукавицей из материи (левая рука прикрывалась щитом). Но на Урале есть вершина, название которой «Кончаков» или «Колчаков камень».

Во всяком случае первый Колчак, о котором имеются исторические записи в связи с русской историей, появляется в Боснии в XVII столетии и встречается с русской армией Петра Великого во время Прутского злосчастного похода 1711 года.

По хронике Ивана Никулчи, молдавского гетмана, этот Колчак был серб, родом из Боснии, принявший мусульманство. Он при Пруте был «булюбаш», то есть «полковник» катанов — маленький племенной вождь. Возможно, что его семья должна была уйти в годы Боснии от турок и, как это было обычно у боснийского дворянства, он принужден был перейти в мусульманство для сохранения своего рода, когда турецкое иго ложилось все тяжелее на Боснию в XVII веке.

Я расскажу о нем довольно подробно, потому что его личность связана со сравнительно мало изученной эпохой военной истории России времен Анны Иоанновны и фельдмаршала Миниха.

* * *

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла...

Так отразилась в наше время — в стихах Владислава Ходасевича — ода первая Ломоносова. Эта ода действительно может считаться началом русской поэзии. Она посвящена «Блаженные памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина — 1739 года».

Мало кто теперь читает оды Ломоносова и мало кто теперь знает, что в первой его оде, в первый раз в русской печати упоминается фамилия Колчак.

Как в клуб змия тебя крутит,
Шипит, под камень жало кроет,
Орел когда шумя летит
И там парит, где ветр не воет...
. . . .
Пред Росской так дрожит орлицей,
Стеняет внутрь Хотин своих.
Но что? В стенах ли может сих

Пред сильной устоять царицей?
Кто скоро толь тебе Колчак,
Учит Российской вдаться власти,
Ключи вручить в подданства знак
И большей избежать напасти?..
(Л о м о н о с о в. *Ода первая*).

Это переносит нас в царствование Императрицы Анны Иоанновны и именно в 1739-й год.

Ни это время, ни сама Государыня не пользуются доброй славой. Владычество верховников из «немцев», Бирон, Миних, «слово и дело», тайная канцелярия, придворные шуты, «Ледяной дом»... Положительные стороны этого царствования забыты. Так повелось с переворота Елизаветы Петровны. Оно и естественно, надо было всячески оправдать переворот и очернить, как можно больше, предыдущее царствование и предыдущий режим. Так всегда полагается. Но если Анна Иоанновна и мало доверяла русским, то она сама уж русской была несомненно.

Дочь царя Иоанна Алексеевича, выросла она в Москве при маленьком дворе ее отца и матери, где сохранились старые уклады. Царевны росли в девичьей и в тереме. Духовенства вокруг было много, а учили их мало чему. Когда Анна Иоанновна стала герцогиней Курляндской, она научилась говорить по-немецки, но и то плохо. По природе своей она была грубовата, но если и малообразованна, то обладала большим здравым смыслом и дело своего дяди, Петра Великого, она продолжала. Если почитать бумаги ее кабинет-министров, то видно, что государственными делами она занималась здраво и довольно милостиво. Худо ли, хорошо, но она продолжала дело Петра Великого — расширение границ России для свободных морей и подготовила то, что было завершено при Екатерине Второй.

При начале царствования Петра Великого Россия граничила с тремя мощными государствами — Швецией, Польшей и Турцией,— отделявшими ее от морей и вообще от Европы. Через сто лет, к началу XIX века, все три препятствия были уничтожены. Три линии сил, направленных Петром против трех соседей, были поддержаны очень последовательно его преемниками. Военная сила Швеции была уничтожена еще самим Петром. Анна Иоанновна разрушила Польшу (война за польское наследство 1734 г.— взятие Данцига Минихом) и нанесла через того же Миниха первый удар тогда еще грозной Турции (война 1735—1739 гг.— взятие Очакова, Ставучанская победа, взятие Хотина). В то время Черное море было еще «турецким озером». Степи будущей Херсонской губернии были только кочевьем Едисанской орды, будущая Таврическая губерния была мало населена запорожцами и татарами Крымского ханства. Подольская была частью Речи Посполитой, как и почти вся правобережная Украйна. Только Киев был уже снова русским.

Ханы крымские были вассалами Порты и, при неповиновении, сменялись из Константинополя. Турция начала XVIII столетия, ко-

нечно, была уже не та, что при великих военных султанах Солимане и Боязиде. Если Евгений Савойский и Ян Собесский заставили турок несколько отступить из своих владений в Европе, все же силы Турции были еще велики.

Прутский поход Петра I в 1711 году закончился неудачно: вся русская армия, с Государем во главе, чуть не попала в плен к туркам в Молдавии, и пришлось поступиться первыми достижениями Петра на Азовском море, чтобы выбраться из этого положения.

Первая треть XVIII столетия называется турками «лале деврэ», что значит «эпоха тюльпанов». Царствование султана Ахмета III (1702—1730) и начало царствования Махмуда I — время очень блестящей и утонченной культуры. В Турции тогда в моде Персия, персидский язык, искусство, литература, а во Франции в моде Турция, несколько выдуманная, конечно, но все же Турция: турецкие мотивы на фарфоре, в живописи, в музыке. Султан Ахмет строит киоски и фонтаны, разводит тюльпаны. Султан Махмуд коллекционирует фарфор и любит заниматься ювелирной работой. Весь их двор в красочных одеяниях, да вообще типы оттоманской империи эпохи «тюльпанов» можно видеть на великолепных гравюрах, изданных в Париже в 1715 году, по зарисовкам, сделанным по заказу французского посла Боннака, и в собрании миниатюр, поднесенных турецким послом Людовику XIV, которые хранятся в Париже.

Все это очень красиво, очень элегантно, очень остроумно и полно той утонченности и забавности, которые обыкновенно в моде перед большими катастрофами...

Дунайские княжества — Молдавия и Валахия под турецким протекторатом, Порта назначает господарей из Константинополя, выбирая их из греков-фанариотов, которые вообще поставляют драгоманов Порты и фактически которым поручены иностранные дела, дипломатические сношения и внешняя торговля. Кантемиры, Мурузи — православные подданные султана — становятся или скоро станут русскими волею и часто не совсем по доброй воле. Но турецкая армия все еще грозная сила, и по Черному морю ходят только турецкие корабли.

Кто знает Пушкина, знает и его перевод из воспоминаний бригадира Моро-де-Бразе, который участвовал в Прутском походе Петра I. Вот как Пушкин перевел на русский язык заметки очевидца о турецких войсках 1711 года.

«Признаюсь, из всех армий, которые мне удалось только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды, ярко освещенные солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие бесчисленных алмазов, величавое однообразие головного убора, эти легкие, но завидные кони — все это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую, о которой, несмотря на все мое желание, я могу вам дать только слабое понятие».

Вообще то, что пишет Моро о турках, довольно занимательно.

Дальше он рассказывает о своем разговоре с тремя пашами, говорящими по-немецки и по-латыни, приехавшими в русский лагерь после заключения перемирия.

«Я всегда воображал себе турков людьми необыкновенными; но мое доброе о них мнение усилилось с тех пор, как я на них насмотрелся. Они большею частью красивы, носят бороду, не столь длинную, как у капуцинов, но снизу четырехугольную, и холят ее, как мы холим лошадей (!). «Пушкин плохо прочел: во французском тексте cheveux — волосы, а не chevaux — лошади.— ***Р. К.***). Эти паши, хотя все разного цвета, имели красивейшие лица. Тот, с которым я разговаривал, признался мне, что ему было шестьдесят три года, а на взгляд нельзя было ему дать и сорока пяти».

В армии, описанной Моро-де-Бразе, был и Илиас-паша Колчак — он был еще молодым офицером. Родился он около 1675 года, а при Прутском походе ему было лет тридцать пять.

Моро-де-Бразе не называет тех трех пашей, которых он описывает, но вот что он еще о них говорит:

«Только что мы кончили наш обед. Фельдмаршал (Шереметьев) на нас наехал и попросил нас угостить трех пашей, приглашенных от Великого Визиря к Его Царскому Величеству, покамест Государь не даст ответа (на условия перемирия). Мы к ним отправились. Один из них говорил хорошо по-немецки и еще лучше по-латыни. Он достался на мою долю: друзья мои довольствовались оба одним из остальных, говорившим только по-немецки. В минуты первых приветствий слуги фельдмаршальские разбили шатер, постлали наземь ковер турецкий, на который усадили мы наших трех пашей. Они сели, сложив ноги крестом, и велели принести себе трубки, коих чубуки столь длинны, что головки их лежали на земле.

Сначала разговор наш был общий.

Наконец, паша, говоривший по-латыни, коль скоро узнал, что я француз, подозвал меня к себе и громко объявил, что французы были приятели туркам. Тогда, вступив в частные рассуждения, я спросил у него, по какой причине и на каких условиях заключили они мир. Он отвечал, что твердость наша их изумила, что они не думали найти в нас столь ужасных противников; что, судя по положению, в котором мы находились, и по отступлению, нами совершенному, они видели, что жизнь наша дорого будет им стоить, и решились, не упуская времени, принять наше предложение о перемирии, дабы нас удалить. Он объявил, что в первые три дня артиллерия наша истребила и изувечила множество из их единоземцев, что у них было 8000 убитых и 8000 раненых и что они поступили благоразумно, заключив мир на условиях, почетных для султана и выгодных для его народа».

Я привожу эту обширную цитату, потому что она объясняет Прутский трактат и почему вся русская армия, с Государем во главе, не попала в плен туркам, а смогла, правда, потерявши половину людей, уйти беспрепятственно обратно за Днестр в Подолию. Кроме того, она дает понятие о турецких генералах того времени.

После заключения перемирия эти три паши с отрядом провожали до Ясс уходящую русскую армию.

«Здесь расстались мы с тремя пашами и с их отрядом,— продолжает Моро-де-Бразе.— Дорогой имел я честь несколько раз с ними разговаривать, а однажды и обедать вместе у генерал-лейтенанта барона Остена. Они попросили рису вареного на молоке и наелись его, насыпав кучу сахара. Мы никак не могли заставить их пить венгерского вина, как ни просили; они предпочитали кофе, сваренного по их обычаю и который пили они целый день».

Почти наверное можно сказать, что паша помоложе, говоривший по-немецки, был Колчак.

Как известно, он был из Боснии, прилегающей к австрийским провинциям, и мог знать немецкий язык. Кроме того, он был при штабе великого визиря, как видно из хроники Ивана Никулчи. В этой хронике Колчак, насколько мне известно, упомянут в первый раз. В ночь 7 июля 1711 года турки переправились на правый берег Прута и услышали шум русских повозок и лошадей. Это была кавалерийская дивизия генерала Януса, бывшая в авангарде и отходящая обратно к армии Шереметьева по приказу Петра.

Вот что пишет Никулча:

«Враг, услышав шум повозок, сначала испугался и даже начал переправляться обратно через реку, но один паша заметил Великому Визирю, что шум удаляется, а не приближается. Колчак булюбаш, ренегат, серб родом из Боснии, послан на рекогносцировку. Он доложил, что русский корпус обратился в бегство. Лишь удостоверившись в этом, турки успокоились и продолжали переправу на правый берег Прута в течение всей ночи. Колчак, за это хорошее известие, стал впоследствии пашой трехбунчужным и губернатором Хотина».

Конечно, Никулча, молдаванин, стоящий на стороне русских, отзывается недоброжелательно о противнике из христианского рода, перешедшего в мусульманство, и слово «ренегат» нас шокирует. Но явление это было очень распространено в Боснии.

Турки не обращали христиан в мусульманство насильно, но старались опираться на то местное дворянство, которое принимало ислам, давая ему за это известные привилегии, нежелающих обкладывали непосильными данями, лишая их, таким образом, и имущества и власти.

Реакции христианских народов, подвластных туркам, были различны. Албанцы сравнительно быстро все перешли в ислам и потому пользовались особым расположением турок. Сербы сопротивлялись дольше; часть сербского дворянства эмигрировала в королевскую Венгрию и в Боснию, но, хотя сербское население и осталось в массе православным, все же переходы в мусульманство были нередки.

В Боснии же наблюдалось очень любопытное явление. Масса населения оставалась христианской, но отдельные члены владетельных семей принимали мусульманство, часто возвращаясь в православие перед смертью. Таким образом, происходило известное раз-

деление прав. Например, один из братьев, переходя в мусульманство, сохранял своей семье и местную власть и имущество и, сделавшись турецким беем или булюбашем, позволял своему племени жить по его обычаям и вере.

Из заметки Никулчи видно, что так и было с Колчаком.

В 1711 году он со званием булюбаша приходит в Молдавию в числе лиц штаба великого визиря Мохамед Бестанджи-паши. Отличается при переправе через Прут и, вероятно, присутствует при переговорах о перемирии с Петром Великим, как упомянуто у Моро-де-Бразе.

Остается в Молдавии при Абды-паше, который вскоре назначается сераскиром анатолийским и румелийским. Затем Абды-паше, человеку, пользующемуся большим почетом (возможно, что Абды-паша и был тот паша 63-х лет, говоривший по-латыни и по-немецки, о котором рассказывает Моро), поручается укрепление Хотинской крепости. Крепость эта по своему положению приобретает в это время большое значение. Расширение ее и постройка новых укреплений по системе Вобана и по планам французских военных инженеров закончены в 1713 году, а в 1717 году начальник ее, Абды-паша, умирает, и Илиас-паша Колчак назначается на его место.

Колчак будет пашой Хотинским двадцать два года, сначала в должности «сол кол агассы», что значит начальник левой руки, т. е. левого крыла бессарабской армии, а затем начальником Хотинской крепости и генерал-губернатором хотинской рапи.

За свое более чем двадцатилетнее пребывание в Хотине Колчак занят военно-дипломатической работой, весьма любопытной и дающей живые примеры того, как переживалась и проводилась в жизнь турецкая политика по отношению к России в первой половине XVIII столетия и также политика Франции в отношении той же России через ее союзников Швецию, Польшу и Турцию.

В период времени, идущий от смерти Петра Великого (1725 г.) до воцарения Елисаветы Петровны (1741 г.), т. е. за 16 лет, на российском престоле сменяются две Государыни и два Государя-мальчика. Сменяются также, часто в драматической обстановке, приближенные и доверенные люди монархов — верховники и министры. Меньшиков умирает в ссылке в Березове, гибнет семья Долгоруких. Миних проживет 20 лет в Пелыме, заменив Бирона, которого он же в Пелым сослал...

Но внезапные и трагические перемены внутренней истории России как будто не отражаются на ее иностранной политике. Последователи Петра Великого идут по путям, указанным великим Императором, к свободным морям и на Запад. Цели Петра Великого, отвечающие геополитическим необходимостям России, будут достигнуты при Екатерине Великой. Первое препятствие — Швеция — фактически разрушено еще Петром после Полтавы; шведская военная мощь настолько сломлена, что ни Карл XII, завязший в Бендерах, ни его сестра Ульрика Элеонора и ее правительство восстановить силы государства не могут и Швеция погружается в свои внутренние

затруднения. Второе препятствие — Польша — ослабляется своими внутренними противоречиями, вытекающими из ее своеобразного и анархического правительственного строя. Влияние России в Польше совершается через королей саксонцев, Августа II и Августа III.

Петр Великий пытается устранить и третье препятствие — Турцию, но ему приходится отступить после неудачного Прутского похода.

Анна Иоанновна (1730—1740) снова вернется к вопросам, которые Петр Великий не успел разрешить окончательно. Это вызовет войну с Турцией, начавшуюся в 1735 году и закончившуюся в 1739-м.

Последовательные действия России, ведущие к ослаблению Швеции, Польши и Турции, вызывают большую тревогу во Франции, так как все эти три государства входят в систему союзов Франции против Австрийского дома; естественно, что в этот период Россия, со своей стороны, действует в союзе с Австрией и вступает в войну с Турцией в союзе с имперцами, вековыми врагами турок.

Польша в это время принуждена остаться нейтральной. В Варшаве царствует Август III, поддерживаемый Австрией и Россией, и русские войска или стоят в Польше, или свободно проходят через нее.

Попытка Франции в пользу Станислава Лещинского не удалась и кончилась занятием Данцига Минихом еще в 1734 году и бегством Станислава Лещинского из Польши. Турция, как и Франция, поддерживала Станислава Лещинского и его сторонников.

Находясь в Хотине с 1713 года, Колчак-паша является исполнителем на месте польской политики Стамбула и поддерживает постоянные сношения с великокоронным гетманом Иосифом Потоцким, который, в частности, владеет пограничными с Бессарабией областями Подолией и Галицией. Сохранилась и часть переписки между ними.

Вот пример стиля Колчак-паши из его письма к Потоцкому от 2 декабря 1736 года из Хотина. В этом письме характеризуется кратко и турецкая политика того времени по отношению к Польше и России. Письмо написано, когда война уже началась.

«Посылаю чрезвычайного моего посланника Мустафу-агу, дабы сперва узнать о вашем добром здравии, а затем передать пожелания вам впредь всякого благополучия. Также объявляю вашему сиятельству, как то ведомо всему свету и всей самой Речи Посполитой нам доброжелательной, что Пресветлая Порта Оттоманская от давних времен всегда и весьма в мыслях своих сохраняла и сохраняет, дабы вольность польская в целости быть могла. И если Пресветная Порта Оттоманская с Государством Российским когда-то вначале договор заключили, то это, дабы доброжелательная нам Речь Посполитая в своей вольности пребывала и от войск (чужих — *Р. К.*) в границах своих дабы всегда свободна была, пакты бы заключала и утверждала, а наипаче, в нынешних конъюнктурах Пресветная Порта Оттоманская (желала бы) иметь (по отношению к себе — *Р. К.*) постоянную и доброжелательную Речь Посполитую Польскую...»

Дальше Колчак пишет, что ему известно, что, вопреки «пактам», русские войска зимуют в Польше, и что, если ему придется атаковать русских на польской территории, он надеется, что Польша не увидит в этом враждебного акта.

* * *

В 1713 году по приказу султана Ахмета III турки сконцентрировали все свои силы в Бессарабии. Все ждали, что Лещинский, Карл XII и Орлик войдут в Польшу с 300-тысячной турецкой армией. Воевода киевский Иосиф Потоцкий, впоследствии Гетман Великокоронный, выступил бы тогда со всей южной Польшей, Подолией и Галицией за Станислава Лещинского. Но Петр Великий приступил уже к исполнению условий Прутского договора — уничтожить укрепления Азова и флот Черного моря — и мир был подтвержден.

Все же турки окончательно захватили Хотинскую крепость и окружили ее области между Днестром и Прутом и начали строить, как было указано выше, обширное укрепление в Хотине.

Таким образом, граница по Днестру держалась уже двумя крепостями — Хотином и Бендерами, а Буковина и Бессарабия были превращены в турецкую пограничную военную окраину, которую турки начали заселять татарами из Литвы — липканами.

Молдавский хронист Авксентий пишет об этом следующее: «Каждый день мы видим многих людей, рожденных от знатных родителей, воспитанных в роскоши и неге, которые ныне попадают в рабство, заставляющее их переносить все горести и страдания нищеты. Та же участь постигла и многие свободные города страны, попавшие во власть чужих; подавленные неволею, они испытали все горести и все тяжести, какие захотели на них возложить их новые господа». Из рассказа хрониста видно, что Молдавия «более чем какая-либо другая страна была подвержена этим страданиям и этим несчастьям».— «Самая страшная рана,— продолжает хронист,— отнятие Хотина — должна была завершить все бедствия, жертвой которых она была за последнее время. Как рана, которую не лечат, ослабляет все тело и приносит в конце смерть, так потеря Хотина для Молдавии — незарубцованная рана, ведущая к большой слабости и к печальному упадку, как покажет будущее».

Все же сам Хотин и округа его при турках как будто не бедствовали. Сохранилось описание Хотина, написанное неким турецким чиновником и поэтом того времени, которого цитирует Кочубинский и сочинение которого было переведено на немецкий язык и опубликовано в сборниках Венского университета.

Богатый и изящный Хотин стал даже центром турецкой культуры на границе Польши. Турецкий автор восторженно описывает сады, бани, казармы, янычар, дворец командующего, мечети и ворота с надписями в стихах, которые он же сочинял, «сарай» Колчака-паши, кладбища, «где спит много храбрых мужей». Он говорит и о ценной библиотеке, и о дешевизне яблок, и о малине, которую вывозили в Константинополь... Все это, конечно, особенно было дорого

турецкому поэту, когда он писал о Хотине уже после того, как Хотин был взят Минихом, разграблен и разорен русскими в 1739 году.

Хотя русские источники об этом не упоминают, но турки говорят, что после сдачи города в нем была резня. Когда в 1714 году русские, воюя со Швецией, взяли Вильманстранд, то резня, вероятно, была, и турецкий посол в Петербурге заметил своему французскому коллеге, что «резать жителей, по взятии города — «русский обычай» и что так они поступили и в Хотине два года раньше. Но ни у Манштейна, ни у Марковича, свидетелей сдачи Хотина, об этом нигде не говорится.

* * *

В 1730 году дворцовый переворот низложил султана Ахмета III и возвел на престол Махмуда I. В 1732 году Колчак получает чин мир-и-мирана и назначается санджак-беем Янины в Албании, но остается губернатором хотинским.

В 1735 году началась война Турции с Австрией и Россией. Ее прямая причина — усиливающееся влияние России в Персии, на Кавказе и, в частности, в Кабарде. Турки ведут наступательную войну в Сербии и Венгрии, а русские силы под начальством Миниха и Ласси входят в Крым и разоряют Бахчисарай. В октябре 1736 года Колчак и господарь Молдавский вызываются в Константинополь для разработки планов следующей кампании, и Колчак получает звание визиря. Кроме посылки незначительных отрядов татар и арнаутов в экспедиции на левый берег Днестра, турки держатся только оборонительно на русской границе, нанося главные удары австрийцам.

В 1737 году Миних идет на Очаков и берет его приступом. Сераскир Очакова Ягия-паша взят в плен с остатком гарнизона. Великий визирь впадает в немилость. Колчак назначается временно главнокомандующим сераскиром турецкой армии на русском фронте до прибытия Вели-паши, назначенного на эту должность.

В декабре 1737 года Колчак принимает в Хотине Нащокина, посланного для переговоров, но Нащокина он держал и не пустил в Константинополь.

Только в 1739 году Миних идет на Хотин. Он переходит Днестр выше Хотина, занимает Черновцы, проходит со стычками с неприятелем Перекопские узины и встречает турецкую армию у деревни Ставучаны.

* * *

Ставучанское сражение произошло 17 августа 1739 года. Оно интересно тем, что предоставляет нам данные для оценки того уровня, на котором находилась русская армия и военное искусство ее командующих в период времени после смерти Петра Великого и до елизаветинских и екатерининских полководцев. Уроки и опыт петровских войск не были забыты, и русские войска времени Императрицы Анны Иоанновны были уже настоящими европейскими

войсками, владеющими современной военной техникой, в частности, артиллерийской. В известной степени Ставучанское сражение представляет из себя очень хорошо скомпонованную и элегантно начерченную батальную картину XVIII века.

Манштейн, с некоторым европейским презрением относящийся к «азиатчине», пишет, что этот бой был победой военной науки и дисциплины над варварством. Но это не совсем так. Ставучаны — это, конечно, победа военной техники своего времени, которую имела одна сторона — в данном случае русская — и которой еще не достигла другая сторона — турецкая армия, хотя обе стороны проявили примеры личного мужества и жертвенности. Короче говоря, это была победа артиллерии, и именно полевой артиллерии, над пехотой и конницей, слабо поддержанными и прикрытыми артиллерийским огнем.

Турецкая конница совсем не была беспорядочным сбродом. В Венгрии, Сербии и Трансильвании, действуя в ту же пору против австрийских войск, она одержала ряд блестящих побед: Ниш, Оршова, Белград и, наконец, при Гродске в июле 1739 года. Потери австрийцев были так велики и казна так истощена войной, что Вена принуждена была подписать мир с Турцией на условиях настоящей капитуляции, и это несмотря на то, что имперские генералы были учениками и сотрудниками знаменитого принца Евгения.

Русская армия под командованием Миниха направилась, как было сказано выше, к Хотину из Черновца 6 августа и прошла через так называемые Перекопские узины между Днестром и Прутом в три дня. Турки намеренно не препятствовали проходу русских войск через легко обороняемое ущелье, т. к. по плану главнокомандующего, Вели-паши, турки намеревались вовлечь русскую армию в западню и, окружив ее и отрезав от путей снабжения, повторить то, что ими было так удачно проведено в 1711 году с армией Петра Великого при Пруте.

15 августа русские войска подошли к речке Шуланец и развернулись на небольших высотах по ее правому берегу. Современные гравюры дают очень ясное представление об окружающей местности. У подножия невысокого плоскогорья, на котором выстроились русские, течет речка с прудами и болотцами. Эта речка составляла как бы первый ров, прикрывающий Турецкие позиции на противоположном берегу. На левом фланге находились последние отроги Хотинских высот, покрытые густым лесом, и деревня Недобаевцы. Справа глубокие овраги и крутой холм. В отдалении, на северо-восток, деревня Ставучаны. Непосредственно на восток, справа, деревня Долины.

Турецкий лагерь и полевые укрепления были на возвышении и преграждали долину, по которой шла дорога на Хотин. Этот лагерь был расположен так, что с правого берега Шуланца русская артиллерия его не достигала. Турки поставили свою пехоту и артиллерию в центре, а по флангам конницу, чтобы взять в клещи русских в случае их переправы через реку.

На опушке леса, прикрывающего Хотинские высоты, на турецком правом фланге стояли катаны (тяжелая конница) Колчак-паши, у подножия холма, на левом фланге, сипаги (легкая конница) молодого Генж-Али-паши. В тыл русским стягивалась полурегулярная татарская конница (ногайцы) под командованием аккерманского султана Ислам-Гирея; она должна была отрезать русским отступление. Ружейный огонь русских арьергардов держал ее на некотором расстоянии.

Окруженная таким образом, тревожимая и днем и ночью противником, русская армия простояла так двое суток и начала уже чувствовать недостаток в сене и дворах.

17 августа утром Миних приказал атаковать. Русское командование, давая время войскам отдохнуть два дня до боя, имело одновременно возможность изучить расположение неприятеля и заметить, что слабое место его позиции было на левом фланге, между главным лагерем главнокомандующего Вели-паши и легкой кавалерией Генж-Али-паши. По-видимому, турки не сочли нужным особенно укреплять это пространство, считая, что оно достаточно заграждено болотистыми берегами Шуланца. К тому же Вели-паша растянул свой фронт почти что на 18 верст.

Соотношение же войск было следующее: на позиции Недобаевцы — Ставучаны Вели-паша стянул 70—80 тысяч человек, включая хотинский гарнизон почти целиком. С русской стороны приняло участие в сражении 33 823 человека регулярных войск и 8 тысяч нерегулярных. Турки располагали 70-ю орудиями, русские же имели 250 полковых и полевых орудий.

Миних, решивши атаковать неприятельский лагерь через его левый фланг, употребил сначала «воинскую стратагему» и сделал вид, что русские войска «якобы неприятельский ретрашамент атаковать хотели». Чтобы скрыть от неприятеля направление главного удара, Миних двинул со своего центра, через Шуланец, отряд подполковника Густава Бирона — 9 тысяч человек при 2-х полковых орудиях и бригаду полевой артиллерии. Турки, приняв это движение за фронтовое наступление всей русской армии, начали стягивать свои силы перед своим лагерем и укреплять его новыми окопами. Отряд Густава Бирона медленно продвигался по направлению к турецкому лагерю под прикрытием полевой артиллерии, перешедшей с ним Шуланец. Тот же Шуланец, изгибающийся слева от него к северо-западу, прикрывал его от возможной атаки конницы Колчака-паши.

В час дня Густав Бирон начал отступать и переправляться обратно за реку. Вели-паша решил, что Миних убедился в невозможности атаки и что победа уже намечается для турок. Колчак-паша дал об этом знать в Хотин. Но, как пишет Галем в своей книге «Жизнь графа Миниха», после этой радостной вести Колчаку самому скоро пришлось принести в Хотин другую — «весьма фатальную».

Одновременно с отступлением Густава Бирона правое каре русской армии под командою Карла Бирона двинулось на восток по направлению к деревне Долины. Артиллерия развернулась на

высоте ближе к Долинам для поддержки наступавших. Одновременно саперные части исполнили блестящее действие: фашинами, шанц-коробами, досками, ветками они смогли укрепить переход через болотца у реки и навести 27 мостов через реку. Вся армия начала быстро переправляться и развертываться на левом берегу Шуленца: авангард Карла Бирона, гвардия Густава Бирона, «кордебаталия» А. И. Румянцева, левое каре Левендаля.

Быстро перетащив артиллерию, русские начали покрывать своим огнем турецкую пехоту и самый лагерь главнокомандующего, сбивая одновременно батареи, которые турки пытались поставить для защиты своего левого фланга. Несмотря на непрерывные нападения турок, русская пехота прорвалась к лагерю Вели-паши. В 5 часов дня 13 тысяч пеших янычаров двумя колоннами пошли в контратаку.

В записках Семена Порошина, гувернера Павла I, упомянуто, что 17 декабря 1764 года у Павла Петровича, тогда еще Наследника, обедал дежурный майор Любим Артемьевич Челищев, участник Ставучанского боя, случившегося 25 лет до того. Порошин пишет: «Еще сказывал тут Любим Артемьевич о порядке, каким образом они маршировали во время турецких оных походов и как атакуют турки. Янычары их, как известно, во время боя весьма легко одеты: туфли на босу ногу и в одних комзольцах, наступают бегом колонною, которая спереди фруту малова, а что далее взад, то шире, имеет фигуру трапеции».

Все современники пишут, что выдержать первый натиск турок очень трудно и что их атаки холодным оружием были страшны: янычары бросались на противника с дикими криками и в состоянии исступления, доходящего до безумия. Но если такую атаку удавалось остановить, нанося атакующим сильные потери, то деморализация наступала очень быстро и уцелевших было очень трудно и даже невозможно снова собрать и повести в новую атаку.

Так оно и случилось при Ставучанах с пешими янычарами: русский артиллерийский огонь очень быстро выдвинутых на новые позиции батарей косил их ряды. Замешательство начало превращаться в отступление.

Тогда Колчак-паша двинул свою тяжелую конницу в атаку на арьергард Левендаля и на левый фланг «кордебаталии» А. И. Румянцева. Манштейн и граф Эрнст Миних (сын фельдмаршала) описали и эту последнюю фазу боя. Колчак повел сам 10 000 отборных всадников «серденгечетов». Барон Тотт говорит, что так называли турки волонтеров, намеренных или победить, или умереть. (Скептический барон, однако, добавляет, что ни того, ни другого никогда с ними не случается...)

Победить турецкой коннице под Ставучанами не пришлось, но погибло людей довольно много. Скача широким фронтом на русских, янычары наткнулись на особые рогатки против конной атаки, которыми успели оборониться русские. Надо было шесть солдат, чтобы переносить каждую рогатку. Они требовали колоссального обоза, чтобы следовать за армией во время похода,

и Миних вез с собой множество этих рогаток на многочисленных подводах. Но именно эти рогатки и оказали губительное препятствие для турецкой конницы. Натыкаясь на них, лошади падали, всадники, которым удалось сдержать коня, вносили расстройство в ряды идущих за ними товарищей. Под ружейным огнем, под ядрами русских пушек, теряя людей, турки не смогли врезаться в русские ряды, и уже было видно, что на высотах, защищающих Хотин, отступление главных пехотных сил превращалось в бегство.

Вели-паша, бросив свой лагерь, отступал тоже, но не на Хотин, а влево к Днестру и Бендерам. За ним последовали и оставшиеся янычары, а также и те войска, которые были выделены из хотинского гарнизона и участвовали в сражении.

Колчак не смог собрать своих янычар и с маленьким числом всадников, его не бросивших, поскакал в Хотин. Было семь часов вечера, когда он оставил поле битвы, и была уже ночь, когда он доскакал до крепости, в которой командовал в его отсутствие его сын Мехмет-Бей и где оставалось только 700 человек гарнизона, вместо 10 000, которыми он располагал до сражения.

Извещая о победе, Миних писал Государыне: «Всемогущий Господь, который милостию Своею нам предводителем был, всевышнейшею Своею десницею защитил, что мы чрез неприятельский беспрерывный огонь и в такой сильной баталии убитых и раненых менее 100 человек имеем; все рядовые полученной виктории до полуночи радовались и кричали: «Виват Великая Государыня!», и означенная виктория дает нам надежду к великому сукцессу, понеже армия совсем в добром состоянии и имеет чрезвычайный кураж».

Дорога на Хотин была открыта для русских.

Миних обложил крепость войсками и потребовал немедленной сдачи. Для переговоров были посланы князь Дмитрий Кантемир и В. П. Капнист, полковник Миргородский (впоследствии бригадир, погибший геройски при Гросс-Егерсдорфе в Семилетнюю войну, командуя Слободскими полками).

«В два часа ночи паша и гарнизон сдались. Командир крепости и ага янычаров передал маршалу ключи города. Часовые заняли выходы, и тогда паша, с большой свитой, пришел навстречу маршалу, находившемуся в одном из домов пригорода, и передал ему свою саблю. 31-го турецкий гарнизон, состоящий из 763 человек, вышел из крепости и сдал оружие и знамена» («Мемуары» Манштейна).

«На другой день,— пишет Эрнст Миних,— по завоевании города, утром рано армия, выступая из лагеря, расположилась в строй, и по отпетии благодарственного молебствия выпалено из 101 пушки с Хотинской крепости, при троекратном беглом огне от всей армии. Потом отец мой в провожании паши, янычарского аги и других знатнейших турецких чиновников поехал, все верхами, от одного крыла в другое. При сем случае означенный паша отозвался, что хотя турецкая армия обще с татарами и составляла с лишком сто тысяч человек, однако признаться ему надобно, что невозможно бы-

ло противостоять такому войску, какое он сейчас видит, где столь хорошая дисциплина и послушание введены, присовокупя к тому, что «огонь российской армии несравненно превосходнее турецкого».

В оный же день сей паша, Колчак, обще с некоторыми другими турецкими пленниками, угощены от отца моего обеденным столом...»

Манштейн же пишет следующее: «Колчак-паша говорил, что все несчастья, которые они испытали за эту кампанию, произошли из-за плохих мер, принятых их начальником сераскиром Вели-пашой. Он ему ставил в вину то, что он остался слишком долго под Бендерами с большой частью армии и что он не захотел последовать его совету препятствовать русским переход через Перекопские узины. Вели-паша захотел дать им пройти, в убеждении, что он уничтожит их армию без боя, отнявши у них возможность снабжения провиантом и только постоянно их беспокоя. Этот план был бы не плох, если бы у него под начальством были другие войска — не турки и не татары,— и противником не такой генерал, как граф Миних. Паша еще прибавил, что он был удивлен скоростью русского огня, особенно артиллерийского, который всюду наносил очень большие потери их войскам».

Эти детали любопытны. Они объясняют преимущества русской армии того времени над турецкой: артиллерия, дисциплина, правильная концепция Миниха.

Несколько пренебрежительные слова Колчака по отношению к «туркам и татарам» выдают в нем босняка (хотя Вели-паша был тоже балканец из Албании). Балканцы в XVII и XVIII столетиях считали себя лучшими турками: они считали турок из Малой Азии ниже себя и называли их «туркачами».

Комплимент по адресу Миниха — очень в стиле XVIII века, как и обед, данный Минихом пленным турецким офицерам, на котором «подносили им за здравие Императрицы, которое запивали они, в противность заповедания от Магомета, венгерским вином из больших бокалов». Вероятно, Миних вспомнил Петра Великого после Полтавы и его «заздравный кубок» с пленными шведскими офицерами...

* * *

Большинство жителей Хотина успело убежать с имуществом в соседнюю Польшу, в воеводство старого приятеля Колчака гетмана Потоцкого.

Семья Колчака, его жены и наложницы и малолетний сын Селим-Бей, которому было 11 лет, получила разрешение уехать в Турцию, по настоянию самого Колчака. Он объяснил это тем, что отъезд его семьи в Турцию послужит ему в защите перед султаном, когда ему придется дать отчет за сдачу крепости, которую защищать он не мог, не имея в ней гарнизона.

Старший сын Колчака, Мехмет-Бей, был увезен в Россию. Ему было 35, и он был в чине не ниже майора. В конце реляции Миниха

о взятии Хотина имеется «Реестр тем знатным персонам, которые при взятии Хотина военными пленными сдались»:

1. Командующий Колчак, паша трехбунчужный.

II. Его сын, который в отсутствие отца каймаканом служил.

III. Эмир мулла или духовный.

IV. Янычарский ага Солиман.

V. Комендант Ахмат ага ерлы Азаза...»

Потом топши баша — командующий артиллерией, тефтердар ефенди или обер-криг-комиссар, янычарский судья, обер-вагенмейстер, городской судья, плац-майор, 6 янычарских майоров, 5 адъютантов, 7 офицеров из арсенала и 2 инженерных офицера. Привожу этот список, потому что он дает представление об организации командного состава турецкой крепости того времени.

* * *

После сдачи комендантом города Миних назначил генерал-майора Хрущева, а генералу Густаву Бирону было приказано возвращаться на Украину с тремя батальонами гвардии и несколькими полками. С ними было уведено 2121 человек мужчин, женщин и детей, захваченных в Хотине. Младший сын Колчака-паши Селим-Бей, увезенный в Турцию, был впоследствии офицером у султана. Он умер в 1808 году в чине «хасса силахсар» и похоронен на кладбище в Хайдар-Паша в Стамбуле.

Колчак-паша ехал в карете Бирона через Каменец-Подольск, Киев и Петербург. Маркович, «подкарбий малороссийский», отметил это в своих записках так: «26 августа 1739 года. Скоро дивизия наша рушила в путь. Пленники посередине, паша ехал в генеральской карете: а при генерале и мы».

По странному совпадению, через 180 лет, в 1919 году, из Каменец-Подольска, через Хотин, Ставучаны, Черновцы был вывезен из России его прямой потомок, 9-летний мальчик, сын Верховного Правителя, пишущий эти строки.

Отец был тогда в Сибири, мать моя смогла выйти из Севастополя на английском военном корабле и поселилась в Бухаресте. Во времена большевиков и немецкой оккупации она скрывалась с фальшивым паспортом у разных знакомых и в семьях нескольких матросов, которые помогли жене своего бывшего Командующего флотом. Моя мать отправила меня в 1918 году к своим друзьям детства, польским дамам, в Каменец-Подольск.

Из Бухареста и при содействии начальника английской военной миссии была организована маленькая экспедиция в Хотин. Молодой человек, сын адмирала Федосьева, переправился через Днестр до Каменца, который был в это время во власти «зеленых», и вывез меня на извозчике до Днестра — это было верст двадцать...

Я очень помню переправу через Днестр на маленькой лодке. Солнце только что зашло. Днестр был стального цвета, и его быстрое течение относило лодку влево, где чернели остатки взорванного моста железной дороги. На другом берегу, справа на скале, стояли

развалины замка, генуэзская башня и турецкие стены Хотина, те самые, что мой далекий пращур сдал Миниху в 1739 году...

* * *

После взятия Хотина с армией пошел на Яссы и перешел тот самый Прут, который не принес удачи войскам Петра Великого. Эрнст Миних по этому поводу замечает следующее: «Когда отец мой через сию проклятую реку без всяких затруднений переправился, то сие подало ему повод написать в посланной ко Двору реляции, что он поносный Прут сделал опять честным...»

Победа Миниха пришла все же слишком поздно. В это же самое время разгромленные турками австрийцы подписали прелиминарии к Белградскому миру. Миниха в Яссах встретил митрополит и местные оставшиеся власти. Митрополит произнес проповедь — было замечено, что она была на странный текст из Св. Писания: «Господь да благословит вхождение и исхождение свое...»

Приказ из Петербурга, где решили прекратить войну, повелевал войскам возвращаться в Россию. Это привело Миниха в бешенство, и он послал резкое письмо австрийскому канцлеру кн. Лобковичу. С Минихом должен был покинуть Молдавию и каймакан кн. Кантакузин; так же, как за Петром, в Россию ушел кн. Дмитрий Кантемир.

Через два года будет переворот царевны Елисаветы Петровны, свергнувший Правительницу Анну Леопольдовну и ее сына маленького Императора Иоанна Антоновича. Погибнет в Шлиссельбурге и в Холмогорах вся Брауншвейгская династия. Фельдмаршал Миних будет приговорен к четвертованию, но по милости Императрицы сослан в Пелым, где проживает все ее царствование — 20 лет! Генералы Бироны пострадают вместе со своим братом — Регентом. «Мемуары» гр. Эрнста Миниха-сына, из которых я привел несколько цитат, написаны им в Вологде, за время его ссылки, в «назидание детям...»

По странному стечению обстоятельств, полтораста лет после Хотина, в XX столетии, Колчаки и Минихи породнились: одна из прапрабабушек жены адмирала и моей матери была Елеонора Доротея Миних, племянница фельдмаршала.

* * *

К взятым в плен турецким офицерам русские отнеслись очень благородно. Колчак-паша, как было сказано выше, ехал в Петербург в общей карете с генералом Бироном.

В бумагах кабинет-министров Императрицы Анны Иоанновны (в то время кабинет-министрами были Остерман, кн. Черкасский и Волынский), опубликованных в Сборниках Императорского Русского Исторического Общества, и в архивах Сената имеются два указа, касающихся Колчака. Вот выдержка из одного из них, датированного 25-м декабря 1739 года.

«Из кабинета Ее Императорского Величества в главную поли-

цейскую канцелярию. По Ее Императорскому Величеству указу велено взятых в Хотине в плен турского сераскира Колчак-пашу и с ним несколько турок офицеров привезти сюда, которые уже в пути и будут сюда вскоре, и оным для житья потребно отвесть от полиции квартиру на С.-Петербургском острове, подле той, где прежние турки поставлены. Очаковский сераскир Ягъя-паша с прочими, а именно двор лейб-гвардии Измайловского полка майора Шипова, а буде б одного того двора было мало, то после его и другой двор или несколько покоев для них отвесть; а при том сераскире турок офицеров, да служителей будет до 70 человек...»

Прочие распоряжения даются С.-Петербургскому оберкоменданту Игнатьеву.

«Начало 1740 года было примечательно великолепнейшим торжеством, каковового никогда в России не бывало, по поводу заключенного между империей и турками мира»,— пишет гр. Эрнст Миних.

Императрица Анна Иоанновна любила пышность и приказала отпраздновать заключение Белградского мира большими торжествами. Миних и все участники войны были щедро вознаграждены.

«На другой день (15 февраля — *Р. К.*) пополудни,— продолжает гр. Эрнст Миних,— было опять собрание при дворе. Как скоро Императрица из своих внутренних покоев вытти изволила, жаловала она собственноручно золотые медали, на случай заключенного мира чеканенные; самые большие медали содержали весом 50, а меньшие 30 червонных. Все, как присутствующие, так и отсутствующие знатные особы, считая от генерал-фельдмаршала до генерал-майора, и чужестранные министры получили по одной из упомянутых медалей.

После сего Императрица, подошед к окну, обращенному к площади перед дворцом, приказала бросить собравшемуся многочисленному народу золотые и серебряные жетоны; а потом изволила смотреть на предивное и необычное в России зрелище, а именно: что народ по данному сигналу бросился на выставленного на площади жареного быка и другие съестные припасы, равно как и на вино и водку, которые фонтаном били в нарочно сделанные большие бассейны.

К вечеру был бал, на котором содержавшийся по днесь в плену сераскир Ягия-паша, купно с пашой Хотинским имели честь быть представлены Императрице; причем первый приносил монархине за все отпущенные высокие милости, с текущими из глаз слезами, благодарение краткою на турецком языке, но преисправно сложенною речью.

Императрица явила к сим двум мужам знаки своих щедрот; а именно — сераскиру пожаловала соболью шубу ценою в несколько тысяч рублей, а паше Хотинскому драгоценную шубу из куниц в подарок».

Волошский хронист Дапонтес приводит и эту речь «преисправно сложенную». Он пишет, что турецкие генералы благодарили Им-

ператрицу за то, что со дня плена они пользовались императорским благоволением. Они свободно были допущены ко двору, и солдаты, которые их охраняли, всегда относились к ним с почетом. Они заверяли перед Богом, что никогда не перестанут восхвалять имя Императрицы и молиться за счастье и благополучие Ее Величества. Они кончили краткой молитвой, в которой призывали Небесное Благословение на обе империи и на Ее Величество Царицу.

На аудиенции Императрица даровала свободу обоим. Это произошло в феврале 1740 года; но в августе паши все еще были в Петербурге.

Что ж случилось? Очень любопытные детали дают депеши французского поверенного в делах маркиза Ла Шетарди своему министру Амелоту в Париж и маркизу Вилленеву, послу Франции в Константинополе.

27 августа 1740 года Шетарди пишет в Париж: «Здешний Двор все еще глубоко огорчен тем, что Порта использовала русских гребцами на галерах и, думая принудить турок к лучшему исполнению условий мира, хочет применить репрессии: очаковский сераскир, паша христианский и другие важные военнопленные, которые еще здесь, не скоро получат свободу уехать».

Обмен военнопленными происходил медленно. Анна Иоанновна справедливо возмущалась, что турки не торопились возвращать русских, взятых ими в плен, и велела приостановить отправку пленных турок.

Вилленев же пишет, что султан в большом затруднении, так как часть пленных была продана в рабство во время войны, и он не может их освободить иначе, как выкупая их от частных лиц из собственной казны.

Из этого видно, что частная собственность в Турции уважалась и сам султан был бессилен в подобных случаях, а цены на невольников, конечно, возросли после заключения мира.

Все же паши уехали в Киев. Сопровождал их генерал Н. И. Румянцев, брат посла, который несколько раньше выехал в Константинополь с огромной свитой и обозом. Навстречу же ехал, тоже с грандиозным обозом, турецкий посол Эмин Мехмет-паша. Эмин-паша встретил Н. И. Румянцева и сераскира в Мценске в ноябре 1740 г.

В Русском Биографическом словаре (статья «Румянцев Н. И.») сказано следующее: «Кабинет еще раньше удивлялся, что Румянцев ничего не пишет о поведении и склонности посла, об изъяснениях его о делах и состояниях здешних, о том, какие он получает указы из Порты, о чем он пишет от себя, о чем говорил с встретившимся в Мценске сераскиром и Колчак-пашою, ехавшими из Петербурга».

Как это ни покажется странным, но можно восстановить то, о чем посол говорил с Колчаком. В эти времена издавался в Амстердаме, по-французски, ежемесячник «Исторический Меркурий». Ре-

дакция получала каждый месяц сообщения своих корреспондентов из всех столиц Европы, а также из Константинополя. Приходится признать, что журнализм был уже хорошо поставлен в первой половине XVIII века. Сводки событий издавались лишь с двухмесячным опозданием! Но тогда и никто не торопился...

Так, в мае 1740 г. из Константинополя пишут: «Здесь ходит слух, что Али-паша, который командовал частью войск в Ставучанском бою около Хотина и который был взят в плен, умерщвлен по дороге при возвращении его сюда из России, но что он дорого продал свою жизнь, убивши своей рукой восемь человек из тех, которые должны были его умертвить».

В июне 1740 года дано другое сообщение:

«Бывший Хотинский паша, взятый в плен русскими и увезенный в Петербург, был обезглавлен по приказу султана по возвращении паши из Петербурга в Константинополь и его голова послана в эту Оттоманскую столицу, где она выставлена на пике».

Но известие о смерти Колчака было ложно, так как в июне он был еще в России, как видно это из депеш Шетарди; турецкий посол переправился через Буг лишь 28 октября и встретился с Колчаком в Мценске лишь в ноябре.

Товарищ же Колчака по плену, Ягия-паша, сераскир Очаковский, вернулся в Константинополь с Румянцевым-послом лишь в марте 1741 года. Гаммер в своей истории Оттоманской империи упоминает о возвращении сераскира Очаковского и ничего не пишет о Колчаке, потому что тот не вернулся, а решил он не возвращаться, потому что турецкий посол при встрече рассказал ему, что случилось с Али-пашой и что его ожидает, если он вступит на территорию Оттоманской империи.

Султан Махмуд, относившийся к Элиасу-паше очень благосклонно, не простил бы ему сдачу Хотина: друзья при дворе у него были, и среди них, по-видимому, и Эмин-паша, которого он встретил в Мценске. О дальнейшем можно узнать и догадываться из «Хроники Дакийской» упомянутого выше Константина Дапонтеса.

Этот Дапонтес был при дворе господаря Константина Маврикордато в Бухаресте. Ему было поручено господарем вести записи с начала русско-турецкой войны 1734 года.

Дапонтес, фанариот, лояльный по отношению к султану, много раз упоминает о Колчак-паше: в частности, он рассказывает о похвальном письме, полученном Колчаком за несколько дней до Ставучанского боя из Константинополя от Каймакана-паши, заместителя великого визиря, который тогда командовал в Сербии против имперцев. Это письмо, выражающее благоволение султана, интересно тем, что оно передает заботу султана о гражданском населении Молдавии и, в частности, его строгий приказ смотреть за тем, чтобы население как можно меньше страдало от военных действий...

Но сдача Хотина имела слишком большое значение для Турции, и, по-видимому, султан и великий визирь были в великом гневе, хотя очевидно, что защищать Хотин против всей русской армии,

имея всего лишь 700 человек гарнизона, было невозможно. Предупрежденный, несомненно, турецким послом, что, вернувшись в Турцию, ему своей головы не спасти, Колчак-паша не вступил больше на турецкую территорию и, по-видимому, из Киева отправился в Галицию, в Станиславов, владения и крепость гетмана Иосифа Потоцкого. Хотя документальных данных я еще для этого пока не нашел, но вот как я восстанавливаю историческую вероятность дальнейшего.

Константин Дапонтес рассказывает, что еще до своего плена Колчак успел вывезти и государственную, и личную казну в Станиславов, которого Потоцкий был воеводою. Князь Дмитрий Кантемир, который ушел из Молдавии с Петром Великим, снарядил целую экспедицию, чтобы захватить Станиславов и казну. Для Дапонтеса Кантемир, которого он величает «Дмитрашкою», разбойник и изменник. А его набег на Станиславов — город нейтральный — просто попытка грабежа. Но гарнизон Станиславова не сдался, и Кантемир удалился с угрозами и проклятиями, разграбив Городенку.

Совершенно естественно, что из Киева освобожденный Колчак-паша отправился за помощью к старому другу и союзнику Потоцкому, тем более, что его казна охранялась людьми Потоцкого. Потоцкий же, будучи гетманом при короле Августе III, все же оставался верен Станиславу Лещинскому. Его постоянной мыслью было поднять конфедерацию для восстановления Лещинского при помощи Турции и Франции. Ставучанская победа Миниха разбила окончательно эти планы, но старого своего союзника-турка, по-видимому, Потоцкий не оставил, ибо, по отзыву современников, Потоцкий был человек благородный и для «рыцарских дел рожденный».

По-видимому, Колчак-паше не очень долго осталось жить во владениях Потоцкого, так как около 1743 года некий Бенуа, поверенный в делах Лещинского, Потоцкого и Тарло, главы Дзиковской конференции, в Константинополе просит султана, чтобы тот назначил в Хотин (возвращенный русскими Турции) и в Бендеры таких же «честных пашей, как покойный Колчак».

Потомки Колчак-паши получили в Галиции польский «индигенат» и были причислены к гербу «Боньча» (белый единорог на лазурном поле).

При Екатерине Великой и после третьего раздела Польши правнук паши окажется в Бугском казачьем войске, при атаманах, князе Радукане Кантакузене и Краснове.

Это уже эпоха основания Одессы и колонизации Новороссии.

* * *

В моем предыдущем очерке я довольно много рассказывал о далеком пращуре адмирала, Александра Васильевича, турецком военачальнике, взятом в плен Минихом в 1739 году. Это дало мне возможность вспомнить пятилетнюю войну с Турцией при Императрице Анне Иоанновне — эпоху забытую и сравнительно мало разработанную военными историками. Труды же Масловского,

ского казачьего войска, участвовал во взятии Измаила и во время Турецкой войны 1806—1807 гг. был атаманом Бугского казачьего войска.

Служба Лукьяна Колчака, современника кн. Н. Р. Кантакузена, шла под его начальством, а потом под начальством атамана Ивана Кузьмича Краснова, убитого в 1812 году при Бородино.

Впоследствии, в 1818 году, из Бугского казачьего войска сформированы были четыре Бугских уланских полка. О Бугском казачьем войске детально рассказывается в «Хронике Российской Императорской Армии», изданной в 1852 году. Вот краткая выписка из нее:

«В 1769 г. при начале войны между Россией и Оттоманской Портою, многие из молдаван, валахов, арнаутов и других живущих за Дунаем христианских народов, отложась от Турции, прибыли в русскую армию и в виде волонтеров служили при ней во все продолжение военных действий; по окончании же оных в 1774 г. перешли в пределы России и поселились на земле, отведенной им на левом берегу реки Буга, между нынешними городами Николаевом и Ольвиополем. В это время в соседстве с ними был поселен полк, составленный в продолжение упомянутой войны при армии генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, также из задунайских народов, и называвшийся Нововербованным казачьим. Поселенцы сии в 1783 г. фельдмаршалом князем Потемкиным-Таврическим были опять употреблены на службу для содержания против турок кордонов по реке Буг. В 1788 г. из них сформирован был полк, в 1560 человек, названный Бугским казачьим и участвовавший во все время войны, бывшей тогда между Россией и Турцией» (Т. V, стр. 88).

В 1792 г. присоединен был к тому же войску и польской королевской службы полк «Бугских верных казаков», после утраты Польшей ее юго-восточных окраин. Об этих польских Бугских казаках упоминает граф Бем де Косбан, служивший в 9-м уланском Бугском полку, в интересной статье, напечатанной в журнале «Часовой» (№ 261, 1911, апрель).

* * *

У сотника Лукьяна Колчака было два сына: старший — Иван Лукьянович, унаследовал часть имения, но, продав ее, купил дом в Одессе и поступил на гражданскую службу. У Ивана Лукьяновича было много дочерей и три сына, из которых старший, Василий Иванович, и был отцом адмирала.

Василий Иванович Колчак родился в Одессе в 1837 году. Вот выписка из статьи о нем, напечатанной в Военной энциклопедии:

«В 1854 г. поступил на службу юнкером в морскую артиллерию. Во время Севастопольской компании был отправлен конвоировать транспорт пороха в 1 тыс. пудов из Николаева в Севастополь. По сдаче пороха в Севастополе получил назначение на Малахов Курган, где состоял помощником командира батареи на гласиле около

башни. 4 августа того же года, за сожжение фашин и туров, приготовленных французами для заложения ложементов перед главной батареей, на Малаховом Кургане, награжден знаком отличия Военного ордена. При последовавшем штурме Малахова Кургана 26 августа был ранен, взят в плен французами и отправлен на Принцевы острова в Мраморном море. По возвращении из плена Колчак окончил курс в институте военных инженеров и был командирован на Уральские горные заводы для практических занятий металлургией».

С 1863 года он служил на Обуховском сталелитейном заводе. Там родился в 1874 году его сын — Александр Васильевич.

Василий Иванович был воспитан в Одессе в Ришельевской гимназии, где в те годы еще были живы манеры, традиции и методы преподавания и воспитания французских эмигрантов, основавших эту гимназию. Василий Иванович был большой франкофил. По характеру он был человек сдержанный, с манерами — по словам моей матери — французов-эмигрантов. Его склад ума был довольно иронический, и его сын, будущий Верховный Правитель, характером на своего отца походил мало. Гораздо больше влияния на него имела, по-видимому, его мать, о которой несколько слов будет сказано дальше.

Василий Иванович оставил ряд научных статей и «Историю Обуховского сталелитейного завода, в связи с прогрессом артиллерийской техники» (1894). Он также написал очерк «На Малаховом Кургане», переведенный и изданный на французском языке. Эти воспоминания его — живы и забавны. К французам, взявшим его в плен на Малаховом Кургане, он относится с большой симпатией и очень хвалил и их армию, и их офицеров того времени. Довольно приятно, что французское военное издательство охотно издало его труд. Василий Иванович издал еще в 1904 году, к 50-летию севастопольской обороны, книгу «Война и плен».

Брат его, Петр Иванович, капитан I ранга (1838—1903), был моряком-артиллеристом. Младший же брат, Александр Иванович (1839—1911),— «красавец Колчак» — был тоже морской артиллерии генерал-майор. От него пошла средняя линия Колчаков — три поколения Александров Александровичей, помещиков Тамбовской губернии.

Мать адмирала Александра Васильевича, Ольга Ильинична, была урожденная Посохова («видный одесский гражданин» — по выражению де Рибаса, в его книге «Старая Одесса»). Посоховы из донских казаков. Старшая линия оставалась до революции в Ростове-на-Дону, а другая основалась в Одессе. Андрей Иванович Посохов был последним одесским головой; он был расстрелян большевиками в 1920 году.

Ольга Ильинична, мать адмирала, была гораздо моложе своего мужа и умерла, когда ее сыну было 20 лет (1855—1894). Она, по словам своей матери, была «красивая казачка», спокойная, тихая, добрая и строгая. Воспитывалась она в Одесском институте и была очень набожна. В доме ее отца жили как будто «по старинке». Алек-

сандр Васильевич ее очень любил и на всю жизнь сохранил память о долгих вечернях, на которые он ходил мальчиком со своей матерью в церковь где-то недалеко от мрачного Обуховского завода, вблизи которого они жили по службе отца.

Александр Васильевич был очень верующий, православный человек; его характер был живой и веселый (во всяком случае, до революции в Сибири), но с довольно строгим, даже аскетически-монашеским мировоззрением. У него были духовники монахи, и я слышал, как он, будучи Командующим Черноморским флотом, навещал одного старца в Георгиевском монастыре в Крыму. Вероятно, эти черты были в нем заложены его матерью.

Из семьи матери адмирала его ближайшими родственниками и товарищами были два брата Посоховы: контр-адмирал Сергей Андреевич (1866—1935) и генерал-майор Андрей Андреевич (1872-1930). Как и адмирал, оба были участниками японской войны — первый был старшим офицером на крейсере «Олег», второй — в 1904 году начальником штаба Сибирской казачьей дивизии (был награжден «золотым» оружием). В войну 1914 года Сергей Андреевич, контр-адмирал, был начальником штаба командующего флотилией Северного Ледовитого океана (1916 г.), а Андрей Андреевич, в ту же войну, сперва командовал 92-м пехотным Печерским полком, потом был генерал-квартирмейстером 2-й армии и начальником штаба 12-й армии. Оба брата скончались в эмиграции в Париже.

Александр Васильевич Колчак возвратился из полярной экспедиции на Землю Беннета в Иркутск 6 декабря 1903 г. и с разрешения Главного Морского штаба отправился в Порт-Артур в распоряжение командующего флотом Тихого океана вице-адмирала Макарова. Он был сначала назначен вахтенным начальником на крейсер «Аскольд», потом артиллерийским офицером на минный транспорт «Амур», потом командиром эскадронного миноносца «Сердитый». Во время осады Порт-Артура он командовал 120 мм и 47 мм батареей вооруженного сектора Скалистых Гор, был награжден орденом Св. Анны 1-й степени с надписью «За храбрость», а впоследствии, уже вернувшись из японского плена, в 1905 году пожалован за отличие под Порт-Артуром золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. Он тогда был в чине лейтенанта, в капитаны 2-го ранга произведен он был в 1908 году.

В Порт-Артуре был и его двоюродный дядя, тогда капитан 1-го ранга Александр Федорович Колчак, сын полковника Федора Лукьяновича, младшего брата деда адмирала. Эта младшая линия Колчаков особенно много понесла потерь. Александр Федорович, будучи контр-адмиралом в отставке, был арестован большевиками в Петербурге и, хотя потом отпущен, умер в глубокой нужде. Его сын, Александр, мичманом отличившийся в японскую войну на «Лейтенанте Буракове», погиб на «Енисее» в 1915 году в Балтийском море. Брат Александра Федоровича, подполковник Петербургской полиции, Аркадий Федорович Колчак, был убит революционером в 1907 году, а сын его, Петр Аркадьевич, штабс-капитан, в гражданскую

войну погиб в Киеве в 1918 году при взрыве пороховых складов.

Выше было упомянуто, что отец адмирала, Василий Иванович Колчак, издал в 1904 году книгу «Война и плен». Так вот эти «война» и «плен» повторялись в его семье из поколения в поколение. Какой-то рок приводит старших сыновей его ветви быть вовлеченными в большие военные катастрофы. Как турецкий генерал, его пращур, был при разгроме турок под Ставучанами захвачен в плен в Хотине, Василий Иванович был ранен и взят в плен при штурме Малахова Кургана французами. Его сын, Александр Васильевич, контужен и взят в плен в Порт-Артуре японцами, а сын адмирала, Ростислав, мобилизованный во французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 года, после боев, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме французских военных сил и взятии Парижа.

Так из рода в род повторяются и нашествия иноплеменников, из рода в род жены должны спасать детей из горящих городов, от бомбардировок, голода, грабежей, расстрелов... По-видимому, разорение, бегство в чужие страны, изгнание, перемены подданства, языка и даже веры — явления нормальные...

* * *

В 1914 году, когда началась война, Александр Васильевич был флаг-капитаном по оперативной части штаба и был в море с первых же часов войны. Его жена и дети были в Либаве (сыну Ростиславу было тогда четыре года, а дочери Маргарите год). Порт был обстрелян германцами в первые дни войны, и эвакуация семейств морских офицеров прошла в довольно тяжелых условиях. Так Софье Федоровне пришлось спасать детей в первый раз. Маленькая дочка умерла в Гатчине в 1915 году, а сына пришлось вывозить за границу в 1919 году, после очень тяжелых переживаний в Крыму, где и самой ей приходилось скрываться от ареста.

О жене адмирала и моей матери стоит рассказать хотя бы коротко. Она была человек очень незаурядный и «сложной крови». Софья Федоровна родилась в Каменец-Подольске в 1876 году, где ее отец, действительный статский советник Федор Васильевич Омиров, был начальником Каменной Палаты. Он был сыном подмосковного священника: учился в бурсе, потом на юридическом факультете Московского университета. Это был очень порядочный человек, хороший юрист, «маленький Сперанский», ученик и друг Каткова и академика Грота. Он был несомненно положительной фигурой эпохи реформ Александра II и царствования Императора Александра III. Будучи очень скромного происхождения и из духовного звания, он своими моральными достоинствами достиг больших чинов и умер человеком нестарым, ожидая назначения на пост губернатора Подольской губернии, которой фактически управлял последние годы своей жизни.

Мать же Софьи Федоровны была Дарья Федоровна Камен-

ская — дочь генерал-майора Ф. А. Каменского, директора Лесного института, и сестра известного скульптора Федора Федоровича Каменского. Среди своих предков Дарья Федоровна считала и барона Миниха, брата фельдмаршала, елисаветинского вельможу, и генерал-аншефа Максима Васильевича Берга, разбившего Фридриха Великого в Семилетнюю войну, учителя Суворова. Ее же собственный отец был воспитан своим дядей, генералом Григорием Максимовичем Бергом (между прочим, контуженным и взятым в плен при Аустерлице). Все эти старые истории Дарья Федоровна не забывала, и ее рассказы дочери дошли и до меня через записки моей матери.

Софья Федоровна Колчак была очень похожа на свою мать и, по-видимому, унаследовала ее волевой и независимый характер. Воспитанная в Смольном институте, она была очень образованна, знала семь языков, из которых французский, английский и немецкий превосходно. Проявила себя она несколько раз в жизни необыкновенно.

Будучи невестой в 1903 году, когда адмирал Александр Васильевич был в полярной экспедиции, она решила к нему поехать, и одна, девушкой 26 лет, проехала с Капри в Усть-Янек на Ледовитом океане. Для того времени это было довольно удивительно. Возвращаясь на собаках и на оленях из Верхоянска, Якутска и Иркутска вместе со своим женихом, она в Иркутске узнала о начавшейся войне с Японией. Так как Александр Васильевич, вместо отдыха, после экспедиции, подал рапорт о назначении его в действующую армию, то их свадьба была в Иркутске. Из семьи мог приехать один Василий Иванович Колчак, и через несколько дней после свадьбы Александр Васильевич уехал в Порт-Артур, а его жена со своим свекром вернулись в Петербург.

Софья Федоровна выехала из России с сыном в апреле 1919 года во Францию. Уехать в Сибирь к мужу она уже не могла и осталась во Франции до своей смерти; она скончалась в госпитале Лонжюмо около Парижа в 1956 году. Ей было немного меньше 80-ти лет».

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ

I

Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразное...

Известные всей свиридовской слободе воры, братья Ламские, волокли мимо его окон паровозную трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему: пошли, мол? Он хотел было крикнуть им нечто презрительное и уничтожающее, но на их месте неожиданно возник непутевый, убитый еще в финскую кампанию, сосед его, Санька Баев, с ковригой пеклеванного под мышкой и с полбутылкой в свободной руке. Охватив «Московскую» за горлышко, он пьяно скалился в его сторону: врешь, мол, старый дурак!

Захлебнувшись обидой, он бросился было к окну, но тут же пришел в себя с удушливым колотьем под самым горлом. Рука его привычно потянулась к тумбочке и стала судорожно шарить по ней в поисках таблетки валидола, заготовленной, как всегда, еще с вечера.

Мятный холодок во рту принес ему обманчивое успокоение. И мысли, вялые и случайные, словно ветошь в мутном омутке, мысли завязали свой обычный дневной круговорот.

Вот уже лет, примерно, около двадцати, с того самого тусклого мартовского утра, когда Петр Васильевич вернулся со скорых, небогатых даже и по тому голодному времени похорон жены, жизнь его приобрела подобие часового круга, где всякая цифирь отличалась от другой не цветом и содержанием, а только условной сутью.

Еще лежа он знал, что ровно в семь встанет, постучит в дощатую перегородку, что отделяет его комнату от светелки дочери Антонины, и та, по обыкновению, не ответит, но ему и без того будет ясно, что она услышала и уже поднялась, и вскоре бесшумно начнет свою ежеутреннюю работу: включит плитку и возьмется за сооружение для него шестиместной «кочубеевской» яичницы.

Потом он неспеша, со вкусом поплескается перед рукомойником, медлительно облачит себя в свои обычные доспехи: бумажные китайские брюки, шерстяные носки (мерзнут ноги!), ботинки на микропорке, косоворотку, суконный, еще довоенных времен жилет и чешский пиджак, купленный дочерью по случаю.

Яичницу Петр Васильевич съест молча, со внушительной вдумчивостью и, ровно в восемь, вооружившись у двери шляпой и палкой, все так же молча выйдет на улицу, которую он, в силу привычки, называет слободой.

А сейчас, до урочного времени, старик просто, безо всяких дум глядел в облитое первым июльским светом окно, за которым когда-то был небольшой садок десятка на два яблонь вперемежку с вишнями (причуда Петра Васильевича, тоже отдавшего в свое время дань новомодному тогда учению) и где теперь высилась красного цвета глухая стена заводского корпуса. Стена была такой непостижимо громадной, что иногда ему казалось, будто за ней уже ничего нет — пустота.

Завод, год от года обрастая строениями, все ближе придвигался к утлому дому, отжимая его к самой дороге, которая в свою очередь расползалась в ширину. Между этими двумя врагами, словно маленькое буферное государство в тисках гигантов, и отстаивал свою независимость приземистый, еще дедом отстроенный пятистенок, где одну комнату из четырех занимал Петр Васильевич.

В городе его знали все или почти все и, если не любили, для этого он никак себя не проявлял, то уж во всяком случае уважали, как, впрочем, уважают все, что хранит одним только своим существованием то, чего другие, хотя бы в силу возраста, не знают, да и знать не могут. Таким бывает уважение к памятнику, старой крепости, знаменитой горе.

Поэтому, когда известная всему городу палка стучала по асфальту, почти каждый ее стук бывал отмечен поклоном или приветствием:

— Васильичу!

Тук-тук...

— Здравствуйте, товарищ Лашков!

Тук-тук...

— Приветствую!

Тук-тук...

— Здоров, Петр Васильевич!

Тук-тук...

— Наше вам!

Тук-тук-тук...

И так весь день от восьми до восьми, с тремя перерывами: для обзора, впрочем беглого, газет на стендах, захода в столовую и обязательного, но не слишком затяжного отдыха в городском сквере между четырьмя и пятью. Как говорится, город знал его, а он знал свой город.

Узловск, подобно многим уездным городам России конца девят-

надцатого века, возник вокруг крупной железнодорожной станции, примерно, на полпути между Москвою и Энском, а потому именно станция, а с нею все ее основные службы — вокзал, депо, вспомогательные постройки — являли здесь собою хозяйственное и духовное средоточие.

Город рос в основном за счет естественно тянувшихся к нему голодными ртами окрестных деревень: Сычевки, Свиридово, Дубовки. Они и поставляли «железке» черную рабочую силу и хлеб. По мере роста дороги, хлеба у них становилось все меньше, зато матерела черная рабочая сила. Стараниями отъевшихся на новых харчах баб, пополнение ее не иссякало.

Мужики пограмотнее, посмекалистее, выбившись всеми правдами и неправдами в люди, строились ближе к станции и, таким образом, незаметно — за домом дом — сближали село с городом, пока самые деревни не вошли в город, как его составные части. И станция Узловская сделалась очередным уездом Российской Империи, а стало быть, Узловском.

Петр Васильевич прожил в Узловске семьдесят с лишком лет, и, если бы его спросили однажды, что в нем — в этом городе — самое главное, самое примечательное, он бы затруднился ответом, как затруднился бы ответом о себе самом, настолько оба они являли собою как бы одно целое.

Город принял его — совсем еще молоденького свиридовского залетку — едва оперившимся, посадил проводником в третий класс, и с тех пор жизнь обоих текла друг у друга на глазах.

Стала Узловская уездом, и у Петра Васильевича Лашкова жизнь прибавила важным знаком путейского достоинства — оберкондукторской сумкой; обзавелся город своим элеватором, и его пятистенок засиял на все Свиридово веселой оцинкованной крышей; первая шахта обозначилась терриконом за рекой, и в дом к молодому обер-кондуктору вошла, чтобы остаться там на сорок без малого лет, тихая и работящая Мария — дочь слободского шахтера.

А потом все: и бронепоезда в гражданскую, и мертвые паровозы чуть позже, и первые машинисты — во врагах народа,— и гробы, сложенные на всякий случай штабелем у депо в последнюю войну,— все вместе.

Присматриваясь к городу, Петр Васильевич пытался вызвать к жизни былое целое из возникающих в памяти черт и черточек, но неряшливая в лихорадочной своей убогости застройка местных слободок безликими коробками из стекла и бетона уже не могла оживить дряхлеющую душу собственно Узловска. Другой город, с другими песнями и другим порядком победительно определял его облик.

«Тук-тук, тук-тук...» — выстукивала палка асфальтовый панцирь улиц. И сердце города, задыхавшееся под ним, астматически откликалось:

«Я — здесь!» — тянулся к свету сквозь асфальт росток тополя, уже готовый разбиться в листья.

«Я — здесь!» — сыро вздыхала еще не схваченная бетоном земля вокруг водоразборной колонки.

«Я — здесь!» — блистало куском припудренного известкой и цементом зеркала озерцо, а скорее всего просто прудок крохотный.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук!..

Но ответы с каждым днем становились все глуше и безнадежнее.

Утверждая собственную жизнеспособность, они тихо радовались всякой что ни на есть пустяшной детали прошлого: «А-а, живы, значит!»

«Часики-то еще сохранились! — радовался один, глядя на то, как Петр Васильевич заводил свои «Пауль Буре».— Классный ход! Известное дело, довоенная работа!»

«А красильня-то, красильня стоит! — вторил ему другой.— Износу ей нет, да!»

«Ишь,— не сдавался город,— и рубашечка-то нынче на вас, Петр Васильевич, наша — косой ворот в горошек. Век не застираешь!»

«И пекарня на месте,— играло стариковское сердце,— в такой печи из дерьма калачи выходят! Знай наших!»

Тук-тук... Тук-тук...

Петр Васильевич грузно опустился на лавочку, блаженно вытянув ноги: куда ни кинь, больше семидесяти.

За ребристые крыши окраины, трудно дыша, багрово-желтой туманностью стекал день. Город еще погрохатывал, еще позванивал где-то между сквозных глазниц зачатых корпусов, силясь изо всех сил изобразить мощь, деяние, но в его тяжком выходе уже явственно прослушивалась надсадность.

Петр Васильевич никогда не менял своего раз и навсегда принятого маршрута, и, если бы не толпа у разбитой витрины модного в городе продмага «Витязь», старик и в этот день не изменил бы направления.

Дело оказалось настолько пустым и мелким, что и любопытствовать не стоило, да и не отличался Петр Васильевич особым любопытством, но когда он, уже проходя мимо, искоса взглянул, только взглянул, в сторону этой самой разбитой витрины, его сразу, вмиг, как это бывает в электричестве, где единого, единственного всего мгновения контакта достаточно, чтобы возник всеобнажающий свет, постигло озарение.

В нем вдруг как бы взломалось все, как бы разорвался какой-то мертвый круг, из которого долго и безуспешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотою душа: за выбитым стеклом красовался всей своей фальшивой сутью камуфляж окорока, на камуфляжном блюдце, в окружении камуфляжных же колбас.

Толпа еще возбужденно шелестела по поводу происшествия, а Петр Васильевич уже не существовал в ней, не слышал ее, не присутствовал в ее сутолоке. Весь он в эту минуту был обращен туда, в свою юность.

Заваруха, поднятая в те поры деповскими мастеровыми, случайно

застала его на базарной площади. И в самый ее разгар, то есть когда первая пулеметная очередь местной команды слизнула с площади остатки всего живого и методично прошлась по витринам, Петька, хоронившийся под одной из брошенных хозяевами телег, выявил впереди себя соблазнительную цель: всего в каких-нибудь пятидесяти саженях, за развороченной витриной гастрономической лавки купца Туркова соблазнительно поддразнивал его янтарным своим срезом копченый окорок. Настоящий копченый окорок!

И Петька пополз, пополз через всю насквозь простреляннную площадь. Тысячу, по крайней мере, раз могла уложить его любая шальная из всех тех шальных, которыми пело то забытое было и вдруг возникшее из прошлого утро, но, ни одна — случаются же чудеса! — не тронула парня.

Петька дополз, дополз вопреки всему, но, когда, наконец, он протиснулся через ребристое стекольное отверстие внутрь, рука его ощутила шероховатость чуть-чуть подкрашенного картона.

И лишь тут страх преодоленного пути коснулся Петьки, и Петька заплакал, нет, не заплакал — завыл от ужаса и обиды:

— Братцы-ы, что же это, братцы-ы, а?!

II

Петра Васильевича сразу же потянуло домой. Дорогой он все недоумевал, все никак в толк не мог взять, почему давнее это воспоминание могло до такой степени взволновать его, мало взволновать, вызвать смутные предчувствия, породить еще пока неясные, но все-таки надежды, когда, казалось, все уже позади. Но, вместе с тем, Петра Васильевича не оставляло и ощущение все нараставшей тревоги, сопутствующей всяким значительным переменам, а что перемены эти не заставят себя ждать, в этом он теперь не сомневался.

Едва ли и минуту простоял Петр Васильевич у двери дома, как бы в раздумье, прежде чем повернуть за угол, в половину дочери, а повернув, сразу же услышал знакомый стрекот швейной машинки: Антонина прирабатывала к его пенсии шитьем. И хотя ему это было не по душе, он никогда с нею об этом не заговаривал, и не из деликатности вовсе, а так — по привычке молчать.

Без стука, палкой толкнул дверь:

— Здорово живешь, Антонина?

От неожиданности — отец вот уже лет около пятнадцати не заходил в ее половину, ограничивая свои с ней взаимоотношения стуком в перегородку дважды в день,— Антонина не только не встала навстречу гостю и не ответила, но даже не подняла головы, с истерической при этом лихорадочностью заработав педалью. Но по тому, как из-под рук у нее наискосок через все штапельное поле шов поплыл диковинными зигзагами, Петр Васильевич догадался, что творилось сейчас у нее на душе. Ему пришлось чуть ли не насильно отдирать ее руки от шитья:

— Сдурела, Антонина!

И тут она на мгновенье вскинула на него глаза, и сразу же опустила их снова, едва пролепетав:

— Нет, отчего же, папаня...

И сердце его как бы сорвалось с высоты, и потолок накренился в его сторону, и все в дочерней светелке пошло перед ним кругом: Антонина была пьяна, да так, что оставалось лишь удивляться, как она вообще ухитрялась работать. Стул под Петром Васильевичем заскрипел, зашелся по всем швам:

— Так, Тонюшка, так, доченька, так... Что же дальше будет? — начал было он, но вдруг с мучительной определенностью осознал, что говорит бессмысленные ненужные слова, а какие могли бы сейчас сгодиться, да и могли ли сгодиться вообще, он не знал, поэтому только тяжело крякнул в заключение:— Эх, Тоня, Антонина!

Сначала она тупо слушала отца, машинально раскатывала между ладонями наперсток, но стоило ему замолчать, как мутные хмельные слезы, собираясь на остреньком подбородке, неровно заструились по ее мелкому, тронутому нездоровой отечностью лицу:

— Папаня! — прерывистой скороговоркой бормотала она и все искала его взгляда, все искала.— Папаня, да разве ж я!.. Папаня!..

И если сначала Петр Васильевич безусловно считал себя оскорбленным и, разумеется, правым в своем негодовании, то теперь, глядя на ее мятые хмелем, трясущиеся губы, жалкий полурастрепанный пучок на затылке и эти вот, так и не окрепшие в настоящем деле ладони, по-прежнему раскатывавшие наперсток, он все определеннее проникался не жалостью, не состраданием, нет — ему ли было заботиться эдакими тонкостями! — а чувством еще покуда безотчетной вины перед нею.

«Вот оно, началось,— с горечью думал он,— плохо ли, хорошо ли, а началось, чуяло мое сердце».

Антонина была младшей в семье и единственной из шестерых детей Петра Васильевича, что осталась при нем. Дочери спешили замуж из родного дома, и потому вышли кое-как и неудачно, сыновья подавались куда глаза глядят, и по-разному, и в разное время исчезали с лица земли. Все они отказывались от него, чтобы уже никогда не переступить отчего порога. Где-то там, в стороне, его дети ставили свои дома и семьи, рождали детей, а их дети — своих детей, но никто из них никогда не вспомнил о нем. Ему коротко и, кстати, не приглашая, сообщали о смерти того или другого, и все.

Получая короткие эти весточки, Петр Васильевич, как водится, горевал, хотя и без особой скорби. Но и в естественной этой боли его упрямство всегда укрепляла облегчающая мысль: «Слушал бы отца, не пропал бы!» Как будто и здесь отцовская воля могла что-либо поправить.

Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем. И не было силы, какая смогла бы переубедить его в этом. Может быть, такого рода убежденность откладывала в нем профессия. Без-

раздельно властвуя на протяжении суток в местном пассажирском, он в дни, свободные от поездок, и с домашними усвоил поездную форму обращения. Самым употребительным в его лексиконе было слово «нельзя». Нельзя то, нельзя это. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился для них шире и выше его «нельзя». И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором возвращении с повинной. Но дети не возвращались. Дети предпочитали умирать в стороне от него.

Старшего — Виктора — лекальщика с «Динамо» взяли прямо из цеха, с тем только, чтобы, обозначив в протоколах исходные, пустить в расход.

Петр Васильевич бровью не повел.

Второй — Дмитрий — нарвался на свою лютую долю у линии Маннергейма.

Петр Васильевич и не поперхнулся.

Дочь — Варвара — в смертельных родах отдала век четвертому чаду своему, здесь рядом — в Углегорске.

Ему и об этом недосуг было печалиться.

С младшим сыном его — Евгением — плохую шутку сыграл «фауст-патрон» под Кенигсбергом.

Отец лишь вздохнул слегка.

И, наконец, брошенную мужем с тремя малолетними на руках — Федосью — схоронили на казенный кошт, а детей рассовали по детдомам.

«Что ж,— только и подумал он,— сами себе долю выбирали».

Не заметил Петр Васильевич и того, как бессловесно истлела у него под боком им по-своему и горячо любимая жена — Мария. Истлела, угасла тихо и благодарно слякотным мартовским вечером. И лишь тут, около этого, неожиданно для него оказавшегося небольшим и сухоньким, тела жены, Петра Васильевича коротко обожгло такой болью, таким неведомым дотоле смятением, что он испугался вдруг своего одиночества, испугался до черноты в глазах. И, чтобы не соблазняться сладкой жутью посмотреть на самого себя со стороны, он зажмурился сердцем и замолк. И в темном молчании этом проглядел и прослушал дыхание собственной дочери за перегородкой. Проглядел, что, схоронив мать, восемнадцатилетней девочкой осталась она вековать свой век рядом с ним, и с тех пор, вот уже без малого двадцать лет ходит за ним, кормит, обстирывает, выносит урыльники. А ведь если не лучше других была, но и не хуже, право! Мужика ей не хотелось? Еще как! Детями брезговала? Десятерых, и чтобы все — парни! Дом свой не мил был? Светом бы его нездешним залила! Всего Антонине хотелось, чего положено девке и бабе в свой срок и час.

И вся сумятица вопросов, взявших за душу Петра Васильевича, вдруг разрешилась в слове:

— Слушай, Тоня,— он грузно поднялся, шагнул к ней и, неуклюже теребя ей плечо, стал успокаивать,— не надо... Перемелется... Подумаешь, выпила... Кто без греха!.. Бросить бы только надо тебе

все эти тряпки-тяпки, к хорошему делу встать... Я уж как-нибудь сам с собой управлюсь... Теперь, вон, в столовой любо-дорого... На четыре гривенника ешь — не хочу... Опять же, прачечные есть...

Но та, от первой же отцовской ласки, затряслась вся, зашлась и, с силой оглаживая его запястье и прижимаясь к его бедру мокрой щекой, тихо молвила:

— Папанюшка-а-а... Я все сделаю... Все, как вы велите... Только б не сердились на меня.— Она так и произнесла «сердились».— Пойду, куда захотите, пойду... Только мне около вас лучше... Может, я что не так... Вы скажите... Я все сделаю...

Постепенно Антонина затихала, дыхание ее становилось ровнее, спокойнее, слезы высыхали, она почти блаженно подремывала у его руки.

Петр Васильевич осторожно поднял дочь, повел к кровати и там сложил ее вялое послушное тело. Едва коснувшись подушки, Антонина заснула, а он стоял с ее туфлями в руках и в дрожи, памятной ему с дочернего еще детства, смотрел, как, сладостно причмокивая во сне, засыпает его теперь уже почти сорокалетнее чадо. Да ведь, по сути, ничем не искушенная, она и осталась вся там — в своих детских снах. А для детей — год или сто, какая разница!

Петр Васильевич поставил ее туфли перед кроватью и, стараясь не задеть чего-нибудь по дороге, вышел и тихонько прикрыл за собою дверь.

III

И опять ему снилась какая-то чертовщина. Бабка Наталья, старуха больная и ругательная, протягивала ему горсть мятых вишен и, шамкая провалившимся ртом, бубнила в ухо: «Вожми, Петюшка, вожми не брежгуй...» А потом покойный начальник службы движения Егоркин, стуча кулаком по столу, честил его на чем свет стоит: «Под трибунал захотел, Лашков! У меня не засохнет!» Петр Васильевич хотел было громко обидеться, за что, мол, но вдруг вспомнил, за что, и промолчал. Следом за Егоркиным выплыла из небытия собственная его — Лашкова — свадьба, на которой приходившийся ему тестем забойщик Илья Парфеныч Махоткин, пьяный в дымину, лез к нему целоваться и при этом хрипло изрыгал: «Ой сю, сю, сю, сю, сю, сю, сю, я вас то есть попросю, вы мине не кушайтя, вы мине послушайтя...» А затем его уносил сквозь снег поезд голодного года и в призрачном свете коптилки кто-то тоненько тянул из-под лавки: «Прощай, Маруся дорогая, прощай, сынок мой дорогой. Тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой...» После чего он стоял, защищая тамбур, а на него со всех сторон лезли лица — много лиц, знакомые и незнакомые. «Осади! Осади назад!» — надрывался Петр Васильевич, но лица лезли и лезли, лезли, молчаливо таращая на него глаза...

Пробуждение Петра Васильевича отстаивалось долго и тяжело.

Кутерьма расплывчатых видений еще, казалось, кружила в комнате, а день уже проникал его предстоящими заботами. Следовало сегодня же выхлопотать дочери место, где бы она могла без ущерба для своей привязанности к нему заняться стоющим делом.

Старик привычно потянулся было к перегородке, но тут же, словно перегородка сделалась вдруг раскаленной, отдернул руку и не без горечи усмехнулся про себя: «Забывчив стал, седой черт! Не можешь без прислуги».

Редкую листву яблони у самого окна едва-едва по самой кромке тронуло солнце, и вся она еще трепетно подрагивала от ночной сырости. Но все же эта ее вечная убогость выглядела куда устойчивее глухой, в два с половиной кирпича стены, наступавшей на нее с тыла.

За много лет Петр Васильевич так привык к убранству своего жилища, где ничего и никогда не стояло для него в отдельности, а всегда все вместе в одном целом образе, что теперь, когда почему-то, и вдруг, каждый предмет заговорил с ним особым языком, он несколько озадачился.

Петр Васильевич оглядывал комнату, узнавая и не узнавая ее. Что-то совершенно неуловимое изменилось в ней. Будто впервые увидел он шкаф с запыленным граммофоном наверху. Конечно же, и шкаф, и граммофон попадались ему на глаза множество раз, но лишь сейчас он отметил их и отметил каждого в отдельности. Или вот ходики с отломанной стрелкой. И ходики, и отломанная стрелка мозолили ему глаза лет уже не менее сорока, но только теперь Петру Васильевичу подумалось: «А стрелка-то отломана, да...». Даже в скрипе собственной кровати он лишь сегодня различил лады и оттенки: если сядешь — с надрывом; ложишься, звук начинает петь; повернешься на бок, отзывается надтреснутым дискантом.

Нет, мир положительно оборачивался к Петру Васильевичу какой-то иной стороной, иным ракурсом.

За перегородкой послышался шорох, затем голос — просительный, виноватый:

— Папаня, вы что?

— Ничего, дочка...

— Нет, я думаю, может, нездоровится?

— Чего себя беспокоишь зря, спи...

— Вам, папаня, вставать время... Я сейчас.

— В столовую схожу, Антонина, спи.

Послышался жалкий всхлип:

— Я больше не буду, папаня, ей-богу, не буду никогда...

— Чего не будешь?

Из-за стены, точь-в-точь, как маленькая, дочь засопела, чуть в нос и подбородок:

— Пить... Не буду...

— Да разве я потому, дочка! Хочу, чтоб поспала ты... Мое дело стариковское... Всем дедам леший спать не дает, а тебе зачем ни свет ни заря вскакивать, спи себе...

Голос Антонины дрогнул от обиды и боли:

— Не хочу... Спать...

И Петр Васильевич почувствовал, что если сейчас, хотя бы даже из добрых побуждений, он оттолкнет дочь, ему ее едва ли вернуть после:

— Сейчас... Умоюсь...

Вслушиваясь в ее торопливую беготню за стеной, он с горечью утверждался в мысли, что для нее ее вечное бдение рядом с ним стало привычкой и потребностью, и что ему этого уже не переиначить.

В это утро Антонина не ходила — летала вокруг стола, предупреждала любое желание отца, каждый его кивок принимала, как награду, и вообще во всем, что бы она ни делала в это утро, сквозили праздничность и удовлетворение.

Так что из дому Петр Васильевич выходил ухоженный дочерью сверх всякой меры, ощущая, правда, в себе некоторую неловкость или, вернее, смущение, свойственное обычно именинникам.

С близкого поля, которое растекалось по обе стороны дороги прямо от истока слободы, тянуло зацветающей гречихой. На душе у Петра Васильевича стало вдруг так мирно и благостно, что ему захотелось, до слез захотелось туда, в этот запах, в этот давным-давно забытый сквозной простор, и он, не раздумывая более, впервые за много лет повернул прочь из города.

Неистребимо утоптанная тропинка водила Петра Васильевича полем, со всех сторон подступавшим к окрестным терриконам, и он шел себе и шел, повинуясь ее прихоти. Отрывочные и путаные видения прошлого кружили над ним. От тех, что казались ему мелкими, пустыми, он просто отмахивался, в другие вглядывался, стараясь вспомнить детали, но они, не успев обрести устойчивую резкость, растворялись в памяти, чтобы уступить место следующим.

Почему-то отчетливо вспомнилось: пронзительно солнечное утро, сквозь которое от двери к столу идет Мария, а в руках у нее тарелка с огурцами, круто посыпанными солью. Реальность предстала перед Петром Васильевичем с такой поразительной отчетливостью, что, думалось, сейчас, с расстояния в сорок лет, он мог бы различить на каждом семечке любую солинку...

Внезапно в полдневную, почти физически ощутимую тишину вплыла и заполнила собою окрест скорбная мелодия труб, взявшая начало еще где-то в городе. Через Свиридово пролегала дорога к кладбищу, и в другое время очередные похороны едва ли привлекли бы внимание Петра Васильевича, но ему — жившему теперь ожиданием перемен — и в музыке услышался, так сказать, зов предчувствия, и он двинулся навстречу трубам, и с каждым шагом все более укреплялся в мысли, что не обманется в ожиданиях.

По форменной одежде большинства идущих можно было безошибочно определить: хоронят путейца. Когда же процессия поравнялась с ним, с проплывающей мимо него фотографии, в его сто-

рону косо усмехнулось блеклое одутловатое лицо Фомы Лескова: «Что, брат, все коптишь? А я и здесь успел!»

Из провожающих многие кланялись Петру Васильевичу и тут же отводили глаза: давняя история его взаимоотношений с покойным прочно укрепилась в сознании местных движенцев, которые считали их кровными врагами, хотя едва ли кто знал толком, с чего и когда она — эта вражда — началась.

И сейчас, провожая взглядом скорбное шествие, Петр Васильевич, хотя и не раскаивался ни в чем, в глубине души подосадовал: «На старости-то можно бы и помягче жить. Не дожидаться похорон, помириться».

Тук, тук, тук...

Даже в стуке его палки прослушивалось сердитое сожаление. Перед глазами возникали белые мухи. Белые мухи первой военной осени...

Начальник службы движения Егоркин, кое-как разместив за столом свое грузное неповоротливое тело, отчего стол сразу стал глядеться игрушечным, проговорил, не глядя на собеседника:

— Вот какое дело, Лашков... Как бы это тебе сказать.— Уже по одному этому тону, каким он, Егоркин, привыкший изъясняться с подчиненными только матом, начал разговор, Петр Васильевич понял, что тому не до шуток.— В общем, обстановка такова, что не исключена сдача Узловска... Надеюсь, ты понимаешь, это я тебе как партиец партийцу?... Строго секретно...

— Понимаю, Вениамин Федорович...

— Мы вот здесь посоветовались... Ты человек проверенный... Член партии со стажем... И вообще мы тебя знаем... Будешь сопровождать линейный архив... Пока до Пензы, а потом видно будет... Может,— он побагровел, маленькие, в белесой опушке глазки его заерзали по столу,— отплюемся. Выбери себе парня понадежнее. Бери любой классный вагон на выбор. Все получишь у Шпака под расписку... Прицепи себя к паровозной сплотке, с машинистами тебе спокойнее будет... Ну, бывай... Ни пуха...

Кого ему взять в напарники, для Петра Васильевича вопроса не стояло. Он заранее знал, что возьмет Фому Лескова. Лучшего попутчика в дорогу, забитую эшелонами, и придумать было невозможно: Фома в любое время и в любую погоду мог достать все, что угодно, включая паровоз, в разобранном, разумеется, виде.

Сплотка, с приданными ей двумя спальными вагонами, сутками простаивая чуть ли не на каждом разъезде, в общем горевом потоке двинулась на восток. Зима догнала их уже в Моршанске и, обложив первыми хрусткими снегами, заспешила дальше — вслед ушедшим вперед эшелонам.

Лесков рвал налево и направо: выколачивал пайки, топливо, не брезговал плохо лежащим, что-то продавал, что-то выменивал, а в результате стол у них, и не по-военному сытный, не оскудевал. Петра Васильевича, правда, коробила эта, не по их скромным

нуждам предприимчивость напарника, он временами ворчал и нудился, хотя до времени молчал. Но когда тот заикнулся было о пассажирах-беженцах: с них, мол, лопатой грести можно, отказал наотрез:

— Всех или никого. А поскольку всех не возьмешь, значит, никого.

Фома, зная характер своего главного, перечить не стал.

— Как знаешь, Васильич, тебе видней.

Но при этом всем своим видом дал понять, что не одобряет его, и что, коль будет хоть малая к тому возможность, сделает по-своему.

В Ртищеве они застряли всерьез и надолго. Попусту выделывал Фома кренделя вокруг диспетчеров и сцепщиков, попусту утаптывал и сам Петр Васильевич около начальственных столов, обосновывая едва ли не стратегическое значение своего груза: их перегоняли с одного пути на другой, но не дальше ближайшего семафора.

Как-то, возвращаясь из очередного похода по кабинетам, Петр Васильевич у самого своего вагона встретил невысокую ладную деваху с вещмешком за плечами, во всем военном, но без погон и звездочки на шапке. Она по-утиному, вразвалочку вплотную подошла к нему и грубовато озадачила:

— Ты, что ли,— она кивнула в сторону вагона,— начальник этому хозяйству?

И голос девахи — хриплый и пропитой, и манера разговора, и эта, не без порочной развязности, утиная ее походочка совсем не вязались с ломким — в детском еще пуху — лицом и угловатостью подростка во всяком движении. И сколько ни силилась деваха выглядеть бывалой и взрослой, сколько ни напрягала голосовые связки, намеренно огрубляя речь, всем своим обликом она вызывала щемящую жалость и только: «Проклятая, трижды распроклятая война!»

Предупреждая уговоры, Петр Васильевич ответил как можно недружелюбнее:

— Ну?

— Не зря, видно, помощник твой тебя боится,— она хрипло хохотнула,— стращает: вот, мол, придет мой начальник, попробуй, сунься... Только я не из пугливых... Всяких видала... Не бойся,— в ее усмешке засквозила злость,— я легкая, не обременю.

— Когда тронемся, неизвестно, может, через час, а может, через месяц...

— Тронемся в восемнадцать ноль-ноль... Не пяль глаза, у меня сведения из первых рук.— Она снова усмехнулась, но уже брезгливо.— Натурообмен, папаша, война все спишет.

— У меня секретная документация,— изо всех сил сопротивлялся он ее напору,— посторонних не имею права...

Деваха медленно двинулась на него и только тут Петр Васильевич услышал, как при каждом шаге поскрипывают ее ноги. И ему стали понятными и ранняя, так не идущая к ней хрипотца,

и деланная грубоватость, и эта ее изменчивая усмешечка, и тогда, сглатывая жгучий комок в горле, он дважды жарко выдохнул:

— Иди... Подсажу...

В купе она щедро разложила перед хозяевами пайковые свои дары, разлила из фляги по кружкам:

— Для ясности: зовут меня Валентина... Фамилия вам ни к чему... А теперь, по обычаю, со свиданьицем.— Залпом выпила и пояснила: — Фронт приучил, до войны крепче лимонада ничего не пила... Вот отпустили вчистую, а идти некуда. Я сама из Воронежа — там немцы... Поеду, думаю, в Сибирь. Много о ней слышала, в книжках читала, в кино видела... Геологом мечтала. А теперь,— круглые и в хмельной поволоке не утратившие детскости глаза ее на мгновение помертвели,— завей горе веревочкой!.. Еще по одной?

Фома, подмигнув начальнику, убежал в соседнее купе и тут же появился снова с бутылкой припасенного «на случай» самогону. Разливая, он как бы невзначай жался к ней и свободная рука его, чуть подрагивая от желания, то и дело скользила по ее спине.

После третьей Валентина бесцеремонно оттолкнула от себя Лескова и, с вызовом глядя в сторону Петра Васильевича, огорошила:

— Порядка не знаешь, мотя: сначала командиру, а тебе, что останется.

Даже ко всему привыкший Лесков лишь присвистнул и с готовностью подался к выходу:

— Мы люди маленькие, нам и остатнего хватит.

— Что же ты, командир? — Ее развозило на глазах.— Или шибко идейный, а? — И уже не злость, а злоба перехватывала ей дыхание.— Видала я вас — идейных! Знаешь, сколько? До Москвы раком не переставишь! Ишь гусь... Или, может, брезгуешь, тогда скажи, вон мопс твой на подхвате...

— И вправду,— Фома, внезапно возникнув в купе, поспешил выручить главного,— пошли, Валентина, пошли... Поспишь, все как рукой снимет... У Петра Васильевича своих забот полон рот... Видишь, кругом документация...

Та еще пробовала сопротивляться, еще пыталась что-то говорить, но Лесков, ловко охватив ее за талию, тянул вдоль прохода в другой конец вагона, где она и затихла под его похотливый шепот.

А Петр Васильевич вдруг с томительной горечью представил себе на месте Валентины одну из своих дочерей: «Господи,— да что же это такое, Господи!»

Фома старался не попадаться ему на глаза. Молча и походя кивнув, он прошмыгивал в облюбованное им для своих утех купе и вскоре оттуда начинали доноситься голоса. Голоса то поднимались почти до крика, то переходили в прерывистый шепот, пока, в конце концов, не затихали совсем до следующего утра.

Едва Валентина приедалась Фоме, он брал ее на закорки и относил в «телятник» к машинистам со сплотки. Те, в свою очередь, вскоре отправляли ее обратно. Так она и переходила из рук в руки, словно общий трофей в сопредельных ротах.

Петр Васильевич бесился, негодовал, но терпел, понимая, что пусти он девку сейчас по свету, будет ей еще хуже.

Поэтому, когда однажды утром он, выглянув в тамбур, не увидел бок о бок со своими вагонами сплотки, он облегченно вздохнул: «Всех не убережешь, авось не пропадет».

Их загнали в глушь отдаленного разъезда, где кроме вагонной коробки, приспособленной под станционное помещение, не имелось ни одного дома или постройки.

В чистых до голубизны снегах дымились из-под сугробов окрестные деревеньки, и пейзаж мог бы показаться даже мирным, если бы не черные, наподобие одиноких воронов, остывшие еще с осени ветряки по косогорам.

Петр Васильевич потянул на себя дверь тамбура, дверь с визгом отодралась, и он захлебнулся глотком обжигающего январского воздуха.

— Узловские?

К их вагону спешил дежурный.

«Что еще за новости? Неужели не задержимся?»

— Что вы там в Гущине натворили, господа хорошие? — на ходу оповещал его дежурный.— Нехорошо! Увезли протезы у инвалида войны... Совесть иметь надо... Велено первым проходящим передать по назначению...

За спиной у главного уже зябко похохатывал Лесков:

— Так она же, курва, сама забыла.— Он мышью просунулся из-под руки Петра Васильевича и опустил два протеза в валенках прямо через плечо дежурному.— На кой они нам леший. Не топить же ими, право слово! — И, поворачиваясь к главному, поблудил косым глазом.— Уж и пошутить нельзя.

Дежурный, испитой старичок в тертой-перетертой шинели поверх телогрейки, озадаченно, слезящимися от мороза глазами оглядел снизу вверх их обоих, хотел что-то сказать, но не сказал, а только сплюнул в сердцах и повернул к себе.

Долго еще потом мерещилась Петру Васильевичу эта черная фигурка на белом снегу с двумя обутыми в валенки протезами через плечо.

Захлопнув дверь, он повернулся к Фоме и, видно, все, что творилось сейчас в нем, выразило лицо: Лесков, побелев, отступил внутрь вагона:

— Васильич,— голос его пресекся,— сами видели... Добровольно... Никто не заставлял... Васильич!..

Но занесенный над ним кулак главного уже ничто не могло остановить, и кулак со всей злостью, какая была в него вложена, обрушился на голову Фомы. Никогда, ни раньше, ни позже, Петр Васильевич не испытывал подобного желания сбить, смять,

уничтожить стоящее перед ним существо. Кровавые круги плавали у него перед глазами, а он все бил, и бил, и бил...

— Мразь... Мразь... Собака...— только и складывали его губы.— Мразь... Собака...

Им еще много довелось вместе колесить по дорогам Урала и Сибири, а потом служить в одной поездной бригаде, но ни разу никто из них не вспомнил друг другу о том утре в глуши заснеженного разъезда.

Мелодия уплывала за кладбищенские кроны, а Петр Васильевич, поворачивая к дому, озаботился про себя: «Надо бы как-нибудь днями зайти, посочувствовать. Сколько верст вместе намотали, не шутка. Да, надо...»

IV

В доме у Лесковых Петр Васильевич бывал от силы раза три-четыре еще до войны, причем изо всех посещений запомнил только крестины их первенца, Николая, и то потому лишь, что сам был крестным отцом. Жил проводник у старой пекарни, в доме, что поднял его дед — десятник с «железки» — за счет дарового кирпича и доброхотных подношений от работной паствы, отчего, наверное, и стоявшем дольше положенного ему срока без сколько-нибудь серьезного ремонта.

Дверь Петру Васильевичу открыла крохотная чистенькая старушка. Едва взглянув на него, она прожурчала:

— Здравствуйте, входите... Только что началось...

И тут же исчезла, будто ее и не было вовсе. Глаза его еще привыкали к полумраку, осевшему в доме, когда из комнаты впереди, где в слабом свете, что сочился с улицы сквозь щели ставен, можно было разглядеть непокрытые головы слушателей, выбился к нему ровный уверенный голос:

— И был Город. Тысячи лет стоял он среди озер и садов, радуя глаз и сердце своих обывателей. Славя имя Господне, человек рождался в этом Городе и с Его именем оставлял мир. Братская Любовь и Добро творили здесь Закон, и люди не знали, что такое преступление. Каждый возделывал свое поле и пас свой скот, но если кто и нуждался в помощи, всякий с готовностью делился всем, что у него было. Правили Городом самые мудрые и почтенные горожане...

Голос показался Петру Васильевичу удивительно знакомым, но, сколько он ни напрягал память, облик, связанный с этим голосом, ускользал от него...

— И пришел Некто. И стал смущать умы безумными речами об искуплении во имя грядущего царствования. И слабые духом уверовали. Слабые духом стали истязать себя и своих детей. И слово Пришельца, оборотясь деянием, стало, словно мор, переда-

ваться от одного к другому. Боль сделалась высшим мерилом человеческого бытия. И чем страшнее были раны, нанесенные себе, тем большее уважение вызывал человек у окружающих. «Очистимся!» — кричали они, уродуя свою плоть. «Очистимся!» — взывали они, издеваясь над собственными детьми. «Очистимся!» — повторяли и повторяли они, разрушая свои жилища и памятники былой славы Города. Кровь окрасила городские улицы и водоемы.

Попривыкнув к ломкой полутьме, Петр Васильевич скользнул взглядом поверх голов в ту сторону, откуда звучал голос, и по золотой оправе, блеснувшей в полоске света от окна, узнал бывшего смазчика из вагоноремонтного со странной фамилией Гупак. О нем и раньше поговаривали разное, теперь же, слушая его ровную, без единой заминки речь, Петр Васильевич лишь посожалел в душе: «Миновали тебя вовремя твои девять грамм, ваше преподобие...»

— И ушел покой из их мертвых сердец. Возжаждали они всесветной боли. «Сподобим братьев! — кричали гибнущие, истекая кровью.— Сподобим их нашей истины!» И лишь мудрые остались тверды мыслию в этом безумии. У них было средство спасти Город, вырвать с корнем источник несчастья — Пришельца. Но это означало причинить горожанам неизмеримо более тяжкую боль — боль пробуждения в разрушенном Городе. И тогда взоры мудрых обратились к Синаю. Там, среди песчаной пустыни проводил остаток жизни в молитве и раздумье прямой потомок Основателя Города, Пророк Светоч. И мудрые пришли к нему и рассказали ему обо всем. И Пророк выслушал их и сказал: «Это должно было случиться. Безумие угрожает всей земле. И, в назидание остальным, Городу указано своим страданием воочию указать другим Городам, чем это может кончиться. И поколению живущих уже нет спасения. Они сломали не плоть свою — душу, а душа невосполнима. Поэтому сказано вам в Книге Вечности увести из города детей. Пусть вернутся они на отчее пепелище здоровыми духом и телом». Вот что сказал Пророк.

Внезапно голос Гупака взвился до самой высокой ноты, и он прокричал резко и требовательно:

— Так уведите же детей, братове! Не давайте калечить их души! Пусть оставят дети ваши их богомерзкие школы! Пусть не ступит нога ребенка на порог их языческих капищ! Уведите детей, братове! Спасите души, не тронутые порчью!

Последнюю фразу тот произнес уже просительным шепотом, и комната дружно откликнулась на его призыв взволнованным одобрением.

— Воистину!

— В ночи видит...

— Воистину...

— Увезти по деревням от чумы этой...

— Господи!..

Едва Петр Васильевич тронулся с места, знакомая старушка, вынырнув неведомо откуда, заступила ему дорогу.

— Вы уже уходите, брат? — удивленно зашуршала она.— Но ведь еще о новом пришествии будет!

— Мне Лесковых нужно...

Даже в полутьме было видно, как и без того восковая пигалица побелела:

— Лесковы здесь давно не живут.

— А где?

— Не знаю... Кажется, по Рязанской... По-моему, дом пять...— Старушка легонько подталкивала его к выходу, а когда, наконец, он оказался в сенях, предупредила со значением: — У нас есть разрешение. Мы зарегистрированы.

И захлопнула перед ним дверь.

В течение многих лет Петр Васильевич по камушку, медленно и упорно выстраивал для себя свой мир. И, как думалось ему до сих пор, выстроил. В этом мире царили закон и порядок. В нем все было выверено до мельчайших деталей. И жизнь раскладывалась надвое: «да» и «нет». «Да» — это всегда оказывался он и его представления об окружающем. «Нет» — все, что тому противоречило. И он носил этот мир в себе, как монолит, его невозможно ни порушить, ни поколебать. И вдруг — на тебе! — два-три крохотных события, две-три случайные встречи, и мир, взлелеянный с такой любовью, с таким тщением, начинал терять свою устойчивость, трещать по швам, разваливаться на глазах. Оказывается, пока палка его, исполненная собственного достоинства и веса, с утра до вечера выстукивала одни и те же улицы, за стенами домов шла, творилась неведомая ему жизнь, которая не хотела и не могла укладываться в чьи-то схемы и построения. Едва он перешагнул один порог, как родная дочь, тихоня Антонина, обернулась к нему стороной непонятной и озадачивающей, за вторым — смазчик, что и памятью-то отмечен был только из-за диковинной своей фамилии, ходил в пророках. Что же ожидало его за третьим?

Звонить пришлось несколько раз. В квартире слышалось шуршание, отрывистый шепот, лихорадочная беготня, наконец, щелкнул замок, и дверь отворили ровно в длину цепочки:

— Кого вам?

Но уже через мгновение дверь распахнулась настежь.

— Здравствуйте, Петр Васильевич? — Чуть не в пояс кланялась нежданному гостю Настасья Лескова — худая, крепкая еще старуха, с резким и беспокойным как бы от постоянного напряжения лицом.— Вот угодили, так уж угодили... Фомушка-то,— она по привычке всхлипнула и коснулась концом темного платка сухих глаз,— вспоминал об вас перед смертью. Бывало скажет: «Забыл меня, Васильич, совсем забыл». Без зла в душе скончался. Всех простил,— тут Настасья скорбно поджала губы, что, видно, должно было определить для него степень ее посвященности в их тайну,— все

простил... Заходите, заходите, батюшка, будьте гостями... Коля, это крестный!.. Вот и сынок приехал...

В напряженном ее радушии сквозила плохо скрываемая фальшь. Раскинув руки, она, словно неводом крупную рыбину, заводила его в «залу», явно боясь, чтобы он не ошибся дверью:

— Вот сюда, Петр Васильевич... Сюда... Садитесь, располагайтесь... Я — мигом... Коля, спишь, что ли, крестный пришел!

Она скрылась в смежной комнате. Последовал сдавленный говор, затем короткое всхлипывание женщины и снова голос, но теперь более определенный. На пороге появился, почти вталкиваемый в комнату матерью, крестник Петра Васильевича — угрюмый, стриженный наголо детина сорока почти лет в вельветовой паре и хромовых сапогах.

Выглядывая из-за его плеча, Настасья льстиво блудила вымученными глазами:

— Вот, батюшка, молодец какой вымахал! — И сыну: — Видно, и не помнишь крестного-то своего... Так вы тут посидите, а я вам закусить кой-чего...

Настасья, то и дело искательно оглядываясь, заспешила на кухню и, как только она исчезла, Николай без обиняков заявил крестному:

— Не будем темнить, батя: живу я в городе незаконно. Месяц, как от хозяина. Две подписки имею по-новой. В общем, опять без пяти минут лагерник... Тут мамаша икру будет перед тобой метать, так я ни при чем. Мне там,— он кивнул вверх,— просить нечего, все сполна получил и с лишком. Теперь я им,— жестокая усмешка тронула его твердые обветренные губы,— отдавать буду... с процентами...

Крестник начинал нравиться Петру Васильевичу.

— Сколько отбывал?

— Пять.

— За что?

— Врезал одному начальнику промеж рог.

— За дело?

— За дело.

— Все равно многовато.

— Так ведь он до сих пор на аптеку работает.

— Пьяный был?

— Нет, батя, трезвый. Пьяный — убил бы.

— Что умеешь делать?

— Все. Я — мастеровой.

— В депо пойдешь?

— Оттуда и взяли.

— Пойдешь, говорю?

— Не примут.

— Это моя забота.

— У меня две подписки. Не пропишут.

— И об этом не тебе думать.

— Смотри, батя,— светлые, чисто лесковские глаза смотрели на него в упор, и не таилось в них ни улыбки, ни жалобы,— тебе что, сказал — пошел, а я — как на дыбе живу. У меня любой вздох — последний. Лучше не мути душу, выпьем и разойдемся по-хорошему: ни я — тебе, ни ты — мне.

У Петра Васильевича нашлось бы, чем ответить крестнику, за речью у него дело никогда не стояло, но к самому его слову подоспела Настасья.

— Уж вы, батюшка, Петр Васильевич, не обессудьте, чем Бог послал, на скорую руку.— Она споро, с быстротою для ее возраста удивительной, снаряжала стол.— Помянем раба Божия Фому. Царство ему Небесное! — Скатерть на глазах становилась самобранкой.— Вот, батюшка, помидорчиков откушайте, сама солила... Рыбки тоже... Колбаска... Коля, наливай...

Пил Петр Васильевич редко, пьянства не любил во всех его видах, и в другой раз отказал бы наотрез, но под изучающим взглядом крестника и, наскучив Настасьиной лестью, согласился:

— Разве что по одной... Помянем...

— Шесть десятков вот-вот, а как сейчас помню крестины твои, Колюшка,— пела гостю под руку хозяйка,— Петр Васильевич тогда совсем молодой еще были, а уже в начальниках... И не побрезговали... Вы кушайте, батюшка, кушайте... Чем богаты, как говорится... Вот вернулся,— она снова бесслезно всхлипнула и ткнула платком в переносицу,— с кем не бывает, дело молодое, а ему от ворот поворот... Иди куда хошь от родимой матери. Нешто это порядок! Вот вы, Петр Васильевич, человек партейный, нешто, спрашиваю, это порядок!.. Фомушка, вот, помирал... Вспоминал все...

— Хватит, мать,— осадил хмуро ее Николай,— поимей совесть. Кого он там вспоминал, если три месяца не в себе валялся... Посидим по-людски... Ну, общее,— он залпом выпил и тут же отставил стопку к середине стола,— все, хорошенького понемножку...

И это не без одобрения отметил про себя Петр Васильевич, и встал:

— Спасибо хозяйке...— И, предупреждая Настасьины уговоры, обернулся к младшему Лескову.— Тащи-ка мне, что у тебя есть... Пойду, постучусь кой-куда.

Крестник сорвался с места, метнулся к себе в смежную, а Настасья, с благоговейным испугом воззрившись на гостя, беззвучно шевелила злыми губами, как бы силясь сообразить: не подвох ли тут.

— Вот,— Николай влетел в комнату, ребром ладони сдвинул посуду в сторону и выложил перед гостем все свои «верительные грамоты»,— паспорт, справка, характеристика, справка о болезни матери. Вдруг возникшая надежда преобразила его: волчья зябкость в глазах оттаяла окончательно, казалось, навсегда отвердевший подбородок обмяк, медлительные еще минуту назад движения обозначила азартная легкость, и оттого сходство его с отцом стало поразительным,— все в ажуре... И направление в Узловск...

Не глядя, Петр Васильевич сгреб со стола бумаги, сунул в карман:

— Днями загляни ко мне... Будьте здоровы...— Если жизнь в первых двух открытиях лишь поразила его неожиданным оборотом, то за третьим порогом она, тоскующими глазами крестника, требовала от него обязанностей, и он заторопился.— Пойду... Может, и нынче же кого застану...

Настасья молча вывела его в коридор, подала палку и, отворив дверь, неожиданно в упор без всякого осуждения или упрека произнесла:

— Фома-то опосля того и закашлял...

С этой тяжестью на душе Петр Васильевич и вышел на улицу.

V

Быт горисполкома подчинялся годами выверенному и четкому ритму, который можно было определить безошибочной формулой: «от» и «до». Все, что выходило за рамки этой формулы, считалось здесь предосудительным и поэтому, когда Петр Васильевич справился у секретарши, принимает ли Воробушкин, она лишь брезгливо окинула его насурмленным оком с ног до головы и одарила, словно милостыней:

— Константин Васильевич занят.

Старик неспеша разместил свое массивное тело на стуле против нее и, глядя прямо в ее полуискусственный лик, с жесткой ласковостью проговорил:

— Первый закон для тебя: предлагай старшим сесть. Второй закон: отвечай, когда тебя спрашивают, прямо и четко. Третий закон: спишь с начальством, не показывай вида, потому как начальники меняются... А теперь пойди и скажи Костьке, что дед Лашков к нему.— Подумал, добавил: — Дело есть.

Ту будто ветром сдуло с места. Она скрылась за обитыми кожей дверями, почти тут же выскочила оттуда, мгновенно облучив его угодливой карминной улыбкой.

— Константин Васильевич просит вас.

Проходя мимо нее в кабинет, он зорко отметил тщательно припудренные морщины вокруг глаз, предательскую крупичатость кожи под слоем крема, шиньон в редеющих волосах и подумал: «Не моложе моей Антонины да пострашнее, а ведь, поди ж ты, и ею не брезгуют».

А хозяин уже спешил встретить гостя, источая на ходу радушие и сердечность:

— Петр Васильевич! Какими судьбами? Не видно, не слышно. Я уж думал...

Старик озорно докончил:

— Помер.

— Ну, что вы, Петр Васильевич,— замялся, засмущался тот, и по смущению этому было ясно, что именно это слово и застряло

у него на языке,— не заболел ли, думаю... Даже справлялся.— И опять нетрудно угадывалось: не врет, справлялся, только не о здоровье, а, не помер ли? — Садитесь, дорогой... Чайку?

И пока секретарша хлопотала со стаканами, в короткую ту минуту взаимной неловкости, какая всегда охватывает собеседников, связанных давней историей, где один остался должником другого, Петр Васильевич разглядел Воробушкина и нашел, что тот мало изменился со дня их последней встречи, потолстел разве.

Так же, как и тогда — в тридцать девятом — лицо в лицо с ним сидел приземистый, широкий в кости парень, глядя на него из-под низкого лба блестящими и мертвыми, как у мороженого судака, глазами. Только тогда в них отстаивалась мольба. И сидели они друг против друга, но в обратной позиции: молодой машинист Воробушкин — на скамье подсудимых, Петр Васильевич — за столом экспертов дорожного трибунала. И в его руках была судьба незадачливого паровозника.

Воробушкину предъявлялось обвинение в умышленной аварии. И кому не понятно, что это, по тем временам, означало!

Ни с того ни с сего у поворота перегона Петушки — Роща один за другим стали сходить с полотна паровозы. Счастливчиков, оставшихся в живых, сажали, их место занимала молодежь из ударного призыва, но крушения не прекращались. Тогда-то и была создана комиссия, в которую, в числе других, вошел и Петр Васильевич.

Осмотр места происшествия ничего не дал. Раздвинутые огромной силой рельсы, скрутившиеся при сжатии спиралью, никак не объясняли происшедшего. Комиссия засиживалась до третьих петухов, но сколько-нибудь вразумительного объяснения так и не находила.

А уполномоченный особого отдела,— белобрысый парнишка с двумя кубарями в петлицах,— вызывал их по одному и чуть не плакал, упрашивая их поторопиться.

— Бросьте вы канитель разводить! Ясное дело — враг орудует. Вы что, и сами загреметь хотите и меня за собой потянуть! Какие могут быть разговоры: виноват, не виноват? Паровозы под откос летят? Летят. Один за другим? Один за другим. Так какая же здесь к черту случайность! Система! Система вредительства! А мы в объективность играем.

— Вот и надо выяснить, в чем суть,— пытался было возразить Петр Васильевич,— тогда и врага будет легче обезвредить. Да и не нарочно же в самом деле машинисты на смерть лезут!

Сказал и тут же пожалел об этом. Рот лейтенанта, обрамленный едва пробившимся пухом, затрясся, задрожал от негодования:

— Пока мы здесь в шерлокхолмсов играем, враг разрушает наш транспорт. Хватит валять дурака. Закрывайте лавочку, иначе я с вами по-другому поговорю! Либералы, объективщики, черт бы вас побрал!..

Новоиспеченные эксперты почесывали затылки, но держались:

свой брат погибает, путеец. Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем кончилось, если бы однажды Петра Васильевича не осенило, после осмотра очередного паровоза, забраться и под прикрепленный к тендеру вагон.

Здесь-то и разгадалась тайна частых аварий. Один из тросов тяги оказался укороченным, и тяга на поворотах, неравномерно давя на тормозные колодки, вспучивала рельсы. И состав, начиная выделывать «восьмерки» прямо по шпалам, летел под откос.

Коротко, с исчерпывающей ясностью (обвинитель только головой покачивал) Петр Васильевич обосновал свои выводы перед трибуналом, а когда сел, поймал на себе подернутый благодарными слезами Воробушкинский взгляд. После оправдательного приговора Лашков выходил из суда, пожимая по пути чьи-то руки, выслушивая чьи-то благодарности, но смысл происходящего вокруг с трудом пробивался в смутное его сознание: накануне от него ушел младший сын — Евгений. Ушел, не оставив даже записки. Дома, под присмотром десятилетней Тоньки, пластом без слез и слов лежала Мария.

Потом, выдвинувшись, и сам Воробушкин участвовал во множестве подобных комиссий, но экспертные заключения его — неисповедимы пути людской совести! — всегда отличались крутым обвинительным лаконизмом.

И вот теперь они снова сидели лицом к лицу, и Воробушкин, несколько отяжелевший и отмеченный начальственной осанкой, пододвигал ему чай и печенье:

— Хорошо, что заглянули.— Он нажал кнопку звонка; влетела, сияя готовностью ко всему, секретарша.— Анна,— он запнулся,— Ивановна, не соединяйте: срочное совещание. Ясно? — Она понятливо исчезла, хозяин снова обернулся к гостю.— Может, нуждишка какая, Петр Васильевич? Такому человеку, как вы, горисполком всегда пойдет навстречу. Не стесняйтесь...

Докучать занятым людям Петр Васильевич не любил, а просить тем более. Но в случае с Николаем, по его мнению, попиралась справедливость, и оттого ему, считал он, не грех было и поступиться правилом. Просьбу старик изложил, как можно короче и убедительнее. Воробушкин слушал, сочувственно кивал, поддакивал даже, но, стоило ему узнать, о ком идет речь, как он тут же побагровел, вскочил с места и заметался по кабинету:

— Ну, нет, уволь, Петр Васильевич,— хозяин, забывшись, в гневе перешел на «ты»,— это же головорез! Ты знаешь, кого он изувечил? — Он остановился прямо против гостя и назвал, явно желая произвести эффект, известную в городе фамилию.— Один из лучших наших товарищей, гордость, можно сказать, наша, а ты хлопочешь за негодяя, поднявшего на него руку! Не узнаю тебя, Петр Васильевич, товарищ дорогой.

— Ты не мельтеши, Костя, сядь,— подсек его суету гость,— ты сам-то в суть вникал? За что он его?

— Что значит «за что»! — вновь подался по ковру тот.— Что

значит «за что»! — Ошибся человек, не по совести поступил, выходит, самосудом можно? Анархию развести? Каждый каждому судья? Не выйдет! Мы всякого выучим уважать социалистическую законность.

— С того ли конца учить начал?

— С того, товарищ Лашков, с того! Хватит демогогии: «массы, массы!». А эти самые массы приходят и садятся вам на шею. Так что обоюдно учить друг друга будем: и снизу и сверху.

— Другим, значит, где-нибудь, за тридевять земель, с ним легче будет. На тебе, Боже...

— Все, что хочешь,— Воробушкин, наконец, сел,— только не это... И потом, как я буду выглядеть перед пострадавшим?

И видно стало, что хозяин утомлен выслушивать возражения, к которым он не привык, и что его одолевает сейчас сокровенное желание остаться одному наедине с готовой к чтению газетой, ковром под ногами, чаем, самоотверженной секретаршей Анной Ивановной за глухо прикрытой дверью.

— Было время, товарищ Воробушкин,— вставая, решил выкинуть козырь Петр Васильевич, каким при обстоятельствах, хотя бы чуть менее ответственных, никогда не воспользовался бы,— тобой детей пугали. Один бы ты и в жизнь не отплевался. Да и была бы жизнь, тоже бабушка надвое гадала... Короткая у тебя память, Костя...

Как бы защищаясь, Воробушкин поднял руку ладонью вперед:

— Брось, Петр Васильевич, не к лицу тебе.— Он резко отвернулся к окну. Плечи его согнулись и утратили упругость, круглое лицо его посерело и осунулось.— Пусть пишет заявление в депутатскую комиссию. Я распоряжусь.— Он встал и, взглядом уткнувшись в газету, через стол протянул руку.— Всего хорошего, товарищ Лашков...

Гость уходил, оставляя хозяина с глазу на глаз с тишиной и покоем внушительного кабинета, где всякая вещь и любой предмет знали свое место и назначение, где все дышало порядком и субординацией и ничто не терпело незапланированных вторжений.

VI

Дневные хлопоты, как это ни странно, сообщали Петру Васильевичу покойную сосредоточенность в снах и раздумьях. Он сделался мягче, терпимей, сговорчивее. Спалось ему легко и крепко. Исчезло то утомительное беспокойство по поводу всякого недомогания, какое преследовало его раньше. Сознание личной необходимости для кого-то делало жизнь Петра Васильевича обновляюще осмысленной. Всякое утро дарило его ожиданием, и, поэтому, когда однажды он пришел в себя оттого, что кто-то легонько, но с упорной настойчивостью погрохатывал входной дверью, то не удивился столь ранним визитом: «Вот и гость на порог».

Торопливо одевшись, Петр Васильевич вышел в сени открыть — и открыл, и задохнулся обморочным мгновением: сам Витька, молодой Витька, стоял перед ним, посмеиваясь хмельными глазами, только был он против прежнего тоньше в кости и осанистее:

— Здорово, дед Петя!

И лишь тут в сознании облегченно отложилось: «Внук — Вадька, Вадим Викторович!» Внука завозила к нему в тяжкий для сына год сослуживица снохи. Та, в ожидании высылки, рассовывала детей куда попало, лишь бы подальше от беды.

К малолеткам Петр Васильевич испытывал не то чтобы нелюбовь, а эдакую оградительную брезгливость, и в другое время отправил бы мальчишку обратно, но унижение ненавидевшей его снохи польстило ему, и он, скрепя сердце, согласился оставить внука у себя. Тот обвыкал недолго. В сопровождении девятилетней тетки он обследовал округу. Быстро сошелся со слободскими заводилами, и вскоре Свиридово стоном стонало от босоногого воинства, взятого им под свое командование. И дед оттаял, дед узнавал во внуке себя.

Об Антонине и говорить было нечего, она до самозабвения, молитвенно обожала своего племянника, а Мария при виде его всякий раз празднично млела.

В перерывах между набегами на окрестные сады мальчишка залпом глотал книги и до злых слез спорил с дедом о политике. Так что осенью в день расставания в доме царила похоронная тишина. Антонина забилась в чулан и не подавала оттуда голоса, хотя, ясное дело, плакала. Бабка, собирая внука в дорогу, украдкой вздыхала, а Петр Васильевич, который, собственно, и должен был очередным своим московским рейсом отвезти Вадима в столицу и там, у Павелецкого вокзала, сдать с рук на руки снохе, угрюмо смотрел во двор, и костистые пальцы его, вцепившиеся в кромку подоконника, еле заметно подрагивали.

Долго еще после этого сквозь дрему грезился Петру Васильевичу Вадькин требовательный голос:

— Де-е-ед-а-а...

И теперь, через двадцать с лишним лет, та давняя боль отозвалась в нем жарким выдохом:

— Заходи...

Прежде всего внук приник ухом к перегородке, из чего Петр Васильевич заключил, что дочь, несмотря на запрет, все же переписывалась с невесткой, и с шутейной сторожкостью постучал:

— Здравствуйте, тетушка Антонина Петровна, не желаете-с лицезреть племянничка Вадима Викторовича в три четверти натуральной величины? Ку-ку!

В ответ Антонина удушливо поперхнулась, охнула и захлопотала, загремела посудой, едва слышно приговаривая:

— Господи!.. Я сейчас... Я сейчас... Вадичка... Сейчас. Господи!..

Непослушными руками гость отстегнул «молнию» щегольского чемодана, выгрузил оттуда вперемешку с коньячными бутылками

импортную тройку для деда и два демисезонных отреза тетке, ловко одним ударом выбил пробку из «юбилейного», поставил на стол и лишь после этого сел:

— Тащи стаканы, дед...

Чем больше Петр Васильевич вглядывался в него, тем явственнее представлял себе, какие крутые горки довелось одолеть, чтобы так измениться в самой природе своей: ни следа от крепкой основательности лашковского клана. Дерганый, не в меру говорливый, готовый каждую минуту взвиться с места, Вадим, кроме поразительного внешнего сходства, не унаследовал от отца ни одной черты или привычки.

— Понимаешь, старый, я проездом,— торопливо объяснил он деду, допивая бутылку,— у меня сегодня здесь концерт... Думаю, ты не откажешься послушать своего, так сказать, единокровного... А завтра ту-ту, в Липецк... Ты не смотри строго... Живу, понимаешь, как птица, сегодня здесь, завтра — там... С твоего позволения еще одну...

Вошла Антонина, вся в обновках, с подносом, уставленным закусками собственного изготовления, церемонно поклонилась, обставила стол тарелками, осторожно, словно боясь, как бы не потревожить, чмокнула племянника в голову и села напротив, и уже не сводила с него глаз, прямо-таки впивая всякое его слово.

— Постарели мы с тобой, тетушка,— пьяно посмеивался он, наливая ей стакан до краев,— скоро пенсию выбивать будем. Пей, Антонина Петровна, покажем старым бойцам, на что способно молодое подрастающее!

Та жалобно взглянула в сторону отца, но, не встретив осуждения, медленно, с достоинством выцедила коньяк, краешком платка осушила губы и снова с молчаливым благоговением вперилась в гостя.

— Вот это да,— восторженно одобрил Вадим,— тебя, тетушка, как аттракцион показывать! Это же высший класс алкогольного пилотажа. И кто только вас натаскивает? И, главное, когда и на какие доходы? Вот, дед Петя, учись...

— Поздно.

— Учиться, внушают классики, никогда не поздно... Может... сейчас и начнем... Тетушка, распорядитесь...

Внук еще долго дурачился, тормошил то и дело засыпавшую Антонину, затеял было даже танцы, но от Петра Васильевича не укрылось, что веселится тот через силу, слова произносит, не думая, укрываясь в них, как в крепости, от вопрошающих взглядов родни, и что ему совсем, ну, совсем не до шуток. В тягостной бесшабашности его ощущалась тревога, а истерзанные затаенным отчаянием глаза, живя сами по себе, исходили влажным жаром.

Петр Васильевич мог поклясться сейчас, что где-то, когда-то он уже видел такие глаза, уже заглядывал в их сумрачное горение. Но где? И когда? Он машинально повернул бутылку эти-

кеткой от себя, и зряшное это движение, подтолкнув память, вывело ее — звено за звеном — по цепочке воспоминаний в хрупкую мартовскую ночь, там, в эвакуации — на Байкале.

Ночь метельно обжигала дыхание, колким ознобом сквозила под одеждой, не даря их ни одним огоньком впереди. И без того слабосильная лошаденка, сбившись с дороги, совсем сдала, останавливалась, трудно дыша, перед каждым, даже малым застругом, прежде чем решиться одолеть его.

Спутник Петра Васильевича — дежурный по станции Семен Мелентьев, мужик желчный и мнительный — скрипуче поругивался в воротник:

— Черт меня дернул ввязаться в эту канитель!.. Наменяем, я гляжу, мы тут... Еще маленько и — со святыми упокой... Но! Пошла, лягавая!

Береговое село, куда путники двигались с тем, чтобы обменять кой-какое тряпье на продукты, лежало верстах в пятнадцати от станции, и, выехав сразу же после обеда, они, в худшем случае, должны были бы с первыми сумерками добраться до цели, но часы Петра Васильевича показывали десять, а темь впереди все густела и обесцвечивалась.

Лошадь опять стала, сторожко пофыркивая, но, вконец обозленный, Мелентьев остервенело рванул вожжи:

— По-ошла, паскуда-а!.. Душу бы я твою мотал...

Та через силу сделала шаг, другой, и вдруг сани вздыбились задком вверх, а между уткнувшихся в снег оглобель забилась, захрипела ее голова. Петр Васильевич спрыгнул в ночь, в поземку. Передними ногами кобыла по самую шею застряла в глубокой трещине: весна исподволь уже делала свое дело.

Долго и безуспешно они пытались помочь ей выбраться из ледовой ловушки. Петр Васильевич тащил за хомут, а Семен, озверев от страха, то и дело вытягивал бедолагу кнутом вдоль судорожно подрагивающего крупа. Но от каждого нового движения лошадь лишь увязала еще глубже. Наконец все трое выдохлись и, жадно хватая ртом воздух, замерли.

Вот тогда-то, осев прямо против лошадиной морды в снег, Петр Васильевич и увидел близко перед собой те испепеляемые отчаянием и надеждой глаза, какими глядел на него сейчас охмелевший внук...

— О чем задумался, дед? — Внук полуобнял его и, легонько притянув к себе, шутливо пропел: — «Скажи нам, что все это значит...»

— Да так,— он неуверенно пригубил от стопки,— вспомнилось...

Тот, поддразнивая, снова пробасил:

— «Расскажите мне, друзья».

Но Петр Васильевич не слышал. Он все еще оставался там — в той байкальской поземке один на один с теми, взывающими к нему лошажьими глазами, когда жуткая их нестерпимость подняла его и осенила выдернуть из саней слегу и просунуть эту слегу под

брюхо вконец обессилевшей кобыле. Но и вытащенная таким образом лошадь тут же легла, и поднять ее не было никакой возможности. Напрасно, приправляя всякий удар отборным матом, старался Мелентьев, она только напряженно дергалась, вернее, не могла встать. Дежурный отбросил кнут и досадливо сплюнул:

— Стоило надрываться: пусть бы подыхала, стерва... Давай глотнем помаленьку... Самый раз приспело... Потом будем думать. Эта халява все одно не встанет.

Ими хранилась, с боем добытая у станционных лаборантов, четвертинка неочищенного спирта. Мелентьев, отпив свою долю, передал бутылку спутнику. Петр Васильевич сделал глоток, а остальное вылил прямо в глотку лошади, разжав ей послушные ее челюсти. И, едва они успели закусить выпитое мороженым хлебом, как она бойко вскочила на все четыре копыта и разом взяла с места...

— Ты бы, Вадим,— от воспоминания о той вьюжной ночи старику вдруг сообщилось неодолимое желание помочь внуку избыть эту снедающую боль,— пожил у меня, опамятовался...

— Что ты, дед,— тот, трезвея, суровел и томился,— забыл, в каком мире живешь? Сколько себя помню, я не знал, что такое остановиться и вздремнуть. Не жизнь, а сплошная гонка за призраком... Мне скоро сорок, а у меня ничегошеньки: ни жены, ни детей, ни постоянной крыши над головой... Если я сегодня не отработаю свой номер, завтра мне нечего будет жрать. Где же тут о семье думать!

— Дел много — другое можно выбрать.

— Поздно, дед... Попал я в орбиту, из которой не выскочишь. Центробежная сила!.. Как подхватила она меня смолоду, так и несет до сих пор... Ты знаешь, к примеру, что такое спецдетдом? Нет? А колония? Тоже нет. И не надо, не советую... Это там, где душу выворачивают наизнанку и дубят, чтобы ничего в ней человеческого не осталось... Эх, дед, дед, все не так, все не так, а как должно, не знаю. Только не могут, не имеют права люди жить подобным образом... Лучше уж тогда на деревья... Черствые, злые, одинокие, с глухим сердцем... А! — он махнул рукой и поднялся.— Этого не переговоришь!.. Спит тетушка! Не будем тревожить. Пойду в ее половину, вздремну!..

«Да,— вслед ему посетовал про себя Петр Васильевич,— выдалось тебе, Вадим Викторович, не в меру».

Петр Васильевич уж и не помнил, когда в последний раз ему довелось быть в концерте. Лет, может, тридцать тому, а то и больше. Не признавая праздного действия, считал он хождение по зрелищам для уважающего себя человека занятием зряшным и предосудительным, а потому и теперь, лишь скрепя сердце, уступил настояниям внука.

Предупредительная капельдинерша усадила старика в четвертый служебный ряд, сунула программу и, многозначительно оглядывая

его шумных, сверх правил, соседей,— громко — для них — сказала:

— Если вам, Петр Васильевич, что-нибудь будет мешать, вас в антракте пересажу...

Сначала была стареющая певичка в панбархате. Без особого блеска, но с чувством она исполнила несколько старинных романсов, заключив свое выступление песней о комсомольцах, у которых беспокойные сердца. Проводили ее жидко, но вежливо: все-таки, что ни говори, старалась.

Затем молодая пара разыграла одноактную пьесу из жизни греческих патриотов, где Он — генерал, в парусиновой робе, довольно топорно сработанной под американскую форму — с пристрастием допрашивал Ее — мужественную подпольщицу, перепоясанную махровым полотенцем, что, видимо, долженствовало отразить принадлежность национального костюма.

Их сменила акробатическая пара, с демонстрацией вымученной гибкости, уступившая, в свою очередь, место фокуснику в потертом цилиндре, после чего, наконец, объявили мастера художественного слова: Вадима Лашкова.

Чтение вслух Петр Васильевич терпел менее всего, да и кругом, судя по ленивому вздоху зала, было немного любителей разговорного жанра, поэтому старик заранее ощущал неловкость за внука. А тот и впрямь начал вяло и даже как бы нехотя:

— Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке...

Рассказец оказывался и впрямь не ахти: живет у реки никчемный мужичонка-бакенщик, не то перевозчик. Есть у него девка приходящая, тоже не из первого десятка. Мужичонка пьет мертвую, а напившись, поет в два голоса с зазнобой. А чего в том для человека, желающего за свой собственный рубль с полтиной иметь приятный вечер и всевозможное развлечение?

Петр Васильевич взглянул в сторону соседа справа: тот лениво позевывал, и ему стало совсем не по себе.

Но — странное дело! — чем дальше он слушал, тем с большей силой и властностью проникало его судьбой этого, Богом забытого бакенщика, тем острее и томительнее отзывалась в нем текущая со сцены речь. Главное для Петра Васильевича состояло сейчас не в том, как читал артист, а в том, что он читал. Какая-то удивительная, прямо-таки кровная связь возникла у Петра Васильевича с безвестным певцом — бакенщиком. Старик исходил его тоской и млел его радостью. Ему — путейцу Лашкову, отдавшему большую часть своего века колготной суетности железных дорог, казалось, что здесь говорится о нем, и что именно с ним делится герой черной своей судьбою и болью.

Вдоль по морю...
Морю синему...

К сердцу Петра Васильевича подступила горькая истома, и он, уже не воспринимая ни одобрительного гула, ни аплодисментов

вокруг, с волнением и дрожью вслушивался в теплый и благостный отзвук, еще заполнявший его...

Плывет лебедь
Со лебедушкой...

И вот артист, уже как бы и сам обессилев от волнения и тихой радости, заключил:

— ...А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...»

Выходя, старик силился вспомнить название рассказа: «Надо бы достать, прочесть. У Вадима спросить, что ли?»

В сутолоке у выхода слух его выхватил из многоголосого гвалта краткую скороговорку:

— Ну как?

— А, трали-вали...

Петр Васильевич удовлетворенно хмыкнул: рассказ так и назывался: «Трали-вали».

— Завтра Липецк,— Вадим трезво и грустно оглядывал перрон,— послезавтра Валуйки, потом Донецк... И так, дед, всю жизнь... Осточертело...

— Бывает же ведь и у вас отпуск,— после концерта в тоне Петра Васильевича отметилась нота вдумчивой уважительности ко внуку,— вот и заехал бы... Подались бы к деду Андрею в лес... Он теперь в Куракинском лесничестве объездчиком... Славно нынче в лесу... Грибы пошли...

— Да-да, дед,— внезапно оживляясь, встрепенулся тот,— именно в лес! В лес от всего этого... Это ты отлично придумал! — Он явно цеплялся за спасительную дедову мысль, но эта тревожная поспешность внука только подчеркивала тщету его скоротечной надежды.— Рыбу удить будем...

Но едва поезд тронулся, и внук, стоя в дверном проеме тамбура, растерянно и жалко махнул ему на прощанье, Петр Васильевич с обжигающей душу горечью осознал, что они уже больше никогда не увидят друг друга.

VII

Чуткий, пронизанный солнцем лес плыл над Петром Васильевичем, приобщая его своих нехитрых тайн. Терпкие запахи, окрепнув после недавнего дождя, заманивали путника в чащу множеством блестящих росою троп. И всякий новый поворот дороги обещал ему новый предел и новое открытие.

И — вот ведь чудо! — пусть и не раз и не два доводилось Петру Васильевичу бродить чащами с ружьишком или кошелкой, он впервые видел лес таким. Ель являла сейчас собою и ель и еще

что-то другое, куда большее. Роса в траве не была вообще росой, а гляделась каждая по-отдельности; и лужицам на дороге хоть любой особое давай имя. И, наверное, оттого хруст каждой сухой ветки под ногой отзывался в это утро в душе его тихой, но долгой болью.

Пожалуй, только теперь он по-настоящему понял брата, когда тот, лежа в темном беспамятстве от тяжелой контузии, бредил одной тоской — лесом.

В те поры Петра Васильевича срочной телеграммой вызвали в Вологду, где Андрей, потерявший память и речь, валялся в больнице без надежд на выздоровление.

Веселым городом оказалась Вологда. На фоне всего белого, рассыпчатого, крупитчатого — белого кремля, белых горбатых крыш, деревьев в белых малахаях — предметы и люди выглядели уж как-то особенно бодро и выпукло. Хмельной возница в заиндевелом капюшоне — кусок кирпичного лица с заиндевелыми же усами,— рьяно понукая поседевшую в морозе клячонку, вывез его сквозь искристую эту белизну, пестро раскрашенную багровостью бликов, чернью машин, бледной желтизной тулупов и полушубков, к самой больнице — приземистому зданию николаевского еще кирпича.

— Оно самое... Кувшиново... Не дай-то Бог всякому...

И впрямь, оттуда, изнутри, в забранное решеткой окно приемного покоя недавняя праздничная белизна увиделась Петру Васильевичу мертвенной, а низкое небо — с овчинку.

Обстановку приземистого зала о двух окнах, застланного лоскутным половичком, наподобие ковровой дорожки от входной двери к другой — внутренней, составляли лишь обшарпанный стол и стул впритык к нему. Но главное — запах! Из всех знакомых запахов, какие сопровождали его долгую жизнь, ни один не участвовал в этом. Обонялось в нем — в этом запахе — что-то такое, отчего, как и всех, наверное, входящих сюда, Петра Васильевича сразу же пронизало ощущение тихой беды, тягостного ожидания, безысходности.

Ветхий старичок виновато улыбался навстречу гостю, и в этой его светящейся виноватости без труда читался ответ всем посетительским недоумениям: «Вижу, все вижу, и страх и смятение твое. И запахом этим сам век дышу. Но что же я могу поделать? Могу разве лишь попросить прощения вот этой своей улыбкой. Так что не обессудьте и присаживайтесь».

— Садитесь... Э-э... Садитесь... Будем разговаривать... Э-э... С вашего... э-э... позволения... Профессор Жолтовский.— Старичок был и в самом деле дряхл, и «экал» явно по возрастной слабости, а не от профессорского небрежения собеседником.— Как вы... э-э... понимаете... э-э... Дела вашего брата... э-э... неприятны... Мы сделали все, что... э-э... было в наших... э-э... возможностях... Но,— он полуразвел немощные ручки в стороны, развести их шире у него не хватило сил.— Андрей... э-э... Васильевич... э-э... не поправляется.

Здесь Жолтовский совсем обессилел и умолк, тяжело дыша. Дряблые щеки его студенисто подрагивали, кроличьи глаза увлажнились. «Да,— отметил про себя Петр Васильевич,— лет за восемьдесят, не меньше! Это, брат, не одно поле перейти».

Тот еще несколько раз прерывался, чтобы отдышаться, прежде чем закончил свою речь. Из всего выходило, что дела Андрея из рук вон плохи, что болезнь его прогрессирует и что поэтому комиссия решилась на последнее средство: воздействовать на зрительную память больного.

— Понимаете... э-э... Петр... э-э... Васильевич... Так... э-э... Кажется... Поживите у нас... Мы вас... э-э... устроим... Бывайте с ним... э-э... почаще... Может быть... э-э... фотографии... письма... знаками... э-э... что-либо... Вы, надеюсь, не... э-э... безучастны... э-э... к судьбе брата...

Ради Андрея Петр Васильевич решился бы и не на такое.

— Тогда.. э-э... Валентина... э-э... Николаевна!

В комнату, только видно и дожидаясь профессорского зова за дверью, тотчас вошла высокая полная женщина с массивным бесформенным лицом, на котором выделялись глубоко посаженные острые глазки, впрочем, тоже источавшие сплошное доброжелательство. С ее приходом тусклая комната как бы раздалась вширь и вглубь, став сразу уютнее и светлее.

Жолтовский лишь кивнул в сторону Петра Васильевича, его только и хватило на этот кивок, после чего он, уже окончательно обессилев, откинулся на спинку стула и закрыл глаза, точно умер.

Но профессорской помощи здесь уже более и не требовалось. Толстуха, легонько подталкивая гостя к внутренней двери, полностью им завладела и, судя по ее решительности, всерьез и надолго.

— Чуть не ровесник больницы,— вздохнула она, когда они вышли.— Мало кто на нашей работе до его лет дотягивает... Подождите, я вам халатик дам... Так, вы поняли, в чем дело? Это, хоть и против правил, но попробовать следует: а вдруг,— Валентина Николаевна размашисто вышагивала по лабиринтам многочисленных коридоров. Встречные улыбчиво кланялись ей, она коротко сияла в ответ, и становилось ясно, чьим светом жили эти отмеченные тоской стены.— И главное, не бойтесь, больные — люди, значит, с ними, при некотором, правда, беспокойстве, но жить можно... Вот мы и дома.— Ключом, наподобие железнодорожного, Валентина Николаевна открыла ему одну из дверей.— Входите смелее...

В большой сводчатой и оттого несколько мрачноватой палате о восьми — по четыре с каждой стороны — обрешеченных окнах знакомый уже запах становился почти нестерпимым. Разноголосая сутолока, колготившая в четырех ее метровой толщины стенах лишь укрепляла гнетущее чувство под сердцем: «Занесло тебя, Петя, хоть ноги в руки — и беги!»

Какой-то малолетка с неестественно удлиненным профилем, озарившись блаженной улыбкой, вдруг кинулся им наперерез:

— Смотрите, Вальдмитрь, сам... сам...

И не из праздного любопытства, не по должности она разглядывала те карандашные художества подопечного,— воробей на этот счет Петр Васильевич был стреляный, не в одном госпитале провалялся,— а с неподдельной заинтересованностью и даже как бы с азартом.

— Молодец, Паша! Только вот здесь,— она взяла у него из рук карандаш и несколькими штрихами придала царившему на бумаге хаосу подобие порядка,— я бы сделала так... И еще... Делай, Павлик,— под ее быстрой ладонью паренек заулыбался еще шире,— молодец...— И к гостю.— Пойдемте... Сирота, эпилептик... Привели волчонком... Оттаял... Ну, вот... Теперь — спокойнее... Андрей Васильевич сегодня немного понервничал, пришлось легонько закрепить...

Ватными ногами сделал Петр Васильевич несколько последних шагов до его койки, сделал и сам того не заметил, как тут же мертвой хваткой вцепился в карман халата своей сопроводительницы: тусклыми глазами глядя в потолок, весь в испарине, Андрей рвался из пут. Желваки в ржавой недельной щетине вздувались, словно бы тщась выпростаться из-под прозрачной кожицы, обтянувшей его лицо. И ни одного звука, даже мычания, так свойственного немым, не исходило от него.

— Андрюха,— опаляясь слезами горькой нежности, он оглаживал дрожащими ладонями судорожно сжатый Андреев кулак,— как же это ты, Андрюха?.. Зачем?..

Петр Васильевич и не помнил более, сколько он просидел вот эдак, глядя, как затихает под его рукой братенино беспокойство, пока тот не смежил глаза и не затих окончательно.

Скорые зимние сумерки, выползая изо всех углов палаты, заманивали его обитателей под одеяла. Вокруг становилось просторнее и тише.

Сбоку от Петра Васильевича, сидя друг против друга на койках, двое в халатах поверх исподнего сокровенно переговаривались:

— Я — человек прямой: сказал — отрезал. «Где, говорит, насечка?» А я ему: «Так ведь договаривались, Пров Силыч!» А он мне р-раз по зубам. А я человек прямой, говорю: «Какие такие права?» А он мне еще р-раз...

— Правильно! И я завсегда после похмелья — квас. Да так, чтоб дух вон — со льду.

— «Это как пить дать,— говорю,— в милицию, Пров Силыч». А он мне ка-ак звезданет. А я человек прямой. Я — куда. Я — до дому.

— Правильно! Мы на Октябрьскую, помню, полведра на двоих с тестем и — ни в одном глазу. Одно слово — квас.

— Ишь, ведь какую манеру взял, а я человек прямой...

Они говорили между собой с такой уважительностью и таким взаимопониманием, что обескураженный было Петр Васильевич вдруг неожиданно для себя заключил, что, наверное, людей может объединять что-то куда большее, чем слова...

— Закурить есть, землячок? — Из-под одеяла с койки напротив его с любопытством оглядывали рачьи, тронутые снисходительной усмешкой глаза.— Заснул? Чует родную кровь, сукин сын. Тяжелее туза и валета не держал ни зиму, ни лето, а с твоим братаном за всю жизнь повтыкал.— Сосед прикурил, затянулся.— Сразу видно, Моршанская... Он ведь, знаешь, как начнет рваться, только держи... Ну и держу, без оплаты сверхурочных... Жалко, свой брат — окопник... У меня ведь тоже вторая группа... Пошли к печке, пока спит... Еще достанется...— И хотя трезвость суждений и выказывала в новом знакомце человека в своем уме и памяти, Петр Васильевич, взявший уже себе за правило готовиться здесь к любым фокусам, откровенно говоря, ожидал, что тот в любую минуту может выкинуть какое-нибудь «коленце»: не зря же, в самом деле, их всех сюда заперли!

Когда сосед встал, то оказался высоким костистым мужиком, с памятыми рыжими подпалинами остро-бесовского лица. Властная вальяжность обозначала каждое его движение, так что даже драный больничный халат лег к нему на плечо по меньшей мере царскими соболями. Он шел палатой с уверенностью и значением человека, который во всяком месте привык считать себя первым.

У гудящей голландки молчаливо покуривали два санитара. Один — крупный губастый старик с редким седым ежиком — время от времени ожесточенно растирал в прокуренных пальцах остывшие угольки из поддувала. Другой — совсем молодой и как бы чем-то и навсегда испуганный — безучастно следил за ним. И оба они, по всему было видно, сопереживали только что законченный и для обоих них огорчительный разговор.

— Не спишь? — с тяжкой ухмылкой отнесся рыжий к молодому.— Плохой знак. Значит, сегодня, начальник?

И не выдержал парняга смешливой горечи рачьих его глаз, опустил взгляд долу, еле слышно выдохнул:

— Сегодня, Иван Сергеич...

— Тогда давай, начальник, погреюсь напоследок.— Рыжий величественно оседлал услужливо пододвинутый ему парнем табурет.— Еще по одной свернем, землячок?

И все снова умолкли. За синими окнами в сумеречной тишине торжественно струился снег. Веселое пламя летучими бликами никло к предметам и лицам. И, если бы не горячечное, то тут, то там возникавшее в палате бормотание, можно было подумать, что мир этот устроен в общем-то тепло и уютно, что снег будет идти еще целую вечность, но целую вечность будет гореть веселый огонь в голландке, и что им — всем троим — уже некого ждать и некуда торопиться.

— Я, землячки,— огненные чертики бесшабашной каруселью закружили в острых зрачках Ивана Сергеевича,— сказку в бессонье придумал... Нет, ей-богу! Лежал, лежал — само и придумалось...

Не принимая его озорующего тона, санитары угрюмо отворачивались, слегка посапывали, и в этой их угрюмости и посапы-

вании явно чувствовалось беспокойство или, вернее, тревога, которая еще безотчетно, но час от часу все явственнее передавалась Петру Васильевичу...

— ...Начало старое... Жил-был у бабушки серенький козлик... Бабушка козлика, конечно, очень любила... Ну, а дальше уже все по-моему... Вышел козел, в свою пору, от бабушки, стал рогами шевелить... Есть, значит, хочется... А дело к зиме шло: ни травы тебе, ни ягоды. Встречается ему лиса. «Что,— говорит,— безрогий, рогами шевелишь?» «Есть,— говорит,— хочу, а травы нету». «Дурак,— говорит,— какой же осел нынче траву потребляет? Все давно мясо жрут». «А как же,— спрашивает,— мне мясо есть, коли я — козел? По штату не положено». «Дуб,— говорит,— работай под серого. Нынче все под него работают. Зайцы и те без убоины спать не ложатся». «А как же,— спрашивает,— я задержу кого, кто же меня — козла — испугается?» «А ты «на бога» бери, горлом. Нынче все, которые с мандатами, горлом берут...» Махнула хвостом рыжая и смылась. Послушал козел суку, стал под серого работать. Спервоначалу поташнивало от убоины, а потом пообвык, пристрастился. Как-то в темени да с перепугу сам двух истинных серых волков загрыз. Живи — не хочу... Только чем дальше, тем хуже, пропадать стала в лесу пища. Это, значит, столько развелось хитрых да ушлых, и все серые, и все с мандатами... Мяса — нет, а на траву уже козла и не тянет. Затосковал козел: «Ну, в гроб же твою мать!..»

Дверной замок, казалось, еще и щелкнуть не успел, а уже все четверо разом обернулись и напряглись, до того чутко каждый звук отзывался в их напряженном сознании. И стоило в проеме полуоткрытой двери появиться дежурному врачу, из-за спины которого в освещенном коридоре маячила фуражка с красным околышем, Иван Сергеевич встал и двинулся к выходу, кивнув на ходу парню:

— Веди.

Тот вскочил, в спешке с грохотом опрокинув табуретку, и лишь здесь Петр Васильевич отметил и форменный его китель под халатом, и по-уставному, до зеркального блеска вычищенные сапоги.

Старик тоже поднялся:

— Пойдемте... Вам все одно там постелено.

В кориродe, под присмотром врача, двух солдат, конвойного команды и третьего — больничного, переодевался Иван Сергеевич. Делал он это с неторопливой основательностью человека, привыкшего к дальним и долгим дорогам, где всякое упущение в одежде всегда сможет обернуться для ее хозяина самой неприятной стороной. И только когда последняя пуговица наглухо успокоилась в своем гнезде, рыжий позволил себе, взглядом выгородив изо всех одного Петра Васильевича, в последний раз поерничать.

— Плюнуть бы козлу, землячок: «Мать ее в гроб!» И по новой — на подножный... Да поздно...— Он обернулся к конвою, протянул руки.— Захлопывай, начальник.

Наручники перехватили ему запястья, и через минуту путь его к выходу отмечался лишь глухими хлопками многочисленных коридорных дверей впереди.

Избегая вопрошающего лашковского взгляда, старик-санитар пробурчал себе под нос:

— Дезертир... Наш — тутошный... Отстреливался, двоих на душу взял... Хлопнут... На экспертизу привозили... Признали — нормальный... Помилуй его душу грешную... Ложитесь, в случае чего — разбужу...

Дни пластались один к одному, схожие друг с другом, словно бусины первой капели за окном, а в тусклом взгляде Андрея не добавлялось ни свету, ни сознания. Лишь изредка во сне, в бредовом крике рвался из него едва членораздельный какой-то зов, слово какое-то неопределенное, но пробуждение вновь смыкало ему жесткие губы беспамятной немотой.

В больнице к Петру Васильевичу настолько привыкли, что даже старик Жолтовский, обходя в сопровождении выводка студентов палату, всякий раз принимал его за санитара:

— Голубчик... Э-э... Распорядитесь... Э-э... Сменить халат. Э-э... Семенчуку... Никуда... Э-э... Не годится... Прошу вас...

Не хуже штатного ординатора успел Петр Васильевич изучить историю и происхождение болезни любого из обитателей палаты, а со многими и сойтись запросто. Оказалось, что если вслушаться, всмотреться во все здесь происходящее, то под внешней путаницей слов и поступков можно легко обнаружить обычный человеческий быт с житейскими его страстями и закономерной целеустремленностью. Тонкостям интриг из-за освободившейся койки у печи могли бы позавидовать самые дошлые умы дипломатического корпуса, а борьба за добавки мало чем отличалась от ведомственной возни вокруг дополнительных ассигнований: жизнь везде оставалась жизнью.

Молчаливость Петра Васильевича располагала мятущиеся в неразрешенных загадках души к доверию, и вскоре он уже не удивлялся, когда обычно молчаливый парафреник Мущинский конфиденциально делился с ним:

— Сегодня с утра, Петр Васильевич, через меня начал свое прохождение Плутон. Тяжелая, знаете, планета. Сплошной аммиак. Переживаю мучительный процесс. Решил повременить с обедом.— Отечное бабье лицо его расплывалось в мечтательной умиленности.— Вот третьего дня сквозь меня проходил Марс. Какая планета! Прелесть! Правда, мало кислорода, зато удивительная легкость, чистота во всем организме! Верите ли, до сих пор снится...

В обычной жизни Мущинский был зубным техником, и ничто не предвещало ему беду, если бы однажды его пациент после удаления зуба не скончался от заражения крови. Психика преуспевающего техника дала отбой, и Кувшиновская больница пополнилась очередным безнадежным обитателем.

В сумерках, на пороге боковушки, где размещались свезенные

из лагерей заболевшие военнопленные, появлялся Курт Майер, в одном исподнем, и Петр Васильевич, словно исправляя некую вмененную ему обязанность, вставал, чтобы оделить незадачливого немца даровым моршанским куревом.

— Гут,— бормотал тот,— данке шен... Их бин аус Фюрстенвальде... Их хабе зон Франц унд фрау... Зи хайст Гизела... данке шен...

Его перебивал желчный голос страдавшего старческой бессонницей Мокеича — шизоидного фанатика из раскулаченных:

— «Их», «Них», черт полосатый! Весь мир покорил, а Расею вшивую одолеть не мог! Вот и поди тут зубами щелкай... Только душу раздразнили, сукины дети... Как святых, прости Господи, ждали: придут — спасут. Спасли, кобели шелудивые... Одна надежда теперича — америкашки... Да разве они люди — все в шляпах? Жрут себе персики и сопят в две дырочки, а нам пропадай... У, германская харя, я б тебе не токмо закурить — дерьма пожалел бы...

Враждебность старика действовала на немца удручающе, он мгновенно тускнел, уменьшался в размерах и спешил укрыться от нее в спасительной темноте своей спальни, а Макеич, довольный произведенным эффектом, язвил в сторону Петра Васильевича:

— Эх, ты, голова садовая, нашел, кого одаривать...

Не один и не два снегопада откружили над Кувшиновым до того, источенного солнцем мартовского утра, когда Андрей, разомкнув опаленные бредовым жаром веки, произнес наконец первое отчетливое слово:

— Пе-тёк?..

Сознание возвращалось к брату с мучительной медлительностью, и еще много дней и ночей в больнице, а потом дома — в Узловске, по крупице собирая самого себя, цеплялся он за каждое слово и воспоминание, прежде чем ему удалось освоиться объездчиком в лесу, где и шагал сейчас — чуть не пятнадцать лет спустя — Петр Васильевич.

Из-за поворота навстречу ему беззвучно выкатилась линейка, и по форменной фуражке, привычно сдвинутой на самые брови, он сразу же узнал брата. Тот, в свою очередь, завидев его, осадил лошадь, бросил вожжи и смешливо взял под козырек:

— Петру Васильевичу!

— Так-то ты брата своего встречаешь,— он вглядывался в Андрея, страшась обмануться сокровенным ожиданием, но тот прежней своей озорной улыбчивостью облегчил ему сердце, и пронзительная нежность охватила его.— Здорово, чертушка!

— Начальство, понимаешь, с утра ввалилось, еле отбился. Вот и припоздал, садись...

Некоторое время ехали молча. Они выбирали из множества слов и мыслей, подступивших к ним, самое главное, самое необходимое, но, видно, именно поэтому против их воли выговариваться стало все то зряшное и малозначительное, что не имело сейчас к ним и к их встрече прямого отношения.

— Богатый лес у тебя.
— Середь голи и нищий прынц.
— Что так?
— Изводят.
— На твой век хватит.

Андрей обжигающе коротко взглянул в его сторону, да так обжигающе и так коротко, что он сразу же пожалел о сказанном.

— Все вот так-то,— грустная горечь тронула его губы,— после нас хоть трава не расти... А коли бы до нас все эдак думали? Земля бы давно голая осталась! Ни красоты, ни радости.— Сбивчивая горячность вдруг охватила Андрея.— Себя, суть свою истребляем... Это куда же годится! Саранча эдак живет, а мы человеки, нам голова дадена... Намедни застал одного в подлеске. Орудует топором, кряхтит от усердия. «Что же ты,— говорю,— делаешь, сукин сын...» «Не твое,— говорит,— казенное, не убавится, а мне,— говорит,— кнутовище надобно». Кнутовище ему, надобно. Корней двадцать за ради этого самого кнутовища извел... Вдолбили ему, все, мол, твое — бери. Он и берет... Хватает, где можно, от земли, а у земли-то тоже дно терпения есть: не выдержит, восстанет. Все спрячет — и хлеб и воду... Перегрызем тогда друг дружку, как звери... Но, шалая!

Лес заметно редел, выводя дорогу к высокой опушке, и вскоре в стремительном березняке обозначились темные строения лесничества, у крыльца которого, покуривая, толпился народ.

Едва линейка миновала ворота, как от крыльца отошел и вразвалочку потянулся к ним низкорослый, почти квадратный усач в заношенной и давно вышедшей из официального употребления индиговой паре и в огромных, не по росту, болотных сапогах.

— Рад — не рад — принимай.— Говоря, он старался не глядеть в Андрееву сторону.— У меня коровы все звезды пересчитали... «Сам» нагрянул, приказал перекрыть... Так что — хочешь не хочешь — сорок кубов надо, как одна копейка... Держи билет... Столби делянку... Нынче и свалим...— Он неожиданно ожег Андрея почти невидящим взглядом крохотных, глубоко запрятанных в складках апоплексической кожи глаз.— Ну, чего смотришь? Что я из-за твоего леса под суд идти должен? Хером, что ли, я коровник крыть буду? — И, сплюнув в сердцах, снова отвернулся.— Пропадай оно все пропадом!

Речь усача Андрей дослушивал, стоя спиной к нему и распрягая лошадь, и, вроде бы, оставался равнодушным ко всему, что говорилось здесь, и только чуткие, с дрожью теребящие хомутный ремешок пальцы выдавали лесника. Но когда, наконец, он оборотился, обмякшее лицо его не выражало ничего, кроме вызывающей бесшабашности:

— Какой разговор! Руби, председатель! Рощицу у распадка знаешь? Вот ее и руби. Лишнего прихватишь, тоже не беда — сочтемся.— Он шагнул мимо оторопевшего председателя к крыльцу

и уже оттуда кивнул брату.— Заходи, Петр Васильевич, чай пить будем...

С лихорадочной поспешностью Андрей расставил по столу нехитрую снедь, одним ударом вышиб картонную пробку у «Московской», до краев заполнил стаканы и лишь после этого сел и молвил печально и глухо:

— Бывай здоров, Петёк... Лесу на наш век хватит...

— Брось, не мальчик уже...

— А, черт с ним со всем! — Во внезапной его веселости сквозило отчаянье.— Вот сумеешь ты, Петёк, скороговорку сказать: «Цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла»? Или вот еще: «Курка клюет крупку, турка курит трубку»?

В полдневной тишине за окном явственно отозвался стук топора. Размножаясь, стук крепчал, становился все чаще и отчетливее.

— А эту,— исступленные глаза Андрея набухали злыми слезами.— «Ехал грека мимо реки, видит грека: в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап»? — Заглушая дробную поступь лесной рубки, речь его переходила в крик.— «Сидят колпаки не по-колпаковски, надо их переколпаковать»... А?

— Андрюха... Ну что, ей-богу...

Но тот уже не слушал брата:

— Попробуй скажи: «Погода размокропогодилась, погода рассухоперепогодилась».— Его вдруг прорвало.— Руби, председатель, руби! — В упор сойдясь заплаканным взглядом с Петром Васильевичем, он затрясся мелкой ознобливой дрожью.— Запалю! Запалю! Пускай сгорит лучше! Нету моего больше терпения. Все равно сгрызут все, как моль. Шершеля, шершеля проклятые, свою душу источили, за земь принялись... Пускай все сгорит, только не им в ненасытную их утробу... Шершеля!

Спрятав лицо в ладони, он стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и Петр Васильевич, удивленно проникаясь его мукой, должен был сознаться себе, что родного собственного брата своего до сих пор не постигал, как не постигал да и не мог постичь и другого — Василия, застрявшего после демобилизации с гражданской где-то в Москве не то истопником, не то дворником: «Пора бы и Ваську разыскать, может, жив. Какие уж в наши-то годы счеты»!

VIII

Затяжной дождь, наглухо оседлав окрест, сопровождал Петра Васильевича от самого Узловска. Казалось, поезд движется дном огромного водоема: дома, лесополосы, верстовые столбы, причудливо изламываясь в дождевом мареве, грузно оплывали по оконному стеклу.

Прямо против Петра Васильевича, на почтительном, однако, расстоянии друг от друга томились в маятной неприязни двое — он и она. И по тому, с какой надменной неподвижностью

утвердила она — сухая жилистая баба — свой по-птичьи профиль, отворотившись от него,— бритого наголо толстяка в затасканном офицерском кителе с жиденькой полоской орденских ленточек вдоль левой груди,— можно было безошибочно определить степень их родства и взаимоотношений.

Затравленно и жалко взглядывая в ее сторону склеротическими глазами, толстяк, словно заведенный, то и дело выжидающе тянул:

— За руки ходили...

Но птичий профиль оставался все так же прям и неподвижен, и только узловатые руки ее, нервно тискавшие носовой платок, всякий раз после его слов на мгновение судорожно замирали...

— За руки ходили...

Судя по всему, безоблачные те времена их минули лет не менее тридцати тому, но искра счастливой поры, видно, еще теплилась в одном, хотя и слишком слабо, чтобы отогреть давным-давно угасшее сердце другого.

Наконец, она не выдержала, встала и надменно выплыла из купе. А толстяк, словно только и ожидавший ее ухода, прорвался перед Петром Васильевичем:

— Пью, конечно, не без того... А с чего пью? Лет пять, как демобилизовался, а приткнуться не к чему... Поначалу бросили на Дом культуры... А разве это порядок, кадрового офицера в культпросвет? Иной двум свиньям хлёбова не разольет, а ему, пожалуйста, пост. А меня, где дыра похуже, туда и пихали, пока сам не плюнул и не ушел на пенсию... И потом — дети... Гонору в них тьма, а уважения к родному отцу никакого. Все уязвить норовят, снасмешничать, солдафон, мол... Здесь и святой запьет... И вот, на старости, можно сказать,— он явно кокетничал возрастом в расчете на сочувствие собеседника,— разводную. Каково? Вырастил, выкормил, а теперь: от ворот поворот! — Он неожиданно осекся, заслышав близкие шаги своей благоверной.— Так-то, дорогой товарищ...

Она вошла, не удостоив их даже взглядом, села, и птичий профиль ее вновь молчаливо замер у истекавшего ливнем окна.

А Петру Васильевичу вдруг представилась на ее месте другая женщина, много лучше и моложе, в другие, куда более строгие и тревожные времена, сидевшая вот так же прямо против него в служебном купе поезда, который он тогда сопровождал.

Только была ночь и было лето.

Забившись в дальний угол, Мария, подобранная им в Епифани по просьбе знакомого путейца, доводившегося ей дядей, не мигая и даже как бы с вызовом смотрела в его сторону и молчала. Молчал и обер. Привыкнув разговаривать с такого рода пассажирами в тоне грубоватого покровительства, он неожиданно для себя робел перед нею и смущался. Что-то увиделось обер-кондуктору в этой неказистой с виду девахе, отчего ему всякий раз, едва он вознамеривался взять былой тон, перехватывало дыхание.

Первые слова вымолвил, будто гору одолел:

— Узловские сами?

Она ответила коротко, но с готовностью:

— Не, мы с шахты.

— Сычевские, значит?

— Они самые.

— В гостях были?

— Не, по хозяйству.— И тут же пояснила: — Тетя Груша приболела, дом присмотреть некому, а нынче встала, вот я и к себе... Смерть — соскучилась...

— Скоро будем.

— Скорей бы.

— Много ль вас дома-то?

— Окромя меня, пятеро. Мать с отцом и сестер трое.

— Нелегко отцу-то?

— Нелегко.

В их разговоре, во внешней его обыденности таился еще и другой, понятный только для них двоих смысл, где каждое слово имело свое сокровенное, понятное только им значение. Стремительно и властно ее и его захватывало предчувствие неотвратимости этой встречи, и поэтому, чем ближе и устойчивее становились огоньки Узловска в заоконной темени, тем трепетнее и тише звучали их голоса...

— Весело у вас в Сычевке...

— Уж там и веселье: выпьют парни да куражатся...

— Узловские наши ходят?

— Не, стерегутся.

— Что так?

— Не привечают их у нас ребята...

— Чем же не пришлось?

— Чисто ходите... И другое, разное...

— А коли не побояться?

— Попытайте долю...

Первый станционный фонарь раздвинул ночь впереди, и, победно возликовавший было обер, впервые, пожалуй, за недолгую свою службу подосадовал столь скорому прибытию:

— Значит, не прогоните?

— У нас места всем хватит,— скокетничала непонятливостью она.— И девки наши не хуже узловских.

— А мне всех и не надо...

И он, наверное, не выдержал бы, выложил ей все, что вдруг так внезапно и жарко заполнило его душу, но поезд, в последний раз дрогнув, замер. Мария поднялась, прошелестела мимо него к выходу, откуда молча поклонилась ему, и тут же исчезла в проходе.

А на другой день к вечеру, едва за Хитровым прудом выплеснулся первый балалаечный перезвон, Лашков в свежей суконной паре уже вышагивал в сторону Сычевки, и хромовые — бутылками — сапоги его празднично блистали в розовом свете затухающего заката.

И, еще не дойдя до околицы, услышал он, выделенный им теперь изо всех голосов, ее голос, и все замерло в нем, и душное стеснение под сердцем перехватило ему горло...

Гармонист, играй припевки,
Расставайся, Мишенька.
Не спешите замуж, девки,
Еще хлебнете лишенька...

А та, будто чувствуя его недалекое присутствие, неслась к нему очередной припевкой, и душа его при этом головокружительно холодела:

Платье белое наглажу,
Вдоль по улице хожу.
Захочу кого — отважу,
Захочу приворожу.

Долго еще ходил он вокруг посиделок, стесняясь чужаком втереться в шахтерское веселье, пока, наконец, Марию уж после полуночи не вынесла к нему последняя ее частушка:

Гармонист у нас один,
Балалаечник один.
Не ходите, не просите,
Никому не отдадим...

Мария выявилась перед ним в темноте так близко, так неожиданно, что он только нашелся:

— Вот к родне наведывался...

Та лишь обморочно выдохнула:

— Здравствуйте, Петр Васильевич...

И хотя в эту ночь у Хитрова пруда они сказали друг другу едва ли более двух слов, он, возвращаясь к себе, не шел, а летел, опаленный никогда ранее не изведанной им радостью.

Его свалили почти у самого подхода к слободе против соседствующего с его усадьбой кимлевского сада, а свалив, били с молчаливым остервенением, даже, казалось, сладострастием. И только когда кровавые круги поплыли перед разбухшими глазами обера, к нему сквозь ускользающее сознание пробился чей-то хриплый от азартного жара голос:

— Не добивайте, братцы, пусть покашляет, пес... И другим дорогу в Сычёвку закажет... Рылом покуда не вышли да для наших девок...

Один Бог знает, как он добрался домой. А когда пришел в себя, то вместе с утренним светом и болью воспринял ошеломляюще знакомый, тронутый отчаянием говорок:

— И что же они с вами сделали, ироды! Звери дикие, угольная прорва... Хуже зверей, право... Ироды!

— Маша,— только и сказал Лашков, снова впадая в забытье,— не уходи...

И она осталась.

Осталась до самого того слякотного мартовского дня, когда

четыре ее свояка на двух полотенцах вынесли ее за порог лашковского пятистенка.

И не раз еще потом переживший дочку отец ее — Илья Махоткин — по пьяной лавочке, минуя дом Петра Васильевича, с хмельной укоризной кричал в сторону его окон:

— Погубил ты, Петька, ирод, девку! Голубиную душу погубил! Сушь, сухой дух от тебя идет... Кощей ты, ирод, который бессмертный, и нет в тебе ни одной живой жилы. Христос с тобой!..

Размытый было воспоминанием, против него вновь обозначился птичий профиль неколебимой соседки, так-таки и не отвечавшей на жалобный зов своего отставника:

— За руки ходили...

IX

В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска, она увиделась ему еще более, против прежнего, гулкой и неуютной. Долго, стараниями даровых советчиков, блуждал он в паутине Сокольнических переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу. Нужный ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного, в два этажа, дома, над крышей которого гляделся другой — каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось: «Сорок с лишком лет, шутка ли!»

В сумраке пропахших кошачьим бытом сеней он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился: «Откроет и не узнает, да». Но едва в проеме двери перед ним определилось заспанное, в сивой щетине лицо, как всякое сомнение оставило Петра Васильевича: за порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу старик явно ихней — лашковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два, лишь слегка присвистнул навстречу гостю:

— Ишь ты... Проходи...

Захламленную, похожую скорее на логово, чем на жилье, конуру брата скупо освещало забранное со двора частой решеткой тусклое окошко. Стены, оклеенные старыми газетами, немо кричали довоенными еще заголовками: «Пламенный привет героям-челюскинцам!», «Раздавим гадину!», «Руки прочь от Мадрида!». На колченогом столе, в окружении порожней, разных калибров посуды, простуженно отсчитывал время обшарпанный будильник. Опускаясь на придвинутый братом стул, Петр Васильевич растерянно огляделся:

— Так и живешь?..

— Так и живу,— безучастно отозвался тот, рассовывая посуду

со стола по разным углам и заначкам.— Народ ко мне ходит простой, не брезгует, а кому не по нраву, гуляй в другое место... На-ка вот, ободрись с дороги.— Трясущимися руками он разлил непочатую еще четвертинку в два стакана и один из них пододвинул брату.— Со свиданьицем...

В наступившем затем долгом молчании Петр Васильевич исподтишка присматривался к брату, стараясь по черточке, по отметине восстановить для себя в памяти именно тот облик, который сложился в его воображении задолго до этой встречи. Будучи пятью годами старше Василия, он сызмала сохранил к тому чувство снисходительного превосходства. Но самолюбивый и упрямый, как и все почти Лашковы, тот, едва оперившись, поспешил вырваться из-под его опеки, и уже к совершеннолетию ушел на шахту, откуда и мобилизовался в армию. Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск к однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь у него складывалась еще круче и что старость он встретил бездетным бобылем в том же доме, где и поселился с самого начала. Лет десять тому Василий внезапно замолчал, и память о нем в родном городе окончательно заглохла и выветрилась.

И теперь, вглядываясь в смутно обозначенные черты, Петр Васильевич с затаенным сожалением отметил про себя их преждевременную пепельность и желтизну, горестно догадываясь, какой мерой отмерено было брату всего за долгие годы их разлуки.

— Может, домой соберешься? — осторожно подступился он к Василию.— Места хватит. Что нам двоим нужно? Жизнь у нас там дешевая. Да и веселее вдвоем-то.

— Поздно, Петёк,— отмякшие после выпитого глаза его затягивала благостная поволока,— кому я там в Узловске нужен!

— А здесь,— не отступался Петр Васильевич,— кому?

— Здесь? — Голос хозяина тронула обезоруживающая печаль.— Здесь, братишка, у меня все. Вся жизнь у меня здесь. Жизни-то, правда, не было, маета одна, но какая была — не забыть... Эх, Петёк,— он вдруг вцепился в гостя слезящимся кроличьим взглядом, скулы под его недельной щетиной взволнованно заострились,— и каким только ветром нас закружило!.. Помню, пришел я сюда из армии, живи — не хочу! Считал, вся доля — впереди: лета — самый возраст, анкета — одни заслуги, девки — на выбор. Только не вышло по-моему... Не дали. Как начали с меня долги спрашивать, так досе и не рассчитаюсь. Кругом я оказался всем должен: и Богу, и кесарю, и младшему слесарю. Туда не пойди, того не скажи, этого не сделай. И пошло, поехало, как в сказке: чем дольше, тем страшней. А за что? За какую-такую провинность? — От слова к слову в речи его все отчетливей проступала злость.— Или я у кого жизнь свою взаймы взял? Ты вот, Петёк, партейный — рассуди...

Слушая брата, Петр Васильевич напряженно следил за тем,

как в паутине, затянувшей верхний правый угол над окном, судорожно и уже явно обессилев, дергалась и вздрагивала одиночная моль. Паутина при этом пружинисто колыхалась, затягивая добычу все туже и туже, пока пыльные крылья жертвы окончательно не замерли в ее губительной сети.

— Все барина, Вася, ждете.— Сочувствие, сообщенное было ему вначале хмельной болью брата, обернулось в нем под конец откровенным раздражением.— Вот приедет барин, барин нас рассудит. А самим для чего голова дадена? Или не можете уже без няньки?

— Могли.— Лицо Василия жестко отрезвело и пошло белыми пятнами.— Только вы не дали. Занянчили нас пугачами своими. Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Вот и вся ваша погудка. Хочешь — не хочешь, иди, куда велят. А пришла пора помирать, глядишь, весь как задом вперед шел, а вы погоняли.

— Я хлеб свой не в погонялах зарабатывал.— Разговор принимал крутой оборот, и не в правилах Петра Васильевича было в таких случаях отступаться.— У меня мозоли не дареные — свои.

— Чем натёр-то? — Тот даже не старался скрыть вызова.— Колокольчиком на собраниях? «Слушали — постановили». Понаслышаны, Петр, свет Васильич, понаслышаны. Может, ты мне скажешь, где дети твои? Может, адресочек ихний дашь? Делать мне нынче нечего, поеду на старости, проведаю. Или, может, расскажешь, как жену свою в гроб загнал? Или корешу своему — Фомке Лескову — здоровье воротишь? — Василий вдруг осекся, уразумев, видно, что хватил в своей осведомленности лишку.— Ладно, раскудахтались, будто сто лет впереди. Смотаюсь-ка я лучше за добавкой.— Словно боясь, что его остановят, он с упреждающей всякие протесты поспешностью подался к выходу.— Я мигом...

Оставшись один, Петр Васильевич еще раз внимательно оглядел комнату. Все вокруг носило следы запустения и преждевременной дряхлости. Казалось, к вещам, впопыхах разбросанным здесь много лет назад, до сих пор так и не прикоснулась хозяйская рука. Тощая мебелишка, разнокалиберное тряпье, случайный инструмент вперемешку с банками, пузырьками и бутылками громоздились по углам, покрытые девственно прочным слоем пыли. И в этой скорбной заброшенности Петру Васильевичу внезапно и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя и яростно, но вслепую, без жалости и разбора. И если до этого, проникаясь заботами и делами тех, кого сводила с ним судьба, он, сожалея им, внутренне отделял себя от них, то сейчас, среди царившего здесь тлена, ему беспощадно открывалась его — Петра Васильевича Лашкова — собственная роковая причастность, его родство ко всем и всему в их общей и уже необратимой хвори. И обманчивое облегчение, возникавшее в нем всякий раз после прежних его встреч, где он, содействуя другим, на какое-то время осознавал и свою для них необходимость, уступало теперь место тоскливой горечи. С пронзительной определенностью выявилось перед ним, что ему уже ничем не помочь здесь ни себе, ни брату.

И тогда Петр Васильевич встал и тихо, не прикрывая за собой двери, вышел, чтобы уже никогда не вернуться сюда: «Так, видно, лучше будет и ему, и мне. Тяжести меньше».

Подходя к дому, Петр Васильевич еще издалека заметил сидящего под окнами Николая. С тех пор, как старику удалось-таки прописать парня, а затем и устроить на работу в депо, тот зачастил к своему крестному, засиживаясь, впрочем, все больше на дочерней половине. В другой бы раз, щепетильный по части анкетных данных, Петр Васильевич наладил непрошеного жениха, но теперь, взяв крестника под свое высокое покровительство, он не считал себя вправе хоть чем-либо уязвить парня: «Пускай отогреется возле женской души, дома-то от матери тепла мало».

Но если Николаево бдение под его окнами и не могло сколько-нибудь озадачить Петра Васильевича, то самая поза гостя: подбородок в плотно сдвинутых коленях; пальцы, сцепленные впереди; взгляд тусклый, отсутствующий,— изваянная долгим напряжением, невольно вызвала в нем известное беспокойство, которое шаг от шагу все укреплялось в душе и росло.

Кивком усаживая поднявшегося было навстречу гостя, он не скрыл внезапной тревоги, спросил:

— Где Антонина?

— Нету...

Парень долго мялся, блудил уклончивым взглядом по сторонам, складывал непослушными губами какие-то жалкие слова, прежде чем, припертый к стене двумя-тремя наводящими, сказал, наконец, тихо и внятно:

— У Гупаков...

И одна эта коротенькая фамилия, как ожог, коснувшись его сознания, враз утвердила в нем ревниво утаенные даже от самого себя, но давние подозрения. Для него стало объяснимым и появление лампадки в красном углу дочерней светелки, и суетливое ее радение вокруг всякой проходящей побирушки, и частое старушечье шушуканье по ту сторону перегородки. «Из-под носа дочь уводят,— вскипала в нем досадная злость,— а ты, старый хрыч, глазами хлопаешь!»

— Сиди тут,— сказал он гостю, поворачивая от дома,— жди. Придет, обо мне ни гугу... Понятно?

Тот в ответ лишь еще ниже опустил голову.

Чуть не дотемна петлял Петр Васильевич вокруг дома Гупака, ожидая выхода «сестер» и «братьев» с очередной гупаковской проповеди. А когда, наконец, последний из них скрылся за ближайшим поворотом, старик решительно ступил на еще не остывшее от множества подошв крыльцо. Стерильной старушке, которая вздумала было загородить ему вход, хватило одного его краткого взгляда, чтобы мигом стушеваться и кануть в полутьме сеней. Просторная горница освещалась лишь лампадкой из-под богатого киота, и оттого все в ней выглядело расплывчато и смутно.

— Здравствуйте, Петр Васильевич! Чем могу?

Голос выплыл из затемненного простенка между угловым окном и печью, и Петр Васильевич, пообвыкнув глазами к сумеречному освещению, определил сидящего там хозяина.

— Здравствуйте... Свет зажгли бы...

Возникнувшая из темноты хозяйка бесшумно приспособила еще одну свечу под киотом, и сразу же лицо Гупака выдвинулось навстречу Петру Васильевичу:

— Знал, уверен был, что придете, не могли не прийти. Судьба-с, Петр Васильевич, рок, так сказать... Сорок с лишним лет ждал и вот, сподобился визитом вашим... По правде говоря, с утра еще сосало, сегодня!

Лицо хозяина, вязко схваченное рыжеватой с проседью щетинкой, росло, разрасталось, и когда выпуклые, в багровых прожилках глаза хозяина приблизились к гостю чуть ли не вплотную, их обоих одновременно и резко ослепило то давнее январское утро, что отметило им жизнь единстенной встречей...

Окно станционного телеграфа, сплошь увитое морозной росписью, высеивало по комнате тусклый, удручающе мертвенный свет. Раскаленная «буржуйка» источала сухой угарный жар, от которого ломило в висках и томительно обмирало сердце.

Пока простуженный телеграфист, заходясь в истошном кашле над истерзанными позывными аппаратами, добивался связи с Узловском, Петр Васильевич угрюмо вышагивал вокруг него в ожидании прихода начальника станции Миронова.

Еще неделю тому, когда Лашкова неожиданно сделали комиссаром всей Сызрано-Вяземской, дорога жила лишь малыми происшествиями. Оперативная группа работала в основном по мелочам: мешочники, тихий саботаж, изыскание топливных ресурсов. Но стоило ему заступить в должность, как уже на другой день грянула беда: в самом исходе перегона Роща — Дубки лоб в лоб столкнулись два товарняка. Но, как присовокуплялось к сообщению о случившемся, Миронов, едва распорядившись поставить в известность инстанцию, завалился у себя дома и пьет мертвую. Кивок в сторону вероятного виновника был слишком красноречив, чтобы остаться без внимания губчека.

С оперативной группой из трех человек Петр Васильевич на закрепленной за ним дрезине ринулся к месту столкновения. Возможные варианты причин крушения обсуждали уже в пути.

Гудков — мордастый дядька с редкой, будто распаренной бороденкой чуть не до самых глаз, раскуривая пайковый «гвоздик», уверенно приговаривал:

— Он. Больше некому. Знаю я его — Левку. Считай, десять годов у него в стрелочниках ходил. Шкура! Он. С чего ж тогда и запивать?

— Не скажи,— сомневался Ваня Крюков, дерганый, готовый в любую минуту вскинуться за свою правду с кулаками, но до

самозабвения преданный делу бывший слесарь железнодорожных мастерских,— чего ж он тогда не сбежал? Или ему кем заказано было?

Лука Бондарь, меченный всеми фронтами гражданки Лука Бондарь — скособоченный глаз в переносицу,— рассудительно осадил парня:

— А куда ему, скажи, бежать? Его тут, где ни возьми, любая мышь знает. Втемную пошел. У офицеров говорят: ва-банк.

Сказал и равнодушно отвернулся к окну, как бы отделяя себя от пустого, по его мнению, и лишнего разговора.

Его настроение передалось всем, и остальную часть пути опергруппа провела молча. Лишь попыхивали цигарки в чернильной синеве только что зачатого рассвета...

Вся эта история была не по душе Петру Васильевичу, и поэтому сейчас, из конца в конец вымеривая комнату станционного телеграфа, он никак не мог избыть в себе ощущения тревожной неопределенности: «Черт его знает, в чем тут закавырка, а спрос все одно — с меня. Дров не наломать бы».

К тому же у него адски ломило зубы. Морзянка раскаленными молоточками — «точка — тире — точка» — отдавалась в висках, и всё взбухающее под сердцем предчувствие беды, которая каким-то концом должна была рано или поздно коснуться как самого дела, так и лично его — Петра Васильевича,— делало лашковское состояние еще более невыносимым.

«Что я буду делать с ним,— мучительно размышлял он,— если окажется, что Гудков прав? Меня от зарезанной курицы с души воротит, а здесь не курица — душа живая. Полномочия даны, а рука поднимется ли?»

А полномочия ему даны были и в самом деле недвусмысленные: жалость по боку.

Председатель учека Аванесян — хмурый носатый армянин с дореволюционным еще стажем и каторгой за плечами, напутствуя нового комиссара, только раз и поднял на него желтые от врожденной лихорадки глаза, когда давал ему эти самые полномочия:

— «Смит» при тебе?

— Должность такая.

— У ребят «винты» в порядке?

— Не подведут.

— Тогда действуй. Задача ясна?

— Ясна.

— Всё. Иди.

Что ж, приказ и впрямь не оставлял места для разночтений: ликвидировать самую возможность повторения диверсий по всему пути от Вязьмы до Сызрани. И расшифровать его — этот приказ — рекомендовалось одним средством — оружием.

Ожидая увидеть в лице Миронова бородатого спеца-саботажника и заранее подготовив себя к соответствующему приему, Петр Васильевич был несколько обескуражен, когда увидел перед

собою своего, если не моложе, ровесника, введенного в телеграфную Гудковым.

И хотя спеца, в небрежно накинутом на плечи поверх ночного халата пальто, трясло мелкой ознобливой дрожью, он наметанным глазом сразу же определил, что не страх колотит незадачливого путейца, а тяжкое и с каждой минутой все более матереющее похмелье. Глаза же — кроличьи, в сетке багровых прожилок глаза — смотрели твердо и вызывающе.

— Ну, что скажете? — Петр Васильевич усиленно старался выглядеть бывалым и проницательным в этой новой для себя роли.— Или запираться будем?

Миронов, не попадая зуб на зуб, коротко и с трудом сложил спекшимися губами:

— В чем?

— В том самом. Как и с кем в сговоре организовали крушение на перегоне?

— Чего уж... Кончайте...

В эту минуту, беспокойно следивший за их разговором и явно горевший желанием вмешаться в допрос, Крюков вдруг прорвался:

— А это ты нас не учи, что делать.— Он подступал к арестованному, красноречиво поигрывая деревянной кобурой у пояса.— Мы из тебя, ваше благородие, быстро гонор вышибем. Мы сюда не в бирюльки играть заявились. Мы...

Тот лишь поморщился, опуская глаза долу, и нехотя уронил:

— Раб.— И добавил еще брезгливее и тверже.— Рабы.

И ярость пронзительного унижения, и обида за досадную свою неудачу в первом же деле, и вся нелепость положения, в каком он неожиданно оказался, захлестнули Лашкова. Ему стоило немалого труда побороть в себе желание рассчитаться с Мироновым тут же, не сходя с места.

— Веди,— жестко отнесся он к Гудкову,— только подальше, в поле. За переездом... Разберемся и сами, не маленькие...

И здесь, решительно отворотившись от обреченного путейца, Петр Васильевич как бы перешел какой-то рубеж, черту какую-то урочную, за которой его сразу же оставили все страхи и сомнения, вся прежняя неопределенность, что сопутствовала ему после получения приказа. Будто в незнакомом маршруте, не страшась подвоха за первым же поворотом, бывший обер, миновав, наконец, его, этот поворот, увидел перед собой путь, свободный от помех до самого горизонта...

Свет того далекого утра медленно распадался, уступая место нестойкому полумраку гупаковской обители. И Петр Васильевич, весь еще будучи во власти тающего видения, едва сумел выдавить из себя:

— Миронов!.. Гупак?..

— По маменьке, Петр Васильевич, дорогой,— с готовностью поспешил к нему на помощь хозяин,— по маменьке, Царство ей

Небесное, я — Гупак. Из Малороссии родом была, покойница. Так что без обману нарекся, с полным гражданским правом.

— Значит, миновали вас, Миронов, мои девять грамм? — Обретая действительность, Петр Васильевич внимательно вглядывался в знакомые, обмятые временем черты.— Не проверил, значит, работу свою Гудков, с плеча доложил...

— Доложить-то, может, он и доложил, только не исполнил.— Гупак даже не старался скрыть торжества.— Потому что наше, мироновское, добро не забыл. Кто ему ораву босоногую поднимать помогал? Кто его запои покрывал? Кто у жены гудковской все роды принимал? Мать Миронова, покойница, Царство ей Небесное, Анна Григорьевна, урожденная Гупак и сын ее единокровный, ваш покорный слуга Лев Львович. Вот и не забыл стрелочник Гудков добра, не выстрелил. «Иди,— сказал,— Лев Львович, с Богом, не поминай лихом». Видно, раздразнить мужика на чужую мошну легче, чем убить в нем душу христианскую...

— Ишь ты, вот тебе и Гудков,— горестно усмехнулся Петр Васильевич. Почему-то лишь теперь, восстанавливая в памяти возвращение Гудкова, он отчетливо отметил и несвойственную тому молчаливость, и курение его, обычно скупого и экономного, почти беспрерывное, и непоседливую в обратной дороге маету.— Только не на одном Гудкове, Лев Львович, гражданин Миронов-Гупак, моя правда стоит. Коли б на нем лишь стояла, не выдюжила бы.

Но тот, вроде бы и не слыша его вовсе, гнул свое:

— Не убили, а теперь уж и никогда не убьете. Природа поозоровала да и снова вошла в русло... Знал я, не в вас, так в детях ваших скажется основа. И сказалась, не умерла. Пробилась первой порослью. Сквозь золу и тернии, а пробилась. По правде, не было у меня в жизни краше и светлее праздника, чем тот день, когда Антонина Петровна к нам, к братии, пришла... И уж тогда загадал: не миновать мне с вами встречи... И вот, как в воду глядел... Спасибо, Петр Васильевич, удружили под старость... Что дал лично вам бунт ваш всеобщий? Один остались, как перст, один... Не мщением тешусь, поверьте, лишь истину сказать хочу. Не в наши с вами годы счеты сводить... Покайтесь, дорогой Петр Васильевич, покой обретете.

— Ведь не хуже моего знаете, что обман это.

— А хлеб — обман?

— Нет.— И еще тверже.— Хлеб — нет.

— Так и вера. Любая вера — добро. «Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий обман...» На века сказано. Думали, свет открыли: Бога нет! Но светом этим высвободили в смертном его звериную суть, инстинкты животные. И теперь пожинаете плоды открытия своего, все у вас сыплется, не остановишь. Океан прорвало, а вы его лекциями да указами остановить хотите. Вместо мечты о вечной жизни подкинули обещание всемирного обжорства и ничегонеделания. А он — человек-то, как наелся, так сызнова его к вечной жизни потянуло. Удержи его теперь, попробуй.

И вдруг с резкой внезапностью обожгло Петра Васильевича пороховым дуновением той базарной площади, по которой полз он когда-то к обманчивому окороку за окном: «Неужели и правду зря? Неужели все, ради чего жил, попусту?»

Но тут же минутное сомнение сменилось прострельной яростью: «Врешь, лампадная душа, не будет по-твоему, вовек не будет!»

— Собираешь узловских кликуш и радуешься: твое взяло? — Речь его обрела уверенность и силу, так недостававшую ему в начале разговора.— Рано поминки по моей правде справлять собрался. Не тебе — мне на земле хозяйствовать. И мои девять грамм от тебя не уйдут, Миронов...

Чуть вывернутые веки хозяина устало опустились, он словно бы отгораживался от гостя раз и навсегда, давая, тем самым, тому понять, что разговор окончен.

К себе Петр Васильевич вошел, против обыкновения, стремительно и шумно и, не раздумывая, уверенный, что тот, кому он адресуется, услышит его, сказал:

— Нечего прятаться, не маленький. Перебирайся к нам. Завтра же и перебирайся. Жить будем. Вместе, втроем жить.

И только один, но в два сердца вздох — тихий и благодарный — был ему ответом из-за стены.

X

В это утро Петр Васильевич проснулся с ощущением предстоящей перемены в своей жизни, какого-то нового, еще неведомого ему поворота судьбы.

«Совсем постарел, Васильич,— вспомнив о предстоящем сегодня бракосочетании дочери своей Антонины с сыном покойного сослуживца Лескова — Николаем, посетовал он на себя,— скоро имя-отчество свое забывать начнешь!»

Лежа, Петр Васильевич не без горделивого удивления посмеивался над собой. Если бы ему еще месяц назад, да что там месяц, прошлую неделю, сказали о подобной возможности, он бы воспринял это, как шутку — злую и неуместную. Разве могло оказаться явью, чтобы он — Петр Васильевич Лашков — с его репутацией и положением в городе, породнился с семейством Лесковых, известных всему Узловску своей пестротой и скандальностью. Любой узловец, услыша о том, лишь руками развел бы.

Но вот случилось же! И главное не в том, что случилось, а в том, с каким сокровенным удовлетворением он думал о предстоящем замужестве дочери! Какие планы строил! Какие благостные картины перед собою рисовал. И даже — кто бы мог подумать! — в воспарениях своих дедом уже числил и видел себя.

Посмеиваясь над собой, Петр Васильевич возносился все выше, и два согласных голоса за чуткой стеной сопровождали его душу в этом ее мечтании...

— Папаня только с виду такой, а сам добрый-предобрый...

— Старик что надо, без дураков...

— И отходчивый, будто воск...

— Как сказать... Без нажима гнет дед. Род такой ваш — Лашковский — сызмала в командирах.

— Зато справедливый.

— В жизни бы не подумал, что разрешит он нам с тобой...

— Я и говорю — справедливый... Только сам не пожалей о том.

— Не говори зазря.

— Смотри...

— Не слепой.

— А то ведь я и одна свекую, привыкла уже.

— Не городи зазря.

— Коля-Николай...

«Ишь ты,— с ревнивым, одобрением отметил Петр Васильевич — ценят, значит!» И, давая знать о своем пробуждении, легонько закашлялся.

Голоса за перегородкой сразу же смолкли. Затем, после минутной тишины, Антонина осторожно поскреблась:

— Папаня?

— Пора.

— Я — сейчас.

— Не суетись — успеется.

Но там, на той половине, уже заводилась дочерью ее обычная ежеутренняя возня, перемежаемая отрывистым шепотом:

— Вставай, Коля.

— Угу.

— За водой сбегай.

— Только обуюсь.

— Носки, носки надень, роса на дворе.

— Не растаю.

— Нет, уж ты надень, а то не пущу, сама схожу.

Слова между ними говорились самые, казалось, легкие, обыденные, но в каждое из этих слов они вкладывали столько тепла и доверительности, что со стороны разговор их воспринимался как беспрерывное сердечное объяснение, вслушиваясь в которое, Петр Васильевич улыбчиво радовался: «Такого бы согласия им да на весь век».

Впервые в это утро они сели за стол втроем. Антонина то и дело вскакивала, споро обставляла тарелками и того, и другого, деля между мужчинами свое расположение и признательность:

— Досыта наедайтесь, чтобы к вечеру не опьянеть... Еще, папаня? Николай?

И хотя, что греха таить, ревновал Петр Васильевич дочь к зятю — едва перешагнув порог, тот уже замещал в ее сердце часть отцовского места — праздничность Антонины сообщилась и ему чувством уступчивой снисходительности...

К загсу, где их уже поджидали принарядившиеся по такому случаю свидетели — разбитной, навеселе, парень с гитарой через плечо и зябкая с вопрошающими, словно бы от века испуганными глазами девушка, в мучительном смущении терзавшая в руках носовой платок,— они подошли несколько до срока.

Парень, грубовато ткнув Петру Васильевичу потную руку, бездумно хохотнул.

— Кузин, Леонид.

Спутница же его, краснея и теряясь под изучающим взглядом Петра Васильевича, едва-едва сложила дрогнувшими губами.

— Лена...

Первое знакомство подытожил Николай:

— Наши, Петр Васильевич, деповские.

Перед самым открытием, ко входу, лихо затормозив, подкатило сразу три «Волги». И в хмельной уже с утра пораньше компании, высыпавшей из лимузинов, сразу же выделился ростом и шумливостью старик Гордей Гусев, давний сосед Петра Васильевича — царь и бог узловских шабашников. Темная довоенная еще пара облегала его не по годам подвижную фигуру добротно и ловко, седой чуб залихватски свисал над кустистой бровью, и весь он с головы до ног прямо-таки исходил вызывающим довольством.

Слава рожденного в рубашке прочно вилась за Гордеем чуть не со дня рождения, когда полузадушенный обеспамятовавшей матерью, он все же выжил, а к совершеннолетию еще и вымахал в почти двухметрового молодца с пудовыми кулаками. Все огни и воды беспокойных годов, сквозь которые довелось пройти Гордеевым сверстникам, минули его голову. Освоив кое-какие ремесла, он всякий раз, едва в воздухе тянуло тревогой, прочно бронировался своей ухватистой незаменимостью.

— Я,— объяснил Гусев Петру Васильевичу жизненную позицию при случайной встрече в день отъезда того в эвакуацию,— человек маленький. По мне, какая ни есть власть, все одно. Мое дело здоровое — мастеровое. Мне с немцами делить нечего. Как при вас работал, так и при них около своего дела буду. Не пропаду.

«И ведь остался,— с горечью согласился сейчас про себя Петр Васильевич,— не пропал ведь, и уж, видно, никогда не пропадет. Вот, не в пример тебе, с каким форсом свадьбу потомкам справляет!»

А тот, цепким глазом выделив из группы у входа бывшего своего соседа, уже двигался к нему с распростертыми объятиями.

— Петру Васильевичу! Сколько лет!.. Вот, внучку замуж выдаю, скоро прадедом стану! — В его сверх всякой меры убийственном радушии неприкрыто сквозило торжество: вот, мол, смотри, сравнивай, чья взяла.— Стареем, брат, Петр Васильевич, погост по нас плачет.— Устремляясь следом за всеми в открытые, наконец, двери, он все еще и на ходу поигрывал в сторону Петра Васильевича победительной улыбкой.— Заглянул бы, часом, Петр Васильевич, не побрезговал старым соседушкой...

И снова, как в прошлый раз у Гупака, Петру Васильевичу мгновенно пригрезилась развороченная витрина купеческой лавки на базарной площади пятого года: «А вдруг всё так и будет поихнему? Вдруг и взаправду зря дело затевали?»

С тем он и переступил порог загса. Бросившаяся было навстречу Гусевым регистраторша, увидев его, заметно растерялась. Клинообразное испитое лицо ее отражало титаническую борьбу между риском восстановить против себя уважаемого в городских организациях человека и стремлением услужить всемогущему шабашнику. Но, видно, должностные соображения взяли верх. Она повернулась к Петру Васильевичу и жалобно пригласила:

— Прошу вас, товарищ Лашков!

Тут пришла очередь слегка позлорадствовать и Петру Васильевичу: «Не вся, выходит, земля, Гусев, что в твоем огороде».

Дважды сквозь презрительный строй гусевского клана, мимо расфранченной по последней моде — черное с белым — пары новобрачных пронесли свое будничное сорокалетие Антонина и Николай: туда — до регистрационного стола и обратно — к желанному выходу.

Но ни в дороге, ни за столом ни хозяев, ни гостей так и не оставила та напряженная скованность, какую вынесли они из загса. Напрасно Антонина суетилась вокруг подруги, а Николай подливал другу одну за другой, те лишь переглядывались растерянно, явно тяготясь угощением. И поэтому, когда, наконец, гости излишне оживленно откланялись, Николай решительно заключил:

— Уедем мы, батя, отсюда. Не будет здесь нам с Антониной жизни.

И Петр Васильевич впервые после их с зятем знакомства не нашелся с ответом.

XI

Ночной автобус довез их до Углегорского аэровокзала, откуда молодые должны были лететь в Москву, где им предстояла пересадка. И здесь крепившаяся всю дорогу Антонина не выдержала. Припав к отцовскому плечу, она шепотно запричитала:

— Папаня, родненький... Как же вы тут без меня будете? Поехали бы с нами... Ни постирать, ни поесть сделать некому... А ну как заболеете... Изойду я без вас сердцем... Папаня-а-а!..

— Ну-ну, Антонина... Будет.— Петр Васильевич неверной от волнения рукой оглаживал ее голову.— Авось, не пропаду... И куда мне под старость подниматься?.. Здесь родился, здесь и помру... Ты, вот, пиши только, не забывай...

Николай, переминаясь с ноги на ногу, стоял сбоку, затравленно поглядывал в их сторону, и по всему видно было, что ему тоже не по себе. Когда же объявили посадку, он порывисто шагнул к Петру Васильевичу, дважды по-мужски коротко припал к старику и хрипло обронил:

— Гора с горой... Бывай, отец...

Подхватив чемоданы, он двинулся к выходу на перрон, Антонина потянулась за ним, все оборачиваясь и оборачиваясь дорогой, пока мгла застекленной двери не вобрала в себя ее самое и ее полустон-полукрик:

— Папаня-я...

Оглушенный рухнувшим на него одиночеством, Петр Васильевич медленно и бездумно выбрел к автобусной остановке. Какая-то баба, несушкой оседлавшая гору мешков и корзинок, весело отнеслась к нему:

— Садись, отец, ближе, теплее будет! Автобус-то — он не скоро еще...

Петр Васильевич, подаваясь мимо, не ответил. Едва обозначившееся утро густо подсвечивало асфальт перед ним, чутко вторя резкому стуку его палки.

И все, что было пережито за те недолгие дни, которые отделяли его от случайного воспоминания у разбитой витрины городского магазина, приводя к выводам, обретало цель.

Где, когда, почему уступил он — Петр Васильевич Лашков — свою правду Гупакам, Воробушкиным, Гусевым? Какой зябкой чертой оградил он себя даже от родных детей своих? В чем оказалась горестная промашка его?

И вдруг из давно казалось бы забытого небытия выплыло перед ним залитое хмельными слезами лицо тестя Ильи Махоткина: «Сушь, сухой дух от тебя идет... Нет в тебе ни одной живой жилы...»

И озарение, так долго и трудно ожидаемое им озарение, постигло Петра Васильевича: «От них шел, от них, а не к ним! Свету, тепла им, да и никому, от меня не было, вот и летели они, словно бабочки на случайные огоньки в ночи. Заново, заново все надо начинать, и лучше поздно, чем никогда!» И ему вдруг стало легко и просто. И сообщенное Петру Васильевичу этой легкостью и простотой душевное равновесие проникло его мыслями деловыми и житейскими. Идя, он думал теперь о детях, которые одарят его внуками, и о внуках тех внуков, и о всех тех, чьими делами и правдой из века в век будет жива и неистребима его земля — Россия.

Он думал и шел...

ВТОРНИК

ПЕРЕГОН

I

Проводив брата, Андрей Васильевич заспешил к себе в лесничество. От станции до места было километров пятнадцать гололобых бугров, через которые, не любя в душе никакой сквозной пустоты,

он гнал лошадь безо всякой жалости и, лишь въехав в первый подлесок, выпряг ее попастись и отдохнул сам.

Только в лесу, в общении, в единении с ним, Андрей Васильевич чувствовал себя покойно. Изредка, по деловым вызовам бывая в районном городке, он терялся даже в его малолюдстве. В присутственных местах казался сам себе лишним, ерзал по сторонам замученными глазами и не знал, куда ему девать свои тяжелые и такие неуместные здесь руки.

Теперь он лежал лицом вверх, глядел в истекающее последним осенним зноем небо, и знакомый мир вновь заполнял его, и собственная жизнь представлялась ему предельно осмысленной и многим необходимой. Сколько Андрей Васильевич помнил себя, его всегда тянуло в лес, к тихой воде ручьев и озер. Фронтовая боязнь открытых пространств только укрепила в нем эту его тягу. В лесу человек неуязвим для холода и голодной смерти. И потом лес приобщает всякого к тому вещему единству всего сущего, каким не может одарить душу ни одна, самая что ни на есть заселенная равнина.

Гибель любого дерева, куста, да и просто ветки, в особенности неестественная, насильственная, воспринималась Андреем Васильевичем как глубоко личная и уже невосполнимая потеря. И он всякий раз заболевал и долго печалился душой после каждой незаконной или даже законной порубки. А лес вокруг него рубили нещадно, и даже с каким-то хмельным и горьким сладострастием. Рубили с делом и без дела, благо он стоял под боком — рослый, но беззащитный.

И не было дня, чтобы Андрей Васильевич не составлял протоколов, не писал слезных реляций в лесхоз или район. Число бумаг росло, а лес, его, выстраданный больным после ранения сердцем лес, таял, таял на глазах. И никогда ранее, ни до войны, ни долго после нее в рот ничего не бравший крепче квасу, Андрей Васильевич постепенно пристрастился к тихой выпивке: «Все равно нехорошо!»

Вот и теперь ему со щемящим томлением вспомнилось вчерашнее утро, когда он, перед самым братениным приездом, захватил в березовом подлеске старшего из пятерых в безотцовской ораве Агуреевых, поднятых матерью их Александрой — бабой видной, но злой. Мальчишка смотрел на лесника волчонком, и конопатое вздернутое кверху лицо его тряслось недетской злостью: «А раз мне кнутовище надобно! А раз мне кнутовище надобно!»

И такая победительность в своей правоте ощущалась во всем его облике, такой вызов, что Андрей Васильевич только плюнул в сердцах:

— Ирод ты, ирод!

— Сам ты ирод! — уже с опушки, издеваясь, отозвался отпущенный по добру агуреевский отпрыск, и не без злорадства отчетливо дополнил.— Ирод чокнутый!

С кем другим Андрей Васильевич вряд ли бы поцеремонился. Не одной бабе из окрестных деревень уже приходилось в таких

случаях распечатывать самую сокровенную свою заначку и расставаться с очередной, назначенной им, штрафной десяткой. Но сейчас от одной только мысли, что для этого ему придется лишний раз увидеть Александру, у него опустились руки: «Леший с ним,— обреченно вздохнул он,— где ей одной с такой ротой справиться, не по миру же идти, в самом деле».

Оттуда, из-за мохнатого частокола густых елей выползало тяжелое облако. Облако виделось ему похожим на валяный сапог с полуоторванной подошвой, причем голенище отливало тусклым оловом, переходя к пятке в сплошную чернь: «К дождю,— уже в полудреме мысленно отметил про себя Андрей Васильевич,— должно, стороной пройдет».

И снилось ему поле, пустое, простреленное со всех четырех сторон поле, с одним-единственным — то ли пихтою, то ли сосной — деревом у кромки горизонта. И он полз к нему — этому дереву, чтобы укрыться, спрятаться там от смертного воя вокруг, и в жадном этом движении его сопровождал памятный братенин зов: «Как же это ты, Андрюха, зачем?» И сразу за этим едва слышная шепотная мольба Александры: «Пожалей, Андреюшка-а-а!»

II

По Узловску несло бумажной гарью. Город избавлялся от всего, что могло бы обременить его память. Власть жгла бумаги, которые не в состоянии была вывезти, обыватель — фотографии и письма родственников и знакомых, из тех, кем еще вчера считалось за честь при случае козырнуть.

Редкие гудки тревоги пока не завершались бомбовыми разрывами, но кружение в беззащитном небе разведывательных «этажерок» уже возвещало о приближении к городу фронтовой полосы.

Андрей едва нашел место для своего Гнедка у коновязи райисполкома: площадь перед зданием была густо запружена машинами и повозками, пешими и конными. Людской водоворот пестрел зеленым цветом — цветом войны. В коридорной сутолоке перед военными предупредительно расступались, подчеркивая этим самым их, в теперешней обстановке, главенствующее положение.

В крошечном закутке завсельхозотделом Туркина оказалось неожиданно тихо и пусто. Сам Туркин — тщедушный блондин в официальной индиговой паре, не поднимая глаз от бумаг, лежащих перед ним, отрывисто бросил:

— Откуда?

— Из Бибикова. Сами же вызвали.

— А, это ты, Лашков,— подслеповатые, василькового оттенка глаза его вопросительно уставились в сторону Андрея,— что у тебя? — Не ожидая ответа, он поспешно схватился за телефонную трубку.— Девушка, Туркин говорит, соедини-ка меня с первым... Василий Никифорович? — Заведующий по привычке, разговаривая с начальством, привстал.— Туркин беспокоит... Есть парень... Лаш-

ков... Нет, не тот... Брат его младший — Андрей... Объездчиком в Бибиково... Тот самый... Тридцати нет... Комсомолит еще... Холостой... Какой там, сам просится! — Он бережно опустил трубку и блеклое лицо его приобрело соответствующую моменту начальственность.— Так вот, Лашков, тебе поручается эвакуировать скот.

— Какой скот, Владимир Палыч,— Андрей ожидал всего: взбучки по поводу участившихся хищений, нагоняя из-за провороненных потрав, мобилизации, наконец, только не этого.— Куда я его буду эвакуировать?

— Какой? — Голос Туркина приобрел торжественную тональность.— Все колхозное поголовье района. Куда? — Значительность его модуляций сделалась еще более подчеркнутой.— В Дербент, Лашков, в Дербент, в горы... Районный комитет поручает тебе тысячу двести голов артельного достояния. За каждую голову отвечаешь лично. Документы оформишь в орготделе. Оружие получишь у военкома. О людях договаривайся сам с председателями. Старайся брать малосемейных. Не подведи фамилию, Лашков.— Он протянул Андрею короткопалую потную руку, и в вялом ее пожатии, вопреки натужно бодрому тону, не чувствовалось ничего, кроме безнадежной усталости.— Желаю успеха.

Новое назначение застало Андрея врасплох. Он не то чтобы растерялся, его скорее обескуражила неожиданно возникшая обязанность кем-то командовать, с кого-то спрашивать и за что-то отвечать. Сколько Андрей себя помнил, ему всегда приходилось подчиняться. Дома — отцу и брату, в армии — всем, начиная с отделенного, на работе — председателю и многочисленным районным деятелям любого ранга. И теперь, когда за ним закреплялось право распоряжаться самому, он никак не мог сколько-нибудь отчетливо представить себе свою роль в качестве начальника.

И, как всегда в трудных случаях жизни, его потянуло к брату. Брата он боготворил. При каждой встрече тот заряжал его своей ожесточенной решительностью и верой в их — Лашковых — назначение в общем деле.

Андрей долго блуждал по коридорам отделения дороги в поисках Петра Васильевича, прежде чем кто-то, проходя, не надоумил его:

— Лашков? В тупике за «горкой» архив от бухгалтерии принимает.

У классного пульмана, загнанного в тупик, Андрей еще издалека он заметил Фому Лескова — старого братнего дружка и поездного напарника, суетившегося вокруг горы набитых гроссбухами мешков. А тот, в свою очередь, при виде гостя, весело повел блудливым глазом в глубину вагона:

— К тебе, Васильич! Брательник — собственной персоной.

Встретиться с братом Андрею, среди суматохи первых военных месяцев, все недосуг было, и поэтому, когда тот вышел к нему, он со щемящей сердце грустью отметил про себя и наметившуюся уже сутулость Петра, и частую проседь в его, когда-то иссиня вороном ежике.

— Здоров, Андрюха,— бодрое радушие давалось ему явно через силу,— вот работенку всучили, не дай Бог всякому.

Коротко поведав брату об исполкомовской встрече, Андрей без обиняков определил перед ним свое к ней — этой встрече — отношение:

— Погодки воевать уходят, Петёк, а я заместо пастуха — в другую сторону. Нехорошо получается...

Они уединились в спальном купе, и Петр, обычно немногословный, пространно, хотя и не совсем уверенно, стал втолковывать Андрею что-то о необходимости и дисциплине, но в конце концов сбился с тона и закончил неожиданно тихо и грустно:

— Говори — не говори, кому-то и это дело делать надо... Куда-то нас с тобой раскидает теперь... По всему, большая, длинная война будет... Увидимся ли? Из всех Лашковых только двое — ты и я — остались... Всех поразметало в разные стороны... А жизнь-то — она на исход пошла, на исход...

И по тому, какая сожалительная горечь сквозила в каждой фразе брата, Андрей уверился, что то, зачем он явился сюда, куда нужнее сейчас самому Петру, нежели ему — Андрею, и слова сочувствия, готовые уже было сложиться в нем, обернулись лишь кратким вздохом:

— Проводи.

Их путь вдоль насыпи к ближнему переезду был медленным и молчаливым. Пожалуй, как никогда раньше, ими постигалось в эти минуты, сколь много они всю жизнь один для другого значили. Братья служили один одному той единственной связующей нитью со всем, что зовется семьей, фамилией, родом, без которых они, сами по себе, ничего из себя не представляли.

У переезда братья слегка, словно стыдясь внезапного порыва, помяли друг друга за плечи и тут же разошлись всяк в свою сторону, уже не медля более и не оборачиваясь.

III

Обычно тихое Бибиково тонуло в гвалте и ржании. Вокруг правления сгрудились подводы с походным скарбом скотогонов. Посланцы шести окрестных деревень ждали команды двигаться с голодно ревущим на затоптанном выгоне скотом к тихим кавказским пастбищам.

Андрей, запершись в председательской светелке, мысленно прикидывал деловую хватку каждого из своих подчиненных. В окно ему было видно, как Прокофий Федоров — курковский гуртоправ, бережно размещал посреди телеги беременную жену свою Пашу, обкладывал ее со всех сторон свежим сенцом, укрывал ей ноги стеганым одеялом, улыбчиво при этом поругиваясь с нею и дразнясь.

«Этот надежен,— облегченно следил за их игрой Андрей,— не подведет. И работу свою знает, дай Бог всякому. Жена вот только чуть не на сносях. Ну да ничего, баб много, примут».

У артельного амбара, приспособленного под клуб, хромоногий гармонист Санька Сутырин, уныло поводя в сторону хмельным глазом, веселил на прощание сбившихся вокруг него девчат:

Сапоги мои худые,
Дома лаковые.
Что у девок, что у баб —
Одинаковые...

«Задавала, конечно,— с крайней строптивостью избалованного всеобщим вниманием и единственного на всю округу гармониста ему приходилось сталкиваться не раз,— зато, как говорят, на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец, обломается».

Старый торбеевский бобыль Прокофьич, с молодых еще ногтей крещенный пастушьим бичом, со вдумчивой старательностью ладил борт своего полухода. Пергаментное с клочковатой, медного оттенка бородой лицо его светилось невозмутимой деловитостью хозяина, работника, мастера, крепко уверенного в собственном назначении в этом мире.

«За таким, как за каменной стеной,— любовался его ухватистой сноровкой Андрей,— клад, а не старик».

И вдруг, как во сне, когда внимание, обостренно сосредоточившись на одном предмете, перестает воспринимать все остальное, слух и зрение Андрея мгновенно отключились от окружавшей его действительности; Андрей увидел ее — Александру. Она уверенно пересекала дорогу перед окном, направляясь к конторе. И ни стоптанные резиновые сапоги, ни суконный, с мужниного плеча пиджак, ни темный старушечий платок, опущенный чуть не до самых бровей, не могли, не в состоянии были хоть сколько-нибудь обесформить ее рвущуюся сквозь одежду жаркую плоть, стереть с почти еще девичьего облика врожденное в ней выражение зова и желания.

Много воды утекло с той весенней поры, как, выпроводив именитых Андреевых сватов, она изо всех многочисленных своих вздыхателей выбрала Серегу Агуреева, самого что ни на есть отпетого свиридовского гуляку, но и теперь, всякий раз при встрече с нею, Андрей жарко обомлевал, не в силах унять гулкое биение под сердцем.

«Подсуропил мне Михайло Порфирьич, старый черт,— посетовал по адресу сычевского председателя Андрей, поспешно, даже несколько слишком, бросаясь с ключом к запертой двери,— не было печали!»

А та, не давая ему опомниться, прямо с порога ошарашила его насмешливым вызовом:

— Драсте, дорогие гости, лучше б вас не было. Так, что ли? Уж не обессудь, не по своей воле,— не отказала себе в удовольствии глумливо поерничать Александра. Но тут же, словно спохватилась, взяла деловой тон.— Полтораста голов тебе пригнала. От Сычевки пойду я, да Пашковы всем семейством, сам Пашков

с белым билетом, да Люковы трое: старуха с дочкой и снохой, да Петя-блаженный, вот и вся армия...

Ревниво следя издали за ее судьбой, Андрей знал о ней все, или почти все, что было известно самым ближайшим соседям Агуреевых. И хотя детей у них с Сергеем за три года супружества так и не состоялось, жили они, вопреки всеобщим ожиданиям, не вполне обстоятельно, но дружно. В первый же день войны Серега, то ли поддавшись общему тогда настроению, то ли ради сохранения отчаянной своей репутации, ушел добровольцем, и Александра, заколотив свиридовский дом его, перебралась к матери в Сычевку. Хваткая ко всякой работе, дотошная в деле, быстрая на язык, она вскоре приобрела в артели уважение и силу, и к тому времени, когда над округой засквозило фронтовым ветром, уже заведовала фермой. Поэтому Андрей, хоть и досадовал на сычевского председателя, про себя все же не мог не одобрить его выбора: «Знает, старый хрен, кому скотину доверить. Эта свое не упустит».

— Не густо.— Стараясь унять волнение, Андрей с силой раскатывал перед собой зажатый между ладонями карандаш.— Сто пятьдесят голов! Гнать-то их не хитро. Одного Пети хватит, а если зараза какая? Мор? Твоим старухам самим няньки нужны. Удружил мне ваш Михайло Порфирьич.

— А где он — Михайло наш, Порфирьич возьмет людей-то? — В сизых едва тронутых женским веком зрачках ее, в самой их глуби наметилась сердитая искра.— Какие были стоющие мужики, все,— она кивнула за окно в сторону фронта,— там, а новых еще бабы не нарожали. Уж как-нибудь с вашей, Андрей Васильевич, богатырской помочью обходим скотинку.

— Сама знаешь,— оскорбленно подобрался он, слишком уж откровенным был выпад,— просился, не взяли.

— Понятно, шибко партейные в тылу нужнее. С бабами да ребятишками управляться, а то избалуются без руководства. Нам ведь без вас — без Лашковых никак не обойтиться...

— Ты это про Лашковых брось.— Когда дело касалось их фамилии, все Лашковы становились одинаковы: гнев, душный слепой гнев сразу растворил в нем недавнюю его растерянность.— Тебе Лашковы дорогу не переходили.

— Зато я им,— Александра даже не старалась скрыть своего мстительного торжества,— перешла. Думали Лашковы осчастливить Сашку, не вышло...

— Да, ты... Да ты! — Его, будто спущенную с предохранителя пружину, подбросило с места, он кинулся было к ней из-за стола, но тут же, обессилев от стыда и обиды, снова сел и отвернулся к окну.— Иди...

С пронзительным до жжения в горле томлением следил Андрей за тем, как она, сойдя с конторского крыльца, размашисто вышагивает в сторону своего табора, слегка по дороге кивая встречным. Дорого дал бы он сейчас за один только, хотя бы такой вот ее кивок. Сколько воды утекло с тех пор, когда Андрей впервые увидел

Александру и загорелся по ней, а вот и сейчас, через годы, все в нем обмирало и загоралось, стоило ему только увидеть, как она проходит где-нибудь рядом. Фигура ее все удалялась и удалялась в сторону сычевского табора, а он все смотрел и смотрел ей вслед, а когда обернулся и пришел в себя, перед ним уже сидел печальный и усталый старичок, и в том, с каким вниманием тот изучал стену напротив, было ясно, что весь разговор Андрея с Александрой был им услышан, теперь же гость молча предлагает оценить его деликатность.

— Что вам, отец? В совете никого,— хмуро опустил глаза Андрей.— Я здесь временно.

— А мне лично вас, Андрей, если не ошибаюсь, Васильевич, лично вас.— И в тоне, каким это было сказано, обнажилась вся канцелярская гамма: от услужливости до расположения.— Ветврач из исполкома, Бобошко Григорий Иванович.

И только тут Андрей вспомнил, что, прощаясь с ним, Туркин обещал подослать ему опытного ветеринара, старого, мол, испёка, зато мастера первоклассного. Но, ожидая всего, кроме этих живых мощей вьяве, он слегка растерялся:

— Да, да, конечно... Только прошу учесть: путь долгий...

Старичок явно понял состояние хозяина, и склерозные глазки его засветились добродушной иронией:

— Я бы, разумеется, не отказался от курорта, но ведь, извините, сами видите, что делается кругом...— Тут он легко развел короткими руками.— Так что уж не взыщите.

— Простите, если что не так ляпнул,— он не знал куда глаза девать,— пойдемте к гуртам.

За околицей на выгоне ревели гурты. Каждая деревня держала свою скотину отдельным табором, и это сразу же породило первые споры и неурядицы. Люди оставались людьми, хотя им и предстояла дальняя и тяжкая дорога, где с любым из них могло случиться самое неповторимое. Но они жили еще старыми довоенными представлениями обо всем, и поэтому всякий из них тащил в свою артельную кучу все, что, по их мнению, могло сгодиться в пути. Андрея на какое-то мгновение взяла жуть от того груза, который он взвалил на себя: «Господи, прорва-то какая! И куда я с ними! Разорвут при случае и не икнут!» Но обычная их — лашковская — уверенность в себе выручила и здесь: «Не боги горшки обжигают, перезимуем!»

От зоркого глаза ветеринара не укрылась эта его мгновенная растерянность, и он тут же, посмеиваясь, тихонько подсказал:

— Речь бы надо, Андрей Васильевич. Так сказать, момент!

И Андрей, взгромоздившись на выпряженную телегу, воззвал ко всей возникающей перед ним кутерьме, благо опыт у него по части собраний имелся немалый:

— Так что вот какие пироги, друзья-товарищи! Путь у нас неизвестный, и держаться нам всем надо сообща. В куче и котята — волки. Добро свое берегите, вам его артель доверила, а осталь-

ное — вместе. На нас смертная сила прет: фашист. Фашиста порознь не побьешь. Поодиночке нас, как кутей, передавят, так что в случае стреляю без предупреждения.— Он подумал и добавил для пущей официальности:— Все на врага! Раздавим фашистскую гадину!.. Двинулись!

Ревущая и голосящая лавина потянулась к большаку, а когда тот вобрал ее всю до последнего подтелка, вперед вышел знаменитый в районе бык Евсей и повел колонну вперед, к дымящемуся пылью горизонту. Огромный Евсей величественно вышагивал по обочине дороги, и в коричневом до черноты глазном его яблоке явственно отражались и земля, и небо, и долгий путь впереди.

И снова Андрею стало не по себе: «Господи, какою же мерой надо будет воздавать им, чтобы довести до места и никого не потерять? А главное, ничего не потерять?»

IV

В душной, щедрой близкими звездами ночи властвовала сутыринская гармошка:

Мой миленочек партейный —
Луженая глотка.
Самоваром жрет портвейный,
Запивает водкой.

«Она,— по голосу узнал Лашков Александру, объезжая свое хозяйство, ставшее здесь ночевкой,— ну погоди же, поговорим. Война, так значит, все дозволяется?»

Но он хоть и ярился, и поигрывал в темноте скулами, знал, что говорить с нею не станет, потому как ничего из этого разговора, кроме нового для него конфуза, не выйдет. И от этого своего бессилия еще более распалялся и думал: «Стерва... Стерва... Стерва... Ведь для меня специально... Стерва...»

— Куда прешь, черт! — Кто-то шарахнулся в сторону чуть ли не из-под самой морды лошади.— Не видишь — люди?.. А, Андрей Васильевич!.. Не признал...

— Чего не спишь? — Андрей определил по характерной искательности торбеевского пастуха Филю Дуду. У Дуды давно уже бегали внуки, а к его укороченному в детстве имени так и не пристало отчество.— Иди спать, завтра не дам роздыху.

— Спать! — жалобно откликнулась темь.— Момент, телка сведут. Сычевские давно зарятся. Пустят грязь какую — не то к нам, а нашего сведут. Известное дело: из Сычов — смотри воров. А у нас порода. Председатель опосля голову сымет. А сычевцев кто не знает: все воры.

Таким манером Филя мог — и уж о чем — о чем, а об этом Андрею было известно не в последнюю очередь — заговорить до смерти кого угодно.

— Ну, ну,— заторопился он дальше,— только все одно завтра потачки не дам. Бывай...

Его потянуло туда, ближе к сутыринскому наигрышу, и он тронул лошадь в сторону бибиковского гурта. А оттуда, навстречу ему уже выплывала частушка:

Я любила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке до донышка
Не высохнет вода.

«Взбесились бабы,— сочувственно посожалел Лашков,— когда-то теперь своих дождутся?»

Днем, перед самым переходом магистрали Москва — Харьков, путь гуртам отрезала долгая войсковая колонна. Мимо них шли, по большей части молодые, только что обмундированные в «БУ» ребята. Шли с той тревожной веселостью, какая, обычно, присуща всем новобранцам по веками освященному правилу: была не была! И потому мало кто из них пропустил случай, чтобы не отметиться забористым словцом у молча и скорбно глядевших на них баб из шести узловских деревень.

— Эй, чернявая, айда с нами,— не пожалеешь!

— Девушки, вы — подружки?

— Или не видишь, Сема, ясно — подружки.

— Тогда пусть берут меня в игрушки.

— Ты, Сема, рылом не вышел. Смотри, у них какой молодец гарцует. Одно слово, сокол — это самое, как кол...

— Но молчали, не обижались бабы. Даже самые языкатые из них, способные, казалось, под горячую руку переговорить самого черта, лишь горько усмехались в ответ из-под сдвинутых к самым бровям платков. «Тешьтесь, тешьтесь, милые,— как бы снисходили они,— сегодня вам все дозволяется».

И это их покровительственное молчание стало постепенно передаваться туда — в колонну: возгласы сделались реже и как-то стеснительнее, что ли, а затем и вовсе стихли, и только шорох сотен подошв об асфальт стоял в раскаленном воздухе, изредка прерываемый жалобным ревом скотины. Смерть казалась идущим чем-то таким, о чем еще можно было думать, если не с воодушевлением, то хотя бы не без некоторого кокетства. Но женщины, молчаливо глядящие на них с обочины, этим своим молчанием обозначили для них в предстоящем ее — смерти — настоящую цену. И, поэтому то, что всего минуту назад было подернуто героической дымкой, вошло в их сознание тревожным и пронзающим душу озарением.

В хвосте колонны, чуть даже поотстав, ковылял молоденький, совсем еще почти мальчишка, солдатик, на ходу укрощая строптивую обмотку, а укротив ее, наконец он выпрямился и обернул к бабам кое-как слепленное круглое лицо, грозя им при этом пальцем: смотрите вы, мол, тут!

И в это же мгновение будто прошлось солнечным зайцем по

бабьим лицам: всю женскую половину лашковского табора забрал громкий, безудержный, до слез хохот:

— Ой, держите меня, девоньки, выкину!

— Чай и есть разок на двор сходить по-легкому!

— Ой, бабы!.. Бабы!.. Ой, бабоньки!

— Вот, девки, грозильщик! Вот грозильщик! Умора!

Гурты двинулись в переход, но бабы и в пути все никак не могли успокоиться:

— Польк, видела, а?

— У них тут не забалуешься.

— Вернутся, будем знать, почем кнут, почем пряник.

— А ить, бабы, и правда, поберегись. Опосля хуже будет.

— Убережешься тут: кругом ловцы.

— А ты гони!

— Прогонишь, я — слабая...

Теперь же, в ночи, невольное дневное озорство оборачивалось в них горечью и зовом:

С неба звездочка упала
Четырехугольная.
С милым редкие свиданья,
Я и тем довольная.

По чести говоря, Андрей мог бы не подниматься сегодня ночью в объезд, надобности такой не было, а если и была, то ему давно следовало возвратиться в село, где его с ветеринаром определили на постой. Но снова и снова заводил он своего Гнедка в очередной круг, стараясь избыть в себе то необъяснимое еще им самим чувство вины перед кем-то или чем-то, не отпускавшее его сегодня с момента встречи на дороге. И вовсе не совесть здорового тыловика мучила Лашкова. Как раз здесь все было для него ясным. Ему приказано,— он выполняет. Прикажут идти на фронт — пойдет. Просто мир вдруг разделился перед ним на тех кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Лашковы — всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос: «А почему? По какому праву?» Дальше для него начиналась бездна, и, чтобы не думать дальше, он пустил лошадь в галоп.

В село он въехал, когда на востоке, у горизонта уже обнажилась первая полоска нового дня. Бобошко не спал. Бобошко страдал старческой бессонницей, а поэтому даже самый изнурительный переход мог свалить его от силы часа на два, на три. Он сидел в палисаднике, старое пальто внакидку, и птичьи глаза его грустно слезились.

— Все-то вам неймется,— встретил он Лашкова ласковой укоризной,— спали бы. Что там может случиться? Каждый стережет своих. А случится — прибегут. Вам одному все равно за всем не углядеть. А так, знаете, недолго и до нервного истощения, да.

— Сами-то вон...

— И-и! Разве я от забот? Я от старости. У вас все впереди, а я уже подвожу, так сказать, итоги. У меня есть, о чем вспомнить.

Разве вы, Андрей Васильевич, слышали когда-нибудь, к примеру, о Ледовом походе? Конечно, откуда? А мы тогда единой душой за Лавром Георгиевичем. Без страха и упрека, так сказать... Я ведь не страшусь теперь рассказывать: отбыл свое... Далеко — в Потьме... Чего-то мы тогда не учли. А чего, не знаю... Впрочем, знаю. Психологии русского крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист он, анархист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы ему Царство Небесное... Впрочем, зачем это я вам? Идите-ка поспите хоть часок перед дорогой. По такой жаре не спавши, знаете...

Андрей лег, но заснуть так и не сумел. Едва ли из всей бессвязной речи Бобошко он усвоил и половину, но и ее — этой половины — хватило, чтобы путаница в его голове стала еще неразборчивей. Только теперь ему стало ясно, что вся его жизнь укреплялась братом, его опытом, его силой, его авторитетом, наконец. Будь сейчас рядом Петёк, он моментально расставил бы все по своим местам. А без него, сам по себе, Андрей был способен запутаться в трех соснах. И уже запутался. Самостоятельная, без брата, жизнь начиналась для него совсем небезмятежно. Смутно для него она начиналась.

Засыпал Лашков под далекий сутыринский наигрыш:

Проводи меня домой
Тропкой неборoненной.
Милый мой, милый мой,
На сердце уроненный.

«Она,— снова, но уже умиротворенно прорвалось к нему в сонное забытье,— Александра».

V

Последние два дня гурты двигались вдоль железнодорожной ветки Ростов — Кавказская, то удаляясь, согласно госмаршруту, от нее в сторону, то вновь следуя с нею вровень. В раскаленном воздухе плыло над табором крутое облако пепельной пыли. Пыль пронзительно скрипела на зубах, забивала дыхание, проникая в каждую складку одежды, в каждую пору тела. А пшеничная степь впереди, насколько хватал глаз, не сулила путникам ни воды, ни приюта. Вдоль дороги, жестко хрустя, тлели, осыпались неубранные хлеба. Скотина косила жадный глаз в сторону поля, и выставленному Андреем конному заграждению приходилось выкладываться до изнеможения, чтобы сдержать медленный, но упорный натиск тысячеголового стада, тянущегося к даровому, хотя и гибельному для него, хлебу.

Поравнявшись с бричкой, в которой, несмотря на зной, зябко поеживался ветеринар, Андрей придержал коня:

— Думаю, у первой воды встанем, Григорий Иваныч. Не тянут люди, сдают.

— Пожалуй, Андрей Васильевич, пожалуй.— Последнее время

старик явно прихварывал, но вида старался не показывать, и только болезненная испарина, какую он то и дело стирал с уныло заострившегося лица, выдавала его.— Действительно, жарковато.— Воспаленные глаза Бобошко виновато мигали.— Занедужил вот... Застарелая малярия... С трех до пяти трясет... Часы проверять можно... Недельку потреплет, не меньше... Ничего, перетерпим...

— Может, отлежитесь где-нето поблизости, Григорий Иванович? — осторожно поинтересовался он у старика.— Потом догоните... Далеко не уйдем.

— Разве я давал повод? — Тот встревоженно оживился.— Или оплошал в чем? Ведь я, кажется, справляюсь?

— Вам и сказать ничего нельзя! — в сердцах вздохнул Андрей и тронул вперед.— Я, как вам лучше, хотел... Смотрите сами.

В который уже раз, сталкиваясь с Бобошко, Андрей попадал впросак. Что, какой интерес, какая корысть удерживала бывшего корниловца около в общем-то чужого и хлопотного для него дела? Пропасть, исчезнуть в безалаберной сумятице отступления не составляло ровным счетом никакого труда. И все-таки ветеринар с педантичной скрупулезностью продолжал исправлять должность, ревниво оберегая от стороннего вмешательства свои маленькие служебные права. Не облегчала Андрея и давняя фамильная привычка отстранять с пути все для себя необъяснимое расхожими, но удобными в житейском обиходе понятиями. Обычно в таких случаях он, не затрудняясь раздумьями, отмахивался с брезгливой, заимствованной еще у брата, краткостью: «блажь», «ересь», «чистоплюйство». Но здесь, изредка испытывая старика, Андрей видел, чувствовал, что имеет перед собой загадку особого рода, что что-то куда большее, чем привычка или закоренелая канцелярская исполнительность, движет ветврачом в его деловом рвении. И, казалось, отгадай он, Андрей, эту загадку, многое для него в жизни стало бы ясней и проще: «Не по зубам тебе, Андрей Васильич, товарищ Лашков, старичок попался, не по зубам».

У самого края горизонта, словно лезвие ножа, блеснув, обнажилась водная полоска, за которой постепенно, шаг от шагу все отчетливей стали выявляться очертания станционных построек. Конь под Андреем возбужденно напрягся, упрямо вздыбил холку и перешел в галоп. Подернутое болотной ряской озерцо развернулось ему навстречу, одним концом упираясь в низкорослую лесопосадку, другим — приникая к путевой насыпи, где перед семафором стоял товарный эшелон. «Место в самый раз,— облегченно вздохнул он,— встанем, обиходимся малость».

Близость воды и долгожданного отдыха заслонила в сознании людей все окружающее. Вместе со скотиной они самозабвенно вбирали в себя дарованное им облегчение, но, когда после утоления жажды мир для них приобрел законченную устойчивость, эшелон наверху оборотился в их сторону десятками, сотнями глаз,— устремленных к ним сквозь забранные колючей проволокой люки пульманов. И каждый взгляд с отчаянной обнаженностью взывал

не к людям — к воде. И настороженное молчание, возникшее сразу вслед за этим среди скотогонов, только утвердило внезапно осенившую всех догадку: «Заключенные!»

У Андрея похолодело сердце. Что-то почти неуловимое в лицах за проволокой отличало их от тех уголовных, что ему приходилось изредка видеть за проволокой спецшахт в Узловске. И Андрею не то чтобы, внове показалось их — этих людей — существование, нет, в годы перед войной в городах и окрестных деревнях брали налево и направо, и ему самому доводилось не раз бывать понятым при арестах, просто он никогда не предполагал, что вот такая, глаза в глаза, встреча с ними посреди безлюдной степи может так жгуче и горестно в нем отозваться: «Чего уж с них теперь-то взять? Одна беда нынче у всех да еще какая!»

И, словно утверждая это его недоумение, выбеленное зноем небо над степью неожиданно рассек натужно завывающий гул штурмовых «юнкерсов». И все вокруг мгновенно откликнулось на их угрожающий зов: истошный визг ребятишек вплелся в рев и ржание обезумевшей от ужаса скотины и, как ни силился Андрей криком и руганью сорганизовать среди панической колготни сколько-нибудь самозащиту, проку из его крика не выходило, неразбериха росла и усиливалась. И только глаза в сквозных проемах пульманов,— десятки, сотни глаз — еще и еще, не воспринимая опасности, все так же, с надеждой и вожделением взывали к близкой, но недоступной им воде.

Тогда Андрей положил Гнедка и лег сам, и лишь тут, обретая тревожную ясность, в калейдоскопе галдящей мешанины перед собой выделил хромоногую фигуру Саньки Сутырина, спокойно складывающего бутылки с запасной водой в пузатую грибную корзину. «Что еще удумал, черт полосатый,— тронуло Андрея недоброе предчувствие,— не может без фокусов?»

Санька складывал бутылки с обстоятельностью человека, готового к самым неожиданным последствиям своего замысла. Наконец, сложив их и устроив корзину на руку, он неспешно двинулся с колодезным багром наперевес прямиком к уже обстрелянной с первого же захода насыпи. Охрана и паровозники бежали ему навстречу, к ближней лесополосе, но, не видя вокруг себя ничего, кроме спасительных деревьев впереди, никто из них не остановил его и не повернул обратно.

Тяжело припадая на укороченную ногу, Санька карабкался вверх по насыпи, и благодарность множества глаз из-за колючей проволоки оберегала парня в этом его пути.

К полотну Санька выбрался без особых, если не считать слетевшей с него по дороге фуражки, происшествий. Здесь он определил корзину у ног и, достав первую бутылку, связал ее с крючком багра. Затем, упершись здоровой ногой в торец шпалы, парень стал осторожно выбирать багор вверх, к самому люку, достигнув которого, ловко протиснул горлышко посудины между двумя рядами колючки. И в то же мгновение, сквозь свист и завывание пики-

рующей машины, прорвалась хлесткая дробь пулеметной очереди. И, будто от плоского камня, рикошетом пущенного в воду, выплеснулись при нескольких соприкосновениях с нею короткие фонтанчики: по вагонам, вслед этой очереди, пошел вториться крик за криком. Санька же, едва коснувшись коленями щебня, резко откинулся на спину и начал медленно сползать вниз головой, к водоотводной канаве.

«Посочувствовал на свою шею,— невольно зажмурился Андрей,— был человек — и нету!»

Но уже в следующую минуту из лесополосы темным колобком выделился Бобошко и, петляя по-заячьи, заковылял в сторону полотна. Целеустремленность его намерения не оставляла Андрею времени для раздумий. Сила, куда более властная, нежели страх, оторвала его от земли и бросила наперерез старику:

— Ложись!.. Ложись, говорю!.. Застрелю!..

И прежде, чем ветеринар услышал его и лег, он плашмя упал в траву и пополз к насыпи.

Не раз в пути разрывные трели «юнкерсов» приклеивали его к земле, и сердце у него смертно обмирало, уже не надеясь на спасение, но тихий костерок рыжей Санькиной шевелюры, маячивший впереди, облегчал ему его движение к цели.

Когда до Саньки оставалось лишь протянуть руку, и Андрей задержался, чтобы хоть немного передохнуть, в горячечное сознание его пробился рвущийся изнутри вагонов многоголосый и почти нечеловеческий вой. И только тут Андрею по-настоящему стало страшно. Воображение живо нарисовало ему все то, что творилось сейчас в битком набитых и замкнутых со всех сторон вагонных коробках. «Мамочка моя родная,— зашлось в нем сердце,— что же это? Что же это делается-то!»

Санька, хоть и прошитый поперек щиколотки очередью, оказался жив и, с трудом размещаясь на спине Андрея, даже пытался шутить:

— Кажись, на другую захромал... Не оставляет Господь милостями Саньку Сутырина... Нет-нет, да и подмогнет...

Обратный путь Андрей проделывал и совсем уже в полубеспамятстве. Среди кошмара гибельного столпотворения вокруг ему казалось, что выволакивает он к придорожному кустарнику много большую, чем Саньки Сутырина, тяжесть. Тяжесть, какую отныне — и Андрей это знал теперь наверное — ему уже никогда у себя не избыть.

И первое, что он, опамятовавшись в лесополосе, реально ощутил, был взгляд Александры — внимательный и долгий, прерванный лишь горестным вздохом Бобошко:

— Господи, что за люди, что за народ! Все терпит, все. Триста лет терпел татар. Столько же Романовых. Видно, претерпит и это... Что ж, у него еще есть время...

Паровозный гудок со стороны насыпи сопровождал Андрея в гулкий, облегчающий душу сон.

VI

Небо от горизонта до горизонта затягивала серая, в темных наплывах пелена. Ветер осыпал до степи прерывистые косые ливни, и чавкающая грязь под ногами с каждым шагом становилась все непролазнее. Движение табора час от часу тяжелело и замедлялось.

Тронув коня к выглянувшей из дождевого марева навстречу гуртам станице, Андрей осадил по дороге у крытого возка, где под присмотром ветеринара колотился в бредовом жару Санька Сутырин:

— Ну, как?

— Плясать — нет, а жить будет.— Бобошко сожалеюще пожал плечами.— Я ведь не Господь Бог. И даже не Бурденко. Ихтиолка, йод — вот и все мои бальзамы.

— Не до плясок, продержался бы.— В нем все еще перегорало его недавнее напряжение.— Станица близко. Доктора найдем.

— Может быть... Может быть,— неожиданно заскучал тот.— Но едва ли... Немцы следом идут.

— Ну и что?

— Эх, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич, верьте моему слову, я казака здешнего хорошо знаю, хлеб-соль он, конечно, приберег, да не для нас с вами. Так что теперь там не только доктора, коновала путного не сыщешь. Дождались станишники своего часа. И уж они, будьте покойны, они свое возьмут. И — с кровью.

— Мало, что ли, им советская власть дала?

— Казачеству всегда кажется, что власть может и должна давать ему больше. Именно поэтому оно предало царя ради Корнилова и Деникина, затем их обоих заменило собственными атаманами, коим вскоре предпочло совдепы, а теперь постарается не прогадать и на них... Смесь унтерского гонора и лакейства, помноженная на звериную жестокость,— вот что такое казачество, дорогой вы мой, Андрей Васильевич.

Едва Андрей нашелся с ответом, как из моросящей хмари вынырнул Филя Дуда — ком влажной парусины на пегой, последнего разбора лошаденке,— посланный им вперед с тем, чтобы заранее определить место будущей ночевки.

— Негде, Васильич, скотину ставить. Нету загонов! Кругом объехал, нету.

По условиям госмаршрута каждое село, деревня или станция обязывались по пути их следования отводить специальный загон для стоянки скота. До сих пор правило это неукоснительно соблюдалось. И поэтому весть, сообщенная Дудой, не на шутку встревожила Андрея: «Неужто и в самом деле хитрят станичники?»

Не мешкая долее, он кинулся вдоль табора, туда, на запах близкого жилья, и вскоре Гнедок уже вымеривал станичный шлях, держа путь в сторону базарной площади.

Центральная усадьба выглядела заброшенной. Двери складских

помещений с сорванными замками были распахнуты настежь, доска показателей у крыльца пестрела матерными изречениями, стекла в большинстве лицевых окон выбиты. Но когда, миновав темные сени и коридор, Андрей взял на себя дверь председательского кабинета, навстречу ему из-за стола поднялся низкорослый, почти квадратный горбун в застиранной ситцевой косоворотке и тюбетейке с кисточкой. Поднялся, но тут же опытным глазом оценив визитера и в результате не найдя, как видно, причин для церемоний, снова сел и буркнул в стол перед собой:

— Слухаю...

Но слушал он Андрея вполуха, отсутствующим взглядом отворотившись при этом в окно, и весь облик его выражал самую крайнюю утомленность пустыми домоганиями гостя.

— Приказ, говоришь? — Горбун вдруг уставился в него и обнажил свои крупные, кукурузного цвета зубы в издевательской улыбочке.— Обязаны, говоришь? А ето с каких же таких времен я тебе, кацапу, стал обязанный? Эй, Царьков! — Из смежной комнаты высунулась и замерла в угодливом внимании седовласая, с острым, усеченным книзу профилем, голова.— Слышь, еще один за долгами явился... Мабуть, тебе и жинок наших доставить для полного удовольствия? Приказуй, ваше кацапское благородие! — Жилы его короткой шеи судорожно напряглись.— Хлеба хочешь? Мяса хочешь? Молоком тебя напоить? А горб мой не заберешь зараз? Мне его кацап, вроде тебя, в двадцатом еще годе на сохранность оставил, бери!.. Падаль! Ты у меня не токмо хлеба, дерьма собачьего не получишь... Я тебе...

Горбун вдруг умолк, сжался и, уставившись сразу же остекляневшими глазами куда-то поверх Андреева плеча, беззвучно зашевелил белым ртом. Голова в дверном проеме смежной комнаты мгновенно исчезла, а за стеной раздался грохот упавшего стула, затем звон выбитого стекла и следом — выстрел. Выстрел был сух и резок, как удар бича, и прозвучал он не оттуда — с улицы, а из-за спины Андрея. По утиному лицу горбуна будто пробежала тень, оно сделалось пепельным и как бы полым. Сучковатые пальцы его судорожно скомкали бумаги перед собой, но тут же разжались и вяло замерли в смертной истоме. Тюбетейка медленно съехала с безжизненно уткнувшейся в крышку стола головы и откатилась в сторону, обнажив голый, изрытый сабельными рубцами череп.

— Эх, Лашков, Лашков,— голос за спиной Андрея прозвучал устало и равнодушно,— оружие тебе, видно, выдали зря. С такими разговоры разговаривать — только время терять, а у тебя государственное дело в руках.

И человек, с которым Андрей в следующий миг оказался лицом к лицу, смотрел на него из-под выгоревших бровей отсутствующе и скучно. Шпалы в петлицах — по четыре в каждой — размещались вкривь и вкось, кобура болталась у впалого живота, стоптанные сапоги были чуть ли не до самых колен забрызганы грязью.

— Не уйдет.— По-своему истолковал полковник вопроси-

тельное молчание Андрея.— Во дворе мои ребята... Это здесь не тебя первого так привечали. Пошли.— Он кивнул в глубь коридора.— Тут я с бабами твоими говорил. Рассказали кой-чего. Парня раненого я у тебя заберу, сдам в первом же госпитале.— Слова давались ему как бы через силу, и он ронял их скупо и нехотя.— Выделишь моим молодцам с десяток лошадей. Наши уже не тянут. Плохих не возьму, запомни... Вот он, голубь.— Они спустились во двор, где в окружении трех хмурых красноармейцев сидел на корточках уже знакомый Андрею старик.— А ну, встать!

Тот с живостью, для его возраста удивительной, вскочил и, поводя в сторону подошедших искательными глазами, излился шепелявой скороговоркой:

— Я человек подневольный... У меня ограничение в паспорте... Всю жизнь как на цепи... Что прикажут, то и делал... А семья — сам пять... Поимейте рассуждение... Без меня вам здесь никто ничего не укажет... Все попрятали, все... И скотину угнали всю, как есть... Одно слово: станичники.

Старик, оказавшийся артельным кладовщиком, огородами вывел их к заброшенному кирпичному заводику у речки, где в тщательно замаскированных печах и хранились до лучших времен еще непочатые общественные запасы.

— Вот что, Лашков,— говорил ему полковник, сидя с ним под берегом около печей, в глубине которых красноармейцы при услужливом содействии кладовщика отбирали себе провизию,— возьмешь, сколько сможешь... Остальное прокеросинь и спали. А этого,— он кивнул в сторону печи, и бесцветные глаза его загорелись вдруг мстительным бешенством,— уберешь сам.— И тут же, без перехода, сбился на крик.— Носишь ведь ты наган для какого-то черта! Или это тебе дали вместо молотка, орехи колоть? — Он погас так же быстро, как и загорелся.— Они нас не пожалеют... Моих вон ребят... В Каунасе... Вместе с женой... Заживо...

И лишь тут, сквозь внешнюю бесцветность и вялоту, разглядел Андрей в казалось насквозь пропыленном лице сидящего рядом с ним человека след изнурительной муки, какой и придавал его чертам выражение усталой обреченности. И поэтому, когда четверка конных, загруженная до отказа, скрылась в дождевой мгле, Андрей только и сказал старику.

— Бери ноги в руки, папашка...

Они шли через кукурузное поле к ближним зарослям лиманного камыша, и сердце у Андрея колотилось в предчувствии скорого и уже непоправимого для него решения.

Бокастые, чернильного колера облака грузно сползались к горизонту, высеивая по пути стылую изморозь. От окрестных хуторов тянуло сладковатым запахом горелого кизяка, во дворах трубно перекликались петухи, возвещая вечер, и думалось, что никакая беда не грозит их безмятежной тишине.

— За что ты меня, сыне! — Духлые бодылья сыро хрустнули под его коленками.— Чем же я перед кем провинился, что какая-

такая моя доля? — Мокрые от дождя и слез дряблые щеки старика студенисто тряслись.— Истинно говорю тебе: как зачали меня гнать в двадцать девятом, так и сию пору не найду места. А ведь их у меня трое... И мал-мала... Скажи, где правда? За чей грех я кару несу? Не за себя прошу, мне и осталось-то всего ничего, за детей своих прошу, пропадут! Что мне жизнь? Не жизнь — дрожь одна. Только как же они без меня, да еще об эту пору?.. Казни, коли не мать тебя родила! Нету моих сил больше...

Старик, беззвучно сотрясаясь, уткнулся сивым своим ежиком в мокрую твердь. И что-то дрогнуло, стронулось в душе у Андрея, горечь еще неизведанного волнения подкатила к горлу, и, слезно обмякнув, он молча повернул назад — к станице, с обжигающе запечатленным в памяти напутствием старика:

— Храни тебя Господь, сыне!

Всю дорогу до самого табора Андрея не оставляло чувство тщеты и суетности той жизни, какою он жил раньше. Сомнения обкладывали его плотным кольцом жгучих до обморочного удушья вопросов: «Что же это все получается? Друг друга гоним, как скотину, только в разные стороны? А зачем, из какой выгоды?»

Уснул он сразу, едва коснувшись виском заботливо подоткнутого ветеринаром ему под голову полушубка. И снилось Андрею, будто стоит он по шею в быстрой воде, пытаясь выбраться на берег, но берег обламывается под его руками и все дальше и дальше от него отступает. И вдруг появляется над ним Санька Сутырин и угрюмо укоряет: «Ты чего это здесь балуешь? Совесть иметь надо». Вода уже захлестывает Андрея. И тут неожиданно выплывает рядом старик-кладовщик в форме и с четырьмя шпалами и тянет ему руку: «Ты — мне, я — тебе, сыне. Не пропадем, Христос — воскрес». Но здесь какая-то неодолимая сила начинает растаскивать их в разные стороны. И взволнованный голос Бобошко шелестит у него над ухом: «Андрей Васильевич, Андрей Васильевич!»

Пробуждаясь, Андрей уже явственно воспринял:

— Андрей Васильевич, Андрей Васильевич! У Федоровой схватки! Надо полагать, родит!

VII

У будки путевого обходчика, где под присмотром его жены и Бобошко исходила криком в затянувшихся схватках Пелагея Федорова, маетно кружился муж ее — Прокофий — сухой жердеватый мужик, с красиво разбойным лицом, чуть испорченным легким косоглазием:

— Ишь, как заворачивает, бедолага!.. Видно парень... и какую только муку бабы принимают из-за нашего брата... Какое дно терпения нужно иметь!.. А ить она у меня слабая... И первый раз... Надо же, как, а?.. Эх, Васильич, коли бы сына!.. Ах, как хорошо бы!.. Только ее мне еще жальчее... Лишь бы разрешилась с добром...

Стоны в будке вдруг стихли, Прокофий замер на месте, вслуши-

ваясь в чуткую тишь, затем сделал было движение к двери, откуда в следующее мгновение выплеснуло ему навстречу пронзительный, исторгнутый, казалось, самой основой существа, вой, который, после недолгой тишины, сменился торжествующе требовательным младенческим криком.

Прокофий жалобно покосился в сторону Лашкова, твердое лицо его дрогнуло, обесформилось, и он, потерянно разведя руками, сел на корточки и растерянно заплакал:

— Эх, Васильич, разве я так думал! Думал, с музыкой, по-человечески! Не вышло! Сам в борозде народился и своего дитю в чужом поле принимаю. Несчастливая, видно, звезда моя.

На пороге будки появился Бобошко и, насмешливо оглядывая их слезящимися от усталости глазами, добродушно съязвил:

— Что, проняло, горе-мученик? Пляши: парня тебе баба принесла. Иди, любуйся делом телес своих, папаша.

Когда Андрей, следом за Федоровым, вошел в будку, Пелагея уже дремала, неловко подвернув ладонь под голову. Серые, в кофейных пятнах щеки женщины глубоко запали, но болезненно заострившиеся черты ее смягчала блаженная, отмеченная нездешним покоем полуулыбка. Под локтем у нее сладко посапывал федоровский первенец — холщовый кокон с темно-красным, цвета перезрелого помидора пятном в самой глубине. И то, что еще вчера представлялось Андрею вещим и таинственным — роды, изначальный крик, первое кормление — выглядело сейчас так буднично и просто, и даже в чем-то отталкивающе, что он не выдержал, отворотился:

— С прибавлением тебя, Проша...

— Поглазели, и будя.— Обходчица — разбитная старуха в выгоревшей добела форменке, с мокрым тряпьем в руках — заслонила от них роженицу.— Покатаются, жеребцы, и в сторону, а баба страдай. У-у, бессовестные, выставились! Пошли с хаты!

В усадебном сарайчике, разливая по кружкам припасенный специально для этого случая самогон, Прокофий не без смущения подытожил:

— Не обижайся, Васильич, дале я не пойду. Сам понимаешь, не могу я бабу с таким дитем тащить Бог знает куда. Погожу где поблизости, а там видно будет.

— Государственный интерес, значит, побоку? — Решительно отодвинул свою кружку Андрей и встал.— А я-то на тебя надеялся, Проша, как ни на кого надеялся.

— А рази дите мое не государственный интерес? — Тот, заметно ожесточаясь, сцепил пальцы на коленях и угрюмо уставился в носки своих сапог.— Скотину развести — плевое дело, а здесь кровь моя. Можа, мне и не придется уже боле. Так что, как хошь, а не пойду я.

— Крепка! — Маленькими глотками выцедив свою долю, ветеринар словно и не слушал их разговора вовсе.— Давненько не приходилось этакого пробовать. Без сомнения, ржаная. Умеют на

Руси вино варить. Чтобы такого же здоровья молодому Прокофьичу!

— Бросьте, Григорий Иваныч! — Услужливая хитрость старика только подхлестнула в Андрее накипевшую за день злость.— Что нам в кошки-мышки играть? Не маленькие! Выходит, у каждого свой интерес на первом месте? У меня, выходит, только, окромя скотины, нету интереса? Один я воз везти должен? — Фамильная ожесточенность прорвалась в нем и понесла его.— Гляжу, и вы, Григорий Иванович, гражданин хороший, в лес засмотрелись? Так я не держу. Глядишь, за прошлые заслуги схватите у немчуры кусок послаще. Но уж больше, когда вернемся, не просите милости, по первое число влепим. Видно, сколько вас ни корми — все одно укусите в урочный час...

Через минуту он, не жалея плети, уже гнал своего коня вдоль лесополосы к дымящему дневными кострами табору, и саднящее душу ожесточение билось в его висках: «Неужто все прахом пойдет? Кататься вместе, а саночки возить врозь? Вот оно когда суть-то сказывается».

Дорога, размытая недавними дождями, вязко пружинила под конскими копытами, сырой ветер бил в лицо, окрашивая поля вокруг в цвета слякотной хвори и увядания. И никогда еще в прошлом не было у Андрея так мутно и одиноко на душе: «Кому верить, на кого надеяться? Сам не вытяну, значит, никто».

Андрей гнал, не замечая ничего вокруг, и поэтому, когда из придорожной заросли выделилась женская фигура и пошла ему навстречу, он в первую минуту лишь повел поводьем с тем, чтобы объехать ее стороной, но уже в следующее мгновение сердце его упало и тут же забилось отрывисто и гулко.

Александра шла, с каждым шагом разрастаясь в его глазах, пока не заслонила перед ним всего, что его окружало. Александра шла, и сизые глаза ее, сумеречно мерцая, как бы вбирали его в себя, и он, околдованный ими, осадил коня, соскочил на землю и шагнул ей навстречу.

— И как там Пелагея, родила? — Нарочито вызывающий тон ее, Александры, выдавал ее смятение, и по всему чувствовалось, что говорила она совсем не те слова, какие сейчас складывались в ней. — Бабы наши все гадают: малого или девку?

Александра бездумно роняла какие-то случайные, полые, первые попавшиеся слова, а все в ней — лицо, глаза, тело — текло, кричало, смеялось совсем от иной причины и по иному поводу. Андрей немо смотрел на нее, не в состоянии произнести ни звука, до того неожиданной увиделась ему эта, посреди дороги, встреча.

— Ну, чего уставился, али не узнал? — тщетно прятала она в озорстве собственное смущение.— Немудрено, за коровьими хвостами света не вижу. Скоро самою себя узнать в зеркало не возьмусь. Такая уж моя доля.

— Отчего же? — Смиряя колотившую его дрожь, Андрей сошел с коня и двинулся с нею рядом.— Чуть посомневался, правда: с какой, думаю, стати?

— Да так, вздохнуть вышла.— Голос ее слабел и прерывался.— А вот встретила тебя и, вправду, кстати. Не спешишь?

Хмельное расслабляющее тепло коснулось сердца Андрея, и мир вокруг него внезапно приобрел звук, запах, окраску. Бурые подпалины увядающей листвы резко выделялись на фоне изреженного скудеющими облаками белесого неба, которое, в свою очередь, оттеняло стойкую зелень ивняка и орешника в желтом море брошенной на корню степи. Со стороны речки тянуло волглым деревом и тиной лиманов, где хлопотливо клекотали, готовясь к отлету, птичьи полчища.

— Разговор есть? — Он еще не верил ее зову, а потому выравнивал речь и сдерживался.— Говори, коли не шутишь.

— Иди сюда, Андрейка-а,— потянула она его за рукав, и это ее протяженное «Андрейка-а» отозвалось в нем благостно и жарко.— А то глазищ-то пропасть. Нашим бабам только попади на язык, такого наговорят! Сюда... Сюда иди.

Александра, видно, ждала Андрея загодя: под старым сучковатым абрикосом было разостлано байковое одеяло, а к самому корню дерева жалась бязевая сума со снедью. И едва он разглядел все это, как теплые ее ладони сомкнулись у него на затылке.

— Андрейка-а, Андрюшка-а! — кружились у его уха бессвязные слова.— Не по злобе, из гордости за тебя не пошла. Думала, люди комиссарским хлебом попрекать будут. А ить один ты и люб был. Бывало, встречу, свету не вижу. Всякий день считала: как ты там, с кем? Рыбочка моя, ягодиночка... Пожалей, Андреюшка-а!

— Эх ты! — только и вырвалось у него. И еще раз. И еще горше:— Эх ты!

Головокружительный туман лишил Андрея памяти и речи, выявив перед ним лишь ее глаза, мерцавшие тихой и преданной радостью. Глаза эти, как два бездонных омутка, высвеченных изнутри голубой искрой, маячили где-то совсем рядом, затягивая его в свой колдовской круговорот...

Потом, лежа рядом с ним и оглаживая его руку в своей, она, как о чем-то давно решенном и переговоренном, сказала:

— Детей у нас, слава Богу, с Сережкой не вышло, значит, и спросу ему с меня нету. Я к тебе теперича навек прилепилась, куда ты, туда и я.

Андрей моментально насторожился:

— Ишь, легко как все у тебя получается.

— А ты что —боишься?

— Не боюсь, а совесть иметь надо.— Он словно бы ждал этого ее вызова.— Да, да, Санек, нельзя нам так. Что люди скажут? Ребята, мол, воюют, а Лашков солдатских баб портит. Вот будет войне конец, сядем мы с Серегой и поговорим ладом, как люди. Мы, Лашковы, по-разбойному чуждое добро не берем.

— Эх вы — Лашковы! — Александра стремительно поднялась, коротким движением закинула растрепавшуюся косу за плечи и сверху вниз опалила Андрея горьким презрением.— По вашей

указке жить — так и в нужник со справкой ходить придется. Слова в простоте не скажете. Из какой только плесени тянется порода ваша болотная. Я думала, хоть ты от них в отличку. А ты одно с ними дерьмо, только пожиже. Дай вам волю, баб заставите по свистку детей рожать. Да Бог миловал!

— Да разве вы люди! — Ее рассчитанный в самое больное место удар обернулся в Андрее яростным ожесточением.— Поперек горла вам Лашковы встали, потому как Лашковы по совести, по справедливости жизнь устроить хочут. Только слаже вам грязь ваша невылазная, чем новая доля. Дерьма вам своего в общий котел и то жалко.

— А вы эту самую справедливость,— уже откровенно издевалась Александра,— промеж себя поначалу устройте, а то едите друг-дружку, будто пауки, все командирства своего не поделите. А мы уж как-нибудь без вашей богатырской помочи обиходимся. Вот эдак-то, Андрей, свет Васильевич, товарищ Лашков.

И снова из всего, что было связано у него с Александрой, память выделила лишь обиды и унижения, и в нем, перехватив ему горло, взорвалась безрассудная злость:

— Уходи.— Он терял над собой власть.— Убью.

— Не хватит тебя на это самое, Лашков.— Уже отходя, она насмешливо покосилась в его сторону.— В ногах жидок, кровь не та. Покедова...

С ревнивой ожесточенностью смотрел Андрей, как она уверенно и споро пересекает несжатое поле, направляясь к табору, и сердце, а такт ее шагам, дергалось и обмирало. Понуро, не замечая ничего вокруг, брел он по дороге: «Куда же это я гребу, Господи! И отчего это у нас — Лашковых — все не как у людей!»

Догнавший его на линейке, Бобошко тихонько притормозил и поехал вровень с ним. После недолгого молчания старик сочувственно откашлялся и заговорил, и голос его звучал глухо:

— Ах, Андрей Васильич, Андрей Васильич! Далеко мы так не уйдем. Криком делу не поможешь. Он уже оглох от крику-то, мужик русский, не слышит. Да и прав Федоров. Где ж ему с грудным младенцем дальше идти? Никак нельзя. Война пришла небывалая, скоро жизнь человеческая станет дешевле полушки, а мы о скоте печемся. А ведь не скот нас, мы его производим. Нам бы с вами радоваться надо, Андрей Васильевич: еще одна живая душа Божьей красотой заполнилась. Какая уж тут амбиция! Да один вздох людской ценнее всех рек молочных и кисельных их берегов. И ни одно земное царствие не стоит человеческого волоса... А, впрочем, как знаете, Андрей Васильевич, как знаете, вам виднее...

Что Андрей мог ответить старику? Никакие слова уже не могли заполнить его опустошения. Он и двигался-то сейчас скорее по привычке, чем в силу надобности. Действительность на какое-то время потеряла для него всякий смысл и значение: «Будь оно все проклято! Мне все равно, кто из вас прав, а кто виноват! Я-то здесь при чем?»

VIII

Узкая горловина моста, словно воронка, медленно, но властно втягивала в себя разноголосый водоворот отступления. Повозки, машины, скотина, люди бесконечным потоком устремлялись к берегу, одержимые единственным порывом: во что бы то ни стало переправиться на ту сторону. В крике и ругани, в реве и гуле прослушивалось лишь одно желание: любыми способами оказаться за пределами моста.

Военный распорядитель — долговязый рябой майор, вконец измученный хлопотной и зряшной своей должностью, рассеянно выслушав жалобы Андрея о необратимых опасностях эпидемий и падежа, лишь досадливо отмахнулся от него:

— Брось, дорогой! Какая уж тут к черту санитария и гигиена. «Мессера» налетят, такую дезинфекцию оборудуют: любо-дорого, собирай только рожки да ножками обкладывай.— Острые в крупных оспинках скулы его поигрывали в усмешке.— Жди, дорогой, придет и твоя очередь. Спешить тебе некуда, кроме как на фронт.

Упрек был слишком прозрачен, чтобы его не понять, и Андрей, сразу теряя интерес к делу, увял и стушевался: «Попал ты, Андрюха, в непопятную, только ленивый не лягает».

На подходе к табору Андрея перехватил ветеринар, за которым, в чем-то его горячо убеждая, след в след ступал рукастый, не старый еще цыган в засаленном вельветовом жилете поверх новенькой офицерской гимнастерки.

— Андрей Васильич, голубчик! — Бобошко бросился к нему, как к спасению.— Выручайте, понятия не имею, что он от меня хочет? Куда я его возьму? Кто разрешит? Сами не знаем, когда двинемся. Да разве втолкуешь ему?

И лишь тут, возвращаясь к действительности, Андрей увидел приткнувшуюся к берегу одиночную кибитку. Ее латаный-перелатаный парус кричаще выделялся среди пестроты телег и бричек разномастного лашковского хозяйства. И Андрею без объяснений стало ясно, что цыган хочет пристроиться к их табору и с ним вместе, вне очереди, пройти через мост. Еще не опамятовавшись после разговора с распорядителем, он грубо отрезал:

— На одного ушлого десять хитрых. Я тебе не потатчик, вставай в хвост.

— Будь человеком, начальник! — Влажные глаза цыгана умоляюще засветились в его сторону.— Заставь за тебя Бога малить, вазьми в свой кагал. Ранятый у нас, бальной, памрет проста, вазьми... Не веришь, сматри сам.— Заученным движением от отдернул полог кибитки.— Вот он, сердешный.

Там, в окружении гомонка старух и ребятишек, истлевал сухим жаром молодой, городского типа парень, до подбородка укрытый зимним стеганым одеялом:

— Давай, давай, лей... Лей больше... А я поплыву... Поплыву на самую середину... Холодно... Очень холодно...

Андрей отвернулся и тут же, прямо у его ног, аспидным бесенком объявился и пошел частить голыми подошвами крохотный цыганенок в продранной, с девчоночьего плеча рубашке. Преданно заглядывая ему в глаза, мальчишка в самозабвении отплясывал перед ним чечетку, и Андрей, нехотя сдаваясь, в конце концов безнадежно махнул рукой:

— Леший с вами, становитесь!

— Спасиба, начальник! — неслось ему вдогонку.— Не пожалеешь, начальник.

Цыгане осваивались недолго. Вскоре пестрые платки гадалок мельтешили между артельных костров, и узловские бабы, не скупясь, наполняли им их объемистые подолы и пазухи щедротами своих, жаждущих утешения сердец. Их ребятишки тоже не теряли времени даром, крутились рядом с ними, выпрашивая и приворовывая к общей добыче и свою долю.

Лагерь ожил, и Андрей уже не жалел о своей вынужденной уступчивости: «Хоть подобреют бабы малость. Много ли ей — бабе — надо!»

А когда, наконец, где-то под вечер хозяйство переправилось и стало ночевкой за околицей ближайшего заречного хутора, Андрей, совершая вечерний объезд, лицом к лицу столкнулся с тем самым парнем, которого, почти умирающим, он видел утром в цыганской кибитке у берега.

— Добрый вечер! — в тоне парня не угадывалось и тени смущения.— Есть мысль! Оцените! — В его манере говорить, смотреть, двигаться было что-то необъяснимо притягательное. Казалось, все в нем жило, существовало по отдельности: глаза, лицо, руки; если смеялись глаза, лицо каменело, а быстрые руки лишь подчеркивали штатскую мешковатость фигуры.

— Я здесь договорился с местной властью: вечером устраиваем сольный концерт. По полтиннику с носа. Есть свободный амбар. Да,— расплываясь в застенчивой и как бы извиняющейся улыбке,— я, простите, не представился! Артист Курской государственной филармонии Геннадий Салюк: миманс, танец, художественное чтение. Прошу любить и жаловать! Как мысль?

Андрей никак не мог прийти в себя от изумления: «Ну и дурака же я свалял! Вот это номер! Провели, будто дитятю». Но тихое бешенство, охватившее его вначале, сменилось сперва растерянностью, потом безразличием,и наконец, проникаясь неотразимой улыбчивостью артиста, он решительно обмяк, смущенно пробормотав только:

— Ловко это ты... Да...

— О чем это вы?

— Ну там, в кибитке.

— Ах, вы об этом! — Улыбка Салюка сделалась еще застенчивей и шире.— Уж вы не сердитесь. Я ведь у них кормлюсь вторую неделю, надо было помочь бродягам. Да и от вас не убыло. Рот-фронт, так сказать, все люди — братья. Маленькая мистификация

ради пользы дела... Так что вы скажете по поводу моего просветмероприятия?

— Валяйте... Не возражаю... По полтиннику, значит?

Располагаясь к разговору, Андрей потянулся было за кисетом, но парень исчез так же мгновенно, как и появился, и Лашков, посожалев, тронул своей дорогой, а когда заканчивал круг, снова встретил ветеринара, за которым все так же, след в след, плелся уже знакомый ему цыган.

— Замучил меня этот марокканец.— Старик дурашливо развел руками.— Вы только послушайте его! Психология, как при первобытном натуробмене. Никакой логики.— Он обернулся к своему преследователю.— Вот тебе начальник, с ним и разговаривай, а то у меня уже ум за разум заходит.

Тот, словно и не заметив перемены лиц перед собой, сразу же подступился к Андрею:

— Гаварю тебе, начальник, настоящую цену даю. Сваих лашадей впридачу. Тебе так и так сдавать, харошую — плахую — один леший, а мине жизню жить, семью, детишек вазить по беламу свету, чистаму полю... Не пажалеешь, начальник, харошие деньги даю.

Напрасно Андрей чуть ли не до первых звезд втолковывал тому азы законов о государственной собственности, напрасно пугал последствиями и возмездием: тот лишь недоуменно хлопал круглыми, орехового цвета глазами, начиная свою речь с того же припева, каким всякий раз кончал:

— Пажалеешь, начальник, харошую цену даю, харошие деньги... Больше никак не могу, нету больше.

— Да пойми ты, голова садовая, прав таких мне...— Он осекся на полуслове: мимо, в окружении сычевских подруг, проплыла Александра. Минуя их, она искоса взглянула в его сторону и царственно усмехнулась одними уголками плотно сжатых губ. И он безвольно потянулся за ней, уже машинально заключив:—...не дадено... Нету таких прав у меня.

Стараясь не упустить ее из виду, Андрей по дороге кое-как отделался от своего бестолкового просителя и вскоре вышел к тому самому, наскоро приспособленному под клуб зерновому складу, где обещанное Салюком действо уже разворачивалось полным ходом.

Сооружение из двух мучных ларей служило артисту сценой, зритель же размещался по личному усмотрению и в зависимости от собственной сноровки, то есть как попало. Чад множества семилинеек плавал над головами, делая и без того темную коробку амбара еще более тесной и сумрачной.

— ...Признаться, я очень волнуюсь. Впервые мне приходится выступать перед столь взыскательной аудиторией. Но я надеюсь, что утонченный вкус сегодняшней публики будет равен ее снисходительности... Кстати, о вкусе. Подходит здесь ко мне в трамвае один гражданин и говорит: «Вы, говорит, тот самый Тьма-Тара-

каньевский, который вчерась в зеленом театре в концерте выступал?» Я, говорю,— сами понимаете, лестно: узнают! А он мне: «На паях, значит, говорит, с жульем работаешь, такой-этакий, рассякой. Зубы, значит, заговариваешь, а они бумажники у полноправных граждан прут!» Обернулся это он к пассажирам: «Грабеж, кричит, среди белого дня! Вчерась, кричит, на ихнем концерте,— тут он указывает в мою сторону,— у меня бумажник сперли, а в ем трешница чистыми и билет МОПРа... Бей, кричит, пока не утек!..» Не смешно? Мне тоже... Итак, сейчас перед вами выступят лучшие творческие силы страны, мастера вокала и сопровождения к нему... Концерт открывает любимец публики, народный артист, звезда первой величины, Леонид Утесов... Прошу вас, Леонид Осипович! — Он повернулся спиной к слушателям.— Маэстро стесняется дышать в сторону публики. По случаю встречи с вами он немного пере... переутомился. Поэтому маэстро будет петь в несколько необычной для себя манере.— И он запел. И состоялось чудо: послышался характерный утесовский речитатив.— «Жили два друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, пел и смеялся другой...»

Отыскивая взглядом Александру, Андрей не узнавал своих подчиненных: впервые за много дней обессиливающего пути лица их преобразила радость. Люди всем существом как бы перенеслись в иную, ту, мирную, уже полузабытую ими жизнь. Общий строй подхватил и Лашкова, и он, теперь окончательно прощая парню вынужденную его с ним — Андреем — проделку, вместе со всеми восторгался и аплодировал. А тот, ободренный приемом, старался вовсю.

— Концерт! Сколько в этой короткой фразе заманчивого, сколько надежд! И какой же концерт обходится без сюрпризов! Кстати, о сюрпризах... Вот, к примеру, стучится на днях ко мне соседка и, лучезарно улыбаясь, говорит: «У меня, говорит, для вас сюрприз». «Какой такой, говорю, еще «суприз?» «Повестка, говорит, из нарсуда, алименты, говорит, с вас взыскивать будут»... Не смешно? И мне — тоже... Так вот: второе отделение нашего праздничного концерта...

В эту минуту в проеме входной двери обозначился встревоженный профиль Фили Дуды.

— Увели!— Голос его сорвался почти на хрип.— Лошадей увели! Угнали... Цыганы угнали!.. Наших — торбеевских...

Трепетная тишина вмиг обрушилась, и народ, колготя и вновь озлобляясь, устремился к выходу. В давке, сразу же возникшей у двери, Андрей совсем близко от себя увидел памятное теперь навек лицо и встретился с единственными для него отныне глазами, и неизбывное чувство вины перед Александрой обернулось в нем щемящей к ней жалостью, и он, работая локтями, подался было в ее сторону, но толпа увлекла его наружу, где в гулкой ночи уже росла и множилась перекличка начатой погони.

Артельные интересы сразу отошли на второй план: извечный

крестьянский инстинкт объединил еще вчера враждовавших соседей. Андрей долго метался в темноте в поисках направления, по которому растеклась погоня, но топот и гвалт доносились со всех сторон, и оттого определить ее успех не было никакой возможности.

Предчувствие близкой беды охватило Андрея. О том, чтобы в случае поимки конокрадов предотвратить самосуд, не приходилось и думать. Поэтому, когда откуда-то из-за реки выплеснулся к звездному небу пронзительный, почти животный крик, Андрей с опустошающей безнадежностью заключил, что непоправимое совершилось. Не медля ни минуты, он погнал коня на голоса за рекой, и вскоре замаячивший впереди огонек выхватил из темноты место побоища. Стоило Андрею сойти с коня, как толпа раздалась и свет чьей-то «летучей мыши» обнажил перед ним растерзанное тело артиста. Тот еще икал и дергался, но жизнь еле теплилась в нем, угасая с каждой минутой.

— Куда... Куда... Зачем?— Слова ломались в его непослушных губах.— Бывает... Вот так, граждане...

Растоптанный отходчивым людским отчаянием, лежал перед Андреем дважды обманувший его человек, но — странное дело!— в эту минуту он не испытывал к умирающему ничего, кроме пронзительного, саднящего душу сочувствия:

— Эх вы!— только и молвил он, глядя в землю.— Люди-лошади...

На обратном пути ночь голосом Бобошко тихо зашуршала у него над ухом:

— Вот вам мужик русский в полной красе. Нету у него, у этого мужика, берегов. Убили человека, словно муху, а теперь жалеть будут, нудиться, пьянку, глядишь, по этому поводу затеют мертвую... А парень-то оказался с секретом... Мог спокойно уйти. Нарочно поотстал. Сам себя подставил, заслонил цыганскую вольницу. Собой заслонил. Что ни говори, а чего только в российской голове не намешано!

Да,— из всего сказанного ветеринаром в нем отстоялось лишь одно,— мог бы уйти... Вполне мог бы.

И ночь сомкнулась над ним. И — в нем.

IX

Рано утром Андрей, едва проснувшись, погнал в сторону загонов. Мокрый, тяжелый снег ниспадал окрест. Снег, подобие ночных бабочек перед ветровым стеклом машины, разбивался об еще неостывшую от вчерашнего солнца землю и тут же таял, сгущаясь постепенно в шурщаще зыбкую кашу. Над селом, где застряло Андреево хозяйство, скользили брюхатые облака и свинцовая безбрежность их не обещала ему скорого пути.

Лошадь вялой рысцой вынесла Андрея через все село к табору за околицей, и один вид стада объяснил ему больше, чем все рапорты и донесения. Сгрудившись в кучу, скот жался друг к другу, стараясь сохранить тепло. Снег на крупах подтаивал, стекая по впа-

лым бокам. Андрей похолодел: для молодняка и немногих остальных это было чистой погибелью.

В снежном мареве перед мордой лошади вдруг оказало себя остренькое личико Бобошко:

— Что делать будем, Андрей Васильевич?— Его щуплая фигурка в заношенном драповом пальто, глухо заколотом у самого подбородка булавкой, выражала воплощенную деловитость.— Еще ночь, и падежа не миновать. Ждать погоду тоже не приходится.

— А чего вы сами-то считаете?— Ему было немного стыдно перед стариком: в тревожную минуту тот оказался у гуртов первым.— Какие меры?

— Попросить местных,— заторопился ветеринар, и видно было, что ответ у него готов заранее, но соображения субординации не позволяли ему до поры опережать начальство,— разместить у себя хотя бы молодняк. Стельных наши как-нибудь сами укроют.

Самоотверженная старательность ветеринара растрогала Андрея, и у него не хватило духу сказать старику, что все это он уже испробовал и что в местном правлении ему наотрез отказали: побоялись мора.

— Нельзя рисковать чужим скотом, Григорий Иваныч. Но выход,— холодные, выцветшей голубизны глаза его недобро сузились,— выход есть... Гоните туда,— он указал на видневшуюся около кладбища церковь,— не пропадем... Едем.

Переведя Гнедка в галоп, он как ожог ощутил чей-то со стороны взгляд и сразу же подумал: «Александра!» И снова, будто и не было тайной обиды стольких лет, будто не его именитых сватов поворотили от порога ее дома и будто не над ним издевалась она недавно в лесополосе, плоть в нем зашлась коротким и злым жаром: «Эх, Александра, Саня, Санюшка, родилась ты себе на мою погибель».

С батюшкой — лицо упругой репкой, васильковые глаза под веселыми пшеничными бровями — Андрей разговаривал недолго.

— Не дам — силой возьмете,— покорно вздохнул тот.— Чего ж мне сопротивляться? Только я вам не советую.

— Грозишь, что ли? Видали.

— Не мне вам грозить, вы — сила. Только вам не последний год жить.

— Не будет твоей власти, на немцев не надейся. Уж как-нибудь одолеем.

— Власти моей никогда не было. И немцы для меня такие же враги, как и для вас. Но в смертную минуту приходится человеку задуматься о содеянном. Трудно вам тогда будет.

— Ладно — ключи.

— Вот — берите...

Если бы тот сопротивлялся, если бы пробовал блажить, если бы, наконец, хоть смотрел волком, Андрею было куда бы легче. Но сейчас, после разговора с ним, Лашковым овладела какая-то смутная еще тревога, какое-то неопределенное стеснение под сердцем,

и поэтому, когда он шел открывать храм, ноги его ступали тяжело и неровно.

У самой церкви Андрея ожидала тихая ватажка мужиков и баб, больше — кондровские, среди которых выделялся бородатой статью и ростом Марк Сергеев. В их необычном спокойствии сквозили тревога и предупреждение. Едва Андрей поднялся на паперть, Сергеев заступил ему дорогу и, обнажив перед ним голову, внятно и вдумчиво заговорил:

— Андрей Васильич, я с твоим отцом, Царство ему Небесное, не одну выпил, братьев твоих наперечет знаю, крепкие люди, дай им Бог здоровья, тебя вот с этаких лет замечал, радовался: человек растет... Христом Богом, Вседержителем нашим, прошу тебя не обездоль обители Божьей, сохрани храм от поругания. Зачтется тебе сторицей доброе дело твое. Миром просим.

— Да ты что, Сергеич!— Ему даже горло от возмущения перехватило. Уж в ком, в ком, а в кондровских он не сомневался: уравновешенный, знающий дело народ.— Общественная скотина гибнет, а вы в дурь ударились?.. Пусти с дороги!

— Тварь Божья, она под Богом ходит, когда час придет, тогда и отдаст душу. А храм на вечные времена, в нем душа всенародная соблюдается. Миром просим.— И теперь это его «миром» прозвучало уже, как угроза.— Не искушай Господа!

Гнев, от которого у него похолодели кончики пальцев, захлестнул Андрея:

— А ну прочь с дороги, лампадная рожа!— в исступлении заорал он, и кровавые круги вспыхнули у него перед глазами.— Народное добро гибнет, а ты, гад, церковную саботажь разводишь?

В удар он вложил все — и неудачную любовь свою, и знойную горечь пройденной дороги, и все отвращение к окружающей слякоти, и даже обиду за эту вот личную свою слабость. Марк, скатившись по ступенькам паперти, ткнулся головой в снег. И темное пятнышко стало взбухать на мокром снегу прямо под его теменем.

— Загоняй! — Андрей уже совсем не поленил себя, срывая отомкнутый замок.— Загоняй, говорю!

Промерзший молодняк, мыча и посапывая, потек сквозь распахнутые створки. Лашков стоял у входа и уже без нужды, а чтобы только заглушить в себе круто берущее свою власть похмелье, кричал:

— Давай!.. Давай!.. Давай!..

Свет тусклого дня, струившийся в узкие витражи, стал еще мертвенней от поднимающегося к сводам пара. Голубые светлячки лампадок в разных углах храма вскоре, трепетно помигав, сникли, и лишь свеча под образом Спасителя не гасла в спертом и почти осязаемом на ощупь воздухе.

— Без моей команды не выводить!— Голос Андрея гулко отозвался под высокими сводами: «И-и-ить!»— Понятно?

Загоняя в притвор своих, торбеевских подтелков, Филя Дуда молодецки пощелкивал бичом, приправляя каждый удар забористой руганью или скороговоркой:

— Поспешай, шелудивые! Нет теплей, чем у Бога за пазухой. Отпускай нам грехи наши, граждане святые отцы! В тесноте — не в обиде. Богу Богово, а нам свое... Куды, куды, мать твою лапоть!

Когда Андрей вышел из храма, кружок мужиков все так же, тесной кучкой, топтался у входа. Только Сергеева уже не было среди них. Навстречу Андрею выступил теперь Дмитрий Сухов — робкий мужичонко, ничем раньше не выделявшийся, кроме этой самой своей робости, и, строго глядя в глаза ему, тихо сказал:

— Мы с тобой, Андрей Васильев, дале не пойдем. Нам с тобой дале не по дороге.

— А трибунал за саботаж ты слыхал?— багровея, он стал рвать пуговицу заднего кармана галифе.— А это ты видел? Имею полномочия...

— Трибунал нам, конечно, ни к чему. И пистолет тожеть ни к чему, жить всякому хочется. А пойти — не пойдем. Не обессудь, разные у нас пути, Андрей Васильев, и все другое разное. Потому и не пойдем.

В его словах не чувствовалось и тени вызова, но сквозило в них что-то такое, отчего Андрей сразу же уверился про себя: не пойдут. Тогда он решился на самое для них, по его мнению, болезненное средство.

— Ладно, будь по-вашему. Только скотину вы не получите. За нее полностью я в ответе. За всю тыщу двести голов. За вашу в том же разе. Понятно?

— Понятно,— неожиданно легко согласился Сухов.— Только роспись дай нам за нее в полной мере.

— Роспись, говоришь?— Ему казалось, что он овладевает положением.— А шиш не хочешь? Ты обязанный гнать скотину до самого Дербента, вот и гони. На чужом горбу в рай захотелось? Не пойдет. Другие пилить будут, а тебе роспись? Дудки!

Но сбить Сухова с толку ему не удалось.

— Ладно,— спокойно укоротил он Андреевы словесные восьмерки,— можно и без росписи. Бывай, Андрей Васильев, не поминай лихом. Бог тебе судья.

Они стояли перед ним, лучшие его пастухи и гуртовщики, невозмутимые в своей правоте. Он неожиданно показался сам себе нашкодившим мальчишкой, и так-то ему вдруг захотелось, так захотелось поваляться у них в ногах, лишь бы они не бросили его среди этой проклятой снежной хляби, за сотни теперь верст от дому. И Лашков уже и решился было унизиться, пойти на мировую, но сила кровной связи с тем, что считалось у них в семье всегда правым и непогрешимым, взяла-таки верх, и он лишь угрожающе процедил сквозь зубы:

— Скатертью дорога.

Мужики двинулись разом, ступая по снежному месиву с твердой уверенностью людей, хорошо знающих силу своих рук, которым везде определят заслуженную цену. И простуженный вздох старого ветеринара сопровождал их уход:

— Всерьез обиделись мужики, не вернутся.

— Не плясать же мне перед ними? — сорвал на нем досаду Андрей. Когда-никогда, все одно подвели бы. Горбатого могила исправит. Знаем мы их — кондровских.

Уже сидя у пышущей жаром печи приходского дома, Андрей долго еще сердился и клокотал, зло честя дремучее упрямство ушедших от него мужиков, но, чем сильнее растравлял он свою злость, тем определеннее укреплялось и росло в нем ощущение собственной неправоты.

— Двадцать с лишком лет Советской власти,— суетно кипятился он,— а у них все ладан в голове. Долбишь, долбишь им: «Нету никакого Бога, сами себе хозяева». А они опять за свое. Сколько же долбить можно? Пора бы ихнему брату и за ум взяться. Вот вы, Григорий Иваныч, ученый человек, вам бы и карты в руки разъяснить темноте, что к чему.

— Говорится в Писании: Господь создал человека в один день.— Ветеринар всматривался в огонь тлеющих в печи углей и, казалось, видел там что-то ему одному открытое.— Только ведь это был не один земной день, а одна земная вечность. А мы с вами возомнили за двадцать быстротекущих смертных лет содеять то же самое. Рано, раненько мы возгордились, не по плечу задачку взяли. Вот и пожинаем плоды. Впрочем, это я так, к слову, вместо присказки... Только трудненько нам без них, без кондровских, придется, это уж определенно.

Старик умолк, и тягота предстоящего пути оказала себя Андрею такой долгой и беспросветной, что теперешняя обида его увиделась ему до смешного пустой и незначительной, и, тревожно холодея, он невольно потянулся к огню: «Неужто и вправду зима завязалась? Тогда дело худо».

X

Ранняя поземка с шорохом и свистом сквозила по степи. Артельные гурты давно смешались, и скотина двигалась сквозь снежную замять одним общим для всех стадом. Андрей выбивался из сил, помогая пастухам подгонять вконец обезножевшую скотину. После ухода кондровских пастухов и без того изрядно передевшее в людях хозяйство едва-едва справлялось с дежурством. И хотя старожилы заверяли Андрея, что ранние снега в этих местах редкость и что устойчивое тепло не заставит себя ждать, на душе у него скребли кошки: «Больше двух переходов по такой метели не продержимся, факт».

Ледяная крупа хлестала в лицо, и Андрей, взбычиваясь навстречу колкому ветру, то и дело поглядывал в сторону ехавшего сбоку от него на бедарке ветеринара, старался определить: каково сейчас старику? Последнее время Бобошко заметно поскучнел, замкнулся, стал избегать обычных ранее разговоров с Андреем, и вообще в его поведении обозначилась несвойственная ему до сих пор нервозность. «Устал, старик,— без особой уверенности снисходил

Лашков,— холода пройдут, отогреется». Он потянулся было к ветеринару с сочувственным словом, но здесь в морозном мареве перед ним замаячила опушенная инеем борода Дуды:

— ...мот-ри-и, Васильич!

Впереди, вдоль примыкавшего к дороге проселка вытягивалась длинная вереница саней. По мере приближения к ним, Андрей все явственней различал в них необычный их груз. С каждых розвальней настороженно и печально смотрели в заснеженное пространство несколько пар иссиня-угольных глаз. Глаза эти на фоне матовой белизны зимнего поля казались почти неправдоподобными.

Оттуда, по обочине, к Андрею, сильно припадая на одну ногу, направлялся человек в жиденькой шинели со споротыми петлицами и пилотке, опущенной на уши.

— Здоров, браток.— Заросшее в сизых пятнах лицо его просительно оттаивало.— Понимаешь, детишек испанских эвакуирую. Погрузка у меня на двенадцатом разъезде, а тут незадача с одним... без памяти. Видать, жар... Боюсь, не довезу. Вы же на Боровск гоните, недалеко здесь, верст десять... Я и сопровождающего дам. А то ведь на двенадцатом не токмо лекаря, собаки путной не сыщешь. Я бы и сам, да нету у меня тяги свободной, по завязку набито. Выручай, браток. Государственное дело.

— А ближе ничего нету?

— Какой там! На сто верст ничего.

— Задал ты мне задачку.

— Поди знай, где упадешь.

— Не было печали...

Два чувства боролись в Андрее: с одной стороны, ему трудно было отказать инвалиду, который уже, судя по всему, выбивался из сил, с другой — всякая новая обуза означала для него новую задержку, а следовательно, и новые осложнения. Горькие уроки недавних потерь приучили его к осторожности. Он, раздумывая, колебался, а взыскующее ожидание там — в розвальнях, обращенное теперь только к нему — к Андрею, все нарастало и нарастало, пока не сделалось положительно нестерпимым, и Андрей, наконец, не выдержал, сдался:

— Давай сюда своего пацана.

— Спасибо, браток.— Обмороженные скулы инвалида благородно дрогнули.— Сгинул бы пацан, жалко... Я сейчас...

Обрадованно торопясь, он ринулся обратно к своему обозу, в спешке то и дело соскальзывал с обочины, проваливаясь одной ногой в рыхлый снег, и с каждым его шагом ребячья настороженность, обращенная к нему в эту минуту, гасла, скрашивалась, уступая место спокойствию и надежде.

После недолгих переговоров у головных саней от обоза отделился человек в овчинном тулупе, с овчинным же свертком в руках. Вблизи человек оказался усатой старухой с хищным, почти касавшимся верхней губы носом.

— Куды яво? — неожиданным басом озадачила она Андрея.— И куды мине?

— Лезь сюда, мать.— Бобошко, заметно оживляясь, гостеприимно освободил место около себя.— Удобней располагайся. Авось, не притесню.— Он помог старухе взгромоздиться на сиденье и при этом как-то взбодрился весь, ожил и даже повел искательным взглядом в сторону Андрея.— Ничего, в тесноте, да не в обиде. Поехали!

Вскоре из вьюжной пелены выступили ступенчатые очертания степного хутора, и на сердце у Андрея отлегло: «Наконец-то!» Но, чем явственней выявлялись сквозь метель хуторские постройки, чем определеннее становилась их нежилая тишина. И первая же хата с крест-накрест заколоченными окнами утвердила Андрея в его худших предположениях: хутор оказался брошеным. Но так или иначе, Андрей облегченно вздохнул: появилась возможность отогреться и обиходить скотину.

И все же толком прийти в себя Андрею в этот день так и не удалось. Едва он после объезда перешагнул порог жарко протопленной ветеринаром хатенки, чтобы, наконец, прилечь, но, взглянув на распластанного поперек взрослого полушубка мальчишку, понял, что отдыхать ему уже не придется. Тщедушное тельце маленького испанца беспрерывно сотрясал горячечный озноб. В обметанных белым налетом губах чуть слышно теплилась бредовая речь. Старуха-сопроводительница, меняя — одно за другим — мокрые полотенца на его воспаленном лбу, шумно вздыхала:

— От жись пошла, детишки и те маются... Господи!..

Чтобы не поддаться слабости и не разомлеть в тепле, Андрей подавил в себе властное желание присесть и хоть немного согреть ноги.

— Заворачивай пацана, мать.— Он принял решение, и ему стало легче: отступиться теперь он, даже если и захотел бы, не мог.— Здесь и дороги-то всего ничего, часа за два обернусь.

Бобошко тут же бросился на помощь старухе, хватался то за одно, то за другое, помогая ей собирать больного. При этом ветеринар трогательно пламенел, огорчался, когда у него что-либо не получалось или выходило неловко, а после того, как Андрей уже взял на себя дверь, грустно посожалел у него за плечами:

— Трудно вам будет жить, Андрей Васильевич, ох как трудно. Да и было, видно, не легче. Ну, да Бог не выдаст...

Последнее, что Андрей услышал, было короткое напутствие старухи с крестным знаменем вслед:

— Храни тебя Бог, душа голубиная.

Андрей гнал коня наугад, держась, чтобы не сбиться с пути, полотна железной дороги. Порывы ветра доносили оттуда горьковатый запах шлаковой пыли. Поземка матерела, временами оборачиваясь пургой. Гнедок все чаще проваливался в сугробы и оседал на задние ноги. Заунывно пели над головой телеграфные провода. В отдалении призывно вскрикивали паровозные гудки, и только

они — эти гудки — скрашивали Андрею его зябкое одиночество.

Жар истлевающей в бредовой лихорадке мальчишеской плоти, приторoченной к спине Андрея, почти ощутимо сообщался ему, и он невольно теплел к своему незадачливому спутнику ласковым сочувствием, если не сказать нежностью: «Потерпи чуток, милый, выберемся».

Озаряясь неведомым ему дотоле сомнением, Андрей серьезно озадачился неожиданными для себя вопросами. В самом деле, когда и почему вышло так, что все сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места? Какая сила бросает людей из стороны в сторону, сталкивает друг с другом, ожесточает их души, лишает людского облика? Отчего, с какой стати престарелый корниловец, пройдя одному ему ведомые огни, и воды, и медные трубы, тащится сейчас с чужим ему добром к черту на кулички, а еле живой несмышленыш с зеленых берегов сказочной страны бредит в заснеженной кубанской степи за многие тысячи верст от родной матери? Что же произошло в мире? Что же с ним, наконец, случилось? Что?

Плотная, клубящаяся шероховатым снегом завеса густела со все возрастающей быстротой. Единственный ориентир — железнодорожная ветка — неожиданно исчез из вида. Гнедок уже не двигался, а только перебирал ногами, вскоре же и вовсе встал. Напрасно Андрей понукал его кнутом и уговорами, конь лишь коротко вздрагивал заиндевелыми ушами и не трогался с места. Андрею пришлось сойти в снег, взять его под уздцы и таким манером вслепую пробираться дальше. В глубине души он давно понял, что заблудился и движется безо всякого направления, но гулкое биение мальчишечьего сердца за спиной не позволило ему остановиться, и он шел, вопреки безнадежности и здравому смыслу, шел, потому что теперь отвечал не только за одного себя. А когда силы уже оставили его и впервые в жизни он ощутил жуткую близость конца, в снежном разрыве перед ним блеснула золотая полоска света. С каждым шагом полоска становилась все явственней и резче, пока наконец не обозначилась в снежном обрамлении крестом церковного купола. Поднимаясь из-под обрыва впереди, крест как бы освещал ему его путь, и Андрей, вновь обретая дыхание, пустился к цели.

— Ну вот, Барселона, мы и добрались,— идя, вслух облегчался он.— Нас с тобой, может, голыми руками не возьмешь. Битые! Сейчас будем греться. Так-то, брат.

И только, чуть слышно, беспамятное бормотанье позади было ему ответом.

XI

Поутру снега словно и не бывало. За окном больничной сторожки, где Андрею довелось ночевать, бушевало солнце. Не по-осеннему оголтело струились по дорожным водостокам ручьи. «Вот это

климат,— просыпаясь, ошарашенно поразился Андрей,— не угадаешь, когда сватать, когда хоронить». Погожее утро сообщало ему чувство праздничного облегчения: «Дотащил-таки, незадарма, значит, хлеб жую, и я к делу пришелся».

Память живо восстановила в его воображении все перипетии пройденной им дороги, вплоть до крестного видения в ее конце: «А пожалуй, и не выйти бы тебе, Андрей Васильев, коли б не церквуха эта самая, да. Чудно, в Узловске своими руками ломал, а здесь выручила. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь».

И вспомнилось ему, как в Узловске сносили храм у Хитрова пруда. В церковной ограде, на могильных плитах захороненных здесь священников, духовой оркестр из депо играл «Все выше, и выше, и выше», и Серега Агуреев, уже вполпьяна, выбрасывая в окно содранные со стен иконы, озорно скалился в сторону зевак:

— Держи, раба, Николая Угодника, два пятака пара! А вот кому Божью матерь с придачей, даром отдаю! Эй, дамочка с радикулем, не желаете заместо брошки на ваши белоснежные грудя патрет святого ероя Егория Победоносца? Кому паникадило, хошь под горшок, хошь под соленья! Держи, бабоньки!

За ним с крыльца приходского дома внимательно следили ребятишки местного батюшки, отца Дмитрия, и было в их молчаливом бдении что-то такое, отчего Серега, взглядывая на них, всякий раз скучнел и тушевался.

Изо всего в тот день Андрею отчетливее другого и запало в память недетское молчание батюшкиных ребятишек на крыльце приходского дома...

К действительности Андрея вернула кастелянша, принесшая ему казенную одежонку мальчишки и расписку главврача, удостоверявшую, что больной доставлен и принят.

— Вот, все тут.— Отечные, со следами недавней беременности щеки ее печально опали.— Совсем плох и худющий, кожа да кости.

— Выживет?

— Еще как!— Она улыбнулась, и улыбка эта лучше всяких слов утвердила ее правоту.— Исхудал он сильно, а так ничего, держится. Выносливый парнишка. Скоро поправится. Во все глаза смотреть будет.— Как бы застеснявшись внезапной своей разговорчивости, она деловито спохватилась.— Лошадь ваша в нашем гараже привязана.— Не выдержав взятого тона, кастелянша снова умиленно засветилась.— Выкормим, не пропадет. Вернется к своим — не узнают.

— Любите, видно, детишек?

— Своих не получается, так хоть около чужих нагреюсь.— Снисходя к его недоумению, женщина печально объяснила:— Снова вот выкинула... Не везет... Порчь, видно, у меня какая-то, вот и не везет.— И заторопилась.— Пойдемте, я вас провожу, а то вы у нас заплутаетесь еще.— На крыльце она подала ему руку лопаточкой.— Всего вам хорошего.

Уже выехав за больничные ворота, Андрей все еще чувствовал

спиной, что она смотрит ему вслед, и это ее — на прощанье — нечаянное внимание к нему долго не оставляло его в обратном пути. Над темными островками хуторов в оттаявшей степи струилось трепетное марево. В глубоком и словно бы умытом небе кружили птицы, и в торжествующем крике их слышались печаль и прощание. Лесополоса у насыпи истекала парной изморозью, и, казалось, ветви ее каждым своим листочком и суставом вытягивались к солнцу, позванивали тихо и благодарно. Вода в колеях проселка дымилась, высыхая почти на глазах. Теплый сухой ветер обтекал лицо, заполняя душу чувством облегчения и простора.

Скрытый от него железнодорожным полотном хутор выдвинулся ему навстречу сразу же после того, как он свернул руслом высохшего ручья под базарочный мост. Но едва слева от хуторского озерца обозначились вздернутые к небу оглобли таборных повозок, сердце Андрея потерянно дрогнуло: над загоном клубилось летучее облако пыли, и ветер доносил оттуда еще неясный, но все крепчавший галдеж. Лашков заторопил коня и вскоре он уже безошибочно мог определить, что в загоне идет лютая, трезвая до обстоятельности драка.

«Что, что такое, из-за чего?— Память лихорадочно перебирала причины, по каким могла заняться распря.— Чего не поделили?»

Осадив Гнедка у самой изгороди загона, Андрей трясущейся от ярости рукой выхватил револьвер и, силясь утихомирить кровавую сечу, стал палить в белый свет, как в копеечку:

— А ну прекратить безобразие!.. Кому приказываю прекратить!.. Стреля-ять бу-ду-у! Стой, дьяволы-ы!

Но на его крик никто не обратил внимания. Злоба, отчаянная удушливая злоба лишила людей слуха и разума. Истошный детский визг вплетался в крикливые причитания старух, перебиваемые забористой руганью дерущихся, и все это, вместе взятое, сливалось в сплошной многоголосый рев.

Клим Гришин — приземистый бородач со скрученной наподобие жгута шеей,— результат тяжелой ветрянки в детстве,— размахивая тяжелой слегой, волчком кружил среди людской мешанины и честил всех подряд захлебывающимся дискантом:

— Дармоеды сычевские, туды вашу растуды! Чужим добром холку нажрали да ишшо и нашим салом нам же по сусалам, а мы вас дубьем да кольем, штоб без похмелья опамятовались... Держи, свашенька-стервьва, хочь бы за мной не оставалось!

Торбеевская колдунья Акулина Бабичева — нос пятачком на плоском, оплетенном паутиной тонких морщин лице — бесшумно подскакивала сзади то к одному, то к другому мужику, ловко выдирая со спины у каждого из них полоску истлевшей за дорогу рубахи.

— Ироды стоеросовые, нет на вас погибели!— исступленно бормотала она.— Куды ж ты, куды ж ты, окаянный, лезешь, когда я тебе не велела... Ходи теперича с голой задницей посередь народу... Ух, супостаты беспортошные!

Поодаль от всеобщей свалки, с облезлого тарантаса, барахтаясь среди узлов и тряпья, голосила безногая дурочка Ася, подобранная дубовскими бабами Христа-ради уже где-то по дороге:

— Крау-ул! Зарезали-и-и! Убиваю-ю-ют!.. Жизни-и-и — лишаю-ю-ют!.. Ратуйте-е-е!.. Пож-ар!.. Ку-ка-ре-ку-у!.. Удах-тах-тах!.. Смерть немецким оккупантам!.. Ма-а-ма-а!

Александру Андрей заметил не сразу, а когда заметил — ее окружал такой плотный клубок воя и ругани, что пробиться к ней по-доброму не было никакой возможности. Спиной прислонясь к сенному возу, она с молчаливым презрением опускала увесистый, натруженный в неженской работе кулак на головы окружающих.

Рядом с ней мешался у всех под ногами ветеринар, хватал драчунов за руки, пробовал даже вставать между ними, но, грубо отброшенный кем-то чуть ли не к самой изгороди, обескураженно затих, жалобно поводя по сторонам быстрыми слезящимися глазами:

— Эх вы, свободные радетели, как были дуболомы, так и остались — ни меры, ни совести. За пятак друг друга убить готовы. Звери и те соображают, своих не трогают. А ведь вы люди! Остановитесь же вы, наконец! Да побойтесь же вы Бога, пьянь косопузая, опомнитесь!

В горячечной суматохе никто и не заметил нагрянувшего следом за Андреем милицейского наряда. И лишь после того, как гришинская слега обрушилась на голову одного из них, и тот — щуплый скуластый парнишка с двумя треугольниками в петлицах — без звука рухнул под ноги Климу с раскроенным надвое черепом, толпа вмиг отрезвела и стала медленно растекаться от середины в стороны, оставляя убийцу и убитого наедине друг с другом.

И чем шире становился круг около Гришина, тем заметнее нескладная, но крупно сколоченная фигура его сникала, уменьшалась в размерах. И без того безвольный бабий подбородок мужика испуганно ослабел, речь непослушно ломалась:

— Ить хто ж яво звал... Ненароком вышло... Куды ж яво несло под самое колье?.. Да рази я с умыслом?.. Рука сорвалась...

К нему, бесцеремонно растолкав толпу, вразвалочку подошел бычьего обличья пожилой милиционер, поднял было руку, чтобы ударить, но, на глазок оценив, видно, во сколько ему может обойтись ответ, сипло выдавил только:

— Проходь поперед, побалакаем.

Второй — в очках, с комсоставской планшеткой на боку и двумя авторучками в кармане гимнастерки — разъяренной наседкой бегал по кругу, воинственно задираясь:

— Разойдись!.. Живо!.. Разговорчики!.. Всех под закон подведем! Одна шайка... Что смотришь, что смотришь, вражина? Комсомольца убил, замечательного товарища жизни лишил и смотришь? Мы с тобой разберемся. Со всеми разберемся! Ишь, собрались арха-

ровцы московские! Мы вас быстро свободу любить научим... Вот ты, рыжая, говори, где старший?— Он резко обернулся к выбравшемуся к нему из толпы Андрею, очки его вызывающе вскинулись.— Ты? Откуда ты набрал этих рецидивистов? Под судом не был? Теперь побудешь!— Он рванул было на себя планшетку, но тут же, внимательно взглянув в лицо Андрею, осекся.— Фу, черт, да ты где обморозился-то так? Ладно, пройдем, запротоколируем происшествие... Скажи бабам, пусть накроют отделенного... И свидетелей давай.

— Да ведь не пойдут,— устало охолодил его Андрей и огляделся: встречаясь с ним взглядом, люди уклончиво опускали глаза.— Вы уж сами.

— Это как так не пойдут?— снова взвился тот, и очки его гневно блеснули в солнечном фокусе.— Ты что, лавочку здесь собрал? Рука руку моет, да? По тюрьме соскучился? Ты мне арапа не заправляй, не таких обламывали!

Глухая и все нараставшая в нем с каждой минутой неприязнь к очкастому сменила его примирительную усталость, еще мгновение — и он высказал бы непрошеному гостю все, что накипело у него на душе, но событие опередил Дуда. Вызывающе сияя во все стороны объемистым свекольного цвета кровоподтеком, Филя встал между ними и с обезоруживающей предупредительностью ткнул себя кулаком в грудь:

— Свидетелев, говоришь? Я и есть наипервейший свидетель всему смертоубивству.— Не давая очкастому опомниться, он темной стеной надвигался на него.— Ей-богу, не сойти с энтого места. Все, как есть, видел... Мы, значится, с Климушкой из-за скотины на спор тягались, держь, право-слово, возьми и сорвись у мине с руки, а парняга ваш, значится, тут как тут, головой и подвернулся... Уж такая жалость, жальчее некуда... А то как же, молодой совсем... Вот и мине задело, тоже не сладость...

И такое откровенное простодушие светилось в его водянистых, испещренных красными прожилками глазах, и так бесхитростно складывал он свою речь, что очкастый, нерешительно потоптавшись на месте, в сердцах сплюнул и двинулся через толпу:

— В Боровске мы с тобой потолкуем,— погрозил он Андрею уж на ходу.— Там мы твою шпану быстро в чувство приведем.

Через час, составив протокол и уложив труп отделенного на запряженную для них Андреем подводу, милиционеры двинулись в обратный путь. Впереди, со связанными за спиной руками, низко опустив голову, шагал Клим Гришин. Перед тем, как свернуть на мост, он резко вскинул голову, обернулся, вытянул шею, словно желая что-то крикнуть на прощанье, но не крикнул, а лишь еще круче ссутулился и вскоре исчез за поворотом насыпи.

И Андрею показалось, что все разом посмотрели в его сторону, как бы ожидая от него ответа на какое-то снедающее их всех недоумение.

— Кому надоело, пускай уходит, не держу.— Он нечаянно

встретился глазами с Александрой и стал говорить только для них, прямо в сумасшедшую их глубину.— В другой раз у меня рука не сорвется. Мне полномочия дадены. У меня один интерес: скотину до места довести в целости и сохранности. И душу с того мотал, кто у меня поперек дороги встанет... Запрягайте, пора двигаться.

И по той тишине, какая сопровождала его уход, он с удовлетворением заключил, что короткая речь, произнесенная им, принята всерьез и не без одобрения.

XII

Едва хозяйство расположилось на очередную стоянку, Андрея в самом начале вечернего объезда остановил Дуда:

— Тут один старче тебя добивается, Васильич. Главного, говорит, ему надобно.

— Ну, так где он?

— А ближе к пруду таборок его встал. Сам-то уж и не подымается вовсе. Пастушонок при ем заместо хозяина. Да и всего-то у них голов сорок. Из-под Курска сами-то, вроде.

У крохотного, полузаросшего камышом озерца, в просторном шалаше, затянувшись стеганым одеялом до подбородка, лежал костистый бородач, неподвижно глядя прямо перед собой. В знак приветствия он лишь опустил тяжелые веки и затем глазами показал на сложенные в углу седла: садись, мол.

Старик, прежде чем заговорить, долго собирался с силами, озабоченно сопел, оценивающе косясь в сторону гостя. Видно было, что решение, принятое им, дается ему с трудом. Наконец, вяло расклеивая тонкие, обметанные лихорадкой губы, старик заговорил:

— Дело к тебе есть, малый, нешуточное... Тридцать восемь их у меня в остаток. Как одна... А пошел, шесть десятков было. Да уж, видно, и этих не устерегу. Ты, я слыхал, на Дербент своих гонишь?.. Вот и нам туда нуждишка... Возьми, малый, моих до кучи. Все одно уж тебе. Где тыща, там и сорок приткнутся. Изделай доброе дело. Я тебе документ весь, честь по чести, передам. А ты мне — роспись. Не осилю я дале... Вишь, совсем ногами ослаб.

— Отлежаться тебе, отец, надо, пройдет. Переболеешь.

— Чудак ты, малый, не больной я — старый.

— Вот я и говорю, отлежаться надо.

— Лежи не лежи, годов мне никто не убавит.— Он внезапно оживился, костистое лицо его пошло взволнованными пятнами.— Ты не думай, у нас скотина — одна к одной... Рекордисток полдюжины и все — стельные... Не пожалеешь... К примеру, хоть Ромашку взять, дорогого стоит... Сементалка!.. Еще Дорофей Карпов — крепкий мужик наш — породу эту завез из самой Костромы. Карпова энтого мир в Сибирю услал, а хозяйство его в артель пошло. Так мы и разжились... А вот нынче задарма дохнут... Уж ты поимей сочувствие, возьми.

— Да взять-то можно.— Андрея вдруг обожгло рискованное, но заманчивое соображение. Однако, еще не укрепившись в нем, он мялся и осторожничал.— Только без надобности это. Малость очухаешься и пойдешь за милую душу. Еще и нас обставишь.

— Чудак ты, малый. Говорю тебе, старый я. Года кость проели, откуда силе быть?

Где-то в глубине души Андрея еще грызла совесть, но соблазн был настолько велик, что он, наконец, махнул на все рукой и решился. Принимая от старика подорожную опись, он лихорадочно прикидывал: «Почти сорок голов! Весь падеж покрыть можно, еще и останется. Война все спишет. Не себе же — государству! Расписку, правда, придется дать. Ну да Бог не выдаст, свинья не съест, выкручусь!»

— Хворые есть?

— Ни, ни!— Бородач даже обиделся, засопел еще чаще.— Сам врачую. Сроду без коновалов обходился. Чай не чужое, свое — артельное. Опосля всю, как есть, сами заберем, нам обмен ни к чему. Себе дороже.

— Объяснение написать сумеешь?

— Не обучался я, малый, грамоте. Ты уж как-нито по совести оборудуй.

Удача сама шла Андрею в руки. Последние сомнения заглохли в нем, и он, возбужденно холодея, заторопился:

— Гляну пойду для порядка на животину твою. Потом и порещим. А то, вроде, как кота в мешке обговариваю.

— Не сумлевайся, в полной справности скотина,— кивнул тот одобрительно.— А проверить — проверь. Порядок во всем нужен.

Дуда, до сих пор не проронивший ни слова, сопровождая Андрея к соседскому загону, неожиданно сказал:

— Не дело ты задумал, Васильич.

— Не каркай, Филя.— Если еще минуту назад им и могло бы еще овладеть раскаяние, но упрек Дуды лишь подхлестнул его.— Не твоего ума дело.

— Украсть большого ума не надобно.— Обычно квелое лицо Дуды замкнуто окаменело.— Обездолил человека и пошел себе дальше, поминай как звали.

— Что ты мелешь!— Злость неправоты подхватила и понесла его.— Кого я там обездолил? Что я, для себя стараюсь, что ли? Об себе одном думаю? Прикинь дурьей своей башкой, какая мне корысть? Какой резон?

— Оно, можа, и вправду не для себя,— упрямо настаивал тот,— а выходит по всему, что все одно свой интерес на перьвом месте. Потому как себя отличить хочешь и от того самого выгоду получить. И все вы, которые наверху, так-то. Обчественную пользу блюдете, да таким манером, чтобы себя не обидеть.

— В случае чего, ваш брат в стороне, а холку нам подставлять.

— А ты не подставляй, за ради Бога, как-нето сами обойдемся, лишь бы ослобонили вы нас от своего глазу да и рта заодно.— Иска-

тельно смягчаясь, он повернулся к Андрею:— Я к тебе, Васильич, полное доверие имел. Кондровских прогнал? Ладно. Прокопия Федоровича обидел? Бог простит. Скотину в общую кучу собрать велел? Значит, польза есть. А каково нам было своих чистопородных со всякими обсевками мешать? На веру тебя брали, думали, за тобой не пропадет. Так ты теперича и обокрасть норовишь человека нашими молитвами. Нет, Васильич, этим разом мы несогласные. Скотина нам наша известная, что по маткам, что по запаху, враз отличим. А с дедом этим твоя совесть, тебе и ответ держать перед Господом. Не боись, разговор наш промеж нами. Артельщикам я другим манером дело растолкую. Бывай.

Дуда взял прямиком через луг, шагал широко, ступал твердо — словом, двигался, как человек, неожиданно обретший собственную силу и значение. И перед этой спокойной уверенностью власть, какой и жив и силен был Андрей, показалась ему незначительной и пустой. Поэтому, когда дорогой его нагнал ветеринар и с обычной своей вопросительностью взглянул ему в глаза, он, угрюмо отворотившись от старика, приказал:

— Примите у деда скотину. Расписку заверьте по форме. И отнесите ему, пускай не тревожится, доведем его скотину до места без убытка.

Сказал и пошел, и первая же копна лугового сена приняла его, и он сразу же забылся в ней тревожным и переменчивым сном...

Ехал он лесом, куда-то в сторону зарева, полыхавшего над верхушками дальних деревьев. Гнал коня, торопился, чтобы успеть до наступления ночи. Но внезапно из-за поворота навстречу ему вышел Филя Дуда и, подняв руку, остановил его: «Поздно, Васильич, сгорело давно все дотла». Но Андрей, не слушая его, погнал дальше. А вдогонку ему понесся жалобный зов Александры: «Пожале-е-й, Андреюшка-а-а!..»

Приходя в себя, Андрей со взволнованным содроганием почувствовал на своем лице дыхание Александры:

— Не спишь?

— Увидют!

— Мне-то что!

— Люди же.— От волнения у него едва попадал зуб на зуб.— Им для того и глаза дадены, чтобы глядеть. Сегодня на слабине возьмут, завтра на шею сядут.

— Будет о людях-то.— Голос ее звучал тихо-тихо.— Али промеж нас с тобой других разговоров не найдется?.. Обиделся за прошлый раз? Эх ты, да рази это я взаправду все говорила? Сорвала душу за холод твой, а ты уж и осерчал... Иди-кося поближе. ...Андреюшка-а-а!

Потом, после усталости и опустошения, наступивших вслед за беспамятством, Андрея проникло умиротворяющее тепло:

— Я теперь согласный. Будь что будет. Чего нам, в самом деле, скрываться? Авось, не маленькие.

— Нет, Андрейка, не надо. Я как тебе лучшей хочу. Не хочу, чтобы из-за меня тебе худо было. Когда помашешь, тогда и приду, а напоказ не надо... Пойду я... Ой, как не хочется!

— Вот и не уходи.

— Нельзя, Андрейка, уж как порешили, так тому и быть. Завтрева жди, сызнова приду.

Ее шаги затихли в ночи, и Андрей остался наедине со своим счастьем и звездами над головой. Лунный свет заливал окрест ровным уверенным сиянием. И Андрею показалось, что лежит он вот так, в копне осеннего сена, давным-давно, без дум и желаний, отрешенный от всех своих дел и забот, лежит и будет лежать еще долго-долго, и никакая сила уже не сможет разъять его с этой бесконечной тишиной и покоем.

Его одиночество нарушил Бобошко. Темным силуэтом выявляясь на фоне звездного неба, он сообщил:

— Все в порядке, Андрей Васильевич. Расписку заверил и передал. Дед кланялся. Даже записочку вам накорябал благодарственную.

— Сам?

— Сам.

Кровь бросилась Андрею в голову, задохнувшись от оглушающего стыда, он только и смог выдавить из себя:

— Добро.

У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый и неведомый ему, вроде этого старика, каждодневно устраивает проверку каждому его поступку и мысли с тем, чтобы однажды спросить с него каким-то своим, особым спросом. И впервые в жизни Лашкова обожгла простая до жути мысль: «И ведь ответишь, Андрей, свет Васильев сын, за все ответишь!»

XIII

Когда в проеме между двух скал у дороги возникло море, Андрей даже поперхнулся от растерянности: до того тихим и безмятежным оно ему увиделось. В его представлении море всегда выглядело охваченным величественной бурей, здесь же, насколько хватало глаз, перед ним простиралась ровная, будто стол, чуть подсиненная гладь, и ни один парус или пароходный дымок не скрашивали ее безбрежной пустынности. Перед этим сквозным простором Андрей показался себе убогим и беспомощным кутенком, случайно выброшенным в чужую и непонятную для него жизнь.

Дорога, по которой двигался табор в обусловленное госмаршрутом хозяйство, вскоре свернула в горы, и выделенный Андрею еще в Махачкале проводник — пожилой черкес с маленькими васильковыми глазками на выдубленном ветрами и солнцем, почти черном лице, указывая плетью куда-то в глубину ущелья, ободряюще прицокнул языком:

— Адын пэрэвал будыт. Далшэ дорога сапсем хароши...

Пропуская мимо себя стадо, вытянутое узкой каменистой дорогой в длинную цепочку, Андрей поневоле был вынужден рассмотреть каждую свою животину в отдельности. И если до этого все они сливались для него в одно пестрое, но безликое пятно, которое повседневно маячило перед глазами, не давая душе ни покоя, ни отдыха, то сейчас каждая из них открыла ему свой, отличный от прочих цвет и характер. Бежевые, с меловыми подпалинами, волоокий взгляд завораживающ и влажен; бурые, короткие рога бодро роют пространство перед собой; красные, круто посаженная шея которых отливает чернью. И всякая, с одной лишь ей присущими повадками и статью.

«Ишь ты,— снисходительно оттаивал он,— скотина и та друг от дружки в отличку».

Но лишь только табор углубился в горы, как из-за первого же поворота появилась группа всадников, один из которых сразу же отделился от остальных и поспешил им навстречу. В нескольких шагах от Андрея он осадил коня и, прижав единственную свою руку к груди, склонил голову в бараньей папахе:

— Здравствуй, друг!— По-русски он говорил совсем без акцента и только слишком старательное произношение выдавало его.

— Привет тебе в моем доме.— Он лихо развернулся и поехал рядом с Андреем.— Сколько привел?

— Тысячу двести голов без малого.— Андрей поймал себя на том, что невольно начинает оправдываться: об одноруком директоре совхоза и его крутом нраве он уже слышал по дороге от проводника.— Под расписку кое-что роздал. Ну и падеж, ясное дело.

— Людей, людей сколько, друг?

— Со мною считать, пятеро.

— И все?

— Дорога длинная, всякое было.

— Без людей мне твой скот лишний. Скот у меня есть. Людей нету.— Медальное лицо директора сразу же потускнело сделалось отсутствующим. Он как бы мгновенно потерял всякий интерес к собеседнику.— Нехорошо получается, дорогой. Скот сберег, люди разбежались. Ладно, устраивайся, потом поговорим.

Пустив коня вскач, он присоединился к ожидавшим его спутникам, что-то сказал им, они дружно повернули, и вскоре вся группа скрылась за поворотом.

— Ничего себе, привечают,— не скрывая обиды и горечи, встретил Андрей подъехавшего к нему Бобошко.— Хоть обратно оглобли поворачивай.

— Что же вы хотите, Андрей Васильевич, он хозяин, ему действительно люди нужнее коров.— В примирительности ветеринара сквозила откровенная усталость.— К сожалению, скот воспроизводится гораздо быстрее.

— Пускай бы на моем месте похозяевал.

— Да уж, наверное, было бы то же самое. Люди вроде вас, Андрей Васильевич, одинаковы. Вы хотите сделать, как лучше для

всех, и поэтому обязательно попадаете впросак. Природа той тьмы, которую вы взялись осветить, не приемлет света вообще. Пусть будет хуже, но поровну — вот ее принцип. И сколько вы не старайтесь, те, кого вы вздумали облагодетельствовать, не поймут вашего порыва и разбегутся от вас рано или поздно... Вы уж меня простите, старого, за резкость, но лучше, если вы это услышите от меня сейчас, потом будет поздно. Вы стоите того, чтобы знать это. Привык я к вам за это время. Не снесете вы того груза, Андрей Васильевич, какой взвалили на себя. Да и взвалили-то скорее из фамильного гонора, нежели по убеждению. Чисты вы уж очень. Думается даже, что в конце концов и веровать начнете... Поеду, извините, на Евсея взгляну, что-то с ним неладное сегодня творится. Бесится бугай, перестоял, надо полагать.

Пожалуй, лишь теперь, в самом конце пути Андрей по-настоящему ощутил всю тяжесть обузы, которую взвалил он себе на плечи в Узловске. Тоска по ласке и бесхитростному, умиротворяющему слову погнала его к Александре, но еще издали, заметив его, она не потянулась, как обычно в таких случаях, навстречу ему, а, наоборот, сделала движение в сторону, как бы желая избежать разговора.

— Ты чего?— подъехав вплотную и чувствуя неладное, забеспокоился он.— Ты чего?

— Худо мне, Андрейка,— чуть ли не простонала она, избегая его взгляда.— Как увидела я нынче однорукого этого, так и захолонуло мое сердце. А ну, как беда с Сережкой. И сон мне нынче дурной был. И вправду, видно, грех это у меня с тобой. Не сойдет это мне по-хорошему.

— Брось, Саня, что это тебе взбрело? Заморилась ты в колготне этой, вот и все. Завтра вниз спустимся, и все пройдет. Мне ведь тоже не сладко.

— Уж ты прости меня, Андрейка, только не смогу я нынче с тобой, душа не на месте. Дай отойду маленько, охолону. А то ведь и до беды недолго.

— Пожалей хоть ты меня, Санек!

— Нам-то легко миловаться, а ему там каково? Вон директор здешний, черкес сказывал, и не здешний вовсе. Пришел с войны, домой такой иттить постеснялся, здесь осел. И Сережка мой так же вот, может, без рук, без ног где мается... Уж ты прости.

— Санек!— опаленно вздохнуло все в нем.— Санек!

— Нет,— Александра порывисто отвернулась от него и тронула лошадь вперед.— Негоже нынче. Завтра сама приду. Куды ж мне теперь от тебя деваться... Прости, Андрейка.

К полудню табор миновал гребень перевала, и внизу взору открылась просторная долина, ровным прямоугольником обозначились постройки совхозной усадьбы. Неподалеку от поселковой околицы, двумя свежевыбеленными времянками за добротной изгородью, выделялся необжитой еще загон.

Едва табор расположился на новом месте, как директор через

посыльного вызвал Андрея к себе. Седлая Гнедка, он поймал на себе взгляд Александры, и было в этом ее взгляде что-то такое, от чего небо над головой показалось ему с овчинку, а на душе стало вконец глухо и пакостно.

XIV

Когда, уже под вечер, Андрей вернулся, Александры на месте не оказалось. «Скучно одной-то видно,— снисходительно заключил он,— на люди, подалась, не без того». Но время шло, солнце вязко стекало за ребристую стену заснеженного хребта, обнажая в холодеющей вышине контуры первых ночных звезд, а ее все не было. Сомнение, словно ржа, принялось точить душу, час от часу все более в нем укрепляясь: «Неужто ушла!» В конце концов он не выдержал, вернулся в усадьбу, покружил около конторы, наведался в магазин, но, не найдя Александры и там, решил спуститься к самой железной дороге: «Больше ей идти некуда, один здесь путь, вдоль ветки».

Андрей еще тешил себя надеждой, еще смирял нетерпение успокоительными догадками, но чем ближе он подходил к цели своего пути, тем безотчетнее росла в нем убийственная для него уверенность: «Ушла!» Обида, отчаянье гнали его туда — к паровозной перекличке у подножия,— и он все ускорял и ускорял шаг, уже ни на что не рассчитывая и не надеясь. Дорожная галька осыпалась у него под ногами, с протяжным шорохом скатываясь по обрывистому склону к гремящему где-то глубоко внизу потоку. В свете крупных, по-южному отчетливых звезд темь вокруг выглядела потаенной и вещей. Лишь после того, как спуск остался за спиной и впереди замельтешили огоньки выкрашенных синькой фонарей осмотрщиков, Андрей отрезвел, опустошающе осознавая, что идти дальше не имеет смысла, что попытка его связать несвязуемое тщетна и что Александру ему уже не вернуть.

И он почти бегом повернул обратно. Звездная бездна, обтекая Андрея со всех сторон, бежала вместе с ним, у самых его глаз, и временами ему чудилось, что, если только захотеть, до любой звезды можно дотянуться рукой. Поток внизу источался и глох, и камни, катившиеся из-под ног его в ущелье, уже не возвращали звука: высота давала себя знать.

Наконец, тягостно холодея, Андрей пластом рухнул в колкую траву придорожной поляны и, переполненный горечью и яростным сердцебиением, заплакал. Заплакал по-бабьи, в голос, не таясь и не сдерживаясь. Какое ему было дело сейчас до кого-либо? Кто теперь для него указ в этой, вдруг потерявший всякий смысл жизни? Впервые за короткий век недолгая надежда засветила ему, но и здесь судьба лишь поманила, чтобы тут же выбить из-под ног счастливо найденную было опору. Он вдруг увидел себя бессловесной тварью, какую гонят неизвестно куда и неизвестно зачем, не

давая сделать без спроса и шагу. И от сознания этого своего бессилия ему становилось еще горше и нестерпимее: «Куда? Зачем? Остановиться бы мне. Всем остановиться».

Вскоре сквозь жаркое оцепенение Андрей услышал мелкие неторопливые шаги по дороге, затем легонькое, из деликатности, покашливание, протяжный шорох сухой травы и, по характерной шаркающей походке, догадался: ветеринар. «Черт тебя принес!— хмуро подосадовал про себя Андрей.— Твоей милости мне только и не хватало!» А вслух сказал:

— Не спится, что ли?

— Извините, Андрей Васильевич.

— Поздновато, вроде, мне няньку-то заводить. Да и ни к чему это.

— Зря вы. Нельзя вам себя попускать, никак нельзя. Времена не те, чтобы расклеиваться. У вас не поле, а вся жизнь впереди. Нервишки-то еще ой как пригодятся.

— Теперь мне один черт, все равно нехорошо.

— Ах, Андрей Васильевич, сто раз вам еще гореть этим пламенем и не сгореть. Это не вы, это молодость в вас плачет. Радоваться надо: не засохла, выходит, еще душа.

— А! Мне теперь лучше и не жить вовсе. Не жизнь, а маета одна.

— Жизнь — она, как трехполка, Андрей Васильевич,— сочувственно вздохнул над ним Бобошко,— три поля. Одно цветет, другое дышит, третье — в залежи. А в целом это очень организованное поле. И, заметьте, прекрасно организованное... Есть такая притча, скорее даже сказка. Хотите?— Голос его слегка завибрировал.— Когда-то, очень, очень давно, на одной далекой и прекрасной планете жили удивительные люди. Они создали себе бесподобную жизнь: жизнь без войны, без болезней, без смерти. Все они были равны перед, так сказать, разумом. И единственное, чего им недоставало, это соседей для духовного, видите ли, общения. Самые совершенные летательные машины мчались к соседним мирам, чтобы найти там себе подобных. Но все эти путешествия не приносили успеха. Планеты вокруг, даже самые отдаленные, были необитаемы или заселены, извините, страшными чудовищами. Так, хочешь — не хочешь, проходили тысячелетия. Цивилизация прекрасной планеты старела в скучном одиночестве. Но вот как-то один корабль возвратился из самого отдаленного уголка Галактики и принес добрую весть. Оказалось, что самая крохотная планетка, где-то на задворках вселенной, обитаема. К сожалению, правда, существа, населяющие эту планетку, были еще на самой низкой ступени развития: войны и грабежи, обман и насилие царили у них. И тогда самые Разумные этой замечательной планеты собрали Лучших из Лучших. И самый, самый Разумный сказал им: «Нужен только один из вас, кто бы решился подняться к ним и возвестить им Истину. Я не хочу скрывать, что скорее всего смельчака ждет смерть. Но все-таки надо попробовать. Кто из вас решится на это?» И каждый приглашенный наклонил голову в

знак согласия. И был избран Лучший. И вот самый огромный корабль отправился на другой конец неба, чтобы оставить там смельчака. В конце концов, смельчак оказался наедине с себе подобными, то есть, извините, Андрей Васильевич, с людьми. Он врачевал больных, воскрешал мертвых, утешал страждущих. В общем, он возвестил им Истину. Но они, можете себе представить, распяли его. Ибо Истина, извините, была им ни к чему. Он умер в муках, о каких на своей прекрасной планете даже не имел представления. Но Разумные не оставили его тело на поругание землянам. Оно было возвращено назад и воскрешено вновь. На высоком совете Разумных решено было прекратить всякие попытки общения с дикими и негостеприимными соседями. Но Воскрешенный, как это ни странно, запротестовал. Разумные, конечно, немало удивились: «Неужели ты хочешь попытаться вновь?» И он ответил им: «Хочу». Тогда они спросили его: «Неужели тебе пришлась по душе их жизнь?» И он ответил: «Она почти невыносима, но прекрасна...» Может быть, это смешно, Андрей Васильевич, но ведь это, ей-богу, так.

«Зачем он все это мне рассказывает?— закипала в Андрее лютая и необъяснимая для него самого злость.— Что ему надо от меня? Какие такие у него права есть влезать ко мне в душу?»

— Мне-то что?— еле сдерживая ярость, выдавил из себя Андрей.— Что мне до этого?

— А вы подумайте.

— Не хочу. Хватит. Голова от дум пухнет.

— И это пройдет, Андрей Васильевич, пройдет.

— Что пройдет?

— Все.

— Слушай, дед,— безотчетное исступление душило его,— иди-ка ты отсюдова к чертовой матери. Я этими байками сыт по горло. Надоели вы мне все хуже дерьма, ненавижу я вас всех, как не знаю кого. Будьте вы все прокляты! И не дразни ты душу мою грешную, бери ноги в руки и дуй своей дорогой, а то не отвечаю за себя...

Оглохнув от собственного крика, он не слышал, как Бобошко все той же шаркающей походкой направился к дороге и молча растворился в ночи, оставив Андрея наедине с темью и его криком.

XV

Дербент ошеломил Андрея прежде всего своим неслыханным разноязычием. Толкаясь по базару, чутким ухом ловил он русскую речь, но она то возникала, то вновь гасла, заглушенная иноплеменным говором. Но и там, где ему порой выпадало перекинуться словом с кем-либо из случайных земляков, ничего нового об Александре узнать не удавалось. Никто ее не видел и не слыхал о ней.

У пивного ларька безногий инвалид — рябые скулы в порохо-

вой зелени — вяло подмигнул ему, кивая на кепку, опрокинутую перед ним:

— Поможем калеке, браток!

В ответ Андрей беспомощно развел руками:

— Ей-богу, друг, ни копейки.

— Садись,— радушно пригласил тот,— будут.

Часто еще потом вспоминался Андрею безногий инвалид этот и его веселое радушие, от которого зябко сводило спину.

После долгих и бесполезных поисков Андрей забрел в какую-то базарную харчевню и здесь, в крикливой толчее у стойки, лицом к лицу столкнулся с земляком и даже, по дальней, впрочем, и давно забытой линии, родственником. Звали его Левкой, родом он был из Торбеевки, хотя работал с незапамятных пор в депо, где его и встречал, наведываясь к брату, Андрей. И если в Узловске Лашков и поздороваться-то с ним поленился бы, то сейчас он долго и обрадованно тряс парня за плечи, по-детски радуясь этой неожиданной встрече:

— Ты-то как сюда попал, черт кудрявый? Ну, удружил, ну, удружил. Вдарим ныне по паре-другой. Ой, вдарим!

Тот, видно, польщенный обходительностью именитого родича, возбужденно замотал нечесаной головой:

— А вот сейчас... А вот сейчас, Андрей Васильевич, все как есть доложу... Об вас-то я еще тогда слыхал, что коров в Дербент погнали... Сейчас... Очередь наша.

Большими глотками втягивая в себя теплое прокисшее пиво, Левка весело похохатывал, и блеклое лицо его оплывало при этом текучими тенями:

— Нам, слесарям, теперь цены нет. Как эвакуация началась, нас всех кого куда. Меня, значит, сюда. Дуй, говорят, ворота Каспия укреплять надо. Ну, и укрепляю.

— А что у них своих, что ли, здесь не хватает?

— Ныне все по фронтам,— Левка замялся,— а у меня плоское стопие. Ну, и бронь, конечно. Как для высококвалифицированного. Да!— Он снова оживился, заерзал на месте, засучил под столом ногами.— Я здесь еще одну нашу видел...

— Кого?— Выдавил Андрей и почувствовал, как у него спирает дыхание.— Может, обознался?

— Скажешь тоже, обознался!— Тот открыто торжествовал козырно свое положение.— По Агуреевой этой, Сашке, сколько у нас ребят позасыхало. Да и ты.— Он тут же осекся, избегая враз осатаневших глаз Андрея.— Скажешь тоже, обознался...

— Где?

— Что где?

— Видел, говорю, где?

— Случаем, из депа шел... На посадке. Куда-то в сторону Баку подавалась.

— Говорил?

— Не. Я ее и в Узловске-то не знал совсем. Так издаля глаза пялил. Не по нашим соплям девка.

Говорить с Левкой как-то сразу расхотелось. Пиво показалось кислее прежнего, жара и базарная вонь еще удушливее, а всего минуту тому вполне сносная рожа собеседника окончательно опостылела. И Андрей заторопился:

— Бывай, кудрявый.

— Ну, куда ты, ей-богу? — хмельно заканючил тот — только-только разговорились. А ще грозился: вдарим! Вот тебе и вдарили.— Его вроде даже усекло в размерах от огорчения.— А у меня и бабы есть, первый класс, эвакуированные с укладки... А?

Уже от двери Андрей усмехнулся вполброви:

— Меня сейчас, хоть самого, это самое... Пока.

В военкомате, куда он завернул, проходя мимо, издерганный капитан с медалью поднял на него от бумаг злые, тронутые желтухой глаза:

— Ну, чего еще? — Он бегло просмотрел поданные Андреем документы и, посветлев лицом, крикнул через плечо в соседнюю комнату: — Мухин! Оформляй вот человека... Иди, парень, воюй.

И капитан опять склонил голову над бумагами.

XVI

Когда Андрей Васильевич очнулся, небо над ним было сплошь затянуто тучками, хотя и жиденькими, но с явным намерением устояться надолго. И, как это бывает в такую погоду, запахи сделались резче и обстоятельнее, а подспудная жизнь леса живее и громче. «Не ко времени затянуло,— решил он,— для сена плохо, да».

Поднялся Андрей Васильевич, думая о своем, повседневном: распределении лесных сенокосов, билетах на порубку, скором ремонте конторы и множестве другой всякой всячины. Но — странное дело!— его при этом не покидало чувство, что сегодня, даже вернее вот сейчас, им перейдена какая-то очень важная для него черта, вещий какой-то рубеж, после чего жить ему будет яснее, проще, просторнее.

С этим облегчающим душу чувством он и запряг, и двинулся в путь, и въехал в усадьбу лесничества.

СРЕДА

ДВОР ПОСРЕДИ НЕБА

I

Жизнь Василия Васильевича текла своим чередом. Неожиданный приезд брата и его внезапное исчезновение не наруши-

ли ее безликого однообразия. С утра до вечера сидел он, сгорбившись, перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда — как бы с высоты птичьего полета — печально и трезво оглядывал двор. За вычетом ежемесячной недели запоя Лашков просиживал там ежедневно — зимой и летом. Он подводил итог, зная, что скоро умрет.

По кирпичу, по малому сухарику карниза, по форточной раме он, кажется, мог бы разобрать дом, стоящий напротив, а потом, без единой ошибки, собрать его вновь. Подноготная каждого жильца была известна Лашкову, как своя собственная. С ними вместе он въезжал в этот дом, с ними кого-то крестил, кого-то провожал на кладбище. Реки вина были выпиты и разведены морями пьяных слез, а вот нынче не то что слово молвить, поднести некому. И поэтому сейчас Лашков страшился не смерти, нет,— с мыслью о ней как бы пообвык, что ли,— а вот этой давящей отчужденности, общего и молчаливого одиночества. Казалось, какая-то жуткая сила отдирает людей друг от друга, и он,— Лашков,— подчиняясь ей, тоже с каждым днем уходит в себя, в свою тоску. Порой к горлу его подкатывало дикое, почти звериное желание сопротивляться неизбежному, орать благим матом, колотиться в падучей, кусать землю, но тут же истомное оцепенение наваливалось ему на плечи, и он только надрывно сипел больным горлом:

— На троих бы, что ли?

Водка как бы пропитывала душу, наполняла ее теплом гулкой праздничности, и все кругом вдруг становилось добрым и необыкновенным. В такие дни Лашков стаскивал себя во двор, и там — на лавочке, лавочке, врытой еще им,— возвращался к нему тот покой, то состояние слитности с прошлым, которого ему день ото дня все более недоставало. Пенсия сразу обращалась в миллионное состояние, и отставной дворник с трезвой щедростью вываливал рубль за рублем на опохмеление сотоварищей.

Но и в эти вырванные у повседневной тоски дни время от времени хмельная радужная завеса вдруг неожиданно разверзалась, и перед ним, как видение, как черная метина на голубизне минувшего, возникала щуплая фигурка старухи Шоколинист. Все такая же юркая, в темной панаме, надвинутой почти по самые брови, она пробегала мимо него своей утиной походочкой, неизменно бормоча что-то себе под нос. Она собирала просроченные книжки для местной библиотеки. Вот уже двадцать лет она собирала книжки. Из дома в дом, из квартиры в квартиру, по-мышьи, стремительными бросками петляла старуха, и всякий раз, когда они сталкивались, в нем вздрагивала и мгновенно замирала какая-то струна, короткая боль какая-то, и ему становилось не по себе. С годами в нем нарастало предчувствие близкого открытия, даже прозрения, и, главное, Василий Васильевич все более укреплялся в мысли, что оно — это открытие — связано со старухой Шоколинист.

Разве тогда — тридцать лет назад — мог кто-нибудь в доме

думать, что, уж и в те времена похожая скорее на тень, чем на живое существо, она — его основательница и хозяйка — стольких переживет? К тому же Василий Васильевич определенно знал, что ей дано пережить и его, если не самый дом. И во всем этом заключался для старика какой-то почти нездешний смысл.

Последнее время он постоянно думал, думал, пытаясь найти в спутанном клубке событий ту самую нить, от которой все потянулось.

Василий Васильевич начал с самого первого дня.

II

Первым в пятую первоэтажную вселялся Иван Левушкин — молодой еще совсем, крепкощекий рязанец — со своей, уже беременной Любой. Чуть навеселе, с расстегнутым на темной от пота груди воротом, он посверкивал озорными глазами в сторону уплотненного еврея — дантиста Меклера и, ступая прямо по его барахлу, смеялся:

— По Богу надо, по Богу. Не все одним, а другим как же, а? Вот у меня жена на сносях, так что ей, значит, так вот в трухлявом бараке дитю пролетария и на свет выносить?.. Это не потому, что — власть, а по Богу, по Богу... Ничего — сживемся, я — смирный, а жена у меня так вроде и нету ее вовсе... И чистая...

Меклер, в одном пиджаке поверх майки-сетки, стоял на пороге отведенной ему комнаты и, заложив руки за спину, пружинисто покачивался из стороны в сторону:

— Пожалуйста,— говорил он, и низкий голос его слегка подрагивал,— пожалуйста. Разве я возражаю, тем более, что по Богу.— Когда еврей произносил это самое «по Богу», ему даже перехватило дыхание, и у него получилось не «по Богу», а «по Богху».— Ваши дети — мои дети. Рот, так сказать, фронт.

Из-за плеча и из-под рук дантиста смотрело на странных гостей несколько пар совершенно одинаковых глаз: коричневых со светлыми ядрами внутри. Глаза качались в такт покачиванию Меклера, и, наверное, никогда еще беззаботный Левушкин не вызывал к себе так много неприязни разом.

— Я — дантист,— сказал Меклер, и светлые ядра в его глазах вдруг утонули в темной ярости коричневых яблок,— дантист, понимаете?— И по тому, как круто поджал он вдруг задрожавший подбородок и как судорожно дернулись желваки под смуглой кожей, было ясно, что ему доставляет удовольствие произнести слово, которого новый сосед не знает и знать не может.— Но мне думается, молодой человек, я вам еще долго не пригожусь.

Глаза, несколько пар глаз, немного покачались, обволакивая всех густой неприязнью, потом дверь захлопнулась, и Левушкин погас, неопределенно вздохнув:

— Белая кость.

Лашков, помогая Ивану втаскивать его нехитрый скарб в ос-

вобожденную угловую, с окнами во двор, и до того видел, что, хоть и озорует слегка Левушкин, хоть и похохатывает залихватски, не чувствуется в этом его веселом мельтешении хозяйской полноты, удовлетворения, нету радости, которая от сердца. То и дело в нем — в его движениях, словах, смехе — сквозила еще неосознанная им самим тревога или, вернее, недовольство.

Уже потом, за полубутылкой, Иван, среди разговора, внезапно протрезвев, сказал печально:

— Вот вроде рад, а скусу нет. Нет его, скусу, и хоть ты волком вой.

Лашков про себя подумал: «Для куражу ломается». А вслух сказал:

— Обживешься, браток. Это всегда так — на новом месте.

— Оно, конечно,— вздохнул тот и задумчиво хрустнул огурцом,— в чужом овине и своя жена слаще, а вот поди ж...

Во время их разговора Люба, бесшумная и улыбчивая, скользила от стола к буфету и от буфета к столу, приправляя свою стряпню певучим московским говором:

— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь.

Было в ней что-то по-кошачьи умиротворяющее. Привлекая жену к себе, Иван любовно гладил ее по устойчиво округленному животу:

— Любонька мне девку родит. Люблю девок. Девка — покладистей. Девку да девку, да еще девку.— Здесь он неожиданно помрачнел, сжал зубы, и в нем сразу определился крестьянин, мужик.— А теперь и сына. Чтоб на дантиста обучился... Сына, Люба, чтоб...— Он замолчал и одним махом опрокинул стопку.— Давай, мил друг, «Хазбулата»!

Когда они вышли во двор, было за полночь. Крупные в середине чаши летние звезды, оплывая книзу, мельчали, становились острее и невесомей и отсюда — с земли — походили на чутко прикорнувших птиц. Время от времени то одна, то другая из них испуганно вспархивали со своего места и, перечеркнув пылающим крылом аспидную темень, скрывались где-то за ближними крышами. В соседнем дворе яростно захлебывался граммофон: «Прощай, мой табор, пою в последний раз» и чей-то пьяный тенор тщетно пытался подтянуть: «дний-и-и рра-а-з».

Друзья сели на лавочку во дворе. Внезапно Иван боднул головой ночь и простонал со сладкой тоской:

— Нынче у нас в Лебедяни гречиха зацветает...

И хотя Лашков ни разу в жизни не видел, как цветет гречиха, и едва ли смог бы отличить ее от проса, душе его передалась эта вот сладостная левушкинская истома, и он почти любовно вздохнул, вторя другу:

— Зацветает...

— И гармонь...

— И гармонь...

— И трава парным молоком пахнет...

— Пахнет.

Они говорили, а звезды все вспархивали и, обжигая темь, падали за ближними крышами. Вспархивали и падали.

Слова, на первый взгляд, были самыми незначительными — о погоде, о житейском, о мелочах разных,— но откровение общности коснулось их, и Лашкову вдруг показалось, сидят они с Иваном вот так уже много-много лет: вспархивают со своего места звезды, сгорают в пути и падают вниз, а они сидят; цветет и опадает гречиха, а они сидят; Люба, дочери Любы, дочери дочерей Любы рожают других дочерей, а они сидят под самым куполом неба — в самой середине.

— Однако тут в городе...

— Привыкнешь...

— Тесно...

— Оботрешься.

— Махорка нынче пошла — ботва.

— Да...

Лунная тень рассекла флигель надвое, поползла по стене, и, будто от ее прикосновения, вспыхнула в крайнем угловом окне лампада, выхватившая из темноты почти бестелесный силуэт старухи Шоколинист. Снизу она проглядывалась до мучительных подробностей: шевелящийся беззубый рот, яростно заломленные руки и даже, казалось, самые ее зябкие глаза, подернутые исступлением.

— Что за ведьма?— глухо спросил Левушкин и встал, перекрестился и сделал шаг в сторону,— ишь, изголяется... Пойду я... Любка там...

— Хозяйка бывшая... Грехи замаливает.— Лашков тоже встал.— Ладно, покеда. Мне ведь спозаранку.

Он шагнул к себе — в тень флигельных сеней — и впервые в эту минуту почувствовал томительное, словно от удушья, стеснение под сердцем, и тихая тревога вошла в него, чтобы уже срастись с ним навсегда.

III

Старуха Храмова из одиннадцатой добровольно уплотняться отказалась наотрез. Большая, грузная, в засаленном капоте, стояла она на пороге кухни и, глядя, как Лашков с водопроводчиком Штабелем перетаскивают мебель из столовой в дочернюю светелку, раздраженно причитала:

— Ведь папа,— у нее это выходило смешно и жалко,— папа, это все знают, много раз сидел в участке... Да, да,— за убеждения... Разве там,— старуха ткнула склерозным пальцем в потолок,— там забыли об этом?.. Разве можно грабить семью знаменитого артиста?.. А Лева, где будет репетировать Лева? Нет, я вас спрашиваю — где? А моя девочка? У девочки такие способности... Пальцы, разве это никому не нужно? Скажите,— она бро-

силась к участковому Калинину, окаменело замершему на лестничной площадке,— разве это никому не нужно — пальцы? Я вас спрашиваю, где она будет заниматься, где? Конечно, в пивной тишина ни к чему и, простите, в борделе тоже...

Тот лишь поморщился в ответ и заиграл острыми чахоточными скулами. И видно было, что все это ему давным-давно смертельно надоело, что сам он — Калинин — здесь ни при чем, и что, наконец, поскорее бы развязаться со всем этим и уйти домой.

За его спиной, подпирая собой гору узлов и укладок, стояли две Горевы: жена — тихая, бесцветная, в мешковатом сером костюме и в парусиновых туфлях на босу ногу, и ее золовка — туго сбитая девка, усмешливо глядящая в мир глазами, подернутыми угарной поволокой.

Сам Алексей Горев — щербатый парень лет тридцати,— скрипя выходными штиблетами, растерянно утаптывался вокруг участкового и все зачем-то совал ему в его тяжелые руки свой ордер:

— Так ведь я не по своей воле. Мне все равно, где жить, лишь бы — крыша. Я ведь в законном порядке.— Калинин угрюмо отмахивался от него, тогда Горев бросался к жене.— Что же это она, Феня? Мы же по ордеру!— Феня жалобно взглядывала на мужа и молчала, а он уже искал сочувствия у сестры.— Груша, ну, утихомирь ты ее, утихомирь! Вот тебе и справили новоселье. Гражданочка, мы же в законном порядке... Вот и печать...

Но Храмовой было не до него: старуха расставалась с чем-то таким, с чем ей невозможно было расстаться ни в коем случае, иначе ее жизнь теряла всякий смысл и значение. Она то отрешенно застывала у кухонного окна и потухшими глазами глядела во двор, то кружилась по квартире, таская из столовой и складывая кучей на кухонной плите всякую мелочь — подстаканники, фарфоровые безделушки, семейные альбомы, то вдруг начинала умолять сына:

— Левушка,— он стоял к ней спиной, болезненно морщился и потирал виски, а она тянула его за фалду пиджака,— Левушка! Ты же артист! Ты должен пойти и рассказать обо всем, туда!— ее палец снова взмывал к потолку.— Во имя деда! Здесь ему дорога каждая вещь!.. Они не имеют права!.. Подумай об Ольге!.. Что будет с ней!.. С ее пальцами!.. Вспомни, что говорил о ней Танеев!..

Она искала его взгляда, но его глаза ускользали от нее, глаза смотрели куда-то поверх, сквозь стену, сквозь двор и дальше. Сын отдирал ее руки от себя и тихо, словно бы боясь, что его могут услышать, уговаривал:

— Мама, мама, подумай, что ты говоришь? Что случилось? Ничего не случилось. И потом, я согласен спать в коридоре. Пусть Оля живет в моей комнате. Ей там будет покойнее... Мама, ну что ты с собой делаешь?.. Мама же, наконец!

Храмова вновь сникала, чтобы уже через минуту повиснуть на дочери:

— Вы посмотрите на эти пальцы!— старуха бережно огла-

живала ее почти невесомые ладони.— Нет, вы только посмотрите! Сам Танеев любовался ее пальцами! Оленька, только не надо так улыбаться! Оленька, ну я прошу тебя, не надо так улыбаться!

Но та не слышала ее. Опершись о косяк входной двери, Ольга медленно раскачивалась из стороны в сторону и улыбалась тихо и празднично. Она стояла прямо против Калинина. Участковый морщился и поигрывал чахоточными скулами, а девушка улыбалась. Она, конечно, не видела ни самого Калинина, ни того, что стояло за ним, она просто жила, существовала там, где, видно, еще можно было улыбаться, тихо и празднично, но сейчас, при взгляде на них, Лашкову становилось не по себе. В их вызывающей разительности ощущалось какое-то почти жуткое сходство: злость одного и блаженность другой определили недуг, и некуда им было деться, бежать от этого жестокого родства. Так и стояли они, сведенные случаем, друг против друга, на одной лестничной площадке, оставаясь в то же время каждый в своем мире, со своей правдой.

Штабель работал с чисто немецкой уважительностью к вещам. Прежде чем взяться за какой-нибудь предмет, он осторожно опробовал его — выдержит ли? — потом бережно поднимал и размеренно, как бы ступая по льду, переносил в светелку, где все и устанавливалось им по лучшим правилам симметрии. Но старуху Храмову даже эта вот его старательность выводила из себя:

— Кто же ставит стулья на стол, Штабель? Кто же ставит стулья на стол? Твоя мама-немка ставит? Твой папа-немец ставит? Может, дядя-немец ставит? Это же из Гамбурга мебель! Тебе жалованья твоего за всю жизнь не хватит на такой стол! Два не хватит! Три! А ты ставишь стулья.— Она ходила за ним по пятам, серая от бессильного гнева, трясущаяся, и все старалась уколоть его побольней, почувствительней.— Разумеется, что тебе чужие вещи! У тебя ни кола ни двора, ни родины! Так в котельной, на тряпье и отдашь душу Богу... Ах, Штабель, а я считала тебя порядочным человеком. Все-таки — немец.

Штабель молчал. Штабель умел молчать. Зачем ей — этой потертой московской барыне с ватными щеками — знать, какая дорога пролегла между ним и его родиной. Аккуратно определив на место очередной стул, он вынул из брючного кармана платок и вдумчиво протер им руки. Затем водопроводчик сложил платок вчетверо, сунул его снова в карман и только после этого заговорил:

— Я, мадам,— Штабель взял старуху за плечи, почти без усилия повернул к себе спиной и легонько, но настойчиво стал подталкивать ее ближе к комнате сына,— австриец, мадам. Австриец. Я слюшал вас, теперь слюшай менья. Я не знай, что хочит ваша власть, но я привык уважать всякий власть. Мне говорьят: «Штабель, эта нада.» И я делай. Но я не хошью, чтобы рабёшие люди подыхаль в котельная. Простите менья, мадам.— Он под-

вел ее к стулу, повернул снова к себе лицом, тихонько надавил на плечи, и она села, а сев, как-то сразу стихла и вся, будто оплывающая опара, посунулась книзу. А водопроводчик, вернувшись, дотронулся до Левиного плеча.— Лева, уведите сестра себе. Ее нельзя так. Отчень, отчень нельзья.

Лева, испуганно встрепенувшись, неожиданно засуетился, схватил сестру за руку и стал так же тихо, как и прежде старуху, убеждать ее:

— Пойдем, Оля, ты должна пойти. Тебе уже пора отдыхать. И потом мы здесь мешаем.

Улыбаясь, она удивилась:

— Левушка, зачем. Еще рано. А здесь столько солнца. Смотри, сколько. Оно звучит. Слушай — звучит. А у нас эти занавеси. Эти ужасные занавеси. И здесь столько людей. Они будут жить у нас? Что маме нужно от них... И потом, эти занавеси. Неужели их нельзя снять?

— Я сниму их. Я выброшу их и открою окна настежь. Пойдем, Оля. Вот так.

Брат потянул ее с собой, и она вяло подалась, не переставая улыбаться и все порываясь с кем-нибудь заговорить. Коридор опустел, и Горевы стали молча и бесшумно вселяться. Алексей и Феня переносили вещи, ступая так, словно в квартире находился покойник. Они как бы стыдились собственной удачи, и только Груша определила себя на новом месте как хозяйка и стала всем своим видом и поведением выказывать, что все здесь принадлежит ей и давным-давно и что нужно лишь еще немного подождать, чтобы справедливость окончательно восторжествовала. Она двигалась уверенно, шумно, властно командуя своей бессловесной свояченицей и братом:

— Да отодвинь ты, Федосья, стол ихний вот в тот угол. У окна свой поставим. Что тебя, Алексей, пыльным мешком из-за угла втянули, что ли-ча, двигай его, окаянного. Ишь, расставились...

Василию сразу понравилась эта крепкогрудая, кержацкого вида деваха с сильными, совсем не женскими руками. От нее исходил хозяйственный запах еще неустоявшегося пота и стирки. Парень обнял было ее в простенке между кухней и чердачным ходом, но она только повела плечами, только повела, но так при этом посмотрела, что он сразу же густо покраснел и смешался. Но, однако, что-то вдруг оттаяло в его душе, встрепенулось, и уже потом, когда Горев поил их — Лашкова, Штабеля и участкового — в ближней пивной теплым кисловатым пивом, он не выдержал-таки, сказал задумчиво:

— А сеструха у тебя, Алексей Михалыч, надо сказать, стоющая. Первый сорт, можно сказать, девка. Одним словом, как говорят, люкас.

Горев поскрипел, утаптываясь на месте торгсиновскими штиблетами, и хмыкнул в кружку:

— Наших — горевских кровей.

Штабель подумал, подтвердил:

— Такой хозяйка в доме,— при этом он многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал большие глаза,— о!

Калинин промолчал. Ему, в его положении, давно было не до девок. Участковый тоскливо скучал и от дикой, не по-вешнему устойчивой жары, и от этого теплого кислого пива, и от нудного разговора, которому может не быть конца. Он с упрямой внимательностью вслушивался только в себя, даже, вернее, не в себя, а в свою болезнь. Калинин чувствовал, как она разрастается в нем, оплетая пору за порой, нерв за нервом, и ему иногда казалось, что он слышит самое ее движение — шелестящую мелодию постепенной гибели. И поэтому все остальное в мире по сравнению с ней — с этой мелодией — вызывало в нем только скуку, вязкую, будто смола для асфальта. Почти черными зубами участковый лениво отодрал кусок воблы, пожевал, допил кружку и коротко подвел итог встрече:

— По домам.

Ночью хмельному Лашкову снился сон...

Он идет по Сокольникам с Грушей под руку. И оба они — сплошное сукно и крепдешин. А деревья, будто летя куда-то, гудят над их головами, пронизанные огнями, и все люди, оборачиваясь, улыбаются им вслед: пара! Лица, лица, они улыбаются им вслед. Сколько лиц! И вдруг его словно обжигает: все, все они, как две капли, схожи с лицом блажной дурочки Оли Храмовой из одиннадцатой квартиры. Лашков что-то хочет крикнуть им, крикнуть сердито, вызывающе... Но сон смешался...

Пробуждаясь, дворник со злым недоумением подумал: «К чему бы это?» Потом рассудил куда для себя приятственнее: «Может, сон-то в руку?» И еще, но уже не без кокетливого сожаления: «Вроде, на ущербе жизнь твоя холостяцкая, Вася?»

IV

В лабиринте бельевых веревок, словно мышь в сетке из-под яиц, металась по двору Сима Цыганкова. Облаву вели два ее брата, оба низколобые с аспидными челками над кустистой бровью, вели с пьяной непоследовательностью, и хотя уже добрая половина белья лежала полувтоптанная в дождевую грязь, Сима все еще ухитрялась ускользать от них, то и дело пытаясь прорваться к воротам. Но всякий раз кто-то из братьев перехватывал ее на полпути, и все повторялось сначала. Братья обкладывали Симу с молчаливым остервенением, как зверя, в полной тишине. Слышен был только их прерывистый хрип да протяжный треск лопающихся веревок.

Василий по опыту знал, что с Цыганковыми лучше одному не связываться. Они переехали недавно в девятую, и первый же их день во дворе ознаменовался громким, чисто вологодским мордобоем со «скорой помощью» и милицией в заключение. Семейст-

во изуродовало своего соседа старика-филолога Валова, а заодно и непрошеного воителя за всех обиженных Ваню Левушкина. Уже на другой день сам Цыганков, взяв всю вину на себя, уехал в домзак отсиживать установленный кодексом год. Филолог, дав объявление насчет обмена, ночевал у Меклера, а Иван гордо носил по двору свой пробитый череп, наскоро забинтованный ему в неотложке и, горячась, возмущенно жаловался каждому встречному-поперечному:

— Это разве по Богу над стариком среди бела дня измываться? За такое по головке не погладят. Совесть-то надо иметь, а? Под Богом ходим, а совести — кот наплакал...

Среди Цыганковых Сима выглядела белой вороной. Тоненькая, хрупкая, почти девочка, в застиранном ситчике — белый горошек по голубому фону — она семенила двором, потупив глаза, так, будто ступала по битому стеклу, и как бы не пробегала вовсе, а извинялась за все свое непутевое семейство. Но стоило видеть, какими глазами смотрели на нее все холостяки дома, да и женатые тоже: Сима была проституткой с лицом иконостасного херувима.

Лашков еще натягивал пиджак, чтобы бежать за уполномоченным, а кто-то уже кричал сверху:

— Ироды! Куда по подзору сапожищами-то! И зачем только принесло вас на нашу голову! Креста на вас нету! По подзору-то, по подзору как, а?

Во дворе Лашков застал уже конец облавы. Тихон все-таки загнал сестру в угол котельной и флигеля. Сима упала, свернулась в клубок, обеими руками прикрыв голову. Обляпанная грязью подошва уже занеслась над ее крапленым ситчиком, но здесь между нею и братом неожиданно вырос Лева Храмов:

— Не смейте ее трогать! Как вам не стыдно бить женщину!— Он махал перед носом Цыганкова бледным тонкопалым кулаком.— Не подходите к ней! Да!

Конечно, это выглядело смешно. Звероподобному Тихону стоило даже не ударить, а просто толкнуть худосочного актера, и без кареты «скорой помощи» тут бы не обойтись. Тихон остолбенел на минуту, раздумывая, как слон над зайцем: давить или пройти мимо! А когда он все же решил давить и угрюмой глыбой подвинулся к Храмову, на плечо ему легла тяжелая штабелевская рука:

— Слюшай сюда, парень. Ты видьишь это.— Отто чуть приподнял сжатый свободной рукою кусок водопроводной трубы.— Ти хочешь получайт пенсия, бей его, не хочешь получайт пенсия, иди домой.

Тихон исподлобья окинул Штабеля с ног до головы, как бы прикидывая, во сколько обойдется ему драка с дюжим австрийцем, потом коротко переглянулся с братом, тот хмуро кивнул, и они двинулись прочь, и лишь с порога парадного Тихон пьяно погрозил:

— Я тебе, немецкая морда, еще загну салазки!

Штабель лишь усмехнулся одними глазами и, полуобняв за плечи актера и Симу, подтолкнул их к котельной:

— Иди, посидайт у менья. У вас есть многай разговори. Мы,— он указал на Лашкова,— будьем курьить здесь. Мы будьем думайт,— он снова кивнул на Лашкова,— многа думайт. И говорьит, говорьит.

Лашков терпеливо молчал, пока друг его, попыхивая глиняной трубкой, изучал густеющее небо. Василий знал Отто Штабеля: чем дольше тот думает, тем серьезней будет речь.

Дворник встретил австрийца случайно на бирже труда, куда зашел, чтобы найти, по просьбе домоуправа, дельного истопника-водопроводчика. Штабель приглянулся ему сразу: степенный, обстоятельный — прежде чем сказать, десять раз подумает — он подкупил дворника именно этой своей обстоятельностью. Казалось бы, не от сладкой жизни идут на биржу, и все-таки, прежде чем согласиться, Отто, мешая русские слова с немецкими, дотошно, врастяжку выспрашивал его о месте (каков транспорт?), об условиях (как с выходными?), о спецодежде (надолго ли?), и даже о жильцах (что за народ?). И Лашков, вопреки всем традициям того скудного для рабочих рук времени, расхваливал свой товар, старался вовсю.

Видел дворник: поставит ему домоуправ за такого водопроводчика и не одну. Транспорт? Под самым носом. Зарплата? Не обидим. Спецодежда? Не поскупимся. Жильцы? Ангелы, а не жильцы.

Вскоре новый истопник занял лашковскую каморку в котельной, а сам дворник вселился в светелку уплотненной модистки Низовцевой во втором этаже флигеля...

Вечер повис над крышами первой, еще неуверенной звездой. Звезда набухала, наливаясь мерцающей голубизной, и в шелест тополей за воротами вплелись два голоса оттуда — из глубины котельной:

— Мать не просыпается. И эти тоже. И все — денег. А я и так им все отдаю... Эх, и зачем только нас принесло сюда — в прорву эту... Отобрали кузню, так что в ней, в кузне-то, и свету только? И так прожили бы. Все здоровые... Там у нас на Волге хорошо, просторно... Завод, завод!.. Вот тебе и завод!..

— Какой ужас, какой ужас!.. Ужас... Ужас... Милая, милая девочка... Какой ужас! Откуда это, за что это на нас такое!.. Говорите, говорите...

— Для вас ужас, а нам — век жить... Старые люди говорят: за грехи.

— Да кто ж и когда у нас так согрешил, чтоб за это — такое?

— В роду, говорят.

— Боже мой, Боже мой, да в каком же это роду и в каком же это столетии. Девочка, девочка, разве прокричишь тебе душу? Да поверь мне, нет такого рода, племени такого нет и столе-

тия такого не было. Да если бы и все роды и века мы страшно, чудовищно грешили, нас нужно было бы наказать самое большее — смертью. А ведь это ужас!

Тихо:

— Не надо так.— И еще тише:— Не надо. Всех не пожалеешь. Вот и за меня к чему было заступаться?.. Ведь прибить могли. И — насмерть прибить. Что вам-то?

— Много.

— Это от доброты. Потому вы и слабый... И тихий... от доброты... Добрые — они все слабые.

— Совсем, совсем нет, милая. Это только так кажется... Я всегда буду вас защищать.

Тихо-тихо:

— Защитник.

— Служить вам... Будем жить вместе... Не подумайте плохо... Как брат и сестра...

— Коли вы захотите такого, это я вам рабой буду... И вовсе не надо, чтобы как сестра...

— Девочка, девочка, милая девочка...

— Волосы у вас, как лен, мягкие и ласковые...

Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда, и эти вот два голоса.

V

Сима сидела на лавочке, болтала ногой и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью. Наверное, это было куда слаще даровых ресторанных пирогов. Иначе бы она не болтала ногой, сидя на дворовой лавочке, и не смеялась бездумно вот так: поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь.

Штабель-таки недаром больше обычного молчал в тот вечер. Отто не любил слов пустых и необязательных, а потому лишь перед расставанием сказал Лашкову:

— Слюшай сюда, Васья. У твоего модистка есть шулян. Скажи мине, Васья, зашем модистка шулян. Два шеловека — один шулян. Карашо. Храмова все равно не пускаит их к себье.

Сказал и сошел вниз, в говорящую темноту. Лашков лишь головой покачал ему вслед: чудак-человек. Об этом чулане шли у них разговоры еще с зимы. Дворник сам присмотрел его для друга у своей соседки. Чуланчик был так себе, не очень, в общем,— три на два,— но удобство его состояло в том, что одной своей стеной туда выпирала чуть ли не на треть квартирная печь. Оборудовать чулан под жилье было делом плевым, ждали только лета, но Штабель взял и перевернул все по-своему. И Лашков, в конце концов, согласился с ним.

Вот почему сегодня Сима и сидела на лавочке, и болтала ногой, и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью, и бездумно смеялась, поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь.

Симу ожидала комната. Конечно, не Бог весть какая комната могла получиться из бывшего чулана, но да разве в хоромах дело? Тем более, что над будущим ее жилищем колдовало сразу столько народу: трое Горевых, двое Левушкиных, Штабель с Лашковым и ее, теперь собственный супруг — Лев Арнольдович Храмов. Правда, он только растерянно и ненужно суетился, не зная, за что ухватиться, но какое это могло иметь сейчас для Симы значение: Симе готовилась комната.

В углу двора, прямо против своего окна, Иван соорудил верстак, и терпкая свежей смолой стружка пела и струилась под его рубанком. И сам он, работая, улыбался чему-то своему, тайному. Казалось, дерево рассказывало плотнику некие удивительные и веселые истории. И желтые филенки для Симиного счастья —одна за одной — строились вдоль стены. И из окна левушкинской комнаты несло за квартал пирогами, и Люба, орумяненная жаром и оттого вдруг похорошевшая, то и дело сновала между домом и флигелем и при этом каждый раз переглядывалась с мужем, и он подмигивал ей, и они не без озорства улыбались друг другу.

Алексей Горев с засученными до локтей рукавами ловко и споро оклеивал бывший чулан васильковым цветом весны, и бессловесная Феня его смотрела на волшебника-мужа снизу вверх, почти с благоговением, и клейстерная кисть под ее рукой выписывала диковинные кренделя.

Груша, по-деревенски высоко подоткнув юбку, выгребала последний мусор, и когда она слишком сильно сгибалась, упругие икры ее начинали едва заметно подрагивать, и сердце Лашкова учащенно дергалось и сладостно замирало где-то под самым горлом.

Работая, они с водопроводчиком стаскивали с чердака бросовую мебель, отдавая ее на поправку в добрые левушкинские руки. Лашков держался ближе к Груше. Та вроде бы и не замечала парня, вроде бы и давала понять, что отношение у нее к нему — со всеми наравне, но сама нет-нет да и отличала его — то полувзглядом, то легкой улыбочкой — от других. Он чувствовал себя на седьмом небе. Солнце заливало двор светом чистой июньской пробы, и в его невесомой благодати все вокруг виделось ему исполненным какого-то особенного замысла.

«Мамочка моя дорогая, что человеку нужно? Самую малость, сущий пустяк. А какая от этого пустяка легкость на душе! Все дадено, все есть, живи!»

Вечером за столом царила великосветская предупредительность. Каждый из гостей хотел показать, что и он не лыком шит и знает толк в правилах хорошего тона, и что уж коли и без образования, то с образованными людьми тоже умеет в обществе держаться.

Пили красное и по неполной рюмке, губы вытирали чистыми платками, закусывая, оставляли на тарелке малость: не из голодного края, мол. И в довершение всего, в неописуемой тесноте, ухитрились станцевать под «Амурские волны». А пе-

ред разгонной Иван Левушкин даже произнес небольшую речь:

— Всегда бы вот так-то, братцы.— Голос его дрогнул.— Живем, как зверье. А все — люди. Я вот думал — сосед. А дантисты они, выходит, тоже — люди.

Прощаясь, гости со значением переглядывались и степенно пожимали молодым руки. Растроганный до слез Лева Храмов от самого порога кричал им в темноту:

— Заходите, непременно заходите, будем очень, очень рады. Всегда запросто. Здесь все ваше!

Лашков пригласил Грушу прогуляться, и та пошла, и сама взяла его под руку, и все было точь-в-точь как в недавнем его сне: пронизанные огнями сокольнические деревья гудели над их головой, и многие оборачивались им вслед.

Они сели на скамью в темной аллее, и он обнял Грушу и поцеловал. И она не сопротивлялась. И лишь слегка оправив после этого волосы, спокойно молвила:

— Только сначала, как у людей — в загс.

Он сказал:

— Конечно.— И еще.— А как же!

И деревья сверху над ними плыли куда-то. А может быть, это плыли вовсе не деревья, а они сами — Лашков и Груша. И скорее всего, что так.

VI

Никишкин въезжал в седьмую, что на втором этаже, к бывшему полковнику и военспецу Козлову поздно вечером под седьмое ноября. Новый жилец был мал ростом, сложение имел субтильное, но мужиком оказался въедливым и настырным. Еще поднимаясь по лестнице, он дышал норовистым бычком и, в предчувствии скандала, сладострастно потирал руки:

— А мы тебе пощупаем жабры, господин генерал.— Чин будущему соседу Никишкин накидывал явно куражу ради.— Ты у нас, белый ворон, враз кенарем запоешь. Отжили свое, высосали рабочей кровушки. Вы, товарищ,— теребил он Калинина,— в случае чего, свидетелем будете. Не отвертится, не старый режим.

Уполномоченный и ухом не повел. Только этак искоса взглянул на него, и под его серой кожей вздулись и снова обмякли желваки.

Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре военспеца, и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях, были вызывающе нафабрены.

— Прошу вас, гос...— хозяин осекся, но тут же вышел из положения,— ...тям здесь всегда рады. Я знаю,— предупредил он взявшегося было за свой планшет Калинина,— вы привели мне соседа. Очень приятно, молодой человек.— Старик учтиво поклонился в сторону Никишкина.— Мне уже сообщил управляющий.

Так что, Василий,— он пожал узкими плечами, обращаясь к Лашкову,— тебя напрасно потревожили, дружок.

Едва ли дока и куда въедливей, чем Никишкин, выудил бы из всей этой безукоризненности хотя бы одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчеркнутой вежливостью округлялась хозяином каждая фраза, и в том, какая учтивость исполняла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин позволил себе одобрительно усмехнуться.

Обескураженный Никишкин пустился было в амбицию, но старик, устало опустив белые веки, подсек его суету на корню.

— Мне предложили освободить столовую. Но я старик, а старику нужно минимум места, чтобы дожить свое. К тому же я рассчитал домработницу. Поэтому, с позволения властей,— он отвесил полупоклон участковому,— я оставляю за собою только кабинет. Остальное — ваше, вместе с меблировкой... В моем возрасте человеку нужно совсем немного дерева.— Здесь Козлов повернулся к Никишкину, и впервые в его блеклых глазах заплясали насмешливые чертики.— Не так ли, молодой человек?

Тот, казалось, почувствовал издевку, но перспектива занять лишнюю жилплощадь, да еще с полной меблировкой, подействовала на него ублаготворяюще:

— Я покуда без семейства, так сказать, для рекогносцировки.— Он мельком взглянул в сторону соседа, как бы проверяя, какое впечатление произвело на того знание им военной терминологии, и, убедившись, что понят правильно, продолжил, и в никишинском голосе ощущалось теперь эдакое примирительное размягчение.— Вот, можете проверить. Все в полном ажуре... Нет уж, вы обяжите посмотреть.

— Что вы, что вы, молодой человек,— вяло отвел Козлов от себя протянутые гостем документы,— милости прошу. Располагайтесь, это теперь ваш дом.

Слово «ваш» он произнес с тем особым ударением, от которого всем вдруг стало немного не по себе, и Василий подумал, что при других обстоятельствах Никишкину с бывшим полковником лучше бы не встречаться.

Козлов гостеприимно открыл дверь в столовую и включил свет:

— Прошу вас.

И если новый жилец и насторожился было еще минуту назад, если и собирался снова в щетинистый комок, то здесь, при виде гарнитура резного дерева и почти нетоптанного ковра на паркете, все в нем пришло в прежнее равновесие и даже вызвало жест ответного великодушия:

— Что ж,— как бы в знак классового примирения он протянул Козлову руку,— тогда с праздничком вас, уважаемый гражданин военспец.

— Мой молодой друг,— сказал старик и, уже откровенно издеваясь, убрал руки за спину.— Я — человек глубоко верующий

и отмечаю лишь христианские праздники, а также день рождения престолонаследника Алексея Николаевича Романова... Прошу простить.

Развернувшись чисто по-воински, через левое плечо, Козлов показал гостям спину, скрылся в кабинете и в два оборота ключа отгородил себя от своего будущего соседа раз и навсегда.

— Ишь, гусь!— Никишкин после короткого столбняка снова вошел в раж и вроде даже вознамерился было броситься вслед старику.— Тебя еще, видно, жареный петух в задницу не клевал, господин генерал, тебя...

Участковый устало и зло оборвал его:

— Хватит, не мельтеши. Пошли.

Двор, обрамленный первым снегом и звездами, казался до игрушечности маленьким, затерянным. Лишь разноцветные прямоугольники окон отогревали студеную тишину, и потому сама она казалась разноцветной: у каждого окна своя особенная тишина.

Новый жилец кипятился еще и во дворе:

— Как же, товарищ начальник, ведь сообщить надо. Можно сказать, открытый враг на свободе. Сегодня он мне, а завтра при всем народе скажет.

— И скажет, между прочим,— Калинин прикурил и яростно затянулся.— И, между прочим, при всем народе... А теперь топай...

— Я чтой-то в толк не возьму,— угрожающе попятился тот,— представитель власти и...

— Топай, говорю... И, смотри, жену береги — сразу всё не выкладывай.

— Я...

— Топай.

Это было сказано кратко, тихо, сквозь зубы, но и у Василия, вроде попривыкшего к редким вспышкам своего участкового, вдруг засосало под ложечкой, и его осенило наконец, почему с такой неохотой вспоминает тот свою работу в особом отделе фронта.

Никишкин не посмел отговориться, но даже и в том, как он уходил, будто вбивая каблуками гвозди в снег, чувствовалась угроза и предостережение.

Лашков неопределенно вздохнул:

— Загнул старик себе на шею. Этот не спустит.

Красный глазок окурка, описав в темноте дугу, упал в снег и погас.

— Я бы его, конечно, за такие слова сам в расход пустил,— проговорил Калинин, и в голосе его еще дрожало недавнее зло,— но такие хоть подыхать умеют по-людски, такому хоть руку подать не совестно... Ладно, пока.

Он шагнул в ночь — высокий, сгорбленный,— и снег оглушительно заскрипел под его сапогами, и душу Лашкова неожиданно, впервые, пожалуй, в жизни обожгла простая до жути мысль: «Почему всё так? Зачем?»

VII

Где-то под Новый год Калинин снова постучался к дворнику. Вошел, снял шапку, прижался грудью к голландке и долго надрывно кашлял. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Глотнуть не найдется чего?

Залпом опорожнив граненый стакан, он только искоса взглянул на предложенный огурец и сел, опустив голову:

— Вот что, Лашков,— с мороза, еще заостренней обычного, лицо его оплывало текучими пятнами,— Цыганкову брать будем. Санкция есть. Родня сработала.

Лашков ждал подвоха: не те люди Цыганковы, чтобы так просто отступиться от даровых денег,— не раз замечал он, как братья злорадно переглядывались, сталкиваясь с Храмовым и сестрой,— но такого ему не предвиделось.

— Да за что?— почти крикнул он.— За что?

— Сто пятьдесят пятая статья уголовно-процессуального кодекса, пункт «а»... И, главное, собаки,— стукнул участковый кулаком по столу,— свидетелей нашли! Нашли же! Сучьи дети, попользовались, а теперь копать будут!

— Так ведь замужем она!

— Вот то-то и оно, что не расписаны.

— Может, уехать ей покуда?

— На панель?— Он поднял глаза и тут же опустил их.— Это можно, в любом городе спрос есть.

— Да...

Разговор угас. Василий налил себе и тоже выпил. Совсем нечеловеческая тяжесть навалилась ему на плечи, и он не мог, не хотел сейчас встать первым, чтобы пойти туда — к храмовскому чулану. До чулана было всего несколько шагов, но каким немеренно тяжким стало вдруг это расстояние для него. Дорого бы заплатил Лашков за то, чтобы избавиться от необходимости видеть их сегодня, смотреть им в глаза, разговаривать с ними. И от неизбежности предстоящего становилось на душе еще тяжелее и нестерпимее.

Жилистый калининский кулак еще раз поднялся и с силой опустился на клеенку:

— Пошли.

На стук откликнулась Сима.

— Кто?

— Открывай, Цыганкова,— глухо выговорил уполномоченный,— дело есть. Это я — Калинин.

Послышался шепот: тревожный, стремительный, в разных оттенках, затем, перебитый волнением, полукрик, полустон:

— Сейчас.

Звякнула щеколда, и на пороге, запахнувшись в храмовское пальто, со скорбной вопросительностью замерла перед неурочными гостями Сима Цыганкова: уж кому-кому, а ей не приходилось

втолковывать, что ранние визиты участковые наносят не от избытка вежливости.

— Да?— выдохнула она и опять, как эхо, повторила.— Да?

— Вот что, Серафима Цыганкова,— Калинин зачем-то снял шапку и, опустив глаза, начал приглаживать волосы,— придется тебе пройти со мной в отделение. Есть санкция. Вот что.

— Да?— упало у нее сердце, и еще раз, но уже без вопроса, а утвердительно:— Да.

— В чем дело, Александр Петрович?— Из-за Симиного плеча выглянул Лев Храмов. Он лихорадочно натягивал рубаху.— В чем дело?

Сима повернулась к нему, взяла его руку в обе ладони и начала, как больному, гладить ее:

— Я скоро вернусь, Лева.— Голос ее звучал тихо-тихо, и ,если бы у нее не дрожал подбородок, можно было подумать, что она совершенно спокойна.— Вот увидишь, я скоро вернусь. Ты ложись, тебе же на репетицию. Только не забудь сходить за батоном... Не надо, Левчик, я только туда и обратно.

Сима попробовала улыбнуться, но вместо улыбки у нее получилась гримаса, кривая и жалкая.

Но тот был уже не в себе.

— Объясните же, наконец, за что, Александр Петрович?— стонал он, шаря руками по отворотам калининской шинели.— Кому она опять помешала? Разве можно вот так брать человека неизвестно за что?

— Известно.— Калинин упорно изучал носки своих сапог.— Но тебе, Храмов, я объяснять не буду. Иди к следователю и узнавай сам. Мое дело доставить.

— Тогда я вам ее не отдам!— Лева закрыл Симу собой и раскинул трясущиеся руки.— Не отдам и все, вы слышите, Александр Петрович!.. Да что же это такое, Господи!.. Ну, дайте мне день или два... Я пойду... Я буду хлопотать... Я все узнаю!..

Участковый надел шапку и, отходя от храмовского порога, устало и хрипло сказал дворнику:

— Иди, зови двух постовых, не драться же мне с ними, в самом деле.

Лашков топтался на месте, не желая перечить, но и не спеша: «Кто знает, может, все еще и обернется по-хорошему?»

— Иди!— повторил уполномоченный, но уж жестче и упрямей.— Ордер не я подписывал. Бесполезно, Храмов,— бросил он через плечо Леве,— это — закон.

Он вышел во двор, а вслед ему неслось исступленное храмовское:

— Да будь они прокляты, такие законы! Будь прокляты люди, которые их написали! Прокляты, прокляты, прокляты!..

Когда Лашков вернулся, флигель был окружен тесным полукольцом жильцов. Чуткий утренний снег скрипел под десятками подошв, а легкий шелест тревожного полушепота плавал над головами:

— Эх-хо-хо, жизнь наша бедовая... Не думали! Девка только-только на ноги встала.

— Хе, хе, хе... За грехи-то отвечать надо. Не перед Богом, так перед нарсудом.

— Родня, говорят, удружила.

— Одно слово — ироды.

— Дела-а.

Между жильцами кружился Иван Левушкин в калошах на босу ногу и пальто, накинутом прямо на исподнюю рубаху. Из-под штанин у него торчали тесемки от кальсон и тянулись по снегу.

— Что ж это, граждане? Что же это за смертоубийство такое? Рази это по Богу?.. Мы же всем миром можем вступиться... Выше можем пойти. Жили люди тихо-мирно, никому не мешали... Что ж это, братцы?

Люба тянула его за рукав к дому, он, досадуя, вырывался и снова начинал искать поддержки у соседей.

— Леша,— уцепился плотник за Горева,— ты-то на свадьбе у них гулял. Рази кому мешали? Их и нет на дворе словно. Ты — партейный, тебе и книги в руки — вступись. Вступись, Леша, поимей совесть.

Но тот, зябко поеживаясь и отводя глаза в сторону, невнятно пробормотал:

— Так ведь разберутся, Ваня, не в лесу живем. Ты бы пошел домой, оделся бы... Просквозит...

— А-а-а...— с горькой безнадежностью махнул на него рукой Левушкин и бросился к Штабелю.— Штабель, чего же ты молчишь, Штабель. Трубы винтом гнешь, а здесь нет тебя, а? Как же это, Штабель? Им жить, а их так, а?

Но Штабель молчал: Штабель гнул винтом трубы, власть могла согнуть винтом его — Штабеля.

Цыганковы скучковались особняком ото всех и со злорадным торжеством поглядывали в сторону флигеля в ожидании развязки, а мать их — худая жилистая баба,— общаривая, в поисках сочувствия, толпу тусклыми щучьими глазами, время от времени взвизгивала пропитым голосом:

— Узнает, стерва, почем кусок ситного! Это ей не с хахалями в лесторанте.

У самого входа в сени с деловым видом топтался Никишин и, ни к кому в отдельности не обращаясь, но, однако же явно желая оставаться, покуда это возможно, в центре внимания, громкой скороговоркой провозглашал:

— Пресекать надо. Пресекать в корне. Попусти только, на всех домах красные фонари навесят.

А флигель исходил криком. Пока Сима собиралась, Лева стоял на коленях, цеплялся за оборки Симиного платья, судорожно гладил ей ноги, прижимался щекою к ее ладони и говорил, говорил, говорил:

— Девочка, все против нас... Но пойду... Я все равно пойду...

Я скажу им... Я все скажу... мне наплевать на их варварские законы... Вот увидишь, они не посмеют... Не посмеют!..

Свободной рукой она ворошила его волосы, и слезы мелкие-мелкие — одна за другой — сбегали по ее щекам и собирались на подбородке.

Постовой осторожно потянул Симу за рукав:

— Хватит.

Сима вздрогнула, напряглась вся, как бы припоминая что-то очень важное для себя, очень обязательное, а потом сложила синими непослушными губами:

— Простите меня, Лев Арнольдович, за все. А ко мне после вас никакая грязь не пристанет. Я теперь чистая. Чистая, и всё тут. Но уж,— и лицо ее заострилось, стало чужим и отрешенным,— отольются мои слезы кое-кому.

Храмов рванулся к ней, но уполномоченный, опередив актера, взял его «на хомут», и он забился пойманной рыбой, захрипел. Постовые подхватили Симу, но она выскользнула у них из рук и вцепилась в Калинина:

— Не трогай его, холуйская морда, не трогай! Бери меня, бей, измывайся, а его не трогай. Он — больной! он слабый!..

Симу потащили к выходу. Сима упиралась, ее с трудом отрывали от косяков и подоконников, пока, наконец, не втолкнули в подогнанную для этой цели к самому порогу легковушку, но и там она еще продолжала сопротивляться.

Перед машиной народ раздался, а когда «эмка» выехала за ворота, полукольцо сомкнулось вокруг лежащего на снегу Храмова. Лева утюжил головой снег и стонал, и плакал, и мутные слезы его уходили в снег, не оставляя следов:

— Сима, Сима, девочка, что они сделают с тобой! Что они с тобой сделают... Я люблю тебя, девочка!.. Я люблю!.. Я люблю ее, люблю, люблю!

Он дернулся в последний раз и затих, неловко откинув руку за спину. Штабель молча сгреб Леву в охапку и через расступившуюся толпу понес к себе в котельную. А спустя минуту, никого, кроме дворника, участкового и Левушкина, во дворе не осталось.

— Ну-ка, вот,— Калинин расстегнул планшет, вынул оттуда четвертную и протянул Ивану,— пошли свою за литровкой, а мы покуда посидим с Лашковым, погреемся.

Сказал и зашелся гулким устойчивым кашлем.

VIII

У этой весны, казалось Василию, был какой-то особый запах, особая легкость и цвет. Все вокруг него выглядело необыкновенно трепетным и словно бы лишенным веса. И сам себе он представлялся со стороны как никогда молодым и удивительно легким. Если бы нынче ему, Василию Лашкову,— час за часом, минута за

минутой — вспомнили то, что осталось у него позади, он бы не поверил или, во всяком случае, постарался тут же забыть об этом. Его переполняло острое ощущение новизны происходящего. Какая шахта? Какие пески? Какая там еще голодуха? Сон! Пригрезилось душной ночью! Но даже и не будь это сном, он согласен трижды повторить свою судьбу ради такой весны, да что весны — дня, одного такого дня!

Сидя друг против друга за столиком летнего кафе в Сокольниках, они с Грушей пили пиво и улыбчиво молчали. Где-то за березами, густо обрызганными первой листвой, оркестр тосковал по далеким маньчжурским сопкам, и под его стонущие всплески птицы, с криком взмывая к небу, мгновенно растворялись в пронзительной голубизне.

Пиво упруго пенилось, и сквозь пену, где-то у самых лашковских глаз, плавали Грушины руки, схожие с двумя большими белыми рыбами. Он пытался коснуться их, но они ускользали — гибкие и почти неосязаемые. Чуть раскосые глаза ее зовуще мерцали, рассыпаясь в пузырчатой пене на множество голубых капелек.

Груша увещевала его:

— Ну, не балуй, дурачок, ну, не балуй же!

Лашков только смеялся в ответ и молчал. Да и о чем ему оставалось говорить. Все, чем живо было сейчас его сердце, он, сколько ни бейся, не сумел бы облечь в слова. Тридцать три года — это, конечно, не первая молодость, но ведь и ей не восемнадцать, а если еще и впервые, то всегда кажется, что впереди — вечность. У него, как, наверное, и у нее, не обошлось без историй в прошлом. Но разве это имело сейчас какое-нибудь значение. Горький дым удовлетворенного желания лишь слегка опалил их, но не сжег, и, может, только потому они и сберегли себя друг для друга.

Потом он вел ее лесом, лес обступал их все теснее и теснее, пока, наконец, березовый молодняк не отрезал им пути, и тогда Лашков сказал Груше свои первые, не придуманные заранее слова:

— Пойдем туда,— он неопределенно махнул в сторону узенькой просеки в березняке,—туда, где самое небо.

— Дурачок, неба нету.

— А если пойти?

— Дурачок, ты много выпил.

— Я ни капельки не пьяный. Просто я хочу пойти туда. И — с тобой.

— Ну, пошли, дурачок.

— Будем идти, идти, чтобы лес не кончался. Так и пройдем все сто верст до небес и все лесом, лесом...

— А вот он и весь, лес-то, дурачок.

Они вышли к неглубокому оврагу, за которым тянулась парковая изгородь. Василий снял свой новый коверкотовый пиджак и постелил его на траву:

— Давай, Груша, посидим здесь до ночи, а то и до утра.

— Простудимся, дурачок.

Груша все-таки села, а он лег рядом и положил ей голову в колени и стал глядеть над собой. И ему вдруг показалось, будто небо приблизилось к нему настолько, что до него можно дотронуться рукой и написать по нему пальцем, как по запотелому стеклу, любое слово. И он дотронулся и написал, и вышло: «Груша».

— У тебя коленки теплые-теплые... И сердце слышно.

— Дурачок...

— Нет, правда.

— Дурачок...

— Груша, что нам жилья ждать? Хватит нам покуда и моих восьми метров, уместимся.

— А дети пойдут?

— До детей-то, эх, сколько времени.

— И года хватит...

— Груша...

— Что, дурачок?

Она наклонилась над ним. И небо исчезло. И он утонул в ее глазах, и она растворилась в нем. И мир вокруг них перестал существовать.

Вставая, она со снисходительной лаской сказала:

— А ты говоришь — дети.— И, немного погодя, строго добавила: — Только ты не надсмейся надо мной, я — злая.

— Что ты, Груша!

— Все вы так-то поначалу.

— Что ты, Груша!

— Дурачок... Подымайся, домой пора.

— Ко мне?

— К тебе...

— Правда?

— Правда...

В этот день Груша впервые вошла в лашковскую комнату. Вошла, хозяйственно осмотрелась и сразу же засучила рукава:

— Эх вы, холостяки сычевские. По колено в грязи, а нос — к потолку.

Она хлопотала ухватисто, быстро, со вкусом, но, в то же время, без суеты. Вещам и предметам как бы передавалась ее собственная жизненная устойчивость, и комната под легкой Грушиной рукой постепенно приобретала домовитую осмысленность. Работая, Груша словно любовалась сама собой со стороны, словно чувствовала, как приятно Василию смотреть на нее сейчас, до того каждое ее движение отмечала царственная законченность. А Василий действительно с деликатной робостью новобрачного следил за ней и улыбался счастливо и виновато.

Лунная полоса скользила по комнате — от двери к печи, а в открытую форточку текла музыка. Василий слышал ее всякий раз, когда Храмовы оставляли свои окна открытыми, но если раньше она звучала для него диковинно и непонятно и вызывала

лишь досаду и раздражение, то теперь ему почему-то хотелось заплакать, заплакать просто так, беспричинно.

Груша ушла под утро. После нее остался неистребимый запах стирки и тихие отзвуки ночной музыки.

IX

Они пришли среди ночи в конце мая. Их было трое: бритоголовый в штатском, безликий молчаливый майор и красноармеец с расплывчатым, будто навсегда заспанным лицом. Бритоголовый бегло окинул лашковскую комнату и, не здороваясь, приказал:

— Пойдем сначала в восьмую — к Козлову, будешь за понятого. Там второй найдется?

Двор и раньше не обходили арестами, но обычно их производила милиция и, чаще всего, сам Калинин, а здесь дело явно пахло Лубянкой. Штатский смотрел на хозяина в упор, не мигая, и сквозило в его чуть насмешливом и едва ли не дружелюбном взгляде что-то такое, от чего Лашков вдруг показался себе маленьким, ничтожным, со всех сторон уязвимым, как в плохоньком окопчике в момент снарядного свиста.

Объяснять, что к чему — Никишкину не пришлось. Едва взглянув на гостей, он напряженно потемнел и соответственным образом весь подобрался, чем сразу как бы приобщил себя к тому, что должно сейчас совершиться.

— Сюда,— кивнул Никишкин в глубь коридора.— Спит, голубок.

Он сообщнически скосил глаза в сторону бритоголового, однако тот, проходя вперед, даже не удостоил его взглядом. Но не успел гость сделать и трех шагов, как дверь в кабинете Козлова широко распахнулась, и навстречу ему вышел сам хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецовскую пару, заправленную в начищенные до зеркального блеска сапоги.

— Прошу вас, господа! — На этот раз старик не осекся и в слове «господа» отчеканил каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в полной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и не намерен ничем поступиться.— Я готов.

Его тоном, его горьким высокомерием и этой вот иронической обреченностью и определилась атмосфера ареста: гости стали тише, скупее в движениях и разговорах, работая быстро и деловито. И всякий раз, чуть только возникала нужда, штатский обращался к хозяину не иначе, как по имени-отчеству, что уже само по себе должно было отличить в глазах окружающих бывшего полковника и военспеца от простых смертных. И когда Никишкин, с язвительной гримасой разглядывая корешок изъятой книги, вознамерился было высказаться, штатский подошел к нему, молча взял книгу у него из рук, положил на место и одним лишь быстрым,

как ожог, взглядом исподлобья заставил его отступить к самой двери и стушеваться.

Пока составлялся акт описи на случай конфискации и майор знакомил понятых с условиями свидетельства, между хозяином и бритоголовым происходил отрывистый, похожий на перестрелку, разговор:

— Что прикажете взять с собой?

— Пару белья.

— И все?

— А больше — зачем?

— Вы так скоры на руку?

— Некогда, Пров Аристархович, некогда.

— Туалетная мелочь?

— Как хотите.

— Подворотнички?

— Вы же серьезный человек, Пров Аристархович,— тяжело усмехнулся гость,— ну, зачем, скажите, попу гармонь?

— Вам этого, молодой человек, конечно, не понять, вы — матерьялист. Но офицеры русской гвардии стараются умирать в чистых подворотничках.

В течение часа все было кончено. Перед тем, как выйти, Козлов медленно — вещь за вещью — оглядел комнату, при этом острый кадык его несколько раз дернулся, будто он хотел сглотнуть что-то и не мог.

На лестничной площадке штатский кивнул майору:

— Веди, а там,— он указал глазами выше,— я один справлюсь.— И тут же повернулся к понятым.— А вы за мной в девятую.

Кровь бросилась Лашкову в голову и застучала в висках: «Не к дурочке же Храмовой!»

Два пролета. Ровно двадцать четыре ступеньки. Минута ходу. Но эта минута, как нить через иглу, продернула сквозь него такой стремительно жгучий хоровод мыслей, какого хватило бы ему не на одну бессонную ночь.

Он, конечно, жалел военспеца: безобидный, малость чудаковатый старик. Дворник мог посочувствовать ему, подивиться его выдержке, в конце концов, принять в нем посильное участие, но никогда судьба бывшего полковника не могла иметь к нему такого кровного касательства, как судьба рабочего Алексея Горева. Их мозоли имели одинаковый цвет и запах. Они уже успели съесть достаточно соли и выпить четвертинок под пиво с воблой. Ко всему — им предстояло породниться. Поэтому, когда штатский небрежно этак, носком ботинка постучал в девятую, Лашков впервые ощутил, как, все нарастая, в нем поднимается волна удушливого бешенства и, охваченный почти непреодолимым желанием броситься на бритоголового, подмять под себя его и его уверенность, и его вот эту по-кошачьи победную усмешку, он отвернулся и схватился за перила, чтобы перебороть искушение.

А тот уже стоял перед Горевым:

— Собирайся, Горев. Разговор к тебе есть и — долгий.

Здесь он вел себя куда свободнее, чем у Козлова: шумно рылся в комодных ящиках, походя листал и сбрасывал на пол книги с этажерки, мельком с брезгливой небрежностью заглянул в шкаф; потом сел прямо против хозяина и поторопил:

— Живей, Горев, некогда.

Но тот, обуваясь, все никак не мог попасть ногой в ботинок. Ботинок упрямо выскальзывал у него из-под ноги.

Феня, прижимаясь к простенку между окон, мелко, всем телом тряслась, а Груша смотрела на брата из-под надвинутого на самые глаза одеяла строго и вроде бы даже осуждающе.

То и дело облизывая сухие губы, Алексей успокаивал жену:

— Разберутся, Феня, разберутся... Ты, главное, держись. А я — скоро... Вот увидишь... Бывает... Разберутся...

Но по тому, как сосредоточенно застегивал Горев пуговицы косоворотки, избегая сестриного взгляда, было видно, что успокаивает он скорее себя, чем жену, и что ему самому в свое скорое возвращение верится мало.

Проснулся Сережка — горевский первенец, но не плакал, а в детском недоумении поочередно рассматривал ночных гостей и обиженно морщил нос. Отец подошел к Сережке и, взъерошив ему волосы, сказал:

— Спи, Серега, в воскресенье в зоопарк пойдем.

Сын проводил его до двери взглядом, окрашенным настороженной вопросительностью. Так дети смотрят на покойников: еще не сознавая, но уже безотчетно чувствуя жуткое таинство происходящего.

Спускаясь по лестнице, Горев обернулся к другу:

— Ты, Вася, тут присмотри за моими. Сочтемся... Гора с горой...

— Брось, какие расчеты?

— Разберутся...

— Разберутся,— согласился Лашков, но, перехватив насмешливый взгляд бритоголового, повторил уже без особой уверенности: — Разберутся...

Ночь пахла дымом остывающих печей и сквозными тополями. За ближними домами, на товарной станции гулко перекликались паровозы. Фонарь над воротами выхватывал у темноты островок мокрой от недавнего дождя мостовой, и вся улица — из конца в конец — была по ранжиру усеяна такими же островками. В их блестящей поверхности, трепетно колеблясь, надламывались тени. Ночь и ночь, как вчера, как позавчера, как в такое же время года пять и десять лет назад, но когда номерной огонек машины, прерывисто помаячив, растворился во тьме, Василий всем своим существом проникся ощущением какой-то куда более важной для себя и невозвратимой потери, чем просто Алексей Горев.

Никишкин, весь еще в азарте происшедшего, шуршал над лашковским ухом:

— Всех, всех под корень. Выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им — не по носу. Не нравится, получай, голубок, девять грамм.

Василию стало трудно дышать. Скажи Никишкин еще хоть слово, дворник, снова охваченный недавним бешенством, наверно, затоптал бы его. Но тот, словно предугадывая недоброе, замолчал, и Лашков шагнул в ночь. Оттуда — со светового островка, сквозь яростное гудение в ушах, к нему пробилось никишкинское приглашение:

— Слышь, Лашков, зашел бы, что ли, как-нибудь чайку попить! Покалякаем, в лото сыграем.

Василий подумал: «Гад». И не ответил.

X

Василий потянул на себя входную дверь, и из-под низких сводов бутырской приемной обрушилась на него дробная разноголосица людской мешанины. Какая-то властная сила двигала этим разноцветным круговоротом в четырех грязно-серых стенах полуподвального зала, где навряд ли можно было выловить хотя бы одно осмысленное слово или отдельное лицо. Все слова нанизывались, как листья на стержень, на единственную ноту, и все лица имели цельный облик: казалось, сама беда изворачивалась здесь, забранная решетками и кирпичной толщей.

Усиленно работая локтями, Лашков проложил Груше и Фене дорогу к нужному окошку и занял очередь. Пожалуй, только тут, растворяясь в стонущей колготне, обе женщины в полной мере осознали случившееся с ними. И если вчера, даже не вчера, а всего час назад в них тлела надежда, то сейчас от нее не осталось и следа: слишком маленькой и незначительной увиделась им собственная потеря, чтобы о ней пришло в голову кому-либо печься, кроме них самих. Феня, как-то сразу окончательно погаснув, стала еще тише и бесцветней, а Груша, уйдя в себя, внешне обмякла и присмирела.

Впереди Василия стояла женщина в берете и темном шелковом платье, отороченном по воротнику убористыми кружевами: затерянный остров строгой тишины в горестном море сумятицы. Было что-то от иконы в ее простой и величавой законченности. Она спокойно оглядывала зал большими выпуклыми глазами, но в их, казалось бы, навсегда устоявшейся невозмутимости таилось что-то такое, от чего охотников заговаривать с ней находилось мало.

Только соседка женщины по очереди — испитая пигалица в мужском пиджаке,— бегло стреляя по сторонам оголтелыми глазами, верещала рядом с ней:

— Вот попал, черт шелудивый, а я с тремя живи,—

и все колготят: хлеба! И иде я его возьму, хлеба-то? Жилы они из меня вытянули. А я ведь и не в летах вовсе.

Мелкое, опущенное книзу лицо ее напряглось, жилы на птичьей шее вздулись, и можно было подумать, что их из нее действительно долго и старательно вытягивали.

Женщина в берете сказала вполголоса:

— Зачем вы? Не надо. Им там еще тяжелее.

Но та словно только и ждала ответного слова, чтобы дать волю источавшей ее, как ржа бросовое железо, злости:

— Вам оно, конечно, что! В шелках ходить — не волком выть. Руки вон какие непочатые. А вы в мою шкуру влезьте, не таким голосом запоете. Вашим-то и сидеть не в тяжесть — за свое грызетесь, а мой зачем полез?.. Сладкой жизни захотелось? А она была, да вся вышла...

Соседка коротко, но круто оборвала ее:

— Квартира моя опечатана. Я ночую у знакомых. Так что платье на мне — единственное... И потом, неужели и в беде вы не можете забыть, у кого чего больше... Тогда лучше и не жить вовсе.

— С капиталом-то...

— У меня нет капитала,— внятно сказала женщина в берете,— я — поэт.

— Чтой-то,— растерянно пошарила по ней глазами баба,— это — как?

— Я слагаю стихи,— объяснила женщина и умолкла, и выпуклые глаза ее тронула усталость.— Извините.

— А! — вроде разочарованно протянула пигалица, но когда смысл сказанного, наконец, дошел до нее, она снова встрепенулась и, неожиданно потемнев, просто, без прежнего раздражения спросила:

— А про это вот можете?

Прежде, чем ответить, женщина медленно провела рукой по лицу, будто снимая с него невидимый никому покров, и лишь после этого тихо и просто ответила:

— Могу.

И столько вдумчивой уверенности было в ее голосе, столько внутреннего проникновения, что она сразу же словно огородила себя от царившей вокруг суеты, и все рядом с ней отрешенно затихли, глядя на нее как бы с другого берега.

. . . .

Дома Василия ждала записка: «Зайди. Есть разговор. Калинин».

Участковый жил напротив, в старом деревянном доме с подпорками по всей лицевой стороне. Когда Лашков вошел, тот, в галифе и тапочках, расхаживал по комнате, на ходу припадая время от времени к литровой эмалированной кружке.

— Садись,— Он пододвинул гостю стул.— Вот, понимаешь, ба-

тя сала собачьего удружил из деревни... Глотаю. Говорят, помогает... Дрянь такая, что ни приведи Господи...

Уже по одному тому, что Калинин, против обыкновения, начал издалека, Василий предположил худое, но, вдруг решившись, бросился, как в омут:

— Ладно, Александр Петрович, что тянуть — выкладывай, не маленькие ведь.

Тот, тяжело крякнув, сел за стол. Отставил кружку в сторону и, с трудом складывая непослушные слова, заговорил:

— Понимаешь, какая штука, Лашков... Как бы это тебе...

— Не тяни душу, Александр Петрович!

— В общем, заходил тут ко мне один, интересовался: кто, мол, да что, мол, ты такое... И в каких, мол, этот самый Лашков отношениях с семьей Горевых... Я ему, конечно, втолковал, что к чему, но, сам понимаешь, с ними не поговоришь много...

— Я сам себе хозяин... Я из-под Чарджоу две огнестрельных вывез. Тебе ли меня не знать, Александр Петрович!

Калинин угрюмо засопел:

— Заруби, Лашков: не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают: сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают: где и когда завербован? И знаешь — как?.. Вот то-то.

Василию вдруг вспомнилась та памятная майская ночь и бритоголовый в штатском, и его усмешливое дружелюбие, от которого холодело сердце, и зябкая жуть свела ему спину. Сглатывая горький комок, подступивший к горлу, он сипло спросил участкового, даже, вернее, не его, а себя:

— А как же она? Она — как?

— Ну, скажи: до выяснения, мол... Совсем возьмут — лучше ей будет? Баба она — дошлая, поймет.

— А, может, пронесет?

Калинин даже сплюнул в сердцах и встал:

— Тогда — пока. Я — тебе не советчик. Только когда пулю будешь у них Христа ради выпрашивать, вспомни этот разговор. Вот что.

Участковый снова заходил по комнате — сухой и взъерошенный, как апрельский дятел, и, хотя был явно раздосадован, не удержался-таки, крикнул дворнику вдогонку:

— Пошевели мозгами, Василий, я тебе не враг!

. . . .

До позднего вечера просидел Василий на своей койке, стиснув голову руками. «Мамочка моя ро́дная! — думал он.— За что это мне все? Разве мало того, что было? Разве не выстрадал я себе каплю радости? Кому я встал поперек дороги?»

И многое вспомнилось ему тогда: и ночные бдения старухи Шоколинист, и храмовская история, и арест Горева, и еще немало другого. И его одолела мучительная мысль о существовании

некоего Одного, чьей мстительной волей разрушалось всякое подобие покоя. И Лашкову стало невыносимо страшно от собственной беспомощности перед Ним. И тягостное опустошение захлестнуло его. И он мутно забылся...

— Сумерничаешь? — Груша вошла, зажгла свет и сразу заполнила комнату собой, запахом стирки и своим уверенным размахом.— Заболел, что ли? — Она села, полуобняв его.— Ну, чего стряслось?

Он ткнулся головой в ее теплые колени и тонко, по-детски всхлипнул. Она потеребила его волосы:

— Ну что, что, дурачок? С лишнего всегда на слезу тянет.— Последние слова Груша произнесла без прежней уверенности, словно в предчувствии недоброго.— Пить тебе меньше надо.

Он молвил, как выдохнул после удушья:

— Повременить нам надо... Врозь побыть...

— Зачем? — захлебнулась она.— Как — врозь?

Путаясь и горячась, Лашков передал ей суть своего разговора с участковым. Груша слушала молча, не перебивая. Невидящими глазами всматривалась она в ночь за окном и, казалось, даже не вникала в смысл его речи, но едва он кончил, резко поднялась:

— Так, Лашков, так, Вася,— отчеканила она.— Так. Выходит, о шкуре своей печешься? А я как? — Она невольно повторила вопрос, заданный им Калинину.— Как я? Поматросил и бросил. Наше вам, мол, с кисточкой? Спасибо, Вася, только временить и ждать тебя я не собираюсь... Живи сусликом, а я свою долю найду.

Груша шагнула за порог, Василий было рванулся за ней, но она внезапно обернулась и опалила его взглядом, полным злой горечи:

— Не ходи за мной, Лашков. Теперь хоть брюхом двор вымети, не вернусь. Эх ты, красный герой!

Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго.

XI

Левушкин ввалился к дворнику, еле держась на ногах, и прямо с порога бросился целоваться:

— Вася, друг! Хоть одна живая душа на весь ящик... Прости меня, родной... Надрались мы тут нынче с Арнольдычем... Симке-то пять лет дали... Вот оно как получается... Не могу я, не могу, вот тут,— он ткнул себя кулаком под сердце,— саднит... Тоска съела... На Волгу меня артель одна зовет... Поеду!.. Тошно, Вася, то-шно... У волков и то, видно, легше... Прости, родной... Пойдем, мы с Арнольдычем тут сообразили литровую...

Мутные, без проблеска глаза плотника, свинцово отяжелев, воспаленно осоловели, всклокоченная голова вихлялась, и весь он, как бы лишившись основы, на какую нанизано самое существо, держался расслабленно и вяло.

Василий тягостно вздохнул:

— Зачем ты так, Ваня?

— Тошно, родимый, тошно!

— А все — как?

— Всех и жалко... Шерстью людская душа обрастает... Рази это по Богу? Куда деваться?..

— Вот, на Волгу тебя зовут, валяй. Может, легче станет. А так ведь и до белой горячки недолго.

Левушкин приложил палец к губам:

— Т-с-с, Вася, сам боюсь... Да ведь однова живем! Пошли, Вася, будь другом, за компанию.

— Пошли...

В храмовском чулане стоял дым коромыслом. За столом, уставленным батареей разномастных бутылок и случайной закуской, одиноко восседал Лева Храмов и, подперев ладонью подбородок, пьяно жаловался самому себе:

— Вот так, Лев Храмов... Они не сверяют любовь по Шекспиру, они сверяют любовь по уголовному кодексу. Им некогда, они спешат... На свете еще очень много чужого... Какое им дело до тебя, Лев Храмов, а тем более до Шекспира! Из Шекспира не сваришь ваксы и не сошьешь сапог... А им нужно только съедобное... Так пусть они сожрут твое сердце, Лев Храмов! Или, например, душу...— Здесь он встрепенулся навстречу гостю.— А, Василий, заходите, друг мой, не стесняйтесь... Справляем вот с Иваном Никитичем панихиду по России... Здесь — самодеятельность, наливайте сами.

Втроем они в два приема опорожнили бутылку, и Храмов, выудив из пиджака красненькую, протянул ее Ивану:

— Иван Никитич, не в службу, как говорят, а в дружбу... я бы и сам, но боюсь — не дойду... пустая бутылка стала наводить на меня тоску...

Пока Левушкин оборачивался с его десяткой, актер, глядя на дворника полузакрытыми, как у спящей курицы, глазами, выяснял свои отношения с человечеством:

— Понимаете, Лашков, мы с вами, как бы это вам сказать, живем в стоялом оттоке большого течения. Мы соединены с его общим процессом, мы неотъемлемая его часть, но само течение движется, движется, а мы стоим, стоим, и — распадаемся... Вы понимаете, Лашков?

— Да,— согласно вздыхал Лашков, не понимая ни слова.

— Что обрекло нас на это распадение? Сима говорит: грех. Но ведь всякое наказание порождает новый грех. И так — до бесконечности. Простейшая геометрическая прогрессия! Вы понимаете, Лашков?

— Да,— снова вздыхал тот, не вникая в смысл храмовской речи: он пытался стаканом накрыть муху и весь ушел в это занятие.— И как же?

Муха, наконец, попалась и зажужжала, штурмуя граненые стенки. Зло и с каким-то даже мстительным сладострастием Василий подумал: «Покрутись-ка теперь, стерва!» Муха, изнемогая, падала, но сразу же поднималась вновь в тщетных поисках выхода. И Василий опять угрюмо ехидничал, но уже вслух:

— Покрути-и-сь!..

— Что? — не понял Храмов.

— Это я так, себе.

— А-а... Так вот, Лашков... Постой, с чего же это я начал? Ах да!.. Но, в общем-то, вся эта философия гроша ломаного не стоит... Была Сима, и — нету Симы, вот и вся философия... И родись еще миллион шекспиров, правы будут не те, кто пишет стихи, а те, кто пишет законы. А пишут их люди мелкие и ничтожные, у которых не страсть, а страстишка, не любовь, а семейная ячейка... Тьфу, слово-то какое выдумали, как у клопов. И кто пишет! Недоучки-семинаристы, без пяти минут адвокаты, юродивые изобретатели перпетуум-мобиле... Ты спроси у любого из них: что ты умеешь делать? И он не ответит... Не ответит!.. Они ничего не умеют делать. Они ничего в своей жалкой жизни не сделали руками. Они разжигают в толпе самые низменные страсти, и животный рев этой толпы тешит их неудовлетворенное самолюбие смоковниц... Они говорят: возьми у сытого и насыться, возьми у имущего и оденься, возьми у властвующих и — властвуй... И толпа берет. Толпа в голодной слепоте своей не знает, что хлеба от этого в мире не прибавляется, одежда не вырастает, а власть не становится слаще... Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству, господину Смердякову... Все можно, все дозволено!.. Фомы Фомичи вышли делать политику... И они еще спалят мир. Вот увидите, Лашков, спалят... Они и законы составляют, исходя из своей житейской скудости... Им плевать на исторический опыт. Двигатель их законов — эмбриональная эмоциональность. Ежели, к примеру, у него геморрой, он обязательно внесет для геморройных какую-нибудь льготу; одна у него жена,— пишется закон: «Иметь одну жену и не более»; к детишкам слабость имеет — рожай, бабы, больше; нет детей — культивируй аборт; пьет — гуляй — однова живем; трезвенник — даешь сухой закон!.. А появись у них скопец в главных законодателях, оскопят нацию... Оскопят!.. И что им какая-то Сима Цыганкова! Они людей на миллионы считают...

Постепенно трезвея, Храмов произнес последнюю фразу с широко открытыми глазами, твердо и внятно. Лева словно бы уже сейчас видел воочию все, что предрекал, и Василий, до этого тупо глядевший на обреченную муху, внезапно отряхнулся, проникаясь храмовской горечью. Дворник не то чтобы понял актера, нет, чужие слова, как сухие листья, кружились

где-то поверх него, но тон, настроение собеседника передавались ему, и он отрывисто заговорил:

— Я два года по Каракумам басмачей гонял. Вот,— он рванул на себе ворот рубахи, обнажая чуть повыше ключицы два бугристых рубца,— они у меня не купленные. А теперь, вроде бы, и дышу по особому распоряжению. Это — порядок?

Друзья говорили долго и каждый о своем. Им было не понять друг друга, слишком уж разно представала перед ними жизнь, но, роднимые болью одного сомнения, они невольно подчинились спасительному инстинкту общности, и потому каждый слушал другого, не перебивая.

Когда вернулся Левушкин, актер, постукивая костяшками пальцев по столу, склонился к Василию:

— Нация гибнет!

А тот упрямо твердил свое:

— Пускай кто хлебнет с мое, а потом лезет мне в душу.

Уже после первой грузно охмелевший плотник уронил голову на стол и, по-детски всхлипывая, затянул:

Бывало, вспашешь пашенку...

Споткнувшись на второй строке, он умолк и некоторое время сотрясался всем телом, а вслед за этим повторял слова:

Бывало, вспашешь пашенку...

Храмов ласково гладил его по голове, утешал:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — твое, а ты — плачешь. Тебе нужно плясать от радости, петь от счастья. Земля — твоя, небо — твое. Исаакиевский собор — тоже. А ты плачешь, Иван Никитич. Или тебе мало? Исаакия мало? Метрополитен бери. Плачешь? Плачет российский мужик. Раньше от розг, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич? Что?

Василий вливал в себя стакан за стаканом, почти не чувствуя горечи и не пьянея. Только свинцовой тяжестью набухало сердце, и в очугуневшем мозгу лениво ворочалась болезненная мысль: «Что ж и вправду случилось? Почему плачем?»

Муха под стеклом, наконец, упала, перевернулась брюхом кверху и затихла.

В дверь, словно кошка, просительно поскребла Люба:

— Ваня, Ванек, иди домой. Ведь завтра худо тебе будет. Иди, выспись, утром я тебе сама принесу... Дети ведь у тебя, пожалей их хоть.

Иван только невнятно мычал в ответ, а Храмов, еще ворочая языком, пытался его выгородить:

— В чем дело, Любовь Трофимовна, в чем дело? Разве Ивану Никитичу Левушкину нельзя справить поминки по своему отечеству?.. Это даже его обязанность — представительствовать на похоронах убитой им старушки... Вы лучше зашли бы, Любовь Трофи-

мовна, и украсили наше общество. Скучно без женщины... Скучно без женщины... Скучно и нудно...

Василия потянуло на воздух, он поднялся и вышел к Любе. В темноте они нечаянно столкнулись, и Лашков против воли обхватил Любины плечи и хотел было, после первого замешательства, уже отпустить ее, но она, по-своему определив его движения, вся подалась к нему и покорно пролепетала:

— Только быстрее...

В этой покорности было что-то отталкивающее, и потому, когда пришло опустошение, он только и мог сказать ей:

— Ладно, иди. Свалится, я его сам приведу.

Люба ушла, а он потащился во флигельный палисадник и лег там, прямо в мокрые от первой росы цветы.

Сквозь горячечную дрему Василий еще слышал, как плотник ползал на карачках под своим окном и стонал:

— Люба, рассолу!

Храмов заученно вторил ему:

— Нация гибнет!

— Любушка, нацеди-и!

— Нация...

— Рассолу-у-у!

Это и было последнее, что дошло до него перед забытьем.

XII

Прижатые низким небом почти к самым крышам, над городом текли птичьи станицы. День — с утра до вечера — захлебывался их гортанным клекотом. Хрупкие листья шелестящими стайками кружились по двору. Лашков смотрел в окно, вслушиваясь во вкрадчивую сентябрьскую поступь, и мутное равнодушие ко всему, словно вода вату, пропитывали его. Дни тянулись медленно и тускло, и он все свободные часы убивал время, играя безо всякого, впрочем, азарта и интереса со Штабелем в подкидного дурака. Мир постепенно обезличивался в его глазах, предметы теряли обособленные черты, все вокруг сливалось в мельтешащий хаос, в котором Штабель становился похожим на бубнового короля, а тополевый лист — на туза виновой масти. И — наоборот.

Тасуя колоду, водопроводчик жаловался ему:

— Не понимай, что рюсски за шеловьек? Вшера говориль: «Гдье будет заниматься мой девошка?» Сегодня — тащиль фортепьяно продаваль...

Только чтобы поддержать разговор, Василий хмуро заметил:

— Жрать-то надо. Музыкой сыт не будешь.

— Рука ест? Голова ест?

— Она, брат, тяжелее туза и валета не держала ни зиму, ни лето. Из нее работник...

— Продаваль вещь— не ест выход. Продаль вещь, потом — што?

— Папертей у нас, слава Богу, еще в достатке.

— Папертей?!

— Церковь, в общем.

— Ай, ай,— укоризненно цокнул языком Отто,— некарашо. Дочь великий маэстро — нищий... Совсем некарашо... Она даваль мине красенький, говориль: «Помогай, Штабель, отвозить фортепьяно». Я отказаль. Я не мог. Я смотрель глаза девошка и не мог. Старуха запер девошка, но я сказаль: «Нет».

— Так все равно продала. А красненькая — она никогда не в тягость. Прогадал, Штабель.

Водопроводчик сердито поморгал выпуклы глазами и отбросил от себя колоду.

— Какой — рюсски люди! Зашем мине красенький? Я не хошу красенький! Отнять у девошка мюзика за красенький. Некарашо, Васья. У тебья добрый душа, Васья, зашем ты так говорьишь?.. Ты слюшаль, как она кричаль?

— Слыхал.

— У мине теперь полон уший крик... Бедный девошка.

Да, Василий слышал, как неистовствовала закрытая матерью на ключ Оля Храмова, когда из квартиры выносили пианино, но чужая боль, которую он ко всему прочему считал простой барской дурью, не могла сейчас вызвать в нем отзвука: слишком уж сильно оглушила его своя собственная. Дворник отвечал Штабелю, лишь бы не обидеть друга, но смысл разговора едва доходил до него.

Он машинально раскидывал карты на две кучки для новой партии, когда во двор черным жучком вползла новенькая, с иголочки «эмка». Лашков, усмехаясь, смотрел, как «эмка» долго и неуклюже разворачивалась, пытаясь подъехать к самому парадному, но дворовая площадка оказалась мала для ее широких крыльев, и машина, с треском упершись передним колесом во флигельный палисадник, прямо против лашковских окон, заглохла. Дворник бросился к окну — выругать водителя и уже распахнул было оконную створку, но тут же резко поперхнулся: из «эмки» выбралась поддержанная под локоть в меру лысым и не в меру пьяным комбригом Груша Горева.

Хмельная выше всякого предела, в темном крепдешиновом и явно с чужого плеча платье и туфлях на высоких каблуках, она, пошатываясь, сделала шаг к парадному, но вдруг живо обернулась и схватилась за изгородь палисадника. И высвеченные злой искрой глаза ее приклеили Василия к месту:

— Гляди, Вася, гляди во все зенки свои. Думал, небось, пропаду? Ан вот и не пропала. На машине ездию, шоколадки ем,

ликером запиваю. Не с твоим рылом ко мне соваться. Командиры увиваются, не тебе чета. Я еще на тебя и не так наплюю. Будешь нужники за мной выносить.— Она начала хмельным речитативом, но вскоре голос ее тоскливо надломился и перешел в визгливый крик.— Кусай себе локти, Лашков... Приснилась тебе — шелудивому — такая девка, как я... Не укусишь!

— Аграфена Михайловна, Аграфена Михайловна! — опасливо поглядывая по сторонам, отдирал ее от изгороди заметно отрезвевший комбриг.— Ну, куда это годится! Такая уважительная женщина и вдруг такое несообразие... Сами пригласили, а теперь... Аграфена Михайловна, я вас прошу...

Растерянным колобком комбриг вертелся возле нее, но Груша бесцеремонно стряхивала с себя его руки, и он отступал и, обложенный со всех сторон стрельбой отворяемых форточек и ставен, затравленно озирался...

Выбежала Феня — распатланная и жалкая — и, просительно оглаживая Грушину спину, залепетала стенающей скороговоркой:

— Что же ты с собой делаешь, Груша! Стыд-то какой... Берись за меня, Грушенька, пошли домой... Я тебя чаем напою... Люди ведь смотрят, Груша!

— А что мне люди! — даже не обернувшись в сторону невестки, огрызнулась та.— Я им что — должна, что ли? — Она вызывающе обвела двор мутным остекляневшим взглядом.— Чего смотрите, как сычи? Ну, кто святой, плюнь на меня? Может, ты, Никишкин? Сколько душ еще продал? Может, ты, Цыганкова? Передачки-то родной дочери носишь? Или все к Богу ходишь, как в исполком — на бедность просить?.. А ты что, старая карга, губами жуешь? Царя обратно дожидаешься, по миру сызнова нас пустить хочешь? На-ка вот шиш с маслом, сдохнешь!

Ставни захлопывались, словно проставляли точки после каждого ее вскрика: в отношении личного нравственного хозяйства во дворе проживало мало любителей гласности.

Стоя у окна, Василий как бы омертвел, будучи не в состоянии сдвинуться с места, уйти от Грушиных слов и глаз, и стыд, жаркий, удушливый стыд упорно заполнял его, и провалиться сквозь землю, умереть он почел бы сейчас за счастье.

Штабель коснулся его плеча.

— Без обьида, Васья. Я пошоль. Я сказаль ей...

Через минуту Лашков увидел, как, выйдя во двор, водопроводчик подступился к военному, взял его за пуговицу гимнастерки и, накручивая ее, стал чего-то старательно втолковывать собеседнику. Тот возмущенно отстранялся, махал руками и попытался было даже, в свою очередь, насесть на непрошеного арбитра, но, стиснутый за локоть мертвой штабелевской хваткой, обмяк и нетвердо двинулся к машине. Отто еще с минуту поколдовал у водительского окошка, машина тронулась и, обдавая водопроводчика синей бензиновой гарью, выползла со двора.

Водопроводчик легонько подтолкнул Федосью Гореву к дому, та, не противясь, пошла, а он осторожно взял внезапно затихшую Грушу за плечи, подвел ее к лавочке и усадил рядом с собой. Вначале Груша слушала его лениво и безучастно, потом, с видимой неохотой, стала отвечать ему, но постепенно, все более и более оживляясь, в конце концов, сошлась с собеседником накоротке.

Сумерки придвинулись к лашковскому окну ото всех углов двора, когда Штабель поднялся и взял Грушу за руку, и она послушно пошла с водопроводчиком в котельную. Дворник напряженно следил за ними, еще надеясь в глубине души, что Груша в последний момент раздумает и вернется, и пойдет домой, но она не раздумала и не вернулась, и широкая штабелевская спина заслонила ее от Лашкова. И теперь уже навсегда.

Он даже зажмурился от тоски, саданувшей его под самое сердце, и, отступив от окна, пластом рухнул на койку. Из соседнего двора, словно из другого мира, прорыдал над ним под трехрядный перебор чей-то дребезжащий тенорок:

...Сидит Ваня на печи,
Курит валяный сапог...

XIII

— Василий, Василий, открой, голубчик! Василий!

Старуха Храмова отчаянно барабанила в заметенное поземкой лашковское окно. Он рванул на себя форточку, и тряское, словно студень, водянистого оттенка лицо соседки замельтешило перед ним:

— Помоги, голубчик, я тебе заплачу... Хорошо заплачу. Я не могу с ней справиться. Ее надо в больницу. За ней сейчас приедут, я звонила. Она кричит и мечется... Там Фенины дети... Они тоже кричат... А я — одна... Помоги, голубчик... Я тебе заплачу...

В одиннадцатой царило столпотворение. С широко раскинутыми руками Ольга Храмова кружилась по квартире и тоненько выкрикивала:

— Я — птица, я летаю! Как высоко я летаю! Не мешайте мне! Уйдите все, я — улетаю.— Она, будто слепая, спотыкалась о предметы и вещи, все падало и грохотало вокруг нее.— Я улетаю, не забивайте мне в голову гвозди! Мне больно!..

Из-за открытой двери горевской комнаты Фенины ребята, в два голоса, добросовестным ревом подтягивали соседке.

Она даже не взглянула в сторону вошедших, исчезая в бывшей Левиной комнате и снова появляясь на кухне:

— Отдайте мне мое небо, я хочу улететь... Ах, Боже мой, зачем вы отобрали у меня небо! — И вдруг без всякого перехода: — Почему все молчит? Почему все оглохло? — Она прислонилась ухом к старому шкафу, потом к стене, к печи, к входной

двери, твердя тревожно и потерянно: «Не звучит!.. Не звучит!.. Не звучит!..»

Мать, увязываясь за ней, старалась поймать ее руку и жалобно уговаривала:

— Олюшка, цветочек мой, родная моя, все тебе будет, все, что ты захочешь. Только я умоляю тебя, пошли в комнату... Хочешь, я спою тебе, и ты заснешь... Ты же всегда любила, когда я тебе пою... Олюшка, посмотри на маму, я здесь, с тобой... Миленькая, пошли в комнату...

Ольга ускользала от нее, старуха беспокойно оглядывалась на Василия, все еще не решаясь прибегнуть к его помощи, и вновь принималась за причитания:

— Олюшка, доченька, пожалей свою маму, послушай меня!.. Завтра, если хочешь, мы поедем в лес. Ты же любишь бывать в лесу. Олюшка, не разрывай мне сердца, пошли в комнату... Будь умницей. Ты же всегда была умницей. К тебе это так идет...

Рев за горевскими дверями достиг самой высокой ноты.

Сопротивлялась дурочка с отчаянным остервенением. Прежде чем Василий скрутил ее, она ухитрилась расцарапать ему шею, оборвать пиджачные пуговицы и даже дважды укусить его в плечо, но, связанная по рукам и ногам банными полотенцами, Ольга вскоре затихла, лицо ее прояснилось, и только иссиня-белая пена в уголках губ напоминала о недавнем кризисе. Он смотрел на ее изможденное приступом лицо, на глубоко запавшие глазницы, и его с каждым мгновением все более и более охватывала необъяснимая тревога, которая, свернувшись наконец в мысль, озарила душу ве́щей догадкой: «Мамочка моя ро́дная! Нет человека без своей особой струны. Отними у него эту струну, и останется оболочка немощная и дикая». И Василию сделалось вдруг ощутимо понятным то омертвение, какое постепенно опустошало его в последнее время.

На кухне старуха протянула ему засаленную пятерку:

— Спасибо, голубчик... Господи, и за что только мне наказание в детях такое! Чем я Тебя прогневила?

«А ну тебя к дьяволу с твоей пятеркой»,— подумал Василий, но деньги неожиданно даже для самого себя взял и, ко всему, поблагодарил вежливо:

— Спасибо. Ежели что, так крикните.

Во дворе он лицом к лицу столкнулся с Левой. Тот, лихорадочно блестя глазами, вцепился в лацкан его пиджака.

— Как там, Василий Васильевич? Лучше?

— Затихла. Сейчас приедут, возьмут.

Они сели на лавочку. Лева ожесточенно тер виски и, глядя в землю, самоунижался:

— Пойду, пойду сейчас же... Не съест же она меня в самом деле! Я — сын ей! Ну, на колени стану, прощенья попрошу...

Ах, Олюшка, как-то ты там?..— Он порывался встать, но Лашков молча брал его за плечи и усаживал на место.— Я, я во всем виноват! Из-за меня мать продала инструмент. Разве я не знал, что им нечем жить, разве я ничего не мог дать?.. Правда, мне казалось, что у матери еще кое-что есть... но что значит — казалось? Себялюбивый изверг!..

— Сам концы с концами еле сводишь.

— Но ведь я один и потом — мужчина. Ах, как это все нехорошо.

За воротами просигналила машина.

— Явились,— сказал, вставая, Лашков и пошел открывать.— Сейчас! — крикнул он, оборачиваясь на пороге к Храмову.— Ты, брат, сиди и не рыпайся, а то, я вижу, как бы еще одну карету вызывать не пришлось.

Двор ожил. В дробной перекличке ставен и форточек закружился в дворовом коробе колготной хоровод:

— За кем это?

— Оля-дурочка буянит.

— Давно пора. Все мозги своей пьяниной проела. Хоть меняйся.

— Да она ж тихая.

— Тихая! Второй день над нами потолок ходуном ходит!

— Совсем еще молоденькая!

— Порченая кровь. Бары... Им и молодость не впрок.

— Шанпанское-то боком выходит.

— Помилуй ее, Господи! Эх, грехи, грехи наши.

— Дитев со двора уберите, укусит ненароком!

Лева спрятал голову в колени, заткнул уши и некоторое время сидел так, мерно раскачиваясь, потом пружиносто вскочил и выбежал на середину двора.

— Замолчите, вы! — неистово взвизгнул он.— Слышите, замолчите! Иначе я разобью ваши звериные морды, слышите! Пусть хоть кто-нибудь пикнет. Скоты, скоты, скоты! Навозные черви!

Василий еле усадил его снова, он пытался еще что-то крикнуть, но в это время из парадного вынесли Ольгу, покрытую, как покойницу, клейменой больничной простыней, и когда носилки поравнялись с лавочкой, Лева, враз забыв обо всем, судорожно потянулся к сестре:

— Олюшка, как же это ты? Олюшка, а ведь мы с тобой еще в концертах вместе выступать собирались.— Он поплелся за носилками.— А все я, все я... Олюшка-а-а!

Но около машины между ним и носилками встал высокий лопатистообразный блондин, судя по двухбортному халату — врач, и, снисходительно пожевывая мясистыми губами, взял актера за пуговицу плаща:

— Вам, милый, не следует здесь находиться. Вы сами на волосок от этого. Максимум покоя, минимум — эмоций.

Храмов схватил его за руку:

— Скажите, доктор, она скоро вернется домой? Ах, я так виноват перед ней.

— Кто знает, милый,— потускнел тот,— кто знает. Чудеса — не такая уж редкая вещь.— И, уже захлопывая дверцу за собой, добавил: — Только спокойнее. Не заставляйте меня заезжать к вам в гости дважды. У вас еще, милый, добрая половина жизни — впереди... Поехали.

Лева сделал несколько шагов вслед за отъезжавшей каретой, потом, повернувшись, побрел было обратно, но здесь столкнулся со стоявшей все это время за его спиной матерью, и как-то само собой получилось, что он уронил склоненную голову ей на плечо, и оба они тихо и облегченно заплакали.

Лашков, глядя, как Храмовы, взявшись за руки, минули двор и скрылись в парадном подъезде дома, прикинул про себя: «Под дрова чуланчик-то приспособить, что ли?»

XIV

Штабель вошел, шумно поставил на стол полбутылки и, не ожидая приглашения, сел:

— Васья,— голос его был тверд и ясен,— я говориль: без обьида. Ти не хотель Грюша, ти — испугаль; я — не испугаль. Я сказаль Грюша: «Ставай моя жена». Грюша согласиль. Тепьерь, ти обижаль.— Он укоризненно покачал головой.— Некарашо. Ти — мой друзья. Некарашо.

В ответ Лашков, разделывая селедку, кисло промямлил:

— Да что уж теперь делить-то... Делить-то теперь нечего.

— Слюшай сюда, Васья,— рука водопроводчика накрыла его ладонь,— бывай друзья, помогай мине строить дом. Жена котельной — некарашо...

Лашков знал, о чем пойдет речь. Вот уже с неделю водил Отто в двор деловых людей: то техника из жакта, то пожарного инспектора, то артельных жучков. Гости добросовестно промеряли угол двора между котельной и стеной соседнего строения, потом спускались к гостеприимному истопнику и вскоре выходили оттуда заметно навеселе. А третьего дня от участкового получил дворник уже совсем точные сведения: Штабелю разрешили строиться.

«Да,— подумал про себя Лашков,— вот тебе, Василий Васильевич, бабушка и Юрьев день! Теперь еще и гвоздик в крышечку свою забьешь. И забьешь, Василий Васильевич!»

А вслух сказал:

— Мне не на тебя — на себя обижаться. Что ж мне перед тобой ломаться, скребет на сердце, но это не в счет. Когда начать думаешь?

— Выходной. Твой здоровий.

Лашков, не чувствуя ни вкуса, ни хмеля, в два глотка опорожнил стакан и коротко выдохнул:

— Приду...

Василий никогда еще не видел Ивана таким торжественно серьезным. Будто не траншею под фундамент собирался рыть Левушкин, а уходил в дальнюю-дальнюю и неверную дорогу, из которой хоть и надеялся вернуться, но не наверняка. Закладную пил, как причащался. Прежде чем взяться за лопату, он со строгой лаской оглядел всех и тихо заговорил:

— Божье дело начинаем, братцы: дом. Здесь шутки шутить никак нельзя. Такое дело недоделать — грех. И — тяжкий.— Он перекрестился.— С Богом.

Работал он молча, крепко сжав зубы, ни на лопату не отставая от могучего водопроводчика. Тот лишь покряхтывал, стараясь не уступить дотошному плотнику. Прямо против него, на пороге котельной Груша чистила картошку. Она чистила ее, сидя на корточках, и Отто, весело орудуя лопатой, цепко ощупывал ее плотные икры взглядом, в котором светилось ласковое довольство. Груша изредка остуживала его деланной укоризной, но позы не меняла, и видно было, что ей нравится эта их безмолвная игра: тридцативосьмилетний Отто Штабель переживал тот счастливый возраст, когда мужчина, особенно, если он крепок и покладист, вроде него, нравится всем женщинам от пятнадцати до ста.

Василий, глядя на них, не ревновал, нет, обида перегорела в нем, но он все не мог избавиться от ощущения какой-то потери. Потери большой и важной. Ему словно стало вдруг чего-то не хватать для того, чтобы он мог поставить сейчас себя вровень с остальными. И это угнетение не оставляло его до самого вечера.

После шабаша Иван в один мах выбрался из траншеи, достал из топливной ямы полено, приискал в сарае две бросовых доски, чуть потесал, чуть построгал, и в три удара молотка вырос перед дворовой скамейкой стол — любо посмотреть. Груша только руками развела:

— К таким бы рукам, Ванечка!.. А я-то думала, где и рассядемся-то. Я бы из тебя, родимый, сделала человека.

Иван в ответ только безобидно хохотнул:

— Не обошел Господь. Да и ум, Грушенька, уму — рознь. Есть ум — к делу, а есть — объяснительный, и цена им — одинаковая: один делает, другой объясняет — что к чему. А человеком я и так нахожусь, потому как — на двух ногах. Вот и не обижайся, выходит, во всем твоя неправда.

Последние дневные блики сползали с остывающих крыш. И вечер — тихий, по-июньски умиротворенный — заполнил двор, наливаясь чернильной густотой. Лица становились все неуловимее и неуловимее. Такие вечера располагают к разговору отвлеченному — без текущих злоб и забот.

Затягиваясь после еды цигаркой, Левушкин мечтательно вздохнул:

— Однако большое это дело — свой дом.

— Да,— веско подтвердил водопроводчик.

Лашков отмолчался.

— Да уж чего лучше? — задумчиво откликнулась Груша.— Своя крыша над головой. Не чужая. Не дареная.

— Дворца не обещаю,— уверенно добавил Левушкин,— но что сто лет простоит — об заклад бьюсь. Такого у тебя и в Вене не было.

Штабель ответил не сразу, а когда ответил, голос его держался на самой глухой ноте:

— Вене мине нишего не биль. Фронт — биль. Плен — биль. Гражданская война — биль. Вене нишего не биль.

— И домой не тянет?

— Нет,— твердо сказал Отто.— Нет.

Груша, поеживаясь, засмеялась:

— Чудаки.

— А я вот не могу,— погрустнел Левушкин,— вспомню, волком выть хочется... Все кругом орут друг на дружку, мельтешат без дела... Суета, одно слово. А там — спокой. И работа не в работу: одни удовольствия. А тут и земля, я нынче понюхал, прелой рогожей пахнет... Ох ты, Господи! Уеду.

Лашков не выдержал, съязвил:

— А сын? Ведь хотел, как у Меклера, чтоб на дантиста.

— Меклер — он Меклер и есть. Это по его части — в чужую пасть лазить, а у меня Борька к нашему делу будет приучен.

— Чудаки,— опять, но уже не смеясь, поежилась Груша.

Штабель накрыл ее плечи своим пиджаком и встал.

— Ми пошель спать.

Два темных силуэта слились в один и растворились во тьме.

— Тошно.— Сплюнул плотник на огонек своей цигарки.

Лашков посочувствовал:

— Тошно.

— Уйду я. Только не в деревню. Нету для меня там жизни. Вот Штабель достроится — и уйду. На заработки подамся. В Крым. Море там... Ты видал море-то хоть?

— Нет, не видал.

— И я не видал. А интерес есть.

— А чего интересу? Вода — и все.

— Поскучнел ты, Вася, нудно с тобой. Ходишь по земле, а — зачем?.. Пока.

Иван зло сплюнул и шагнул от стола.

Уронив голову на стол, дворник сидел и думал, и все думы его начинались с левушкинского «зачем?». Русло воспоминаний расходилось протоками и ручейками, теряясь где-то у самых истоков детства.

Действительно, как и зачем прожил он свои теперешние тридцать девять лет? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения? Один раз — в юности, когда ушел из дому на шахту. Все бросил: теплый угол, братёнино высокое покровительство и жены его — тихой Марии — вершковые сапоги.

Слесарил. За инструмент брался — сердце пело. В армию шел, будто на именины. Послали в пески — басмачей гнать. Басмач — враг. Значит — бей, значит — дави, значит — не давай пощады. Но в лицо этого врага довелось ему увидеть только однажды. И было тому врагу от силы лет семнадцать. И лежал этот самый враг у его, Василия, ног, простреленный навылет из его, Василия, карабина. И что-то тогда обуглилось в нем, застыло навсегда. Тупо смотрел он на еще не высохшие капельки пота над безусой губой туркмена и все никак, помнится, не мог заставить себя отвернуться. Долго еще потом мерещились Василию эти капельки. Демобилизовался он по чистой с изуродованным предплечьем и выбитой в суставе ногой. И какая-то томительная тоска начала грызть его изнутри. В двадцать три определился дворником. Дела не было? Было. Просто подвернулся под руку жактовскому дельцу: метлу в зубы, бляху — на фартук. Гуляй по двору и — не тужи. Ни мечты позади, ни привязанности. Чуть согрело его случайной долей, и от той отказался — хлопоты напугали. А и хлопотам-то тем цена три копейки. Даже — меньше...

Ночь зашуршала над лашковским ухом: кто-то брел по двору. Темное пятно двигалось прямо на него, и все явственней становилось характерное бормотание старухи Шоколинист.

— Хоть гвоздиком поживиться, хоть дощечку взять... Антихристы! По щепочке, по камушку свое заберу...

Василий и раньше знал в ней эту слабость — собирать и стаскивать к себе разный хлам,— но только сейчас понял, какая корысть владела постоянно старухой. И ему почему-то сразу вспомнились капельки над безусой губой молоденького туркмена в грязной папахе. И ослепительное мгновение озарило истошным вопросом: «Чего же мы не поделили? Чего?»

XV

Лашков любил ту часть утра, когда солнце еще не поднялось, но все уже полно им. Резкие гудки маневровых паровозов, перекличка птиц, цоканье копыт о мостовую — все это слышалось и ощущалось дворником в такое время с оголенной отчетливостью: мир словно бы разговаривал с ним наедине. Участок ему достался небольшой — метров тридцать тротуара и столько же булыжника — управиться со всем хватало и получаса. А потом он садился на лавочку, будто окунался в самую тишину, и обманчивое чувство покоя властно заполняло его. Казалось, ничего никогда не было и ничего никогда не будет, а есть — испокон веков — только эта вот долгая предсолнечная тишина, и он — в ней.

Но сегодня, едва Василий оставил метлу, во двор, хозяйственно озираясь, вошел и встал посреди высокий сутулый бородач, судя по разношерстной и трепаной одежде, из пешей и, к тому же, дальней дороги. Опершись на палку, он чуть постоял, цепко оглядел двор и кивнул Лашкову:

— Здоров, Василий Васильев? Запамятовал, небось?

Лашков даже привстал от неожиданности: Степана Цыганкова можно было разглядеть, как попа, в любой рогожке. Степан пропал тогда же — после валовской истории — и на восемь лет словно в воду канул. Правда, Калинин когда-то оговорился походя, что, мол, цыганковский батя в домзаке еще срок заработал,— и большой,— но толком не объяснил, в чем дело, и о Степане вскоре забыли.

— Здоров,— растерянно ткнул ему руку дворник.— Тебя, Степан Трофимыч, уж ты извини, похоронили сто раз. Жена за упокой поминает.

Он узнавал и не узнавал соседа: цыганковская порода сказывалась во всем: в медвежьей могутности, в наспех, зато щедро вырубленном лице, в лопатистой мощи ладони. Но говорил Степан, противу обычного, уверенно, со вдумчивым проникновением, и глаза его были высвечены изнутри тихим и ровным светом.

— Посижу маненько с тобой, Василий,— проговорил Цыганков, умащивая между ног котомку,— да и ходу. В Москве нашему брату — под замком палаты...

— Что так?

— Паспорт не тот: со статьей.

— Зашел бы к своим. Хоть на день. Я уж участкового-то уломаю.

— Зачем? Похоронили, оно и к лучшему. Живы, небось?

— Все живы, вроде... Меньшая только твоя...

— Чего?

— В отсидке.

Степан отнесся к известию с прежней уверенной покорностью, словно все это было ему заранее известно и в свои сроки предусмотрено, а потому не так уж и важно. Он только обхватил ладонями палку и уперся в них подбородком:

— Поутихли?

— Пора. Тихон жену привел. Прибавление ожидается.

— Ишь ты.— Степан усмешливо прищурился.— Внуком, значит, обзавожусь. Ничего, и без такого деда проживет.

— Может, хоть старуху вызвать?

— Как она?

— В церковь зачастила.

— Что это за дворец такой,— Степан кивнул в сторону уже выросшего на четверть штабелевского строения,— о трех ногах?

— Водопроводчик строится... Женился...

— Вот так-то, Василий Васильев, перетряхнут нас, собьют с панталыку, мы и взбесимся, и мечемся сослепу. Ни Бог, ни черт не разберет: куда летим, чего хотим? А глядишь, и отстаивается все кругом сызнова, входит в свою колею. Людишек рожают, церкви поют, дома подымаются — всяк к своей доли приходит. Можно сказать: перенесение святых мощей из кабака в полицию... Старцы говорят, это всегда эдак у нас: верх — сам по себе, низ — сам по себе... И токмо мы — спервоначалу перетряхнутые — уже ни

к селу ни к городу... А другой чудак сел наверху и тешится: распотрошил Расею. А она, родимая, токмо и сделала, что замутилась, и сызнова текет, как сто лет тому...

— А что же нам-то?

— Да ты меньше думай и не сиди на одном месте. Сколько тебе веку-то! Встал бы, срубил посох поупористей и айда за Урал али в степи.

И так вдруг легко показалось Василию это сделать, так просто, что он прямо-таки задохнулся неожиданно даренным откровением: «Взять да и впрямь пойти куда-нибудь. Хоть одному, а то и с Левушкиным. Ведь никто тебя, сукиного сына, не держит». Но за последнюю же мысль уцепилось сомнение, следом — другое, третье, и через минуту недавнее воодушевление свое уже виделось ему блажью.

— Куда идти-то? Идти-то некуда. Везде одинаково. Да и теперь много не походишь, враз место найдут.

— Так и там люди живут, и там ума набрать можно. Это токмо малых детей «местом» пугать пристало. Гляди, вот я — весь, не съели ведь.

— А где же побыл-то, Степан Трофимыч? — Лашков, намеренно ускользая от тяжкого для семьи разговора, вцепился в последнюю цыганковскую фразу.— Видать, помяло?

— Побыл. Помяло,— неопределенно откликнулся тот и, словно засыпая, закрыл глаза и клюнул носом.— Всякое было.— Он снова поднял голову и, проникая соседа в упор, суховато отрезал: — Я, Василий Васильев, там людскую душу загубил.

Этой своей резкой откровенностью Цыганков как бы определял, что ему скрывать от людей нечего, и что собеседник соответственно может решить для себя, каким образом с ним держаться.

И все, чем переполнился в эту минуту Василий, вылилось у него в тихий вопрос:

— А теперь куда, Степа?

— Лето на ущерб пошло. К теплу пробираться буду. В Кутаисе перезимую али в Батуме.

— Может, зайдешь ко мне, перекусишь, и стопка найдется.

— Не балуюсь после того.— Это степаново «после того» пронизано было сожалительной горечью, и Лашков вновь, как и давеча, проникся вдруг тяжестью, какую носит по свету этот, еще недавно совсем чужой для него человек.— А харчишки у меня водятся. Я все больше деревнями иду, а там с моими руками не оголодаешь... Не обессудь, не побрезговал бы, сам знаешь, а боюсь... Живут покойно, и слава Богу.

Он тяжело оперся на палку, встал и еще раз оглядел двор:

— Часом и сам себе не веришь, что жил тут, что жена есть, дети, что кузня была. Вроде и не было ничего такого, и вроде живу я странником — Божьим человеком — сколько земле сроку. Чудно!

Сила, куда более властная, чем простое людское расположение,

толкнула их друг к другу, и они обнялись. И, как насмерть обиженным детям, стало им от этого объятия, хоть и на короткое мгновение, но теплее и просторнее на свете.

Степан — высокий и размашистый — шагнул на тротуар, и, будто подстерегавшее странника, под ноги ему из-за крыш выкатилось солнце.

XVI

Дом водопроводчика поднимался, как на дрожжах: ряд за рядом, ряд за рядом, и — честь честью — из первосортного огнеупора, в два с половиной кирпича, и, вдобавок ко всему, «под расшивку».

Сходил Иван на соседнюю стройку пару раз, перекинулся словом с мастерами, постоял у одного-другого за подручного,— и радуйся, Отто Штабель! — двинулось вверх его жилье от ловкой левушкинской руки. Водопроводчик только улыбался и удивленно качал головой, стоя подручным около него. Василий внизу готовил раствор, и Левушкин смотрел на друга сверху и подмигивал, и подсобнику передавалась эта его стремительная легкость, с какой покорял тот любое дело.

Лева Храмов, напросившийся водоносом, обхватив коленку, сидел на лавочке и ошарашенно покачивался в такт Ивановым движениям.

— Иван Кириллыч,— вдруг сказал он, и голос его был настоен восторгом и удивлением,— Иван Кириллыч, ведь это ж симфония, а не просто работа! Ведь твоим рукам памятник нужно поставить. Я не шучу, Иван Кириллыч, честное слово, не шучу. У тебя будто машинки волшебные вместо рук: что захочешь, то и сделают.

— А что,— довольно хмыкнул польщенный плотник,— и за мое почтение, и сделают.

— В тебе же, наверное, Микеланджело умирает, Иван Кириллыч, Челлини!

Левушкин не понял, но почувствовал, что опять-таки хвалят, и потому движения его стали еще более закончены и ловки.

— Куда нам до заграничных,— между делом пококетничал он,— куда нам в лаптях до них в калошах. Мы так, або не обвалилось.— И, осклабившись Груше, хлопотавшей вокруг стола, лихо спрыгнул с лесов.— Перекур с дремотой!

Но не успели они рассесться, как во дворе, в сопровождении участкового и пожарника с портфелем, появился Никишкин. Он шел прямо к строению, шел, будто полководец на смотру — на шаг впереди сопровождавших, шел, припечатывая каблуками землю, и каждый его шаг предвещал угрозу и вызов, и колючие глаза были исполнены решимости.

— Да,— обескураженно почесал в затылке Василий,— летит птица.

Штабель поднялся и, выйдя навстречу гостям, встал между ними и домом:

— Я слюшай вас.

Левушкин осторожно отстранил встревоженно застывшую на месте Грушу и тоже вышел из-за стола:

— Что этот ворон надумал? Тута все по закону. Не подкопаешься.

Никишкин едва лишь краем глаза окинул водопроводчика с головы до ног и, поворачиваясь поочередно то к пожарному, то к участковому, будто только эти двое и были здесь стоящими собеседниками, заговорил:

— Вчерась вечером сам промерял: ровно шесть метров. На цельный метр больше, чем в разрешении. С умыслом — несознательность. Хапнуть все норовят лишнего, а на других плевать. Вот я, к примеру, сараюшку хочу поставить для всякой там шурум-бурум. Чего же рядом с выгребной ямой я ее ставить буду?

Он выложил свою претензию единым духом и лишь после этого удостоил штабелевское воинство взглядом, исполненным победного вызова.

При гробовом молчании испитой пожарник с вихляющими ногами, болтавшимися в его кирзовых, не по размеру сапогах, как колотушки в ступах, раскрыл блинообразный портфельчик, вынул оттуда рулетку и старательно промерил фасадную сторону цоколя.

— Шесть метров! — неожиданно басом изрек он.— Ровно шесть.

Василий увидел, как воловья шея водопроводчика наливается кровью и пудовые с ржавым отливом кулаки его набухают тяжестью. Дворник уже дернулся было, чтобы удержать друга, но плечи Отто неожиданно поникли, а сам он мешковато обмяк, низко опустил голову и, неуклюже повернувшись, вяло потащился к котельной.

Иван застонал протяжно, боднул воздух и двинулся к Никишкину:

— Ржа ты, ржа,— захлебываясь, говорил он при этом, и слезы текли по запыленным щекам его и оставляли на них светлые борозды,— проедаешь жись, и нет на тебя порухи... Какая такая зверюга и от какого такого шелудивого пса рожала тебя?.. Дай я плюну на тебя, чтоб издох ты, пес!.. Что же ты нам век заедаешь?..

Плотник схватил его за грудки, тот беспомощно замахал руками, пытаясь вырваться, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы Калинин не втиснул меж ними руку и не развел бы их.

— Хватит. Ты, Левушкин, сядь — остудись. А ты,— он встал лицом к лицу с Никишкиным,— иди домой. Мы тут без тебя кончим. Я за твои кости не ответчик.

Никишкин для престижу немного еще потоптался на месте, поерзал злыми глазами по сторонам, но, видимо, память о крутом калининском норове еще не выветрилась у него из головы, и

потому перечить он поостерегся. Но последнее слово, не сдержался, оставил-таки за собой:

— Щей домзаковских не хлебал, Левушкин? У меня свидетели есть. Я — с заслугами. Мы стихии не дадим разбушеваться. Вы вот,— он ткнул пальцем в пожарника,— свидетелем будете. Он меня за грудки брал!..

Пожарник обескураженно хлопал кроличьими глазами и все оборачивался, ища поддержки, к участковому и шепеляво повторял на разные лады:

— Александр Петрович!.. Ну, Александр Петрович!. Эх, Александр Петрович!..

— А! — поморщился в ответ участковый и тут же показал Никишкину спину, чем как бы окончательно выключил его из общего разговора.— Вот что, ребятишки,— он бросил планшет на стол и сел,— ломать так и так придется: противопожарная безопасность. Дурить нечего, кладка свежая, одну стену разобрать — на день работы. А тому гоголю я еще вставлю фитилек в одно место.

— Александр Петрович,— взвился Иван,— в переборке ли дело? Скусу не осталось. Будто дерьмом облил... Иэ-э-э! — он отчаянно взмахнул рукой и придвинулся к Лашкову.— Вася, будь другом, дай пятерку?

Василий обшарил карманы и, вместе с серебром и медью, наскреб около трех рублей:

— Вот, все тут... Может, не надо, а, Иван?.. Опять ведь до зеленых чертей нахлебаешься... А на тебя вся надежа.

— И напьюсь! И до зеленых! — Иван сгреб деньги и поднялся.— Да рази эдакая гнида даст веку Штабелю? Завтрева ему нужник пондравится на дворе изобразить, и снова ломай. Нет, на эти дела Левушкина.

— Погоди,— остановил плотника участковый и, отстегнув планшет, вынул оттуда и положил перед ним пятерку.— Растравишься только на трояк-то, исподнюю загонишь... Бери, бери, за тобой не останется. Только, советую, неси домой. Целей будет.

Левушкин сделал неопределенный жест: что-то среднее между «сами с усами» и «была не была», и исчез за воротами.

Участковый с пасмурным сожалением усмехнулся ему вслед и заспешил:

— Вот что, Лашков, пока Штабель очухается, ты начни. Позже я приду — помогу. Через день-другой стена новее новой будет... Пошли, Константин Иванович! — кивнул он бессловесному пожарнику.— Докладывай по начальству: порядок.

. . . .

Вечером к Василию прибежала Люба:

— Иди, зовет. И что мне с ним делать, ума не приложу? Втемяшил себе в голову: уйду да уйду. Уже и вещи собрал в ящик, Господи! Пропадет ведь! Сопьется. А как я тут с двумя-то!.. Борьке, опять же, в школу нынче. Мука мне с ним, мука. Ты уж, Ва-

ся, расстарайся. Он любит тебя, слушает. Говорит: «Один человек, и тот Вася...»

Плотник ждал его одетый по-дорожному, сидя на краешке сундука, котомка и ящик с инструментом стояли у него между ног:

— Садись, Василь Васильич,— церемонно пригласил он, кивая в сторону початой четвертинки на столе.— У меня к тебе недолгий разговор есть.— Судя по всему, Иван хоть и был выпивши, но в меру, и намерения имел серьезные.— Давай по чуть-чуть перед моей дорогой и боле ни-ни. Дорога, говорят, трезвых любит.

— Ванечка,— гнусаво запричитала Люба,— одумайся, дети ведь. Куда я с ними одна? Что тебя несет? Или я чем не угодила тебе? Ванечка!

Левушкин словно бы и не слышал жены, словно ее и не было в комнате вовсе. Старательно обнюхивая луковичную головку, он обстоятельно втолковывал другу:

— За сына боюсь, Василь Васильич, за Борьку. В школу ему нынче. Со шпаной не связался бы. Может, возьмешь заботу, присмотришь, направишь. Коли что, и поперек спины — нелишне, а? А то ить вон у Федосии-то сбежал, сукин сын, и до се нету. Будь другом, а?

— Я-то, конечно, со всей душой,— пробовал остудить плотника Василий,— только, может, это все зазря, может, на боковую лучше! Утро-то, оно вечера мудренее.

— Василь Васильич! — строго молвил тот и встал, и напрягся, как рассерженный конь.— Я тебе, как наилучшему растоварищу свою душу выкладую, а ты мне соску суешь, будто я — теля. Рази это по Богу?

Стало ясно, что Левушкин решением своим уже не поступится, и тогда, стараясь уйти от Любиного почти нищенского заискивания, он сказал:

— К Штабелю его приставлю, пусть присматривается. Штабель, сам знаешь, петуха на гармошке играть выучит. Да и я — не оставлю.

— Ну, вот,— с удовлетворительной вдумчивостью проговорил плотник и взялся за мешок,— теперь и у меня душа на месте... Проводи меня, брат, до ворот... Ну, пока, жена! Не хорони поперед времени. Срок выйдет — сам помру. Скоро буду. С гостинцами.

— Ванечка, родимай,— запричитала было Люба,— не забудь, не брось нас, кормилец!..

Но Иван сразу же оборвал ее:

— Будя. За мной не тащись, дома и попрощеваемся.

Он слегка обнял ее и тут же оттолкнул от себя.

— Будя.— Иван подошел к пологу, за которым спали ребятишки, отдернул его, взглянул и снова закрыл.— Сахаром не балуй — самые года золотушные. Пошли, Василь Васильич!

У ворот Левушкин вскинул мешок на плечо и протянул дворнику руку:

— Бывай здоров, Василь Васильевич, передай Штабелю — не осилил, мол, ушел. Да и сматывал бы он лучше удочки до дому. Не будет из этого рая ни...

Он грязно выругался и пропал в ночи, но, когда Василий повернулся было идти домой, тьма прокричала ему левушкинским голосом:

— А ить, брат, про твое с Любкой мне все ведомо, ага!

XVII

В первые дни война не имела отличительных знаков и запаха. Ничто, казалось, не нарушало размеренного ритма жизни, а лишь скупее сделались движения, тише — слова, темнее — одежда. Но уже к концу недели дворовая тишина дала трещину. В девятой заголосила Цыганиха: мобилизовались оба — Тихон и Семен.

И сразу же пошли взрываться, как хлопушки, окна и двери:

— Берут, что ли?

— Берут.

— И женатого?

— Обоих.

— Помыкают бабы горя.

— Всем достанется.

— Говорят, скоро кончим.

— «Говорят»! Полоцк сдали!

— Из стратегических соображений!

— Досоображаются до самой Москвы.

— А орет-то, орет, словно хоронит!

— Твоего возьмут, не так еще взвоешь.

— У мого — белый билет.

— Фотокарточка в аппарат не влазиет или как?

— Склероз у него.

— Ха-ха, это с чего же?

— Просквозило после бани, да?

— Дьяволы! Креста на вас нету! У людей беда, а вы базар развели.

— Сама ж их кляла.

— Нынче токмо и помнить, кто кого клял...

У военных сборов — короткие сроки. Уже через час цыганковское семейство в полном составе, с плачем и шумом, выкатило во двор. Братья были заметно во хмелю и настроены недобро. Тихон, едва из парадного вышел, как сразу нацелился в сторону штабелевского дома и старательно, будто по зыбким кочкам переставляя ноги, двинулся туду через весь двор. Остановясь перед порогом, он широко расставился и после убористого мата в шесть этажей начал:

— Ну что, немецкая рожа, дождался своего часу? Пустили нашему брату за нашенский же хлебушек кровья? Да и мы нынче у вас такую пустим — красильню открывай. Сто лет в крас-

ных сподниках мужики ходить будут. Открой-ка разок пасть, я у те клыки-то пересчитаю!

Штабелевская дверь открылась, и на пороге появился хозяин со своей неизменной трубочкой в зубах:

— Я слюшай тебья.— Он стоял перед Тихоном, глубоко засунув руки в карманы штанов и часто-часто посасывая трубочку.— Говорьи.

— Как живешь, хотел узнать, господин Гитлер, почем Расеей торгуешь? — Растерявшийся было Цыганков, почуяв за плечом братенино дыхание, снова входил в раж.— Может, по целковому за пуд? Али больше? Я тебе напоследок полный расчет сведу.— Он почти упал на водопроводчика всей своей громадой, но тут же грузно надломился, повисая запястьями на штабелевских руках.— А-а-а!

Они стояли теперь глаза в глаза, и водопроводчик цедил в лицо Тихону свою ненависть.

— Слюшай сюда, Цыганьковь. Ти имель кузня, я — нишего. Ти убивать из обрез люди, я — воеваль за Россию. Ти — ривач, я — рабочий. Кто Гитлер? Я — Гитлер? Нет, ти Гитлер.— Он отпустил Цыганкова и снова глубоко засунул руки в карманы и все еще часто-часто посасывал угасшую трубочку.— Оставляй минья в покой.

Жена Тихона, вся в темно-желтых крапленых пятнах после родов, повисла на рукаве мужа:

— Брось, Тишенька, уймись. Они же, супостаты, все заодно, так и смотрят, как бы со свету сжить нас. Ишь,— расставились.

Она ненавидяще зыркнула в сторону стоявшей за спиной водопроводчика Груши, но та и глазом не повела: она-то знала, что ее Отто постоит за себя.

Цыганковская поросль подняла дикий, ни с чем не сообразный вопеж, и Тихон, облепленный, как слон сявками, обеими женщинами, все еще ярясь и матерясь, пошел к воротам. Так они и выкатились со двора: клубок ругательств и крика.

. . . .

В день, когда первые газетные кресты перечертили оконные стекла, к Василию постучался старший сын Меклера, Миша:

— Вас просит зайти папа.— Темно-желтые глаза парнишки смотрели на дворника не по-детски печально и строго.— Папа уходит на фронт.

Меклеры сидели вокруг уставленного случайной едой стола и молчали. Никто ничего не ел, все смотрели на своего главу, а тот, в свою очередь, глядел на всех. Было в этой говорящей тишине что-то гнетущее, но в то же время торжественное. Время от времени кое-кто перекидывался парой коротких, выражающих только суть мысли слов. И снова наступала тишина.

Василию освободили стул, он сел; хозяин сам налил ему рюмку водки и пододвинул закуску:

— Как видишь, Василий, так и не пришлось мне сделать тебе протез. Теперь мне придется все делать наоборот. Зато столько работы будет потом.— Меклер пробовал шутить, но от шуток его за версту несло кладбищем.— Сколько работы! Миша, наконец, получит свой велосипед. А Майя — куклу, которая сама спит.

Любые слова сочувствия в этой комнате были излишни, даже больше того, пусты, но этикет обязывал:

— Наши, говорят, румынскую границу перешли. Глядишь, и до войны-то не доедете, Осип Ильич.

— Твоим бы детям, Василий,— меклеровские глаза насмешливо посветлели и стали совсем желтыми,— да столько дороги до клада.

Лашкову налили снова, но уже одному, и дворник понял, что здесь — в этой тишине — он случайный и только терпимый гость и что ему лучше уйти и оставить их наедине со своей бедой.

Он заторопился:

— Спасибо на угощенье, Осип Ильич. Если что по какому делу, так я всегда от души. Пускай только Рахиль Григорьевна покличет.

— Будь здоров, Василий! — сказал Меклер-старший, и несколько пар совершенно одинаковых глаз, соглашаясь с ним, опустились долу.

Василий пошел к двери, и его провожало молчание — долгое и глубокое.

. . . .

В эту же ночь Лашкова разбудил участковый:

— Вставай.— Калинин был непривычно для себя взбудоражен.— Живо к Штабелю!

«Что еще стряслось? — гадал, одеваясь, дворник.— Обокрали? Или Груша что натворила? С нее станется. На барахолке с утра до ночи торчит, а теперь за это дело ой-ой-ой!»

Желтый прямоугольник света от распахнутых дверей штабелевского жилища выхватывал из темноты переднюю часть потрепанного «газика». Шофер-военный сонно поклевывал над баранкой носом.

Штабель с помятым ото сна лицом мучительно вчитывался в какую-то бумагу, а молоденький, видно, даже еще и не брившийся ни разу лейтенантик нетерпеливо топтался на пороге.

— Нам еще в два места, гражданин Штабель,— лейтенантик говорил внушительным басом, то и дело сверял свои часы на металлической браслетке со штабелевскими ходиками и с достоинством покашливал в ладошку; в общем, вовсю старался выглядеть как можно более деловым,— все равно, указ есть указ. Наше с вами дело подчиняться. Мера эта временная и на ваших гражданских правах не отражается.

Водопроводчик не слышал его. Он с усилием морщил лоб, вдумываясь в смысл того, что лежало перед ним, и вполголоса бормотал:

— Я воеваль за Советский власть... Я имель рана... Херсонь... Уральск... Зашем я ест виноват за Гитлер?.. Зашем мне надо уезжать от моя жена, от мой дом?

— Ваша жена,— пробовал пробиться к его сознанию лейтенант,— может выбирать: ехать или ждать вас здесь. Вы сообщите ей об этом из отведенного вам местожительства.

При упоминании о жене Штабель встрепенулся:

— Ньет! Она уехаль рожаль деревня. Не надо беспокоиль. Зашем? Я хошу здоровый ребьенка.— Он вскочил и начал лихорадочно собираться.— Што я могу взяль себе дорога?

— Лишь самое необходимое. Это — временная мера. В целях вашей же безопасности. Скоро вы вернетесь.

— Да, да,— машинально ответил ему водопроводчик, как бы припоминая, куда могло запропаститься это «самое необходимое», и что оно вообще обозначает. Он неуклюже двигался по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Но вдруг в отчаяньи махнул рукой.— Я не буду нишего браль. Я поезжаль так.

— Как хотите,— с готовностью воспрянул лейтенант и уступил Штабелю дорогу впереди себя.— Это просто короткая военная необходимость.

Садясь в машину, Отто сказал Лашкову:

— Вася, скажи Грюша, я скоро, ошень скоро буду дома. Грюша не надо волнений. Я буду написайт скоро письмо...

Лейтенантик, окинув подозрительно молчаливый двор, доверительно, как единственному человеку, с которым они — посвященные в святая святых государственной политики — могут сейчас понять друг друга, посоветовал участковому:

— В случае разговоров соответственно объясните населению.

— А! — неопределенно махнул Калинин рукой.— Ерунда.

Удивленные глаза лейтенантика поплыли в ночь, и вскоре «газик» с водопроводчиком Отто Штабелем сигналил где-то у ближнего поворота.

— Александр Петрович? — только и нашелся сказать ошеломленный дворник.

— Указ,— немногословно объяснил тот.— Лиц немецкого происхождения выселить в определенные места жительства.

— Австриец он, Александр Петрович, австриец, и в паспорте он на австрийца записан.

— Это, Лашков, одно и то же. Гитлер тоже — австриец... А в общем-то б.....во, конечно.— Лицо Калинина трудно было разглядеть в темноте, но по тому, как уполномоченный прерывисто и гулко дышал, чувствовалось его жгучее ожесточение.— На-ка вот, передай Аграфене. Там все в целости.

Он тырком сунул Василию ключи от штабелевского дома, и, уже в который раз, между ними легла ночь.

XVIII

Участковый сидел у раскаленной добела времянки в комнате дворника, отогревал посиневшие руки и хрипло раздумывал вслух:

— Его, черта, голыми руками не возьмешь. Да и кто ее знает, может, померещилось Федосье. С голодухи-то оно и не такое померещится. Оперативников просить? А вдруг нет там никакого Цыганкова, а если и был, то второй раз на одно место не придет? Значит, сядем в калошу, Лашков. Вот она какая штука. Куда ни кинь, всюду «пусто-пусто»... Придется все-таки нам с тобой вдвоем попробовать... Оружием владеешь?

— Вторую группу не деревянным пугачом заработал.

— Пистолет я тебе дам. Припас. Однако это на всякий случай, его надо живьем брать. Иначе — пропали карточки. Да и подельников его — ищи-свищи. Вот что.

Но сколько Калинин ни тщился разазартиться, сколь ни ерзал в натужном возбуждении по табурету, от Василия не ускользнуло его внутреннее беспокойство. И в том, как он чаще обычного кашлял, и в том, как нервно и резко похрустывал костяшками пальцев, и в том, наконец, как постепенно все удлинял он задумчивые паузы между фразами, сквозило какое-то сомнение, болезненная червоточина какая-то. Уполномоченный даже и не говорил, а скорее допрашивал самого себя.

Дело, между тем, представлялось ясным. Третьего дня ограбили домоуправление, взяли около трехсот хлебных и продовольственных карточек. Собственно, история эта целиком лежала на совести оперативников, и Калинин мог спокойно есть свой хлеб, но сегодня утром Федосья Горева побожилась ему, что видела Семена Цыганкова на Преображенском рынке, а еще раньше, с неделю примерно тому, поднимаясь развешивать стиранное, столкнулась со старой Цыганихой на чердачной площадке, и та вроде бы несла узел с бельем, из которого торчала дужка чайника. К тому же новая соседка Цыганковых, учительница Хлебникова, заметила как-то о своих соседях, что, мол, живут они не по военному времени сытно.

О розыске дезертира Семена Цыганкова участковому было сообщено еще осенью. Теперь же, одному ему ведомыми комбинациями, Калинин, на свой страх и риск, установил связь между этими, казалось, совершенно разрозненными фактами и приготовился дать бой. Еще в ту пору, после ареста Симы, участковый поклялся вывести это семейство со своего участка, но сейчас, когда — и ему это было известно наверняка — один из Цыганковых у него на мушке, он досадливо морщился и все удлинял задумчивые паузы между фразами.

— Своих я всех перетряхнул... С пристрастием... «Карася», «Змея Горыныча», «Боксера», «Меркула», «Серого»... Знаю я их: будь рыло в пуху, кто-нибудь да раскололся бы... Больше некому — он... И, однако, сам я хочу ему в очи глянуть... Только живьем надо, живьем...

Встал и потянулся за шинелью, но и одеваясь, все еще как бы раздумывал и даже застыл на мгновение полуодетый, но потом скулы его решительно вздулись, и он взялся за дверь:

— Значит, так, Лашков, блокируешь крышу двадцать седьмого, а я отсюда его на тебя загонять стану.— И все же на пороге участковый опять обернулся и опять замялся в нерешительности.— А может, плюнуть, Лашков? Пускай оперативники расхлебывают. Что мы его, будто зверя, обкладываем.

Но последние слова донеслись уже из сеней: Калинин все же не смог перебороть последнего искушения и вернуться обратно.

Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для человека, у которого временные разногласия с правосудием.

Лашков забрался на чердак и стал ждать. Там — за стеклами выводного окна, под низким январским небом раскинулся город. Трудно было поверить, что за этим хаотическим темным нагромождением жестяных крыльев таится жизнь. И Лашков подумал, что вот живет он в своем дворе, никуда не выезжая, столько лет и все-таки успел узнать много такого, чего раньше не знал. Люди рождались и умирали, людей куда-то уводили такие же, им подобные люди, люди влюблялись и сходили с ума. И все это было при нем, на его глазах. Но ведь многого и не удалось увидеть. Большую часть жизни люди старались провести наедине с собой или с близкими. Выходит, ему, Василию Лашкову, не хватило бы и пяти жизней, чтобы узнать все об одном лишь дворе. А сколько их, таких дворов, в городе, в стране, в мире, наконец! И на все дворы — одно-единственное небо. И разве трудно хоть однажды, сразу всем вместе, посмотреть вверх, чтобы вот так же, как сейчас он — Лашков — пронзающе ощутить тоску по доброму слову и родной душе?

Последнюю его мысль перебил крик, отрывистый и резкий:

— Стои-и-й!

И сразу же соседняя крыша загрохотала под подошвами кованых сапог. Лашков, спустив предохранитель, выскочил наружу, уперся ногой в железный сток и дал предупредительный выстрел. С непривычки остро отдалось в плече, и рука, будто отсиженная, зашлась игольчатой истомой. Крыша на мгновенье утихла, но только на мгновенье, затем топот снова обрушил тишину, и смутный силуэт стал приближаться к Лашкову. Он выстрелил еще раз и подумал: «Ну куда прет, черт?»

— Стой, пристрелю! — Калининская хрипотца дробью рассыпалась в морозном воздухе.

Беспорядочный грохот затих, шаги беглеца приобрели хрупкую отчетливость: раз... два... три... четыре... И вдруг из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как будто человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда,

снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину.

На душе у Василия вдруг сделалось жутко и пусто. Ситуацию он прикинул мгновенно: к двум этим домам одним своим водостоком примыкал третий, выходивший лицевой стороной на соседнюю — параллельную — улицу. Правда, до него был просвет метра полтора, может быть, немногим более. Ребятня иногда прыгала, на спор, оттуда сюда, но только летом, зимой такой трюк наверняка оказался бы последним для любого исполнителя. Об этом знали и Лашков, и участковый, но не брали этого варианта в расчет. Соломинка пришлась впору лишь цыганковскому страху. Но она, как и все соломинки вообще, не спасла его. Поэтому, когда они сошлись на стыке двух крыш, им не надо было ничего объяснять друг другу.

Во дворе Калинин безучастно сказал дворнику:

— Добеги до отделения, скажи, пускай едут с экспертом и каретой, а я у тебя покуда погреюсь. Зябко чтой-то мне.

Сказал и пошел, и странно уж очень пошел, словно тень — одновременно зыбко и порывисто.

. . . .

Василий вернулся минут через пятнадцать, но, едва перешагнув порог, замер и на полуслове осекся и почувствовал, как у него холодеют кончики пальцев и вязкая тошнота подступает к горлу.

Участковый словно бы спал или вслушивался во что-то, приложив ухо к столу. Но по тому, как беспомощно свисали вдоль колен его руки, по бесформенности губ и тому особенному безмолвию в комнате, которое сопутствует смерти, можно было судить о случившемся. Тоненькая багровая струйка из-под виска лужицей собралась около откатившейся в сторону шапки и уже окрасила кончик ворса.

Выражение лица у Калинина было мягким и чуть озадаченным, словно в мгновенье, навсегда отделившее его от жизни, он успел удивиться, что все это так легко и просто.

XIX

Лева Храмов лежал, обложенный со всех сторон подушками, и оттуда, из пуховой глубины, вещал дворнику:

— Мы слабы в своих желаниях. Нам всего подавай сейчас, немедленно, еще при жизни. А когда нам отказывают в этом, мы, в конце концов, стараемся удовлетворить свои страсти силой. И так из поколения в поколение, из века в век льется кровь, а идеалы, ради которых якобы льется эта кровь — увы! — остаются идеалами. Переделить добытое, конечно, куда легче, чем умножить его. И к тому же для этого требуется терпение и труд. А терпения-то и нет, и работать не хочется. И пошло: «Бей, громи, однова живем!» Ты понимаешь меня, Лашков?

Дворник поспешно соглашался. Дворнику было все равно. Он слушал актера из жалости, чтобы хоть как-то облегчить ему существование. Храмовский организм уже не реагировал на морфий, и в бесконечных разговорах Лева изо всех сил старался утолить боль. Лашков часами просиживал около дивана больного, и более благодарного слушателя для своих пространных монологов тому нечего было и желать.

Старуха с сыном уже давно перебрались во флигель, обменявшись с модисткой Низовцевой, разумеется, не без придачи. Сама Храмова не то чтобы опустилась, но стала в силу обстоятельств проще, трезвее смотреть на вещи. Схоронив дочь, она поступила санитаркой в больницу, и с тех пор дворник стал бывать у них запросто как старый и добрый знакомый.

С Левой их роднило гложущее чувство обреченности, сознание своего близкого конца. Они не слушали, а только слышали друг друга, но, оглушенное словами, потоками слов, одиночество призрачно отодвигалось, временно даруя им иллюзии полноты существования. Каждый из них был нужен, необходим другому, и еще неизвестно, кто кому более.

Тонкие, с синеватым налетом пальцы актера нервно теребили кромку одеяла. Возбуждаясь, он бледнел, глаза западали еще глубже, и частая изморось выступала у него над верхней губой.

— Нам все надо начинать сначала, Лашков, понимаешь, сначала? Иначе кровь никогда не кончится, иначе мы снова заберемся на деревья. Мы должны, понимаешь, должны научиться мыслить тысячелетиями, а не собственным человечьим веком. Надо приучиться радоваться счастью и благоденствию потомка и приучить себя трудиться ради этого... Трудиться, Лашков, трудиться! И хватит с нас болтунов, хватит с нас господ Опискиных, возомнивших себя могучими деятелями... При входе в жизнь надо спрашивать у человека: «А что ты умеешь делать сам? Делать непосредственно руками или талантом? Хлеб, дома, книги, искусство?» — Надо работать, работать! И красота восторжествует! Восторжествует! Ты понимаешь меня, Лашков?

Лашков поддакивал, но думал о своем и даже ухитрялся краем уха вслушиваться в тихий разговор на кухне, где Храмова прощалась с доктором.

Она: — Может быть, ему все-таки лучше в больницу?

Он: — Как знаете, матушка, как знаете, только я не советую. Да-с.

Она: — Неужели мне даже не надеяться?

Он: — Эх, матушка, мы с вами одной ногой там, так что уж нам-то возвышающим обманом тешиться?

Она: — Вместо него хоть сейчас...

Он: — Ах, как нас с вами приучили, друг мой, в свое время к красивым жестам! Не надо, матушка. Не те времена... А в больницу, что ж, можно и в больницу, да не с его нервной машиной в наших казенных больницах лежать... Сами понимаете, наслед-

ственность... Ну, а вот от этого увольте, друг мой, совсем ни к чему-с. Да-с... До свидания.

Грохнула входная дверь, и было слышно, как старуха грузно опустилась на стул и затихла. А Лева, тем временем все более возбуждаясь, силился перекричать боль:

— Но чтобы начать — нужен художник, художник, не то что мы — пигмеи. Нужен гигант, который придет и скажет: все — люди, все — братья. Но как он это скажет!.. Ах, как он это скажет!.. Об этом многие говорили. Христос говорил, и много, много других... Но не так, не так!.. Надо проще и понятней... Ах, как это нужно сказать... Чтобы в каждого проникло... Чтобы каждый вдруг тяжело заболел этим и сам стал драться за свое выздоровление... Да, да, это должно быть, как инфекция... Все, все чтоб вдруг, сразу увидели себя сами... Увидели и заплакали, и обнялись бы... И сказали: «Начнем все сначала»... Художник нужен... Художник только сможет организовать гармонию... Одним словом... Одним-единственным словом... Он найдет его, найдет! Оно будет просто, как дыхание... Понимаешь меня, Лашков?

Актер задыхался. Произнося последние слова, он оторвал голову от подушки, напрягся весь, но тут же обмяк и в изнеможении закрыл глаза. Через минуту дыхание его выровнялось, и белое от возбуждения лицо приняло свой обычный землистый оттенок: Лева спал.

Василий поправил на нем одеяло и вышел на кухню. Старуха Храмова, безучастно глядя впереди себя, сидела у плиты. Она даже не заметила его, не шелохнулась. Он сказал:

— Заснул.

— А? — вскинулась она.

— Заснул, говорю.

— А-а...

Храмова застыла в прежней позе, и, выходя в сени, Василий подумал, что это, наверное, не так просто: пережить своих детей.

XX

Лашков сидел под грибком в левушкинском палисаднике, и плотник тягуче выводил перед ним одну и ту же мелодию:

Я еще молодая девчонка,
Но душе моей тысячу лет...

Гармошку он держал, словно чужую — на краю коленки и, уставившись в дождливое небо оловянными от хмеля глазами, упрямо твердил:

Я еще молодая девчонка,
Но душе моей тысячу лет...

Грибок протекал, мутные мартовские капли, разбиваясь о его лоб и переносицу, стекали по щекам, и потому казалось, что Иван плакал. Но это только казалось. В действительности же он

был просто матёро глухо пьян. С Василием плотник обычно не говорил. Все у них за двадцать с лишком лет знакомства было переговорено и передумано. Они изъяснялись на языке знаков. Плотник, к примеру, откидывал мизинец в сторону и поднимал большой палец вверх и вопросительно смотрел на друга. Тот молча кивал, и оба начинали выворачивать карманы. После трех-четырех таких сеансов друзья упивались до полного одурения, и Левушкин хватался за свою затрепанную трехрядку. Играл он на ней всякую всячину ровно по куплету. Гармошку эту Иван приобрел лет десять назад, во время своих постоянных странствий «за длинным рублем», и с тех пор не расставался с нею.

В комнату Люба их по обыкновению не пустила, и они пили здесь — под грибком, и мутный мартовский снег оплывал над ними, и все у них было позади: молодость, надежды, жизнь, да и, собственно, разве подходило назвать жизнью цепь всплесков боли и отчаянья? Нет, не саднила больше у Ивана душа, даже привычка говорить «по Богу» давно забылась. Он словно оброс весь дикой и непробиваемой глухотой ко всему, и ничто больше не могло вывести его из этого мертвого равновесия.

Небо над ними набухало сырой тяжестью, все вокруг, сплюснутое ею, как бы втискиваясь в землю, и, казалось, там — за серой толщей — уже давно ничего нет: ни солнца, ни звезд, ни самого неба, а есть только пустота — мутная и липкая, как этот дождь.

Тусклая, как старая щука, Люба — голова дынькой, облепленная грязно-седой паклицей,— зыркала на них из-за окна без искры света глазами, и исступленное бормотание ее карабкалось через форточку во двор. Но ей, ее осатанелой злобе не под силу было пробиться в обуглившуюся до дна Иванову душу.

Когда плотник в третий раз стал проделывать свою пальцевую манипуляцию, во двор с низко опущенной головой вошел Никишкин в торопливом сопровождении всхлипывающей «половины». Шел он против обыкновения медленно, ступая тяжело и неуверенно. За годы он сильно оматерел и раздался вширь. Капитанские погоны ладно вливались в его подобревшие плечи. Поравнявшись с палисадником, Никишкин неожиданно вскинулся.

— Это что же такое, а? — Набрякшие никишкинские щеки, матово синея, тряслись.— Это как же понимать прикажете, а?.. Такой день, а, такой день, а вы здесь водку жрете! Да вас, сучьи дети, да вас...— Он задыхался и, кинувшись к Лашкову, схватил его за плечи и начал бешено трясти.— Где флаг? Где флаг? Вражья твоя душа, я тебя спрашиваю! — Он вдруг отпустил дворника и затрясся, зашелся в плаче.— Сукины дети!.. Сукины дети!.. Маша, Маша! — Никишкин повис на жене.— Какие муки он за всю эту шантрапу принял, какие муки!.. Я их из грязи, из навоза вытащил, в люди вывел, а они водку жрут!.. Лакают!..— Никишкин снова встрепенулся и снова кинулся к Лашкову.— Гнида, гнида ты! Да я тебя враз шлепну! — Его подрагиваю-

щие пальцы уже ерзали по пуговице на заднем кармане галифе.— Грязь!.. Чуешь?

И как Василий ни был пьян, понял, что смерть и впрямь щекочет его под носом; недаром все сокольническое жулье икало от одного имени начальника режима Бутырской тюрьмы Никишкина. Но вдруг вялая левушкинская рука оттолкнула дворника в сторону, и сам плотник встал впереди, заслонив его от соседа, и брошенная им с размаху наземь гармошка коротко рыданула.

— А ты меня,— тихо и как бы даже просительно начал Иван,— меня хлопни из своего пугача.— Но постепенно лицо его наливалось кровью, и вскоре он уже почти кричал в лицо оторопевшему Никишкину.— На, хлопни! Я ее — жизни — не видал, да и не увижу боле. Так зачем она мне — жисть. Ты ее с казенными щами сожрал... Я сына хотел на дантиста выучить, а где он — сын, а? И по твоей милости... Я весь век свой по расейским пристаням горе мыкаю... Из-за тебя, собака! Так нá — хлопни! — Он рванул на себе ворот косоворотки.— Что же ты?

Жидковат был на душу начальник режима, не выдержал натиска, взял тоном ниже:

— Ну, ну, не очень ты распоясывайся. В случае, лишний карцер у меня и для твоей милости найдется. Нальют зенки, несут черт-те знает что. Я еще с тобой в другом месте поговорю.— И, уже отходя, бросил через плечо Лашкову: — Траур, черт, траур. Чтоб флаг у меня одним мигом был вывешен. Проверю.— И пошел.— Вражье племя...

Левушкин схватил с земли гармошку и, уже совсем издеваясь, прогорланил ему вслед:

Как у наших у ворот
Все идет наоборот;
Воспитательный народ
Жрет дерьмо и не блюет.

— На-кось, выкуси!

XXI

Раньше — до болезни — Василий Васильевич не замечал множества самых занятных вещей: вот хотя бы солнца. Оно существовало для него в будничной слитности со всем окружающим, такое же привычное, как дождь, ветер, воздух. Но с недавних пор оно стало жить своей, отдельной от него — Лашкова — жизнью. Солнце теперь можно было услышать, ощутить обонянием и даже потрогать на ощупь. Солнце работало и уставало. Солнце с удивительной целесообразностью передвигалось с места на место. Солнце радовалось и негодовало. У солнца имелись и друзья и враги. А Василий Васильевич оставался в стороне, отделенный от всей этой благодати смертной чертой болезни.

Василий Васильевич словно открывал для себя мир заново. Казалось, не было в этом дворе места, не знакомого ему до

мельчайших подробностей, но предметы и вещи, существуя теперь сами по себе,— вне его — начали представать перед ним теми же, что и в младенчестве, загадками. Вот вроде в котельной Василий Васильевич провел чуть не четвертую часть жизни и, можно сказать, сросся с запахами ржавчины и теплого шлака, а сейчас она темнеет прямо против его окна, таинственная и зовущая, как вход в преисподнюю. Как ни странно, но старик с остротой первооткрывателя вновь и вновь осмысливал вроде бы сотни, тысячи раз усвоенные понятия: «забор», «дерево», «мячик». И каждое из них впервые открывало ему свои удивительно простые тайны.

«Но ведь всегда, всегда было так,— рассуждал он.— Неужели нужна смерть, чтобы заметить, почуять все это?» И ему стало не по себе. И, как обычно в таких случаях, он потащился вниз — во двор, чтобы замять, заглушить в ходьбе, в случайном разговоре внезапно подступившую к сердцу жуть.

Во дворе около колонки, слегка подрагивая, урчал бульдозер. Бульдозерист — долговязый парень в берете и брезентовой робе мыл под краном резиновый сапог. В блистающем зеркале голенища плыло небо.

— Опять копать? — опускаясь на скамью, прямо против парня, спросил Лашков, спросил не ради любопытства, а так, чтобы завязать хоть какое-то подобие беседы.— Пятый раз...

Бульдозерист не оторвался от своего занятия и даже не взглянул в его сторону. Он только мотнул головой в угол двора, где лепилась к котельной заброшенная хибара Штабеля, и деловито пояснил:

— Вон тот «колизей» сносить буду. Конторе кирпич нужен. Вот так, старик.

У Лашкова сразу же отпала всякая охота к разговору. Домишко этот о двух окнах он считал частью себя самого. Вместе со Штабелем и Ваней Левушкиным Василий Васильевич вложил в него не только труд, но и частичку того, что остается после. После тревог и забот, после буден и праздников, после войн и замирений. Но вот пришел этот деловой сопляк в брезентовой робе, и ему наплевать на водопроводчика Штабеля и на его хибару. Ему дела нет до того, что останется после испитого старика на лавочке. Конторе нужен кирпич, и какие еще там могут быть тарыбары.

— Ну-ка, папаша,— парень одним махом оказался у руля,— осади назад, а то задену невзначай.

Машина вздрогнула и, медленно разворачиваясь, пошла стальным крылом скребка прямо на цель. Мимо Лашкова проплыл капот, потом распахнутая настежь кабина и в ее прямоугольнике — резиновый сапог, в дымящемся зеркале которого высыхало небо.

Дом умирал, словно живое существо. Когда скребок нижней бритвенной кромкой врезался ему в цоколь, он, едва заметно пошатываясь, удержался. Но бульдозерист чуть потянул на себя ры-

чаг, стальное лезвие вошло все глубже, и дом, наконец, надломился и рухнул, вобрав в себя кровлю. И только грязно-белая пыль костром взметнулась над ним к такой же, как и тридцать лет назад, по-июньски высокой и праздничной голубизне.

XXII

Василий Васильевич вышел из пивной в том благостном расположении духа, какое охватывает всякого сильно пьющего человека сразу же после опохмеления. Все виделось ему до смешного простым и предельно понятным: прошлое и будущее, добро и зло.

Он долго и с пьяным сочувствием следил, как на углу Рыбинского проезда поджарый, крепкого вида старик в парусиновой кепке приставал к прохожим. Цепкими корявыми пальцами старик хватал то одного, то другого за локоть и начинал со стереотипной фразы:

— У нас в Череповце...

Все испуганно шарахались от него, видно, полагая его за пьяного или сумасшедшего. Да и не до чужой нужды, когда своей по горло. Кое-кто, правда, советовал ему:

— Ты, папаша, того, поспал бы часок-другой, что ли?

Старик только отмахивался от них и снова пускался в свое лихорадочное кружение:

— У нас в Череповце...

И все повторялось сначала. Постовой от продмага, наблюдая за стариковскими восьмерками, уже начал было проявлять умеренную, впрочем, нервозность, когда Лашков решил спасти череповецкого горемыку от неминуемой каталажки.

«Подумаешь,— заранее утешил он себя,— ну, дам ему рубль, ну, два, выпьет старик, прояснится и пойдет своей дорогой».

Но, видно, что-то в Василии Васильевиче не соответствовало для того, старик лишь скользнул по его лицу своими круглыми блестящими глазами и пошел себе мимо. Лашков добродушно окликнул его:

— Ну, что там у вас в Череповце, выкладывай.

Старик обернулся, сурово посмотрел на дворника потемневшими глазами, но вдруг жестяные морщины немного обмякли, и он, бесшабашно махнув рукой,— мол, была не была,— вцепился в его локоть.

— У нас в Череповце, понимаешь, дорогой товарищ, никакой правды нету...

И старик, как примерно и ожидалось, поведал Лашкову древнюю байку: «Осудили шурина-сапожника ни за что ни про что, а шурин инвалид, от войны пострадал, ко всему, шесть душ детей — мал мала меньше. Говорят: кожа, а там и кожи-то было — на головки безногому!» И так далее, и в том же духе. Старик рассказывал все это со множеством подробностей, снабжал каждую из них соответствующей справкой или свидетельством. Потом он с

час порол и о своих заслугах, вроде: «В гражданскую тифью переболел и вообче — боролся».

В заключение старик поставил вопрос ребром:

— Так ты мне скажи, столичный ты человек, есть у нас в Череповце правда аль нету?

И сила его убежденности была такова, что Василий Васильевич, хотя и не понял из рассказанного ровным счетом ничего, должен был согласиться:

— Нету.

Старик облегченно вздохнул, щербато заулыбался, встал:

— Ты прости, дорогой товарищ, ты мне спервоначалу показался... Как бы это... Железа в тебе маловато, что ли. В обчем, виду этакого усидчивого в твоей конфигурации нету. А вот теперь вижу — промашку дал. Умственно ты обо всем рассудил, и за это тебе, дорогой товарищ, благодарствую. В Череповце будешь, Федора Терентьева Михеева спроси, любая собака знает. Чайку попьем, белой головкой закусим.

«Ну, проси же, проси — не откажу!» — посмеивался про себя Лашков, а вслух подбодрял:

— Поистратился, видно, дорога-то дальняя?

Тот неожиданно посуровел и назидательно объяснил дворнику:

— Я, дорогой товарищ, есть мастеровой, а мастеровые без денег не бывают. Денег у меня хватит и тебе занять могу, без отдачи.

Лашков был озадачен, но позиций не сдал:

— Наверное, и не знаешь, куда ткнуться? Москва, брат, она хитрых любит.

Старик вытянул из кармана пачку квитанций «Мосгорсправки» и, любовно перелистывая ее у него перед носом, объяснил:

— А вот здесь у меня вся Москва в кармане, а насчет хитрости, так я не токмо палец, гвоздь вершковый перекушу по надобности... В обчем, покеда. Благодарствую на душевном разговоре.

И старик бодро зашагал вдоль тротуара по направлению к Сокольникам. Спокойно так, по-хозяйски зашагал. А Василий Васильевич вдруг подумал, что хорошо бы сейчас догнать старика и рассказать ему все о себе, о своем дворе, о Штабеле и о старухе Шоколинист и еще о многом, многом другом. И еще подумал он, что оно-то, самое доброе — храмовское слово, которое все на свете может переменить заново, и ходит, наверное, в каждом человеке по свету, раз вот так легко он — Лашков — смог сейчас облегчить старика. И ему вдруг стало не по себе от этой пронзительной догадки, и он не выдержал, зашел в ближнюю скупку, и снял с себя пиджак, и бросил его на прилавок:

— Сколько не жалко?..

XXIII

Душной июльской ночью Лашкова разбудил стук в окно. Он приник к стеклу — глазам не поверил, и сердце зашлось удушливым жаром: Штабель.

Прежде чем обняться, друзья в нерешительности пошарили друг друга руками, словно проверяли обоюдную осязаемость, а потом долго не могли разомкнуть плеч:

— Да,— сказал Лашков.

— Да,— сказал Штабель.

И снова повторились:

— Да.

— Да.

И каждое их «да» вбирало в себя дни и годы, дожди и солнце, общие радости и общие обиды, и еще много такого, что можно лишь ощутить, но никак не высказать.

Потом они сидели за столом, и Штабель, вдумчиво потирая ладонью чернильное пятно на клеенке и вглядываясь в Лашкова, теми же спокойными, только поубавившими блеска глазами, говорил:

— И ест влясть, и ест порьядок. Я высегда уважаль влясть и порьядок. Но дивенадцать лет ни есть порьядок. Я бросиль тайга, я бросиль — семья... Да, да, я жениль... Тайга я бросиль — семья... Да, да, я жениль... Тайга трудно без семья... У меньяе диети. Я не хотель им тайга. Я пришель сказать влясть: дивенадцать лет — не есть порьядок. Я верю влясть. Я верю всякий влясть. Влясть — порьядок. Мои диети тайга — не ест порьядок.

Лашков смотрел на друга и удивлялся его внешней живучести. Водопроводчик даже и не изменился вовсе, только немного одрябла шея да плечи по-стариковски чуть вогнулись вперед, однако не потеряли при этом обычной своей упругости. Правда, в том, как дрожали его мясистые пальцы, обхватывая лафитник, чувствовалось, что для него годы не прошли даром.

О многом хотел рассказать дворник Штабелю, очень о многом, но хоть и прошло столько лет, новости его оказались не длиннее воробьиного носа.

Груша? Ну что ж Груша! Выкидыш у нее после того случился. Погоревала, погоревала да и успокоилась, к Фене перебралась. Живет, сильно прихварывает. Иван? Так что ж Иван! Пьет. Вербуется. Сын с малолетства в колонии. Актер? Помер, брат, актер, и давно. Калинин?.. В общем, нету больше Калинина. Меклер? Жив Меклер. Коронки ставит. И протезы — тоже...

Василий Васильевич осекся: в распахнутое окно вошел и заполнил комнату знакомый никишинский говорок. Он струился сверху, из дома напротив:

— Что такое труд? Труд, я спрашиваю, что такое, сукины дети? Труд есть дело чего, а? Чего, я вас спрашиваю, паразитское племя? Дело чести. И еще чего? Молчите, преступные выродки?

Дело доблести и геройства. Кто не работает, тот — что? Вот я тебя, рыжая скотина, спрашиваю? Тот — не ест. А вы — чего? Чего — вы? Вы — не работать? Ветрогоны меченые! Так я вас приведу к исполнению. У меня на всех трюмов[1] хватит. Всех приведу к исполнению...

В утренней полной благости голос этот казался до неправдоподобия нелепым.

— Чито это? — тревожно спросил Штабель.

Лашков хмуро усмехнулся.

— Твой крестный балует. Тронут малость. В начальстве жил, а нынче вот... Всякое утро, чуть свет, упражнение производит перед окошком. Когда что, а больше — это вот. С других улиц дворники слушать приходят. Есть любители.

Штабель сказал:

— Да.

И снова это «да» определило для них обоих очень многое.

А Никишкин вещал с высоты:

— Какие песни ты поешь, сучий выродок, какие песни, я тебя спрашиваю? «Мурку» поешь? «Течет речка» поешь? «Есть у меня шубка»? И опять же — «За кирпичной стеной»? О тебе, шаромыжнике, я заботу имею, а ты всякое дерьмо поешь? Паек получаешь? Матрас есть? В баню водят? А? А ты чего поешь? А пять суток на «строгом» не хочешь? И я тебе туда Кумача дам Лебедева. И чтобы на зубок. Ясно?

Штабель встал:

— Надо шагаль.

— Я провожу.

— Не надо, Васья, ошень не надо.

Они еще долго препирались, хотя оба заранее знали, что пойдут вдвоем. После, когда друзья шли рассветными улицами к центру, Василий Васильевич убеждал водопроводчика:

— Ты, главное, стой на одном: не хочу и — баста. Нету такого закону. От войны и след простыл. Гитлера черви съели, а людей с детями держут. Это, не иначе, местная власть темнит.

Но стоило Штабелю исчезнуть за дверями тяжелого, как глыба при дороге, здания, сердце у него остренько екнуло.

Они договорились встретиться там, где расстались — на углу около табачного киоска. Лашков бесцельно побродил по улицам, вернулся и снова побродил, и снова вернулся: Штабеля не было. Василий Васильевич поговорил с киоскером о том о сем и для поддержания коммерции — одну за другой — купил у него пять пачек «Беломора». Штабеля не было. Не было его и через час, и через два.

Закрывая ларек, киоскер посмотрел на него подозрительно и особенно долго копался с пломбировкой.

---

[1] Трюм — карцер (жаргон).

В здании постепенно стали слепнуть окна: одно, другое, третье... Лашков наблюдал за ними и успокаивал себя: «Вот здесь... Вот здесь... Вот здесь...» Но Штабель все не приходил. И когда где-то, под самой крышей, исчез последний светлый квадрат, он только и подумал: «Вот и все».

XXIV

Как-то на исходе лета к Василию Васильевичу нагрянул совсем уже нежданный гость. Первое, что пришло ему в похмельную голову, когда он открыл дверь, было короткое, как выстрел, озарение: «Папаня!» До того поразительным оказалось сходство. Но уже через минуту память поставила все на свои места: «Петёк!» Внезапный визит забытого уже почти брата не то чтобы удивил Василия Васильевича, он давно перестал чему-либо удивляться, а несколько озадачил: «Чего это его принесло? Перед смертью, что ли?» Но следом за этим сквозь темную дрему, какой с каждым годом все глуше затягивалась его душа, возникло в нем удушливой спазмой давнее, из самой глубины прошлого тепло. И он, помогая брату стянуть с себя плащ, все никак не мог сложить сколько-нибудь вразумительного разговора и только повторял расслабленно:

— Садись, Петёк, садись... Сейчас сообразим кой-чего... Как знал, оставил с вечера... Садись...

Суетясь вокруг стола, Василий Васильевич краем глаза смотрел за гостем, с ревнивою пристрастностью отмечая в нем черты и черточки, не свойственные тому в молодости, нажитые походя, привнесенные со стороны. Почему-то именно сейчас, через много лет разлуки, Василий Васильевич по-настоящему ощутил, какой невозвратимой потерей стало для него все связанное с родным домом. И день, который оказался для него под отчей крышей последним, выявил себя в его памяти с почти осязаемой отчетливостью.

Тогда, сразу же после демобилизации, он заехал в Узловск, безо всякого, впрочем, намерения там остаться. Просто хотелось ему перед тем, как отправиться за лучшей долей, в последний раз взглянуть на близкое сердцу пепелище.

Облепленный со всех сторон племянниками, сидел Василий в красном углу, и Мария, выделяя его из всех гостей, подкладывала и подкладывала ему все лучшее, что было в ее запасах. Глядя на быстрые руки невестки, бесшумно скользящие над столом, Василий, по их натруженной огрубелости, безошибочно определил, во сколько обходится ей благополучие и гостеприимство мужниного дома: «Не задаром ты, Мария Ильинична, здесь свой хлеб ешь, ой не задаром!»

После третьей тесть Петра — Илья Парфеныч Махоткин, заметно охмелев, подступился к гостю с разговором:

— В песках, значит, воевал? Чтой-то тебя туда загнали, или ты там потерял что? Да еще и обижаешься, что зацепили тебя не-

нароком? А коли б он — азиат энтот — пришел к тебе свои порядки устанавливать, ты бы ему что, хлеб-соль поднес заместо пули?.. То-то и оно. Винта у вас — у Лашковых — какого-то главного не хватает. Все норовите белый свет разукрасить, а свой огород бурьяном зарастает... Вы бы его с огорода и начинали разукрашивать. А то далеко тянетесь, рук, пожалуй, не хватит...

— Папаня,— жалобно отнеслась к нему Мария, умоляюще складывая руки перед собой,— не надо, папаня... Человек с дороги... И ранетый он... Не надо, папаня...

— Ладно, ладно,— неожиданно подобрел Махоткин и любовно засветился в сторону дочери,— и пошутить не дозволяется рабочему человеку. Ишь, заступница — матерь божия... Ну, ну — не буду больше. Налей-ка нам еще по одной, помиримся...

— Подожди, тестек дорогой,— длиннопалая ладонь Петра тяжело накрыла стакан перед собой,— рановато нам мириться. Сначала выясним, куда клонишь, за какую программу стоишь. По-твоему, выходит, мировая революция у тебя разрешения должна спрашивать, идти ей или останавливаться? Так, что ли?

— А у кого же ей спрашивать? — Махоткин снова напрягся и потемнел.— Коли для меня ее делали, значит, у меня. Вот я ей и говорю: хватит, охолодись, неувязка вышла. Не хочу больше. Проку никакого нету. Надзиратели только сменились. Да прежний-то надзиратель хоть, Царство ему Небесное, дело знал. А теперя все, вроде тебя, глоткой норовят. И все учеными словами себя обзывают. Раньше шкодник, нынче — мархист, кому ноздри рвали за разбойный промысел — уже кспыприатор, лодырь с ярманки — в революции перьвый человек, а я, как сидел в забое, так и сижу, только получать втрое меньше стал. Потому как развелось вас, дармоедов — дальше некуда.— Он грузно поднялся и слегка обмяк, повернувшись к дочери.— Жаль мне тебя, матушка, сгоришь ты коло сыча этого, не за понюх сгоришь. Только я сторона — сама выбрала. Прощевайте, расстоварищи-комиссары...

Тягостное, прерываемое только редкими всхлипами Марии, молчание, возникшее в доме сразу же после ухода Махоткина, объяснило Василию в сути происшедшего куда больше, чем все слова, которые Петр, ища у него сочувствия, сказал вслед за этим. С обстоятельной поспешностью тот долго толковал ему о классовой борьбе, о пролетарской солидарности, о революционном правосознании, но слова брата не вызвали в нем ни отклика, ни сочувствия, потому что те вопросы, какими озадачил его Махоткин, Василий уже задал себе там, в песках, над распластанным перед ним телом едва оперившегося туркмена.

— Не знаю, Петёк, может, твоя правда.— Он тоже встал и подался к выходу.— Только кровь у всех одинаковая, сколько хошь лей, добра не будет. Крик один будет и беда, да такая, что и тыщу лет не расхлебать. Не держи на меня сердца, я сам по себе хочу, чтобы как у людей: кто как, а я навоевался.

Резко отворотившись от него, Петр как бы раз и навсегда разго-

родил мир между ними на две половины и дал понять, что продолжать беседу более не намерен...

Теперь, глядя на брата, Василий Васильевич не испытывал по отношению к нему ни злорадства, ни мстительного упрека, скорее даже сочувствовал ему и печалился за него сердцем. Но слишком уж нестерпимо больно прошлась по его судьбе та беспощадная сила, какую Петр сейчас олицетворял, чтобы он мог вызвать в себе хоть сколько-нибудь искреннее чувство родства к гостю. «Вы грызлись, а чубы-то, браток, у нас трещали, да». Не сдержавшись, Василий Васильевич укорил было гостя за горько и пусто прожитую свою жизнь, но поддержки не нашел, а поэтому сразу же сник и замкнулся: «Что, в самом деле, счеты сводить! Какая уж там его вина! Да и нет ни за кем никакой вины вовсе. Один бес всех попутал».

Чтобы хоть как-то исправить свою оплошность, Василий Васильевич предложил выпить еще и, не ожидая ответа, кинулся в магазин и вскоре возвратился с бутылкой красного, но дома брата уже не застал, отчего на душе у него сделалось вконец тускло и пакостно: «Значит, не судьба нам сойтись. Так, видно, тому и быть. Один, Вася, помирать будешь, один, да!»

XXV

Грушу хоронили поздней осенью, когда на землю и крыши легла первая изморозь. Двор, сдавленный со всех сторон студеным небом, казался Лашкову каменным мешком, в котором горела посреди желтая свечка гробовой крышки. Она горела тихо, но властно, и не было в мире силы, чтобы погасить ее.

Потом от двери парадного, мимо нее, молчаливыми рыбами поплыли тени. Они плыли по двору, и не было их плаванью ни конца, ни края. Вслед за тенями из парадного стали выбираться голоса, но и они не согрели холодного дворового колодца.

Грушу вынесли, и она замерла на чьих-то плечах прямо против своей крышки. Из окна, сверху, Василий Васильевич видел ее всю — с головы до ног ничью, принадлежащую только себе. Вокруг нее сомкнулось кольцо лиц. Он узнал их всех. Цыганиха и Храмова, Иван Левушкин и его Люба. Никишкин со всем семейством. Меклер и Феня Горева. Они стояли и молчали вокруг нее, и она как бы возносилась над ними и прощала их.

Тишина все сгущалась, стягивая нервную тетиву до отказа, и вот не выдержала — оборвалась-таки: заплакала младшая девочка Никишкиных — Светлана. И, как от искры, все во дворе пришло в движение. Лица закачались в плаче. Но это был плач не над ней — над Грушей. Так плачут о живых, а не о мертвых. Они, это чувствовал, знал Лашков, выливали в плаче всю ту кровоточащую боль, какою обросла его собственная душа перед прощанием с землей и небом.

«Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями.— Радость? Надежду? Веру? Вот ты, Цыганиха, растерявшая все? Ты, Левушкин? Где твой сын-дантист? Ты, безумный Никишкин? Что мы принесли сюда? Добро? Теплоту? Свет? Кому? Меклеру? Храмовой? Козлову? Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово и, может быть, живет еще. Живет! Лева знал, что говорил: «Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже есть сила!»

Василий Васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штабелевский дом, старуху Шоколинист. Черная и крохотная, она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно вырастала, увеличивалась в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он рухнул на подоконник, и, наверное, только земля слышала его последний хрип:

— Господи-и-и...

ЧЕТВЕРГ

ПОЗДНИЙ СВЕТ

I

Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова может вернуться сюда. Он считал этот свой путь до известной всякому москвичу Троицкой больницы последней в своей жизни дорогой. Отсюда, издалека, печально знаменитая Столбовая виделась ему чем-то вроде склепа, из которого уже не было выхода. «Господи,— мысленно сетовал он,— за что мне все это, за какие такие грехи?!»

Машина вырвалась из загородного шоссе, мимо окон замелькали ловкие дачки-домики Подмосковья, рассеченные вдоль и поперек аккуратными грейдерами. Буйный, связанный по рукам и ногам парень, постепенно очухиваясь от наркотиков, натужно замычал, задергался, на искусанных губах выступила пена, а истерзанные видениями кроличьи глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

Эвакуатор — изжеванный жизнью и частым куревом мужичок в изрядно поношенной кожанке — лениво сплюнул себе под ноги и сказал квакающим голосом:

— Ишь, ведь как его выворачивает! Давно такого не важивал. Видно, не жилец, раз в Троицкую.

И еще раз это его восклицание только лишний раз утвердило Вадима в горьком предположении: «Хана, тебе, Вадим Викторович, наверняка, хана». Долгой ледяной жутью свело сердце, что-то там внутри него обморочно надломилось, и он скорее почувствовал, чем услышал себя, свой голос:

— Что, папаша, дрянь мое дело?

— А то как же? — Нет, он, этот жлоб в кожанке, не дал ему, не подарил надежды,— думай, куда едешь. И докончил врастяжку, почти с наслаждением:— В Столбовую.

Больше Вадим и не пытался заговаривать. Какой смысл было ему растравливать себя и свой ужас перед будущим. Он только мысленно, как бы вознаграждая себя за минутную слабость, длинно матерно выругался, добавив в конце к этому: «Сука, сука, сука!»

А тому — нет, не сиделось, не молчалось совсем, его прямо-таки выламывало сладострастным жлобским желанием мытарить и добивать ближнего:

— Раз лекарства не помогли, значит, туда.— И снова с наслаждением, только теперь с особым:— В Столбовую — я. Там таких навалом. Жрут, пьют, баб потребляют. Живи — не хочу! — В нем, в полом нутре жлоба, все торжествовало, и гнилостный запах его зубов витал по фургону насквозь промороженного «рафика».— А я бы их своим манером. Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет знаешь какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол — и ваших нет...

Кажется, еще немного, и Вадим бросился бы на него, но в это мгновение тот неожиданно щедрым жестом выбросил вперед себя едва початую пачку сигарет:

— Кури, малый, а то совсем смерзнешь.

— Не курю.— Исступление сразу схлынуло.— Не привыкал.

— Не воевал, видно, молодой еще.— У жлоба в старой кожанке даже жеваное лицо его обмякло.— Бывало, лежишь в окопе, вша озверела, бабу хочется — в коленках ломит, а затянешься раз-другой, вроде ничего — жить можно. Ты в гражданке кем был?

— Артист.

— Смотри! — Кожанка уважительно заскрипела.— Первый раз артиста эвакуирую. Надо полагать, родня сработала.— И хотя Вадим смолчал, тот по одному ему ведомым признакам понял, что угадал, и, радуясь своей догадливости, подобрел до предела.— Видно, на барахло позарились, опеку оформили, гадье.

— Да нет у меня никакого барахла!

— Тогда — интриги,— победно объявил эвакуатор, искоса определяя блудливым взглядом произведенный эффект.— Факт, интриги! Выходит, сидеть тебе, малый, в Троицкой — не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленые...

Его явно заводило на речь длинную и не менее жлобскую, чем вначале, но в это время машину сильно тряхнуло и после этого не переставало трясти: асфальт кончился, за окнами потянулся проселок. Дома-дачи сменялись упитанными пятистенками с телеантеннами над оцинкованной кровлей. Вялая поземка медленно наметала вокруг них пузатенькие сугробы.

Патлатый снова замычал и задергался, изможденное лицо его потекло радужными пятнами, и Вадим, холодея, с отчетли-

вым отчаяньем отметил про себя: «С такими попаду, тогда — лучше в петлю».

Эвакуатор, в свою очередь, неожиданно потускнел, заскучал быстрыми глазами куда-то в окно и неожиданно мастерски стал тихо высвистывать себе под нос «Хотят ли русские войны». И стало сразу видно, что жлобство его скорее от короткого ума и душевной лености, чем по свойству натуры, что человек он давно выпотрошенный жизнью да вдобавок еще и вывернутый после этого наизнанку, оттого и выглядит таким изжеванным и полым.

Жуть под сердцем Вадима притупилась или, вернее, вошла в постоянное, почти неощутимое состояние, и он обрел, наконец, способность к обычному житейскому размышлению и стал размышлять, и все события последних дней начали выстраиваться перед ним в одну логическую цепь, в один взаимопроницаемый поток.

Еще в ту ночь, когда последний огонек Узловска исчез за срезом оконного проема и сырая ночь вплотную приникла к стеклу, он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Встреча с родней, как она — эта встреча — рисовалась ему в воображении, должна была разомкнуть ту отчужденность, то душевное одиночество, в которые чуть не с младенческих ногтей заключила его судьба. Он надеялся, что через деда и тетку он войдет в прямое, кровное соприкосновение с внешней средой, соприкосновение, так недостававшее ему все эти годы.

Решаясь объявиться у Петра Васильевича, Вадим заранее предполагал возможность конфуза, мало того — готовился к нему. Оттого и осчастливил он деда, едва держась на ногах, оттого и нервничал, и куражился за столом, что видел, чувствовал — не получается сердечной завязки, и возникшее вдруг семейственное его с ними единение — только до порога. Им словно бы выпало существовать по двум противоположным сторонам некоего треугольника, встретившись в верхней точке которого, у них уже недоставало ни сил, ни желания сколько-нибудь удерживаться на этой самой точке. Разумеется, можно было сделать еще одну попытку связать несвязуемое, но бессмысленность ее — этой попытки — представлялась ему настолько явной, что одна мысль о ней вызвала в нем болезненное томление и протест.

Почти всю сознательную жизнь Вадима окружали посторонние люди: посторонние друзья, посторонние приятельницы, затем посторонняя жена и ее посторонние родственники. Все они имели к нему какое-то отношение или касательство, и порою самое заинтересованное, но никто из них никогда не стал для него больше чем просто другом, приятелем, женой, жениным родственником. Жизнь их текла сама по себе, никак непосредственно с его жизнью не сопрягалась.

До тридцати лет в суете и возбуждении актерской маеты Вадиму даже и задумываться по этому поводу не приходилось. Но

однажды в тусклом номере гостиницы в Казани он, пробужденный тяжким и сумеречным похмельем, вдруг увидел себя со стороны маленьким, затерянным и жалким существом, до которого никому, ну вовсе никому на свете нет дела. И он, сжавшись, как бывало в детдоме, под одеялом в комок, заплакал, вернее, даже не заплакал, а заскулил, словно брошенный по ненадобности щенок. Именно страх той казанской ночи и погнал Вадима к забытому было уже порогу, где его давным-давно никто не ждал и где он так и не изведал облегчения. А дома в Москве Вадима ждала записка: «Я у мамы. Приедешь — позвони». И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала в нем приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их — жены и тещи — нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился: «Дуры!»

Женился Вадим беззаботно и неожиданно для самого себя. Как-то в пьяном угаре и толкотне по разномастным компаниям перед ним обозначились влажные, миндального цвета и, как ему тогда показалось, единственные для него глаза. Утром, уткнувшись в его плечо, она сквозь судорожный плач умоляла не бросать ее хотя бы одно время, с тем, чтобы ей легче было объяснить матери свое первое ночное отсутствие. После недолгого сопротивления он сдался, подумав: «А почему бы и нет?» С тех пор слезы стали ее против него оружием. Слезы помогли ей заставить его зарегистрироваться с ней, слезами замаливала она свои более чем мимолетные измены, в слезах растворяла частые ссоры и обиды. Иногда Вадиму становилось невмоготу, и он, решаясь, наконец, прощально складывал в чемодан самые необходимые для холостяцкого быта пожитки. Но стоило ему взяться за ручку двери, как слезная истерика проникала его брезгливой жалостью, вынуждая беспомощно опускать руки и уныло сдаваться.

Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее. Его бесили только победительные улыбочки их общих приятелей и знакомцев, с которыми она флиртовала. Чаще всего — людей пустых и никчемных. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактерность. Но после происходившего вслед за этим бурного объяснения все повторялось сначала.

Теперь же, небрежно, ребром ладони отодвинув записку жены в сторону, Вадим даже не затруднился вопросом, когда и с какой целью она — эта записка — здесь оставлена. Все, что стояло или могло стоять за ней — этой запиской,— виделось ему сейчас таким пустячным и малозначительным, что, едва вспомнив посещавшее его в подобных случаях удушливое исступление, он подивился своей столь острой в прошлом чувствительности: «Боже мой, какая, право, блажь все это!»

Сейчас ему казалось, что в сравнении с той головокружительной пустотой, какая заполняла его в эту минуту, с ее тошнотворным жжением и нестерпимостью, все на свете выглядело назойливо многословным и необязательным. Он чувствовал себя че-

ловеком, которому с грехом пополам, но удалось дойти по узенькой жердочке до самой середины пропасти, а двинуться дальше у него уже не хватает ни дыхания, ни воли. И поэтому все, что происходило в эту минуту по обеим от него сторонам, его уже не интересовало, не могло интересовать. Для того, чтобы погибнуть, ему надо было только посмотреть вниз, то есть в себя. И он не выдержал этого соблазна. И посмотрел.

Ах, как они легко, без сопротивления подались, эти чудо-клавиши газового божества!

Вадим лег на тахту, заложил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным, а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуточку приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в Сокольниках на карусели, и, наконец, блаженное забытье, как во хмелю, только гораздо полнее и удивительнее.

Первое, что он почувствовал, определив над собой больничный потолок, был стыд. Обморочный, удушливый, от которого его почти тошнило. Он было рванулся из своих пут, но, накрепко прибинтованный к койке, лишь вскрикнул от унизительного бессилия и уже больше не умолкал. Он кричал беспрерывно целые сутки, кричал, заглушая собственную к себе брезгливость, а когда затих наконец, судьба его была решена: во всех входящих и исходящих он уже значился тяжелобольным.

И вот теперь его везли в санитарном «рафике» в загородную больницу, и желчный эвакуатор в кожанке насвистывал себе под нос «Хотят ли русские войны». Он насвистывал этот мотив с таким остервенением, как будто впрямь хотел убедить кого-то невидимого в том, что — нет, не хотят.

Машина медленно взяла подъем, круто развернулась, и сквозь завесу заметно окрепшей метели Вадим увидел приземистое, казарменного вида здание, вокруг которого смутно угадывалось множество флигелей и пристроек. Забранные решетками бельма окон слепо вбирали в себя рассеянный свет вьюжного дня, не испуская обратно в мир ни звука, ни проблеска.

— Дома, малый! — сразу же ожил и засуетился эвакуатор,— вылезай. Сдам тебя по документу, и ступай себе в палату, заваливайся на боковую. Ешь да спи, вот и вся теперь твоя работа. Ах, завидки берут! — И ясно было — не врал, действительно завидовал, даже раскраснелся слегка от умиления перед такой перспективой.— Нет, ей-Богу! А теперь топай поперед меня. Этого,— он коротко кивнул через плечо,— потом сами возьмут.

В приемном покое эвакуатор во всем выказывал себя своим здесь человеком, по-хозяйски расхаживал из одной комнаты в другую, собственным треугольником открывая и закрывая дверь, шумно со всеми здоровался, а когда получил, наконец, сдаточную расписку, даже расчувствовался перед Вадимом:

— Эх, малый, жизнь наша бекова! Солдат лежит — служба идет. Где ни жить, лишь бы с хлебом. Какие твои годы! — Он снис-

ходительно пожевал дряблыми губами и сыпанул еще от полноты сердца.— Как говорится, от сумы, от тюрьмы! Где наша не пропадала! Век живи, век учись, а помрешь дураком! Кто не был, тот побудет, а кто был, тот хрен забудет! В общем, как в песне поется: «Приди, приди ко мне, свобода золотая, я обогрею тебя ласковой душой»!

Он выхватил было из кармана сигареты, но, видно, вспомнив, что Вадим не курит, сунул их обратно, отчаянным манером махнул рукой, бодренько засеменил к выходу и вышел, и обитая войлоком дверь мягонько зашлепнулась за ним. Последняя ниточка, хоть и призрачно, но связывавшая Вадима с т е м миром, оборвалась, и он остался наедине с э т и м.

Когда Вадима ввели в ординаторскую, врач, занятый изучением его истории, не поворачиваясь к нему, молча кивнул на стул, стоявший чуть поодаль от стола, продолжая в то же время заниматься своим делом. Птичий профиль его смуглого лица, четко выделяясь на фоне оконной белизны, только подчеркивал вьюжную бесприютность январского дня.

Чтение чужой жизни, видно, доставляло ему большое удовольствие: просмотрев очередную страницу, он снова и снова возвращался к ней, то и дело поклевывая авторучкой лежащий сбоку от него раскрытый блокнотик, и при этом все похмыкивал, все покашливал задумчиво и со значением. Наконец, он захлопнул скоросшиватель, бережно, предварительно погладив, отодвинул дело в сторону и, повернувшись к Вадиму, ласково отрекомендовался:

— Меня зовут Петр Петрович.

— Лашков,— Вадим поперхнулся — уж слишком необыкновенным оказалось у доктора лицо: узкое, усеченное к носу, с широко и косо расставленными глазами, оно позволяло ему, и не поворачиваясь, наблюдать собеседника,— Вадим Викторыч...

— Так, Вадим Викторович, так.— Тот говорил тихо, вкрадчиво, как бы заранее предполагая в пациенте человека тяжело больного и опасного и тем самым давая понять, что лично он, Петр Петрович, готов к любым неожиданностям.— Весьма рад с вами познакомиться, Вадим Викторович.

Но по мере того как в разговоре выяснялось, что перед ним человеческая особь в твердом уме и ясной памяти, птичье око доктора тускнело, речь обесцвечивалась, движения становились вялыми и машинальными. Резкое лицо его принимало все более обиженное выражение. Он словно бы искренне скорбел за всю московскую психиатрию, которая подсунула ему вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий.

В конце концов, откровенно пренебрегая объяснениями пациента, доктор жалобно отнесся в сторону двери.

— Нюра!

В проеме двери в смежную комнату тотчас выросла высокая костистая старуха в подшитых валенках и, не говоря ни слова,

решительно двинулась на Вадима, повелительным кивком подняла его и, открыв своим ключом дверь перед ним, легонько вытолкнула в палату.

II

Только сейчас, после вчерашней приемочной суеты и полугорячечного сна на новом месте, Вадим как следует осмотрелся. Отделение представляло собой широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались низкие сводчатые палаты. От коридора их отделяла массивная, квадратной формы колоннада, так что сообщение между ними было полным и постоянным. Одна из палат, приспособленная под столовую, считалась общедоступной, и здесь, в перерывах между едой, шумно колготило нечто вроде клуба: резались во все настольные, обсуждали перспективы на выписку, мимоходом решая вопросы внутреннего и планетарного порядка.

Вадим потолкался было в общем гомоне, но, видно, еще не принятый вполне за своего, не нашел собеседника, а потому уж через минуту повернул к себе, без особого, впрочем, огорчения или обиды. Сосед Вадима по койке — черный, стриженный наголо парень, с резко выдвинутым вперед тяжелым подбородком — поднял на него влажные, цвета сосновой смолы глаза, доброжелательно улыбнувшись ему, и снова уткнулся в клеенчатую тетрадку, которую заполнял быстрым и мелким почерком.

Стоило Вадиму лечь и закрыть глаза, как гулкие видения недавнего прошлого обступали его со всех сторон. То грезилось, будто собирает он бригаду от Якутской филармонии, а Власов отказывает ему в красной строке, то являлась вдруг теща Александра Яковлевна, которая, по своему обыкновению, обвиняла его во всех смертных грехах, кстати и некстати поминая о загубленной жизни дочери, то садился у него в ногах дед Петр и с молчаливой укоризной покачивал головой, глядя на непутевого внука...

— Слушай сюда, паря,— кто-то бесцеремонно расталкивал его.— Проснись, землячок!..

Размытое сонным пробуждением, перед Вадимом выявилось лицо. Лицо все более и более определялось, а определившись уже совершенно, оказало себя улыбчивым удивлением: что, мол, не узнаешь, брат? Все обличье сидевшего напротив Вадима человека обозначало в нем индивида дотошного и в жизни весьма и весьма поднаторевшего. Действительно, где бы ты ни встретил такого: на корабельной палубе, у автовокзала или перед случайным пульманом,— сразу и безошибочно определишь принадлежность его к беспокойному и отчаянному племени бродяг. Прежде всего, людей, подобных ему, отличает эдакая внутренняя взбудораженность, эдакое порывистое возбуждение, которое сообщает их облику выражение неуверенности и бесшабашия одновременно. Они

словно бы катятся с горы, но спуск этот, захватывающий сам по себе, стекает в плотный и всегда обманчивый для них туман, а что там — за этим туманом, не знает даже и сам бес, толкающий их с этой горы. И вот с этим самым вопросом — пан или пропал? — в оголтевших от сомнений глазах они и мечутся у всех, какие только есть, доро́г нашего никем не меренного и не считанного отечества. И куда ни закинь его, в любую Тмутаракань, в медвежий угол любой, в пески, где и верблюд считает себя ссыльным, он — наш бедолага — семью кровями-потами изойдет, а все-таки отвоюет себе место под солнцем. Отвоюет и уйдет. Уйдет, потому что им уже властно овладела мысль, что есть места лучше этого, где его, и это наверняка, ждет действительно достойная жизнь. Вот и носит такого до седых волос по свету — из конца в конец долгой страны — в поисках все лучшей и лучшей доли. А где она — эта его доля — ведомо, видно, одному Господу Богу.

И сейчас, при взгляде на неожиданного собеседника, в памяти Вадима, из-под наслоений множества лиц и голосов, стало четко проступать это широкое бровастое лицо, а первые сказанные им слова только закрепили вдруг возникшее воспоминание.

. . . .

Когда, после часовой толкотни у кассового окошка, Вадим вернулся в общежитие, там уже стоял дым коромыслом: штукатуры и маляры пропивали аванс. Митяй Телегин — щербатый мужик в синей сатиновой рубахе нараспашку,— поигрывая по сторонам свирепыми бровями, с усилием одолевал пьяное разноголосье:

— ...Прихожу, говорю: «Я тебе любой колер наведу. Хочешь — клеевую, хочешь — масляную, хочешь — под дуб разделаю за милую душу. В штукатурке опять же промашки не дам... Оборудую так, что пальчики оближешь. Что же ты, говорю, сукин сын, меня на земляных держишь, распахнуться душе не даешь?» А он мне говорит: «А ты,— говорит,— сто пятьдесят целковых подъемного харчу получил? Получил. Вот и отрабатывай,— говорит,— где поставлен. Эдак вы все,— говорит,— начнете выкобениваться, так я не токмо что план, а по миру пойду».

Он пошарил тоскующими глазами вокруг, ища сочувствия, но, занятые своими разговорами, все слушали его вполуха. Маляр безнадежно махнул рукой — чего, мол, с вами зря и язык чесать? — и пошел между койками к двери, истошно выкрикивая на ходу:

— Вербовщик, гаденыш, золотые горы сулил, а вышло по семь бумаг на рыло и — крышка!.. Поди-ка выкинь шесть кубиков, взвоешь!.. Вот-те и заработки!.. А из деревни пишуть: крыша текеть! А чем я ее залатаю? Портками?.. Куда как нехорошо получается...

Митяй, петляя, шел к выходу, а из другого конца барака, где обособилось несколько коек бывших лагерников, вслед ему нестройный хор разухабисто горланил на мотив «Две гитары за стеной жалобно заныли...»:

Дядя Ваня на гармони,
На гармони заиграл.
Заиграл в запретной зоне —
Застрелили наповал.

О покое в ту ночь нечего было и думать. Вадим вышел, постоял у порога, оглядываясь вокруг, а затем решительно двинулся в поле: стройка газового завода с выдвинутыми вперед, наподобие аванпостов, общежитскими бараками вплотную примыкала к артельным угодьям. Оттуда тянуло улежавшимся сеном и полынью. Запахи еще не тронутой скреперами земли сами оберегали свою неистребимость от асфальтовой гари и известковой горечи стройки.

Уткнувшись головой в первую же копну, Вадим словно окунулся в другой, совсем недавно потерянный им мир. Его, выросшего в раздельной бесприютности башкирского юга, угнетала здешняя скученность дорог, строений, людей, вызывавшая в нем непонятную ему самому раздражительность, даже озлобление. Там — в детдоме, а потом в ФЗО он представлял себе свою будущую самостоятельную жизнь иной, никак не похожей на эту. По рассказам бывалых погодков здешние места рисовались Вадиму землей обетованной, где перед гостем из-за Урала открывается миллион возможностей стряхнуть с себя, как дурной сон, опостылевшее однообразие степи. Но действительность в два счета развеяла его иллюзии. Попав на строительство завода, он оказался среди людей, съехавшихся сюда чуть ли не со всех концов страны и не связанных между собой ничем, кроме желания заработать на обратную дорогу. Профессия в договоре не указывалась — оргнабору это было невыгодно: вербованный мог потребовать работу по специальности — и Вадиму, с его пятым разрядом, едва-едва посчастливилось устроиться подсобным штукатура. Так что, при всей его трезвенности, ему редко выпадало сводить концы с концами. Но, по правде говоря, его удручало не столько безденежье,— разносолами на коротком своем веку он не был избалован,— сколько эта вот ожесточающая душу сутолока, которая день ото дня затягивала его в свой оголтелый круговорот, не давая опомниться и хоть как-то определить себя в окружающем. И сейчас, лежа у копны июльского сена, Вадим со сладостной истомой вспоминал когда-то без сожаления брошенную им зябкую башкирскую степь с ее блеклыми тонами и коротким летом. И то, что раньше казалось ему скучным и постылым — долгие зимние ночи, стылые ветры осени, безлюдье,— выглядело теперь вещим, мудрым, исполненным значения...

Где-то совсем рядом зашуршала трава.

— Кто тут живой отсыпается? — Не поворачивая головы, Вадим по голосу узнал Телегина.— Принимай в канпанию!.. Никак ты, Вадька.

Вадим не ответил: сейчас ему его одиночество было дороже телегинского соседства. Но тот все же сел рядом, зажег спичку, затянулся.

— Эх, ведь какая благодать кругом.— Речь его лилась трезво и благостно.— Хлеба хрустят, тварь всякая стрекочет, земля в духу покоится... И середь всего этого пьяный человек, навроде дерьма, шалается, святое место поганит... Так все в нутрях и переворачивается. Материться и то — лень... В деревню бы сейчас. Да по ранней зорьке, кваском опохмелившись, косу на плечи...

— И очень просто.

— Просто! А в пачпорте кирпичик: завербован. Вот и сунься с этой печаткой к председателю. Мигом в райотдел отправит.

— Не лез бы.— Вадим грубил намеренно, думал, может, отстанет.— Все рубля подлиннее ищете.

— Да мне, друг-человек,— Телегин сразу заерзал на месте, заволновался,— чтоб половину дырок залатать, рупь с версту нужен. Не напечатали еще такого. А только и дома сидеть никакого резону нет. На трудодень обещанками платят, одна кормежка что с усадьбы. Много ли с нее прокорму? Вот и разбредается мужик хоть малую деньгу зашибить... Да и деньга-то, ведь сказать, стыд один...

— Пьете вы все.

— Ты вот не пьешь, много ль в сберкассе скопил?.. То-то... Пропивай, не пропивай — все одно в кармане шиш. Так хочь душу повеселить.

— Ничего себе веселье. В прошлую получку троих «скорая помощь» увезла.

— Усталый народ,— примирительно вздохнул Митяй.—Выпьет, злость наружу. Вот и режутся... С непривычки оно, конечно, в диковинку... Сам-то ты откуда?

— Из Башкирии...

— Ишь ты, в какую даль забрался! Степя там у вас?

— Степя,— в тон ему ответил Вадим и еще раз повторил уже мягче,— степя.

— И ночь, говорят, длинная?

— И ночь... И день...

— Скота много... Опять же — нефтя.

— Хватает.

— Чудно!

— Чего ж?

— Уж больно Расея велика. У нас вот — в Тульской области, зайца встретить — редкость... Рыба и та вышла. Стребили. Всю как есть. Так, дурочка иногда попадается, а чтоб по-настоящему — ни в жисть.

— Соскучился, возьми билет и дуй к нам. Там этого добра пропасть.

— Туда одна дорога во что обойдется, все спусти — не хватит. И опять же от дома далеко... Ребята у меня... Шестеро.— И определил мечтательно: — А ничего бы...

Этим своим «ничего бы» Телегин словно приобщил себя к

сегодняшней его тоске, вызвав тем самым в нем чувство ответного сочувствия:

— У нас там широко. Сто километров вроде как здесь один пролет поездом.

— Ишь ты...

— И народ широкий... Добрый народ...

— Смотри-ка...

— И тишина кругом...

— Дела-а...

И сейчас, будто продолжая их тогдашний разговор, Митяй восторженно мотнул сивой головой:

— Дела-а... А я и смотрю, будто знакомый... Ить сколько годов, а признал! — Он по-ребячьи радовался встрече, возбужденно ерзая по соседской койке, то и дело подталкивая того локтем, стараясь и его приобщить к своему торжеству.— Не всю, значится, память я пропил, осталось чуток!.. Эх, так и текет жись без передыху... А меня поваляло-потрепало, да... Как отбился я тогда от деревни, так досё и замеряю Союз подошвой вдоль и поперек... Жена еще до реформы денежной померла, дети поопережениличь да и поразъехались кто куда, ищи их теперь... Да и ни к чему, все одно забыли... А я из вербовки в вербовку, как из ярма в ярмо... А сюда,— от напряженного смущения у него даже пот на лбу выступил,— я по пьяному делу попал... Зашибил я, понимаешь, хорошую деньгу в Тюмени на нефтях, ну и гульнул здесь проездом по буфету... Ну и задел одного ненароком... Слыхал Тюмень-то? — Телегин намеренно переводил разговор в другое русло.— На подсобке и то по триста гребут...

Года два тому, прельстившись шальным заработком и красной строкой в афише, Вадим мотался со случайной бригадой по заиртышским болотам, озаренным факелами газовых фонтанов. Деревянные коробки поселковых клубов распирало гремучей матерщиной и хмельным перегаром, в грязных и холодных гостиницах круглые сутки стоял дым коромыслом, а дорога всякий раз прокладывалась наново. Так что после, на отдыхе в Крыму, при одном воспоминании об этой гастроли его пронзительно и зябко передергивало. И поэтому теперь, слушая телегинские байки о тамошних кисельных берегах, Вадим про себя безошибочно определил, во что обошлось тому его похмельное ожесточение: «Как он еще там, в аду этом, совсем не озверел, разговаривать не разучился?»

Они проговорили до самого обеда, вернее, говорил один Телегин, а Вадим только слушал, но, слушая, он живо соучаствовал в монологе Митяя, и, наверное, поэтому ему казалось, что и сам он не умолкает ни на минуту.

Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку:

— Марк. Крепс. Режиссер. Пошли обедать.

Высказанное соседом с такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, пронизав его к новому знакомцу ответным доверием и приязнью: «Чудак, вроде, но славный, светится весь».

III

В преддверии уборной тяжелыми пластами плавал табачный дым, сквозь который едва проглядывали смутные лица. Курить Вадим начал неожиданно для самого себя. Как-то машинально взял протянутую Марком сигарету, неуверенно затянулся, а спохватившись, решил выдержать характер и докурить до конца. С тех пор он стал постоянным обитателем клозетного предбанника. Дымил он почти беспрерывно, с каким-то сладострастным остервенением, словно стремился наверстать все недокуренное за предыдущие тридцать пять лет. Дым сообщал ему чувство горького успокоения, и действительность после каждой затяжки выглядела менее пустой и беспросветной.

Рядом с ним, тихо одуряя себя лежалым «Прибоем», два старика торговали друг у друга пальто. Пальто существовало там, в том мире, и, судя по всему, ни одному из них не суждено было его носить, но, убежденные в скором освобождении, они отстаивали каждый свою выгоду с предельной отдачей.

— Оно у меня на ватине, довоенном еще.— Сизые щеточки бровей над вылинявшими глазами многозначительно сдвигались к переносице.— Еще лет двадцать проносишь. Ты, главное, садись на одиннадцатый номер и прямо до Черкизова, а там Гавриков проезд спросишь. Дом четыре. Во дворе меня всякий знает. Тебе за шестьдесят пять отдам, дешевле грибов. Не прогадаешь.

— Это еще посмотреть надо. Шесть с половиной бумаг большие деньги! За шесть-то с половиной нынче и новое можно купить любо-дорого. Скажешь тоже, шесть с половиной! Бери шесть и не мерзни. К тебе добираться,— не меньше рубля изведешь...

В забеленном до самой фрамуги стекле перед Вадимом неожиданно проявилось тихое лицо Крепса:

— Дымишь?

— Не спится.

За те немногие недели, что Вадим провел здесь, он узнал о Крепсе все или почти все. Из театра, где он безуспешно пытался ставить, что ему хотелось и как хотелось, его, после очередного выступления в Управлении, отправили на экспертизу, откуда он уже обратно не возвратился. И то грустное недоумение, с каким бывший режиссер воспринимал все случившееся с ним,— недоумение перед непробиваемой людской глупостью — вызывало у Вадима по отношению к нему чувство бережного покровительства.

— Все думаешь? — засветился он в грустно мерцавшие сквозь дым глаза Крепса.— Химеры одолевают?

— Уж так мы устроены, Вадя,— крупный профиль Марка

четко обозначился на матово блистающем стекле,— нам нельзя не думать. Мыслящая оболочка нашего мозга очень тонка, а там — под ней — бездна. Стоит человеку хотя бы на мгновение перестать думать, прервать цепь размышлений, пусть самых пустяковых, и сознание устремляется сквозь этот разрыв в бездну. Так начинается сумасшествие. Но такое случается редко. Спасительный инстинкт самосохранения не позволяет нам прерваться. И мы мыслим. Неважно, о чем. О теории относительности или премиальных. Главное, не прерваться. Спасение — в беспрерывности.

— О чем ты все пишешь, Марк? Если не секрет, конечно...

— О значении врожденного чувства вины в человеке.

— А если яснее?

— Как бы это тебе объяснить, Вадя... Когда в детстве меня в первый раз приняли за еврея, я пришел домой и спросил у отца: «Разве я еврей?» Он ответил: «Да, мой мальчик. Ты — еврей». Но я-то знал, знал доподлинно, что мой отец чистокровный немец, а мать армянка. И когда через много лет я спросил его, зачем ему это было нужно, он сказал мне примерно следующее: «Ты должен был пройти через это, чтобы стать человеком. Человеком, понимаешь?» И я понял, понял навсегда, что, пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка... Вот приблизительно то, чем занимаюсь я в своих записках. Но это — популярно... Попробуем заснуть, Вадя, может быть, получится?..

— Покурю...

— Смотри...

Вадим завидовал Крепсу и таким, как Крепс. Встречаясь с людьми наподобие Марка, он завидовал их внутренней чистоте, их вере в разумность всего происходящего, их ве́щей целеустремленности, то есть всему тому, чего с некоторых пор стало недоставать самому Вадиму. После хмельной суматохи молодости к нему вдруг пришло возрастное похмелье, и Вадим увидел себя со стороны тем, чем он и был на самом деле: заштатным эстрадником тридцати пяти утяжеленных разгулом лет. Его сокурсники по театральному училищу уже занимали положение в громких труппах, блистали званиями и успехом, а он все еще мотался по стране со случайными бригадами в погоне за шальными деньгами, откладывая серьезную работу на потом. Но теперь-то Вадим определенно знал, что это самое «потом» обошло его стороной, что ему ничего не удастся переиначить в своей судьбе и что, наконец, занимался он до сих пор совсем чужим для себя делом.

— Что, не спится? — Вадим знал, что устойчивая бессонница вконец изводила Крепса, и поэтому всякий раз проникался его мукой.— Покури, может, заснешь.

— Бесполезно...

— Пробовал?

— Не помогает.

— Все хочу спросить,— ровное дружелюбие Марка настраивало на откровенность,— только без трепа.

— Попытаюсь.

— Если бы тебе дали театр, ты бы взял меня?

— Хочешь правду?

— Валяй!

— Нет, не взял бы.

— Спасибо за откровенность... Вот и договорились.

— Видишь ли,— Крепс легонько кончиками пальцев коснулся его плеча, как бы извиняясь за невольную свою откровенность,— ты слишком жалеешь себя. В моем театре,— он со значением выделил это самое «в моем»,— актер должен будет жалеть других, себя же в последнюю очередь... Скорее, даже совсем не будет... Цель искусства, наверное, все-таки самоотдача, а не самоутверждение... Ты, Вадя, наверное, первоклассный актер в общепринятом смысле... Но мне понадобятся не столько актеры, сколько мыслители, даже страдальцы...

— Так научи!

— Этому нельзя научить, это или приходит само по себе или не приходит вообще.

— Что же нужно сделать для того, чтобы это пришло?

— Нужно успокоиться.

— У меня нет времени.

— Время здесь ни при чем.

— Что же «при чем»?

— Наверное, сердце.

— Ему тоже некогда.

— Тогда не жалуйся.

— Иди ты к черту...

— За все надо платить, Вадя. Ты хочешь даровых откровений, а за них надо платить и часто — всем. Одно из двух: или магический кристалл, или счет в сберкассе. Сочетание исключено. Прости, но ты сам...

— Валяй, валяй...

Он великодушно покивал, чувствуя, как снисходительное безразличие уступает в нем место острой, но еще не объяснимой для него горечи...

— Но в тебе есть немалая толика прекрасного самоедства. И это тебя в конце концов спасет.

— Поздно... Мне уже тридцать пять.

— Самоеды, вроде тебя, до старости — дети. Считай, что ты в любую минуту можешь начать все заново.

— И жизнь?

— Разумеется! Можно просуществовать век, в котором не наберется и года жизни, и можно прожить год, который вберет в себе целый век... От суеты только надо отряхнуться, от душевной праздности...

— Как?

— Здесь советовать — пустое дело. Каждый приходит в себя по-разному.

— Вот ты, к примеру?

— Видишь ли, Вадя, есть такая коротенькая притча: Шли двое по лесу. Долго шли. Наконец, один не выдержал: «Заблудились»,— кричит. Другой успокаивает: «Пошли дальше. Я дорогу знаю, выведу». Первый поверил и пошел. Шли они, шли, но все-таки выбрались. Тогда первый и спрашивает: «Коли ты дорогу знал, что же мы так долго плутали?» А другой ему отвечает: «Важно не дорогу знать, а идти».

— Выходит, и ты не знаешь?

В смущении улыбка Крепса казалась еще более искательной и виноватой:

— Нет, Вадя, не знаю... Иди — вот и все, что я могу тебе посоветовать...

— Из моего леса нет выхода.

— И все-таки лучше иди.

— Было бы куда...

В зеркале окна, размытые тусклым светом коридорного плафона, безмолвно маячили две молчаливые фигуры, затем одна из них растворилась в дыму, и, оставаясь наедине с собой, Вадим с отходчивой горечью заключил про себя: «Некуда мне идти, Маркуша, некуда, да и незачем!»

IV

Суббота — день свиданий. С утра в палатах царило нервное оживление: освобождались от остатков прошлых передач сумки, под наблюдением санитаров сбривалась недельная щетина, затасканным пижамам придавался посильный лоск. Каждый, даже из тех, кого никто не навещал, хотел выглядеть в этот день щеголем и весельчаком.

По отделению расхаживала в своих знаменитых, сорок последнего размера валенках старшая сестра Нюра, прозванная здешними старожилами «тетей Падлой», и, вяло ворочая обвислой челюстью, покрикивала:

— Живей, ребята, живей! Чтобы кровати по ниточке! Как в санатории! Из тумбочек все вон! Прогулка, оправка и шагом марш на свиданку! Разговорчики!

Первое время Вадим еще втайне надеялся, что однажды дежурный санитар выкликнет и его фамилию, но проходила суббота за субботой, а никто из друзей или знакомых не спешил напомнить ему о себе. И он перестал ждать. Жизнь являла ему наглядное доказательство непрочности застольных дружб. Что же касается жены, то его с нею уже ничто не связывало. Отказавшись взять Вадима из больницы, она сама поставила точку в их недолгих и малопонятных и ей и ему взаимоотношениях.

Поэтому, когда однажды от входных дверей пошла гулко раз-

множаться по палатам его фамилия, у Вадима удушливо засосало под ложечкой: «Кого еще принесла нелегкая? Отстали бы уж, наконец, совсем!»

Долгими коридорами его вместе с другими провели в полутемное сводчатое помещение, где за квадратными четырехместными столами уже размещались первые посетители.

И не успел Вадим толком оглядеться, как из-за стола в дальнем углу поднялся и, чуть покачиваясь, пошел к нему навстречу давний его приятель и собутыльник Федя Мороз.

— Дедюк,— заячьи глаза его, подернутые хмельной поволокой, любовно увлажнились,— здравствуй! — Он грузно обвис у Вадима на руках.— Как же это ты, Вадя, а? Даже знать не дал. Выходит, и во мне разуверился? Я тебе — друг или нет?

И хотя Вадим особо не заблуждался по поводу пьяных Фединых излияний, на сердце у него стало ровнее, и мир несколько раздвинулся перед глазами вширь и вдаль: «Не все, значит, забыли, помнят».

С Федором Морозом жизнь столкнула его случайно в театральном училище на вечере встречи с литинститутовцами, где тот в очередь с однокурсниками читал свои стихи. И не то чтобы стихи его очень уж пришлись по душе Вадиму — стихи как стихи, ни хороши, ни дурны, расхожего образца средней руки,— нет, просто было в этом лобастом, стриженном под нулевку парне, в его манере держаться — сжатые кулаки в карманах видавшего виды пиджака, ноги широко расставлены, голова боксерски выдвинута вперед — что-то такое, от чего на душе становилось увереннее и тверже.

Потом они вдвоем бродили всю ночь арбатскими переулками, и Федор, вперемешку со стихами, поведал Вадиму тогда еще довольно короткую, но пеструю историю своей жизни.

Мальчишкой оставшись без родителей, он определился в мореходное училище, откуда ушел в первую кругосветку. Два года проплавал на морских извозчиках, повидал свет и людей. Еще в детстве «ушибленный» литературой парень в свободные от вахты часы изводил бумагу рублеными виршами под Киплинга и Багрицкого. Почти без надежды на успех послал их вместе с заявлением в литинститут и, неожиданно для самого себя, был принят...

— Вот так,— закончил тогда Федор свою исповедь и скосил в его сторону круглый, блистающий доверчивым озорством глаз,— я и назвался груздем.— И звучно продолжил: «Ураган матросов не пугает. Нет! Они сжимают кулаки. Судно только крысы покидают. Только крысы, но не моряки».

Сначала они встречались от случая к случаю, но каждая следующая встреча все более их сближала, и вскоре им уже трудно было обойтись друг без друга.

Успех к нему пришел скоро и надолго. Его охотно печатали. От предложений, причем самых лестных, не было отбоя. Но чем громче становилась популярность Федора, чем доступнее давались

ему публикации, тем резче обсекалось его когда-то круглое добродушное лицо, заметнее темнели глазницы. Все чаще и чаще он стал запивать мертвую, пока, наконец, это не стало его бедой и болезнью. Дружки и приятели потихоньку от него отпадали. Один за другим отпали все. Федор остался в одиночестве.

Тяжелый, с мертвым лицом, он неделями пластом валялся на раскладушке, поднимаясь только затем, чтобы выпить и снова лечь. Болтал какой-то вздор, но и сквозь этот вздор вдруг блаженно прорывалась порой источавшая его боль.

— Не то, не так, Вадя, слова не те... Кристалла во мне не оказалось... Того самого... Чтобы встать однажды и просто произнесть: «И зло наскучило ему...» Наскучило!.. Каково?.. А!.. Умели поручики высказываться... А, впрочем, бред... Налей, милый, не ругай меня, ведь я не клубный пижон...

Постепенно он сходил на нет, пока не замолчал совсем. Что-то переводил, что-то печатал из старья, прирабатывая потихоньку около эстрады и рекламных бюро. Последние годы они виделись редко, говорить им было уже не о чем, и каждый из них, занятый своими заботами, тотчас забывал о встрече. Оттого, слушая сейчас гостя, Вадим никак не мог отделаться от ощущения виноватой неловкости перед ним за недавнюю свою отчужденность.

— Понимаешь,— Мороз между тем заметно трезвел и подтягивался,— за что-то мы платимся, Вадя. За тяжкий какой-то грех. Там, внутри нас, пустота. И не залить нам этой пустоты ни спиртом, ни ожесточением. Сами в себе задыхаемся. Потому у нас ничего и не получается. Крик иногда кой у кого выходит, а настоящего, чтобы на века,— нет. Вот и «сублимируемся» потихоньку, кто как может. Кто бабами, кто, так сказать, обчественной суетой, кто доносами...

Воспринимая его вполуха, Вадим время от времени поглядывал в сторону соседнего с ними стола, где рядом с аккуратным — реденький и словно бы светящийся нимб седой поросли вокруг розовой макушки — старичком, которого ему мельком уже приходилось замечать где-то в лабиринтах соседних палат, сидела девушка лет двадцати-двадцати двух в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета. Девушка держала в своих остреньких ладошках пухлую руку старика, и они ласково и доверительно о чем-то беседовали. У нее было чистое, не отмеченное какой-либо определенной чертою лицо, но едва она начинала улыбаться среди разговора, узкие, близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием, и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер. Порою девушка, перехватывая взгляд Вадима, на мгновенье замирала, потом, упрямо вскидывая подбородок, стряхивала оцепенение и отворачивалась.

Машинально кивая в такт Фединой речи, Вадим почти не слышал друга в ревнивой боязни избыть, растратить в слово трепетное и все нараставшее в нем предчувствие какой-то скорой и праздничной перемены в своей жизни.

— Не оказалось во мне того самого, магического, Вадя, кристалла,— Мороз уже не замечал ничего вокруг, говорил скорее для себя, чем обращаясь к Вадиму,— а зря бумагу оскорблять не хочу. Без меня хватает. Уж лучше репризы разговорникам сочинять, по крайней мере, совесть не мучает. Хочешь,— тяжело усмехнулся он в пространство перед собой,— байку тебе выдам? — И, не ожидая ответа, невидяще повел глазами вокруг.— В самый голодный год встретил один большой литначальник старую поэтессу в самом что ни на есть плачевном состоянии. Ну, и отдал ей от широкой души, так сказать, со своего барского плеча особую карточку для потребления в столовке самого первого разряда. На, мол, пользуйся и благословляй меня по гроб. Сам-то он, конечно, другую получил. Прошло время эдак подходящее, снова встречает благодетель старуху. «Что же ты,— говорит,— Ксюша, ни разу я тебя у нас в столовой не видел?» «Ах,— отвечает,— милый, там такие пошлые потолки!»... Это в сорок втором-то, Вадя, в том самом... Видно, потому-то у нее и получалось... В единстве внутреннем, в гармонии жила старуха. Из света вышла, а мы все — из тьмы... Тьма-то нас собственная и поедает. Да! — Он вдруг ожил и виновато заулыбался.— Что ж я тебя все баснями да баснями! — Ему, видно, доставляло огромное удовольствие выкладывать перед Вадимом свои небогатые дары.— Ты уж, брат, не привередничай, я по этим заведениям не в первый раз хожу. Здесь разносолы ни к чему. Колбаса, сахар, курево, и, главное, побольше. А это вот,— он заговорщицки подмигнул Вадиму,— печеньице к чаю. Смотри не урони, разольется.

В коробке из-под печенья, и это Вадим определил сразу, было упаковано не меньше двух бутылок. И, по достоинству оценив самоотверженность друга, он удивленно выдохнул:

— Ну, ты даешь!

— Однако живем, Вадя! — Феде манны небесной не надо, только похвали.— В такой собачьей жизни да не выпить — совсем с тоски высохнешь. Эх, Вадя, Вадя, жизнь под гору пошла. Уже не переиначишь.— Он вдруг поднялся и заспешил.— Пойду-ка и я где-нибудь по дороге свои сто пятьдесят сглотну. Покуда, Вадя, будь. Прости, если что не так.

Они легонько для порядка помяли друг друга, и Федя вяло отпал от Вадима, двинулся к выходу, и во всей его сразу ссутулившейся фигуре, в походке, в наклоне головы угадывалось усталое облегчение. Безвольная спина его еще помаячила в коридоре, пока ее не размыло светом впереди, и Вадим, благодарно оттаивая, с сочувственной горечью заключил про себя: «Сдает парень, совсем сдает».

Проходя мимо соседнего стола, Вадим коротко скосил взгляд в сторону девушки, с сильно бьющимся сердцем отметил ее ответное внимание и, уже выйдя следом за санитаром в коридор, все не мог унять вдруг охватившее его жаркое и томительное волнение.

И потом, когда он, вместе с Крепсом и Телегиным, в простенке между двумя угловыми койками допивал принесенное Федей вино, его при одном воспоминании о ней всякий раз обволакивала радостная задумчивость, сквозь которую в его сознание еще пробивался нетвердый голос захмелевшего Митяя:

— Рази тут мороз? Баловство одно. Вот, скажу я вам, в Игарке мороз — это да! Сорок пять по градуснику да еще с минусом. Душу насквозь просекает. Только я крепок тогда был, выдерживал... А теперя у фортки стыну... Сдает машинка. Долго не протяну... Землица зовет на покой. Обида только: в чужой стороне лягу. Без креста и памяти... Никого нет, ничего нет. Ни конуры, ни привязи... И рупь мой с версту так и остался в тумане. И кому я задолжал столько, что до сих пор не расквитаюсь!.. Ишь, как сердечишко прыгает! Как овечий хвост.— Он сунул руку под рубаху и начал старательно растирать левую сторону груди.— Пойду я, братцы, лягу... Мерси за угощение... Неможется чтой-то.

Уходил Митяй неуверенно, ноги переставлял с трудом, серое лицо его, подернутое сивой щетиной, болезненно заострилось, и по всему было видно, что доживает он свой век через силу и что отсюда ему предстоит лишь одна дорога — на больничный погост.

— Вот так, Вадя.— Волосатые руки Марка, разливая по кружкам остатки, мелко-мелко тряслись.— Вынули мужику душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки. Вот он, этот мужик, и выгорает изнутри синим пламенем. Все наши российские горепреобразователи, вроде Петра и его марксистских поклонников, умерли с чувством выполненного долга, очень себя уважая умерли, а прожекты ихние нам боком выходят. Нам, не имеющим к ним даже косвенного отношения. В силу какого такого закона за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация? Века платить! И — как! — Хмель почти не сказывался в нем, и только это вот, так не свойственное ему обычно ожесточение, выдавало его.— Притом нас еще и клянут все кому не лень. Весь свет! Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!

Последние слова Крепса пробились к Вадиму уже сквозь полусонное забытье. И виделась ему девушка в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета, плывущая по утренним снегам ему навстречу. Потом метель размыла ее облик, и голос Телегина стал бередить в нем его собственную затаенную боль: «Никого нет, ничего нет... Без креста и памяти...» И сразу вслед за этим, словно наяву, обозначился перед ним выпуклый, почти без морщин лоб старичка с венчиком белого пуха вокруг розовой макушки, ласково шелестящего у него над ухом: «Думается мне, вы неправы, Марк Францевич, в данном случае...»

Старичок отвердевал, устаивался, пока не определил себя напротив него в яви. Сидя на краешке Крепсовой кровати, он складывал певучие слова в ровную неторопливую речь:

— ...Да, неправы... Спаситель не жалости к Себе у Отца просил, а любви к распинающим. Его... Возненавидеть их страшился. Боялся не снести креста искупления до конца.

— Верую я, отец Георгий, верую! — Таким Вадиму Крепса еще видеть не приходилось: белый, с трясущимися губами, он судорожно цеплялся за отвороты старикова халата.— Только почему допустил Создатель одному только народу телом этого самого искупления стать? Сколько же его распинать можно? Терпим мы, терпим. Терпения у нас хватит. Любовь на исходе. Злоба Россию душит. Если выплеснется, кровь дешевле воды станет. Каким же искуплением тогда оплачивать ее придется?

Злые беззвучные слезы закипали в его выпуклых глазах и, собираясь в уголках век, тихо стекались к подбородку. Марк не замечал их, продолжая тискать лацканы халата, накинутого на плечи старичка, пока тот не взял его руки в свои, не заговорил умиротворенно:

— Всякому народу своя доля тяжести. От нас самих зависит достойно ее снести, помочь Спасителю в строительстве Его божественном. Роптать — значит не идти, а топтаться на одном месте. У вас в руках, Марк Францевич, дело, святое, нужное, угодное Господу дело, оно и спасет вас и многих спасет. Надо только отринуть от себя страх перед мирской мерзостью и не с обстоятельств начинать, а с самих себя, со своего прямого дела...

Словно завороженный его медлительной речью, Марк стихал, светлел обликом, вновь обретал обычную для себя безмятежную ясность. И, окончательно засыпая, Вадим успел мысленно озадачиться по адресу старичка: «Его-то, одуванчика этого, за что сюда?»

V

Кружение в прогулочном дворе было по обыкновению неспешным и молчаливым. Вырвавшись из каменной коробки отделения, где слова служили единственным средством скрасить друг другу скуку существования, каждый старался сполна вобрать в себя свою долю тишины и одиночества.

Небольшого роста, плотный, с крепко и ладно посаженной на широкие плечи головой, Крепс вымеривал территорию двора уверенной и твердой походкой человека, который определенно знает цену каждому своему шагу и вздоху и у которого нет времени для сует и сомнений. Вадим, стараясь попасть ему в ногу, еле поспевал за ним. Снег тихонько поскрипывал под их подошвами. В безветренном морозном воздухе от окрестных деревень тянуло кисловатым дымком прелой соломы. Над головой, в отвердевших ветвях заснеженных тополей, лениво, и как бы передразнивая друг друга, покрикивали тощие галки. Мир в замкнутом кругу прогулочного двора выглядел таким надежным и предельно устойчивым, что можно было подумать, будто никакая сила извне уже не сможет его поколебать.

— Заметь,— не поворачиваясь к Вадиму, сквозь зубы процедил Крепс,— занятный дед.

Они приближались к скамейке, на которой, зябко кутаясь в халат, накинутый поверх жиденькой телогрейки, сидел прямой, тщательно выбритый старик с висячими, пуховой белизны усами. Издалека он походил на замерзающего кондора, вынужденного зимовать под чужим для него небом.

Минуя старика, Крепс уважительно ему поклонился. Вместо ответа тот глазами указал режиссеру место рядом с собой. Марк кивнул Вадиму, они сели, после чего усач, порывшись за пазухой, достал и молча протянул сидевшему около него Крепсу сложенный вчетверо листок глянцевитой бумаги.

Читая, тот держал документ на некотором расстоянии от себя, с тем, чтобы и Вадим мог, хотя бы краем глаза, схватить суть написанного. В документе французское посольство уведомляло господина Ткаченко Валериана Семеновича о том, что, по ходатайству его супруги, проживающей в Париже, оно готово содействовать выезду вышеозначенного на постоянное место жительства во Францию.

— И как вы решили, Валерьян Семеныч? — Возвращая ему бумагу, Крепс глядел прямо перед собой.— Поедете?

— Наверное, нет.— Смутная полуулыбка обрамила ровный ряд нетронутых временем зубов.— Мне уже восьмой десяток. Каждый день для меня — подарок. Больше половины жизни скитался по чужбине. Теперь я хочу умереть здесь, на родине. Если уж выбирать, то лучше желтый дом в России, чем любая европейская богадельня... Жаль, конечно, Аннет, с ней мы многое перенесли вместе, но она, верно, поймет меня.

— Тогда, может быть, вы все-таки выпишетесь? — Рука Марка легла поверх ладони старика.— Негоже вам, Валерьян Семеныч, больничным приживалой жизнь кончать.

— А куда я пойду, Марк Францевич? — Даже выражение беспомощности не размягчало его скульптурно четкого лица.— У меня там,— он кивнул в сторону забора,— никого нет. Да и что я там буду делать? За сорок-то с лишним лет все переменилось. Не приживусь я теперь на воле. А здесь у меня, по крайней мере, есть крыша и постоянный хлеб. Нет уж, Марк Францевич, поздно мне снова начинать.

— Как знаете, Валерьян Семеныч, как знаете.— Поднимаясь, Крепс устало поморщился.— Пошли, Вадя.

После разговора со стариком Марк заметно сбавил шаг, поскучнел, шел, то и дело ознобливо поводя плечами. В нем явно проступало нетерпение высказаться, но лишь удалившись на порядочное от усача расстояние, он разразился горячечным шепотом:

— Что же это делается с людьми, Вадя! Полный генерал, первый командующий русской авиацией, кавалер трех Георгиев считает за счастье скоротать последние свои дни в сумасшедшем доме! Мир взбесился! Ты только посмотри на него, ведь он дово-

лен! Доволен! Уж эта мне российская ностальгия! Рабом, побирушкой, бездомным псом — лишь бы на родине. Слышишь, «на родине»! А то, что эта самая «родина» сначала отказалась от него, потом гоняла по всем своим лагерям от Колымы до Потьмы и, наконец, в виде особой милости, разрешила перекантоваться до похорон в дурдоме,— это не в счет. А властям на руку. Они даже культивируют такого рода гнусности в людях. Как же — патриотизм! Так ведь патриотизм-то героев должен рождать, а не лакеев! Что с нами будет, Вадя, что будет? На глазах вырождаемся!

— Как он к нам-то попал? — От всего услышанного Вадим слегка растерялся.— Каким образом?

— В сорок пятом, в Югославии взяли. Он там латынь в русской гимназии преподавал.

— А потом?

— Потом? Потом — лагерь. Освободился, идти некуда. Стал хлопотать о выезде — заперли сюда. Теперь, как видишь, сам не хочет. Конечно, за двенадцать лет в эдаком содоме кого хочешь сломает, но все-таки не умещается это у меня в голове.

— Может быть, он прав, Марк. Если уж мы с тобою не смогли приспособиться, то ему ведь еще труднее. Мы хоть родились и выросли в этой выгребной яме.

— Но у него, в отличие от нас, есть сейчас свобода выбора.

— Там ведь тоже хлеб даром не дают, Маркуша, а ему уже вон сколько накачало.

— И ты туда же!

— Но ведь правда.

Тот лишь рукой махнул: иди ты, мол, к чертовой матери. И направился в отделение. Прежде чем последовать за приятелем, Вадим не выдержал искушения, обернулся. Старик все так же сидел на скамейке, глубоко вобрав голову в плечи, отчего сходство его с больной, заброшенной птицей казалось еще более разительным.

VI

Едва они успели раздеться, как появился гость из соседней палаты. Сияя во все стороны выпуклыми цементного оттенка глазами и победно поводя вокруг себя кирпичной бороденкой клинышком, он торжественно потрясал развернутой газетой:

— Поздравляю вас, товарищи! — Его прямо-таки распирало от восторга.— Братская ГЭС дала первый ток! Представляете, товарищи, какой удар по нашим злопыхателям из-за рубежа?

Гость этот — фамилия его была Бочкарев — считался здесь коренным старожилом. Помещенный сюда, по его собственному определению, за активную борьбу с религиозными пережитками, выразившуюся в том, что он изъял у своей соседки и ухитрился сжечь на газовой конфорке образ Иоанна Крестителя, Бочкарев и тут остался верен себе и своим убеждениям. Имея право сво-

бодного выхода, он с утра отправлялся в село за газетами. Затем с карандашом в руках прочитывал их от корки до корки, старательно подчеркивая наиболее, по его мнению, значительные места, после чего садился писать одобрительные реляции в самые высокие адреса. В своих посланиях Бочкарев «горячо одобрял», «с энтузиазмом поддерживал», «безусловно санкционировал» все последние меры и постановления вышестоящих инстанций. Письма его начинались с обычного «в нашем здоровом коллективе больных» и заканчивались традиционным «коммунистическим приветом». Периодика и почтовые расходы целиком поглощали бочкаревскую пенсию, что лишь воодушевляло его бескорыстную деятельность. Получая вежливые ответы в маркированных конвертах, он поглядывал на окружающих таинственно и горделиво. Казалось, не было такой силы в мире, которая могла бы выбить Бочкарева из его раз и навсегда взятой им колеи.

— Но это еще не все, товарищи.— Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым.— В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти! Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы!

Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица, и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку:

— Слушай, ты, поросенок,— цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженный конь, яростно подрагивал,— если ты сию минуту не спинаешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна. Ну!

Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел,— помитинговал в коридоре:

— Теряете классовое чутье, товарищ Крепс! Не радуетесь успехам своего государства! Скатываетесь в болото ревизионизма! Льете воду на мельницу!.. И потом у меня поручение к товарищу Лашкову! Его просил зайти товарищ Телегин! Товарищ Телегин серьезно болен!

Известие о болезни Митяя лишний раз напоминало Вадиму, что в последнее время тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на прогулке. «Друг, называется,— укорял он себя, устремляясь в телегинскую палату,— совесть иметь надо».

Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось, сквозь недельную щетину отечно поблескивала кожа, сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки на коленях, сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети Падлы, одно появление которой в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь. В нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе, неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности.

— Ты посиди с ним, милок, пока не заснет.— Вставая, она старалась не глядеть в его сторону.— Сделаю дела, приду сменю.

Грузные шаги Нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился: «Поди угадай, кого клясть, на кого молиться!»

— Переживает.— Часто и прерывисто дыша, Митяй болезненно усмехался из-под полуопущенных век.— Баба — она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай... А что пришел, спасибочка... Совсем разворошило меня, прямо страсть... Пропил машинку свою дочиста... Не тянет...

— Пить тебе не надо, Дмитрий Палыч.— У Вадима тягостно засосало под ложечкой.— Совсем не надо.

— Видать, не надо,— миролюбиво согласился тот.— Слякотно на душе, Вадюха, а выпьешь, вроде глаза прорезаются: птахи поют, в листках запах разный, жить хочется! — От возбуждения он даже приподнялся на локтях.— Так бы и не протрезвлялся совсем.

— Лежи, Палыч, лежи, не раскрывайся.

— Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь.— Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени.— Как одна секунда, вроде и не жил еще... Спину холодит — так страшно... Завязать было хотел бродяжество свое. С Нюркой вот договорился: выйду — сойдусь. По закону сойдусь, а не как сейчас... Неужто не выберусь, Вадюха? Обида-то какая!

Неожиданно резко Телегин откинулся на спину, мгновенно обессилел и затих. Спасительный сон снизошел к нему, и он тревожно заснул, но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного.

VII

Среди ночи Вадима разбудил Бочкарев:

— Товарищ Лашков, товарищ Лашков,— шепотно шелестел он над его ухом,— вас зовет товарищ Телегин.— В полутьме едва освещенной палаты желтые зрачки Бочкарева мерцали вещей торжественностью...— Только, пожалуйста, поскорее. Ему, кажется, очень плохо...

Когда он, с гулко бьющимся сердцем, очутился у кровати Митяя, тому было уже ни до кого. Отвисшая челюсть его безжизненно касалась плеча, жиденькая фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня.

Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни, но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, она не столько испугала, сколько заворожила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобщился там — за этой чертой — к

чему-то такому, что, наконец, примиряло его со всем и со всеми.

Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурабочего, полусчетовода, Вадим ранней весной решил, на свой страх и риск, пешком добраться до Игарки. Предупреждения о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не остановили его, и он, побросав в рюкзак кое-что из еды и бельишка, двинулся по прибрежной хляби лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех, что летом просто перешагивают, в эту пору разбухли до размеров речек средней руки, и каждую из них приходилось преодолевать по всем правилам саперного искусства.

Когда, использовав вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку, Вадиму удалось соорудить из двух плывунов нечто вроде плота и, с горем пополам, переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Река еще пестрела кое-где медленно скользящими льдинами. Топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее и медленней. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия.

Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья, вброд. Но возвращение отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним, после трех с лишним часов выматывающего душу хода, возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению. И он упал плашмя, вниз лицом на береговой галечник и заплакал, завыл в голос от своего бессилия перед этой — всего каких-нибудь десяти-двенадцатиметровой в ширину — лентой тягуче-мутной речонки. Но вдруг, уже чуть ли не в полубреду, им властно овладело ощущение близости жилья. А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется вся его жизнеспособность, укрепило в нем эту спасительную уверенность.

И тогда Вадим последним, почти нечеловеческим усилием воли заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь, со вздохом веры и облегчения, он увидел слева от себя, метрах в пятидесяти выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, сюда ранним половодьем и перегородившую собой весенний сток. По ней, как по мосту, он и перешел на другой берег, откуда, на гребне ближнего распадка, перед ним возникло, судя по усадебному запустению, безлюдное зимовье.

Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечным оконцем логово:

— Закривай бистро... Холодно... Вьетер...

Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим, по знакомому всему хантайскому побережью акценту, узнал Каспара

Силиса — промысловика из латышей спецпоселенцев. Высланный в эти края в сорок пятом, Каспар, с его цепкой крестьянской хваткой, быстро обжился в новых и неласковых для себя местах, и вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспаровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью, в песцовый же сезон, там, где матерые старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис в один только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим ни пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь систему его секретов, тот без особого труда, как бы даже играючись, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима:

— Не добьить тебе писець, Вадья. Не идьет в твой капкан... Мой хочьет... Мой ему лутче...

Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке, весь в крупной испарине, и распоротый от самого носка вдоль голенища пим валялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем.

— Зажигай печка, Вадья, гриеться будьем.— Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее, наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей.— Пьесець капкан ловиль, тьеперь сам капкан попаль...

Когда в давно не топленной печке весело и гулко вспыхнул огонь, и Вадим, буквально содрав с ноги Каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню, он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая, в чешуйчатой коросте кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо было быть большим спецом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего ненецкого спецпоселения Плахино их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. И если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, то, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессилевшим Каспаром,— нечего было и думать.

Оставалось одно: сидеть и ждать. Ждать, когда смерть довершит свое дело. И от того, что он обречен быть свидетелем ее медленной, но неотвратимой работы, Вадиму становилось не по себе.

— Грейся, Вадья,— Каспар, наверное, угадывал страх Вадима, колючая насмешливость в нем оттаивала снисходительным добродушием,— вода дольго будьет... Риба есть, пшенка есть, сидьи грейся... Менья погаит уже не можно... Плохо не Латвия... Ты биль Латвия, Вадья? Ай-ай-ай, Вадья, Латвия не биль!.. Аурумциес деревнья... Рибеки все... Морье окно видно...

Пять нескончаемо долгих суток, то впадая в бредовое забытье, то снова приходя в себя, выдубленный горем и стужами

могучий организм Силиса отвоевывал свою жизнь у подползающей к его сердцу гибельной порчи. На шестой день, когда незаходящее июньское солнце, едва коснувшись горизонта, медленно потянулось к зениту и зимовье залило его ровным багровым отсветом, заострившееся, в бурой щетине лицо Каспара вдруг просветленно обмякло, и он с прежним своим озорством взглянул в сторону Вадима:

— На лижня, на лижня виставляй капкан, Вадья... Пысецъ бьегает на снег... Бьегает. Снег мягки... Лижня твьердый... Пысецъ бежал на лижня... Твьердо хорошо... Бежать бистро, бистро можьет... Не уйдет с лижня... Ставь капкан на лижня, Вадья. Много-много пысецъ тебе будьет... Денег много будьет, Латвия поедьешь... Аурумциес глядеть будьешь... Морье...

Еще какое-то время запекшиеся губы Силиса беззвучно шевелились, но грузное тело его уже облегченно вытягивалось, и, наконец, он окончательно затих, и солнечный блик из окошка, коснувшийся в этот момент Каспарова лба, только с недвусмысленной резкостью обозначил его безжизненную сухость. Перед Вадимом, тяжело распростершись на овчинном своем полушубке, лежал старый латыш, выброшенный с родной земли на самый край самого бесприютного угла земли, но даже смерть не могла стереть со всего его облика выражение покойной уверенности человека, достойно прожившего свою жизнь...

И сейчас, в оцепенении глядя на остывшую плоть Митяя, на его вялые, раскинутые в стороны руки, он впервые в жизни проникся пронзительным отчаянием: «Неужели и мне вот так придется? Вот так?»

VIII

Крепс метался из угла в угол опустевшей курилки, и дымок его сигареты голубым шлейфом кружил следом за ним. В последнее время бессонница частенько сводила их здесь по ночам, и бывший режиссер убивал время, развивая перед Вадимом свое видение мирового репертуара. В эту ночь его одолевало Гамлетом:

— Видишь ли, у всех датчанин обвиняет, у меня он будет обвинять тоже, но обвинять, сознавая, что, будучи духовно выше окружающих, он не вправе с них спрашивать, а тем более опускаться до мщения. Гамлет как бы существо инопланетное. И чем тоньше организован звездный пришелец, тем осторожнее должен вмешиваться он в земной правопорядок. А уж коли вмешался, то будь добр платить собственной пыткой — жалостью... Отсюда и ключ мой не в «быть или не быть», а в «из жалости я должен быть суровым». Пусть он прощения просит за свою нетерпимость и заранее знает, что кровь, пролитая во имя справедливости, не приносит в мир ничего, кроме крови. Его не враги, его собственная раненая совесть распинает... Вот смотри...

Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер

посреди курилки: «Один. Наконец-то...» И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном: «Быть или не быть?» И не наследник королевского престола, устало опираясь о косяк обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе: «Достойно ль?» Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, стране, земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя, поднимал у самого уровня плеч руки и так — ладони вперед — двигался к нему из глубины уборной. «Вот два изображения: вот и вот». И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц, почти обуглившийся от сострадания, раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: «Из жалости я должен быть суровым», Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и смог мысленно заключить: «Черт бы тебя побрал, Крепс!» Начиная с «Прости тебя Господь», где Гамлет уже чувствует приближение скорого конца, Крепс провел всю сцену до финала, держась за воображаемые настенные мечи. Так он и умер распятой птицей — между дверью и ближайшим к выходу унитазом.

— Ну как? — Марк сел и сразу же возбужденно заблистал желтым оком в его сторону.— Годится?

— Годится! — Вадим боднул его головой в плечо.— Высший класс.

— Знаешь,— тот с пристальным вниманием оглядел его,— теперь я бы тебя взял.

— Что так вдруг? У меня другая школа.

— В тебе появилось что-то такое, чего я жду от актера. Ты стал слышать.

— Поздно, Марк, я хочу завязать с этим делом.

— И давно это ты?

— Давно. Воли только не хватало.

— Знаешь,— в пристальном его внимании сквозила откровенная зависть,— а ты больше, чем я думал.

— Спасибо...

Еще в день приезда, прежде чем отправиться домой, он завернул в управление с твердым намерением окончательно рассчитаться с эстрадой. Решение тогда еще только вызревало в нем, только набирало силу, но предчувствие близкой и крутой перемены в жизни уже властно захватило его, и он, формируя события, двинулся прямо в оргтдел.

После крикливой сутолоки коридоров кабинет Вилкова мог показаться непосвященному обителью тишины и безмятежности. Но кто-кто, а Вадим-то определенно знал, что не у высокого начальства, а именно здесь сходятся все хитросплетения самого, на первый взгляд, безалаберного учреждения в стране. С педантичностью счетной машины Илья Николаевич Вилков сортировал

свои кадры по бригадам, которые затем колесили по всему Союзу, забираясь подчас в самые медвежьи его уголки. Хозяин кабинета держал в лысеющей своей голове сотни фамилий и полную меру того, что стояло за каждой из них. Людям же «с красной строки», к разряду которых принадлежал и Вадим Лашков, он вел особый, не предусмотренный никакими инструкциями учет. Поэтому, когда тот молча положил перед ним заявление об уходе, Вилков лишь брезгливо поморщился и, не читая, отодвинул бумагу в сторону:

— Прибалтику хочешь?

— Нет.

— Закавказье?

— Тоже — нет.

— Как у тебя с жильем?

— Порядок.

— Баланс?

— Полная норма.

Холодноватый взгляд выпуклых, немного навыкате глаз Вилкова тронула удивленная заинтересованность:

— Так чего же ты хочешь?

— Уйти.

— В театр?

— Нет, совсем.

— Как это совсем?

— Сменить профессию.

— Не смешно.

— Мне тоже.

— А если конкретнее?

— Считаю, что занимаюсь не своим делом.

— Ну, знаешь, если бы каждый так рассуждал...

— Надо же кому-то начать.

— Послушай, Лашков, я тебе не враг...

— Я себе тоже.

— Давай серьезно.

— Я без шуток.

— Чего это ты вдруг?

— Хочу начать сначала.

— Что начать-то?

— Жить.

— Тебе тридцать пять.

— Начать никогда не поздно.

— А ты представляешь себе,— обычно невозмутимое, выбритое до синевы лицо его вдруг утратило начальственную медлительность, упругие плечи обмякли и ссутулились,— представляешь, что значит сначала?

История Вилкова была известна Вадиму, как, впрочем, и большинству эстрадников. Работая в одной высокой организации, тот в свое время отказался свидетельствовать против друга воен-

ной молодости. Суд был неправым, но коротким. Генеральскую форму Вилкову пришлось сменить на куда более скромное одеяние. Много лет прошло, прежде чем бывшего генерала вернули из мест не столь отдаленных и, памятуя о том, что по характеру возглавлявшегося им ведомства он и раньше соприкасался с областью культуры, вручили ему концертные кадры для укомплектования и руководства. Вадим недолюбливал Вилкова, как и всех подчеркнуто аккуратных людей вообще, считал его сухарем и педантом и потому обращался к нему только в случае крайней необходимости.

— Чтобы представить, наверное, нужно начать.— Вадим спешил прекратить и без того затянувшийся разговор.— Я ведь не школьник.

— Дали мне тогда Рязань для местожительства.— Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух.— Пойти не к кому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уже давно замужем. Да я и не виню, не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел... Так и приехал, в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол... Снял я там уголок у старушки-«божьего одуванчика» и с утра пошел наниматься в товарную контору. Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли. Грузчиком. Пришел, помню, первый раз со смены, живого места нет, ломит всего с непривычки. Зато уж и сон был, как у новорожденного. И хлеб ел утренний со щами вчерашними — за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю... Да друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли... И пошел я опять по кабинетам, как по рукам.— Он сожалеюще вздохнул и вопросительно оборотился к Вадиму.— И куда же?

— Еще не знаю.

— Не раздумаешь?

— Нет.

— Так.— Вилков тронул пуговичку звонка. Мгновенно у порога возникло услужливое диво во всеоружии своего косметического сияния.— Оформляй Лашкову «собственное желание». И скажи там: сегодня уже никого не приму.— Та бесшумно растворилась за дверью.— Чаю хочешь?

— Не потребляю.

— Знаю, знаю... Ты у меня в этом смысле давно на заметке. Были сигналы. Меру, Вадим Викторович, меру надо знать... А впрочем, это твое личное хозяйство. Умный проспится... На-ка вот взгляни,— он вынул из-под настольного стекла и протянул Вадиму фотографию,— это мои теперешние...

Две русоволосые девчушки со смешливой доверчивостью глядели оттуда в мир, еще не подозревая, что самим своим существованием они делают жизнь вокруг себя осмысленной и надежной. И, поддаваясь вдруг проникшей его откровенности, Вадим спросил:

— Значит, можно сначала?

— Можно, но трудно.

— Тогда попробую.

— В добрый час.

За окном тихим золотом опадали сентябрьские тополя, сквозь которые солнечно проглядывался резко вычерненный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок, уже стоит в ожидании его — Вадима, нетерпеливо подразнивая его белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился:

— Пойду, пожалуй.

Тот, против ожидания, не обиделся бесцеремонной торопливостью гостя: встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост,— снова по-спортивному подтянутый и прямой,— вышел из-за стола, порывисто полуобнял Вадима и тут же легонько оттолкнул от себя:

— Разговор наш между нами. Так что, если не осилишь, возвращайся... Будь.

Тем памятным для него разговором Вадим как бы подвел тогда черту под всей своей предыдущей жизнью и поэтому сейчас, откровенничая с Крепсом в ночной курилке, он лишь укреплялся в своем решении.

— Понимаешь,— Вадима неожиданно для самого себя прорвало,— не мое это дело. Все не то, не так. Чего-то во мне главного не хватает. Не хуже, конечно, чем у других, но и не лучше. Так себе, расхожая серединка. Хочу все заново, с чистого, как говорится, листа попробовать. Обратно мне теперь дороги нет. Сам свою суть отыскать хочу. В чем она — не знаю, но отыщу, или нету мне жизни...

На последнем слове Вадим испуганно осекся. В проеме двери внезапно, будто в кино следом за резким монтажным стыком, оказалась фигура заведующего отделением.

— Ты мне нужен, Марк.— Близко сдвинутые к переносице веки его тревожно вспорхнули в сторону Вадима.— Дело касается лично тебя.

Странное появление Петра Петровича ночью, да еще и в курилке, и это его приятельское «ты» по отношению к Марку несколько обескуражили Вадима, хотя, уже догадываясь о многом, он уступчиво повернул к выходу, но Крепс резко остановил его:

— Не уходи, Вадя.— У него даже щеки ввалились от волнения.— При нем можно. Говори.

— Есть предписание,— не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием,— отправить тебя в Казань.

— Меня одного?

— И попа тоже.

— Не попа, Петя, а священника.

— А,— устало махнул рукой тот.— Какая разница!

— Большая, Петр Петрович,— бешено взвился Крепс,— очень

большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось, что после того... после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось... Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуй же, наконец, глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жалованьи у государства! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков. Потому что человека, воспринявшего этот Свет и Слово, уже невозможно купить или сломать. Только зря стараются! Мы ведь и в Казани останемся теми же. С нашим миром нас уже не разъять. И в Казани — люди, а значит, и благодать Создателя.

О Казанской, тюремного типа, больнице Вадиму уже приходилось слышать немало. Туда отправляли неизлечимых убийц и всех тех, о ком в высоких сферах считалось полезным забыть. Обратной дороги оттуда не было. Менялись вожди в правительстве, гремели войны и совершались тихие перевороты, и только законы Казанского специзолятора оставались неизменными: человек, раз перешагнувший его порог, исчезал, стирался в людской памяти. Поэтому, едва услышав о Казани, Вадим понял, что Крепсу уже нечего терять.

— Ты успокойся, Марк.— Острые скулы доктора напряглись до предела,— если хочешь, ты можешь уйти.

— Каким образом?

— В чем есть. Остальное меня не интересует.

— Но это интересует меня.

— Я поплачусь дипломом. И только. Больше ничего, честное слово.

— Значит, побег. Без паспорта и средств к существованию. То есть рано или поздно опять-таки Казань, но уже без твоего участия? Нет, Петя, не посодействую я твоему душевному комфорту. Будь добр, за свое плати сам. Может быть, когда-нибудь тебе это надоест и ты очнешься. К тому же ни за какие коврижки я не оставлю старика. Так что считай, что ты мне ничего не предлагал, а я ничем не жертвовал. И мы ничего друг другу не должны. Спи спокойно, дорогой товарищ.

— И это все, что ты мне можешь сказать?

— Все. И ни копейки больше.

— Дело твое.

Он еще постоял, этот доктор, покачался с носков на пятки в своих тупоносых лодочках, будто в беспамятстве закрыв глаза и судорожно двигая скулами. Потом бесшумно развернулся и пропал, словно его и не было здесь вовсе.

— Ну что же, Вадя,— после недолгого молчания с веселым

отчаяньем оборотился к нему Крепс,— вот и пришла моя очередь.

— Я бы ушел.

— Куда, Вадя?

— Все равно куда, я ушел бы.

— Это не по мне, дорогой.— Крепс пристроился сбоку и положил ему руку на плечо.— Я долго не выдержу такой жизни. Да, кстати, я и не умею ничего делать, кроме той бессмысленной ерунды, которой меня обучили в институте... И запомни, Вадя, если это вздумаешь предпринять ты, они будут тебя старательно, очень старательно искать. И найдут. Обязательно найдут. Причем уже совсем не потому, что ты опасен сам по себе. Нет! Просто ты теперь узнал немножко больше, чем полагается простому смертному. Так что прежде хорошенько подумай.— И, помогая Вадиму уяснить себе смысл только что происшедшего тут, он насмешливо покосился в сторону двери.— Мы с ним Суворовское вместе кончали, а потом служили вместе... Себе на уме... Из нынешних.

В эту ночь они не сказали друг другу больше ни слова. Слова были бессильны сейчас вобрать в себя всю обнаженность мысли и чувства, какая объединяла друзей в их красноречивом молчании. Сквозь подернутое стужей стекло фрамуги, в сумрак курилки заглядывала одинокая звезда, окрашивая это молчаливое бдение своим вещим мерцанием.

IX

Уж кого Вадим не ожидал теперь увидеть, так это деда. После той последней узловской встречи он и предположить не мог, что они когда-нибудь еще увидятся. Слушая старика, Вадим не в состоянии был отделаться от чувства вины перед ним и поэтому всякое его слово воспринимал как упрек и напоминание.

— Опеки мне над тобой не дают. Стар, считают, уже очень. Но я еще постучусь, Вадя, похожу. Ты только потерпи, не бесись.

Дед говорил, не глядя на Вадима, куда-то в пространство перед собой, и пергаментные, в старческих веснушках кулаки его на столе по привычке были выдвинуты далеко вперед. Таким дед и помнился Вадиму все годы его скитаний с того самого дня, когда известное в Узловске своей монолитностью лашковское семейство дало первую, но уже непоправимую трещину.

Не забыть Вадиму того, почти неправдоподобно прозрачного утра в Узловске, когда в распахнутый настежь пятистенок деда Петра съехались все его сыновья и дочери вместе со своими благоприобретенными половинами и первой порослью.

Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворотке со щегольски отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с горделивым довольством оглядывал свой клан, среди которого особо выделялся осанкой и статью первенец его — Виктор.

А тот — и это у Вадима четко запечатлелось — явно чувствовал всеобщее к себе внимание и, чтобы скрыть смущение, все посмеи-

вался, все посмеивался, оглаживая одной рукой стриженую голову сына, а ребром другой рубил воздух, как бы подсекал каждую произнесенную фразу:

— Ну, рабочий уже наелся, даже, как видите,— тыльной стороной ладони он поддел и небрежно вскинул вверх конец своего галстука,— бантик прицепил к шелковой рубашке. А дальше что? Согнали лучшую часть крестьянства с земли, отправили за Урал, а сами в частушки ударились, чтобы уши от мирового шума законопатить: «Вдоль деревни, от избы и до избы...» А что в колхозах творится, до того нам вроде и дела нет? Что, папаня, посмурнел? Неувязка выходит с вашей генеральной линией?

И не успел враз потемневший дед рта открыть, как из-за стола встал муж Варвары — Анатолий Тихонович — сухощавый интендант со шпалой в петлице, и, едва разжимая и без того тонкие губы, тихо выцедил в сторону отца:

— Рано пташечка запела...

— Уж не ты ли кошечка? — насмешливо перебил его тот.— Не коротки ли коготки?

— Мы с такими на Хасане,— острые скулы капитана пошли пятнами,— много не разговаривали.

— А что ты там делал, на Хасане? — уже открыто издевался над ним отец,— сухари в обозе пересчитывал?

Растерянность, наступившая было вначале, сменилась всеобщим, особенно среди женской половины, криком:

— В кои-то веки собрались.

— Нашли время!

— Хлебом их — мужиков — не корми: как соберутся, так все про политику.

— Нет посидеть по-людски.

Все говорили разом, каждый старался оставить последнее слово за собой, отчего накал разговора постепенно возрастал, грозовые нотки нет-нет да и прорывались уже то в одном, то в другом конце застолья, и неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы все это скорее всего дракой, если бы дед Петр не встал и не стукнул кулаком по столу:

— Что ж, спасибо и на этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет у меня рука, коли надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои манатки, и вот тебе порог...

Внезапно возникшую тишину мерно отсчитывали ходики над комодом. Младший из братьев — хрупкий и застенчивый, словно девушка,— Митек, жалобно пошарив по лицам близорукими глазами, умоляюще воззвал было:

— Ну что вы, мужики, ей-Богу... Так все было по-хорошему...

Но мать Вадима, непримиримая ко всяким поползновениям на авторитет своего законного мужа, тем более со стороны такого

прямого противника их супружества, как ее свекор, подсекла деверевы излияния в самом истоке:

— Вот что, папанечка,— серые, калмыцкого сечения глаза ее светились нескрываемой яростью,— спасибочки тебе за хлеб, за соль, только хвост тебе поднимать против моего Витьки кишка тонка. Кто ты есть такой, Лашков? Полжизни наганом промахал, а теперь: «Ваши билетики, граждане!» А Витька мой мастер-лекальщик-первой руки, не тебе, папаня, чета. Языком вы много понапороли, только сами-то ничего делать не умеете. Все за народ орете, а вы бы лучше специальность какую путевую заимели бы да и работали. Вот тогда и было бы «за народ». Много вас нынче командиров развелось, работать только некому... А вас,— она обернулась к свояку, и скуластое лицо ее презрительно отвердело и вытянулось,— Полыниных, я вот с этих годков знаю. Брательник твой раскулачивал нас. После нашего же хлеба раскулачивал. Где он теперь, брательник-то твой? Думал на чужом горбу в рай въехать. От своих же и награду получил — десять лет. А я с двенадцати годков с зарей вставала, со звездой ложилась, и все семейство наше так. А вы — Полынины — из кабака от Мокеича не вылезали, а теперь нас — в грязь, а сами — в князь. Так вот я вам что скажу напоследок: нас переведете, дети останутся. Детей изничтожите, внуки вырастут. Но переживем мы вас, хлебоедов, переживем. Не такое терпели, перетерпим и вас. Только так думаю, что вы раньше сами друг дружку перегрызете... Поехали, Виктор... Собирай парня...

— Вот она, сущность кулацкая, себя и показывает! — кричал Полынин, отрывая от себя молча виснущую на нем Варвару.— Говорил я вам, Петр Васильевич, предупреждал... Где же чутье ваше классовое, партийная зоркость, наконец, где? Спасли змею от выселения, пригрели, а она жалит нас, где только возможно.

— Это у тебя-то, интендант, классовое чутье! Бога побойся. Ты хоть один мозоль за жизнь свою сволочную нажил? Женька,— отнесся отец к брату,— ты не молчи, не отворачивайся, ты же мастеровой, скажи свое слово!

Но тот, уткнув голову в локоть сестре Федосье, тихо плакал и лишь бормотал в горячечном беспамятстве:

— И за что только нас... И за что только нас обидели так... В родне же и то не сойдемся...

Федосья легонько оглаживала его голову и смотрела на всех недоумевающими, полными слез глазами.

Никто бы так и не заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабку Марию, если бы она как раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, сопровождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени:

— Витенька... Прости ты их всех ради Господа нашего Спасителя.— Голос бабки звучал тихо и ясно, и худое, уже отмеченное гибелью лицо ее было высвечено каким-то заветным знанием,

что доступно лишь новорожденным и почившим.— Не видать ведь мне тебя больше, отжила я. Не держи сердца, останься. Тебе это зачтется, сынок...

И впервые увидел тогда Вадим, как в полурыдании задрожали отцовские губы:

— Что вы, маманя, что вы... Так это мы... по-братски... Поцапались малость... Сошло уже...

Жиденькое бабкино тело утонуло в его руках, и он понес ее через расступившуюся по обе стороны родню в смежную половину, и сложил ее там на прадедовском еще сундуке, и бережно укрыл старую праздничным своим пиджаком, и остался сидеть с ней, и они о чем-то долго и доверительно там перешептывались.

Но если временное облегчение и коснулось кого, то лишь не деда Петра. Выдвинув вперед себя кулаки на столе и откинувшись на высокую спинку плетеного стула, дед сидел прямой и безучастный ко всему, без кровинки в лице, и по одному его виду явствовало, что всё, кроме того, что было сказано им самим, он не считал сейчас хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, а потому и существенным. Таким он и остался в памяти у Вадима вплоть до недавней и болезненно памятной встречи.

Внешне дед оставался тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком. Но от глаз Вадима не могло укрыться и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на выбоинах, когда-то чистого металла басок, и то, наконец, как не свойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнялось любовью и жалостью к этому, самому близкому для него на земле человеку.

— Да ты не беспокой себя понапрасну,— у него сорвалось дыхание,— не век же меня здесь держать будут.

— Век не век,— тот впервые взглянул на него прямо и настороженно,— а скоро не отпустят.

— Думаешь?

— Знаю.

Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал. Сглатывая удушливый комок в горле, он невольно скосил взгляд в тот угол, где особняком от других устроился отец Георгий, о чем-то тихо и ласково перешептываясь с дочерью. Та бережно оглаживала ему запястье, глядя на него преданно и самозабвенно. Нетрудно было догадаться, о чем они говорили. Она уже обо всем знала. Именно поэтому, слушая отца, девушка вся как бы заострялась изнутри, словно каждым своим словом и жестом он вбирал ее в себя, чтобы уже никому и никогда не вернуть. Исподтишка наблюдая за ними, Вадим привлек к ним и внимание деда:

— Кто такие?

— Священник один... С дочерью,— и добавил неожиданно для себя самого:— Наташей зовут...

— Наталья? — Дед не отличался деликатностью.— Хорошее имя. И лицо хорошее. Без вранья! Не твоей кукле чета.

— Хоть бы не напоминал!

Из угла их внимание было замечено: девушка густо покраснела, а старик, приподнявшись с места, улыбчиво поклонился. Дед так же церемонно ответил: знакомство состоялось. Поэтому, когда все подались к выходу, старики нашли о чем перекинуться друг с другом, оставив молодых лицом к лицу.

— Меня Вадим зовут.— Слабея дыханием, он еле выговаривал слова.— Здравствуйте.

— Здравствуйте.— В ее смущении было что-то беззащитное.— А меня — Наташа.

— Я знаю.

— Вы с папой дружите?

— Почти.

— Что так?

— Я здесь недавно. Не привык еще.

— И не надо.

— Что не надо?

— Привыкать.

— Не буду...

Возникшее между ними сразу вслед за этим трепетное молчание прерывалось только неспешным разговором стариков у них за спиной.

— Да, да, это так.— Голос отца Георгия звучал почти страдальчески.— И все-таки с такими решениями не следует спешить... Впрочем, во всем Промысел Божий... Я сам на старости отрекся от всего, чему поклонялся... Но вам труднее, вы — атеист. У вас нет духовного убежища. Вы идете против своей природы. Мне много легче, у меня нельзя отнять того, что есть во мне и со мной... Самое прискорбное для меня это то, что я не сумел их убедить...

— В чем?

— Я пытался доказать им, что мистика Церкви, имеющая сама по себе огромное для верующего значение, пуста и бессмысленна, если она не подкрепляется активным деянием пастыря в обыденной жизни. Люди устали от слов, они жаждут примера. Русскую Церковь подорвала не власть, а собственная опустошенность, засилие мирской праздности и суесловия. Меня обвинили в гордыне... И вот я здесь...

— Попугать хотят?

— Едва ли.

— Чего же еще?

— Избыть.

— Как это?

— Насовсем избыть. Из мира.

— А права какие? — Дед явно начинал кипятиться, его болезненное чувство к несправедливости, как всегда, искало выхода в гневе.— Какие такие права есть?

— Понятие классового правосознания должно быть близко вашему сердцу.— Сказано это было безо всякой язвительности, скорее даже с сочувствием к собеседнику.— Перед вами наглядный его объект. Так что уж какие там у меня могут быть возражения!

В коридоре людской поток растекался надвое: одни к выходу, другие, в сопровождении санитаров, в сторону внутренних помещений. Прежде чем разойтись с девушкой, Вадим бережно коснулся ее пальцев, и она не отстранилась, только коротко и вопросительно взглянула на него и быстро-быстро, не оглядываясь, пошла вперед. И тут же грузная фигура деда окончательно заслонила ее от него:

— Ты тут не раскисай.— Он складывал слова, явно думая о чем-то совсем другом, какая-то новая тревога вошла ему в душу, и он уже весь источался в ней, в этой тревоге.— Не так уж я стар, чтобы с первого раза отступиться. Достучусь.

Дед легонько помял Вадима за плечи, затем не столько оттолкнул, сколько сам от него оттолкнулся и, круто развернувшись, двинулся к выходу. Его большая сутулая фигура долго еще маячила в глубине коридора, и, если бы Вадим не знал своего деда, он мог бы подумать, что тот пьян.

Пристраиваясь к Вадиму, отец Георгий, как бы невзначай, обронил в сторону удаляющегося Лашкова-старшего:

— Не снесет себя этот человек, коли не поверует. Только вера его и спасет.

X

Это было первое за зиму солнечное утро. Осиянные пронзительным светом палаты ожили и заволновались. Кружение по коридору стало многолюднее и бойчее. Что-то стронулось в отделении, сошло с места. В самых темных его углах вдруг возникли новые лица, о существовании которых раньше как-то даже и не подозревалось. В палату к Вадиму заглянул бывший учитель Горемыкин и, мигая подслеповатыми глазами в окно, удовлетворенно потер ладони:

— Представляете, Вадим Викторович, что сейчас в Англии-то, а? В графстве Кент, к примеру! Сплошная весна и цветение вереска.

Он даже засмеялся от радости за графство Кент. Когда-то, года три еще тому, Горемыкин преподавал английский в одной из подмосковных школ. Влюбленный в предмет педагог так досконально изучил все, что касалось Англии, что мог, наверное, с закрытыми глазами вывести любого англичанина кратчайшим путем от порта до Британского музея. Но в конце концов, подавая заявление о выезде к дорогим его сердцу берегам, он не учел небольшой разницы в законодательствах двух знакомых ему государств и прямо из приемной союзного МИДа угодил в Троицкую, безо всякой уже надежды когда-нибудь отсюда выбраться.

— Знаете, Вадим Викторович,— продолжал он улыбаться и по-

тирать руки,— весна в большой степени очищает воздух над Лондоном. А то, знаете ли, этот «смог» прямо-таки бич...

Молча лежавший до сих пор с натянутым до самого подбородка одеялом Крепс неожиданно напрягся, и влажные глаза его затравленно скользнули куда-то за спину Горемыкина. Мгновенно проследив его взгляд, Вадим увидел заворачивающего в палату из коридора Петра Петровича. Тот легонько, кончиками пальцев отстранил со своего пути бывшего учителя и, вплотную приблизившись к койке Марка, почти шепотом уронил:

— Сегодня, Марк.— И уходя от искательной муки того, перешел и совсем уже на шепот:— Сейчас.

Дорого бы дал Вадим, чтобы не видеть в это мгновение истлевающих ужасом глаз Крепса. Но это длилось только мгновение. Сразу же вслед за этим губы Марка упрямо отвердели, подбородок еще резче выдвинулся вперед, он пружинисто вскинул свое крепкое тело, сел, опустил ноги на пол:

— Пошли.

Уже отходя, он глазами позвал Вадима за собою и, более не оглядываясь, шагнул в коридор. Петр Петрович последовал за ним, птичьим оком своим упреждающе покосившись в сторону Лашкова. Но того уже не могла удержать никакая сила: он пойдет за Крепсом до последнего, до той самой дверной черты, которая навсегда разделит их.

Отец Георгий уже сидел в предбаннике уборной около двух узлов с вещами, под присмотром мокрогубого санитара из приемного покоя. Марк вошел, старик поднялся ему навстречу, они молча обнялись и некоторое время стояли так, молча обнявшись. Потом, все так же не говоря ни слова, перекрестили друг друга и принялись за узлы.

Каждый из них одевался согласно своему характеру. Отец Георгий, уже отбывавший до того срок где-то в районе Потьмы, оборудовал себя со вдумчивой тщательностью, всякую вещь устраивал на себе долго и внушительно, валенок и тот натягивал, будто действо творил. Оттого, когда он, наконец, собрался, любой бы мог, не раздумывая, сказать, что человеку этому предстоит дальняя и многотрудная дорога. Крепс же — в случайной одежонке: цветастая рубашонка, поверх курточка фланелевая, брюки в обтяжку да импортный плащишко выше колен — выглядел рядом со стариком, будто залетная пичужка рядом с матерой и основательной птицей. Шапки у него тоже не оказалось, и тетя Падла выдала ему на свой страх и риск больничную. Надо очень не любить людей, для которых шьешь шапки, чтобы шить именно такие: вислоухие, неопределенного цвета, с болтающимися, как собачий язык, козырьком. В них человека можно было принять и за пилигрима, и за беглого одновременно.

Когда со сборами было покончено, Крепс обвел кольцо любопытных вокруг себя нездешним взглядом и, дойдя до Вадима, чуть помедлил, потом сказал тихо, но внятно:

— Жить будем, Вадя.— Руки он не подал. Ему, видно, хотелось остаться в друге не движением — словом.— Везде жить будем. Надо жить.

Отец же Георгий потянулся к нему, поцеловал трижды, перекрестил:

— Храни вас Бог!.. К вам от меня придут, не удивляйтесь...

Их никто не торопил. Даже санитар из приемного покоя. Видно, все если и не понимали, то чувствовали, что сейчас здесь происходит что-то такое, чему нельзя, да и невозможно помешать. Они двинулись к выходу сами и, как-то не сговариваясь, разом. И в этом опять-таки проявилась их пусть мимолетная, но власть над окружающим.

Дежурный санитар дядя Вася — мосластый, бритый наголо мужик из местных — пряча глаза, прямо-таки с почтением распахнул перед ними дверь. И они вышли, и людской полукруг медленно сомкнулся около выхода.

Но едва дядя Вася потянул дверь на себя, чтобы захлопнуть ее, как снаружи в отделение, сияя улыбкой, которой только уши мешали раздвинуться шире, рыжим бесом скользнул Бочкарев. Размахивая над головой пачкой свежих газет, злополучный богоборец упоенно возопил:

— Потрясающая новость, товарищи! Труженики Кореновского района Кубани на три дня раньше срока завершили весенний сев зерновых!..

Полукруг молчаливо обтек его со всех сторон, и он, постигая непоправимое, осекся и затравленным глазом повел в сторону дяди Васи. Тот, побагровев, отвернулся, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из круга не выступил старожил отделения, хронический алкоголик Пал Палыч Шутов и не разрядил в слове готовую взорваться злобу:

— Сука ты сука, Бочкарев, и другого названия тебе нету. И как только земля тебя на себе носит, Бочкарев? Каких людей на золу переводят, а ты коптишь, другим свет застишь. Поимей совесть, сойди сам с земли, хоть одно дело людское сделаешь... Тьфу!..

Плевок у Пал Палыча получился смачный, мастерский. Сразу было видно, что человек всю свою жизнь закуску считал баловством. Затем он в сердцах махнул рукой и двинулся к себе, в дальний угол четвертой палаты. Остальные тоже стронулись с места, и каждый пошел в свою сторону. И в этот день уже никакое солнце не могло вытянуть людей из-под их одеял.

XI

В тот же день к вечеру тетя Падла привела в палату нового для Вадима соседа.

— Вот,— хмуро подтолкнула она того вперед себя,— лучше не нашла. Ума невеликого, зато тихий. И работящий опять же. Принимай. Горшков — фамилия. Остальное сам обскажет.

Мужик был худ, сед, встрепан, но все в нем — выпуклые глаза, расплывчатые морщины на лице, кое-как высеянная по лицу мягонькая растительность — было отмечено располагающим к нему дружелюбием. Застилая койку, он певуче гудел себе под нос:

— Ново место, как невеста: не уластишь, не согреет. По суседству со мной муха и та зимы не знает. Закон моря: твое — мое и мое — мое, заживем, лучше некуда. А уж мастер я — на все остер. Из ветоши сапоги валяю, в баранках дырки гвоздем долблю. Только держись.

Действовал Горшков с деловитой твердостью человека, привыкшего в любой работе находить особое, одному ему понятное удовольствие. Приятно было смотреть, как упруго, без единой морщинки, вытягивается под его рукой простыня, облегает вдоль матраца, по всем правилам казарменной выучки, одеяло, взбухает белым лебедем жесткая больничная подушка. Вадим не утерпел в конце концов, съязвил добродушно:

— Подумать можно, ты всю жизнь этим и занимался.

— Оно так и есть, браток,— словоохотливо оборотился к нему тот.— С тридцатого года, почитай, как с земли согнали, по вербовкам пошел. Опосля война — опять на нарах. А в пленту,— он так и произносил: «пленту»,— само собой, в бараке. В свой лагерь попал, сам знаешь, там во всем порядок начальство требоват. Теперичи вот по больницам восьмой годок. Коечка — мать родная, ты только оборудуй ее соответственно.

Затем он стремительно исчез и снова появился вскоре, но уже со шваброй в руках, так что через несколько минут линолеумовый пол палаты солнечно дымился, высыхая в сквозняке полуоткрытых фрамуг. Стоило ему взяться за колченогую тумбочку между кроватями, которую только и оставалось что выбросить, как она вскоре приобрела устойчивость и вполне сносную оснастку, и все это с байкой, с прибауткой, будто бы каждое движение его требовало выхода в звуке, в слове, иначе оно — это движение — теряло для Горшкова свой смысл и законченность:

— Эх, мать моя, мамочка, бросила бы ты меня камушком во чисто полюшко, не было бы горюшка... Как у нас на фронту старшой говаривал: «Магазин не чищен, в канале ствола копоть, отсюда и вша»... Чистота — залог здоровья... Эх, ручки мерзнуть, ножки зябнуть!..

«Что держит таких людей? — следя за деятельным мельтешением Горшкова, думал Вадим.— Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого? Ведь это трехжильным надо быть, чтобы такое выдержать!»

В этом таился какой-то непостижимый еще для него секрет, какая-то за семью печатями загадка, постичь которые ему только предстояло. Но об одном он мог уже и сейчас судить определенно: пройди Горшков еще три раза по стольку, все его останется при нем, и никакая сила в мире не способна сломать его человеческой сути.

В палату снова заглянула тетя Падла, удовлетворенно хмыкнула:

— Говорила, довольны будете. Он у вас здесь за трех санитаров работает. К его бы рукам да еще и голову!

— Не скажи, кума,— весело огрызнулся тот,— голова голове — рознь. Одна голова для умственного соображения, а другая для дела. Вот и прикидывай, что к чему.

— Мели, Емеля! — Она лишь беззлобно рукой махнула в его сторону и оборотилась к Вадиму:— К Петру Петровичу вас. Зовет.— И уже строже:— Со мной и пойдемте.

Вызовы такого рода случались здесь редко, чаще всего по делам, отлагательства не терпящим, а потому Вадима дважды уговаривать не пришлось. В следующую минуту он уже чуть не бегом несся по коридору к двери с заветной табличкой. Предположения, причем самые фантастические, одно за другим сменялись в его голове: «Деду разрешили опеку? Или, может, жена смилостивилась? А вдруг...» Об этом «вдруг» даже думать не хотелось, до того жутким и невероятным оно ему показалось.

Тетя Падла нагнала его по дороге, тяжело задышала у плеча:

— Вы с ним поосторожнее нынче... Не в себе он малость... Он у нас всякий бывает... Попадет вожжа под хвост, не удержишь... Ну,— она отперла дверь, впустив его,— с Богом!

Доктор даже головы не повернул к нему навстречу, а лишь неопределенно махнул рукой, что, наверное, должно было означать нечто вроде приглашения садиться. Известный всему отделению блокнотик лежал сбоку от него не раскрытым. Наглухо завинченная щегольская авторучка сиротливо красовалась в карандашном стакане. Признаки это все были недобрые, и, опускаясь на стул около двери, Вадим приготовился к худшему.

— Послушайте,— все так же не поворачивая к нему лица, заговорил заведующий,— вы, как видно, тоже считаете меня мерзавцем?.. Вполне возможно... Но, может быть,— он резко, всем корпусом вывернулся в сторону гостя, и лишь тут до Вадима дошло, что доктор глухо и матеро пьян,— вы мне скажите, уважаемый Вадим Викторович, что я мог сделать для него?.. Я не баррикадный боец, увольте! В Пеште, кстати сказать, мы вместе с ним сметали эти самые баррикады с лица земли... Тогда его не мучила совесть и он не вспоминал о Спасителе... Раненых добивали на месте... Мальчишек добивали... Им по пятнадцати-то едва ли было... А теперь один я кругом сволочь... А он — агнец с терновым венцом вокруг макушки... Аскезу принял, а мирского суда боится... Хочет на казенных харчах крест нести да еще и не в одиночку, а скопом, со всеми вместе... Комфортабельного мученичества жаждет! Ладно.— Он рывком взял на себя ящик стола, достал оттуда папку и, беспорядочно перелистав ее, высвободил из нее пачку документов.— Вот здесь все ваше: паспорт, военный билет, трудовая книжка, удостоверение личности... С завтрашнего дня я записываю вам в журнал свободный выход для свиданий... Куда и когда вы

уйдете, меня не интересует... Хочу только предупредить: искать вас будут. И основательно искать...

— А вы как?

— А это не ваша забота, Вадим Викторович.— В совиных глазах его на мгновение засквозила колючая трезвость.— О себе я позабочусь сам.— Он ладонью придвинул документы на самый край стола.— Берите свои цацки... Или, может быть, вы тоже по святости стосковались?

— Дело не в этом, но, согласитесь, покупать свободу за чужой счет...

— Ох уж эти мне творческие особы! Слова в простоте не скажут... Пусть вас не мучит совесть. Или, как выражается Марк Францевич, спите спокойно, дорогой товарищ... Берите...

Угрюмая усмешка на узком лице доктора становилась все более вызывающей. И если еще минуту назад Вадим готов был отказаться избежать соблазна, то усмешка эта мгновенно изменила его намерения. Будь что будет! Рано сдаваться на милость неизвестного дяди. Он еще побарахтается, прежде чем ему — Вадиму Лашкову — устроят узаконенное заклание.

Бешеная сила протеста подняла его с места и бросила к столу. И в тот момент, когда документы оказались у него в кармане, он сразу же осознал, что уже решился, что назад ему пути нет и что это его единственный шанс выбраться отсюда.

Провожая его до двери, Петр Петрович пьяно хохотнул у него над ухом:

— Я, может, тоже скоро сбегу... В пространство...

Вадиму не пришлось ответить, дверь захлопнулась за ним, и он оказался лицом к лицу с тетей Падлой, которая, вопросительно вскинув на него отечные глаза, чуть слышно помолила:

— Ты уж не звони слишком... С кем не бывает...

— Не маленький...

Потянуло курить, и он подался в уборную, где уже орудовал Горшков, старательно выскребая замызганные унитазы. Появление Вадима лишь прибавило ему рвения и словоохотливости:

— На хрусталь блеск наводим, чтоб опорожнялся — сердце радовалось... Из отхожего места кабинет оборудуем. Сиди не хочу!

— Не надоело?

— От безделья думы разные, а от думы человека вошь ест. А в деле, как в запое, самые паршивые тебе роднее матери.

— На таких, как ты, воду возят.

— Так-то оно, может, и так. Да ведь и сам напьешься...

Вадим глубоко затянулся и, с наслаждением выпуская дым, подумал обескураженно: «И сколько их еще в России, чудаков этих, тьма!»

XII

Галки над прогулочным двором горланили весну. Конец апреля выдался на редкость безоблачным и теплым. Почки корявых тополей вдоль заборов бесшумно взрывались крохотными язычками зеленого пламени. Из-под седых островков ноздреватого снега во все стороны расплывались влажные подтеки.

Петр Петрович исполнил-таки обещанное: в день приезда Татьяны Вадима впервые выпустили из отделения без присмотра. Выйдя в прогулочный двор, они долго молчали, не зная, с чего начать. Слишком уж многое вставало теперь между ними.

И хотя Вадим заранее предвидел весь ход своего последнего объяснения с женой, разговор начался куда неприятнее, чем он предполагал. Для Татьяны смысл его объяснений свелся к разводу. Соответственно с этим та себя и повела.

— Что ж,— оскорбленно подобралась она, предпочитая нападение защите,— этого мне надо было ожидать. При твоем образе существования... Попойки, случайные связи... Исковеркать жизнь человеку, это в твоем стиле. А я-то жду! — У нее была удивительная особенность верить тому, что она говорила.— Лучшие годы, молодость отдала... Жила, словно монахиня... Но и я так просто не отступлюсь. Квартиры ты не получишь... Ты ни на что не имеешь права... Ты недееспособен, милый. Ни один суд не станет на твою сторону.

— Ты можешь слушать?

— Тебя — нет.

— И все-таки, я прошу.

— Ты снова хочешь, чтобы я терпела твое пьянство и твои сумасшедшие выходки в квартире,— я хочу хоть какое-то подобие порядка.

— Успокойся,— Вадим поспешил предупредить ее, уже готовую разразиться слезной истерикой.— Тебя никто не гонит. Если ты поможешь мне уйти отсюда, я возьму только пару белья и рубашку.

— Значит, рай в шалаше? — Жалкой усмешкой она тщетно пыталась скрыть свою обескураженность.— Не поздно ли, Вадим Викторович?.. И что же, молода, красива? — Влажные губы ее мстительно вытянулись в тонкую ниточку: предпочтение, оказанное другой, было выше ее понимания.— Видно, с приданым? — Манера разговаривать вопросами выражала в ней высокую степень раздражения.— Дача? Машина?

Но если раньше все ее подобного рода речи доводили Вадима до дикого бешенства, то теперь, слушая жену, он оставался устало равнодушным и лишь никак не мог взять в толк, как ему удавалось чуть не десять лет терпеть эту женщину рядом с собой, мирясь с въевшейся в нее чуть ли не со дня рождения мелочностью и фальшью. Фальшиво в ней было все: голос, походка, речь; казалось, сто́ит ей сделать хоть одно естественное движение, как она исчезнет, растворится, изойдет в этом движении полностью, без остат-

ка,— до того предельно немыслимым выглядело для нее всякое человеческое проявление.

— Оставь эту самодеятельность хотя бы на сегодня.

— Ну, конечно, где мне, ты же профессионал.

— Ты неисправима.

— Влияние близких?

— Я отдал тебе не худшую свою часть.

— На тебе, Боже...

— Мы прожили с тобой несколько лет.— Со спокойной целеустремленностью он старался пробиться к ее сознанию.— Прямо скажем,— лишних лет. Но вот сейчас, когда все кончается, можем вести себя друг с другом по-людски.

— Вот и объясни мне по-людски, без фантазий, свои фокусы.

— Я вовсе не шучу. Мне хочется начать другую жизнь... Попробую еще раз...

— С другой бабой?

— Таня! — Он уже потерял надежду разбудить в ней хоть проблеск взаимопонимания, но решимость не оставлять здесь после себя ничего недоговоренного взяла верх.— Будь хоть раз в жизни человеком. Наверное, я был во многом неправ, но ведь и ты не всегда поступала правильно. Поэтому не будем сводить счеты, а расстанемся людьми... Я клянусь тебе, что это не блажь... Неужели меня так трудно понять?

Ожесточенная настороженность в ее темных, гремучей желтизны глазах оттаивала, уступая место растерянному недоумению.

— Ты сумасшедший,— она медленно приближалась к нему, пристально, словно впервые узнавая, разглядывала его,— да, да, ты, видно, и вправду сумасшедший... И как я не замечала этого до сих пор! Куда тебя несет, Вадим? Что с тобой?

— По-моему, как говорится, я прекрасно болен. И, прошу тебя, помоги мне...

— Я никогда не могла понять тебя.

— Тебе было некогда.

— При твоем образе жизни...

— Эх, Таня, при любом образе жизни за десять лет можно успеть понять друг друга.

— Слова — твоя профессия.

— Не мои — чужие, Таня, чужие слова...

— Хорошо,— неуверенно пообещала она,— я посоветуюсь с мамой.

Охота разговаривать у Вадима сразу же отпала. Она так ничего и не поняла. Сейчас жена не вызывала у него даже раздражения. Он скорее жалел ее, как жалеют калек и убогих. Они жили в разных измерениях и поэтому не могли постичь один другого. Теща в два счета обуздает этот ее благой полупорыв. Так неужели у него нет выхода? Неужели и ему выпадет та же участь, что и тем, которых он уже встречал однажды, там, на Байкале?

В ту осень судьба забросила его в глухое приозерное село с бри-

гадой Иркутской филармонии. Приехали они в полдень, времени до концерта оставалось много, и председатель сельсовета повел заезжих артистов вдоль просторных, но не богатых своих владений. С Байкала тянуло зябким сквознячком, серое небо облегало деревню низко и плотно, и, видно, оттого дома и хозяйственные строения на безлесых улицах выглядели как бы приплюснутыми к самой земле. Наскоро обежав полупустой в это время года рыбзавод, они двинулись было к чайной, но здесь, в просвете между окраинными домами, перед ними по гребню берегового взгорья выявились источенные временем стены заброшенного монастыря. Председатель — вялый мужичок, с лицом, тронутым зеленью пороховой сыпи, перехватив незапланированное им внимание гостей, тревожно засуетился:

— Пустяк дело! Психколония тут у нас с летошнего года. Никакого интереса, одни адиоты. Зато в чайной у нас,— без перехода заторопил он,— омуль прямо из сети. Закусь перьвый сорт.

Актерская братия следом за председателем потянулась в сторону чайной. Что-то, Вадим еще не мог определить, что именно — предчувствие, зов ли — остановило его, и он, отколовшись от остальных, решительно повернул к монастырю. Его пытались было окликнуть, но он только отмахнулся раздраженно и уже более на оклики не оборачивался.

Через пролом в стене, служивший одновременно и проходной и парадным въездом, Вадим вошел в затянутый ржавой проволокой монастырский двор. Узенькие, едва протоптанные тропинки крест-накрест соединяли обрубленную по самые капители и крытую старым железом церковь с двумя угрюмого вида жилыми строениями и часовенкой около входа. Из часовенки навстречу ему вышел носатый и заметно хмельной бородач в старом кожаном реглане внакидку и, вместо приветствия, безапелляционно утвердил:

— Корреспондент! Завхоз Бабийчук. Пошли.

Бывшие кельи, в которых размещалось по четыре койки, носили следы недавнего ремонта. Но из матерых щелей кое-как закрашенного пола сквозило ознобчивой сыростью подполья, а собранные на живую нитку оконные рамы издавали под ветром звучное дребезжание. Вадиму нетрудно было представить, каково придется здешним обитателям лютой прибайкальской зимой.

Бабийчук же, хмельно посапывая, развязно, словно бывалый экскурсовод в краеведческом музее, давал ему пространные пояснения:

— Заботу о людях проявляем повседневную. Ремонт произвели, завезли топлива. Калорийность питания по норме. К зимовке готовы целиком и полностью. Прошу обследовать пищеблок.

В церкви, приспособленной под столовую, обедало всего несколько человек.

— Ведем набор,— с готовностью удовлетворил его вопросительное недоумение завхоз,— ждем еще одну партию. К зиме полностью укомплектуем контингент.

Никто из обедавших, занятых едой, даже не повернул головы в их сторону. Еда поглощала все внимание невольных сотрапезников. Напрасно вглядывался Вадим в эти лица, ища хоть проблеска внимания или осмысленности. Лица проплывали у него перед глазами одно за другим — тупые, отрешенные и как бы полые изнутри: природа изваяла их, не вдохнув в них ничего, кроме инстинктов.

И лишь когда он повернул к выходу, в простенке между дверью и боковым окном, профилем к нему, неожиданно возник человек с обликом, отмеченным тихой и долгой печалью. Он смотрел в упор на Вадима, но явно не видел его. Человек как бы вглядывался в свою, обозримую для него одного, даль внутри себя, и она — эта даль — виделась ему глубоко безрадостной и достойной сожаления.

— Здравствуйте.— Сразу же располагаясь к нему, остановился против него Вадим.— Давно вы здесь?

Тот лишь беспомощно посветил ему навстречу беззащитной улыбкой и не ответил. Подоспевший Бабийчук насмешливо хрюкнул:

— Без пользы. Молчун. По истории, пятый год молчит.

Во дворе завхоз без обиняков предложил:

— Может, погреемся, корреспондент? У меня есть. И омулек найдется.

— Я не корреспондент,— жестко разочаровал его Вадим,— я артист.

Бабийчук тут же потерял к нему всякий интерес. Подаваясь к часовенке, он пренебрежительно пробурчал в бороду:

— Тогда и ходить нечего. Тут не ярманка, а лечебное заведение.

Выходя с монастырского двора, Вадим уносил в себе отсвет той странной улыбки, которой поделился с ним молчаливый обитатель этого забытого Богом и людьми места. И сейчас, когда жизнь уготовала Вадиму ту же участь, он вдруг понял, что ему, как и тому самому молчуну в церкви, не о чем говорить с кем бы то ни было из потустороннего теперь для него мира, тем более со своей бывшей женой. Они просто-напросто уже не могли услышать друг друга.

— Прощай.

— Прощай.

Возникшее сразу вслед за этим молчание, помимо их воли, растворило недавнюю их враждебность, и, когда Вадим, уходя в отделение, замешкался на пороге, она порывисто приникла к нему, горестно прошептав:

— Видно, я все-таки любила тебя... Легкий ты человек...

Татьяна даже вроде бы потянулась за ним через порог, и в этом ее инстинктивном движении Вадиму открылась какая-то закономерность, черта особая какая-то, характерная для всех его последних встреч. Люди, с которыми он сходился в эти дни,— доктор, Крепс, отец Георгий, Мороз — прощаясь с ним, словно бы завидовали ему, словно бы хоронили в нем, в его спокойствии собственную несостоявшуюся надежду изменить свою жизнь: «Духу, духу не хватает привычный круг разорвать!»

И, словно бы соглашаясь с ним, галки над прогулочным двором неожиданно умолкли, и, лишь сделав шаг от порога, он осознал, что птицы здесь ни при чем: просто за ним захлопнулась дверь.

XIII

Суматоха среди персонала началась исподволь и сначала не обратила на себя внимания. Беготня санитаров случалась часто и по множеству поводов: то вязали впавшего в буйство, то требовалась помощь мужских рук во время совершения пункции, то надо было по-быстрому сплавить из отделения очередного доходягу. Не коснулась бы она никого и на этот раз, если бы в отделении не появился сам главный врач больницы Тульчинский в сопровождении многочисленной свиты управленческого персонала. Минуя палаты, высокие гости проследовали прямо в кабинет заведующего. И в этой их торжественной поспешности чувствовалось что-то предостерегающее.

Отделение взволнованно загудело:

— Комиссия!

— Актировать будут!

— Конференция у них, кого-нибудь выдернут для показа.

— Может, сбежал кто?

— Да нет, вроде все на месте.

— Не иначе как «чепе».

— Надо думать, если такая орава пожаловала.

Бочкарев и тут не остался в стороне от событий. Вскочив на коридорную скамью, он трубно провозгласил:

— Товарищи, без паники! Всем оставаться на своих местах! Враги социализма во всем мире не дремлют! Сплотим ряды. В единстве наша сила! Пусть заокеанские воротилы помнят, что на каждый удар мы ответим двойным ударом! Возмездие...

В этом духе он мог бы, наверное, продолжать до второго пришествия, но резкий, с неожиданным надрывом голос тети Падлы прервал его словоизвержение:

— А ну по палатам!.. Все по палатам!.. Чтобы ни одного в коридоре не было! Дядя Вася, загоняй! Мать Васильна, держи своих!

Когда, стараниями санитаров, коридор опустел, из кабинета вынесли носилки. По зеркально блистающим ботинкам, что торчали из-под простыни, и недвижному птичьему профилю под ней нетрудно было узнать Петра Петровича. Пола его халата свисала с боковой опоры, и где-то на полпути к выходу оттуда выпала, чуть слышно шлепнувшись об пол, та самая записная книжка доктора, с которой тот никогда не расставался. В общей суматохе этого никто не заметил. И лишь Вадим, с обостренным вниманием следивший за каждой, даже самой малой деталью скорбного шествия, уже не спускал с нее — с этой книжечки — глаз.

Как только процессия, следом за носилками, стекла в двери и в коридор отделения изо всех палат хлынули его взволнованные

случившимся обитатели, докторский блокнотик мгновенно оказался в кармане у Вадима.

Все в коридоре гудело и перемешалось. Предположения возникали одно за другим:

— Сердце, видать, не сработало!

— Попивал, говорят.

— Опился!

— Вот тебе и Петр Петрович, вот тебе и доктор.

— Доктор, так святой, что ли?

— Кого теперь еще принесет к нам на нашу голову!

— Свято место пусто не бывает.

— И то правда...

Первым, благодаря своей дружбе с обслугой, обо всем доподлинно узнал Горшков. Улучив минуту, он поманил Вадима к своей койке и шепотной скороговоркой сообщил:

— Доктор-то... Петр Петрович... Того... Сам себя порешил. Вот какие дела... Порошками...

Несвойственная ему ранее растерянность буквально преобразила его. Перед Вадимом, исходя тоскливым томлением, переминался с ноги на ногу старый и давным-давно раздавленный жизнью человек с пепельно-серым, опутанным частой паутиной морщин лицом.

— Надо думать,— искренне посочувствовал ему Вадим,— не впервой тебе?

— Да было... Видал... Не единожды... Только кажинный раз все муторнее... Уж коли такие, чего ж тогда мне-то делать? Хоть сейчас в петлю.

Сгорбившись и заложив руки за спину, он медленно пошаркал между коек к окну и застыл там недвижно, как бы отгородив себя от всего того, что происходило у него за спиной.

В уборной Вадим неожиданно столкнулся с Ткаченко. Тот, никогда до этого не куривший, задумчиво втягивал в себя дым дешевенькой сигареты.

— Удивляетесь? — Судя по тону, каким был задан вопрос, старик тоже знал обо всем.— В лагере я курил. Иногда облегчает. Тем более, что я, кажется, решился.— Впалые щеки его, втягивая дым, ходили ходуном.— От себя нигде не отсидишься. Там все-таки со мною рядом будет родная душа... И, кто знает, может быть, ее можно унести на подошве своих башмаков... эту самую родину. Слишком мало от нее осталось.

— Я рад за вас.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Спасибо. Только еще выпустят ли?

— Но ведь обещали. Какой тогда смысл пересылать вам посольскую бумагу?

— Ах, молодой человек, молодой человек, вы еще очень плохо знаете свое государство.— Поднимаясь, старик аккуратно погасил

окурок, бросил его в мусорницу и шагнул через порог.— Обещали! Они много чего вам всем обещали. Вам! А я так для них вообще не в счет...

Мимо курилки, еле двигая валенками, прошла тетя Падла, и каждый шаг ее был отмечен тяжестью и апатией. Кто-то в дымном чаду посожалел ей вслед:

— Переживает.

Голоса из разных углов поддержали:

— Сломалась баба.

— Еще после Телегина.

— А теперь совсем.

Поздним вечером, забившись подальше от любопытных глаз и воровато оглядываясь, Вадим вынул из кармана и перелистал записную книжицу покойного доктора. И что-то оборвалось в нем сразу, обуглилось: все сто двадцать листочков в мелкую клеточку оказались девственно, без единой отметины, чисты: «Кинул ты мне, Петр Петрович, на прощанье камушек из-за пазухи!»

XIV

В это субботнее утро Вадим проснулся с явственным предчувствием события. Это ощущение не покидало Вадима в течение всего утра, и когда, вскоре после обеда, из коридора выкликнули его фамилию, он, не стесняясь, опрометью бросился к выходу. В прогулочный двор его выпустила сама тетя Падла, хмуро понапутствовав его с порога:

— Особо не разгуливай. Время позднее.

Ломкие листья тополей, оттененные резким предвечерним солнцем, чуть слышно позванивали вдоль круговой дорожки, и это грустное их позванивание сопровождало Вадима от самого порога.

Он увидел Наташу сразу, едва выйдя в прогулочный двор. Она стояла спиной к нему в самом углу сада, и ветер, устремляя вперед подол ее зеленого пальтеца, ваял из нее что-то летящее и невесомое. Стук садовой щеколды заставил девушку вопросительно обернуться, взгляд ее остановился на нем, и вот она уже зовуще потянулась к нему, но с места не сошла, а только едва заметно кивнула: «Я здесь».

— Я ждал вас, Наташа,— от волнения он еле выговаривал слова,— знал, что вы придете.

— Вас папа предупредил?

— Он не сказал кто, но я верил, что это будете вы.

— Меня папа просил.

— Спасибо.

— Я к вам по делу.

— Все равно спасибо.

Куцее дворовое солнце уже стягивалось к едва оперившимся вершинам тополей. Наташа, зябко поеживаясь, втягивала худенькую шею в воротник пальто и судорожно позевывала. И все в ней —

от дешевых «лодочек» до легонькой косынки над упрямой челкой — вызывало сейчас в Вадиме чувство пронзительной, чуть ли не обморочной жалости. Но ничто в ее облике не располагало к ответному движению. Его словно бы и не было рядом с ней вовсе. Уйди он, она бы и не заметила, продолжая все так же судорожно позевывать и зябко втягивать худенькую шею в воротник пальто.

— Замерзли? — трепетно коснулся он ее локтя.— Может, походим?

Она покорно двинулась рядом с ним. После недолгого молчания сказала, словно сама все давно за него решила:

— Уйти вам надо отсюда.

— Куда, Наташа?

— У папы еще живы родители. И отец, и мать.— В ее деловитости было что-то трогательное.— Под Москвой живут. Почти в самом лесу. У них и отсидитесь, пока искать перестанут.

— Это что же, Егор Николаевич придумал?

— Да, он.

— В моей униформе дальше первого встречного не уйдешь.

— Нюра поможет. У нее дома папины летние вещи. Вы с ним почти одного роста. Нюра...

— Тетя Падла! — Его даже в жар бросило.— Сама тетя Падла?

— Нюра! — строго повторила девушка и осуждающе посмотрела на него.— Нюра вас и выпустит ночью.

— Не заблудиться бы,— его уже била лихорадка предстоящего побега,— село большое.

— Нюрин дом прямо на повороте к шоссе, окна с зелеными наличниками. На электричку не садитесь, голосуйте при дороге, довезут... Только не забудьте: Кривоколенный, шестнадцать, квартира шесть...

И, словно боясь, что он сможет удержать ее, она почти побежала наискосок через двор к калитке, ведущей в отделение. Вадим машинально сделал несколько шагов за ней и долго еще смотрел вслед маячившей сквозь листву кустарника вдоль изгороди быстрой фигурке девушки, какую — что там скрывать! — он уже любил тихо и благодарно.

. . . .

Время текло с мучительной медлительностью. О сне, хотя бы коротком, нечего было и думать. С усилием смежив веки, лежал Вадим, чутко прислушиваясь к окружающему. Вот дежурный санитар не спеша обошел палату, пересчитывая своих подопечных. Вот, с кряхтением повозившись, затих его сосед по койке Горшков. Вот едва слышно — раз, два, три,— перекликнулись выключатели. Матовые контрольные лампочки сгустили полутьму до предела. Тишину прерывали только храп и бредовое бормотание в разных углах палаты.

— Лашков! — скорее выдохнула, чем сказала старшая сестра, легонько теребя его за плечо.— Пошли.

Мимо спящего на лавочке санитара, по едва освещенному коридору тетя Падла провела Вадима в кабинет заведующего. Окно в кабинете было полуоткрыто. На резком свету потолочного плафона лицо Нюры выглядело еще более отечным и вытянутым. Но большие темные глаза ее навыкате были тронуты горькой и неизбывной грустью, и, раз взглянув в них, Вадим признался себе, что и здесь рязанский мужик Митяй Телегин оказался внимательней и прозорливей его.

— Прощай, Нюра,— растроганно потянулся он к ней.— Спасибо тебе.

— Дома не перепутай,— без выражения ответила она.— У меня еще конек на крыше и калитка не закрывается. Огонек в сенцах горит. Ждут тебя.

Звездная ночь приняла Вадима, и он двинулся в сторону шоссе, на тот самый огонек, где кто-то, ожидая его, тревожно бодрствовал и, наверное, волновался...

На стук ему открыла старуха с зажженной керосиновой лампой в руке. Зоркими, не по возрасту молодыми глазами она сурово оглядела его с головы до ног и молча уступила дорогу, осветив ему табурет в углу, на котором была аккуратной стопкой сложена для него одежда. Она молча светила ему во время его переодевания, молча сунула пятерку в карман пиджака, молча проводила до двери и, лишь закрывая за ним, глухо прошелестела беззубым ртом:

— С Богом...

Долго голосовать ему не пришлось. Вскоре черная «Волга», надрывно взвизгнув тормозами, замерла у самых его подошв. Свет приборов осветил усталое лицо с красными от напряжения и бессонницы глазами:

— Садись... Только сзади, с хозяином.

Едва они тронулись с места, как темная громада рядом с Вадимом беспокойно задвигалась и крепкий настой круто замешанного винного перегара повеял в его сторону:

— Я, брат, человек широкий, добрый... Думаю, стоит человек, голосует, почему не подвезти... С дорогой душой... А я ведь, брат, не хер собачий... Комендантом Берлина был... Да и сейчас не в последних хожу... Но простоты не теряю... С народом держу связь... Народ меня любит... Вот на рыбалку в рыбхоз ездил... Как отца родного встретили... Птичьего молока только не было... А ведь бывало с Гессом, как с тобой... Четыре раза в год... По положению... Прост тоже очень, даже жалко... Все свое партии завещал... Хоть и сукин сын, а человек порядочный...

Язык у него все более заплетался, и наконец он, отвалившись в угол, гулко захрапел. Водитель молчал до самой Москвы, видно, излияния эти были ему не впервой. И, только миновав городскую черту, слегка полуобернулся:

— Тебе где?

— Да все равно. Если можно, то поближе к Трубной.

— Довезу.

Больше он до самой Трубной площади не вымолвил ни слова. На деньги, протянутые Вадимом, даже не посмотрел, тронул с места.

— Самому пригодятся.

Ранним, едва зачатым утром, срезая углы, Вадим вышагивал по знакомым улицам, узнавая и не узнавая город, исхоженный, казалось, вдоль и поперек. Все, что раньше казалось знакомым и примелькавшимся, выглядело сейчас выпукло и рельефно: вывески, автоматы, будки регулировщиков. Он уже был не частью всего этого, а глядел вокруг как бы со стороны, как гость, который перед отъездом старается запомнить из увиденного побольше и поотчетливей, чтобы иметь о чем рассказать непосвященным.

XV

Она словно ждала его, не отходя от двери, до того мгновенным было ее появление перед ним, едва он коснулся звонка. Горячее стеснение под сердцем мешало сложиться словам, Вадим с виноватой растерянностью топтался у порога. И девушка, словно желая помочь ему, заговорила первой:

— Здравствуйте, Вадим.

— Здравствуйте, Наташа...— Ему все еще не хватало воздуха.— Вот... Решился... Будь что будет...

Опаляющая истома мгновенно обессилила его, ноги стали ватными, а мир перед глазами пошел кругом. С отчетливой живостью Вадим представил себя тем самым бакенщиком Егором, о каком ему столько раз приходилось рассказывать со сцены. Пожалуй, лишь в эту минуту Вадима по-настоящему постигла сладостная боль последнего шепота Егоровой зазнобы: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...» И так-то ему захотелось вдруг, так потянуло оказаться сейчас где-нибудь за тридевять земель, на берегу любой, хоть самой завалящей речонки с этой тоненькой девочкой в крылатом ситчике, что сделай она теперь шаг, только шаг навстречу, и он рванулся бы к ней, подхватил ее на руки да уж и не опустил бы до самого последнего своего дня.

Но девушка отступила в глубь коридора, тихо выдохнув:

— Сюда...

В комнате, куда она пропустила его мимо себя, преобладали иконы и книги. Работа в киотах чувствовалась нестарая, но дельная. В книжном же царстве, властвовавшем здесь, Вадим, как ни вглядывался, так и не смог рассмотреть ни одного знакомого корешка.

— Это папина комната. Я все оставила, как есть.— Девушка пошла впереди него, приглашая его тем самым следовать за собой.— Это хорошо, что вы решились. Признаться, я тоже сначала побаивалась, не будет ли хуже... Вот дурочка... Может ли быть хуже?

Комната ее была полной противоположностью отцовской. Тахта,

укрытая пледом, видавший виды письменный стол у окна, стул при нем и старенькое креслице составляли всю ее меблировку. В этой непритязательности не чувствовалось ничего подчеркнутого. Каждая вещь здесь отвечала строгой необходимости и только. Когда Вадим вошел сюда, ему, как это иногда случается с людьми впечатлительными, до поразительной детальности пригрезилось, что он уже был тут когда-то, именно в этой комнате, небрежно обставленной случайной мебелью.

— У вас, как в келье, Натали.— С усилием освобождаясь от наваждения, он опустился в кресло.— Ничего девичьего.

— Не люблю лишнего хлама,— брезгливо поморщилась она,— возни много. Вам не нравится?

— Наоборот. У меня просто времени не было привыкать к барахлу. Всегда на перекладных.

— Теперь все будет по-другому.

— Вывезет ли?

— Должно вывезти.

— У вас, в отличие от меня, много времени впереди.

— Каждый отсчитывает время по-своему.

Было в ней — в ее скупых движениях, взгляде без улыбки, манере говорить медленно и отрывисто — что-то такое, перед чем Вадим, забывая о своем против нее возрасте, испытывал жаркую, почти мальчишескую робость.

— У меня к вам просьба, Натали,— мысль обожгла его внезапно, но ему уже казалось, что он думал об этом с самой первой их встречи,— будьте со мной в день отъезда.

— Я сама довезу вас до места.

— Знали бы вы, как я вам благодарен.

— Обязательно довезу. Без меня вы там заблудитесь.

В домашнем ситчике, в сумерках, она казалась тихой бабочкой, устало сложившей пестрые крылья. Немалых усилий стоило Вадиму побороть в себе искушение — взять ее на руки и бережно носить по комнате, пока она не уснет.

Она вздохнула:

— Если бы у вас все состоялось!

— Я буду стараться. Я буду очень стараться.

— Для меня, наверное, это еще важнее, чем для вас.

— Значит, мне придется стараться вдвойне.

— Я серьезно.

— И я.

— Спасибо.

— Натали!..

Они еще не сказали друг другу самых главных, самых существенных слов, но душевная общность уже озарила перед ними прошлое и будущее, тень и свет, проникнув их знанием сущности окружающего и надеждой.

— Может быть, это продлится долго, очень долго, Натали.

— Разве это важно?

— Для меня — нет.
— Для меня — тоже.
— А если меня все же найдут?
— Это еще не конец.
— А что же это?
— Можно попытаться еще раз.
— Будет уже поздно.
— Разве когда-нибудь бывает поздно?
— Вы мне — как подарок...
— Еще пожалеете.
— Никогда.
— Не зарекайтесь.
— Я все же зарекаюсь.
— Вот как?
— Да.— И еще тверже: — Да.

Темь холодными звездами заглядывала в окна, располагая к долгому молчанию, и они замолчали, но и в безмолвии между ними продолжался тот самый разговор, которому, сколько существует мир, нет и не будет конца. В темноте Вадим осторожно коснулся ее плеча, и оно обмякло под его рукой и подалось к нему навстречу. Жаркий туман поплыл перед его глазами, и он, почти задохнувшись от волнения, привлек девушку к себе:

— Милая...
— Зачем я тебе?
— Жизнь моя...
— Боюсь я.
— Чего?
— Ненадолго это.
— Навсегда!
— Это тебе сейчас кажется.
— Всегда будет казаться.
— Смотри.
— Люблю тебя.
— И я... Сразу... Как увидела...
— Ната...

Они очнулись, когда за окном в рассветном мареве тихой зеленью светились майские тополя, через которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок уже стоит в ожидании его — Вадима, нетерпеливо подразнивая белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился.

— Подъем, Ната! Смотри, утро-то какое!

Не поднимая век, она улыбчиво кивнула и медленно потянулась к нему, утыкаясь теплым лбом в его плечо:

— Еще немного. Успеем...

Но вскоре она уже громыхала на кухне посудой, стряпая на скорую руку завтрак, и, одеваясь, Вадим все еще никак не мог опомниться от случившейся в его судьбе удивительной перемены: «Будто во сне,— ей-Богу!»

Пронизанное зябким солнцем раннее утро высветило перед ним овеянную первым тополиным пухом пустынную улицу, и они, не раздумывая более, двинулись по ней — по этой улице — к первой же остановке, ведущей к трем вокзалам.

XVI

Когда после вокзальной сутолоки они, сев в электричку, оказались друг против друга и, наконец, встретились глазами, в них вошла полная мера того, что их теперь объединяло. Все пережитое показалось им сейчас тяжелым и уже отлетевшим сном. Другая жизнь, еще неведомая, но заманчивая самой своей новизной, ждала их впереди. Они сидели друг против друга, взявшись за руки, и все, что творилось вокруг,— давка, ругань, смех, плач,— не существовало для них. В мире сейчас были только они двое. Только они двое — и никого больше.

Потом они шли через лес. Одуряющий запах его по-майски клейкой поросли кружил им головы, и робкие травы стекались к их тропам, стряхивая под ноги свои первые росы. На ум им приходили первые попавшиеся слова, но в каждое из этих слов они вкладывали свой, понятный только им двоим смысл:

— Давно я в лесу не был.

— И я.

— Смотри, какой нарост на березе! Будто львиная грива.

— Скорее черепаха под панцирем.

— У тебя есть глаз.

— Я способная.

— Скромничаешь?

— Ага...

Сквозь рябой частокол берез появилась блистающая зеркальной поверхностью речная полоска, и вскоре внизу перед ними показалась паромная пристань с несколькими строениями торгового типа вдоль берега.

— Ну вот,— облегченно вздохнула она и заспешила вниз,— переедем, а там совсем близко.

— Как снег на голову.

— Они привыкли. Даже рады будут.

Около пивного ларька на берегу их остановил жиденький старичок с веселыми кроличьими глазами.

— Вижу, только поженившись, дай, думаю, попрошу двугривенный.— Его радушная откровенность обезоруживала.— А для ровного счету,— подмигнул он медленным веком, видя, что Вадим потянулся в карман,— двадцать две. Точь-в-точь на целую.

Вадим дал полтинник. Старичок не выразил удивления, понимающе взмахнул сухонькой ладошкой: гуляешь, мол, парень, одобряю, мол. Затем вежливенько коснулся кепочки и моментально ввинтил себя в шумный омуток у ларька.

Случайный дед этот и вернул их к текущим заботам. Перед ними вдруг сразу обозначилась галдящая толпа у переправы, где каждый с головы до ног был во всеоружии сумок и свертков. Стало ясно, что их путь на тот берег будет совсем не простым, а в первый день за рекой определенно голодным. Поставив Наташу в очередь на паром, Вадим бросился в единственную на берегу продовольственную палатку, чтобы прикупить кой-чего из еды и питья. К прилавку Вадим пробился, растеряв по дороге добрую половину пиджачных пуговиц. Оказавшись лицом к лицу с распаренной от жары и ругани продавщицей, он бездумно бросил ей следом за скомканным червонцем:

— На все!

Реакция у той сработала безошибочно. Через мгновение перед ошеломленным Вадимом красовался «малый джентльменский набор» во всем своем неповторимом великолепии: две бутылки белой головки, две банки шпротов и плитка шоколада «Золотой ярлык». С этой добычей он и выскочил на берег, когда паром уже отваливал от причала.

Среди пестрого круговорота на пароме Вадим сразу же выделил костерок ее косынки, и сердце его учащенно, с обморочными провалами забилось: «И за что только тебе этот подарок, старый черт!» Она же в свою очередь, заметив его, прощально ему замахала. И видно было, что игра эта ей нравилась, и он подыграл: опустившись на прибрежную траву, замахал ответно. Так они и махали друг другу, радуясь своей ребячьей выдумке, до того самого мгновения, пока кто-то, еще неведомо кто, не сел рядом с ним. И, тут вроде бы еще и без причины, все в нем захолодело и оборвалось. Сосед еще только молча и натужно сопел рядом, а Вадим уже чувствовал, да какое там чувствовал! знал, что это — конец. Конец всему, что ожидало его на том берегу. И всему в его жизни вообще конец. Крепс оказался прав: ему уже теперь никуда от них не уйти. Его связь с ними становилась день ото дня все нерасторжимей. И тогда, даже не поворачивая головы, он намеренно грубо спросил:

— Можно, я выпью, начальник?

Ответ был почти дружелюбен, но от этого дружелюбия почему-то сразу закололо в кончиках пальцев:

— Пей, Лашков.

Привычным движением выбив пробку, Вадим стиснул зубами горлышко. Жгучая влага опалила гортань, но, вливаясь, не приносила с собой ни забытья, ни облегчения. Краем глаза он еще следил, как оттуда, с парома, Наташа все еще продолжала махать ему, даже не подозревая, что игра эта уже обернулась для них совсем не шуточным прощанием. Бутылка, так и не опьянив его,

лишь добавила ожесточения. И тогда Вадим снова спросил со злым вызовом:

— Можно, вторую добью, начальник?

Ответ прозвучал еще дружелюбнее:

— Добивай, Лашков.

Ах, сколько выпил он ее на своем веку, но никогда еще она не оказывалась такой бессильной в соревновании с ним!

На удаляющемся пароме, над пестрым пятном толпы бился желтенький костерок Наташиной косынки и в воздухе прощально покачивалась ее ладошка. Он не выдержал и ответил ей. Жжение под сердцем сделалось нестерпимо удушливым, и тогда Вадим встал и, не оглядываясь, пошел вперед. Грузные шаги сопровождали его мерно и неотступно.

Вежливенько, но твердо подсаживаемый в машину, Вадим инстинктивно, уже ни на что не надеясь, потянулся взглядом в сторону реки. Паром уже причаливал к противоположному берегу, и едва ли на таком расстоянии он мог разглядеть, продолжает ли она махать ему, но в эту минуту он хотел в это верить, и поверил, поверил на всю последующую горькую свою жизнь. И прежде чем задняя дверь фургона захлопнулась за ним, он успел мысленно попрощаться с нею: «До свидания, Натали! Живи, родимая. Надо жить!»

Их отъезд от берега сопровождал залихватский наигрыш гармони, перекрытый пьяно-отчаянным тенорком:

По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда ж тебя несет,
Железяка херова?

ПЯТНИЦА

ЛАБИРИНТ

Здравствуйте, дорогой многоуважаемый папаня! Во первых строках своего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, того и Вам желаем. Папанечка родненький, как вы там живете-можете? Приехали мы с Колей на новое место. Здесь кругом степя и очень ветра. А так ничего, жить можно. Очень я по Вас соскучилась, папаня. Часто утром встану и по привычке к стене тянусь постучаться. Попали мы в хорошую бригаду. Бригадир у нас сам из евреев, но человек хороший и душевный. Прямо таких я еще не видела. Заработки в этом месяце, должно, будут хорошими. Правда, вот пойти здесь некуда. Кругом степь голая, ни куста, ни травинки путевой. Все об детстве вспоминаю, когда я на огороде у нас все заячий хлеб отыскивала, а вы все смеялись: чем бы, мол, дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Вот написала

и заплакала. Плакать я теперь много стала, а почему, сама не знаю. Видать, года. Дорогой папанечка, принесу я вам скоро внука или внучку. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Вы не беспокойтесь, работаю я по мере возможности, больше Коля не дозволяет и ребята в бригаде не дают. Даст Бог, когда рожу, соберемся все вместе, в одном углу, буду тогда дитя растить, вашу старость обихаживать. Вот как хорошо-то было бы! Только когда это будет? Стройка у нас какая-то непонятная, чего строим, сами не знаем, почитай, одни коридоры да комнатенки махонькие. Ну, да не наше это собачье дело. Платили бы хорошо, а об остальном пускай у начальства голова болит,- им с горы виднее. Все я об себе и об себе, а об вас и совсем забыла. Папанечка родненький, напишите весточку, как живете, как здоровьичко ваше, как по хозяйству справляетесь? Беречь вам себя надо, как вы у меня старенький, внуков дождаться. Нехорошо мне тут будет, коли вы заболеете, изведусь вся. Очень я жду письма вашего, папаня. Будьте так добры, не забывайте свою Антонину, а я об Вас никогда не забуду.

Любящая Ваша дочь Антонина и зять Николай.

I

Когда Антонина, следом за Николаем, переступила порог прорабской, там, кроме самого хозяина, находился неизвестный тощий парень лет двадцати пяти, в заляпанном раствором комбинезоне. Занятые разговором, те даже головы не повернули в сторону вошедших. Прораб — бесформенная махина, с короткой склеротической шеей — водил карандашом по листу бумаги перед собой, подсчитывал вслух:

— Считай, по шести копеек, плюс добавлю копейки три на подноску. Плюс насечка — гривенник. Соображаешь, какую сумму отхватить можно?

Слушая его, тощий недоверчиво покачивал лобастой головой, равнодушно следил за движением карандашного острия в неуклюжих пальцах прораба, и большие темные глаза его при этом настороженно светились:

— Вы же знаете, Назар Степанович, что такое насечка,— пока с ней провозишься, какая работа?

— А ты не усердствуй. Пройдись молоточком для порядка и покрывай. Я же принимать буду.

— Не могу, Назар Степаныч. Дело есть дело. Или на совесть делать, или никак.

— Совесть! Что ты ее с хлебом есть будешь? Я тебе заработать даю, а ты ко мне с моральным кодексом лезешь.

— Да и людей у меня мало для такой работы, Назар Степаныч. В срок не освоим объект.

— Люди — не задача. Людей я тебе дам.— Он вскинул на вошедших тяжелые веки.— Чего вам?

Вполуха выслушав Николая, прораб мельком пробежал поданное тем направление, недовольно поморщился:

— Разнорабочий. Что они там в кадрах, с ума посходили, что ли? Нету у меня никакой разной работы. Освободился?

— С полгода.

— Что в лагере делал?

— На строительстве.

— Чему научился?

— Всего понемногу.

— Штукатурное дело приходилось?

— И это было.

— Видишь? — удовлетворенно оживляясь, он повернулся к парню.— На ловца и зверь бежит. Хватай, пока не умыкнули.— Взгляд его остановился на Антонине.— А это жена, надо думать? Вот ее-то мы на разные и приспособим. Подкинь им кого-нибудь из своих, сразу с двух сторон фронт погонишь.— Прораб оказался не по комплекции стремительным и подвижным: ткнув карандаш в боковой карман спецовки, он решительно вскочил и подался к выходу.— А ну, на объект!

Вагончик прораба стоял на пригорке, и с порога стройка обстоятельно обозревалась вдаль и вширь. Вокруг площадки, насколько хватал глаз, простиралась, синея в знойной дымке, ровная, как стол, степь. Строительство в основном велось вглубь, возвышаясь над поверхностью земли не более чем на метр-два, поэтому самая площадка выглядела с порога вагончика скопищем серых, под цвет степи, квадратной формы плоских бетонных коробок, между которыми сновали запыленные самосвалы. Работа шла там, внутри этих коробок, оттого стройка, сравнительно с ее размерами, казалась почти безлюдной.

Идя позади мужчин, Антонина более не прислушивалась к их разговору. Ее волновало сейчас, надолго ли задержится она здесь с Николаем? После отъезда из Узловска они уже успели поработать в экспедиции на Крайнем Севере, затем зацепились было в Красноярске на лесокомбинате, но стоило очередному щедрому на посулы вербовщику поманить Николая шальным заработком, он, не раздумывая ни минуты, потащил ее за собой в Среднюю Азию. Раньше Антонина снималась с места без особого сожаления, ей самой хотелось наверстать упущенное за предыдущие свои безвыездные сорок лет. Разнообразие и пестрота открывшегося перед нею простора поразила ее, обещая ей там — за горизонтом — еще более заманчивые дали. Но однажды утром она почувствовала какую-то неясную и обновляющую в себе перемену. Присутствие иной, сокровенной жизни затеплилось в ней, и, сладостно всем существом затихая, она чутко насторожилась и присмирела. С тех пор Антонину потянуло к постоянству и покою. Она страстно вдруг захотела своего угла, своих четырех стен, которые бы отгородили эту возникшую в ней жизнь от грозных случайностей окружавшего ее мира. Поэтому сейчас, идя следом за мужчинами,

Антонина откровенно страшилась того, что Николай долго не задержится и ей придется снова укладывать нехитрые их пожитки для новой дороги.

Шедший впереди прораб, поманив спутников за собой, неожиданно свернул в темный провал одной из бетонных коробок. По деревянным сходням они спустились в едва освещенный временной проводкой коридор полуподвального помещения, из бесконечной глубины которого тянуло неокрепшим раствором и земляной сыростью.

— Здесь только фронт наладить, а там дело само пойдет.— Прораб поспешно увлекал их вперед.— Такая деньга потечет, озолотиться можно.

Коридор тянулся вдоль такой же, размером поменьше, внутренней коробки со множеством дверных проемов по лицевой стороне, каждый из которых был, в свою очередь, началом поперечного прохода, соединяющего обе стороны всего здания. До выхода на противоположном конце они обогнули ровно половину бетонного четырехугольника. Прежде чем выйти наружу, прораб повернулся к тощему:

— Другой бы благодарен был, а ты ломаешься. Здесь двумя фронтами с обоих концов гнать можно.— Считая, видно, разговор законченным, он выдернул из бокового кармана записную книжку и, вооружившись все тем же карандашом, что-то в ней размашисто накарябал.— Определи-ка их вот в общежитие.— Протягивая парню вырванный из блокнота листок, прораб почему-то упорно отводил от него глаза.— Договорись с подсобкой и принимайся.

Прораб утонул, растворился в солнечном провале выхода, а парень, оборачивая к ним растерянное лицо, сокрушенно вздохнул:

— Без меня меня женили.— Повертел в руках бумагу, хмыкнул.— Ладно, пошли.

По дороге, идя с ним бок о бок, Антонина искоса разглядывала его. Высокий, худой, несколько сутоловатый, с резко вырубленным профилем, он задумчиво щурился на ходу, словно разглядывал вдали что-то ему одному видимое. Парню можно было бы дать не менее тридцати, если бы сквозь мягонькую щетинку на его впалых щеках не светился густой, почти мальчишеский румянец.

— Общага у нас в административном корпусе,— походя объяснил он им.— Семейные живут в кабинетах, холостые — в хозяйственных загонах. Основные циклы уже закончены, так что в основном — отделочники. У меня в бригаде пять человек, будешь шестым. Зовут меня Осипом, фамилия Меклер. Как вас?

— Николай...

— Антонина...

— Тоню пристроим к нашим женщинам на подсобку.

— Полегче бы ей сейчас чего-нибудь, бригадир,— отвернулся в сторону Николай.— Нельзя ей сейчас особо тяжелого.

Тот живо повернул к ней мгновенно порозовевшее лицо, и в близоруком прищуре темных его глаз засветилось ласковое сияние:

— Что ж, возьмем в бригаду седьмого. Не обедняем.— Он остановился перед дверью, на которой красовалось меловое изображение черепа и двух скрещенных костей.— Тоже мне, остряки... Заходите.

Административный корпус отличался от остальных бетонных коробок на площадке лишь множеством окон по всем четырем своим сторонам. Внутри его, по огибающему здание коридору, выстраивались одна за другой бесчисленные, одинакового размера двери, над каждой из которых был прикреплен пластмассовый номерной знак. Осип без стука толкнул крайнюю с корявой надписью поперек: «Комендант».

— Привет начальству! Принимай, Христофорыч, жильцов, выдавай амуницию и ставь на довольствие.

В комнате, заваленной матрацами и раскладушками, за больничного типа тумбочкой сидел волосатый старик в полуистлевшей майке, под которой явственно просматривался вытатуированный на груди государственный герб Российской империи, обрамленный броской надписью: «Стреляйте, гады!» Перед стариком, рядом с надкусанным помидором, поверх стопы ведомостей, стояла едва початая четвертинка. Взгляд его, устремленный в сторону вошедших, источал похмельную печаль самой высокой пробы:

— Еще один? Да еще и семейный! И куда только вас несет, господа! В эту Тмутаракань! Вы думаете, у здешнего рубля другая длина? Ошибаетесь. Скорее наоборот, он гораздо короче. Гораздо. Впрочем, как выражаются в хорошем обществе: хозяин — барин.— Он повел костистым подбородком вокруг себя.— Выбирайте, что понравится, и занимайте пятьдесят шестой нумер. Вот ключи...

После того, как они, наконец, с помощью Осипа устроились, и Антонина, вычистив и вымыв отведенную им комнату, сбегала в ларек и накрыла на стол, комендант, уже на изрядном взводе, явился к ним в гости:

— Всего на три куверта? Ай-ай-ай, нехорошо забывать домовладельца! Еще пригожусь.— Он снисходительно подмигнул спохватившейся было Антонине.— Не извольте беспокоиться, сударыня, я со своим прибором.— Перед ним, словно по волшебству, появился лафитник.— Будем, господа, ваше здоровье! — На его жилистой шее только кадык дернулся.— Да, Ося, их я еще понимаю. Они русские. Им сам Бог велел мечтать и разочаровываться, такая порода. Все тщатся поближе да побольше взять и разбогатеть разом. Азиатские инстинкты сказываются. Но ты, Ося, образованный человек, еврей. Неужели и твой изощренный ветхозаветный ум не мог выдумать чего-нибудь поудобоваримее.

— Но ты ведь тоже сюда забрался, Христофорыч.— Посмеивался одними глазами тот.— И потом, что ты имеешь к евреям?

— Что я имею к евреям! — Видно, эту игру они разыгры-

вали не впервой, комендант оживился, с готовностью идя навстречу партнеру.— Спроси, что они имеют ко мне? Я старый человек, мне нет смысла кривить душой, но я прекрасно помню, как это все начиналось. Бывало, стучат. Стучат, конечно, прикладами, так внушительнее. Откроет это нянюшка моя, Анастасия Карповна, Царствие ей Небесное, а на пороге беспременно хлюст в кожанке, наган на боку болтается. И уж, будьте уверены, или жид, или латыш. И чуть что — сразу на мушку. Ты, Ося, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас насчет полосы оседлости и еврейском люмпенстве как питательной среде революции. Но ты мне скажи, спокойствие-то кровожадное откуда? Люмпен, он вспыхнул и погас. У него классового гнева ровно до первой жратвы хватает. А ваши методически убивали. Убивали, будто нудный обет исполняли. Детишек и тех не жалели. Романовых, к примеру. Видно, хоть и отказались от веры отцовской, не избыли ее в себе. Сидел в них Яхве, глубоко сидел. Вот и давили гоев. Гоя можно, гой не человек.

— Были и другие, Христофорыч.

— Наверно, были,— вяло согласился тот и, налив себе сам, выпил.— Только я их не заметил. Землю от Парижа до Бугульмы исходил, а не заметил. Правда, знал одного в лагерях под Игаркой. Зяма Рабинович, святая душа. Романист, байки все травил. Да вот ты еще, пыльным мешком из-за угла ушибленный. Черт тебя сюда принес. Я? Я — другое дело. Меня три раза брали, ты это можешь понимать? — Он начал старательно загибать узловатые пальцы.— Из Франции в сорок шестом вернулся, взяли? Взяли. В сорок девятом неделю дали на воле походить, взяли? Взяли. В пятьдесят втором через месяц после освобождения опять взяли? Взяли. Не хочу больше! Мне сам Бог велел в самую глушь забиваться. Лишь бы забыли они про меня. Хоть помру не за проволокой.— Он поискал умоляющим взглядом в сторону Антонины.— Не пожалей, сударушка, на посошок старику.— Он одним махом сглотнул налитое, сунул лафитник в карман и, гулко вздохнув, поднялся.— Пойду, засплю свои триста грамм. Здесь я у одного спрашиваю, чего, мол, пьешь много? А он мне: самому, говорит, худо. Зато, говорит, когда до чертей допиваюсь... (неразборчиво.— *Ред.*) Так вот и я...

После его ухода они некоторое время молчали, потом Осип, опуская веки, тихо сказал:

— Хороший мужик, пьет только сильно. Завтра занимать придет. Вы ему не давайте, не отдаст. А напоить его и так напоят, народу много. На хлеб нету, а на водку всегда найдут.— Он коротко взглянул на Николая.— Сам-то не увлекаешься?

— В меру.

— Смотри. Ребятня здесь подобралась — один к одному, пьют всё, включая смесь из огнетушителей.

— На мне, по этой части, где сядешь, там и слезешь.

— Ну-ну...

Подперев кулаком щеку, Осип невидяще смотрел прямо перед собой, и в его настороженном облике Антонине почудился отсвет какого-то, еще неведомого ей знания, которое безмолвно излучал этот, едва знакомый ей человек. Да, да, это были не скорбь, не печаль и даже не безразличие, а именно вещее знание того, что она должна была постичь лишь в будущем.

Уходя, Осип, уже с порога, обернулся:

— Завтра прямо туда и приходите, где сегодня были. Соберемся, прикинем, с чего начать. Всего.

Смутное предчувствие решающего в своей жизни события коснулось Антонины и затем уже весь вечер не оставляло ее. Укладываясь спать, она поймала себя на том, что поет: «Эка тебя, Антонина Петровна, разобрало, гляди, плясать пойдешь!»

II

Проснувшись на следующее утро, Антонина обомлела. За окном стоял литой монотонный гул. Иссеченное песчаной пылью стекло мерно вибрировало. Если бы не требовательный звон будильника, можно было б подумать, что на дворе еще сумерки: тусклое утро едва освещало прямоугольник комнаты. Накинув халат на плечи, она разбудила мужа:

— Гляди, Коля, что на дворе делается!.. Страсть.— Украдкой поглядывая в сторону Николая, она хлопотала вокруг стола.— Вот заехали, сам не рад будешь.

— На Севере померзли, на юге погреемся,— пытался отшутиться тот, но по всему было видно, что настроение у него тоже не ахти.— Перезимуем.

Едва они успели собраться, в комнату к ним заглянул Осип. Снисходительно улыбаясь, приободрил:

— Не тушуйтесь, обойдется. Дня три погудит — утихнет. Тем более, работать нам под крышей.— Уже из коридора подмигнул заговорщицки.— Не отставать!

Колкий, обжигающий гортань ветер чуть не сбивал с ног. Степная пыль въедалась в волосы, проникала под одежду, зябко скрипела на зубах. Силуэты строений еле просматривались в сплошной пылевой завесе. Шедший впереди Осип то и дело подавал голос:

— Смелее!.. Смелее!.. Два-три десятка последних усилий, как говорится... Привыкать надо!

Когда они, наконец, добрались до объекта, Антонине показалось, что все в ней насквозь пронизано сухой зудящей изморосью. Еще не приступив к работе, она чувствовала себя разбитой и обескровленной. Одно только предположение, что это может продлиться еще несколько дней, повергало ее в панику и уныние: «Надо же было забраться в такую преисподнюю!»

Вниз Антонина спускалась, чувствуя на себе настороженный, изучающий взгляд нескольких пар глаз. У стены на корточках,

выжидающе присматриваясь к вошедшим, сидело четверо парней в спецовочных комбинезонах. Двое из них были как две капли воды похожи друг на друга: курносые, с белесыми бровями над зеленым удивлением робких глаз. Рядом с ними медлительно потягивал сигарету смуглый, похожий на цыгана парень, короткая шея повязана пестрым носовым платком. Заспанное лицо четвертого не выражало ничего, кроме насмешливой скуки. Пропустив спутников вперед, Осип опустился на трап:

— Знакомьтесь,— кивнул он им.— Вот эти два сапожка: Сеня и Паша. Братья. Любшины. Черный пижон — Шелудько. Сергеем зовут. А эта спящая красавица претендует на имя Алик. Альберт, так сказать, Гурьяныч. Вы — сами назоветесь.

— Тоня.

— Николай.

— Считаем, что высокие стороны договорились.— Он мгновенно перестроился на деловой тон.— Условия вы, ребята, знаете. Решайте, беремся или нет?

После недолгого молчания первым откликнулся Альберт Гурьяныч. Лениво позевывая, он сказал:

— Тебе видней, бригадир. Только на этом Карасике, сам знаешь, пробы ставить негде: обманет и не кашлянет.

— Работа не по разряду, бригадир.— Качнул курчавой головой Шелудько.— Это ж бабье дело стены мазать. Больше грязи, чем работы. А там — смотри, дело твое.

В ответ на вопросительный взгляд бригадира Сема лишь преданно обмолвился:

— Как ты, Ося.

Паша с готовностью поддержал брата:

— Как ты.

Лицо у Осипа благодарно обмякло,— их в него вера заметно пришлась ему по душе:

— Думаю, что обмануть — Карасику себе дороже. Работа действительно не по разряду. «Соколом» махать все умеют. Прораб обещал учесть коэффициенты. Зато фронт — что надо, есть где развернуться. Пойдем сразу с двух сторон. Разделимся так: Сема с Пашей с ними, мы с вами втроем. Тоня в положении, поэтому включаем ее в общий наряд. С нее спрос — по возможности. Кто против?

Как бы отвечая за всех, Альберт Гурьяныч поднялся:

— Чего травить, время — деньги.

Бригадир повернулся к Николаю:

— Будешь здесь за старшего. Мы пойдем на ту сторону. Сегодня занимаемся лесами.— Он, не оборачиваясь, двинулся вперед.— За мной, милорды.

Работа предстояла мелкая, бросовая: разобрать сложенные в углу козлы, укрепить их, закрыть настилом. Но глядя, с какой внушительной старательностью близнецы приступили к делу, можно было подумать, что производится операция первостепенной важ-

ности. Каждая доска в их руках, прежде чем попасть на место, проходила самую тщательную проверку на прочность. Если кто-нибудь из них вколачивал гвоздь, то аккуратности его мог бы позавидовать любой краснодеревщик. Николай, поглядывая на них, только посмеивался:

— Вот хомяки!.. Ишь как облизывают!.. Будто лекальщики. Им в аптеке работать... После них и проверять не надо.

Сколько ни старалась Антонина, действуя наравне со всеми, показать, что даром свой хлеб есть не собирается, доски потолще и козлы потяжелее неизменно ускользали у нее из-под рук, едва она к ним притрагивалась. «За ними не уследишь,— растроганно таяла она.— Поди с такими, потягайся!»

К обеду они сообща соорудили леса, по меньшей мере, дня на три сплошного гона. Но если Николай, судя по его взмокшей спине, порядком вымотался, то братья выглядели так, будто они еще и не начинали рабочего дня. Обстоятельно оглядывая дело своих рук, Паша коротко произнес:

— После обеда можно насекать.

Сема кивнул:

— Еще как!

Ветер над стройкой ломил ровной непроглядной стеной. К столовой они двигались гуськом, стараясь не упустить идущего впереди из виду. «Нам-то что! — закрывая лицо концом косынки, думала Антонина.— Отработал вербовку и до свидания. А вот кому жить здесь,— намучаются».

Столовую распирало гвалтом и хохотом. Облако табачного дыма и пара из кухни медленно клубилось над множеством голов. Запахи извести, нитрокраски, столовой стряпни, курева, смешиваясь, оборачивались терпким, обжигающим гортань настоем. В окне раздачи, словно в портретной раме, сияла царственной осанкой дебелая блондинка лет тридцати пяти, усмиряя словом, кивком головы бушующие вокруг нее страсти:

— Мусенька, мне погуще.

— Погуще, знаешь где?

— Муся, суп пересоленный, влюбилась?

— Не бойся, не в тебя.

— С тоски сохну, Мусенька.

— Перезимуешь.

— Муся, в кредит отпустишь?

— Спился уже, спрашивать не с кого будет.

Антонину она оглядела с откровенной обстоятельностью и, видно, заключив сравнение в свою пользу, величаво расплылась:

— Конечно, с непривычки? — Черные ее глаза-бусинки снисходительно лучились.— Это еще ягодки, а вот зимой задует, так хоть в печку лезь... Следующий!

За столом Антонину уже ждали. Ей мгновенно очистили место, пододвинули хлебницу и, предоставляя ее самой себе, занялись едой. Но и за обедом ребят не оставляла забота о начатом деле.

Оно — это дело — жило в напряженных лицах, беспокойных руках, хмурой сосредоточенности. Альберт Гурьяныч, старательно двигая челюстями, начал первый:

— Здесь месяцем не обойдешься, бригадир. Верных два. И то, дай Бог, уложиться. По этой стене поползаешь. С одной насечкой мороки недели на две.

— Да,— сокрушенно вздохнул Шелудько,— намахаешься. Нашли крайнего, больше некому. Дураков-то теперь нема.

Любшины одновременно, с уверенным любопытством повели носами в сторону бригадира: давай, мол, дорогой, отвечай.

— По-моему,— Осип невозмутимо доедал свой суп,— можно сделать и за месяц. В случае чего, будем прихватывать выходные. Такой заработок на земле не валяется. Главное, без паники. Считайте, что деньги у вас в кармане.

Вставая, Альберт Гурьяныч скептически хмыкнул:

— Ладно, мое дело телячье.— Он лениво кивнул в сторону раздачи.— Смотри, сглазит она тебя, бригадир.

Выражение круглого Мусиного лица красноречиво свидетельствовало о ее душевном состоянии. Она провожала Осипа до самой двери взглядом, полным преданности и нескрываемого обожания. У Осипа сердито заалели уши. Он поспешил как можно незаметнее выскользнуть в коридор. Выходивший следом за ним Шелудько восторженно мотнул головой:

— Вот баба! Глаз положит — и погиб человек, залюбит до смерти.

Братья тоже поднялись.

— Мы пойдем,— рассудительно сказал Паша.— Вы тут особо не торопитесь, время еще есть.

Сема поддакнул:

— Полчаса вполне.

Только оставшись наедине с ней, Николай позволил себе заботливо коснуться ее локтя:

— Устала?

— Капельку.

— За ними не тянись, успеется.

— Покуда можно.

— Надорвешься, поздно будет.

— Поберегусь.

— Ну, смотри...

— Ты сам-то не рвись.— Его робкая забота о ней тронула Антонину, она ласково погладила ему тыльную сторону ладони.— Всех денег не заработаешь.

Среди разговора за стол к ним подсел прораб:

— Ну, как на новом месте? — В его нервной оживленности сквозило что-то больное, вымученное.— Ветерок этот, конечно, не подарок, да ведь вам-то после Севера не привыкать, наверно. Зато теплынь — бани не надо.— Он испытующе воззрился на Николая.— Еще не насекали?

— С лесами возились.

— Ну-ну... Работа, понимаешь, срочная. От нее вся процентовка зависит. Успеть надо.

— Постараемся.

— Ты, парень, вижу — с головой, понимаешь, что к чему. Оська — человек больной. Будет ковыряться, как в часовой мастерской, а здесь темп нужен. Понимаешь? — Маленькие глазки прораба исходили молящей просительностью.— Стукнул молоточком разок-другой и крой себе. Авось не дворец — сойдет.

— Я человек у вас новый, Назар Степаныч,— заскучал Николай,— как все, так и я.

— А ты поговори с ребятами, им же лучше. Что они, своей выгоды не понимают?

— Попробую.

— Вот и договорились,— сразу заторопился Карасик.— Завтра загляну, посмотрю, как начали.

Когда они возвратились на объект и Николай рассказал Любшиным о своем разговоре с прорабом, те лишь согласно вздохнули:

— С Осей надо.

— Без него никак.

— Мое дело передать,— обиделся Николай.— Только если как в аптеке работать, много не заработаешь.

Братья молча переглянулись и не ответили. Но Антонине показалось, будто при упоминании о заработке что-то в их лицах дрогнуло, обмякло, и, отметив про себя эту в них перемену, она посожалела в сердцах: «Ломает душу копеечка, вот как ломает!»

Вечером, молясь перед сном, она просила благодати себе, и мужу, и его товарищам, всем тем, от кого зависело их благополучие. Не забыла и об отце, страстно желая ему здоровья и долгих лет жизни. Последняя же ее молитва была во имя страждущего за других иноверца Осипа.

Сон не шел к ней, она долго лежала в темноте с открытыми глазами, потом спросила, скорее себя, чем мужа:

— Может, не надо?

— Чего? — откликнулся тот сквозь дремоту.— Чего не надо?

— То, как прораб хочет.

— Нашла время, спи...

Снилась Антонине гора, в острых каменистых складках которой цвел какой-то диковинный кустарник. Антонина шла вверх, взбираясь к блистающей яростной голубизной вершине, в уверенной надежде увидеть оттуда море, бьющееся с той, другой стороны горы. В этом призрачном восхождении Антонину и застало утро следующего дня.

III

Вечером в день аванса общежитие заметно ожило. Известное возбуждение чувствовалось уже во время ужина в столовой. Затем

оно, постепенно нарастая, перекинулось в коридоры и комнаты. К тому времени, когда подступившие сумерки выявили в окнах россыпь первых звезд, административный корпус гудел от смеха и ругани.

Со страхом и надеждой Антонина отмечала про себя, как пьянка все ближе и ближе подкатывалась к их жилью: дай Бог, мимо; дай Бог, пронесет. Но ожиданиям ее не суждено было сбыться. К полуночи в комнату без стука ввалился Альберт Гурьяныч и комендант, вдрызг пьяные, с бутылками в карманах. Комендант, заискивая перед хозяйкой, согнул в земном поклоне свое сухопарое жилистое тело:

— А мы со своей, Антонина Петровна, со своей. В расход не введем, будьте великодушны, разрешите с вашим супругом, так сказать, на брудершафт...

— Не объедим, Тоня,— Альберт Гурьяныч еле стоял на ногах,— не объедим... Мы люди простые, мы без закуски... Вставай, подымайся, Николай... Раздавим на трех гномов две белоголовки...

Пока Антонина собирала на стол, гости принялись договаривать начатый, видно, еще до этого разговор. Упираясь волосатыми пальцами в грудь собеседнику, комендант трубно втолковывал ему:

— Мужички, говоришь? Кормильцы! Это они тебе здесь в жилетку плачутся: от колхозной голодухи, мол, на заработки приехали. А ты и развесил уши. Слушай их больше! Видишь вот на мне — штаны китайские, рубаха румынская, ботинки чешские, хлеб мы с тобой едим канадский, колбасу нам делают из мяса австралийского, кашу заправляют датским маслом. Где же он, кормилец наш вечный? А он, сердешный, или на базаре сидит, или в Кремле заседает, весь блестит от наград, по магазинам бегает. Причем, бездельник, нас же с тобой нашим же хлебом попрекает,— жизнь мы ему заели, говорит. Рабочий, ученый нынче сам себя кормит, золото добывает, нефть, машины, книжки делает, которые за кордон за жратву и тряпки идут. А крестьянин твой давным-давно у них на полном иждивении. Даже хлеб его нищий и картошку они ему убирают. А когда Россия действительно на крестьянский хлеб жила, то всегда голодала. Потому как не хлеб это, а слезы. Не умеет он его растить да и не хочет. Вон немцы на своих супесях по шестьдесят берут, а наш чудо-богатырь на черноземах до сих пор пятнадцати на круг не натягивает. Темен, ленив, поди, русский мужичок. Не жалеть его надо, а учить. Работать учить. Ты видел, как он сало солит? Набросает в бочку кусками и рад. А попробуй кто в деревне покоптить или повялить, поедом съедят, затравят. Не терпит русский мужичок, чтобы кто-нибудь выделялся. Они живут по-свински — значит, все так же должны жить. Потому и ненавидит Европу да и весь мир презирает. Не так живут, не по его. Потому и выхваляется: все у него первое в мире. «Левшу» читал? Видел картинку: грязный, оборванный, в гнилых лаптях. Зато блоху подковал! А ты

спроси у него, зачем ее ковать-то? Лучше б умылся вначале, лыка надрал да лапти сплел, дыры в кафтане зашил бы! Воровской, бездельный народ, а ты нюни распустил: трудоднем сирого задавили! Заставишь ты его день даром проработать! На-кась, выкуси!

Но Альберту Гурьянычу было явно не до дискуссий на отвлеченные темы. С тоскливой жаждой следил он за рукой Антонины, разливающей по стаканам содержимое поллитровки:

— Выкуси, закуси... Прах все это... Ты человек ученый... Над всеми одеяниями начальник. А мы люди простые, нам бы гроши да харчи хороши.

— Вот-вот,— выпив, снова завелся тот,— во все века так. На кого же вы тогда жалуетесь? На таких, как вы, только воду и возить, лучше скотины не отыщешь. Без няньки с кнутом не можете, неделю не секут — тоска берет. Эх вы, косопузые!

К мужским разговорам Антонина относилась со снисходительным равнодушием. Смешными казались ей их заботы о судьбах футбольных команд или событиях на восточной границе. Куда больше тревожила ее очередная наценка в столовой, а того более — протертый ворот праздничной рубахи мужа. Прощая им эту их маленькую слабость, она в мужских компаниях, занятая своими мыслями, обычно молчала. Поэтому и теперь, подливая гостям, Антонина почти не слышала их речей и опомнилась лишь с уходом коменданта.

— Что Илья Христофорыч обиделся, что ли? — Она уже свыклась с их визитом.— Если мало, я сама сбегаю.

Николай накрыл ее ладонь своей:

— Пусть идет. Он свою норму знает.— Сказал и тут же обернулся к Альберту Гурьянычу.— Ты, значит, и женатый был?

— Был! Еще как! — Стремительно трезвеющими глазами он смотрел в пространство перед собой.— Пришел из армии, куда идти? Специальность я на службе шоферскую получил... Читаю: в таксомоторный водители нужны. Подал заявление. Вожу «королей». Служба идет, копейка бежит... Сажаю раз девушку... Светленькая такая. Смазливая... В штанах. Лет от силы восемнадцать. Едем к трем вокзалам... Вдруг она мне и говорит: «Парень,— говорит,— хочешь,— говорит,— копейку хорошую иметь?» А я ей: «Смотря откуда,— говорю,— если от уголовщины,— говорю,— то гуляй в другое место». «Что ты,— говорит,— дело чистое. Клиента я сама найду, а ты,— говорит,— только линять будешь на это время». Обернулся это я, поглядел на нее, и сердце у меня упало: сидит она передо мной, улыбается, ну, прямо с модной заграничной картинки пташка. «А почем,— говорю,— теперь молодость пошла? — А у самого сердце кровью обливается.— Красота почем?» «А пятерочку за раз,— говорит,— иметь будешь, остальное мое». «Ладно,— говорю,— поехали». С того дня и начали мы с ней делать бизнес. Цельную, можно сказать, фирму открыли. Поначалу погано на душе у меня было, а потом пообвык. Опять же заработок,

трех зарплат не надо. Приобарахлился, деньжата завелись, шляпа, пальто с поясом. Не хуже другого инженера. Клиентов у нее хоть отбавляй. Иной раз по трое садились. И то сказать, есть на что посмотреть: не девочка — мечта. Часто после работы заедем, бывало, за город. Выпивон, конечно, с собой, закусь. Между нами никаких дел не было, так, по-товарищески. Если спутаешься, какая уж тут работа!.. Вот как-то и говорит она мне в подпитии: «Алик,— говорит,— а ты бы на мне, на такой, женился?» Растерялся я тут. «Что ты,— говорю,— травишь попусту, зачем я тебе?» А она в слезы: «Люблю я тебя, подлого, вот что!» Весь хмель у меня из головы вон. «Ты что,— говорю,— очумела, какая такая любовь между нами может быть? Ты,— говорю,— посмотри на меня, как следует, меня ведь только на огород заместо пугала». «Дурачок,— говорит,— души своей не знаешь. За тобой,— говорит,— если совсем не ослепла, любая пойдет». Ну, понятно, ополоумел я, моча в голову вдарила, молодой еще совсем был, двадцать пять годочков... В общем, состоялось у нас все в первый раз. Тут и рассказала она мне свою жизнь, какая она у ней была... Из простой семьи сама была. Отец, вроде, по сапожному делу, а мать уборщица. В Коломне, что ли, жили. Ее с детства за красоту артисткой дразнили. Вот после школы она и бросилась в Москву, в театральный. А там таких, сами понимаете, пруд пруди, одна красивше другой. Сунулась, не взяли, попробовала обходным манером, только опоганилась. Домой вернуться — засмеют. А она с характером: лучше в петлю, чем в Коломну. Ну, и подвернулось ей тут объявление: на швейную фабрику, с пропиской. Фабрика эта с вокзалами рядом. Получку первую пришла получать, а там еще с нее причитается... Хоть садись и волком вой. Тут к ней одна из бригады и подсуропилась: «Дурочка,— говорит,— с такой-то внешностью да теряться! Пойдем,— говорит,— со мной вечером, не пожалеешь». «А как же,— спрашивает,— это можно?» «От тебя,— говорит,— не убавится. Удовольствие получишь и деньги будут. В нашей,— говорит,— бригаде, те, что с кожей да с рожей, все ходют». Так и понеслась эта у нее житуха с музыкой. Каждый вечер ресторан, или на хате где, а потом уж ей опытные таксиста присоветовали. Пропускная, как говорится, способность выше... Короче, женился я на ней. Все честь по чести, зарегистрировались и прочее остальное. Привел я ее к себе в холостяцкую конуру в Черкизово, соседи за человека не считали, а тут зауважали сразу: какую Алька кралю себе отхватил... Ах, как мы с ней жили тогда! Бывало, я только с работы, а она уже стоит у ворот дожидается, навстречу бежит. И я чую, никогда такого со мной раньше не было, нету мне без нее жизни. Мы, считай, от кровати и не подымались вовсе. Так бы и втиснулись друг в дружку... А уж когда затяжелела она, тут я сам не свой стал. Только пыль с нее не сдуваю. Соседи, те присмирели, издалека шапки ломают. Алька, непутевая душа, в самостоятельную жизнь ударился. С работы бегу — обязательно цветочек, конфетку какую волоку. Меч-

таю: родит, совсем человеком станет... Только уж если кому написано на роду дерьмо хлебать, в калашный ряд не суйся.— Тут он даже зубами скрипнул от отчаянья.— Прихожу это я раз с работы, нет моей Танечки, а на столе записочка валяется. Так, мол, и так, дорогой Алик, жизнь, мол, наша совместная не может состояться, потому как рожать ей в таком юном возрасте никак невозможно, она, мол, пожить хочет, а вполне вероятно, и попробовать еще себя в искусстве... И началась у меня не жизнь, а сказка — чем дальше, тем страшней. Пропил я тогда все до исподней рубашки. С работы меня, конечно, скоро выгнали, прав шоферских лишили. Соседи так чуть не озверели от радости,— как же, сорвался все-таки Алька! Проходу не дают. Короче, очухался я в дурдоме, с горячкой туда попал. Выписался: ни копейки, ни барахла, а участковый каждый день ходит. Плюнул я на все и двинул в исполком к вербовщику... Так и попал сюда транзитом... Плесни-ка остаточки, Петровна!

Последняя стопка окончательно сморила Алика. Вдвоем с мужем они осторожно подняли его и повели в общежитие, где он вместе с другими одиночками занимал койку. По дороге парень все порывался лечь, пьяно при этом бормоча.

— Братцы, я только на минутку прилягу, и все... И снова, как штык. Готов к труду и обороне... Нет, ей-богу!.. У нас, у шоферов, закон такой: сыпанул за баранкой минутку-другую, и хоть во Внуково... Ей-богу!

Оставив мужа раздевать и укладывать парня, Антонина направилась было домой, но по пути раздумала и вышла наружу. В лунном сиянии душной степной ночи безлюдная стройка казалась вымершей. Редкие островки света вокруг дежурных вышек выхватывали из темноты все ту же степь с ее бугристой и жухлой поверхностью. В звездную глубину ночи ввинчивался ровный гул реактивного самолета. Мир за пределами тьмы увиделся Антонине вещим и таинственным.

Когда тишина вокруг окончательно отстоялась в ее сознании, она услышала плывущие из темноты провала по соседству голоса. Ей почему-то сразу стало жарко. Один — низкий, грудной женский явно принадлежал кухонной раздатчице. В другом, настоянном глуховатом баске, Антонина узнала своего бригадира...

— Мне от тебя ничего не нужно, Ося.— Муся почти умоляла.— Ты не бойся.

— Не в этом дело, Муся,— смущенно уходил от ответа Осип.— Не в этом дело.

— Ты думаешь — я старая? Я и не старая вовсе. Мне еще тридцать с чуть-чуть.

— Что ты говоришь, Муся? ...Что ты говоришь?

— Может, ты после Назарки гребуешь? Так ведь разве это по своей воле? У меня ведь, знаешь, какой хвост в трудовой книжке? Не ляжешь, никто не возьмет.

— Не поймешь ты, Муся...

— Осинька, ягодка, ноги тебе мыть буду и юшку пить. Только бы с тобой. Хоть когда...

— Не могу я, Муся. Нельзя же вот так просто, как звери.— Голос завибрировал.— Ведь любовь должна быть.

— Моей, Ося, на двоих хватит. Ты только помани. А я за тобой в огонь и в воду.

— Не поймешь ты, Муся... Никак не поймешь.

— Тебя, Ося, никто так никогда любить не будет, как я... Я тебя ото всего заслоню, укрою.

— Не могу, Муся.— И еще тверже.— Не могу.

— Я подожду, Ося, я подожду... Ты погуляй, у тебя самые года... Я подожду.

— Нет, Муся. Нет, не надо.

— Осинька!

— Пойду я, Муся.

— Ося-я-я...

Укрощая прерывистое сердцебиение, Антонина повернула обратно в корпус. Опаленная злым, еще не изведанным ею жаром, она заспешила к мужу, страшась признаться себе самой, что чувство, которое владело ею в эту минуту, была ревность.

IV

Работа на следующий день шла через пень-колоду. Ребята двигались, будто осенние мухи, инструмент валился у них из рук, раствор почти целиком сползал из-под правила на пол. Антонина старалась спасти положение, кое-как латая за ними огрехи, но без постоянного навыка не успевала и в конце концов тоже сникла и опустила руки. Едва у проходной отзвонили к обеду, бригада завалилась тут же на лесах переспать утреннее похмелье.

Прикорнула в уголке и Антонина. Пригрезился ей их садок в Узловске, где она в знойный полдень поливает гряды. Отец сердито следит за ней в окно и сокрушенно качает головой: не так, мол, не так, не так! Слезы обиды душат ее, вода бесцельно льется у нее из лейки, много воды. Влага застилает ей глаза. Холодная, ледяная влага...

— Извини,— перед ней выявилось грустное лицо Осипа.— Будь другом, помоги немного.

— Сморило,— взволнованно засмущалась она,— печет сильно... Вон как похрапывают! — Она лихорадочно приводила себя в порядок.— Так чего?

— Леса подстроить хочу, одному не развернуться.— Его просительность смущала Антонину еще более.— Моих тоже пушкой не разбудишь.

— Гульнули вчерась ребята... Веди, бригадир.

Вдвоем они отыскали свободные «козлы» и, установив их, застелили досками. Никогда еще Антонина не работала с таким удовольствием, как в этот раз. Помогая Осипу, она не сводила

с него ликующих глаз, следя за каждым его шагом и движением. Еще в начале работы Осип разделся до пояса, тощее мускулистое тело его лоснилось от пота, и у Антонины, всякий раз когда он поворачивался к ней разгоряченным лицом, сладостно обмирало сердце.

Взобравшись на выстроенные леса, Осип благодарно подмигнул ей сверху:

— Спасибо. Пускай поспят ребятишки, а мне все равно делать нечего. За это время порядочный кусок насечь можно.

Из-под молотка у него только искры сыпались, когда он шел вдоль стены к краю настила. Оспины насечки постепенно осыпали бетонную поверхность. Работа получалась добротная, без халтуры и пропусков. «Такого не купишь.— Чувство вины и неловкости перед ним одолевало ее.— Совесть не та».

Занятый делом, Осип время от времени дружелюбно ронял вниз:

— Устаешь?

— К вечеру разве.

— Жара выматывает.

— Я уж привыкла.

— Домой не тянет?

— Еще как!

— Скоро поедешь?

— Не загадываю.

— Что так?

— Всякое бывает.

— Ты голову себе не забивай.— Он строго посмотрел на нее сверху.— Всё будет о'кей.

— Дай-то бы Бог! — растроганно вздохнула она.— Твоими бы устами...

Потом они сидели под лесами, распивая по очереди извлеченную откуда-то Осипом бутылку кефира. Сделав глоток, он передавал кефир Антонине, и та, млея от расположения и благодарности, отпивала свою долю. Слова, которые складывал он, на первый взгляд, обыкновенные непритязательные слова, казались ей сейчас самыми значительными и вескими в ее жизни:

— Мои вот тоже пишут: возвращайся. Соблазнительно, конечно. Я ведь родился и вырос в Москве. Но не хочу. Наверное, только здесь я окончательно почувствовал себя человеком. С детства, сколько себя помню, за мной как хвост тянулось проклятое слово «жид». Даже те, что хорошо относились ко мне, мои друзья и знакомые, не забывали при случае, вроде бы шутя, напомнить, кто я. Но однажды я ушел из дома. Прочитал одну книгу о еврейском бродяге и ушел. Помню, приехал в Ашхабад. Зима, а я в одном легоньком свитерочке. Пока добирался, почти все с себя продал: думал, пустыня, значит, жара. А там, оказывается, зимой тоже не тропики. С вокзала ночью выгнали. Сижу в привокзальном скверике, зуб на зуб не попадает. Подходит ко мне женщина,

пьянёнькая, в синяках, и спрашивает: «Что, пацан, дрожжи продаешь, иди на кирпичный, там согреешься». Показала мне, как пройти, и я пошел. На окраине, по соседству с пустыней нашел я этот завод. Забрался я на печной потолок, а там уже полно народу. Большинство — ребятня вроде меня, но были и взрослые. Место мне нашлось, печь огромная. Лег между двух пацанов, сверху дует, крыша, как решето, зато снизу печет. Так всю ночь и ворочались все вместе: один бок погреешь — на другой переворачиваешься... Прожил я таким образом месяца полтора, подрабатывал на погрузке, приворовывал по мелочам. В пустой день соседи по ночлегу подкармливали. И ни разу за это время даже не вспомнил о своем происхождении. И никто не вспомнил. Были среди нас татары, узбеки, русские, украинцы, латыши — и те были, но никто об этом даже не думал. В драках и то не вспоминали. Меня вскоре вернули по розыску родителей, но с тех пор я уже не мог забыть этого блаженного состояния своей полноценности. И понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России так же ненавидят всех, кто живет лучше. И тогда я решил, как только закончу школу, нарочно провалиться на вступительных, чтобы уйти работать вместе со всеми на равных, и чем тяжелее, тем лучше... Извини, я закурю.

Доставая курево и спички, Осип задел Антонину локтем, и от этого его нечаянного прикосновения сердце ее зашлось яростным жаром. Его откровенность с ней придавала ему в ее глазах еще больше цены и привлекательности. «Досталось парню,— исходила она слезным сочувствием,— врагу не пожелаешь».

Глубоко затянувшись, он неожиданно спросил:

— Хватает вам?

— Пока хватает.

— А родишь?

— Видно будет.

— Сейчас надо думать.

— Думай не думай, где ж их взять?

— Была бы шея...

— Одного хомута много.

— Спроси у Николая, если захочет, я дело найду. Есть тут у меня в городе заработок.

— А сам как?

— Я не из-за денег, интересно просто.

— Работа такая?

— Угу, скульптор там один московский живет. Землю ему из депо принести, глину замесить, мелочи разные. Пятерка по таксе. Заходите в воскресенье, и пойдем.

— Спасибо... Скажу... Деньги пригодятся.

— Договорились.— Он поднялся, отряхнул колени.— Ребят не

буди, работы от них все равно никакой... Схожу к Карасю, потолкую насчет нарядов.

Оставшись одна, она долго молилась втихомолку, просила Господа не судить ее строго за сердечную слабость и греховные предчувствия. И после молитвы ее не оставила тихая радость, от которой на душе у нее было ясно и празднично.

V

Когда-то этот город жил морем. Во многих глинобитных его дворах еще и сейчас можно было увидеть остатки рассыхающихся лодок и рыболовные снасти, приспособленные для береговых нужд. С каждым годом море все дальше отступало от города, пока не обернулось едва видимой ножевой полоской горизонта. Город захирел и стал потихоньку вымирать. Молодежь, подрастая, уезжала искать счастья в чужие края, а старики доживали свой век, подкармливаясь около базара и железнодорожной станции с ее дряхленьким оборотным депо.

Но однажды в знойный летний день на городской площади остановился военный «газик». Из него вышла группа офицеров в полевой форме. Офицеры постояли, потоптались у воздвигнутой для торжественных случаев трибуны, затем снова забрались в машину и укатили своей дорогой. А вскоре в город стали прибывать солдаты, располагаясь лагерем на самой его окраине. Не прошло и месяца, как за городской чертой возник, постепенно обрастая вспомогательными службами, поселок из сборных щитовых домиков.

Город ожил. И не то чтобы в нем что-нибудь сразу и резко изменилось, он так и остался одноэтажным и глинобитным, с двумя маяками — мечети и православного храма — в противоположных концах, но улицы его стали оживленнее, разговоры громче, одежды пестрее. Наверное, поэтому местную власть обуяло честолюбивое желание увековечить возрождение города памятными сооружениями, наподобие римских. Первым делом решено было соорудить в городском сквере, где до сих пор паслись козы местных пенсионеров, триумфальную арку, украшенную лепными изображениями славных деяний своих земляков. Для этой цели из Москвы был выписан известный скульптор, а в области наняты за аккордную плату два лучших каменщика. К тому времени, когда Осип привел друзей в мастерскую заезжего ваятеля, строительство арки шло уже второй год и близкого конца ему не предвиделось.

Сама мастерская представляла собою длинный, разделенный дощатой перегородкой на две равные части сарай, служивший когда-то портовым складом. В ожидании ребят, ушедших за землей для опок и гипсом, Антонина не спеша обходила помещение по кругу, рассматривая стоящие на подставках вдоль стен изваяния разных размеров и фактуры. Ни одно из них не походило на то,

что ей доводилось видеть раньше. Там все выглядело предельно понятным: человек походил на человека такого, каких она привыкла видеть каждый день в газете или на собрании. Здесь каждая фигура смотрелась совсем иначе. Вздыбленные в безмолвном крике изваяния со сквозными ранами в груди и солнечных сплетениях, казалось, взывали к состраданию и помощи. Особенно поразило ее распятие в углу: пригвожденное к кресту красивое и мощное тело мужчины с вычлененной из него же головой ребенка.

Если бы Антонину спросили, она не смогла бы сказать, объяснить словами, почему оно — это распятие — волнует ее, пробуждает в ней смутные, будоражащие душу воспоминания. Мужчины, с которыми ей приходилось жить бок о бок или встречаться — отец, дядя, племянник, муж — были сильными и неробкими людьми, но присущая им внутренняя детскость обрекала их на беспомощность перед обстоятельствами. Оттого жизнь каждого из них походила на обреченный крик.

В этом медленном проходе вдоль скульптур ее сопровождал бурный, то внезапно затихавший, то воспламенявшийся с новой силой разговор за перегородкой. Два голоса, один — глухой, картавый и другой — настоенный звонким вызовом,— наперебой сменяли друг друга:

— ...Снова Боженьку вам подавай, а сами в сторону. Нашли на кого рабство свое свалить!

— Ах уж эта семинарская нетерпимость! Ничему вас, Юрочка, дорогой, история не научила. Всех ненавидите! Ортодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят. Представляю, какой режимчик вы устроите своим политическим противникам, коли придете к власти. Неужели, Юра, трудно понять, что если всегда «око за око», то кровь никогда не кончится. Попробуйте хоть раз простить — самим легче станет.

— Слыхали мы эти песни! Владимирская тюрьма битком набита, а вы все о Промысле блажите.— Переходя почти на шепот: — Слыхал? Крепса в Казань отвезли.

— Вот видишь,— в голосе за стеной обозначилась горечь,— не тебя, не кого-нибудь из ваших, а его, безобидного проповедника. Значит, слово Марка повесомее твоего будет.

— Да кто за ними пойдет? Единицы. Идея их так загажена, что ее отмаливать века не хватит.

— Ты заметил парня, что заходил сюда? — Разговор после недолгого молчания возобновился снова.— Тот, что помоложе?

— Ну.

— Мальчик, как говорится, из хорошей семьи. Школу с медалью кончил. Но вместо института он выбрал самую что ни на есть глухую стройку. Что, трудовой энтузиазм? Отпадает. Мальчик слишком трезв для дешевого идеализма. Блажь? Порода не та. Что же тогда, ответь, если сможешь?

— Но уж и не вера, разумеется!

— Как знать. Скорее ее предчувствие. Несовместимость чистой

души с изолгавшейся средой выталкивает ее в стихию. Но такие, уверяю тебя, за вами не пойдут.

— Таких и не зовем.

— Потому что боитесь их. Уж больно на их белизне тьма ваша выделялась бы. Вы зовете социальных и духовных люмпенов. Отбросы, которые жаждут самоутвердиться на крови. Чужой крови. И вашей, кстати, тоже.

— Дважды история не повторяется. Мы учтем опыт.

— Может быть. Но так как ваш новый эксперимент влетит России в новую кровавую копеечку, я — против.— Голос отвердел несвойственной ему резкостью.— Поэтому, если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта. Лучше, что есть, чем вы. Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию.

— Спасибо за откровенность. Благородный охранительный базис под свои заработки подводишь. Конечно! Где же такие, вроде тебя, найдут столько набитых государственными деньгами дураков, способных воздвигать пантеоны даже по поводу открытия городских сортиров?

— Стыдись! Ты же знаешь, что я не выставляюсь и мне не на что жить. Кстати, не тебе говорить...

— Хлебом попрекаешь, христианин! — Голос взвился до крика.— Ноги моей больше у тебя не будет! Стоило мне тащиться за тыщу верст, чтобы дать тебе, наконец, высказаться. Деньги я тебе верну... Бывай!

— Юра! — И еще более умоляюще.— Юра!

Антонина успела рассмотреть в выскочившем оттуда человеке лишь неопределенного цвета бородку, наподобие тех, что носят геологи, и опаленные гневом угольные глаза на широком небрежном лице. Через мгновение с силой захлопнутая им входная дверь уже тихо покачивалась от удара. Приходя в себя от неожиданности, Антонина услышала рядом с собой знакомый, с вызовом голос:

— Нравится?

Перед Антониной, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоял среднего роста широкоплечий брюнет одного примерно с нею возраста. Стоял он в распахнутой ковбойке, концы которой были узлом завязаны на уже заметно определившемся животике, и забрызганных гипсом вельветовых брюках. Волосатая, мощно развитая грудь под рубахой отличала в нем работника истового и постоянного. В ореховых его глазах плавилось затаенное, почти детское озорство.

— Нравится? — еще раз переспросил он и, не ожидая ответа, быстро и горячо заговорил: — Вот тому, что сейчас ушел, совсем не нравится. Ему мое дело нужно для приспособления к своему. А оно не приспособляется. У моего дела другая задача. Ты понимаешь,— это его неумышленное «ты» сразу расположило ее к

нему,— я не в матерьяле выявляю свою идею, а из матерьяла. В камне, в металле, в глине уже все есть, надо лишь найти доступную им форму. Как ты думаешь, что подойдет для этого креста?

От его вопроса в упор Антонина смешалась, но тягота муки, запечатленной ваятелем в распятом теле, вдруг передалась ей, и она еле слышно шепнула:

— Потяжелее что...

С минуту он, словно впервые увидев, молча и удивленно смотрел на нее, потом сказал медлительно и тихо:

— Да, мамочка моя, Господь Бог тебя не оставил... Дал Он тебе благодати... Надолго хватит.

Он, видимо, хотел добавить еще что-то, но в эту минуту снаружи послышался шум и сразу вслед за этим в мастерскую ввалились ребята, нагруженные мешками с материалом. Хозяин бросился им на подмогу, втроем они легко и сноровисто определили груз к месту и лишь после этого позволили себе сесть и молча закурить.

Глядя на них, мирно покуривающих у распахнутого окошка, Антонина позавидовала мужской доле. Сила мышц или знание ремесла уже обеспечивали им место под солнцем. Для них была неведома обязательность множества мелочей, без которых женщина не могла, лишалась возможности существовать. Ведь ни здоровье, ни работа не составляли в ней главного. Чтобы почувствовать себя в этом мире необходимой, ей требовалось еще и постоянное ощущение своих связей с окружающим, а следовательно, и обязанностей по отношению к нему. «Мужику что,— снисходительно подвела она итог своим размышлениям,— встал да подпоясался, а на бабе вон сколько!»

Первым поднялся и заговорил хозяин:

— Что ж, братцы, день кончился. Пошли ко мне, распорядимся на четыре персоны. Есть у меня бутылка какой-то отравы, разопьем.

В другой половине, приспособленной скульптором под жилье, царствовала местная триумфальная арка во всех своих мыслимых и немыслимых видах: макеты, слепки, фрагменты, фотографии красовались всюду, куда ни обращался взгляд. Фигуры мечтательных дев со снопами в руках и автоматчиков в касках обступали ложе хозяина со всех сторон. Казалось, только мраморный бюст девочки, стоявший на подставке у изголовья, ровным спокойствием своих линий сдерживал их решительный охват.

— Осуждаете,— печально отозвался хозяин, когда с бутылкой было покончено.— Вы правы, но должен я что-то делать амам. Моего они не хотят. За свои деньги хотят получить всевозможное удовольствие на уровне плохонького кино а-ля Пырьев. И я их понимаю. С какой стати им раскошеливаться ради моих прекрасных глаз? Лучше они раскошелятся ради своих.— Он уставился в Меклера.— Я завидую тебе, Осип. Ты сумел уйти от соучастия. Но ведь для этого тебе была необходима ясность ми-

ропонимания. А кто ее — эту ясность — дал твоему поколению? Я! Мы, десятилетиями вместо дела изобретавшие велосипеды и открывавшие америки. Затратив на это годы, мы выдали ее вам в готовом виде уже в начале вашего пути. И поэтому вы имеете возможность начать сразу с настоящего, не затрачивая никаких усилий на то, чему нам приходилось учиться столько лет. И каких лет! И в какой школе! Дорого за эту науку заплачено. Мы словно поле для вас заминированное очистили. На большее нас не хватит. Слишком уж кровавая была работенка. Поэтому теперь я думаю только о том, чтобы мне дали лепить. Я подошел к настоящему, и у меня нет времени для других забот. Иначе мне и жить не стоит.— В нем как-то сразу определилась усталость, он посерел и поник.— Ладно, ребята, идите, пора.— Он перевел взгляд на Николая.— На жену тебе повезло, братишка... Береги. Такие подарки не каждый день... Ну, до скорого.— Пошарив в кармане брюк, хозяин достал оттуда горсть скомканных бумажек и протянул Осипу.— Вот... Здесь хватит... На всех...

Выходя, Антонина обернулась: мастер сидел с закрытыми глазами, откинувшись затылком на оконный косяк, и тени подступившего к нему сна четко проявили в его уверенной фигуре и на крупном лице выражение детской беспомощности.

VI

РАССКАЗ МУСИ О САМОЙ СЕБЕ

— Я, милая, такого перевидала, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это тебе жизнь в диковинку, а я все медные трубы насквозь прошла, жива осталась. Мать моя, Царство ей Небесное, хорошая была женщина, пила сильно. Бывало выпьет, и пошла куролесить, что под руку попадет. Папашку моего била почем зря, а он у меня тихий, безответный был, только запойный. Она его бьет, а он лежит, не шелохнется, только просит все: «Сонечка, голубушка, по срамному-то месту зачем? Пожалей!» А она ему: «Я тебя потому и бью туда, чтобы неповадно было выблядков своих на свет пускать». Так они и жили, пока он в одночасье не повесился с перепою. Остались мы с мамашей вдвоем, как в песне поется: «Две былинки-сиротинушки во полюшке стоят». Я так лет с двенадцати еще по рукам пошла. Только с ленивым не спала. Мамка моя об меня все скалки обломала, а мне хоть бы что, за первыми штанами на улицу. Там и одевалась, там и харчевалась. Думала, не родится тот человек, чтоб хомут на меня надел. С кем хочу, с тем и пойду. Только нашла на старуху проруха. Объявился у нас на улице оголец хроменький в малокозырке. Сам из себя не виден, зато глаз вострый и с характером, первый срок уже отбарабанил. Поглядела я в глаза его чернявой масти, и зашлась во мне душенька: вот она, судьба моя распроклятая! Как собачонка за ним бегала. Совесть, гордость потеряла. Когда сошлась, оз-

верела совсем, юбку около него увижу — в глазах черно. Как в песне поется: «Чтоб красивых любить, надо деньги иметь». Воровал мой оголец, как ни попадя. Я тряпье на базар таскала. Сколько веревочке ни виться... Сгорели мы, как шведы. Он подельников выгораживал, все на себя взял, ему на всю катушку, а мне, по моей глупости,— пять без поражения. И пошло, поехало, как в песне: «А надзиратель, пес, падлюка, гад, не скажет: иди, братишка, я соломки подстелю». Привезли в лагерь, снарядили на лесоповал, пять кубов норма. Две смены отработала,— нет, думаю, не пойдет дело. Иду в больничку, говорю: клади. А он мне: «Здесь таких ушлых да дошлых пруд пруди. Иди,— говорит,— пока десять суток строгого не схлопотала». Иду, думаю, лучше в петлю, чем за зону лес валить. Попадается мне у вахты старшой из надзорслужбы. Под банкой. Ну, думаю, Муся, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». А вместо, как говорится, сердца — пламенный мотор. Примарафетилась наспех и к нему: «Гражданин начальник, жизни лишусь, пожалейте». Посмотрел он на меня пьяным глазом: «Пошли,— говорит,— со мной, поглядим, какая тебе цена». Завел он меня в котельную, а оттуда уже сам за мной, как теленок, бежал. Поработала в хозчасти уборщицей, а потом — на кухню. Так и прокантовалась до амнистии. Освободилась — идти некуда: мать померла, комната пропала. Сунулась в исполком, вербуйся говорят. Нашли дуру! Смотрю по коридору — табличка висит: «Горторг». А, была не была! Захожу я прямо к начальнику: «Работник пищеблока со стажем». Гляжу, смеется: «Когда,— говорит,— освободилась?» Я чуть под себя не сделала. А он мне: « Не тушуйся,— говорит,— мне народ битый нужен, чтоб знал, чем срок пахнет». Дал мне ларек овощной на отлете, встала, торгую. Скоро на ноги стала. Молодая, из себя ничего, все липнут. Товар дают получше, план поменьше, выпивка завсегда бесплатная. В торговле деньги сами к рукам липнут: там пересортицу замастыришь, там левый товар в реализацию, вот она, копейка, и собирается. В общем, с каждым днем все радостнее жить. Да и начальство ласками не оставляет: то премию, то прогрессивку, то личным вниманием. Правда, слаб он уже был в коленках, да мне-то что! От меня не убудет. Все бы ничего, да один обехэсник[1] на меня глаз положил. Мне бы, дуре, лечь под него — и дело с концом, а мне, как назло, вожжа под хвост: нет, и все тут! Уж больно дурен был легавый. Росточку маленького, плюгавый, лысенький и левым глазом косит. Он уж и так и эдак, а я ни в какую. Ну, и подсидел он меня с левым товаром. Взяли меня — и в торбу. Он и в камеру ко мне ходил: скажи, мол, только слово, прикрою. Да не на ту напал! Иной раз зажмурю глаза, черт с ним, думаю, жалко, что ли? А увижу, и не могу, прямо с души воротит,—дам, так помру. В общем, обвенчали меня еще на пять по совокупности. Попала на строительство.

---

[1] ОБХС — Отдел борьбы с хищениями и спекуляцией.— *Ред.*

Уж что я ни делала! Штанов, как говорится, не надевала, подо всех ложилась, только, видно, я уже не того сорта стала, да и девок молодых много, всякая просилась. Так и осталась я на общих работах. И даже не знаю, что бы со мной было, если б не попался мне Назарка наш, Карасик. Он и там прорабствовал. Чем уж я ему приглянулась, не знаю, я ведь тогда, как щепа, высохла, хоть заместо гладильной доски. Но, как в песне поется: «Глазенки карие и желтая косыночка зажгли в душе его пылающий костер». Пристроил он меня к себе для посылок. Такая лафа пошла, что ни в сказке сказать ни пером описать. Ела да спала — и по-новой ела. Отошла малость, а Назарка начал досрочное хлопотать, по начальству бегает, запросы пишет. Сразу после комиссии он сюда перевод взял. Только жить я с ним вместе все одно не стала, сняла себе времянку у вдовы одной в городе, сама себе хозяйка. Доход в этой столовке плёвый, да мне теперь много не надо, отгулялась. На водочку в кредит копеек двадцать набросишь, посуда, по мелочам набегает, на жизнь есть, а там видно будет. Меня и в город зовут, да не с руки мне там, и соблазна много. А по правде, так весь свет в окошке у меня теперь здесь. Последним, видно, огоньком горю. Никогда у меня такого не было, не припомню. Вроде и ничего нет в нем, одни мослы да глазищи, а пройдет мимо — сердце падает. Будто снова пятнадцать мне лет, и никого у меня еще по-настоящему не было. Как в песне поется. А ведь на мне пробы ставить негде. В лагере и с коблами путалась, и сама ковырялась, и на учете в диспансере состояла. Ося — это мне за все мои муки престольный праздничек. Увидел Господь малую рабу свою, пожалел, одарил без меры. Молодая была, не верила,— какой там Бог, когда жизнь такая? Да судьба надоумила. Принес мне как-то Назарка в рабочую зону яиц крашеных десяток,— под Пасху дело было. Пасха Пасхой, а есть хочется. Раздала товаркам по яичку, одно себе оставила. Улучила вольную минутку, села в тенечке, только за подарочек взялась, гляжу — уставилась на меня доходяга одна, смотрит, а у самой скулы сводит от жадности. Загорелась у меня тогда душа от злости: собственной крохи съесть не дадут. «На,— говорю,— падла, подавись ты яйцом этим, туды твою мать!» Схватила она яйцо — и в сторону, а у меня на сердце так вдруг легко сделалось, так тихо, словно родилась заново,— кругом птахи поют, листочки пахнут, солнышко прямо в тебя светит. Дошло тогда до меня: вот она — награда Божья! А то раньше, бывало, дам нищему пятачок, а себе на рупь жду, как в лотерее. С тех пор и поверила, в церковь хожу. Вот завтрева иду... Казанскую Божью Матерь справляют. Хочешь, вдвоем пойдем, в гостях у меня посидишь, как живу, посмотришь... И-и-и, тесто убежало.

VII

Муся жила недалеко от городского центра, в старом, похожем снаружи на глинобитный сарай доме. От летней печи под навесом в углу двора к ним обернулась и пошла навстречу высокая костистая

старуха в застиранном штапельном сарафане. Подслеповато щурясь, она не по возрасту певуче выговорила:

— Здравствуйте... С праздничком вас.

— Спаси Бог, Федоровна.— Муся уже возилась с замком перед дверью времянки.— Никто не спрашивал?

— Назар Степаныч с утра был.— Старуха еле передвигала распухшие, во вздувшихся венах ноги.— Соседка заглядывала, спрашивала, будешь ли?

Большую часть крохотной Мусиной комнатенки занимала кровать. Широкая, блистающая никелем, она являла собою торжественное сооружение из перин, одеял и простыней, увенчанное пирамидой кружевных подушек. Остальную обстановку составляли стол и два стула перед окном. Образ Спасителя, обрамленный бумажными розами, в правом верхнем углу только подчеркивал скупое убранство необжитого жилища.

— Так и живу.— Муся поспешно переодевалась в прихожей.— Зачем мне хоромы-то? Только на выходные и приезжаю, считай. Раньше, чуть вольный час,— на машину и сюда, а теперь собаками из кухни не выгонишь. Прямо присохла к дыре этой... Как там у вас, скоро пошабашите?

— У нас ничего, двигаемся,— осторожничала Антонина,— бригадир со своими остается.

— Ишь, ударники,— зло хохотнула та,— Осипа обогнать вздумали! Слабы в коленках. Мне про ваш уговор с Назаркой загодя известно было. Он и Серегу с криком уломал. Бригадир отвернется, они сразу туфту кроют. Жалко мне вас, паразитов, а то бы давно Осипу рассказала.

— Ребята же сами,— пробовала неуверенно защищаться Антонина.— Мы ни при чем... Если бы знали...

— Ребята! Знаем мы этих «ребят». Близнецы за копейку раком встать готовы, у них полдеревни родни, и все на них надеются. Шелудько деньги копит, отца своего высланного разыскивать по Союзу собирается. А Гурьяныч за бутылку мать родную заложит... Эх вы! Если бы по-честному-то — догнать бы вам Осипа, как же! У него дело само делается... А ладно, пошли.

В обрамлении темного платка, чистое, без обычного марафета лицо ее поразило Антонину своей отечной бледностью. Казалось, из него — этого лица — кровинку за кровинкой,долго и тщательно выводили цвет жизненной силы, чтобы оставить в нем лишь выражение затаенной муки и усталости.

— Пошли,— еще раз повторила Муся,— припаздываем уже, а то не пробьемся.

Вдоль прокаленных солнцем городских дувалов, устремляясь в одну и ту же сторону, черными цепочками тянулись женщины в одиночку и парами. По мере приближения к слепящему пятну церковного купола, возникшего над близкими крышами, людской поток густел, обрастая все новыми и новыми пунктами. На подходе к самому храму толпа сбилась так плотно, что в ней невозможно

было пошевельнуться, она двигалась, как единый монолит, не задерживаясь и не расслабляясь.

Из-за отчаянной духоты свечи в церкви еле мерцали крошечными голубыми огоньками. Плотно сбитая людская масса, истекая потом, дышала надсадно и коротко. Совсем еще молодой — реденькая светлая бороденка вокруг румяного лица — священник в полном облачении с видимым усилием преодолевал усталость и раздражение:

— ...Велика их гордыня. Они думают, что только они на Господнем пиру званые гости. Но сердце Господа не их — званых, а незваных жаждет. Незваным открыта Его благодать, к незваным сегодня Его любовь и расположение...

Дурнота кружила Антонине голову, но едва только хор на клиросе затянул «Верую» и она, вместе со всеми, подхватила молитву, как словно открылось новое дыхание: ощущение слитности, единства с теми, кто стоял рядом, подхватило ее и заполнило ей душу упоением и неизъяснимым покоем. Все страхи и сомнения, какими терзалась Антонина, отодвинулись от нее куда-то за пределы видимого ею мира. В эту минуту она казалась самой себе бесконечной и неуязвимой для всех бед и несчастий, которые грозили или могли грозить ей и ее близким. «Чего нам бояться-то, Господи!— закипали в ней благостные слезы.— Кто нам чего сделает?»

После службы, выбираясь на улицу, она потеряла Мусю из виду. Искать ее дом среди сотен таких же однообразных строений Антонина не решилась, и поэтому, недолго думая, она направилась к береговой мастерской, в тайной надежде застать там Осипа.

Еще на подходе к сараю она услышала голоса, один из которых заставил ее сердце лихорадочно забиться: здесь, когда Антонина вошла, Осип, засыпая опоку землей, то и дело пытливо поглядывал на собеседника — маленького горбоносого старичка в черной шапочке на буйной волосатой голове. Старичок прервал свою речь на полуслове, сердито поерзал по Антонине ночными глазами и тут же вопросительно оборотился к парню. Тот, кивком головы успокоив гостя, ласково заулыбался ей навстречу:

— А, Тоня! Заходи, заходи... Знакомься, это Израиль Самуилович. А это — Тоня, я вам говорил о ней... Продолжайте, Израиль Самуилыч, Тоня нам не помешает.

Старичок смягчился, одобрительно покивал ей острым подбородочком и снова заговорил яростным фальцетом:

— Это дети! Они не понимают, что творят. Хорошо, им разрешат выехать, но что будет с остальными? Газеты поднимут крик: евреям не дорога родина. И мы будем иметь погром.

— Каждый выбирает свою судьбу сам.

— Русский еврей не может быть сам по себе! Русский еврей вместе со всеми. Все не могут уехать! Это не просто-таки, уехать. Здесь остаются могилы, могилы тех, кто верил в нас и надеялся. Вы слышите, Осип, верил и надеялся! Нашим мальчикам не сле-

дует забывать, что во всем том, что они ненавидят, есть и еврейская доля. Немаленькая-таки долечка! А платить по векселям, выходит, должны одни русские?

— Каждый платит за свое.

— Нет, за кровь платят все! Поэтому мы — евреи — обязаны нести ношу своей национальной ответственности сами, а не перекладывать-таки ее на плечи других. Разделить страдание вместе со всеми здесь — вот наша судьба.— Он вдруг поник и закончил вяло и почти просительно.— Вы знаете многих из них, передайте им, что нам всем будет очень тяжело, если они своего добьются-таки... Очень. Шолом... Желаю здравствовать.

Старичок молча поклонился Антонине и двинулся к выходу, и только тут стало ясно, что он смертельно устал влачить по этой земле свое сухое и старое тело: до того шаткими, осторожными были его шаги.

После его ухода Осип тихо спросил ее:

— Ты ела?

— Да,— соврала она: в его присутствии ей было не до еды,— у Муси.

— Тогда пошли домой.

— Пошли.

Осип закрыл дверь своим ключом, сунул в дужку замка записку, и они двинулись через засыпающий уже город в сторону степной дороги, которая одиноко отплескивалась от окраины, убегая в распластанную до горизонта голую степь.

Антонина шла рядом с ним, не чувствуя ни духоты, ни усталости,— впервые в такой близости около него,— страстно, всем существом желая в эти минуты единственного: чтобы дорога, по которой они поднимались, никогда и нигде не кончалась.

VIII

Как-то поздним вечером, разыскивая в общежитии Любшиных, Антонина наткнулась на одиноко слонявшегося по коридору Шелудько:

— Близнецов не видел?

— Соскучилась?

— Постирушки ихние вот, отдать бы.

— Уже запрягли? — насмешливо осклабился он.— Вот куркули, и тут успели!

— Что мне, жалко, что ли?— обиделась она.— Здесь и делов-то всего ничего.

— Тебе-то не жалко, да у них совесть где? Ты ведь не у мужа на шее. С нами смену стоишь.— Предупреждая ее возражения, он примирительно повел плечом.— Ну-ну, дело твое... А я вот что у тебя спросить хочу,— большие выпуклые глаза его напряженно потемнели,— про Крайний Север...

— А что?

— Много там сосланных?
— Хватает.
— Каких больше? Откуда?
— Всякие есть... Больше из Прибалтики... Немцы тоже...
— А с Украины?
— Этих мало.
— Я ведь, знаешь, родился там. Меня мамашка оттуда маленького привезла. А отец там остался, не положено ему. Мать говорит, гуцул он, с Западной Украины. Я мамашку мою еще в пятом классе схоронил, а сам в ремеслуху пошел. Стал про отца спрашивать, нету, отвечают, такого, выбыл в неизвестном направлении. А куда он мог выбыть, если ему выбывать запрещается! У него и паспорта нет. Не положено. Вот, может, в этом месяце сойдется с нарядами, да в заначке у меня шевелится малость, сам поеду искать, а то завербуюсь, дорога будет бесплатная. Не может того быть, чтобы пропал. Найду. Плохо одному жить, зацепки никакой нет, интереса. В отпуск поехать и то некуда. Иной раз и заработаешь, а похвалиться кому?— Он сокрушенно помотал лобастой головой и двинулся мимо.— Близнецам скажи, пускай дураков в городе ищут, их там много.

Внезапная разговорчивость обычно молчаливого и неповоротливого Шелудько озадачила Антонину: «С чего бы это?» Встречаться с ним ей приходилось лишь на работе и в столовой, и ни разу за все это время он даже не пытался заговорить с ней. Знакомство их ограничивалось обязательными «здравствуй» и «прощай». Вначале ей казалось, что Сергей недоволен ее появлением в бригаде — конечно, кому понравится перерабатывать за других!— но вскоре до нее дошло его полное и глухое к ней равнодушие. Поэтому сейчас, отходя от него, она удовлетворенно отметила про себя: «Спросить бы мне надо, как отца-то зовут, помянуть во здравие!»

Любшиных она нашло в красном уголке. Раздвинув в стороны горы старых подшивок, они сидели друг против друга за читальным столом, и перед каждым из них белела замусоленная тетрадка.

— Трояк тете Поле.— Слюнявя карандаш, Паша сосредоточенно морщил переносицу.— И Людке тоже пятерку надо, у нее двое.

Сема деловито делал пометки в своей тетради:

— Деда Тишу не забудь, он больше всех нам подмогнул. Ему пятерку, а то и рублей семь.

— Пойдет.
— Кого забыли?
— Вроде, все.
— Думаешь?.. А,— заметив стоящую у порога Антонину, Паша смущенно засуетился,— Тоня! ...Подождешь до получки?

— Много ли получать собрался?— Она поставила перед ними стопку белья, вздохнула.— Еле отыскала, всю общежитию обегала.

Сема благодарно засветился:

— Так мы бы сами зашли.— Он поспешно запихал тетрадку в карман.— Что тебе, чего хочется? Мы с брательником в долгу не останемся.

Паша, внушительно откашлявшись, подтвердил:

— Уж это безо всяких.

— Сочтемся.— Уходя, она спиной чувствовала на себе их, сопровождающую ее, ласковую доброжелательность, и сама в ответ тихо оттаивала.— Будет время...

По пути к себе Антонина, минуя комнату коменданта, дверь в которую была распахнута настежь, краем глаза успела заметить встревоженный профиль Осипа и, уже отходя, услышала его голос:

— Это ты точно знаешь, Христофорыч?

— А ты что, сам не видишь? Вся система камерная. Каморки как на подбор, и все одного размера.

— Может, это лаборатории?

— Без коммуникаций? Без воды, без отопления? Шутишь! Это байки для пижонов.

Прислушиваясь, Антонина задержала шаг. После недолгой и гнетущей паузы голос Осипа был еле слышен ей:

— Выходит, от них никуда не уйти. Везде они... Всюду... хоть в землю заройся...

— Вот я и говорю,— шумно вздохнул комендант,— стоило вашим дедам начинать эту завируху, чтобы только сменить надзирателей!

— Пожалуй...

С тяжестью этого, произнесенного Осипом слова она и возвратилась домой. Тревога, вдруг возникшая в ней, все решительнее и круче овладевала ею. Вопрос, которым она не задавалась до сих пор, считая его пустым и докучливым, сложился сам по себе. Что они строят здесь? Кому и для чего понадобились эти плоские, похожие изнутри на пчелиные соты, коробки? Правда, среди рабочих неуверенно поговаривали, будто объект имеет секретное научное значение, и даже намекали на оборонительную его роль, но тогда почему в разговоре Осипа с комендантом сквозила такая нескрываемая горечь? Недоумение ее не находило ответа. Неожиданно вспомнилось, что как-то при ней Николай спросил об этом же прораба, и тот, ехидно посмеиваясь, молча пожал плечами. Хотя видно было, что знал, только не хотел или боялся говорить. Жуть скорбного предчувствия свела ей спину. «Вот жизнь пришла, сама себе веревочку совьешь и не заметишь».

Укладываясь рядом с Николаем, Антонина приникла к его уху и взволнованно зашептала:

— Коль, а Коль?

— Ну?

— Что мы тут строим-то?

— Наше дело, Тоня, телячье.

— Страх берет, Коля.

— А ты не думай, спи.

— Узнать бы...

— Спи, Тоня, не нам об этом думать, себе дороже. Спи...

Николай отвернулся к стене и вскоре заснул, а она, так и не сме-жив до утра глаза, все думала, думала, думала...

IX

Ребята уже добивали последние метры, когда в проеме выход-ной двери появился прораб в сопровождении коротенького очка-рика в соломенной шляпе:

— Шабашите? — Взгляд Карасика рассеянно блуждал по сте-нам.— Молодцы. А у них там еще работы дня на три.

Очкарик покрутил утиным носом, потоптался у творила, ска-зал неуверенно:

— Что, Назар Степаныч, тут и устроим проверочку? По све-жим, так сказать, следам.

— Это товарищ от заказчика,— ни к кому в отдельности не обращаясь, покрутил головой Карасик.— Работу вашу принимать будет.

Близнецы, словно сговорились, с вопросительным удивлением оборотились к Николаю. Тот, в свою очередь, выжидающе посмот-рел на прораба. В ответ Карасик недоуменно пожал плечами: ни-чего, мол, не могу сделать.

Не ожидая ответа, гость вооружился молотком, прошел в глубь коридора и в несколько ударов отвалил порядочный кусок чуть подсохшей штукатурки. Затем отошел еще дальше и сделал то же самое, после чего, многозначительно пожевав губами около об-нажившейся стены, излишне громко, врастяжку проговорил:

— Поползет покрытие, Назар Степаныч, при первой же сыро-сти поползет. Без насечки кроете. Непорядок.

Антонина похолодела. Если в наряде не будет учтена насечка, под расчет им придется ноль целых и столько же десятых. Дай Бог расплатиться за аванс. Но главная беда для нее сейчас была даже не в этом. Ее беспокоила мысль об Осипе. Каково-то будет ему? Ведь ребята не прорабу поверили — бригадиру. Поверили и слепо пошли за ним. А теперь? Что он им скажет теперь? Зная его на-туру, она могла представить себе, во что ему обойдется этот под-вох. Она глядела в ставшее ей ненавистным лицо прораба, и жгучая обида на Николая, вступившего с ним в сговор, сделалась для нее почти нестерпимой. «Как же он мог!— заполнялась она злыми сле-зами.— Как он мог? Ведь этого жулика за версту видно. Загодя известно было, что обманет».

Карасику словно подошвы жгло: он мелко-мелко перебирал ногами на одном месте, невразумительно при этом оправдываясь:

— Бывает... Прореживают ребята... Два места не показатель... Надо бы с другой стороны попробовать.

— Нет, Назар Степаныч, дорогой товарищ Карасик! — за-кусил удила тот.— Нам и этого достаточно. Мы такой работы

в оплату не примем. Пойдет, как сплошной гон, без насечки.

— Михал Михалыч!

— Не могу, дорогой, не могу. С меня голову снимут. Рад бы порадеть, да не могу, не обессудь.

— Тогда айда к бригадиру,— развел руками Карасик в сторону Николая, призывая его в свидетели своего бессилия.— Что он скажет!

Он первым двинулся вперед, кивком головы приглашая гостя и Николая следовать за собой. Вскоре шаги их затихли в глубине коридора. Сема, аккуратно складывая инструмент, как бы подвел происшедшему итог:

— Заработали.

Паша согласно вздохнул:

— Бывает.

Осуждая мужа, Антонина не снимала вины с себя. Она должна, обязана была удержать его от опрометчивого шага. Разве можно было сговариваться с Карасиком за спиною у Осипа? Кто мог тогда поручиться, что прораб сдержит слово? Волей-неволей ей приходилось признавать и свое собственное, хотя и косвенное, соучастие в обмане. Поэтому сейчас, оставшись наедине с близнецами, она не выдержала напряжения, сорвалась:

— Ведь не нарочно же он! Ведь он как лучше хотел. Он-то этого Карасика без году неделя знает, вам его лучше знать было. Николай на вас смотрел: раз молчите, значит — все правильно. А теперь, конечно — Лесков за все ответчик. Нельзя так, ребята...

Сказала и осеклась на полуслове: Сема, к которому она обращалась, глядел на нее с жалобным участием. Виновато улыбаясь, он обезоруживающе ее успокоил:

— Что ты кричишь? Что мы — маленькие? Сами заварили, сами и расхлебывать будем. При чем здесь Николай? Его дело сторона. Осипа жалко. Подвели мы его. И всех подвели.

Сема печально поддакнул:

— Подвели.

— И себя тоже наказали.

— Осипа надо было слушать.

— Надо бы...

Наступившее сразу вслед за этим молчание прервал возникший в перспективе коридора Николай.

— Шабаш.— Голос его звучал устало и глухо.— На сегодня хватит. Спешить нам теперь все одно некуда.— Он оборотился к Антонине.— Помой инструмент и прибери.— Кивнул ребятам: — Пошли.

Оставшись одна, Антонина долго еще не могла взяться за работу. Она знала, что самым болезненным для Осипа будет то, что они пошли на обман в ущерб делу. К работе, за которую ему приходилось отвечать, он относился с ревнивой щепетильностью. Любой огрех после себя он переживал с мучительным самоедством. Стоило ей только на мгновение представить себе, какими глазами

он посмотрит теперь на нее при встрече, как стыд, жгучий удушливый стыд возник в ней, и яростно бьющееся сердце ее обмерло в тоске и тревоге.

Управившись с инструментом, она собралась было домой, но какое-то еще неясное, но вещее предчувствие толкнуло ее в обратную сторону, вдоль коридора. И она пошла, движимая этим предчувствием, пошла, почти крадучись, словно бы нащупывая путь. До сих пор ей не приходилось бывать здесь в одиночку. Тишина коридора, с пугающе притягательными провалами дверных коробок по одной стороне, казалась Антонине настороженной и грозной. В горячке работы ей как-то даже и не приходило в голову поинтересоваться, что там, за этими дверьми. Сейчас, заглянув в первую от края, Антонина затаила дыхание: по обеим стенам сквозного прохода зияли такие же, как в коридоре, входные проемы, только размером поменьше, за первым же из которых перед ней оказался освещенный квадратным отверстием в потолке каменный мешок. Обходя как бы по опрокинутой спирали проход за проходом, она никак не могла взять в толк, что бы это могло быть, для чего пригодится. Минуя последний проход, она уже машинально заглянула в крайнее помещение, и все внутри нее обрушилось и обмерло: в самом углу, со сцепленными на коленях руками сидел Осип. В его напряженной позе сквозила усталая безнадежность. По осунувшемуся, во вьющейся щетинке лицу парня стекали тихие, ничем не сдерживаемые слезы. Резкая испепеляющая жалость перехватила ей дыхание:

— Ося... Ты чего тут?

Поднимая на нее глаза, он даже не шелохнулся:

— Так...

Антонина лишь однажды видела, как плачут мужики. Поднявшись как-то ночью после смерти матери, она лицом к лицу столкнулась в сенях с отцом. Лунный свет от распахнутой настежь двери выявил перед ней залитое слезами родное лицо, она тогда не выдержала тяжести сочувствия, опустилась на пол, порывисто приникнув к отцовским коленям:

— Никогда тебя не брошу, папаня! Век с тобой жить буду.

Отец благодарно сжал ей плечи:

— Что ты, Антонина, что ты. Так это я, от старости.

— Вот увидишь, папаня... Вот увидишь...

Ночь та на долгие годы опередила судьбу Антонины.

Теперь же, не смея, не решаясь приблизиться к Осипу, она обессилевшим плечом приникла к косяку дверного проема:

— Плохо тебе, Ося?

— Так...

— Может, пойдем?

— Посижу, Тоня... Устал...

— Мешаю, Ося?

— Да нет, наверное... Оставайся... Какое это теперь имеет значение! Закройте, как говорится, занавес, жизнь не состоялась. Зна-

ешь, Тоня, из меня ведь родители хотели сделать дантиста. «В такое время,— говорил папа,— дантист не останется без работы: война за войной, голод за голодом, допрос за допросом». А мама вообще считала, что зубы — это главное в жизни. Жили мы тесновато, и отец принимал пациентов в общей комнате, за марлевой занавеской: стоны, кровь, жужжание бормашины. Один только вид зубоврачебного кресла с детства вызывал у меня ярость. И я пошел на юридический. Но там меня сразу же спросили: «А у вас есть рекомендация общественной организации?» «Нет,— сказал,— но у меня есть желание стать адвокатом». «Этого мало,— ответили мне,— вы должны сначала доказать преданность общему делу». «Каким образом? — полюбопытствовал я.— И какому делу?» «Проявить бдительность». «Но у меня не было случая». «Надо найти». «То есть?» «Да, да!— подбодрили меня.— Вот именно». По их выходило, что прежде чем я смогу защищать кого-то, я должен кого-то посадить. Мне это не подошло. И мы расстались. И вскоре я оказался здесь. Я думал, что отделался довольно удачно, что здесь-то меня уж никто не станет впутывать в свои темные игры. А вышло, что не я их, а они меня обошли.

— Как так?— потянулась она к нему.— О чем ты?

— О чем?— Затихая, он даже улыбнулся сквозь слезы.— Ты сама-то знаешь, что здесь строится?

— Откуда мне знать? Всякое говорят.

— Тюрьма, Тоня, тюрьма.

— Господи!— испуганно поперхнулась она.— Это как же?

— Да вот так, Тоня.— Он медленно поднялся и сделал шаг к выходу.— Мы еще вдобавок и друг друга обманываем. Такие, вроде Карасика, хорошо знают, как можно человека сломать. Сначала купи, потом сломай. Эту науку он еще с молочком матери всасывал. К Николаю я ничего не имею, мне просто жаль его. Один раз поддавшись, трудно устоять.

Осип остановился прямо против нее, глаза их встретились, и Антонина не выдержала опаляющего искушения прикоснуться к нему. И она прикоснулась, приникла к его плечу горячей щекой:

— Ося... Сердца у тебя на всех не хватит... Сгоришь.

— Сердца не хватило.— Он тихонько гладил ее по голове.— Воздуха не хватает. Дышать нечем, Тоня.

— Мой возьми.

— Не надо, Тоня, нельзя.

— Знать я ничего не хочу.

— Успокойся, Тоня, не дело это.

— Молчи ты...

— Совсем как маленькая.— Ее дрожь передавалась ему.— Самой же потом плохо будет. Это ведь ты от жалости... Тоня...

— Молчи... Молчи...

— Я никогда...

— Глупенький!..

И если Антонине суждено было излить на кого-нибудь всю ме-

ру любви и нежности, отпущенную ей природой, то она сделала это, покорно отдавая себя в его робкую власть:

— Ося... Прости меня... дуру старую.

— Не надо, Тоня... Не надо... Не надо...

Потом Осип, упорно избегая ее ищущего взгляда, встал и уже от двери уронил почти беззвучно:

— Прости...

Антонина не оскорбилась его таким внезапным уходом. Не чувствуя собственного тела, лежала она на обсыпанном цементной крошкой полу и бездумно вглядывалась сквозь потолочное отверстие в обмелевшее, без единого облачка небо. В ней зрело, набирало силу окрыляющее чувство смысла, необходимости своего существования. Наверное, впервые с тех пор, как она осознала себя женщиной, ее коснулось прозрение собственной силы и значения для другого, живущего рядом с нею человека. Теперь она знала, была уверена: что бы ни случилось, у нее уже этого не отнять: «Будь что будет, мой грех, мне и ответ нести».

X

В общежитие Антонина попала, когда ребята уже кончали ужин. За столом у них царило уныние. Любшины, уткнувшись каждый в свою тарелку, старались ни на кого не смотреть. Альберт Гурьяныч доедал рожки с таким видом, будто все случившееся он предвидел заранее и оттого волноваться по этому поводу нет для него никакого смысла. Шелудько, машинально прихлебывавший чай, выглядел растерянным и вконец убитым. Николай с хмурой затравленностью поминутно оглядывал сотрапезников. Ее появление словно придало ему решительности, он возбужденно заговорил:

— Я еще с ним потолкую, он же мне побожился, что без трёпа. Он у меня не сорвется — этот карась. Мы и язвей видали. На моем горбу далеко не уедешь. У меня с ним свой разговор будет. Все заплатит. До копейки.

— Давай, давай,— вяло усмехнулся Альберт Гурьяныч,— глядишь, еще и добавит к обещалке.

Шелудько безнадежно махнул рукой:

— Без пользы. Если Карасик не захочет платить, он не заплатит. Карасик дело знает.

Близнецы промолчали, но по тому, с какой обстоятельностью сразу заработали их ложки, было понятно, что посулы Николая вселили в них известную надежду.

Муся, протягивая Антонине первое, заговорщицки кивнула в сторону ребят:

— Толковщина на кладбище! Иди, ешь... Сейчас подойду... Работают все радиостанции... Важное сообщение. Строят из себя Бог знает что, а попадаются, как фрайера.

Муся появилась перед столом во всем великолепии космети-

ческого оснащения. Осветила каждого поочереди ослепительной улыбкой, сказала с вызовом:

— Место бы уступили даме, кавалеры. Ни в ком никакого понятия, а туда же,— в люди лезут.— Она уверенно расположила свое пышное тело, поставила на стол пухлые локотки.— Где у вас голова была, когда вы с Карасем договаривались! Или не знали, с кем дело имеете? Или глаза вам позаложило?

— Не в Карасике суть,— угрюмо отозвался Шелудько.— Заказчик как с неба свалился. Куда против заказчика попрешь! Как ни крути, сами виноваты.

— Заказчик! — Румяное лицо Муси мстительно заострилось.— Он такой же заказчик, как я космонавт. Дружок Назаркин из управления. Я его как облупленного знаю. Специально договорились. При мне. У Назарки концы с концами не сходятся, вот он и решил на вас сэкономить. Эх вы, работнички, учить вас некому! Нашли, кому поверить! С каких это пор заказчик по подвалам работу принимает? Вы что, первый раз замужем, что ли?

Мусино известие, против ее ожидания, особого впечатления не произвело: заработок им уже все равно никто вернуть не в состоянии. Они зависели от Карасика, и пойти против него означало для них потерять всякую надежду выкарабкаться из нужды. Он мог даже не прибегать к фокусу с заказчиком, этот Карасик. Он мог просто не заплатить — и все.

— Дала бы лучше в кредит бутылку,— глядя в стол, буркнул Альберт Гурьяныч.— Все равно нехорошо.

Муся ничего не сказала, поднялась, пошла к себе и вскоре вернулась с поллитровкой и тарелкой соленых огурцов.

— Пейте,— она поставила принесенное перед ними и снова села,— надо будет, еще добавлю. Рассчитаемся.— Подвинула Альберту Гурьянычу свой стакан.— Мне тоже чуть-чуть.

Тот молча выбил пробку и, составив стаканы, одним медлительным движением разлил по ним водку. Не глядя ни на кого, он выпил свою долю и лишь после этого кивнул Мусе с повелительной краткостью:

— Тащи еще.

Но и вторая разговорила лишь Альберта Гурьяныча. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он глухо забубнил:

— Не повезет, так на родной сестре триппер поймаешь. Что мне, на роду написано, всю жизнь заместо хлеба дерьмо есть? Или я рыжий? — Он грязно выругался.— Помню, когда пацаном был, мы все в «начинку» играли. Завернешь, бывало, мусору какого в белый листок, ленточкой броской чин чинарем перевяжешь и бросишь на тротуар, а сам сидишь за забором и смотришь в щелку: кто подберет? Идет какая-то старушка, хвать — и за угол. А ты от радости аж за животик хватаешься: вот, мол, старая дура. Умник нашелся! Десять раз учили, а я все на эти локшовые покупки, бантиком перевязанные, как последняя вокзальная б... бросаюсь. Ведь на какую дешевую «черноту» клюнул!

И только тут ребята дали волю ожесточению. Обычно невозмутимое лицо Шелудько тряслось от злости:

— Какая же он все-таки сука, Карасик! — Сергей стукнул кулаком по столу.— Где ж у него совесть, у подлюги!

У Паши невольно вырвалось:

— Жаловаться надо!

Сема не оставил брата без поддержки:

— Управляющему!

Спор, из которого выходило, что жаловаться им нет смысла, что во всем виноваты они сами и что лучше попробовать договориться с прорабом по-хорошему, Антонина слушала краем уха. Все ее существо сейчас переполнялось минувшим свиданием с Осипом. Она еще не знала, какое продолжение будет иметь для них обоих это свидание,— но чем бы оно ни кончилось, одно ей теперь ясно: с Николаем рано или поздно им придется разойтись. Отныне их объединяла только крыша над головой — и ничего более.

По-своему истолковав ее молчание, Николай тихонько поинтересовался:

— Плохо тебе?

— Что ты? — машинально повернулась к нему она.— А, нет, ничего, устала просто.

— Может, пойдем?

— Неудобно.

— Не до нас им.

— Нам до них.

— Как ты...

— Посидим.

— Смотри...

Казалось бы возмущение бригады должно было в первую очередь обернуться против Николая, как закоперщика всего дела, но ребята в разговоре даже не упоминали его, и Антонина, отдавая должное их такту, была им за это благодарна.

— Ладно,— подытожил беседу Альберт Гурьяныч,— авось, не помрем. Умнее будем. А Назарке я козу заделаю, век помнить будет.— Он взглянул в сторону Антонины и вдруг спохватился: — А чего Осю-то не видно? А?

При упоминании имени Меклера Муся, задремавшая было на плече у Шелудько, вздрогнула и тревожно оглядела компанию:

— Правда!.. И ужинать не приходил... Ему ведь не напомни — и не поест.

— Видно, в город подался,— попытался успокоить ее Паша, но не выдержал тона.— Хотя не должен бы...

Шелудько уверенно подтвердил:

— Не должен.

И тут что-то подняло Антонину с места. Память, как фокус, мгновенно вобрала в себя события прошедшего дня, и, уже почти догадываясь обо всем, она захлебнулась грозной и неотвратимой тревогой. Антонина опрометью бросилась к выходу, но в это

время дверь растворилась и перед ней на пороге возник Илья Христофорыч.

— Ося... там.— Лица на нем не было, губы, складывая слова, еле справлялись с судорогой.— В уборной...

Странная, никогда в прошлом не испытанная ясность снизошла к Антонине. Перед ней явственно обнажились причины и связи событий, происходивших вокруг нее в последнее время. Она воочию, шаг за шагом проследила, как зрела, набирала силу сегодняшняя гибель Осипа. Случайный этот обман был лишь последней капелькой, заполнившей ему душу, а той, что выплеснула ее через край, стала их недавняя близость. Совсем не такой оказался мир, каким Осип создал его в своем сердце. Мир этот просто вытолкнул его из себя: «Век тебе его замаливать, Антонина, не замолить».

Осип еще лежал в кладовке по соседству с комнатой коменданта, накрытый новой простыней. Обостренным до предела зрением Антонина разглядывала каждую его, доступную взгляду, черту и черточку: резкую линию носа под натянувшейся материей, бугорок авторучки над одним из нагрудных карманов и даже билет со «счастливым» номером, прилипший к подошве левой кеды.

Толпа, сгрудившаяся у двери кладовки, напряженно молчала. И в этом ее молчании не чувствовалось испуга или растерянности. Душу зябко свевало дыханием гремучей угрозы. Она — эта угроза — могла прорваться в любую минуту, но в момент, когда, казалось, взрыв ее уже был неминуем, тишину обрушил долгий отчаянный крик Муси:

— Ося-я-а-а...

В эту ночь Антонина, впервые за их совместную жизнь, легла отдельно от мужа, на полу. Видно, догадываясь о многом, он только чуть слышно спросил:

— Уйдешь?

— Не знаю.

— Судишь?

— Нет.

— Я подожду.

— Как хочешь.

Антонина до утра так и не сомкнула глаз. Без дум и желаний смотрела она за окно, где в аспидно-черном небе подрагивали далекие звезды, и в какое-то одно, пронзающее сердце мгновение, каждая из них почудилась ей живым существом, веще и чутко взирающим на нее со своей головокружительной высоты. Благостное состояние того, что она не одна в этом мире, не сама по себе, в единстве окружающего, коснулось ее, и слезы благодарности за это подаренное свыше чувство родства со всем и во всем облегчили ей сердце: «Да святится имя Твое, Господи!»

XI

На следующий день вечером в комнату к ним опасливо заглянул прораб:

— Не прогоните? — Он вошел, с показной старательностью пошаркал у порога подошвами и, решительно шагнув к столу, выставил из-за спины бутылку.— Вставай, Коля, требуется это дело, как говорится, разжуваты.

Карасик изо всех сил старался выглядеть, как всегда, уверенным и властным, но получалось это у него не без натуги и смущения. Поспешность, с какой он, определившись за столом, бросился распечатывать поллитровку, выдавала его боязнь перед возможным отказом хозяев. У Антонины, в предчувствии чего-то непоправимого, засосало под ложечкой. Но, живо взглянув на мужа, она тут же с облегчением вздохнула: тот миролюбиво и даже, как ей показалось, радушнее, чем обычно, поднялся навстречу гостю:

— Заходи, Степаныч, заходи.— Кивок жене.— Давай.— И снова к гостю.— Сейчас она сообразит нам чего-нибудь.

В эту минуту Антонина почти ненавидела мужа. «Нашел себе дружка! — с горечью сетовала она, собирая на стол.— Погубили человека, теперь запивать будут, совесть бы поимели!» После всего случившегося отношение ее к Николаю определилось, как ей казалось, раз и навсегда. Чувство благодарности к нему и уважения сменилось тягостной для нее и едва скрываемой неприязнью. Внезапная и нелепая гибель Осипа, словно резкая вспышка в темноте, обозначила перед ней в окружающем ее мире свет и тень, черное и белое, ночь и день. Теперь она заранее могла сказать, как поступит в том или ином случае, что скажет при этом, чью сторону возьмет. С того вечера ей стало ясно: из роддома она к Николаю уже не вернется.

Карасик услужливо подливал хозяину, тот пил, вдумчиво закусывал и, не перебивая гостя, слушал его пространные излияния:

— Что я, зверь, что ли? Жалко парня. Знал бы, свои доложил. Черт этих заказчиков принес на мою голову. Кто ж знал? В этот раз не получилось, в третьем квартале набросил бы. Что, в первый раз, что ли? И чего все на меня окрысились! Хоть на площадке не показывайся. Так и норовит каждый уесть побольнее. А мне ведь не двадцать лет, я жизнь прожил. Не одним огнем горел. И мятый, и клятый, и фронтом стрелянный. За что же меня так казнить? Что я его звал, заказчика этого?

Прораб всем корпусом потянулся к собеседнику, вглядываясь в него по-собачьи заискивающим взглядом, но, когда лица их сошлись, наконец, глаза в глаза, произошло то, чего Антонина меньше всего ожидала: рука Николая мертвой хваткой вцепилась в расстегнутый ворот гостя:

— Не знал, говоришь? — Выцеживая слова, Николай безмятежно улыбался, но от этой улыбки Антонине вдруг стало жутко.— Черт их принес, говоришь?

— Коля,— хрипел тот,— я ж тебе как сыну...

— Как сыну, говоришь? Вот я тебя, папаша, и спрашиваю: если не знал, зачем тогда на мою половину привел? Или, может, случайно перепутал? Или насильно заставили?

— Нехорошо, Коля,— задыхался Карасик,— я к тебе, как к человеку...

Не отпуская его ворота, Николай вышел из-за стола, поднял гостя, поставил на ноги и свободной рукой наотмашь смазал ему по скуле, а затем уже бил, не останавливаясь:

— Человек, говоришь?.. Вот тебе, сучье мясо, за старое... За новое... И на три года вперед... Папашка отыскался!.. Получи от сыночка... Схвати от родимого...

С мстительным удовлетворением следила Антонина, как лицо прораба превращается в кровавую маску. Лишь однажды в жизни довелось ей видеть нечто подобное...

После дня пути по растекающейся на оттаявшей мерзлоте узкоколейке обшарпанная «кукушка» притащила, наконец, платформу, на которой они ехали, к базовому поселку Ермаково. Дорога со станции брала круто в горы, но едва Антонина следом за мужем ступила на нее, как сверху, со стороны поселка, навстречу им скатился и, минуя их, бросился в придорожную чащу парень в лагерной робе, с вылинявшим от ужаса лицом. Никто из них не успел ничего сообразить: на гребень взгорья неожиданно высыпало множество полуодетых охранников. Размахивая ремнями и палками, солдатня с воем и свистом ринулась вниз, вдогонку за беглецом.

Судорожно впиваясь в рукав мужа, Антонина испуганно выдохнула:

— Коля...

— Тише, Тоня, тише.— Ее дрожь передалась ему, он тревожно напрягся и побелел.— Наше дело сторона. Пойдем,— в его поспешности было что-то унизительное,— пойдем... пойдем.

Основная волна схлынула, исчезая в чаще, но сверху, один за одним, все еще скатывались солдаты, и по исступленно торжествующему выражению их лиц можно было судить, что ожидает беглеца в случае поимки. Николай почти силком тащил жену за собой, шепотом при этом ее уговаривая:

— Что ты знаешь, Тоня!.. Не люди это. Не люди... Им человека сейчас убить — раз плюнуть. Скажут, по ошибке, мол... Еще и награду получат... За бдительность.

— Страшно, Коля.

— Молчи, Тоня, молчи...

— Страшно...

— Молчи.

Но главное испытание ожидало их впереди. На окраине поселка, куда они поднялись, у придорожной обочины в грязной жиже истоптанной трясины сидел в окружении охранников стриженный наголо человек в такой же, как и у беглеца, робе, но уже свисающей с него клочьями. Вместо лица у него был один сплошной

кровоподтек, полуоторванное ухо черным завитком болталось у виска, плети перебитых рук безвольно свисали вдоль тела. Человек, по сути, уже не дышал, а только, редко и тяжело икая, дергался.

Возле него с пистолетом в руке топтался неуместно франтоватый лейтенант, охраняя бедолагу от обступивших его и заметно жаждущих самосуда солдат, среди которых выделялся решительным видом усатый старшина в меховой безрукавке поверх офицерского френча. Старшина все старался зайти со спины лейтенанту. Тот, в свою очередь, зорко следил за каждым его движением, не давая ему подступиться к жертве. Но кольцо вокруг лейтенанта сжималось с каждой минутой все теснее, ропот становился все более угрожающим:

— Давить их всех надо!

— Так и так сдохнет.

— Уйди, лейтенант, от греха!

— Не здесь, так в зоне добьем.

— Уйди, лейтенант.

— Смотри, под руку попадешь.

Тот в конце концов не выдержал напряжения, сделал шаг в сторону и отвернулся, как бы высматривая что-то в перспективе дороги. Это было воспринято как сигнал к расправе. Старшина мгновенно выдернул из дорожной стлани первую попавшуюся слегу и, размахнувшись, с лету опустил ее на голову сидящего, череп которого тут же стал расползаться надвое.

Перед глазами Антонины поплыли цветные круги. Низкое серое небо сомкнулось над ней, и она, не помня себя от горечи и собственного бессилия, завыла в голос:

— А-а-э-э...

Очнулась она в незнакомой комнатке с одним окном, забранным резными ставнями. В отверстия резьбы лился тусклый свет незаходящего северного солнца. За полуприкрытой дверью в соседнее помещение шелестела неторопливая старушечья речь:

— Они-то здеся, как ослободятся, живут до самой навигации сами по себе. Денег на пароход дают. А отсюда зимой только самолетом на материк попасть можно. Вот и живут в палатках под берегом. Кормятся на погрузке... Видно, выпили. Ну и сцепились со знакомым конвоиром. Слово за слово — драка. Ну и пырнули они его в бок. Он в крик. Казармы-то рядом. И пошло. Наши-то, знамо дело, озверели. Ваше счастье, мой там оказался, а то бы они и вас не пожалели.

Голос Николая еле прослушивался:

— Спасибо.

И в памяти Антонины всплыло все. И собственный крик тоже. И она, уходя в спасительное забытье, снова сомкнула веки...

Теперь Антонина не кричала. Сама не, помня себя, она лишь складывала пересохшими от гнева губами:

— Еще... Еще... Еще...

И хотя Антонина сознавала тяжкую греховность своего исступления, она в сладостном самоотречении брала его — этот грех — на душу. Ей казалось сейчас, что отнятое у нее слишком невосполнимо, чтобы не быть отмщенным. И за это она готова была принять любую, самую тяжкую кару. Только бы виновник случившегося получил сполна.

Опомнилась Антонина, когда комната уже была полна народу, а ребята из соседнего загона выносили полумертвого Карасика в коридор. Николай стоял, прислонясь к стене, все так же вымученно улыбаясь, и в посеревшем сразу и осунувшемся лице его не прочитывалось ничего, кроме усталости и отвращения. Антонина попыталась было поймать его взгляд, но, едва встретившись с нею глазами, он отворачивался или опускал голову. Сейчас она испытывала к мужу чувство, близкое к материнскому. Ее одолевало жгучее желание укрыть Николая от грозящей ему опасности, заслонить его собою. И поэтому, когда два вохровца принялись заламывать парню руки, она, с яростью для самой себя удивительной, бросилась к нему на выручку:

— А ну, не трожь!.. Ишь, распоясались!.. Он сам пойдет!.. Сам!

Николай с затравленной благодарностью взглянул на нее и, тяжело ступая, двинулся к выходу. Вохровцы устремились за ним. Народ потянулся следом, стекая в двери, словно в воронку. В таком порядке процессия и проследовала через всю стройплощадку до проходной, где у самых ворот Николая уже ожидала трехтонка-самосвал, на которой его должны были везти в город.

Идя след в след за вохровцами, Антонина не испытывала ни тревоги, ни сожаления. Скорее, наоборот: гордилась мужем, с каждым шагом укрепляясь в своем к нему вновь возникшем и все возрастающем уважении. Это был ее Николай, тот самый, каким она хотела его видеть и каким он должен был выглядеть в глазах всех остальных. И то, что ему предстояло, виделось ей лишь досадной, но необходимой задержкой перед их новой и теперь уже окончательной встречей. Смерть Осипа свела их в последний раз и навсегда.

Перед тем, как подняться в кузов, Николай в последний раз обернулся к ней и, прощально кивнув, как бы скрепил эту их безмолвную договоренность. Вохровцы обсели его с двух сторон, машина взяла с места, и вскоре смутный силуэт ее растворился в споро надвигающихся степных сумерках. Но Антонина долго еще стояла за воротами, вслушиваясь в безмолвную тишину вокруг и в себя, вернее, в то, что ликующе и властно билось у нее под сердцем.

И была ночь.

Здравствуй, многоуважаемый Лев Львович! Села писать, а сама не знаю, за что браться. Не знаю, чем я Господа прогневала, только жизнь моя снова порушилась и какой ей будет конец — неизвестно. Николая моего опять посадили. Теперь ждать буду. Сколько ну-

жно. До гроба. Теперь я ему жена перед людьми и Богом и верная раба. Родила я своего первенького соломенной вдовой. Папаню жалко,— узнает, худо ему будет. А ехать мне больше некуда теперь, кругом чужбина. Может, вы сами с ним свидитесь, а я на вас надежду иметь буду. Коли примет, приеду помогать ему в старости, дитя растить. Рассердится,— сама виновата, проживу и так, свет не без добрых людей. Жальчее всего, погиб человек, я вам об нем писала, тот, который из евреев, Осипом звали. Коли свидимся, покаюсь я вам, святой отец, об грехах моих тяжких и за самый главный грех в злобе на людей. Вышла я из роддома в чем есть, думала, куда идти, у кого хлеба просить. Да не оставил меня Господь своими милостями. Не успела я за ворота выйти, гляжу, едет ко мне Муся из нашей столовой, даже цветиками запаслась. «Поздравляю тебя,— говорит,— пойдем ко мне, у меня жить будешь». А я ее, каюсь, и за человека-то не считала. Ведь вот какой грех. Так и живу у нее, кормлюсь, чем Бог сподобит. По декрету давно уже не получаю, Муся кормит. Золотая женщина и себя блюдет. Ходит тут к ней один, Назар Степаныч, прораб со стройки, хоть сейчас в загс, а она ни в какую. На нем весь грех за Осипа, а она его любила. Вот и не идет. Мне теперь часто видения бывают. Видела маму намедни. Вошла она ко мне под утро, встала у двери, тихая такая, и говорит: «Ты,— говорит,— поплачь, доченька, обо мне, а я твои слезы Осипу отнесу, легче ему будет». Вы, Лев Львович, человек праведной жизни, скажите мне, можно ли раба Божьего, руки на себя наложившего, отмолить? Надо будет, постригусь своей волей, только слово скажите. Остаюсь преданная вам раба Божья Антонина и низко кланяюсь супруге вашей Капитолине Григорьевне.

СУББОТА

ВЕЧЕР И НОЧЬ ШЕСТОГО ДНЯ

I

Свидание с внуком снова выбило Петра Васильевича из колеи. Хлопоты его об опеке над Вадимом кончились безрезультатно. Во всех, даже самых высоких, инстанциях в ответ на просьбу Лашкова должностные лица только сочувственно покачивали головами, но содействовать ему отказывались наотрез. И хотя разговор с отцом Георгием в больнице несколько просветил его на этот счет, он все еще не терял надежды добиться своего. Поступаясь правилом, Петр Васильевич написал слезное письмо старому, еще со смутных времен, знакомцу, ходившему теперь в больших деятелях, и вот уже вторую неделю с беспокойным нетерпением ждал от него ответа. Но ответа все не приходило, и тревожное бдение его день ото дня перерастало в уверенное предчувствие очередной неудачи. Пожалуй, впервые в жизни он ощутил в окружающем его мире присутствие какой-то темной и непреодолимой силы, которая, напо-

добие ваты, беззвучно и вязко гасила собою всякое ей сопротивление. Сознание своей полной беспомощности перед этой силой было для Петра Васильевича нестерпимей всего.

Из дому с некоторых пор Лашков стал выходить редко. Разве лишь за съестным и обратно. Остальное время дня он недвижно просиживал у окна, глядя скорее в себя, нежели перед собой. Петр Васильевич мучительно искал в прожитой жизни тот день, тот час, за который так жестоко и неотвратимо ему и его близким пришлось и приходится расплачиваться до сих пор.

И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабиринтам воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным муляжем окорока: «Неужто все-таки и началось это, неужто с пустяка этакого?»

После отъезда Антонины Петр Васильевич долго еще не мог приспособиться к новому ритму домашнего быта. Теперь никто не будил его по утрам и не готовил ему завтрака. Белье и рубашки неделями отлеживались в куче под кроватью, и у него не доходили руки, чтобы отнести их в стирку. Только сейчас, оставшись в одиночестве, он по-настоящему осознал, как много Антонина для него значила и скольким он ей обязан.

Письма, которые она с завидной аккуратностью писала ему, он бережно складывал в бумажник, время от времени доставая их и перечитывая. Жила она с Николаем где-то в среднеазиатской степи, работала на стройке. Дочь подробно описывала ему их теперешнее житье-бытье, беспокоилась о нем, о его здоровье и делах. По всему судя, Антонина была довольна выпавшей ей замужней долей. Радуясь за нее, он в глубине души ревновал ее к Николаю, постепенно заместившему отца в сердце дочери: «В тираж выходишь, Лашков, скоро совсем никому не будешь нужен».

Возвращаясь как-то из магазина, Петр Васильевич, почувствовавший вдруг головокружение и жаркую слабость в ногах, еле доплелся до ближайшей скамейки в сквере, а отдышавшись, услышал рядом с собою легкое покашливание вперемешку с шуршанием газеты. В беспокойном предчувствии он скосил взгляд в сторону неожиданного соседа, и сердце его учащенно задергалось: на противоположном краешке скамейки сидел Гупак, небрежно полистывая свежий еженедельник. Внимание Петра Васильевича не ускользнуло от него. Он мгновенно сложил газету вчетверо и с вежливеньким вызовом поклонился:

— Здравствуйте, Петр Васильевич. Надеюсь, в полном здравии?

— Пока не жалуюсь.

— Слава Богу.

— Не обижает.— Ему хотелось ответить непрошеному собеседнику погрубее, позадористее, но сам не узнал своего голоса, до того вяло и безобидно он — этот голос — прозвучал.— Вашими, как говорится, молитвами.

— Молимся, Петр Васильевич, молимся,— благодарно оживился тот,— не забываем о заблудших.

— А кто заблудший — единолично определяете?

— Нет, зачем же, Петр Васильевич, греха гордыни на душу не берем. Обо всех молимся. И о себе тоже.

— Не без греха, значит?

— Нет, Петр Васильевич, не нам камень бросать. С нашими грехами только каяться.

— Потому, видно, и не держатся около вас долго? Святость не той кондиции?

— Уж это вы не о дочери ли, Антонине Петровне?

— Ну, хоть и о ней!

— Дочь ваша, Антонина Петровна,— с вкрадчивой проникновенностью молвил тот,— голубиная душа. Такие, как она, от своего, раз взятого не отступятся.— Он опустил глаза.— В каждом ее письме ко мне лишь подтверждение этому.

— Выходит, пишет?— жарко обомлел Петр Васильевич, но почему-то не испытал при этом к Гупаку ни гнева, ни ревности.— Уважила дочка!

— Не судите ее строго,— тот несколько придвинулся к нему,— отец по крови и по духу равны для верующего. Родному отцу, тем более атеисту, не расскажешь того, что поймет духовный руководитель.

— Дело у человека руководителя.— Он старался настроить себя на непримиримый лад, но слова его, едва сложившись, тут же теряли силу.— А все ваше это — блажь, юродство.

— Думаете?

— Да уж знаю.

— Разве можно что-нибудь твердо и наперед знать, уважаемый Петр Васильевич? Любая человеческая жизнь — это Божий мир заново. Как же можно своим глубоко личным знанием постичь другого человека, да еще и заставить его жить по-своему? Человек должен себя менять к лучшему, а не обстоятельства. А вы именно с обстоятельств-то и начали. Обстоятельства вы изменили, а душа человеческая как была для вас за семью печатями, так и осталась. Вот мы и подбираем к ней ключи.

— Чем же? Байками своими?

— Словом. Добрым словом.

— И получается?

— Это процесс длительный, Петр Васильевич. Иногда и жизни не хватает. Душа постоянного внимания требует. Вот дочь ваша, Антонина Петровна, к примеру...

— Перебродит в замужестве и забудет.

— Все в руках Божьих,— покорно согласился Гупак, встал, сунул газету в карман пиджака и, коротко блеснув в сторону Петра Васильевича золоченой оправой, заспешил.— Спасибо за беседу. Зашли бы как-нибудь. Общение в нашем возрасте полезно. Многое проясняет. До свидания.

Обезоруживающая просительность Гупака невольно подкупила Петра Васильевича, и он, неожиданно для самого себя, отходчиво пообещал:

— Зайду...

Через минуту Гупака размыло стремительно наступающими сумерками, и, поднимаясь, чтобы отправиться восвояси, Петр Васильевич сам подивился своей уступчивости: «Сдаешь, Лашков, на чертовщину потянуло!»

Город, в котором он родился и вырос, с которым у него было связано все самое памятное и значительное в его жизни, виделся ему сейчас чужим и неприветливым. Даже люди, что попадались ему навстречу, не имели ничего общего с теми, которых он привык видеть до сих пор. В их походке и рассеянных взглядах сквозила какая-то странная порывистая суетливость. Они словно бы таились от некоей, им самим неведомой погони. Дойдя до самого дома, Петр Васильевич так и не увидел ни одного знакомого или спокойного лица: «Растет город, не уследишь!»

В щели между замочной скважиной и косяком двери торчал уголок конверта. У Петра Васильевича терпко засосало под ложечкой. Он долго не мог попасть ключом в скважину, а когда, наконец войдя, зажег свет, то облегченно вздохнул: «Ответил-таки».

Товарищ его по смутным временам на Сызрано-Вяземской дороге, дружески упрекая Петра Васильевича за долгое молчание, сообщал ему, что меры в известном направлении уже приняты, что события развиваются благоприятно и что вскоре следует ожидать удовлетворительного для них обоих ответа.

«Есть же люди!» — подумал он. Утерянное было им в разговоре с Гупаком душевное равновесие вернулось к нему, и он, снова усаживаясь у окна, тихо и умиротворенно задремал.

И снилось ему, будто идет он нескончаемыми узкими коридорами, а за ним — одна за другой — гулко захлопываются многочисленные двери. Коридоры уводят Петра Васильевича все дальше и дальше, и жуть безлюдной тишины сопровождает каждый его шаг. Внезапно из-за очередного поворота навстречу ему выходит отец Георгий и, вместо приветствия, с соболезнующим укором молвит:

— У меня нельзя отнять того, что во мне и со мной. Вам труднее — вы атеист. Вы идете против своей природы.

И — надо же такому случиться! — Петру Васильевичу нечем возразить больничному своему знакомому. Никогда не испытанное им ранее смятение горькой спазмой перехватывает ему горло.

Пробуждаясь, Петр Васильевич насмешливо посожалел про себя: «Сны и те с панталыку сбились. Стареешь, Лашков, стареешь, давным-давно на слом пора».

II

Москва встретила Петра Васильевича проливным дождем. Первый за нынешнее лето ливень, навес за навесом, прокатывался по перрону и привокзальной площади, образуя у сточных реше-

ток вкрадчивые водовороты. Город снимал с себя знойное наваждение предшествующих дней, и в его слитном еще недавно облике на глазах проявлялись черты и черточки, отличавшие в нем лишь одному ему присущие рисунки и характер. Громоздкие и тяжеловесные строения чередовались с двухэтажными коробками барачного типа, а те, в свою очередь, мирно притирались к дряхлеющим особнячкам прошлого столетия. Улицы растекались по обеим сторонам ветрового стекла, обнажая впереди блистающую дождевой капелью листву зеленой окраины.

Всю дорогу, пока молчаливый, жуликоватого вида шофер, безбожно петляя по многочисленным переулкам, вывозил Петра Васильевича на знакомую улицу в Сокольниках, он так и не смог унять в себе удушливого сердцебиения: «Неладно у нас все прошлый раз получилось, не по-людски».

Известие о смерти брата застало Петра Васильевича врасплох. И не то чтобы оно оказалось для него неожиданным, в таком возрасте это могло случиться с каждым из них в любую минуту, просто он никогда не думал, что тот, особенно после всего происшедшего между ними, даст когда-либо о себе знать: «Адресок-то, видно, берег, не терял из виду. Хотя и случайно, может, кто подоброхотствовал? И скорее всего».

У знакомого дома Петр Васильевич еще постоял, еще потоптался некоторое время под затихающим дождем, не решаясь войти. Настороженное безмолвие двора носило следы только что отошедшего события: все окна были распахнуты настежь, двери приотворены, а из сеней деревянного флигеля доносилась говорливая суета.

Стоило Петру Васильевичу переступить порог флигеля, как навстречу ему поплыл одиночный причитающий вой. Голос плыл из распахнутой двери братениной комнаты, где за поминальным столом постепенно выявились перед ним несколько сдвинутых друг к другу лиц. Лица дружно качнулись в сторону гостя, и одно из них — крупное, белесое, с веселой искрой в глубоко посаженных, василькового цвета глазах,— отделившись от остальных, выдвинулось в рассеянный сумрак сеней:

— Привет, Петр Васильевич! Васью уже увозиль. Я понимай, некарашо это. Но ошень, ошень жарко... Ми вас ждаль. Захожайте. Менья зовут Отто. Отто Штабель.— Он зашел Петру Васильевичу за спину и дружески подтолкнул его вперед себя.—Васью все мы любиль... Васья быль мой кароши товарьищ...

При появлении Петра Васильевича в комнате не поддержанный никем вой захлебнулся так же внезапно, как и возник. За столом произошло движение, лица сблизились еще теснее, освобождая место для гостя. Он сел, и все взгляды устремились к нему с одинаковым выражением: вот ты, мол, какой, единокровный брат Василия! И пока, рассматривая друг друга, гость и хозяева в мучительной неловкости ожидали взаимного повода к разговору, вокруг Петра Васильевича бесшумно хлопотала старушонка в потертом и висящем на ней балахоном платье неопределенной окраски. Она

щедро обставляла его тарелками, чуть слышно шурша у него над ухом:

— Пожалуйте, сырку вот... Селедочки, пожалуйте... Отведайте студню... Хлебца возьмите...

В услужливой вкрадчивости старухи было что-то хищное, кошачье, и, видно поэтому, Петр Васильевич, принимая закуски из ее рук, невольно вздрагивал от всякого их случайного прикосновения:

— Спасибо... Я сыт... Спасибо... Это мне много будет... Благодарствую...

Перед третьим заходом из-за стола поднялся невысокий — одно плечо ниже другого — пожилой мужичок и, в упор глядя на Петра Васильевича цепкими глазами, заговорил бодреньким речитативом:

— Первым делом я должен принципиально заявить, что покойный Василий расходился со мной по многим вопросам внутренней и внешней политики. Это факт.— Здесь, явно рассчитывая на высокое взаимопонимание между ним и гостем, он со значением откашлялся.— Однако как жилец могу подтвердить его полную сознательность по другим вопросам. Как-то: ремонт канализации, очистка двора и другие разные работы. В этом смысле у меня к покойному претензий не имеется. Дело свое Василий знал назубок. Но, граждане, не надо забывать о бдительности. Известно, в какое время мы живем. Врагу никакой пощады! Революцию в белых перчатках не делают.— Чувствуя, что зарапортовался, он рассеянно заерзал глазами по сторонам.— Поднимаю этот бокал... Тост, так сказать... Пусть, как говорится, земля пухом... И так далее, и тому подобное... Вечная память, граждане...

Он сел, и ватные плечи его затасканного кителя, густо припорошенные перхотью, вызывающе вздернулись кверху: я, мол, сказал, а там — ваше дело. Глядя на него, Петр Васильевич никак не мог отделаться от навязчивого впечатления, что где-то, когда-то он уже встречал это решительное лицо, эти ожесточенные, без света внутри глаза, слышал эту безоговорочную манеру высказываться. И вдруг, как это бывает в минуты предельного напряжения, когда в распавшейся цепи времен внезапно восстанавливается необходимое звено, ему с поразительной отчетливостью вспомнилось зимнее утро на станции, куда он привез опергруппу после крушения в Петушках. Вспомнилось с такой живостью, что у него, так ему показалось, даже зубы повело тою же зубной болью. И сквозь наслоение лет и событий перед ним обозначился медальный облик председателя уездного чека Аванесяна: «Винт тебе выдан не для украшения, а чтобы стрелять и стрелять без всякой пощады». Эта предельная схожесть двух совершенно разных людей показалась Петру Васильевичу знаменательной. Мрачная злость одного и облезлый гонор другого были отмечены пепельным жаром одной и той же неизлечимой порчи, какая изводила их обоих своей иссушающей душу мукой.

После четвертой разговор сделался всеобщим. Гости говори-

ли, нетерпеливо перебивая друг друга, каждый спешил высказаться первым, считая, надо полагать, свое слово самым уместным сейчас и значительным:

— Помянем раба Божия Василия.

— Золотой человек был, Царство ему Небесное!

— Бывало придешь: Вася, сделай! Всегда без отказа.

— Слова от него худого никто не слышал.

— Что и говорить, человек был.

— Помню,— оживленно вскинулась на противоположном конце стола молчавшая до сих пор грудастая баба с расплывшимся, густо подрумяненным лицом, но тут же осеклась, грузное тело ее бессильно оплыло вниз, а взгляд, устремленный к порогу, остекленел и угас.— Сима!..

На пороге, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, стояла женщина. Хрупкую, почти девичью фигурку ее невесомо облегал красный целлулоидовый плащик, цветы в руках, тронутые недавним дождем, трепетно подрагивали. Волнение растекалось по остреньким скулам гостьи белыми пятнами, явственно выявляя на них легкую путаницу устойчивых морщин. Если бы не они — эти морщины — женщину и впрямь можно было б принять за подростка, до того угловатым и несложившимся все в ней выглядело. Обведя застолье серыми с влажным мерцанием в самой глуби глазами, она жалобно улыбнулась и опустила голову:

— Здрасте...

Говор в комнате разом стих, лица напряженно вытянулись и застыли, но уже через мгновение замешательство сменилось беззвучным плачем, от которого Петру Васильевичу сразу же стало не по себе. Гости, не двигаясь, плакали в пространство перед собой, где в головокружительной высоте прошлого парила похожая на подростка женщина в красном целлулоидовом плащике, с облитыми дождем цветами в руках. И Петра Васильевича вдруг озарило, что сидящие рядом с ним за столом люди оплакивают сейчас что-то куда большее, чем его брат.

— Идъем, Петр Васильевич,— тронул его за плечо Штабель.— Женский дело плакайт.

Они вышли в безлюдный и мокрый после дождя двор. Отощавшие облака проплывали над крышами. В редких между ними полыньях вечереющего неба намечались первые звезды. Волглый ветер вязко сквозил в листве тополей вдоль тротуаров, расплескивая окрест окрепшие в сыром воздухе локомотивные гудки и лязг сцеплений с товарной станции, расположенной по другую сторону улицы.

Уже у калитки их нагнала та самая старушонка, что обслуживала Петра Васильевича за столом:

— Вы уж далеко не пропадайте,— заискивающе зашелестела она,— неудобно перед гостями.

— Ладно,— снисходительно бросил ей через плечо Штабель, направляясь к парку.— Мы немного погуляй.— И уже по дороге

объяснил спутнику.— Это Люба... Жена Левушкина... Сам Ванья давно пропаль... Совсем старий стала...

Под влажный шорох парковых тополей Штабель и рассказал Петру Васильевичу историю двора, в котором брат его Василий провел большую часть своей невеселой жизни. Вместе с Отто он заново пережил короткую пору любви Симы Цыганковой и Левы Храмова. Изложил ему австриец и подноготную Никишкина, того, оказалось, самого, что говорил за столом речь. Об исходе семьи Горевых в их разговоре было упомянуто вскользь, но по тому, с какой бережностью произносил тот имена ее членов, в особенности имя Груши, Петр Васильевич определил, чего это Штабелю стоило.

— Ссилька я отбиль... Москва не хочу. Сибирь мой семья. Дети взрослий... Дом есть, кароший работа... Старый я уже, могиля скоро... Пора домой, Петр Васильевич. Там — гость...

Около дома они лицом к лицу столкнулись с крошечной старушкой в темной панамке, надвинутой на самые глаза. Старушка стояла у ворот, уставясь в землю и о чем-то бормоча себе под нос. Сморщенное личико ее при этом выражало крайнюю и, видно, постоянно снедающую ее озабоченность.

— Привьет, Марья Николаевна! — огибая ее, почтительно поклонился Штабель.— Добрий здоровий.

Та и ухом не повела, продолжая одной ей ведомый разговор с самой собою. Уже во дворе австриец, опасливо оглядываясь, пояснил Петру Васильевичу:

— Бивший хозяйка этот дом. Шоколинист фамилий. Сто льет будет. Жива еще... Здоровий женщина. Ошень здоровий.— Штабель восторженно покачал головой, словно бы сам удивляясь живучести и долголетию бывшей хозяйки.— Какой есть люди! Откуда в ней такой здоровий!

Ночлег им обоим Люба устроила в комнате Василия. Быстро и бесшумно она соорудила для них на добела выскобленном ею же полу две постели, перекрестила их на сон грядущий и, выходя, предупредительно обратилась в сторону Петра Васильевича:

— Коли чего понадобится, постучитесь в пятую. Я подбегу и все сделаю.

Темь сразу же заструилась в комнату легким шелестом дворовой листвы, сквозь которую смутно проглядывало звездное небо. В ночной тишине отчетливо выделялся голос пьяного Никишкина, колобродившего в своей квартире на втором этаже дома рядом:

— Ты, старая падла, имеешь понятие, с кем живешь? А? Полное представление имеешь? А? Я тебя, карга, научу свободу любить!.. Чего?.. А десять суток строгого, с лишением прогулок и передачи не хочешь?.. Молчать! У меня с социально опасными разговор короткий. Пулю в лоб, и ваших нет... Молчать! Как стоишь?! С кем разговариваешь, твою мать?!..

С этим Петр Васильевич и заснул. И снилось ему...

III

ВИДЕНИЕ ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА...

Аванесян сидел на скамье, спиной к жарко натопленной лежанке, и, тесно к ней прижимаясь, силился, казалось, влиться в нее, в ее тепло и надежность. Но печь, видно, не согревала гостя. Костистые плечи его зябко подергивались, а носатое лицо то и дело искажала короткая гримаса: председателя уездной чека трясла гремучая, вывезенная им еще с родины лихорадка.

— Ты мне таких писулек больше не пиши.— Темные глаза гостя, подернутые болезненной желтизной, смотрели куда-то мимо Лашкова в заснеженное окно и дальше — в ночь.— Подумаешь, трагедия — спецу зубы выбили! Не слиняет. Они нас не жалели. Обер в тебе, Лашков, сидит, аристократ путейский, законник. Порастряс ты в классных вагонах пролетарское самосознание. Перерождением начинаешь чадить.

— Если бы по злобе, тогда понятно, не выдержал мужик,— пробовал ему возразить Петр Васильевич: чем-то, он еще не осознал, чем именно, гость вызывал в нем раздражение и неприязнь.— А то ведь из жадности, с целью грабежа, на золото позарился. А там золота в этих зубах — разговор один! Зато толков по всей дороге — не оберешься. И больше не в нашу пользу.

— Плевать нам на разговоры! Собака лает — ветер носит.— Откровенная, чуть ли не брезгливая насмешливость прослушивалась в тоне Аванесяна, и она — эта насмешливость — окончательно выявила для Петра Васильевича природу его давней к нему неприязни: Лашкову претила манера предучека разговаривать с собеседником так, словно он — Аванесян — знал что-то такое, что другим знать не положено да и не дано.— У меня достаточно способов заткнуть глотку говорунам.— Он даже не старался скрыть своего превосходства над хозяином.— Парамошина я знаю, пролетарий до мозга костей. Такие, как Парамошин, и есть движущая сила революции. И в обиду я его не дам.

— Ты, Леон Аршакович, человек здесь новый, больше понаслышке знаешь.— Чувствуя, как злость протеста захлестывает его, он уже не сдерживал себя.—Ты спроси у кого хочешь, кто такой Парамошин? Пьяница и бездельник, вот кто он такой. Горлопан к тому же. И трус. Его только ленивый и не бил в Узловске. С такими революцию делать — стыд один.

— А с кем же ты ее делать собираешься, Лашков? — Тон Аванесяна становился все грубее и насмешливее.— С гимназистами, что ли? Или с теми очкариками, что в эмиграции в библиотеках упражнялись, философские статейки под кофей пописывали? Нет, брат, шалишь. С этими интеллигентами только чай пить интересно. Больно складно языками чешут. Им только волю дай, они любое дело заговорят. Нам не до философских баек сейчас. Кто кого, вот и вся философия. Революцию мы с парамошиными делать будем, Лашков. Пока очкарики думают, чего можно, чего

нельзя, парамошины дело делают. Без слюней, без лишних разговоров делают. А что он себя не обижает — это его классовое право. Свое вековое берет. По крайней мере, я знаю наперед, чего от него ждать. Он для меня ясен — Парамошин. А вот ты, Лашков, нет, не ясен.

— А не боишься?

— Чего?

— Парамошина.

— С какой стати?

— Съест он. И тебя, и всех съест.

— Ну, это мы еще увидим, у кого быстрей получится.—Желваки на его скулах ожесточенно напряглись.— Скрутим, когда понадобится. А не скрутим, значит, не по плечу ношу взяли. Он тогда сам со всеми рассчитается. За всё.

— Ему, Парамошину, никто еще не задолжал. Всем в городе с него причитается.

— Он не за себя, он за класс будет спрашивать. У него историческая ответственность, а ты все на свете своим уездом меряешь, Лашков.

У Петра Васильевича отпала всякая охота продолжать спор. Он чувствовал, что все равно не сможет пробиться к сознанию гостя сквозь непонятное ему отвращение того ко всему, связанному с недавним прошлым. И хотя Лашков нисколько не жалел о поданном в учека рапорте, зряшность своего поступка представлялась ему теперь бесспорной.

А случай был действительно ни с чем не сообразный. Препровождая в Тулу бывшего управляющего Ухловским депо Савина, конвоир Тихон Парамошин, известный в городе дебошир и гуляка, выбил подконвойному рукояткой револьвера оправленную золотом челюсть. О происшествии Петру Васильевичу доложил кондуктор, сопровождавший вагон, где в отдельном купе Парамошин стерег связанного по рукам спеца. Власть Петра Васильевича на уездных работников не распространялась, и единственное, что он мог сделать, это написать докладную Аванесяну. Сигнал его был оставлен без последствий, но тот, как оказалось, не забыл об этом, приберег до поры.

— Но в общем-то я к тебе не за этим,— помягчел гость и потянулся в карман за кисетом.— Просто шел мимо,— облава тут у нас была,— дай, думаю, зайду, посмотрю, как нынче комиссары живут.— Он не спеша набил трубку, прикурил, глубоко затянулся и сквозь дым впервые за весь вечер взглянул прямо на хозяина.— Небогато, Лашков, небогато.

— Как все. Время трудное.

— Как все, говоришь?,— Прежняя усмешка сказалась в нем.— Мы не для того брали власть, чтобы жить, как все. Мы не чужое — свое берем. Берем то, что по праву нам принадлежит. По праву победителей. Оставим аскетизм женевским идеалистам. Пусть они глотают свою осьмушку, мы ею наглотались в царских тюрьмах,

мы люди из плоти и крови, и в наивную коммунию играть не собираемся. А у тебя, я гляжу, всех ценностей — комиссарова жена.

— Не за комиссара шла,— чуть слышно отозвалась Мария, орудуя ухватом,— за хорошего человека.

— Везет людям! — зябко поежившись, осклабился тот.— Какую королеву отхватил. А вот мне по этой части никогда не везло. Как говорится, образом не вышел. Один нос чего стоит! А уж я так старался. Услыхал, к примеру, что попы хорошо живут, в семинарию подался. Думал, буду много денег получать, любая пойдет.

— И что,— снова отозвалась от печки Мария,— состоялось у вас счастье?

— Меня скоро выгнали.

— А коли б не выгнали?

— Нет, наверное. Никто бы не позарился. Деньги — мусор. Власть дает право на все. Теперь вот сами просятся. Недавно тут одна заявилась...

— Не надо,— умоляюще вздохнула женщина,— не надо... Не по-людски это...

— Ладно.— Аванесян решительно поднялся и, старательно избегая ее взгляда, сделал шаг к выходу. В его поспешности было что-то суетливо-жалкое.— Хорошенького понемножку, погрелся, пора и честь знать.— От порога он повелительно кивнул Петру Васильевичу.— Проводи.

Крупный медленный снег сыпал над городом. Со станции тянуло горечью остывающего шлака. Тишина, изредка прерываемая паровозными гудками и собачьим лаем, казалась безмятежной и умиротворяюще прочной.

— Пока, Лашков! — поднял воротник добротной бекеши Аванесян.— Мой тебе совет: не пиши ты больше мне докладных. Все равно читать не буду. На твою докладную Парамошин уже целых три навалял. И таких, что тебе для высшей меры и одной за глаза. На твою вдову много охотников найдется.— Он коротко хохотнул.— Лучше поберегись, Лашков.

Снежная завеса разгородила их и, глядя вслед гостю, Петр Васильевич с облегчением посожалел про себя: «Немного, видно, ты счастья нажил у власти сидя, председатель, ой как немного! Только хорохоришься».

Еще в сенях, стряхивая с себя искристую порошу, услышал он доносившееся из горницы шепотное бормотание жены: «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его... Они не делают беззакония, ходят путями Его... Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих...»

И впервые за их недолгую, но богатую событиями совместную жизнь Петр Васильевич постеснялся перебить жену за этим ее занятием: «Каждому свое, пускай отведет душу».

IV

Как-то среди дня, по дороге в столовую Лашкова окликнул знакомый голос:

— Доброго здоровья, Петр Васильевич! Зашли бы. Посидели бы мы с вами в тенёчке по-стариковски.

Из-за штакетника дома, мимо которого он в это время проходил, радушно сиял в его сторону одетый в рабочие обноски Гупак.

После того случайного разговора в сквере у Петра Васильевича возникло и постепенно укрепилось смутное предположение, что тот намеренно, с каким-то еще необъяснимым для него умыслом, ищет с ним встречи. Поэтому сейчас, ответно кивнув, он решил, как, впрочем, и всегда в подобных случаях, двинуться навстречу неизвестности:

— Отчего же не зайти? Зайду.

В садике при домике Гупак оказался не один. Здесь же, над раскидистым кустом крыжовника возился сухонький, подтянутый старичок в соломенной шляпе и сандалиях на босу ногу. Старичок четко, по-военному приник кончиками пальцев к полям шляпы и затем снова углубился в свое занятие.

— Владимир Анисимович,— представил того хозяин.— Большой любитель всякой растительности. Тоже наш брат, пенсионер.— Он почтительно увлекал гостя к навесу в дальнем углу двора. Ковыряемся понемножку. Черенки, прививки разные... Вот сюда, пожалуйста, здесь прохладнее... Сейчас я вам кваску достану... Один, знаете ли, хозяйничаю, супруга в отъезде.

Гупак скрылся в доме и вскоре вышел оттуда с пластмассовым бидоном и кружкой в руках:

— Угощайтесь... Свой... Прямо из погреба.— Он опустился прямо против Петра Васильевича.— Жарко.

— Спасибо... Да, сушь.

— Для сада хорошо. А в поле сохнет все. Большой, говорят, недород ожидается.

— Не такое было. Выдюжим.

К столу подошел старичок, сел, положил перед собой садовые ножницы, снял шляпу, обмахиваясь ею, сказал:

— «Выдюживать» следует при непосильных обстоятельствах. А наши нынешние неурожаи — результат нерадивости и лени. Никаких объективных причин тут нет. При современном уровне сельского хозяйства в мире стыдно нам ссылаться на стихийные неурядицы. Тем более, в стране со столькими климатическими зонами.— Казалось, в свое время его рассердили однажды и навсегда, весь он являл собою воплощенное раздражение.— Считаем себя европейской страной, а земледелие ведем на африканском уровне. Послушаешь наших деятелей, так стихии преследуют одних нас. Причем стихии выборочные. Извержения, землетрясения, цунами, дорожные катастрофы это — там. А у нас только засухи и непогоды. Надежное утешение для болтунов. Или, ска-

жем, еще — война. Будто одни мы и воевали! Французы нам мясо продают! А мы-то, с нашими ресурсами и возможностями! Стыдно, уважаемые.

— Все-таки полстраны порушилось,— осторожно возразил ему Петр Всильевич, ошарашенный его внезапным натиском.— Что ни говори, с другими не сравнить.

— А кто виноват?! — Старичок, взвиваясь, даже подскочил от ожесточения.— Кто виноват, что Российское государство на протяжении двух веков проигрывало одну войну за другой? Если две из них и были выиграны, то лишь благодаря безответному нашему мужику. Можно сказать, вопреки государственному устройству и кадровой армии. Двухсотмиллионный народ не смог выдержать первого боя со страной в несколько раз меньшей! Из-за политической слепоты головки, напыщенного бахвальства военных и их глупости, глупости и еще раз глупости! — Старичок прямотаки задыхался от гнева.— Занимали западные окраины без выстрела, играли в «победы» на маневрах, а когда пришлось действительно воевать, то военного министра моточасти еле выловили под Смоленском вместе с его штабом, так драпал. Его заместитель, удирая без оглядки, солдатскую робу на себя напялил, а все свои регалии с документами вместе зарыл где-то в ростовской степи. А главный мыслитель неделю еще пил в ожидании мировой революции в тылу у противника. Каким же бездарным и самонадеянным надо быть, чтобы на это рассчитывать! А ведь в это время земля горела. Кровь лилась, и совсем не та «малая», что запланирована была. Спасибо мужику, снова выручил. Победили. Один к шести победили! Да за такие победы народу памятники надо ставить, а генералов судить военно-полевым судом. А они еще наглости набираются, мемуары пишут. «Левый охват», «правый охват», «котел», «клещи»! Словно балерины кокетничают, кто из них первый. Стратеги, сукины сыны! Бросали людские массы на пулеметы. Да еще и заградительные отряды сзади ставили. Двадцать миллионов положили. Германию ту заново заселить можно. И хоть бы чему-нибудь научились! Снова обвешиваются железками и пыжутся на парадах: «разгромим», «раздавим», «дадим отпор»! Без выстрела европейские задворки оккупировали и хвалятся: «операция экстракласса»! Забыли, как из той же Западной Украины бежали сломя голову, когда там не прогуливаться, а воевать пришлось. Недоумки в погонах! А платить за их подлую глупость опять русскому мужику придется. Кровью платить. И какой!

— За столом — все наполеоны,— после короткой паузы неуверенно откликнулся Петр Васильевич.— В деле-то оно куда труднее будет.

На иссеченном возрастом худеньком лице старичка не дрогнул ни один мускул. Он только соболезнующе пошарил по собеседнику зоркими глазами, встал, напялил шляпу, взял ножницы со стола, но, прежде чем отойти, неожиданно спокойно объявил:

— Я в войну корпусом командовал, уважаемый! Стрелковым корпусом, заметьте. И если сужу, то сужу и себя.

Сказал и пошел, оставляя Петра Васильевича наедине с Гупаком и собственным смятением. Хозяин поспешил к нему на помощь.

— Его можно понять, Петр Васильевич. Все близкие Владимира Анисимовича погибли в блокаду. Он преподавал тогда тактику в Академии. Сам выпросился на передовую. Всю войну, можно сказать, в окопах. Жена у него отсюда родом была, вот он и приехал старость доживать.

— Что же, один живет?

— Женщина с ним чуть помоложе его. Медсестра бывшая из его части. Ухаживает за ним.

— Рассердился, видно?

— Что вы, Петр Васильевич! Это он только когда на конька своего сядет, а так — святой души человек. У него в доме постоялый двор. И проходящий, и проезжающий — все пользуются. Рубаху готов для первого встречного снять. Редкостное сердце.

— Выходит, и атеист может по совести жить? — не удержался он, чтобы не уязвить хозяина.— Вот пример.

— Вы не правы, Петр Васильевич.— В его как бы виноватой интонации чувствовалась спокойная твердость человека, для которого всякое произнесенное слово имеет определенную цену и вес.— Истинного атеиста ничто не волнует. У него нет проблемы: есть Бог — нету Бога. Атеист живет растительно, ни над чем не задумываясь и ничего не переживая. Как только он задумается, он на пороге к Господу. Человек может считать себя неверующим и все же жить в Боге. Есть молитва делом. Эта молитва тоже доходит. И если вы, сами того не ведая, живете по законам Евангелия, то ваша душа уже приобщена. Здесь нужен лишь последний прорыв, чтобы осознать себя в Боге. Кстати, вы поспешили с заключением: Владимир Анисимович — верующий.

— Зачем ему это? — Обескураженный новостью, он невольно потянулся взглядом в ту сторону, где отставной генерал сосредоточенно подрезал садовый кустарник.— Чего ему не хватает, всего вроде достиг.

— К Господу по-разному приходят, Петр Васильевич. Не от бедности, не от богатства — от чистоты сердца. Вот, к примеру, ваша дочь Антонина Петровна...

— Слава Богу, прошло! — Резкость, с какой он прервал Гупака, мгновенно обнажила в нем давно вызревшую ревность.— От скуки это у нее было. Без мужика бесилась. Поживет в другой стороне, совсем забудет... Ладно.— Он поднялся и заспешил.— Спасибо за квас.

Все с тою же радушной готовностью Гупак провел гостя мимо старичка, слегка кивнувшего ему на прощанье, к калитке и, помяв его руку в своей, со значением заключил:

— Заходите. Что одному-то дни коротать? Каждый день ведь мимо ходите. Владимира Анисимовича, если разговорить, заслу-

шаешься. Да и другие люди заглядывают. Тоже занятный народ.

— Спасибо,— уже на ходу облегченно бросил Петр Васильевич, направляясь к дому.— Загляну как-нибудь.

Засыпая в эту ночь, он долго ворочался с боку на бок, вспоминая подробности своего захода к Гупаку. Ощущение недоговоренности, сквозившей в речах Гупака, не покидало Петра Васильевича, заставляя его снова и снова возвращаться мыслью к состоявшемуся между ними разговору: «Неспроста это у него, ой неспроста!»

В этом беспокойном недоумении Петр Васильевич и заснул. И приснилось ему странное, ни на что не похожее здание с уходящим в темную бездну потолком. В поисках выхода он подряд открывал попадавшиеся ему на пути двери, но за каждой из них возникала глухая стена. Потом где-то впереди него замаячил свет, и Лашков побежал к нему с надеждой и облегчением. Он бежал и слышал за собой топот множества ног. Свет все приближался и приближался, а топот становился все громче и громче. Страх преследования сделал его тело невесомым, и он взлетел над лесом тянущихся к нему рук. И в тот момент, когда, казалось, у него уже не оставалось надежды и жадные пальцы должны были дотянуться до него, до его тела, вдруг обретшего тяжесть,— свет принял его в себя. Он оказался на огромной пустынной площади, посреди которой сидела безногая нищенка и протягивала ему навстречу руку за подаянием. И вдруг лицо ее, приближаясь, разрослось перед ним и заслонило собою все кругом. В смятении и огне прозрел Петр Васильевич в нем — в этом лице — знакомые черты своей Марии. Но едва он потянулся к ней, лицо мгновенно растворилось, исчезло, высвобождая для взгляда все то же странное здание, с уходящим в темную бездну потолком. Он силился крикнуть, позвать кого-либо, кто бы помог ему снова выбраться наружу, но рот его лишь беззвучно раскрывался в исступленной немоте...

Разбудил Петра Васильевича стук почтальона, вручившего ему под расписку срочную телеграмму от брата: «Женюсь. Приезжай. Андрей».

Сон Петра Васильевича сняло, как рукой. «Ишь что удумал на старости лет, черт лысый!»

V

Мокрые после дождя ночные сосны развернулись навстречу Петру Васильевичу, едва он свернул со станции в лес. Коротать ночь на вокзале он не стал и, хотя ему предстояло километров около пяти освещенной лишь звездами дороги, не спеша двинулся по обочине слякотной колеи. Но стоило Петру Васильевичу углубиться в лес, как позади него послышался натужный скрип колес и слабое пофыркивание медленно бредущей лошади. Вскоре с ним поравнялась подвода, с которой его сразу окликнул сонный голос:

— Ай человек?

— Вроде.
— В какую сторону?
— В лесничество.
— Чего там забыл?
— К Лашкову... Андрею Васильевичу...
— А ты не брат евонный, часом?
— Вроде.
— Эх-ма! А я пять, считай, поездов пропустил, тебя дожидаючи.— Бесформенный силуэт на передке подводы пришел в движение.— Садись-ка... Дай-ка я тебе сенца подоткну, дорога тряская... А я и смотрю, кто это, на ночь глядя, в лесничество собрался?.. Сел? Поехали... Пошел!

Переваливаясь с колеса на колесо, телега медленно тащилась сквозь влажную темь. В лицо веяло упругой сыростью, с ветвей, свисавших над дорогой, то и дело осыпалась дождливая изморось. Возница лениво, словно нехотя, понукая лошадь, поинтересовался между делом:
— Куришь?
— Не балуюсь.
— Эх-ма! А я, было, думал городской папироской на дармовщинку побалуюсь. Придется своего «вырви глаз» завернуть.— Повозившись в темноте, он чиркнул спичкой, затянулся.— Андрей-то Васильич тебя еще вчерась ждал. Цельный день на станцию сам гонял, а нынче меня вот снарядил... И Сашка тоже сама не своя. Зверь баба, а тебя дюже боится. Говорит, партейный. А партейный, дак что, кусается, что ли?.. Как мужик у ней помер, так и осталась с пятерыми одна. Андрей-то Васильич, говорят, сызмала за ней ухлестывал. Да и она по нем, вроде, сохла. Давно бы ей своего мужика бросить. Он у ей одно название был. Пил смертно и вобче — инвалид войны. Да ить Саша баба такая, все терпела — не бросила, не пошла против совести... Не та, конечно, у них теперь пора, только все одно — дело хорошее, что сошлись... Но!

Усадьба лесничества встретила их безлюдной тишиной. В доме светилось лишь одно окно и то в нежилой, конторской половине. Осаживая у крыльца, возница снисходительно успокоил Петра Васильевича:

— В деревню догуливать пошли. Надо думать, скоро будут. Не то я обернусь, покликаю. Здесь рукой подать... Валентину, видно, стеречь нас оставили.

В конторе они и впрямь застали мирно дремавшую за столом горбатенькую девочку лет пятнадцати в накинутом на плечи старом мужском пиджаке. Умостившись веснушчатой щекой на сложенных перед собой ладонях, она безмятежно посапывала во сне, всею неудобной позой своей — одно плечо в стол, другое выдвинуто вперед — излучая хрупкую, надолго застоявшуюся в ней детскость.

— Валентина! — На свету возница оказался крепким коротконогим мужичком, небритое лицо которого с насмешливо опущен-

ными книзу уголками тонких губ было помечено, казалось, въевшимся в каждую черточку озорством.— Валентина!

Под его осторожной рукой девочка чутко встрепенулась, открыла глаза, вскочила, уронив с плеч пиджак, и стала смущенно одергиваться:

— На деревне все... Меня тетя Шура специально оставила... В случае чего прибежать велела...— Она извинительно зарделась в сторону гостя.— Вы уж тут с Егором Иванычем... Я быстро.

Но побежать в деревню ей не пришлось. За окном, в далекой глубине ночи вдруг возник и, приближаясь, заполнил тишину протяжный наигрыш трехрядки. Нестройные голоса, перебивая друг друга, пытались сложить «Когда б имел златые горы», но песня не складывалась, и певцы в конце концов умолкли, снова уступая место гармошке.

Егор удовлетворенно подмигнул Петру Васильевичу:

— Идут!.. Изрядно нагулялись... Ишь, выделывают! Видно, Савельич своего, крепленого поднес...

Сидя на скамейке у двери, Егор рассматривал гостя с откровенным любопытством человека, от которого ничего не скроешь и которому заранее все о собеседнике известно. Его вызывающая насмешливость коробила Петра Васильевича, и он, чтобы хоть както преодолеть возникшую в нем неприязнь к мужику, угрюмо спросил:

— Здесь, у Андрея работаешь?

— Везде помаленьку,— озорно осклабился тот,— и здесь, и в колхозе — тожеть. Как придется.

— Поденно, значит?

— И поденно тожеть.

— Хватает?

— Когда как. День калачи, день на печи.

Где-то уже на усадьбе гармошка, в последний раз вскрикнув, смолкла, и под самым окном закружились голоса:

— Открывай, мать.

— Посмотри, Егор тут ли?

— Андрюха, лошадь на месте.

— Заходите, заходите, я — сейчас.

Голоса переместились в дом и вскоре окончательно окрепли за стеной.

— Садитесь... Садитесь, гости дорогие... Рассаживайтесь... Чем богаты, тем и рады...

— Пьяного да уговаривать!

— И так уж хорош, миром бы посидел. Всю не выпьешь.

— Не скрипи, Наталья, в кои-то веки у нашего брата свадьба. Опосля ить не нальете.

— Маша, потяни-ка скатерку на себя.

Выделившись из темноты конторских сеней, Андрей счастливо засиял и с пьяно раскинутыми в стороны руками пошел на брата:

— Вот удружил!... Вот удружил, Петёк!.. Век не забуду!.. Пой-

дем... Пойдем за стол.— Андрей тискал Петра Васильевича, увлекая его за собой к выходу, но перед тем, как выйти, бросил через плечо: — Егор, распряги и приходи... Поди помоги теть Шуре, Валюшка.

Появление Петра Васильевича перед застольем вызвало среди гостей замешательство. Гости замерли, выжидающе уставясь в его сторону. Андрей, подталкивая его сзади, приговаривал:

— Входи, входи, Петёк, здесь все свои... Входи, не стесняйся... Будь как дома.

И здесь в полной тишине из-за стола поднялась и легко подплыла к гостю начинающая полнеть женщина с лицом уверенным и властным, в которой он сразу же безошибочно признал Александру. Немного не доходя до него, она почтительно переломилась надвое в земном поклоне и, распрямляясь, молвила без тени смущения и замешательства:

— Милости просим, Петр Васильевич, за наш стол. Будьте нам гостем дорогим.

Выдержки, по всему судя, ей было не занимать, спокойствие ее выглядело неподдельным. Но в том, как вслед за сказанным упрямо отвердели ее полные губы, Петр Васильевич почувствовал вызов и предостережение: мы тоже, мол, с характером. «Да, этой пальца в рот не клади,— одобрительно оценил он ее самостоятельность,— такая в обиду себя не даст. И мужа тоже». Он сел, и застолье словно прорвало. Все заговорили разом, избывая в слове собственную неловкость перед гостем:

— Штрафную Петру Васильевичу!

— Нет уж, ты ему сначала красненького, а то задохнется без привычки... Вот это дело!

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

— Пошла!

— Теперя — закусь.

Его заставили повторить. Он выпил и потом, уже не помня себя, опрокидывая одну за одной под одобрительный говор гостей, и не пьянел при этом, а лишь наливался мутной, давящей затылок тяжестью. Мир постепенно принимал очертания скошенные и расплывчатые. Петр Васильевич час от часу добрел, умиляясь всякому лицу и слову. Из-за покатого плеча невесты на него с веселой лаской смотрела горбатенькая Валентина, чем-то, наверное, тихой своей услужливостью, напоминала она ему Антонину или даже Марию тогда, в далекой молодости. Он ответно улыбался Валентине, давая ей тем самым понять, что ценит ее к нему внимание и со своей стороны к ней расположен. И Егор, выбивавший в эту минуту пыль из половиц, казался Петру Васильевичу милягой-парнем, с которым он хоть сейчас готов обняться по-братски и выпить еще. Да и каждый за столом, на ком бы ни остановился его взгляд, отличался какой-то одному ему присущей привлекательностью.

В разгар веселья Александра, улучив момент, подсела к Петру

Васильевичу и стала поспешно, чтобы никто не услышал, оправдываться:

— Вы не думайте, будто я Андрею Васильевичу навязалась. Я своих пятерых и без него обихожу. Муж-то у меня вроде шестого был: что с ним, что без него. Одна управлялась, занимать не ходила. Захочет он — в любой день уйду. Опять же ему одному тоже не сладко. Ни постирать, ни приготовить. Всю жизнь всухомятку. Жалко мне его очень. По его бы характеру золотую бабу впору. Цены ему, охломону, нету.— Она помолчала и вдруг прорвалась.— Невезучие мы с ним, ох, невезучие! Три десятка лет друг около друга толклись, а сходимся, когда уже о душе думать надо. Лучшие годочки по ветру разлетелись!.. Эх! — Ее словно подбросило с места, она сорвалась и вышла в круг.— Не пожалей, Вася, для меня гармошки!

Я любила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке до донышка
Не высохнет вода.

Александра плыла по комнате, полузакрыв глаза, и не сломленное возрастом гордое тело ее упруго подрагивало под цветастым, сильно расклешенным платьем. Запевая, она смеялась и плакала, и в этом ее смехе, и в этих слезах сказывалась вся ее последняя, отчаянная надежда хотя бы напоследок отвоевать у судьбы свою долю немолодой бабьей радости:

Выйду в поле по тропиночке,
На берег погляжу.
Выпей, милый, по кровиночке,
Я слова не скажу...

— Смотри, Петёк! — с восторженным жаром дышал на ухо брату Андрей.— Разве ей ее годы дашь? Королева!.. Вот и мне посветило на старости.

— Дай тебе Бог, Андрюха! — блаженно растекаясь, Петр Васильевич бережно оглаживал руку брата, свисавшую у него с плеча.— Дай тебе Бог...

Ночь вкрадчиво шелестела за окном мокрой листвой, сквозь которую заглядывали в комнату резкие, словно бы умытые звезды.

Говорят, что непригожа я,
А ты совсем рябой.
Будто нитка за иголочкой
Пойду я за тобой.

Не сводя с Александры осоловевших глаз, Петр Васильевич прозревал в ней другие черты, в другую, теперь уже почти забытую им пору...

VI

ЕЩЕ ОДНО ВИДЕНИЕ ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА

В это утро Петр Васильевич проснулся мокрый от пота и с головной болью, клещами стиснувшей ему виски. Сомнений быть не могло: езда по дороге, забитой тифозными составами, давно научила определять первые признаки сыпняка. «Не ко времени угораздило тебя, Лашков,— огорчился он про себя,— совсем не ко времени».

За окном вагона колобродила вьюга. Она мела уже третьи сутки, не переставая, и конца ей, судя по всему, не предвиделось. Третьи сутки спецпульман Лашкова одиноко торчал в открытом поле где-то между Скопином и Ряжском. В спальном купе их обитало двое: он и его помощник Веня Крюков. Веня сладко храпел по соседству, и от одной мысли, что ему теперь придется возиться с ним, и в результате они могут свалиться оба, Петру Васильевичу становилось худо: «Надо бы спровадить его от себя, рано ему еще отходного играть».

— Веня! — тихонько окликнул он.— Веня!

Тот, привыкший за дорогу к неожиданным побудкам, откликнулся сразу, будто и не спал вовсе:

— Ты чего, Петр Васильевич?

— Вроде... того... заболел я.

— Может, продуло? — тревожно напрягся Веня.— Сейчас мы кипяточку сообразим.

— Нет, Веня, тут кипяточком не обойдешься... Ты бы перебрался от меня к паровозникам... Оно так надежнее.

— Думаешь, тиф?

— Он... Все, как по-писаному... И жар... И голова чугунная... Соображай... Поберечься тебе надо.

— Это где же я поберегусь, Васильич? — Веня хмыкнул покровительственно.— В степь, что ли, ночевать уйду? На паровозе не побережешься много. Вша-то она все равно найдет. Давай-ка лучше собираться.

— Куда, Веня?

— А это куда поведу, туда и пойдешь.— Он уже одевался.— До первого обходчика доберемся, а там видно будет. Я сейчас к паровозникам сбегаю, приведу кого-нибудь на подмогу. Один я с тобой не слажу, уж больно ты, Васильич, здоров. Да и ветер...

Вскоре Крюков вернулся с молоденьким кочегаром Тимошей Самсоновым, известным в Узловске своим круглым сиротством и забитостью. Тимоша загнанно оглядел Петра Васильевича, поморгал сонными глазами, тихо сказал:

— Ничего.

Вдвоем ребята быстро и вдумчиво оборудовали Петра Васильевича для предстоящего похода. Руки у Тимоши, против ожидания, оказались цепкими и сильными, чувствовалась кочегарская выучка.

Парень ловко подвел крепкое свое плечо ему под мышку и уверенно двинулся к выходу, осторожно волоча его за собой. При этом кочегар время от времени приговаривал:

— Ничего... Ничего... Ничего, дядя Петя...

Метель, казалось, обезумела окончательно. Вьюжная крупа соединила землю и небо сплошной гудящей стеной. Поезд пропал из виду, едва они отошли от него несколько шагов по наполовину заметенному полотну. Каждый следующий шаг давался им все с большим трудом. Петр Васильевич чуял, что ноги перестали слушаться его. Он все чаще повисал на плече Тимоши, не в силах стронуться с места и, наконец, обезножил совсем. Тогда, сменяя друг друга каждые пятьдесят-сто метров, ребята понесли его на себе. То и дело впадая в забытье, Петр Васильевич в полубреду явственно различал впереди очертания близкого жилья с дымящимися над ним трубами, но сознание вновь возвращало его в беспросветную коловерть метели, и тогда он с трудом складывал горячечными губами:

— Заплутаем... Вернуться бы.

— Ничего,— хрипел, поворачивая к нему обмороженное лицо, кочегар.— Ничего.

Они бы, наверное, так и не заметили сторожки при дороге, если бы Тимоша не споткнулся о настил переезда и не упал, увлекая за собой и Петра Васильевича.

— Добрели! — возбужденно кричал Веня, помогая им подняться.— Погодите маленько, я посмотрю. Если пост, я крикну... На крик и заворачивайте.

Прошло несколько томительных минут, показавшихся Петру Васильевичу бесконечными. При такой разрухе, какая царила на дороге, сторожка могла оказаться пустой и разваленной. В таком случае песенка его будет спета: на обратный путь ребят уже не хватило бы.

— Давай помаленьку! — пробился к ним словно пропущенный сквозь ватную подушку голос Вени.— Тяни сюда... Сюда... Я тут... Давай... Давай... Сюда...

И лишь только Петр Васильевич ощутил под собой твердую опору жилого пола, память его рухнула в провал жаркого забытья. Среди множества лиц и голосов, круживших в воображении Петра Васильевича в последующие дни, в памяти его отложилось одно лицо и запечатлелся один голос. Когда, после трех недель перемежавшегося короткими просветлениями бреда, он впервые по-настоящему пришел в себя, оно — это лицо — склонилось над ним, и знакомый теперь голос облегченно произнес:

— Чайку выпьешь?

В свете неяркого зимнего утра облик женщины, вставшей у его изголовья, выглядел расплывчатым и усталым. На вид ей можно было дать лет тридцать с небольшим, но убористая гибкая фигура ее с крепкодевичьей трепетной грудью говорила о том, что она гораздо моложе.

— Давно я у тебя? — спросил он.
— Месяц скоро будет.
— Надоел, видно?
— Надоел. Да куда ж тебя девать такого хворого.
— Теперь подымусь.
— Лежи, ветром сдует.
— Одна живешь?
— А где же взять мужика-то? Все по миру разбежались свою правду доказывать. Аники-воины беспортошные!
— Куда они денутся?!
— Толк-то какой от них будет? Одно — митинговать умеют. А с мужским своим делом им только на двор ходить.
— Строга ты, девка.
— Девка! На погост пора,— не удержалась она, чтобы не пококетничать.— Три десятка скоро. Скажешь тоже,— девка!
— Зовут-то как?
— Раньше Софьей звали.
— Ишь ты! Будто царицу.
— А что я — хуже, что ль? — Она вызывающе вскинула опутанную тяжелой косой голову и как бы преобразилась вся: несколько жестковатые черты лица ее расправились, резкий голос стал мягче, женственней.— Пробросаешься!

Разговаривая с ним, Софья успела затопить печь, налить воду в чугун, поставить на плиту, вымести пол и заодно проветрить душную комнатенку. Все это она исполняла легко, по-мужски размашисто, словно балуясь между настоящим делом. Всякий раз, когда женщина взглядывала на него, в нем вспыхивало, подкатывая к сердцу знойной истомой, неведомое ему дотоле тепло. И где-то в глубине души он уже сознавал, что это что-то большее, чем благодарность.

Вечером, почаевничав с гостем, Софья принялась стелить себе у печки. Затем без всякого перед ним стеснения, стянула с себя бумазейное свое бросовое платьице и, потянувшись, чтобы загасить лампу, отнеслась к нему:
— Надо будет чего, кликни, не стесняйся, я чуткая.
— Спасибо.
— Спасибо потом скажешь, когда очухаешься.
— Да уж и так выходила.
— Сам ты себя выходил. Вон бугай какой!
— Одна видимость.
— Все вы одна видимость... Спи.
— Угу...

Но заснуть он так и не заснул. Петр Васильевич ощущал ее присутствие каждой порой своей вызревавшей к новому существованию плоти. Жаркая тишь, царившая в сторожке, постепенно становилась для него нестерпимой. Он почти задыхался и глох от собственного сердцебиения. В конце концов он не выдержал, позвал:

— Воды бы.

Зубы его лихорадочно стучали о край поданной ему кружки. Откидываясь на подушку, он инстинктивно ухватился за ее руку, и она безвольно подалась к нему:

— Руки-то вон, словно ватные...

— Не уходи.

— Куда тебе...

— Сонюшка...

— Погоди.

Через минуту Софья скользнула к нему под одеяло, приникла шершавой щекой к его плечу, обволакивая его теплом и запахом своего неспокойного тела. Голова у него пошла кругом, но, обессиленный пережитым волнением, он вдруг ослабел и сник. Губы ее снисходительно дрогнули у его уха:

— Эх ты!.. Говорила, лежи... Туда же, загорелся!

— Прости.

— Что я тебе, мамка, что ли?

— Сонюшка...

— Спи уже... Я полежу.

Так началась их первая ночь вдвоем. Много ночей у них было потом, когда утро казалось им досадной неизбежностью, за которой снова последует долгожданный вечер. Все, что осталось за порогом этой сторожки — дом, семья, дело,— уже виделось Петру Васильевичу непонятным в его жизни недоразумением. Но однажды среди дня на пороге возникла щуплая фигурка Марии. Одного взгляда хватило ей, чтобы понять все здесь происходящее. Но, не привыкшая отвоевывать свою долю у кого бы то ни было, она лишь съежилась вся, сдалась, чуть слышно обронив:

— Гостинец вот я тебе принесла... Ребята здоровы... Кланяются. Заскучали.

Она поставила узелок с принесенной мужу снедью на табуретку около ведра с водой и молча вышла, оставив их решить между собой то, что они должны, обязаны были решить.

Сглатывая горький комок, подкативший к горлу, Петр Васильевич опустил голову:

— Как ты?

— Иди. Дети у тебя.

— Скажешь слово, останусь.

— А зачем ты мне нужен?

— Соня!

— Побаловались, и будет.

— Зачем ты так?

— Хорошенького понемножку.

— Пожалей.

— Пожалела, а теперь ступай.

— Соня...

— Ступай, ступай. Не надо мне тебя. Даром не надо. Всех не пережалеешь... Ступай, вон жена ждет.

Софья смотрела на него в упор со спокойной неприязнью человека, твердо положившего себе не отступать от принятого решения. И только по тому, как судорожно вздрагивал при этом ее легкий подбородок, можно было судить, чего ей стоило это решение. Долго еще потом, едва он вспоминал тот день, маячило перед ним лицо Софьи, глядящей на него в упор сухими от гнева и презрения глазами.

VII

Январский рассвет еще только-только коснулся чернильной темени за окном, когда в сенях раздался дробный, с прерывистыми паузами стук. «И кого это еще несет в такую рань по мою душу? — Поднимаясь, он никак не мог попасть ногой в тапку.— Дня мало».

Поеживаясь от холода, он тяжело прошлепал к выходу и замер, прислушиваясь:

— Это я, дед, открывай.

Ноги у Петра Васильевича сделались ватными. Трясущимися руками отодвинув щеколду, он растерянно бормотал перед запертой дверью:

— Сейчас, Вадя... Сейчас... Вот старость не радость... Руки не слушаются... Заходи...

В горнице пристально разглядывая внука на свету, Петр Васильевич, хотя и не нашел в нем особых перемен, не мог не отметить и его еще более резкую против прежнего худобу, и первые седины в жестком бобрике, и чуткую, так несвойственную ему раньше настороженность в каждом движении и взгляде. Вадим сидел перед дедом, прихлебывая чай, и, упорно глядя в стакан, не спеша ронял слова:

— Она, как видишь, все-таки взяла меня. Правда, с условием, что я тут же слиняю на все четыре стороны.

— Плюнь.

— Уже плюнул. Только я выписан ей под опеку, как недееспособный. Без документов. Теперь мне эта свобода боком выходит. Вон оклемаюсь у тебя немного, если позволишь, конечно, и подамся на юг. Вспомню бродяжье прошлое, а там видно будет. Бог не выдаст — свинья не съест. Есть у меня один план.

— План ты свой забудь.— Петр Васильевич решительно напрягся.— И ехать тебе некуда и незачем.

Теперь, когда Вадим оказался с ним и нуждался в защите, не было на свете для Петра Васильевича преграды, какую он не сумел бы преодолеть, чтобы помочь внуку. Понадобится, он будет в ногах у местных властей валяться, но выхлопочет ему документы. Тогда, если тот не передумает, пусть и едет куда ему заблагорассудится. Вся внутренняя сущность Петра Васильевича сосредоточилась сейчас на этой определяющей для него цели. Уверенность его в благополучном исходе дела была

настолько полной, что он, не задумываясь более, утвердил вслух:

— Будут тебе документы.

— Твоими бы устами, дед,— недоверчиво усмехнулся Вадим.— Только едва ли.

— Это у вас там, в Москве, концов не найдешь,— не скрыл своей обиды Петр Васильевич,— а здесь и я кое-чего означаю. Посмотрим, чья возьмет.

— Не сердись, дед, я не хотел тебя обидеть.— Он встал, вышел из-за стола и, потирая виски, принялся ходить взад-вперед по комнате.— Просто повидал я за это время всякого. На многое у меня глаза прорезались. Уж если они,— кивок вверх,— возьмутся за кого, то до конца не отпустят. Хватка у них мертвая. Чего-чего, а сторожить научились. По этой части у них большой опыт имеется... Господи, и что же это за часть света такая! Будто полигон для всяческих мировых безобразий. Почему, с какой стати, что за наваждение? Мало того, что сами в грязи тонем, но еще лезем рабской неумытой рожей своей в Европу, других учить уму-разуму.— Глаза его постепенно заполнялись ожесточенными слезами.— Уйти, укрыться, спрятаться от всего этого! Чтобы не видеть, не слышать, не откликаться! И зачем мне их паспорт? Опять к ним на удавку? Лучше уж сдохнуть где-нибудь под забором бездомным псом, чем играть с ними в эту подлую игру. Не хочу!

Петр Васильевич почти не слушал, а вернее, не слышал Вадима. Он лишь напряженно вглядывался в него, ревниво отмечая в нем черты давно забытого им уже облика: «Витька, вылитый Витька, только еще покруче». Сын узнавался во всем: та же неумеренная горячность, то же стремление докопаться во всем до сути, те же внезапные, вне связи с предыдущим, обороты речи. С болезненной отчетливостью всплыло перед Петром Васильевичем памятное ему довоенное утро, после которого он с Виктором больше не встретился: «Чего, чего мы тогда не поделили? Эх, жизнь!»

Пожалуй, только в эту минуту его по-настоящему остро пронзило чувство потери, утраты этого самого, может быть, необходимого ему из близких человека. И, раз начав, память уже не могла остановиться, и Петр Васильевич знал, уверен был, что теперь они — его дети и близкие — последуют из небытия один за другим и каждый из них спросит с него свою долю расплаты. И он уже смирился с тем, что ему придется пройти через это испытание, каким бы жестоким оно ни было. Петру Васильевичу казалось, что, лишь рассчитавшись с прошлым, он обретет в душе тот свет и ту ясность, которых ему так недоставало всю жизнь. Поэтому сегодняшняя мука Вадима, сообщаясь ему, вызывала в нем полную меру ответного понимания:

— Пропадешь, Вадя.

— И то — выход.

— Кому от этого выгода?

— А зачем она, выгода эта?

— Я помру, никого из Лашковых-мужиков, кроме тебя, не останется.— Горечь душила его.— Антонина — баба, с нее какой спрос? Тебе жить надо, Вадя. За нас все исправлять.

— Зачем исправлять-то? — глухо отозвался тот. Он стоял теперь спиною к деду, прижавшись лбом к затянутому ледяным кружевом стеклу.— Может, и не надо совсем. Может, в том наша судьба, лашковская, изойти с этой земли совсем, чтобы другим неповадно было кровью баловаться?

— Думаешь? — слабея, еле выдохнул Петр Васильевич.— Потвоему, так это?

— Спрашиваю.

— За свое мы сами заплатили.

— Но и других платить заставили.

— Ты в этом не замешан. Каждый за себя отвечает.

— Легко отделаться хочешь, дед.

— Я уже стар хитрить. За одного весь род не ответчик.— С каждым словом он все больше распалялся.— Не по справедливости это. Разве мы плохого хотели, когда начинали?

— Это факт вашей биографии. От этого никому не легче. Думать надо было.

— Некогда думать было.— Он почти кричал.— У нас минута на счету была. Кто кого!

— Вернее, друг друга.

— Не до того было, чтобы различать.

— А потом?

— Потом поздно было. Потом надежда оставалась: перемелется, образуется все. Мы, что ли, одни виноваты?

— А кто?

— Не одни мы.

— Но больше доля ваша.

— Может, и наша.— Обида несла его.— Так мы, против других, и платим больше. Что я, к примеру, от своего комиссарства нажил? Сам смотри, велики ли хоромы, много ли богатства? Последние портки донашиваю. Ничего для себя не берег — ни добра, ни детей родных. Думал, как для всех лучше. Казнить-то за корысть можно, а разве я из корысти это делал? Легко ли мне было по-живому резать? Легко ли мне теперь, под старость, одному дни доживать? Все отошли, все отступились.— Он вдруг как-то сразу обессилел и поник.— Вот и ты тоже отрекаешься.

Вадиму, видно, передалось состояние деда, он живо отвернулся от окна и, примирительно усмехаясь, потянулся снова к столу:

— Ладно, дед, делай, как знаешь. Получится — хорошо, не получится — еще лучше. Лишь бы хоть какой-то конец.

В смутном свете нового дня лицо Вадима приобрело землистый оттенок. Темные глазницы обозначились явственнее и жестче. Седина бобрика проступила еще определеннее. Серая, почти нечеловеческая усталость сквозила во всей его ссутулившейся за

столом фигуре. Лишь сейчас, внимательно разглядев внука, Петр Васильевич понял тщету своей недавней горячности: тому было не до него и не до чего на свете вообще, тот просто хотел спать.

— Ляжешь? — Не ожидая ответа, Петр Васильевич бросился стелить внуку.— Давай, ложись.

— Пожалуй.

Вадим уснул сразу, едва коснувшись головой подушки. Во сне он выглядел много моложе и мягче. Петру Васильевичу стоило большого труда не погладить внука, как когда-то в детстве, по его упрямому ежику:

— Ишь...

И легкое это, будто звук одинокой дождевой капели по крыше, словно выявило в памяти Петра Васильевича резкие линии и цвета размытого временем дня. День этот предстал перед ним с такой почти осязаемой живостью и полнотой ощущения, будто он — этот день — был не далее, чем вчера.

VIII

И ЕЩЕ ОДНО...

Пятые сутки вагон Петра Васильевича стоял в тупике Пензы-товарной. Пятые сутки станция, забитая до отказа составами, исходила зноем и разноголосым гвалтом. За все эти дни в белесом августовском небе не промелькнуло ни облачка. Недвижный воздух был, казалось, насквозь прокален сухим удушливым жаром. Изнывая от духоты, Петр Васильевич маялся у раскрытого окна в ожидании напарника, околачивавшего в это время пороги станционных кабинетов с просьбой о скорейшей отправке. По соседству с тупиком, на запасном пути вытягивался эшелон с цирковым зверинцем. Прямо против Петра Васильевича, посреди четырехосной платформы, возлежал обрешеченный со всех сторон облезлый лев, и его круглые, с яростным блеском глаза источали в сторону Лашкова долгую и голодную грусть.

У платформы, облокотясь о ее подножку, круглый приземистый толстяк в майке-сетке и с носовым платком на бритой голове лениво жаловался стоящему рядом с ним красавцу в крагах и клетчатой рубахе, заправленной в щегольские галифе:

— Проклятая гастроль! И зачем нас только понесло в эту канитель? Я так боюсь за Алмаза! Вы же его знаете, Артур Поликарпыч. Ему полпуда чайной, что слону дробина. У него второй день нету стула. Ведь это катастрофа. Так мы и до Москвы не дотянем.

— Что и говорить,— скорбно вздохнул тот, и резкое лицо его при этом судорожно дернулось.— Мои тоже совсем поскучнели. Шутка ли, после строго научного рациона — каша. Сплошная каша, представляете, пшенка! — «Пшенка» звучало у него, как «отра-

ва».— А ведь цирковая собака куда разборчивей человека. К тому же я готовлю с ними номер столетия: «Левый марш» в сопровождении оркестра. Нет, вы не представляете!

По ту сторону платформы, натужно пыхтя, выплыл паровоз, за которым потянулись красные пульманы, с люками, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые ячейки проглядывались лица, множество детских лиц. Ребята с восторженным благоговением рассматривали возникшего перед ними зверя:

— Больной, наверно.

— Спит он, жарко.

— В Африке не жарко, да?

— В Африке он бы под деревом лег, в тень.

— Голодный он, видишь, какой худой!

— А у льва — тоже пайка?

— Конечно! По барану в день!

— И пряников тоже. Пуд.

— Пуд! Львам лафа.

— Льву больше всех надо. Знаешь, какой он прожорливый? Сколько ни дай, все съест.

— Царь зверей.

Двое у платформы молча растерянно обернулись в сторону пульмана. Крохотные глазки толстяка мгновенно округлились и потемнели, безвольный подбородок мелко-мелко задрожал, плотно сбитая фигура его обмякла и ссутулилась. Вцепившись в рукав приятеля, он жалобно прошептал:

— Что же это, Артур Поликарпыч?

— Дети.— Тот, отворачиваясь, спрятал от него глаза.— Наверное, эвакуированные.

— Да, но почему проволока?— не унимался толстяк.— Ведь это дети, Артур Поликарпыч!

Подоспевший в этот момент Лесков, мгновенно оценив обстановку, самодовольно подмигнул Петру Васильевичу:

— Эрвээн, на восток переправляют.

Толстяк живо обернулся к нему:

— Что? Что это такое, эрвээн?

— Родственники врагов народа.— Лесков пренебрежительно хохотнул.— Знать надо, папаша! А еще артист!

Когда смысл сказанного, наконец, дошел до циркача, он, осунувшийся и словно бы сразу постаревший, с минуту еще постоял, держась за рукав приятеля и о чем-то мучительно раздумывая. Затем, озаренный внезапной догадкой, легонько оттолкнул его от себя и бросился к соседнему с платформой жилому вагону. Проводив его обескураженным взглядом, красавец в галифе беспомощно развел руками:

— Невозможный человек.

Вскоре толстяк снова появился на платформе, но уже переодетый и слегка подкрашенный, с крошечной балалайкой через плечо.

В два не по возрасту молодцеватых прыжка он вскочил на тормозную площадку и тут же возник перед львиной клеткой лицом к лицу с ребятами за проволокой. Осветив себя шутовской улыбкой, циркач лихо ударил по струнам:

— Вам неизвестно, что за зверь зовется Чемберлен?— хрипловатым речитативом затянул он.— Ну, а теперь, ну, а теперь, послушайте рефрен. Фонарики, фонарики горят, горят, горят. Что видели, что слышали, о том не говорят.— Взятый темп был ему явно не по силам, но он не сдавался.— Когда возьмется он за ум, когда протрет глаза, мы на его ультимату́м начхали три раза. Фонарики, сударики, горят, горят, горят. Что видели, что слышали, о том не говорят... Бим!— задыхаясь, кричал он стоящему внизу усачу.— Ты слышишь меня, Бим! Разве ты не слышишь, ребята зовут тебя? Ах, какой ты трусишка, Бим!

Но тот, не слушая его, шарил вокруг себя жалобными глазами в поисках сочувствия и все рвался с объяснениями к осклабившемуся от удовольствия Лескову:

— Что он делает?! Нет, вы только посмотрите, что он делает?! Ведь за это по головке не погладят. И потом, он давно бросил клоунаду. У него уже был инсульт. Ведь он же не выдержит! Да остановите вы его, наконец!

Лесков лишь отмахивался от него, приплясывая в такт балалаечного наигрыша:

— Вот дает старикан!.. Вот дает!.. Сыпь на всю катушку, папаша! Покажи пацанам, на чем свет стоит!

Усач еще поморгал, потоптался около Лескова, но, так и не найдя в нем поддержки, вдруг весь напрягся и, хватаясь за поручень тормоза, заблажил неожиданной фистулой:

— Я здесь, Бом! — Одним махом он оказался рядом с товарищем.— Здравствуйте, дети, это я — Бим!

И, словно по команде, внутри пульмана несколько десятков ребячьих голосов разом выдохнуло:

— Здравствуй, Бим!

Друзья старались вовсю. Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И, конечно же, плакали при этом. В их действиях сквозило что-то отчаянно-исступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели, и все, на что были сейчас способны. А из конца в конец скорбного поезда уже гремела, множась на ходу, грозная предупредительная команда:

— Прекратить!.. А ну прекратить!.. Марш от эшелона!.. Предупреждаю в последний раз, прекратить!

Двое на платформе, будто не слыша никакого крика, продолжали заниматься своим делом. Приближающийся топот кованых сапог, казалось, лишь подстегивал их:

— Бим!— истошно вопил толстяк, обливаясь потом.— Ты умеешь бегать?

— Да, Бом!— в тон ему откликался партнер.— Умею, но не так быстро, как вон тот человек, который бежит сюда.

— Еще бы!— не унимался толстяк.— От войны надо уметь бегать. Этот умеет.

С той стороны платформы — над ее бортом — появилась фуражка с голубым околышем, а следом за нею распаренное, в крупных рябинах лицо:

— Кому сказано, прекратить! По уставу караульной службы имею право стрелять. Понятно?

— Не мешайте нам репетировать!— Усач воинственно выпятил грудь и двинулся к фуражке...— У нас правительственное задание. Мы репетируем номер века. Немедленно освободите помещение!

Лицо над бортом исчезло, но тут же появилось снова, уже поверх тормозной площадки:

— Я тебе, жидовская морда, покажу номер. До смерти кровью харкать будешь...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы, скорее всего, плачевно для циркачей, но в это время вагон с испуганно и молчаливо наблюдавшими за всем происходящим ребятами тронулся с места. Эшелон, медленно набирая скорость, поплыл мимо платформы. Фуражка тут же скрылась из виду, и только удаляющийся голос ее обладателя прощально пригрозил снизу:

— Твое счастье, падло! Я бы из тебя такого клоуна нарисовал, век не просмеяться.

Чувствуя себя в полной безопасности и оттого еще более воодушевляясь, толстяк не выдержал-таки, поскоморошничал в ответ:

— Бим, ты его боишься?

— Да, Бом!— поддержал тот друга.— Но не так, как он фашистов... Да, да, не так!

Когда состав с вооруженным охранником на хвостовом тормозе миновал платформу, толстяк бессильно откинулся спиной к клетке. Затем повернулся, приник к стальным прутьям мокрым, в цветных подтеках, лицом и глубоко вздохнул:

— Что, Алмазушко, жарко?.. Такая наша жизнь, господин лев, ничего не поделаешь, терпи.

Усач, положив ему руку на плечо, осторожно, но твердо оторвал его от клетки, заботливо помог сойти со ступенек, и вскоре они скрылись за дверью своей теплушки.

— Мы люди маленькие,— забираясь на верхнюю полку, попытался по обыкновению съерничать Лесков,— нам бы гроши, да харчи хороши, верно я говорю, Васильич?

Лашков не ответил. Сейчас ему было не до напарника. Он никак не мог взять в толк всего случившегося: «Детей-то, детей-то зачем? Какая за ними вина?» Ответ напрашивался сам собой, но согласиться с ним — с этим ответом — у Петра Васильевича не хватало ни мужества, ни готовности. «Зачем же я жил тогда!— отгоняя от себя соблазн сомнения, мысленно протестовал он.— Есть в моем деле правда, а остальное перемелется».

В этом обманчивом успокоении он, засыпая, и утвердился.

IX

На этот раз секретарша, вернувшись из кабинета Воробушкина, не озарила Петра Васильевича лучезарным радушием. Оскорбленное еще прошлым его визитом самолюбие исполкомовской дивы было, наконец, удовлетворено сполна.

— Прием с трех,— откровенно торжествуя, сухо отчеканила она.— Подождите в коридоре.

Лашков понял,— дело плохо: не простил ему Костя Воробушкин излишней его памятливости. Но решимость Петра Васильевича от этого укрепилась лишь еще больше. Для него теперь не существовало щекотливого сомнения: о чем можно говорить, о чем нельзя. Если бывший машинист оказался так скор на забывчивость, Петр Васильевич напомнит ему пару-другую фактов из его далеко не безупречной биографии. Будет грозить, просить, требовать, но вырвет у Воробушкина согласие на выдачу документов своему внуку.

В коридоре, на откидных стульях, уныло вытянувшись вдоль стен, уже томилась в ожидании приема изрядная очередь. Рядом с Петром Васильевичем оказалась грузная баба в плюшевом жакете и добротном клетчатом платке поверх надвинутой на самые брови черной косынки. Ее крохотные, обращенные к соседке глазки источали слезную искательность:

— Оно, конечно, утюг мелочь, невелико имущество. Да мне утюг этот — память по усопшей родительнице. Я им и абажур и боты матушкины, почти не ношенные, без слова уступила. Зачем они мне? Ни фасон, ни размер не подходит. А они мне, сестры-те, значит, заместо благодарности два ребра за этот самый утюг сломали. И ухом правым я плохо слышать стала. Я им этого никак не спущу. Я на производстве член бригады ударного труда, и в жакте меня тоже знают. Что утюг,— мне принцип дороже...

Соседка бабы, тусклая девушка — стеганая нейлоновая курточка, тощий мохеровый кокон вокруг робкого, без кровинки, лица — смущенно озираясь, механически ей поддакивала:

— Да, да, конечно!.. Разве можно... Еще бы!.. Я вас понимаю. Да, да, конечно.

По другую руку Петра Васильевича скуластый, с квадратным подбородком парень, судя по фуражке,— таксист, обиженно гудел на ухо беременной женщине рядом с собою:

— Ты, главное, не тушуйся. Говори все как есть. Куда нам с тобой деваться? С каких это заработков нам в кооператив вступать? Раз таксист, значит, миллионер, что ли? Какую копейку зашибешь, всем надо дать. Ремонтникам надо? Надо. Мойщику тоже надо. На въезде опять же давай. Пальцев на руках не хватает, кому давать!.. Пока не подпишет — не уходи. Не уходи — и всё!

Та сосредоточенно молчала, но по тому, как в волнении подрагивали на вздутом животе ее крест-накрест сложенные руки, чувствовалось, что слова мужа находят в ней самый живой и заинтересованный отклик.

Время тянулось томительно долго, и Петр Васильевич, наскучив ожиданием, подался было размяться в исполкомовский двор, но в этот момент из приемной торжественно выплыла уже знакомая ему дива:

— Кто здесь товарищ Лашков?— Она намеренно небрежным взглядом скользнула мимо Петра Васильевича.— Прошу пройти к Константину Васильевичу.

Сопровождаемый возмущенным ропотом, он миновал приемную и с известным облегчением — принял-таки вне очереди!— очутился в кабинете у Воробушкина. Тот, не поднимая ему навстречу тяжелой своей головы, кивнул на кресло перед столом:

— Садись, Петр Васильевич. Извини, что задержал. Должность такая, всем до меня дело... Слушаю!

Стараясь быть покороче, Петр Васильевич изложил Воробушкину суть своей просьбы. Хозяин слушал, не перебивая, изредка косясь на окно, где в соседнем дворе ребятишки гоняли мяч. Время от времени он усмехался чему-то своему, хмыкал неопределенно и еще ниже опускал голову. Когда же Петр Васильевич кончил, Воробушкин встал и нетвердой поступью подался к стоящему в углу несгораемому шкафу. Взяв тяжелую дверцу на себя, он вынул оттуда початую бутылку коньяку и мелкую тарелку с двумя рюмками и разрезанным надвое лимоном.

— Тяни, Васильич.— Наполнив одну рюмку до краев, он подвинул ее гостю.— Будем.

В полном молчании они сделали еще два захода, после чего Воробушкин, наконец, заговорил:

— Эх, дети, наши дети! И в кого они только пошли сейчас? Кажется, все им отдавали, а выросли — и не узнаешь. Ничего в них от нас не осталось. Куда их несет, чего им нужно?— Речь его лилась веско и внятно, но по сухому блеску в мутных глазах хозяина можно было с уверенностью заключить, что он давно и матеро пьян.— Спросишь, молчат. Все у них свое что-то на уме. А что?— вот вопрос. Когда шманцы-танцы, компании всякие, это понятно — молодость играет. Такие ясны, с такими разговор простой. Вот как с тихим быть? Ходит себе молчун такой и молчит. А чего он молчит?— вот вопрос. Поглядеть, овечка овечкой, а что у него там внутри? О чем он думает? Что замышляет? Попробуй к нему подступись. У него, у тихого, все в ажуре. Все показатели по моральному кодексу налицо. Только ведь и дураку ясно, что он своего часа звездного ждет. А уж как стукнет этот час, от него тогда, от тихого, пощады не жди.— Он умолк и с минуту в нерешительности смотрел на недопитую рюмку, затем поднял ее и медленно, с видимым наслаждением выцедил до самого дна.— Вот и мой тоже, старший, мне сюрприз приподнес... Между нами только, Васильич... До поры... Он ведь у меня в Германии служит. Вот сообщили, пытался перейти в западную зону... Сидит теперь под следствием. Свое он, ясно дело, получит. Да и мне не поздоровится. А ведь каким паинькой был! Слова поперек не скажет, дневник —

одни пятерки, стишки писал... Вот и узнай после этого, кто из них чем дышит, когда у родного сына душа — потемки!.. Видно, скоро мне, по его милости, к вам — пенсионерам — в сквер идти, «козла» забивать.— Он вымученно осклабился.— Возьмешь в напарники, Васильич?

— Не играю.— Петр Васильевич почувствовал, как неприязнь снова охватила его.— Других дел хватает.

— Не успокоился еще? — снисходительно посочувствовал ему тот.— Пора бы протрезветь, Васильич. Я еще тогда, после суда, понял, в чем сила. Всякие там красивые слова — это в пользу бедных. Прав тот, кто умеет подчиниться обстоятельствам. Мочиться против ветра — себе дороже... Думаешь, я без тебя не знал, что Кольке Лескову сверх всякой меры впаяли? Я этого пострадавшего в гробу видел в белых тапочках! Но власть у него, значит, и правда за ним. Ты меня с этим кретином чуть было под монастырь не подвел. Еле выкрутился.

— Тогда и жаловаться нечего, Костя.— Это неожиданно и счастливо найденное им объяснение тем невзгодам, какие преследовали его последние годы, отозвалось в нем тихой горечью.— Свое же дерьмо обратно получаем.

— Это,— лениво отмахнулся тот,— поповщиной отдает, Васильич. Вроде закона «кармы», что ли?

— Не слыхал.

— В Индии закон такой есть религиозный. По нему всякий поступок оплачивается судьбой эквивалентно: хороший — добром, плохой — несчастьем. Ну да это тоже, скажу я,— в пользу бедных... Ладно, заговорились мы с тобой, а у меня прием как-никак. Зашел бы домой ко мне. Посидели бы, поговорили ладком, без спешки... Бывай.

— А с делом-то как? Поможешь?

— А!— Воробушкин брезгливо поморщился.— Пускай зайдет ко мне с метрикой. Ну и заявление тоже. В связи с утерей, мол... Будь.

Еще весь под впечатлением неожиданно скорой удачи, Петр Васильевич столкнулся в исполкомовском дворе с Владимиром Анисимовичем. В генеральской папахе и бекеше он выглядел еще более тщедушным.

— Черт знает что такое!— Он прямо-таки трясся от негодования.— Невозможно достать кусок толя для матери фронтовика. Моего, кстати, соединения был солдат. В коммунхозе, говорят, нету, говорят что-то о великих стройках. Разгильдяи! А в коридоре какой-то хлюст сунул мне в руку бумажку с адресом местного шабашника, некоего Гусева. Выходит, у шабашника Гусева есть толь, несмотря на великие стройки, а у государства толя нет. Откуда, спрашивается, толь у шабашника? По лендлизу получает? Или у него единоличные торговые контракты с заморскими державами? Или спецснабжение непосредственно через совмин? Безобразие! Вот иду скандалить с отцами города... Извините.

Стремительно обогнав Петра Васильевича, он легко, словно

переодетый в генеральскую форму мальчишка, взбежал по лестнице и скрылся в подъезде.

Жизнь, в какой уже раз за последнее время, сталкивала Лашкова с людьми, которые так или иначе соприкасались с ним в свою пору: Гупак, Воробушкин, Гусев! Будто события, описав некий предупредительный круг, замкнулись у своего собственного истока: «Словно и не было ничего. Где были, там и остались».

Воробушкин сдержал слово: Вадиму выдали временное удостоверение и прописали на площади деда. Но остаться жить в Узловске внук отказался наотрез, и Петру Васильевичу с трудом удалось уговорить его поехать к Андрею, пожить, осмотреться. Пока Петр Васильевич списывался с братом, улаживал вызванные непредвиденными расходами денежные свои дела, внук целыми днями пропадал в городской библиотеке. Втайне старик только радовался этому: пусть успокоится парень, отойдет немного. Но чем внимательней вглядывался старик в него, тем определеннее убеждался, что снедавшая внука тоска лишь постепенно уходит вглубь, нисколько не ослабевая и не притупляясь. Часто, проснувшись среди ночи, Петр Васильевич заставал Вадима бодрствующим у окна с неизменной сигаретой в зубах. И хотя внешне тот стал сдержаннее и мягче, в нем нет-нет да и прорывалось его прежнее яростное исступление. «Задело парня,— молчаливо горевал Лашков,— надолго задело».

В день отъезда внука Петр Васильевич после беготни по хозяйству завернул в магазин, чтобы набрать гостинцев для своих благоприобретенных племянников. У прилавка дорогу ему заступил долговязый детина в видавшем виды прорезиненном плаще поверх телогрейки, заколотой у подбородка булавкой:

— Третьим будешь, папаша?

Из-под опущенного козырька цигейковой шапки на Петра Васильевича глядели круглые склеротические глаза, первая вопросительность которых сразу же сменилась заискиванием:

— Петру Васильевичу!.. Извиняюсь.

Что-то знакомое пригрезилось Петру Васильевичу в этом студенистом, свекольного цвета лице. И все же, не затрудняя памяти, он хотел было уже пойти мимо — мало ли кто в городе мог знать его!— но тот снова искательно потянулся к нему:

— Не признали?.. Родич ваш... Левка... Из Торбеевки... Гордея Степаныча сын.

Ну, конечно же, он, Петр Васильевич, знал его! Левка запомнился ему нескладным — вечно нечесаные патлы над изможденным всеми мыслимыми пороками лицом — слесарем из депо, за которым по всей дистанции ходила слава самого изобретательного «сачка».

Глядя сейчас на него, Лашков с запоздалым смирением прозрел в его слинявшем облике отражение своего собственного возраста и, наверное, поэтому не нашел в себе мужества пренебречь родством, пройти мимо:

— Лета, милый. Себя в зеркале узнавать перестал. Вот теперь помню. Значит, третьего ищешь?

— Дерет русский мороз, Петр Васильевич,— переполнялся благодарностью тот.— Капиталу всего рупь, вот и ищу охотника. Может, поддержите?

— А что!— вдруг подхватило его веселое отчаянье.— Где наша не пропадала! На вот трешницу, без примкнувшего обойдемся. Делов-то куча!

Того даже пот прошиб от удовольствия и признательности:

— Эх, Петр Васильевич! Одна нога здесь, другая — там. Заделаем все в лучшем виде.

Остальное происходило, словно заранее отрепетированное действо. Левка, равнодушно пренебрегая руганью в очереди, по-хозяйски вклинился в самое ее начало, сдал пустую и получил запечатанную поллитровку, отходя от прилавка,горделиво подмигнул Петру Васильевичу: знай, мол, наших,— и кивком головы пригласил его следовать за собою.

Спустившись в туалет при городском сквере, Левка скрылся за дверью дежурной каморки и оттуда через смотровое окошко поманил Петра Васильевича к себе. Здесь, под неразборчивое ворчание старушки уборщицы, они и распили бутылку, закусив щедро высыпанным Левкой на стол валидолом. Первая их не разговорила. Петр Васильевич выложил еще трояк, Левка расторопно обернулся, и только после того, как вторая была допита, в них обоих окрепла хмельная тяга к взаимопониманию.

— Эх,— сожалительно мотая лобастой с залысинами головой, начал Левка,— прошла жизнь, как в тумане. Вроде и родиться не успел, а уже справки на пенсию собираю. А у самого ни кола ни двора. До сих пор угол снимаю. Женился было, не ужились. И то сказать, пью много. А что делать? Кругом тоска белая, бабы и те не манут. Одна радость — с человеком словом перекинуться.— Он замялся, опустил глаза и стал пальцем выписывать вензеля на клеенке перед собой. Не обижайся, Петр Васильевич, покривил я... Есть у меня деньги... Я еще сбегаю, рассчитаемся. Тошно мне одному пить, вот и смотрел напарников... Заработать нынче — плевое дело, строится много, всем слесарь нужен. Только успевай: кому кран, кому ванна... Да ни к чему мне деньги те... Куда их? Не купишь на них ничего, кроме вина... Хочу вот в Дербент на тепло податься. Я те края хорошо знаю. Всю войну там прокантовался... Брата вашего, Андрея Васильевича, там встречал как-то... Жив?

— Жив. Рассказывал.

— Вспомнил, значит?— сияя, встрепенулся тот.— Как сейчас помню. На базаре еще с ним пиво пили. Он все об Агуреевой Сашке беспокоился, помню.

— Живут нынче вместе. В Курково, в лесничестве он теперь. С этого лета живут.

— Любовь!— пьяно осклабился Левка и тут же огорченно по-

гас.— А мне вот не везет. Три раза расписывался, а не состоялось дело. Поганое бабье пошло. Что им человек, им деньги подавай. А у Андрея Васильича любовь, это железно. Весь город знал. Да и баба того стоит. Посмотреть — и то все отдашь... Эх, по такому случаю!

Не слушая слабых возражений Петра Васильевича, тот смотался в магазин еще раз. И снова они выпили, закусывая все тем же валидолом. И о чем-то опять говорили, досадливо отмахиваясь от усиленно выпроваживавшей их старухи уборщицы. Петр Васильевич, которому дальний родственник его казался теперь на удивление молодым и симпатичным, приглашал Левку заходить всегда запросто, без церемоний и стеснений. Тот, в свою очередь, заверял старика в вечной преданности и любви и все пытался облобызать ему руку, чему он неуверенно противился, но в конце концов, хотя и не без стеснения, позволил. Затем они, подгоняемые уборщицей, выбрались наверх, в сквер, где долго еще клялись друг другу не зазнаваться и помнить обоюдную хлеб-соль и родство, пока, наконец, пьяное забытье не развело их в разные стороны.

Домой Петр Васильевич возвращался в том благостном расположении духа, когда все окружающее выглядит празднично приятным и достойным восхищения. «Погодка-то какая!— С удовольствием прислушивался он к тому, как ядрено поскрипывает снег под его подошвами.— Как на заказ! Легко так, будто тридцать лет с плеч сбросил. Домой приду, Вадька не узнает. А Левка-то, Левка каков! Орел парень! И не жадный. Надо будет его привадить, а то сижу один как сыч, родня все-таки».

Прежде, чем пройти к себе, Петр Васильевич завернул на половину дочери. После отъезда Антонины он еще не был там, оставив в ее комнате все, как есть, с тем, чтобы, возвратившись, она не почувствовала никаких перемен. Стараясь не шуметь, он открыл дверь и огляделся. Все здесь было до мелочей знакомо ему: застеленная лоскутным одеялом кровать, швейная машина под футляром у окна, задернутое марлевой занавеской кухонное хозяйство в простенке между печкой и дверью. На гвоздике, вбитом в планку дверного наличника, висел заношенный, оставшийся еще от покойной Марии жакет. Петр Васильевич шагнул было дальше, в глубь комнаты, но голоса, вдруг обозначившие себя за стеной в другой половине, заставили его невольно замереть и прислушаться...

— Хочу все сам узнать.— В голосе Вадима слышалась нескрываемая резкость.— Своими руками все пощупать.

— Одна лишь любовь ко всему сущему может быть источником познания,— с тихой осторожностью выбирал слова Гупак.— А вы в мир собираетесь с тяжелым сердцем. Истину можно постичь, не сходя с места. Беспокойное любопытство не прибавляет знания. Подумайте сначала. Зачем спешить?

— Так можно продумать до самой смерти. Мы живем в экзи-

стенциальное время, время окончательного выбора. Я выбрал. О чем еще говорить, сотрясать воздух?

— Выбор в позиции, а не в движении. Может быть, для вас важнее и ответственнее сейчас остаться здесь. Вы не находите?

— Какой смысл? Зачем?

— Разве судьба Петра Васильевича, вашего деда, не трогает вас? Вам нужно помочь сейчас друг другу.

— В чем?

— Увидеть свет впереди.

— Это бесполезно. Ему его слепоты еще на целый век хватит. Таких, как я, он щелкает вместо семечек.

— Опыт вас ожесточил. Но из опыта надо делать выводы, а не средство самозащиты.

— Вот я и хочу сделать выводы. Для этого надо сравнить. Увижу — сравню.

— Такими глазами вы ничего не увидите. У суетного гнева плохое зрение.

— Наоборот, гнев обостряет зоркость.

— Редко. И не надолго.

— Думаю, что успею кой-чего разглядеть.

— Сомнения-то все равно останутся,— после недолгого молчания печально отозвался тот.— Всегда кажется, что остался неиспытанным лучший вариант.— Он явно сдавался.— Во многих обликах ходил я по миру, а когда под старость вроде бы сподобился истины, оказалось, что и в этом окне не весь свет. Может, и вправду лучше не задерживаться. Тогда, наверное, не останется времени для сожалений... Ворчу это я так, по привычке, от дряхлости души и тела, а в общем, я рад за вас. В наше суетное время не всякий решится на это. С какой бы радостью я вышел сейчас на дорогу и пошагал бы куда глаза глядят. Да вот ноги меня уже не носят, кончил век.

— Простите...

— Что вы, что вы! Ваше упорство для меня поучительно. Один мир к другому не примеришь. Тем более, мой.

— Может, поделитесь?

— Если вам интересно.

— Мне теперь все интересно.

— Извольте... Мы ведь с дедом вашим, Петром Васильевичем, знакомы давно. Еще с того мирного времени. Фамилия моя по батюшке...

Гупак рассказывал, а Петр Васильевич, слушая его, все теснее прижимался лицом к старенькому жакету своей покойной жены. И давний, еле уловимый запах, присущий только ей и знакомый только ему, возвращал его к той невозвратимой поре, когда одно лишь безмолвное присутствие Марии рядом с ним заполняло его существование ясным и высоким смыслом. «Что я без нее?— спрашивал он себя, чувствуя, как слезы закипают у него в горле.— Нуль без палочки, ничто, пустое место». Мысль эта сложилась в нем

так мгновенно, так обжигающе, что он, не сдерживаясь более и не стыдясь своих слез, тихо заплакал. И поздние слезы высветили прошлое чистым и ровным светом.

X
И ЕЩЁ...

Собрание уже подходило к концу, когда слова попросил Парамошин. Сытым колобком выкатился он из зала на сцену, разместил за неказистой клубной трибуной свое объемистое тело, внушительно откашлялся и, ловко округляя фразы, заговорил:

— Международное положение чревато, товарищи. Мировой империализм точит клинки. Классовый враг не дремлет. Энтузиазм кипит на стройках пятилеток. Наша задача обеспечить на транспорте железную дисциплину и бесперебойность движения. Успехи в этом деле по нашей дистанции налицо. Но имеются, товарищи, тревожные факты. Не на высоте у нас борьба с пережитками. Есть такие, что детей крестят. А также иконы у некоторых. И даже из партийных рядов... Вот здесь присутствует главный кондуктор товарищ Лашков. На дистанции его хорошо знают. Старый партиец, в гражданскую комиссарствовал на дороге. А в доме у него и посейчас цельный иконостас, хоть выставку устраивай. Так, товарищи, не пойдет. Враг начеку. Его хлебом не корми, дай только наше послабление...

Зал восторженно загудел:

— Позор!

— Пусть отвечает перед собранием!

— Да хватит вам тень на плетень наводить, что мы Лашкова не знаем, что ли?!

— Факты — упрямая вещь.

— Демагогия!

— Выйди и скажи.

— И скажу!

Взывая к тишине, оратор привычно помахал пухлой ладошкой и бодренько продолжил:

— Враг начеку, товарищи. Капитал старается бить нас параллельно нашей перпендикулярности. Мы должны пресечь в наших железнодорожных рядах правый заскок и левый уклон...

Проговорив в таком духе еще полчаса, довольный собой, он уверенно скатился в зал, сел на место, и бритая наголо голова его с вызовом повернулась в сторону президиума: ну, что вы, мол, теперь скажете?

Единоборство Петра Васильевича с Парамошиным не прекращалось с того самого дня, когда тот узнал о его докладной в учека. За это время бывший конвоир раздобрел, обзавелся индиговым френчем и должностью, но давней обиды не забывал и при всяком удобном случае старался вернуть должок сторицей. Связываться сейчас с ним у Петра Васильевича не было никакой охоты. Слишком

хорошо усвоил он на прошлой своей работе, что всякие объяснения при народе лишь затемняют суть дела, порождают новые пересуды и кривотолки. Но десятки глаз в эту минуту были вопросительно обращены к нему, и не ответить им он не мог, не имел права. В то же время отвечать на обвинение означало окончательно оказаться во власти Парамошина и его компании. Поэтому единственным средством спасения для него было теперь перевести все в шутку.

— Скажу бабе,— насмешливо косясь в сторону торжествующего противника, хмыкнул он,— пускай сымет. Только так думаю: попов бояться, в лес не ходить.

Садился Петр Васильевич под одобрительный смешок большей половины зала. «Э, Парамошин, Парамошин,— снисходительно посочувствовал он обескураженному врагу,— не по зубам орешек берешь. Я таких, как ты, с пуговицами глотаю».

После собрания секретарь партячейки Скрипицын — угрюмый, от рождения хромой парень, известный в округе больше поделками из бросовых корешков, чем партийным своим чином, догнал его у входа, спросил как бы мимоходом:

— Домой?

— Вроде.

— Что собираешься делать?

— Поспать надо. Завтра в поездку.

— Я не об этом.

— Пускай у Парамошина голова болит.

— Шутишь?

— На всякий чих не наздравствуешься.

— Смотри.

— Пуганый...

Некоторое время они шли молча. Осень шелестела в палисадниках, осыпая с кустов и деревьев хрусткую жилистую листву. Станция оглашала окрест перекличкой маневровых паровозов. В слинявшем небе клубились редкие тучки. У городского пруда бабы, как и много лет назад, полоскали белье. На городском базаре мужики торговали живностью и сеном. Над крышами слободских сараев кружились турманы, погоняемые пронзительным свистом голубятников. Город, выдержав долгий натиск смутных времен, подспудно жил своей, неистребимо устойчивой жизнью, так ничем внутренне и не изменившись.

— Парамошин, конечно, демагог, крикун,— снова заговорил Скрипицын,— но и ты тоже хорош. К тебе всякий народ ходит, а у тебя в красном углу церковный парад. Так ведь и билет положить недолго! Он ведь не отступится за здорово живешь, просигналит куда следует. По твоей милости и мне не поздоровится, намылят шею... Соображаешь?

И здесь Петра Васильевича прорвало. Всю горечь и злость, что исподволь скапливались в нем в течение дня, он излил на собеседника:

— Как же так выходит, секретарь? Живу я на виду у всех. Чем дышу, всякий в городе знает. С чем в революцию пришел — тоже известно. Первым начинал и не последний кончил. Только получается, что все это можно псу под хвост кинуть. Любому брехуну вера, а мне — нет. Это по справедливости разве? Или ты Парамошина не знаешь? Рвач, доносчик, подхалим. Нахватался слов разных и несет околесицу на всяком собрании, авторитет зарабатывает. Если все ради таких, то и начинать не стоило.

— Ты эти слова брось! — сразу посмурнел тот.— За такие разговоры нынче по головке не погладят.

— Дрожишь, Скрипицын?

Тот остановился, пошарил в карманах, достал смятую папироску, прикурил, но не затянулся. Отвернувшись, заговорил шепотной скороговоркой:

— Боюсь я, Петя, Парамошина этого. Смерть как боюсь. Нету у меня силы против его речей. Как заговорит, чую — тону я. Ты ему: «работать надо». А он тебе: «мировой империализм». Вот и поговори с ним. Чуть что не по его,— дело шьет, на оппортунизме ловит, в попустительстве обвиняет. И благо бы один он. С него другие пример брать начинают. И все из тех, кто дурочку на работе привык валять. Попробуй, заткни им глотку. Быстро под статью подведут. Эх, бросить бы все это к чертовой бабушке! Да теперь уже не дадут подобру уйти, поздно... Ладно, пока. Мне еще в горком нужно.

Скрипицын свернул в переулок, но даже в том, с какой тяжелой поспешностью он сворачивал, чувствовались его смятение и растерянность. И когда через несколько лет тот разделил скорбную участь многих, Петру Васильевичу не раз вспоминался этот долгий осенний день и это расставание на перекрестке двух городских слободок.

Подходя к дому, Петр Васильевич заранее переживал тягостную сцену предстоящего ему объяснения с женой. С самого начала их совместной жизни Мария, с присущей ей тихой твердостью, сумела отгородить маленький мирок своих внесемейных интересов от его власти. Ему же было недосуг заниматься ее делами. Так они и жили, не мешая друг другу верить в то, во что каждый из них верил. И вот теперь он должен был нарушить эту их с женой молчаливую договоренность. На сердце у него скребли кошки, и все вокруг было ему немило.

Дома Мария бесшумно и быстро обставила мужа тарелками, вынула из печи чугун с оставленным специально для него гуляшом и, сунув руку под фартук, замерла по привычке у двери, готовая в любой момент кинуться к нему по первому его знаку.

В соседней комнате младший сын Петра Васильевича — Женька — монотонно зубрил заданный в школе урок:

— Кислород — важнейшая составная часть воздуха... Кислород — важнейшая составная часть воздуха... В воздухе находятся

два газа: кислород и азот... Это определил французский ученый Лу... Лавузье... Лавуазье...

За безмолвной трапезой Петр Васильевич мучительно подбирал слова для предстоящего разговора. Ему хотелось найти доводы, в своем роде единственные, против которых ей невозможно было бы возразить. Но в голову лезло все самое пустое и неподходящее. «Чего тянуть? — в сердцах досадовал он на себя.— Выложить сразу — и с плеч долой».

Мария — одну за другой — меняла посуду перед ним, он машинально, не замечая ни вкуса,ни вида, ел и, наконец, не выдержав тишины вокруг и там, внутри себя, спросил:

— Антонина где?

— Спит.

— Постели и мне. С утра в поездку. Деев заболел.— Поднимаясь из-за стола, он неожиданно для самого себя решился.— Слушай, мать... Надо бы убрать с глаз,— он кивнул на угол,— канитель эту... Неудобно, ко мне люди ходят... Партийный... Нынче вот Парамошин на весь город ославил, а завтра...

Петр Васильевич поднял глаза на жену, поперхнулся и умолк: такой он ее еще не видел. Бледная, трясущаяся, она рассматривала мужа в упор, упрямо откинув голову назад, словно заново узнавала его. Полотенце в гневных руках Марии медленно скручивалось в тугой беспокойный жгут.

— Ваша воля, Петр Васильевич, вы в этом дому хозяин. Только вы меня в таком разе отпустите с миром. Мы о том с вами не уговаривались, чтобы я свою веру теряла. Мне ваши дела совсем не по душе, потому как не мое это дело — других судить. Себя бы соблюсти в Господе. А коли вам моя вера не по душе, не обессудьте, уйду я и складень этот с собой унесу.

Такого отпора Петр Васильевич не ожидал. Ее с подобной силой проявленная ею самостоятельность вызвала в нем, вместе с чувством досады, невольное к ней уважение: «А ты, оказывается, не проста, матушка, ох, как не проста!» И он, не из желания настоять на своем, а больше для порядка, чтобы только оставить последнее слово за собой, смущенно буркнул:

— Говори, говори...

— Таиться не приучена.

— Ишь, волю взяли...

— Я из-под вашей воли не выхожу, Петр Васильевич.— Чувствуя, что настояла на своем, она смягчилась.— Только вы мою темноту мне оставьте.

Убедившись окончательно, что жена не отступит, Петр Васильевич смирился и мысленно махнул на последствия рукой: «Собака лает, ветер носит. Побрешут, побрешут и отвяжутся».

Но с той поры Петра Васильевича в трудных случаях не покидало ощущение присутствия в его жизни чего-то прочного и устойчивого, рядом с чем он мог считать себя в безопасности. И за это он был благодарен Марии.

XI

Весна вошла в город неожиданно и застала Петра Васильевича врасплох. Заснув однажды вечером под вкрадчивый свист поземки за окном, он, разбуженный утром пронзительной трелью будильника, глазам своим не поверил: комнату заливало ровным слепящим светом. В солнечной тишине звон капели, проникавший сюда с улицы, казался Петру Васильевичу оглушительным: «Еще одна весна подарена тебе, Лашков,— весело подразнил он себя,— радуйся, старый хрыч! Доживешь ли до следующей?»

То, что природа привыкла делать исподволь, не спеша, в течение недель, она совершила за последующие несколько дней. Стаял снег, набухли и взорвались зеленым пламенем почки, окрестные пруды очистились ото льда. Небо над городом стояло высокое, без единого облачка, настоянное густой, почти осязаемой синевой.

В один из таких погожих, словно на заказ, дней в дом к Лашкову постучал Гупак. После отъезда Вадима тот, заглянув однажды, стал частенько навещать Петра Васильевича, объясняя свои визиты самыми разными предлогами: то узнавал, нет ли вестей от внука, то являлся поздравить с очередным престольным праздником, то нес неотложную городскую новость. Вначале Петр Васильевич тяготился непрошеным гостем, слишком мало было у них общего, но незаметно для себя привык к гупаковским посещениям, а вскоре не мог без них обойтись. Споры с Гупаком скрашивали его одиночество, помогая ему уяснить самого себя, свое теперешнее отношение к окружающему. Поэтому сейчас появление гостя после непродолжительного перерыва откровенно обрадовало Петра Васильевича. Впуская Гупака, он не сдерживал радушного возбуждения:

— Забыли совсем, Лев Львович, старика. Вторую неделю глаз не кажете. Я уж было подумал — обиделись.

Тот, прежде чем поздороваться, перекрестился, поклонившись в пустой угол, и лишь после этого протянул хозяину прохладную ладошку:

— Что вы, что вы! Прибаливал немного. Чуть встал, сразу к вам. Как вы тут? Весна-то, а? Как в сказке.— Удовлетворенно потирая руки, он расхаживал по комнате.— Сплошное благорастворение. Рамы-то, Петр Васильевич, вынуть бы не мешало. Может, вместе, а? Чего откладывать? Сразу всю сырость выдует.

— Успеется. Я ведь и не бываю дома последнее время, хлопоты всякие заели. Ночую только.

— Все равно воздух нужен.— Гупак одним ловким движением содрал полоску бумажной наклейки с оконного паза.— Сны чище будут. Помогайте, Петр Васильевич.

Вдвоем они в какие-нибудь полчаса привели окна дома в соответствующий времени года вид, вынесли мусор и, оба довольные делом своих рук, расположились отдохнуть на лавочке в палисаднике.

Перед домом мимо них проходили люди и погромыхивали машины. В опутанном проводами электропередач и телеантенн небе реактивный истребитель выписывал дымные восьмерки; по соседству, в строительном дворе, надрывно повизгивала пилорама. На всем вокруг ощущалась печать умиротворенности. Наверное, поэтому и разговор их складывался поначалу мирно и неторопливо.

— Что нового у Вадима Викторовича?— словно невзначай обронил Гупак.— Пишет?

— Объездчиком устроился. С дедом Андреем вместе работает. У него и живет.

— Где семеро едят, там восьмой даром прокормится. Лишь бы ужился.

— Дед его не Господь Бог, чтобы одним хлебом всех насытить!

— Опять упрощаете, Петр Васильевич. Нельзя же сводить Евангелие к простому собранию чудесных мифов, наподобие греческих. Святые отцы изложили события первого пришествия на доступном для масс языке. Отсюда и кажущаяся его примитивность. Но житейскими доводами никогда не опровергнуть веры. Спаситель не хлебом в прямом смысле, а хлебом истины со всеми поделился. Ее-то и хватило на всех. И на тех пять тысяч. И на многие и многие миллионы потом.

— Да вроде на убыль идет пища Его.— Чувство противоречия брало в нем верх.— Трезвеет народ, в пьянство ударился. В сивухе истины ищет.

— Вера нашего народа, по сути, только начинается, Петр Васильевич. Для большей веры через великое сомнение надо пройти, может быть, даже через кровавую прелесть. То, что раньше было у многих от страха, от скуки, теперь от смирения начинается. С мукой, с беззаветностью к вере идут. Вы присмотритесь, Петр Васильевич, кругом тому свидетельства.— Коротко помолчав, он опустил тяжелые веки и перешел на полушепот.— Дочь ваша, Антонина Петровна, письмо прислала. Просит меня поговорить с вами.

Ревнивая обида взяла Петра Васильевича. Он и раньше догадывался, что дочь его продолжает поддерживать переписку с Гупаком. Слишком уж явной становилась с каждым днем осведомленность Льва Львовича о ее жизни в Средней Азии, которой тот почти не скрывал в разговорах с ним. Но ему и в голову не приходило, что она могла скрыть от него что-то такое, о чем без стеснения писала чужому человеку. Это было выше его понимания, и он, не скрывая досады, отвернулся:

— Чего там еще у нее?

— Зря вы, Петр Васильевич, дорогой, принимаете это так близко к сердцу. Вы, наверное, и сами не раз открывались незнакомым людям. Врачу, например. Постороннему открыться легче, потому что от постороннего можно всегда уйти и забыть его. К тому же мы с женой вашей дочери не совсем чужие. Мы — единоверцы. Это, знаете, немаловажная деталь к нашему разговору... Антонина, Петр Васильевич, обратилась ко мне неспроста. Она лю-

бит вас и боится огорчить, а по[illegible]и спрашивает у меня совета.

— Дожил!— Весь еше во власти раздражения, он мало-помалу приходил в себя.— Валяйте, чего уж там!

Обстоятельно и толково Гупак поведал ему обо всем, что случилось с Николаем. И — странное дело!— чем безотраднее рисовалось Петру Васильевичу нынешнее положение дочери, тем полнее становилось его сочувствие к ней.

«Эх, Антонина, Антонина, отцу родному не доверилась! Что я, зверь, что ли?» К концу гупаковского рассказа ему уже не сиделось на месте. Стоило тому умолкнуть, как он сразу же нетерпеливо заторопился:

— Телеграмму надо дать.— Жизнь снова обрела для него реальную цель.— Чего ж она там сидит одна с ребенком?

Лев Львович, явно не ожидавший с его стороны такого скорого и определенного отношения с своему сообщению, смешался:

— Подготовиться бы надо.

— А чего нужно? Все есть. Чего не достанет — купим.

— В порядок квартиру бы привести, Петр Васильевич. Ребенок ведь там жить будет.

— Когда же теперь? Найми, с неделю провозятся. А то и больше. Сам рад не будешь, чего уж там!

— Зачем же неделю,— осторожно вздохнул тот.— Гусевых позвать — в два дня управятся.

— Гусевых?— упоминание о старом соседе несколько покоробило его, но отступать было поздно, и он сдался.— Гусевых, так Гусевых. Только возьмется ли? Ему другой заказчик по нраву.

— Какой там!— Гупак воодушевленно вскочил.— За особую честь почтет.— Его прямо-таки распирала жажда немедленной деятельности.— Нечего и откладывать, сейчас пойдем.

— Удобно ли вот так... Сразу... Как снег на голову?

— Уж чего удобнее! Только рад будет.

— Ну, коли так...

— Будьте покойны.

Редкие в эту пору дня прохожие с удивлением оборачивались вслед двум старикам, которых едва ли кто в городе ожидал когда-нибудь увидеть мирно идущими бок о бок по улице. Но им было теперь ни до кого. Оживленно обсуждая предстоящие хлопоты, они незаметно для себя пересекли город из одного конца в другой, направляясь туда, где царственно маячил над окраинной слободой резной конек гусевского дома.

Самого хозяина они застали за углублением сточной канавы вдоль внешней стороны изгороди. Жилистый, ширококостный, он орудовал штыковой лопатой с размеренной сноровкой человека, привыкшего делать любую работу без огрехов и на совесть. Заприметив гостей, Гусев с силой воткнул лопату в грунт, вытер пот со лба и радушно, но безо всякой, впрочем, искательности, заулыбался им навстречу полнозубым волевым ртом:

— Кого я вижу! Привет, привет, гостюшки!— Он обратился в сторону дома.— Мать!

За изгородью, на высоком крыльце мгновенно, будто только и ожидала мужниного зова, появилась не старая еще совсем женщина в клеенчатом переднике и, вытирая руки кухонным полотенцем, в свою очередь, гостеприимно засияла оттуда:

— Милости просим. Чего же у двора стоять, проходите в дом, гости дорогие!

Нет, она почти не изменилась — бывшая соседка его Ксения Федоровна. Время лишь чуть заметно стянуло ее моложавое лицо тоненькой паутинкой едва уловимых морщин. Сидя за столом на открытой веранде, Петр Васильевич искоса следил, как споро и несуетливо хлопотала она вокруг них, стараясь придвинуть ему кусок получше и рюмку пополней, и в душе завидовал хозяину и дарованной ему жизненной удачливости: «В рубашке родился, чертов сын!»

— Об чем разговор!— Легкий хмель только подчеркивал щедрую вальяжность Гордея.— Сделаем. В обиде не останешься, Васильич. Я не коммунхоз, на авось не работаю. И цена по совести. А тебе, как бывшему соседу, так и вовсе скидка. Завтра с утра к тебе своего парня пришлю, а к вечеру сам приду, помогу. Договорились, в общем... Здоровьичко-то как, Васильич?

— Скриплю.

— Кость в тебе крепкая. Вы, Лашковы, все почти до ста набирали. Ты в них заряжен. Тебя еще надолго хватит.

— Где там! Этот десяток доскрипеть бы, и то дело. Бывает, шнурок завяжу, а разогнуться уже мочи нет. Земля к себе тянет.— Неожиданно он перехватил взгляд Гордея, со значением устремленный на Гупака.— Скоро рассчитаюсь.

— Пойду, пожалуй,— взглянув на часы, суетливо заторопился Гупак,— ждут меня.

— Сиди, Львович,— сказал Гусев, но сам встал, чтобы проводить гостя,— подождут.

— Нет, нет, нельзя мне дурные примеры пастве своей подавать... Спасибо за угощение.

От внимания Петра Васильевича не ускользнули ни взгляд, которым они при этом обменялись, ни поспешность, с какой Гупак откланивался, ни облегчение хозяина после того, как тот вышел. Неясное подозрение, возникшее у него в самом начале встречи, окончательно укрепилось в нем: «Договорились, заранее договорились обо всем, старые хрычи!» Он не только оскорбился их сговором, но даже, в известной мере, был рад этому. Смутная тяга его к Гусеву и таким, как Гусев, становилась с течением времени почти неодолимой. От них — этих людей — исходило еще неясное для него ощущение властной надежности, около которой ему жилось увереннее и яснее. Глядя на них, на их крепкие и твердые рты, можно было с уверенностью сказать, что жизнь на земле никогда не кончится. Они не дадут, не позволят ей кончиться,

так наполненно и беспрерывно билась в них деятельность, работа.

— Вот кто поживет еще,— кивнул Петр Васильевич в сторону двери.— Ни одного седого волоса!

— У него рак, Васильич,— просто, как о чем-то значения особенного не имеющем, сообщил, опускаясь против гостя, Гордей.— Месяца два-три, больше не протянет. Вот такие дела, Васильич.

— Может, обойдется?— сам пугаясь своей неуверенности, вздохнул он.— Бывали случаи.

— Нет, не обойдется, Васильич,— еще спокойнее и тверже сказал Гордей.— Я его доктору дом крыл. Никак не обойдется. Да он и сам знает.

— Знает?!

— Знает.— Гордей взглянул ему прямо в глаза и взглядом этим как бы определил для него всю меру его житейской слепоты.— Вот такие дела, Васильич. Нам бы такой силы. И света тоже.

— Да...

— Чего там темнить, Васильич,— Гордей поднял свой недопитый стакан и потянулся с ним к гостю,— я ведь давно хотел с тобою с глазу на глаз. Пора бы нам поговорить по душам. Жизнь на исход пошла. Нечего делить, все поделено.

— Я что ж, давай.— В нем исподволь вызревало, набирая силу, ответное к Гусеву расположение.— Я никогда глухим не притворялся, сам знаешь.

— Вот это дело!— Одним глотком опорожнив содержимое стакана, он уставился на Петра Васильевича светлыми смеющимися глазами.— Пей, Васильич, время терпит. Будем мы с тобой всякие нынче разговоры разговаривать. Тебе же всей правды никто, кроме меня, не скажет. Побоятся...

Они просидели за столом до глубокой ночи. Говорил больше Гусев, а Петр Васильевич слушал. Впервые, с чужих слов, он увидел свою жизнь со стороны, узнал, какой она выглядела в глазах окружающих. Гордей не щадил в нем ни чести, ни самолюбия. Шаг за шагом, день за днем восстанавливал он в его памяти даже им самим забытые уже события. Перед мысленным взором Петра Васильевича вдруг встала вся судьба целиком, во всей совокупности ее удач и ошибок, будней и праздников. И, подводя итог увиденному, он с испепеляющей душу трезвостью должен был сознаться себе, что век, прожитый им, прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал, заплакал молчаливо и облегченно, и это было единственное, чем он мог ответить сидящему перед ним человеку.

XII

На другой день Гусев привел к Петру Васильевичу высокого, худого, с ранними залысинами парня, откровенно их, гусевской породы и, легонько подтолкнув его вперед себя, снисходительно отрекомендовал:

— Мой единокровный. Недотепа, правда, но дело знает. В обиде не будешь. Выйдем, Васильич. Пускай осмотрится, прикинет что к чему. А мы пока покурим.

Они устроились на верхней ступеньке крыльца, гость молча закурил, и Петр Васильевич, преодолевая неловкость, с трудом сложил:

— Цену бы назвал, а то ведь и не расплатишься с тобой до самой смерти.

— Договоримся.

— Посильно не обижу.

— Ничего мне от щедрот твоих не надо, Васильич.— Он грустно вздохнул.— Заплатишь по таксе, и будь здоров. Ты думаешь, я рвач? Не хочу на производство идти? Нет, Васильич, не работы я казенной боюсь, казенной лени. Разве это дело, при одних руках трое начальников? И все норовят, чтобы я похуже сработал, лишь бы побыстрей. Им ведь не работа — прогрессивка нужна. А ведь я мастер, Васильич.— Он почти застонал.— Мастер! Понимаешь ты это, Васильич? А, что говорить!— Он загасил папиросу о подошву, но окурок не выбросил, положил в карман и поднялся.— Пойду, дел по горло. Буду забегать присматривать.

Глядя вслед его подтянутой молодцеватой фигуре, уверенной походкой пересекавшей улицу, Петр Васильевич с нескрываемой завистью заключил про себя: «А ведь мы однолетки. Выходит, свои у каждого года».

А молодой Гусев уже выдвигал в сени немудрящую лашковскую мебелишку. Работал он уверенно и почти бесшумно. Вещь за вещью, как бы сами по себе, плотным четырехугольником выстраивались в углу между торцовой стеною и погребом. Помогая ему протаскивать через дверь жалобно дребезжащий посудой буфет, Петр Васильевич спросил его с дружелюбным расположением:

— Как зовут, сказал бы?

— Алексеем.— Парень расплылся в смущенной улыбке.— Отец не сказал разве?

— Думал, видно, знаю.

— Он такой у меня, папашка,— еще шире осветился тот,— с гонорком. Думает, про него все заранее знать обязаны. С характером старикан, его на вороных не объедешь.

Потом они вместе сдирали старые, в клопиной сырости обои и пожелтевший слой газет под ними, и совместная эта работа облегчала Петра Васильевича, сообщая ему чувство уверенности в добром исходе волновавших его последнее время дел и забот. Он сам не заметил, как постепенно вошел во вкус работы и стал во всем помогать Алексею. Перебрасываясь между собой деловыми замечаниями, они загрунтовали и побелили потолки в обеих половинах, выкрасили оконные переплеты и, оба довольные удачно завершенным днем, опорожнили четвертинку под наскоро приготовленную Петром Васильевичем закуску. Вконец раздобревший

...зяин кинулся было в магазин за добавкой, но гость решительно перевернул свой стакан вверх дном:

— Я, батя, пас.

— Что так?

— Папашка не любит, когда посреди работы.

— Строг?

— Да как сказать. Строг не строг, а порядок любит. Если и осадит, так по делу. Я ведь в депо начинал. А когда с Николаем вашим вся эта бодяга получилась, он, папаша мой, забрал меня оттуда, к себе приспособил.

— Выходит, ты Николая знаешь?

— Ясное дело.

— Толком-то я сам ничего не слыхал.

— Да как-то авралили мы в депо. Там всегда к концу месяца жмут. Вкалывали без выходных, а план все равно горел. Здесь, под горячую руку, и заявилось городское начальство. Один там, который поважнее, орать начал. Да все матом, матом. Ну, Коля и не стерпел, врезал ему промеж глаз... Не любил, когда не по справедливости. Золото парень был, компанейский.

Петр Васильевич часто пытался представить себе, что же такое был его зять. Близкое знакомство их, по сути, так и не состоялось. Ему нравилась обстоятельность Николая, но какая жизнь, с какими взаимосвязями, стояла за парнем, оставалось старику неизвестным. Последние слова младшего Гусева, будто вспышка далекой зарницы, высветили перед Петром Васильевичем черты твердого и цельного облика.

— Ну, а вы-то что же?— Гневно напрягаясь, он уже жил мгновением, минутой случившегося тогда.— Вы что?

— А мы что?— Парень угрюмо потупился.— Против власти не попрешь.

Петру Васильевичу почему-то вспомнилась его собственная толкотня по московским кабинетам, откуда он неизменно выходил с удушливым ощущением своего бессилия и опустошенности, и, скрепя сердце, он хмуро согласился:

— Да... Не попрешь.

Под окном послышались шаги, потом звякнула дверная щеколда, и следом из темного провала сеней в настежь распахнутую дверь вплыл бодрый гусевский тенорок:

— Работнички! Света в сенцах оставить не могли.— Он выявился на пороге и цепко скользнул взглядом вокруг, оценивая работу.— Годится. Колер только жидковат малость. Ну-ка, Леха,— он деловито кивнул сыну,— заводи клейстерок, сегодня и поклеем. Тут и делов-то на раз помочиться.

Много мастеров довелось Петру Васильевичу наблюдать в деле за свой век, но такой работы видеть не приходилось. То была даже не работа, а действо. Отец и сын словно бы соревновались в ловкости и проворстве; слаженно, подобие четко выверенного челночного механизма, дополнял каждый движение другого. Ров-

ные, весенней расцветки полосы ряд за рядом без единой морщинки стекали сверху вниз, к самому плинтусу. Работая, они изредка и ровно в меру необходимого перебрасывались словом-двумя:

— Чуть подтяни.

— Готово.

— Возьми левее.

— Пойдет?

— Самый раз.

— Подай бордюр.

— Сплошняком?

— Годится.

К ночи обе половины в доме Петра Васильевича блистали нарядной новизной, источая в звездную темь терпкий запах клейстера и краски. Тщательно отмывая руки под умывальником, Гусев-старший горделиво посмеивался в сторону хозяина:

— Не ослабела еще рука у Гусева. Принимай работу, Васильич! Не подкопаешься. Я тебе цветного линолеума к завтрему достану. Без вреда внук ползать будет... Леха, полотенце!

Провожая мастеров, Петр Васильевич слегка придержал Гордея за локоть, но тот, догадываясь о его намерении, решительно освободился:

— Брось, Васильич. Не возьму с тебя ничего, кроме как за матерьял. Ни полушки не возьму. Уж ты не обижайся, а только и Гусевы тоже — люди. Бывай.

Сказал и канул в ночи. А Петр Васильевич, оставаясь наедине с собой и мерным отзвуком затихающей гусевской поступи, долго еще не мог избыть в себе жаркой растерянности: «Вот тебе и Гусев! Как кутенка в мое собственное дерьмо ткнул. И, видать, не зря».

XIII

На вокзал Петр Васильевич явился часа за два до прихода поезда. Бесцельно бродил он по его полупустым залам в тайной надежде встретить кого-нибудь из бывших сослуживцев. Но сколько Лашков ни всматривался во встречных путейцев, ни одного знакомого лица так и не увидел. «Вымирает потихоньку довоенное племя,— мысленно посетовал он,— скоро совсем никого не останется». И лишь на перроне, в самом его конце, у раскрытого окна кубовой перед Петром Васильевичем объявилось знакомое, но уже помятое и как бы сплюснутое временем лицо. Перехватив его взгляд, старуха за окном беззубо заулыбалась:

— Здравствуйте, Петр Васильевич.

— Здравствуй, Татьяна.

Татьяну Говорухину Лашков знал еще девчонкой. Дочь путевого обходчика с Бобриковского разъезда, она всю жизнь провела около дороги. Была и смазчицей, и проводником, одной из первых села на паровоз, хотя потом большую часть времени убивала в пре-

зидиумах разных, больших и малых, собраний. В тридцать пятом Говорухина вышла замуж за гремевшего на транспорте знатного машиниста — Мишку Золотарева, а в следующем — тридцать шестом — с первенцем на руках уже возила ему передачи в Тульскую внутреннюю тюрьму. В те времена, еще пользуясь влиянием у местных властей, Петр Васильевич, всегда ревновавший к судьбе своего брата-железнодорожника, помог ей с жильем и трудоустройством. С той поры Татьяна, так и оставшаяся для него девчонкой, изредка встречаясь с ним, всякий раз благодарно млела.

— Ай, встречаете кого?— Женщина продолжала ласково светиться в его сторону.— Не родня ли?

— Антонина.

— Проведать или насовсем?

— Совсем.

— С Николаем?

— Родила.— В городе, вроде Узловска, ни одно даже самое малое событие не могло остаться незамеченным, и поэтому ее осведомленность о его семейных обстоятельствах он воспринял как должное.— Внука мне везет.

— Вот тебе и Антонина!— отечное лицо Говорухиной порозовело от удовольствия.— Молодец девка.

— Не подвела.— Проникаясь к ней признательностью за ее открытое сочувствие, он внезапно для самого себя разоткровенничался.— Петром назвали.

— Не забыли отца, значит.

— Не забыли,— утвердил он и хотел тут же добавить к сказанному что-нибудь еще — ласковое и прочувствованное, но в этот момент по станционному репродуктору было объявлено о подходе Московского-скорого, и он, подаваясь ближе к полотну, лишь рассеянно покивал на прощание.— Бывай, Татьяна.

Едва состав, направляясь к перрону, выделился из строя пульманов на расположенной неподалеку товарной станции, сердце у Петра Васильевича резко и учащенно задергалось: «Еще и не узнаю сослепу, помяло небось на чужбине-то!» Все то медлительное время, пока мимо него тихо проплывали окна вагонов с приникшими к ним лицами, это тревожное опасение не покидало его. Сам того не замечая, он двинулся вровень с поездом, избывая в этом движении свою тревогу и неуверенность.

Но только лишь состав, в последний раз вздрогнув, остановился, как в проеме тамбура восьмого вагона, среди пестрого смешения шляп, кепок и платков Петр Васильевич сразу же различил повязанную давно знакомым ему манером синюю косынку Антонины. У него перехватило дыхание. Слепо расталкивая встречных, он ринулся к заветной подножке. А дочь уже тянулась искательным взглядом ему навстречу, уже выставляла перед собой байковый сверток, словно оправдываясь и моля о снисхождении.

— Вот и приехала.— Принимая от нее внука, он, в горячечном волнении, даже поздороваться забыл.— Не спеши... Вот...

— Здравствуй, папаня,— облегченно пролепетала она, благодарно приникая в его рукаву.— Хорошо-то как!

По дороге домой Антонина время от времени скашивала в сторону отца испытующий взгляд, как бы проверяя первое свое впечатление. И Петр Васильевич, догадываясь о ее затаенной тревоге, всем своим видом старался поддержать в ней присутствие духа и надежду. Внук чуть слышно посапывал у него на руках, и это младенческое посапывание отдавалось в сердце Петра Васильевича долгим и сладостным томлением: «Ишь ты, как высвистывает, Петр, Николаев сын, так бы и не просыпался вовсе!» Минуя родную слободу, он с горделивым удовлетворением отмечал про себя краем глаза каждую отдернутую занавеску в соседних домах, всякий любопытствующий взгляд и кивок прохожего: «Не пропал лашковский род, господа хорошие, живет!»

Дома, восторженно оглядевшись вокруг себя, Антонина лишь руками всплеснула:

— Папаня!

— Сколько можно в грязи сидеть.— Чувствуя себя в глубине польщенным ее одобрением, он старался выглядеть как можно равнодушнее.— И опять же — ребенок.

— Прямо словно новоселье!— С привычной легкостью она распеленала на отцовской кровати своего первенца и тут же потянулась к Петру Васильевичу за сочувствием.— Три девятьсот родился. И не болел ни разу.

— В нас пошел, в Лашковых.— При взгляде на шевелящийся комочек живой плоти он поймал себя на том, что у него дрожат губы.— Больных у нас в роду не было.

— Дай-то Бог.

— Сами не оплошаем.

— У семи нянек...

— Ничего, уследим.

Так, бездумно перекидываясь с дочерью короткими фразами, Петр Васильевич помог ей накрыть на стол. И они сели друг против друга. Впервые за день взгляды их встретились, и все, что до этого было ими недоговорено, сказалось само собой: жизнь для них началась заново и они оба молчаливо соглашались оставить пережитое по ту сторону порога.

— Мне нельзя много, молоко уйдет.— Она решительно придержала протянутую отцом к ее рюмке бутылку.— Разве только за встречу, папаня.

— Тебе видней.— Он налил себе до краев.— Ну, дай-то нам с тобой всего хорошего.

— Спасибо тебе, папаня.

Антонина со вкусом и вдумчивостью выцедила свою долю, отставила рюмку в сторону и, так и не дотронувшись до закуски, поднялась:

— Покормлю пойду да прилягу. Дорога была длинная. Укачало, еле ноги держат.

— И не поговорили.

— Наговоримся еще, папаня.— Она задержалась на пороге, и в голосе ее прорезалась горечь.— Время теперь у нас будет.

Петр Васильевич не мог не отметить про себя происшедшую в дочери едва заметную, но важную перемену. Появилась в ее жестах, походке, манере говорить какая-то твердая сила, перед которой его начинала охватывать необъяснимая робость. Такая Антонина была ему еще незнакома: «Вот она, порода-то, когда стала сказываться!»

Наедине с собой Петр Васильевич не боялся признаться себе, что жизнь свою он заканчивал тем, с чего бы и ему начинать следовало. Перед ним во всей полноте и объеме, словно проявленные на темном до этого снимке, определились причины и связи окружающего его мира, и он, пораженный их таинственной целесообразностью, увидел себя тем, чем он был на самом деле: маленькой частицей этого стройного организма, существующей, может быть, лишь на самой болезненной точке одного из живых пересечений этого организма. Осознание своего «я» частью огромного и осмысленного целого дарило Петра Васильевича чувством внутреннего покоя и равновесия. «Правда, видно, не в чужом огороде прячется,— его мысли текли умиротворенно и ровно,— а в нас самих. Верно Гупак говорит: Тот не хлеб — душу свою делил, потому всем и хватило. Чужое раздать нехитро, ты своим поделись. Надо полагать, куда труднее будет. Вон Гусев в разговорах справедливости не ищет,— делом занят, ремеслом. Помрет — работа его после него останется. А от меня что? Что останется? Одно пустое сотрясение воздуха? Спеши, Лашков, торопись, покуда дух вон не вышел. У тебя всякий день, как подарочек к празднику, восьмой десяток уже».

Из полудремотного бодрствования его вывел детский плач по ту сторону перегородки. За окном, между пределом ночи и горизонтом уже пробивалась смутная полоска рассвета. Тихонько, чтобы не разбудить дочь, он поднялся и прошел на ее половину. В рассеянном свете ночника лицо Антонины выглядело моложавее и проще обычного. Сознание своего материнства не оставляло женщину и во сне. Оттого, наверное, в неловкой позе ее — полусогнутая в локте рука почти у самого подбородка — обозначилось выражение чуткой напряженности.

Осторожно высвободив плачущего внука из-под ее руки, Петр Васильевич кое-как, с горем пополам спеленал его и, укутав в большое одеяло, вышел с ним на крыльцо. Рассвет за дальними крышами постепенно набирал силу, очертания домов и деревьев с каждым мгновением становились резче и определеннее. Внук, видно, почуяв себя в крепкой надежности бережных рук, утих, и Петра Васильевича против его воли потянуло прочь от дома, туда, где за пределом слободы блистала утренним асфальтом стекающая в горизонт дорога. Миновав улицу, он пошел по ней, по этой дороге, навстречу стремительно возникающему дню.

Чутко прислушиваясь к едва уловимому дыханию внука, Петр Васильевич с каждым шагом обретал все большую уверенность в своей собственной и всего окружающего бесконечности и единстве. Теперь-то он уже не просто догадывался, а твердо знал, что восходящий круговорот, в котором он вскоре завершит свою часть пути, продолжит следующий Лашков, внук его — Петр Николаевич, приняв на себя предназначенную ему долю тяжести в этом вещем и благотворном восхождении.

Утро высвечивало перед Петром Васильевичем втекающую в горизонт дорогу, и он шел по ней с внуком на руках. Шел и Знал. Знал и Верил.

И НАСТУПИЛ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ — ДЕНЬ НАДЕЖДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

Владимир Емельянович Максимов

**ЗВЕЗДА АДМИРАЛА КОЛЧАКА.
СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ**

Редактор
В. А. Черноземцев

Художник
В. Г. Витлиф

Художественный редактор
Т. А. Спивак

Технический редактор
Т. В. Анохина, Л. А. Долгова

Корректор
Л. А. Ильина

ИБ № 3012

Сдано в набор 10.02.92. Подписано в печать 15.01.93. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага газетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать высокая. Усл. п. л. 33,0. Усл. кр.-отт. 33,25. Уч.-изд. л. 37,1. Тираж 100 000 экз. Заказ № 275. Цена «С» 2.

Южно-Уральское книжное издательство, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2. Региональное Приволжское издательство «Детская книга». 410600, Саратов, ул. Вольская, 63. Саратовский полиграфкомбинат, 410790, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Книги, о которых пойдет речь дальше, выпустит в 1993 году Южно-Уральское книжное издательство

Южно-Уральское книжное издательство продолжает начатое в 1989 году «Тремя мушкетерами» издание произведений А. Дюма в оформлении художника В. И. Реутова. Читатели уже получили романы:

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
«ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН».
«КОРОЛЕВА МАРГО».
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».

В 1993 году выйдут из печати

«СОРОК ПЯТЬ»
и два тома
«ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО».

Все тома в твердом переплете и суперобложке.

Без малого два столетия живет на Южном Урале уникальное искусство, о котором расскажет богато иллюстрированный фотоальбом

«ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ»

Из исторической справки (дается она на трех языках — русском, немецком и английском) можно узнать о том, как в начале прошлого века из немецкого города Золингена перекочевало в Златоуст ремесло рисовальщиков по металлу, стараниями и талантом выдающихся художников, самым заметным из которых был легендарный Иван Бушуев — вспомните сказ П. П. Бажова об Иванко-Крылатко,— здесь переросло в «поэму на стали» и постепенно приобрело мировую известность.

Украшенные булатные клинки, шкатулки и вазы, ножи и панно преподносились в дар или в награду императорам и полководцам, ученым и космонавтам — у обладателя альбома будет редкая возможность полюбоваться ими.

Если вы молоды и любознательны, если хотите побывать во всех частях света и узнать жизнь различных племен и народов,— вы должны обязательно прочесть увлекательные романы французского писателя конца прошлого — начала нынешнего столетия **Луи Буссенара.**

Если вы не столь молоды, но в вас сохранилась жажда романтических открытий и странствий, если для вас мир приключений и неизбежно сопутствующих им опасностей не потерял своей притягательной силы,— вы также с удовольствием прочтете 25 романов французского писателя.

Вслед за книгами «Десять миллионов Красного Опоссума. Путешествие парижанина вокруг света», «Приключения в стране львов. Приключения в стране тигров. Приключения в стране бизонов. Из Парижа в Бразилию», вышедших в 1992 году, появится роман «ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ», герои которого Фрикэ и его друзья хорошо известны читателю. Вновь с ними связаны захватывающие приключения, странствия и неожиданные открытия, происходящие на этот раз на островах Океании.

В центре остросюжетных романов «БЕЗ ГРОША В КАРМАНЕ. СРЕДИ ФАКИРОВ» — похождения французского авантюриста графа Жоржа де Солиньяка. Страницы романа «СРЕДИ ФАКИРОВ» откроют читателю тайны религиозной жизни Индии и загадочных преступлений секты тугов-душителей, поклонников богини смерти Кали.

Роман «ПОХИТИТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ» переносит читателя на далекие берега Замбези, где разворачиваются остросюжетные события вокруг поисков и борьбы за обладание несметными сокровищами.

Настоящее издание романов Луи Буссенара воспроизводит «Полное собрание романов» 1911 года, которое готовилось еще при жизни автора, с гравюрами французских художников, его современников.

«ГОТОВИМ НА ДВОИХ»

Эта поваренная книга — результат обобщения богатого практического опыта профессионального повара из Кургана Леонида Карпова, автора уже полюбившихся южноуральцам книг: «Стол и фантазия», «Мужчина на кухне» и др.

Особенности нового издания в том, что рецепты приготовления пищи рассчитаны на двоих.

Адресуется книга прежде всего молодоженам. Она поможет молодым хозяйкам советами по обустройству кухни, экономному ведению домашнего хозяйства, расскажет о культуре застолья, наиболее простых способах сервировки праздничного стола, познакомит с правилами этикета. Автор дает советы по организации званых вечеров, банкетов, больших праздников.

Книги Южно-Уральского издательства приобретайте через торговую сеть и общество книголюбов.

К сожалению, издательство не имеет отдела «Книга — почтой» и индивидуальные заказы выполнить не может. Но для предприятий, заводов, хозяйств, направивших в издательство крупные заказы, имеющих возможность самостоятельно вывезти книжную продукцию и произвести за нее предварительную оплату, сделаем исключение. Заказы будут рассмотрены в издательском отделе маркетинга (телефоны в Челябинске: 38-97-88, 36-04-34; адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2. Южно-Уральское книжное издательство).

СТАРИННЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ СКАЗКИ

У вас никогда не замирало сердце, когда Вы держали в руках старинную книгу? Это удивительное чувство! Именно оно заставило авторов серии «Антикварная библиотечка» сделать новые издания очень похожими на те, что выходили сто и более лет назад. Одна из них «СТАРИННЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ СКАЗКИ», впервые изданные Жаком Порша в Париже в 1880 году. Первый русский перевод, незнакомые сюжеты и герои, а также старинные французские гравюры, отражающие жизнь и быт Франции XIX века, делают издание уникальным.

Кривенко Н. В., Макаров С. М.
ЭТОТ НЕПОВТОРИМЫЙ «МЕДВЕЖИЙ ЦИРК»

Имя Валентина Филатова хорошо знают любители цирка. Выдающийся дрессировщик, он предельно «очеловечил» животных, создал уникальный «Медвежий цирк». Один из зарубежных рецензентов как-то заметил полушутя-полусерьезно: «Посмотрев филатовский аттракцион, невольно спрашиваешь себя: от кого же все-таки произошел человек — от обезьяны или медведя?».

Авторы, близко знающие Мастера, вводят читателя в его творческую лабораторию, дают возможность побывать за кулисами, на репетициях, познакомиться с процессом создания циркового номера. Книга отвечает на вопрос: как стать дрессировщиком, какими качествами должен обладать человек, решивший посвятить свою жизнь работе с животными?

Специальная глава посвящена медведям. Прочитав ее, многие любители цирка, может быть, впервые получат такое всестороннее представление об этих животных — их характере, повадках. В книге прослеживается многовековая история приручения и дрессировки медведей. Авторы обращаются к летописям и легендам, вскрывают изначальные, фольклорные истоки аттракциона Филатова.

Книга «ЭТОТ НЕПОВТОРИМЫЙ «МЕДВЕЖИЙ ЦИРК» — увлекательное чтение для детей и взрослых.

Снастин В. А.
«ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, ГОСПОДА И ДАМЫ!»

Автор — специалист самозащиты без оружия, судья международной категории экстра-класса — ведет уроки защиты от преступных нападений.

В книгу включено описание 200 приемов боевого самбо, иллюстрированных 400 рисунками: освобождение от захватов, защита от ударов, от нападающего с ножом, с пистолетом и т. д.

Альбом «МЕЛОДИЯ САРАТОВА»

Альбом, включающий 300 цветных фотографий, приглашает совершить прогулку по исторически сложившемуся центру Саратова, раскрывает архитектурное и художественное своеобразие города, очарование улиц и взвозов, площадей и набережной.

Эта книга — еще одна прекрасная возможность всмотреться в «лицо улиц», постигнуть красоту, казалось бы, обычного.




ЗВЕЗДА АДМИРАЛА КОЛЧАКА
СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ
Владимир Максимов